



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

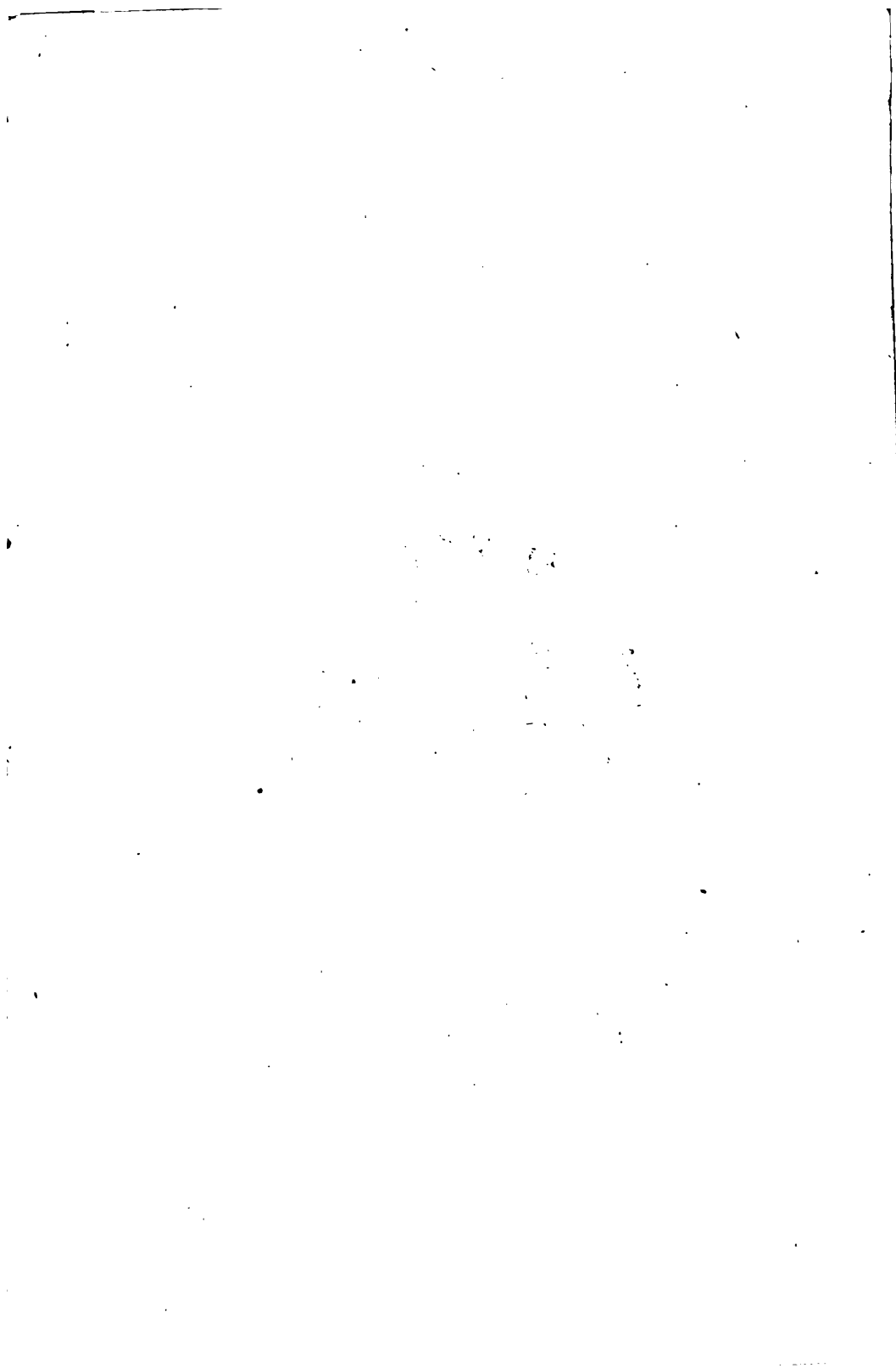


A 3 9015 00365 692 6

University of Michigan - BUHR









СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

Spasowicz, Włodimierz.

СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Томъ I.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Предисловіе. — Владиславъ Сырокомля. — Шекспировскій Гамлетъ. — Мартинъ Матушевичъ и его мемуары. — Нѣсколько словъ о Кавелинѣ. — Рѣчь о Пушкинѣ. — Винцентій Поль и его поэзія.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Книжный Магазинъ Бр. Рымовичъ.

Казанская, 26.

1889.

PN
4171
- 574
v. 1-2

Книга печатана въ типографіи Ф. Сущинскаго. С.-Петербургъ,
Екатерининскій каналъ, 168, а портретъ въ типографіи Э. Голпе.
С.-Петербургъ, Вознесенскій проспектъ, 53.

1002005482



В Стасовъ .

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 Юня 1889 года.

Тип. Ф. д. Голле.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 Июня 1889 года.

Тип. Ф.д. Гоппе.

Въ жизни моей я противъ воли долженъ былъ нѣсколько разъ мѣнять профессіи; оставивъ любимыя мною профессорскія занятія, взялся за перо журнальнаго критика, а потомъ посвятилъ себя адвокатурѣ. Меня интересовали вопросы искусства; въ свободное время, я изучалъ великихъ писателей, въ особенности поэтовъ. Два первые томы начинаемаго мною изданія моихъ сочиненій состоятъ исключительно изъ такихъ литературныхъ очерковъ и портретовъ. Большую часть ихъ я прочелъ публично въ Варшавѣ или С.-Петербургѣ, прежде чѣмъ они были напечатаны. Всѣ эти опыты литературной критики относятся къ послѣднимъ тридцати годамъ (1876—1889). Вторая часть начатаго изданія будетъ заключать въ себѣ критическія и полемическія статьи, воспоминанія путешествій, лекціи и доклады юридическіе. Третья часть будетъ посвящена немногимъ избраннымъ судебнымъ рѣчамъ, заслуживающимъ на мой взглядъ вниманія или по своему дѣлу или по важности общественныхъ или юридическихъ вопросовъ, которыхъ они касались. Не будутъ включены въ изданіе слѣдующіе труды мои болѣе обширнаго объема: Учебникъ уголовного права (1863), исторія

польской литературы составляющая мой вкладъ въ томъ второй (1881) коллективнаго сочиненія А. Н. Пыпина и моего: «Исторія славянскихъ литературъ», наконецъ изданная мною въ 1882 г. книга «Жизнь и политика маркиза Вълёпольскаго». Изъ изданнаго мною въ 1872 г. сборника моихъ статей и рѣчей «За много лѣтъ» я позаимствую для слѣдующихъ томовъ изданія меньше половины. Самые ранніе изъ печатаемыхъ нынѣ опытовъ литературной критики (Сырокомля, Матушевичъ, Поль) не были извѣстны русской публикѣ и впервые являются теперь въ переводахъ. Предпринятое мною изданіе моихъ сочиненій предполагается въ шести томахъ по два на каждую серію. Я не держался правила свойственнаго писателямъ по профессіи: каждый день хотя бы по строчкѣ, но не проходилъ годъ, въ которомъ не было бы мною что нибудь написано, а такъ какъ этихъ лѣтъ довольно много, то и цѣлое будетъ довольно объемистое и по содержанію своему разнообразное. Не мнѣ судить удалось ли мнѣ сохранить въ теченіи этого длиннаго ряда лѣтъ послѣдовательность въ мысляхъ, искренность въ чувствахъ и постоянство въ убѣжденіяхъ, могу лишь по совѣсти сказать, что объ исполненіи этихъ требованій я по мѣрѣ силъ моихъ старался.

В. С.

1 Іюня 1889 г.
С.-Петербургъ.

Владиславъ Сырокомля

(БОНДРАТОВИЧЪ).

Владиславъ Сырокомля.

I.

Изъ всѣхъ родныхъ земель нашихъ наиболѣе богатъ не только минеральными источниками, но и кастальскими ключами самородной поэзіи—край принѣманскій. Намъ извѣстно по сказаніямъ лѣтописцевъ, что тамъ нѣкогда цвѣла пѣснь вайделотовъ, при дворахъ мелкихъ кунинговъ или князей. Но время совершенно засыпало тотъ источникъ и прикрыло его крестомъ, такъ, что раскрыть нынѣ старую ложбину еще труднѣе, чѣмъ найти въ Пуняхъ слѣды замка Пулленъ, въ которомъ Кондратовичъ помѣстилъ своего Маргера. Изъ креста, прикрывшаго прошлое, и изъ польско-дворянскаго духа произросло новое растеніе, котораго расцвѣтъ, озаренный блескомъ и славой, наступилъ лишь въ такое время, когда и самый крестъ былъ уже нѣсколько распатанъ, а шляхетность, переставъ быть учрежденіемъ, уже переходила изъ жизни въ пѣснь, то есть, когда предстояло пѣвцамъ бальзамировать останки могучаго нѣкогда сословнаго организма.

Поэзія похожа, по законамъ своего роста, на ту американскую агаву, изъ породы кактусовъ, которая выпускаетъ цвѣтъ только разъ въ цѣлое тридцатилѣтіе и всего на нѣсколько часовъ. Различіе — въ томъ, что поэзія цвѣтетъ еще рѣже, съ неопредѣленными, иногда многолѣтними даже, перерывами. Новѣйшую поэтическую эпоху у насъ открылъ Мицкевичъ. При извѣстіи

о его смерти другой поэтъ — Сигизмундъ Красинскій написалъ многозначительныя слова: «для людей моего поколѣнія онъ былъ медомъ и молокомъ, желчью и кровью духовною; всѣ мы—отъ него; онъ поднялъ насъ волной своего вдохновенія и бросилъ на свѣтъ, онъ величайшій поэтъ всѣхъ племенъ славянскихъ ¹⁾».

Умственные силы цѣлаго народа обратились къ этому поэтическому творчеству, въ немъ приняла участіе и Литва; прошелъ по слѣдамъ Мицкевича почти необозримый рядъ его товарищей, его подражателей, польскихъ поэтовъ литовской школы. Последнимъ по времени, въ числѣ наиболѣе способныхъ изъ ихъ числа и наиболѣе самостоятельныхъ, былъ Людовикъ Кондратовичъ, извѣстный сперва подъ псевдонимомъ Владислава Сырокомли ²⁾. Въ прекрасномъ трудѣ, посвященномъ его жизни и произведеніямъ, извѣстный критикъ Тышинскій сравниваетъ Кондратовича съ заходящимъ надъ Нѣманомъ солнцемъ поэзіи, яркимъ еще и полнымъ, но не жгучимъ, бросающимъ уже смягченные лучи. Самъ Кондратовичъ, вмѣстѣ съ раздражительностью и жаждой славы, соединялъ нѣкую боязливую скромность, никогда не пробовалъ высокихъ полетовъ, не вѣщалъ съ треножника, и пѣсни свои приравнивалъ лишь къ пѣнію принѣманскаго соловья, къ игрѣ доморощеннаго музыканта среди сельскихъ бѣдняковъ ³⁾. Онъ называлъ себя еще деревенскимъ пѣвцомъ, который не ищетъ родственныхъ себѣ душъ на пиру богача, гдѣ показался бы послѣднимъ изъ послѣднихъ долженъ былъ бы стоять у порога:

На пирѣ богатыхъ привѣтствіемъ дружнымъ
Не будешь ты встрѣченъ и гостемъ ненужнымъ
Въ дверяхъ постоишь, какъ лакей...
Печальную пѣсню-ли, гимнъ-ли священный,
Все слушаютъ тупо они съ неизмѣнной
Холодной насмѣшкой своей»...

¹⁾ Kronika Rodzinna 1875 г. стр. 168. Письмо по извѣстіи о смерти Мицкевича.

²⁾ Syrokomla—названіе герба.

³⁾ Т. VI. Изданіе стихотвор. Л. К. стр. 313.

(Т. VI. 313); такимъ пѣвцомъ, который избѣгаетъ вельможныхъ господъ, что платять деньги и судять купленный товаръ; («только тебѣ, толпѣ сермяжной, дарю напѣвы подѣ жниво, пою въ тактѣ звяканью косъ» VII, 248).

Кондратовичъ безпрестанно возвращается къ этой любимой темѣ и варьируетъ ее на-ново ¹⁾. Самая красивая изъ этихъ варьаций, можно даже сказать—одинъ изъ лучшихъ алмазовъ польской поэзіи, это—стихотвореніе: «Деревенскій пѣвецъ». (VII, 242), идиллія написанная въ Залучы, въ 1852 г. Тамъ есть обращеніе къ поющей лирѣ «изъ волшебнаго дерева»:

«Отъ тебя нѣтъ отбою, не натѣшусь тобою,
Подѣ твой звонъ оживая,
Сердце птичкой трепещетъ, а въ лицо такъ и хлещетъ
Кровь моя огневая.
Пусть рука наболѣла, въ сердце горе наврѣло,
Но играть буду съ жаромъ...
Вѣдь, ты, лира—даръ Божій... я гуслиаръ переходжій
И умру я гуслиаромъ.
Ты, пѣвучая лира, чародѣйка для міра,
Но какъ ножъ ты опасна»...

которая и самому пѣвцу даетъ ощущеніе счастья, когда закипитъ въ немъ кровь и окраситъ блѣдное его лицо: «пусть больно рукѣ, пусть и сердцу больно». Лира бываетъ и карой божьей: «какъ острый ножъ пороку пѣсня».

Пѣвецъ—человѣкъ простой, но берегущій свою независимость и честь своихъ пѣсенъ:

«Пѣть, бряцаая струнами, передѣ Богомъ во храмѣ,
Предѣ народомъ въ харчевнѣ...
.....
Чародѣйная лира! Пусть не знаю я міра
И живу слезъ отравой,

¹⁾ VI. 247. Посвященіе побасенокъ; 154. «Не я пою»; 186. Пѣсенъка; 286. Подѣ флейту; VII, 5. Похоронное шествіе; 206. Что такое поэтъ; 299. Молчаніе поэта.

Но въ тебѣ что я силу, и сойду я въ могилу—
Ты' моей будешь славой.
Поплывуть твои звуки, будутъ знать ихъ и вьнуки
И—чужда ей преграда —
Моя пѣсня иная, долетитъ до Дуная
И до Кіева—града».

Каждый поэтъ испытываетъ желаніе начертить на память для потомства свой силуэтъ; по большей части эти нравственные портреты выходятъ польщенными, бывають красивѣе оригиналовъ. О Кондратовичѣ этого сказать нельзя: подлинникъ остался до конца вѣренъ изображенію, въ бѣдѣ и нуждѣ; пѣвецъ дѣйствительно умеръ съ рукой еще на струнахъ своей лиры, и не склонивъ ни передъ кѣмъ головы, не унизивъ пѣсни, съ неодолимой гордостью, прибавимъ—гордостью не личной, но—профессіональной, истекавшей изъ взгляда на искусство, какъ на нѣкоторую святыню, изъ опасенія «презрѣнне къ пѣсни возбудить».

Высказывая свой образецъ въ «Деревенскомъ пѣвцѣ», Кондратовичъ ставилъ своей цѣлью и задачей—быть не только національнымъ, но, и въ особенности — народнымъ; писать не для салоновъ, сдѣлаться любимцомъ людей неразборчивыхъ и простыхъ. Въ этомъ занятіи имъ положеніи, онъ былъ близокъ по духу Тарасу Шевченкѣ, «Кобзаря» котораго онъ и перевелъ, въ значительной части, на польскій языкъ. При такомъ сходствѣ слѣдуетъ, конечно, зачесть различіе происхожденія, первоначальнаго воспитанія и національности. Кондратовичъ былъ дворянинъ, который хотѣлъ «опроститься» — изъ любви къ народу, снизить и приспособиться къ его понятіямъ; Шевченко же былъ настоящій крестьянинъ, проникнутый преданіями казачества, выросшій однако высоко надъ средою, какъ дубъ на украинской степи. Но у обоихъ таже простота и свѣжестъ впечатлѣній, оба почти одинаково любятъ довольно скудной природою своего края, у того и другаго равный реализмъ въ описаніи простыхъ предметовъ, взятыхъ пре-

имущественно изъ сельской жизни, равная глубина чувства, съ оттѣнкомъ однако: у Сырокомли—большей трогательности вмѣстѣ съ нѣскольکو — шутливымъ тономъ, у Шевченки — большей страстности, смѣшанной съ мрачной дикостью. У обоихъ ихъ одинаковая неспособность къ олицетворенію темъ историческихъ, мыслей болѣе глубокихъ и сложныхъ; а наконецъ оба были осуждены на бездѣтность, не нашли вокругъ себя людей, которымъ бы могли завѣщать или отдать свои деревянные лиры, предназначенныя къ истлѣнію.

Тарасъ Шевченко, какъ былъ одинокъ при жизни, такъ остался и доселѣ, сравненіе съ дубомъ въ степи вѣрно и здѣсь. Долгago времени и особенно—благопріятныхъ обстоятельствъ требовалось-бы на то, чтобы степь эту облѣсить посаженными и старательно взрожденными деревьями; а еще раньше, чѣмъ они вырастутъ, промышленность и желѣзныя дороги могутъ измѣнить и бытовые условія того края. Кто можетъ знать—не утонетъ-ли украинщина въ великомъ теченіи русской культуры, не пойдетъ-ли на пицу и въ ростъ этому исполинскому тѣлу, утрачивая свою отдѣльность и самостоятельность литературную. Инымъ было положеніе Кондратовича, выросшаго и воспитавшагося въ великой, исполненной выработанныхъ традицій поэтической школѣ. Въ тотъ моментъ когда Кондратовичъ умиралъ, школа эта въ своемъ обще-польскомъ составѣ, включая и литовскую ея отрасль, сама уже приближалась къ концу, вполне уже исчерпавъ свою задачу, выразивъ уже въ пѣсни всѣ свои идеалы. Каждое общество тѣмъ склоннѣе бываетъ любоваться идеалами, чѣмъ менѣе имѣетъ возможности дѣйствовать, заниматься реальнымъ общественнымъ дѣломъ. Польское общество было страстно влюблено въ свои полусонныя мечтанія, потому что втеченіи полувѣка ему не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ только мечтать. Ему не осталось ничего, о чемъ бы надо было совѣтоваться, чтѣ оно могло бы рѣшать, не было ничего такого, что соединяло-бы руки въ какой-

нибудь, хотя бы мелкой, но самостоятельной и гласной работѣ.

Наступило однако такое время, когда не стало болѣе матеріала—даже и на созиданіе той или другой мечты, когда не прибывало уже и новыхъ впечатлѣній, которыя бы толкали воображеніе все въ ту-же сторону. Притомъ время это принесло съ собой и новыя, давно ожидаанныя перемены, коренное измѣненіе въ самомъ общественномъ бытѣ—освобожденіе крестьянъ.

Если жизнь общества сравнить съ игрою, то можно сказать, что наступилъ моментъ, когда карты были вдругъ перетасованы. Произошла суматоха, замѣшательство, полное диссонансовъ, какъ бываетъ обыкновенно, когда вступаютъ въ борьбу взаимно-противные элементы и матеріальныя интересы, когда появляется въ новомъ, еще не урегулированномъ рутинною видѣ, борьба за существованіе, за «твое и мое». Можно съ увѣренностью сказать, что еслибы даже не произошло ошибочное и гибельное по послѣдствіямъ дѣло 1863 года, то жизнь все-таки потекла бы инымъ русломъ и совершился бы поворотъ къ критикѣ, къ позитивизму, распространились бы теоріи преимущественно материалистическія, въ которыхъ была прямая потребность, хотя бы какъ въ силѣ для оплодотворенія вновь—истощенной столь долгимъ временемъ почвы.

Во многихъ отношеніяхъ Кондратовичъ стоялъ выше своей эпохи; онъ какъ мы постараемся доказать—былъ по тенденціямъ своимъ усерднымъ и дѣятельнымъ новаторомъ. На немъ поэзія прежней школы уже заканчивала свою эволюцію и возвращалась назадъ, къ источнику, изъ котораго первоначально вышла—къ народу. Съ вершинъ она ниспадала на землю, какъ зрѣлый жолудь, она зарывалась въ почву, чтобы дать начало новому растенію. Но новой школы она вдругъ вызвать не могла. Надо замѣтить, что лично Кондратовичу трудно было найти подражателей; прелесть его поэзіи заключается не въ высотѣ полета, не въ богатствѣ и разнообразіи сюжетовъ, даже не въ манерѣ и методѣ пѣсни, но въ той личной осо-

бенности, какую мы наблюдаемъ въ гортани соловья и которую найдемъ въ беззавѣтномъ увлеченіи поэта, — въ томъ что его личная натура дѣлала изъ него какъ бы самый совершенный музыкальный инструментъ, отзывавшійся стройно и громко на каждое прикосновеніе, притомъ невольно, такъ что онъ звучалъ до самой той минуты, когда порвались струны.

Поразительное и любопытное для психолога явленіе представляло это восторженное увлеченіе пѣснью — до самозабвенія, это «пѣніе на-смерть», съ сохраненіемъ полного блеска таланта до послѣдняго вздоха груди, въ тѣ моменты, когда уже перо не держалось въ рукѣ и въ мозгѣ мысли уже смѣшивались, переплетались. Остановимся надъ этимъ послѣднимъ періодомъ жизни поэта, обнимающимъ 1861 и 1862 годы, по день смерти, 15 сентября. Это — періодъ быстро шедшаго разложенія организма, но вмѣстѣ и тотъ, въ которомъ были написаны: «Поэзія послѣдняго часа» и «Мелодіи изъ дома умалишенныхъ». Изъ Бореиковщины, имѣнія Тышкевичей, Кондратовичъ перѣхалъ въ Вильно, перенесся въ уличный грохотъ и шумъ. Посѣщаютъ его безпрестанно люди знакомые и незнакомые, которыхъ онъ любитъ, но предпочелъ бы имѣть подальше, потому что они утомляютъ его и надоедаютъ ему, отнимаютъ у него время и выкуриваютъ сигары, которыя для поэта были роскошью (письмо къ Хенцинскому въ соч. Крашевскаго «В. Сырокомля» стр. 188). Во всю свою жизнь поэтъ нуждался: «rapet sa geo», писалъ онъ еще въ 1854 г. Крашевскому, обремененный содержаніемъ семьи въ полтора десятка душъ. Отсюда — необходимость писать и писать, продавать еще на корню будущую умственную жатву, непріятная зависимость втеченіе всей жизни отъ евреевъ за квартиру, за полученные задатки. Славный на всю Литву поэтъ часто нуждался въ дровахъ, писалъ при сальной свѣчкѣ. Къ лишениямъ и непріятностямъ присоединились физическія страданія; артритизмъ лишилъ его движенія ногъ; не принесло пользы лѣченіе въ Друскеникахъ и Бирштанахъ;

оказались расширеніе селезѣнки и печени, кровохарканіе, наконецъ чахотка—при полномъ сознаніи приближавшагося конца («solum mihi superest sepulchrum», Крашевскій 172), который Кондратовичъ предугадывалъ еще двумя годами раньше въ «Смерти соловья» (1859 VII. 195).

Развѣ одинъ Гейне страдалъ сильнѣе и дольше. И у Кондратовича, какъ у Гейне, пѣснь не прерывается, самая болѣзнь, въ перерывахъ страданій, становится темой, перетопляется волшебствомъ страдальца—поэта въ чистое золото пѣсни; надъ судьбой своей онъ подсмѣивается добродушной шуткой, трунить надъ смертью, заливаясь шаловливымъ, дѣтски-звонкимъ смѣхомъ, пишетъ чудесную буффонаду «Овидій на Полѣсьи» (VII. 252 г.), забавляется комичной картиной своихъ похоронъ:

«Съ колокольни въ околотѣхъ
Слышенъ хриплый, какъ въ чахоткѣ,
Звонъ за упокой.
Мужиковъ босыхъ двѣ пары,
Всѣ какъ эта церковь стары,
Вѣднѣй гробъ несутъ;
Со свѣчами двѣ вдовицы —
Двѣ сидѣлки изъ больницы.
Вслѣдъ за нимъ идутъ.
Органистъ—онъ пѣвчій тоже —
Красный носъ на красной рожѣ —
Не жалѣетъ силъ.
.....
А покойникъ въ гробѣ этомъ
Былъ—какъ слышалъ я—поетомъ.
.....
Въ дружбу вѣрилъ онъ сердечно,
И надули всѣ, конечно,
Друга своего.
Что писалъ онъ—загрызали
Рецензенты.....».

Послѣ этихъ произведеній, составляющихъ матеріалъ, какъ для исторіи литературы, такъ и для медицины, потому что имѣютъ характеръ патологическій, появились такіа, которыя слагались уже въ бреду агоній; такова та недо-

конченная повѣсть, «Двѣ Картины», на которую справедливо обратилъ вниманіе Тышинскій: странная смѣсь прекрасныхъ, полныхъ свѣжести видѣній, тѣснящихся безсвязно, какъ бываетъ во снѣ, когда прерывается рас-предѣленіе понятій властью разсудка; таково и непонятное письмо къ Крашевскому, диктованное за часъ передъ смертью. Кондратовичъ исполнилъ почти буквально то, что предположилъ себѣ: онъ умеръ «съ лирой въ рукахъ», съ тѣмъ только отступленіемъ отъ программы, что умеръ онъ не среди полей и лѣсовъ, но среди городского стука — почти что на мостовой.

При извѣстіи о его смерти, въ обществѣ дрогнуло чувство, явилось сознаніе большой народной потери. Похороны его приняли размѣры торжества; въ гробу надѣли ему на голову лавровый вѣнокъ, тысячи рукъ засыпали землей его могилу, землевладѣльцы сдѣлали складчину въ пользу семейства, почитатели занялись приисканіемъ средствъ, чтобы собрать въ одномъ изданіи тѣ многочисленныя брошюры и листы, въ которыхъ, на отвратительной бумагѣ, какимъ попало шрифтомъ, издавали евреи и пускали по свѣту пѣсни поэта. Невольно рождалось, до сихъ поръ еще отзывающееся иногда въ польской печати сожалѣніе, что помощь эта пришла такъ поздно, что она не явилась хотя бы въ послѣдніе дни поэта—сколько-нибудь облегчить его нравственно, снять съ него часть заботъ о хлѣбѣ насущномъ для семьи. Изъ этихъ позднихъ самоупрековъ возникалъ сложный и не такъ-то легко разрѣшимый вопросъ—между обществомъ и поэтомъ—о томъ, чья вина, что таковъ былъ конецъ его жизни, такъ непріятны матеріально и нравственно—холодны тѣ условія и та обстановка, въ которыхъ онъ скончался? По этому вопросу о «вмѣненіи», гдѣ обвиненнымъ является общество, разсмотрѣніе болѣе глубокое и разностороннее приводитъ обыкновенно къ большей снисходительности и къ уясненію, почему нѣчто случилось именно такъ, а не иначе. Кондратовичъ въ частной жизни не былъ святымъ, онъ имѣлъ свои недостатки и грѣхи.

Осуждать его за то, что онъ не устроился практичнѣе со своими ресурсами нельзя, по той простой причинѣ, что получалъ онъ отъ издателей такую плату, которой вышшимъ размѣромъ были два золотыхъ за стихъ, а число тѣхъ, кого онъ долженъ былъ кормить доходило до 19-ти. Но были и иные поводы къ обвиненіямъ. Кондратовичъ бросилъ жену, велъ въ Вильнѣ жизнь гулящую въ кружкѣ актеровъ и литераторовъ, подогрѣвалъ вдохновеніе напитками, вдавался въ романъ съ замужней женщиной, пробовалъ даже оправдать эту связь въ единственной изъ своихъ поэмъ, гдѣ главную роль играетъ любовь, въ «Стеллѣ Форнаринѣ». Нѣсколько намековъ въ этомъ смыслѣ примѣшались даже къ слову проповѣдника во время отпѣванія. Едва ли однакоже возможно допустить, чтобы, даже среди общества наиболѣе щепетильнаго насчетъ нравственности, вины такого рода могли помѣшать оказанію помощи страждущему, имѣющему большія заслуги передъ обществомъ,—еслибы только этимъ серьезно занялись. Худшія вины прощались, очень многое игнорировалось порой, *tacito consensu*, изъ жизни людей, несравненно менѣе заслуженныхъ, но снискавшихъ расположеніе общества, не собирались и не выставлялись на-показъ ихъ человѣческія слабости свойства частнаго, если самъ писатель и человѣкъ общественный былъ чистъ и безупреченъ. Сведеніе надъ кѣмъ-либо слишкомъ подробныхъ счетовъ по прегрѣшеніямъ частнымъ, часто только отражаетъ въ себѣ недовольство имъ, истекающее изъ иного источника, и по меньшей мѣрѣ служить признакомъ, что привязанность къ поэту не была всеобщая, единодушная.

Въ данномъ случаѣ не могло быть иначе. Кондратовичъ самъ никогда не скрывалъ, въ какую сторону клонились всѣ его сочувствія: множество разъ онъ твердилъ, что пишетъ для самой простой толпы, ненавидѣлъ фрагъ и бѣлый галстухъ, самъ говорилъ въ такомъ родѣ — «когда я пробовалъ очертить барскія хоромы, то карандашъ ломался», а когда онъ проводилъ случайные

штрихи, то выходили все—то литовская хата, то дворъ шляхтича, то деревенская церковь («Что умѣю набрасывать». VII. 220). Общепризнанное господство, безспорная дань бывають чаще удѣломъ вовсе не самыхъ способныхъ, не самыхъ чистыхъ дѣятелей, а скорѣе тѣхъ, кто ловче правилъ своей ладьей, съ оглядкой, чтобы ни на кого не натолкнуться, кто не бросался съ лирой, какъ съ оружіемъ—въ борьбу противоположныхъ интересовъ. Міромъ управляетъ законъ обмѣна услугъ, и люди держатся правила — какъ ты мнѣ, такъ и я тебѣ; можно получить въ обладаніе всѣ сокровища міра, но не иначе, какъ исполнивъ условіе искуителя (Ев. св. Луки. IV. 7): «аще поклонишься, будутъ твоя вся».

Между тѣмъ Кондратовичъ, который продавалъ жидамъ еще ненаписанныя, а только задуманныя произведенія, который съ благодарностью бралъ пособія отъ тѣхъ, о комъ былъ убѣжденъ, что они давали отъ души, не унижая пріемлющаго, этотъ самый Кондратовичъ только и думалъ, какъ бы не согнуть шеи и не уронить своей пѣсни. Отсюда и произошло, что люди, стоявшіе на высшей общественной ступени по происхожденію и богатству, тѣ люди, о которыхъ онъ прямо говорилъ, что пишетъ не для нихъ, они и не взяли на себя почина въ устройствѣ національной подписки въ пользу бѣдствовавшаго поэта, единственной формы пожертвованія, какую Кондратовичъ могъ принять безъ чувства униженія. А что подобная складчина была вполне возможна при условіяхъ 1862 года, о томъ свидѣтельствуетъ фактъ, что состоялась же она въ пользу семьи поэта, когда извѣстіе о его смерти наэлектризовало общественное настроеніе. Посыпались на могилу цвѣты, раскрылись карманы, возникъ и литературный надгробный памятникъ.

Прекраснымъ фундаментомъ для него послужило варшавское изданіе «Стихотвореній» Кондратовича, вышедшее въ 10 томахъ въ 1872 году, весьма старательно собранныхъ и размѣщенныхъ въ хронологическомъ по-

рядѣ В. Коротынскимъ. Нѣтъ недостатка въ матеріалахъ и для составленія хорошей біографіи поэта; немало еще людей, которые могли бы изъ личныхъ воспоминаній добавить многое и къ жизнеописанію и къ характеристикѣ покойнаго (назовемъ гг. Коротынскаго, Петкевича, Тиціуса, Пашковскаго, Гораина, Валицкаго, Круповича). Покамѣстъ, имѣются въ видѣ временныхъ памятниковъ два значительныхъ очерка: Крашевскаго («Владиславъ Сырокомля», Варшава 1862) и А. Тышинскаго («Библіотека Варшавская», августъ и сентябрь 1872: «Людвикъ Кондратовичъ и его поэзія»). Въ обоихъ этихъ превосходныхъ этюдахъ, — изъ которыхъ первый есть — некрологъ, выросшій до размѣровъ книги, а другой представляетъ опытъ критической оцѣнки Кондратовича по совокупности его сочиненій — поэтъ является предъ нами живымъ въ своихъ стихотвореніяхъ, въ домашней жизни и интимной перепискѣ. Указаны тамъ подробно источники его вдохновеній, опредѣлены періоды развитія его таланта, и пройдены молчаніемъ лишь тѣ подробности, о которыхъ неудобно говорить по обстоятельствамъ времени или по отношенію къ живымъ еще лицамъ. Оба эти портрета похожи на не вставленные въ рамки этюды, на эскизы, выдающіеся посреди пустаго пространства, не обрамленные опредѣленіемъ среды, характеристикой времени, что и не входило въ задачу авторовъ. Фигура поэта можетъ только выиграть, если ее представить на современномъ ей фонѣ, попытавшись намѣтить самый характеръ той эпохи, такъ еще недавней, но уже отодвинувшейся въ прошедшемъ, уже удобной къ разграниченію съ настоящимъ временемъ. Задача при этомъ можетъ быть поставлена въ формѣ слѣдующаго вопроса: чѣмъ обязанъ былъ Кондратовичъ своимъ предшественникамъ, своему вѣку, и какъ онъ дѣйствовалъ на свое общество, какое вліяніе сохранилъ нынѣ и сохранить въ будущемъ для потомковъ? Задача эта весьма обширна, но способствовать ея рѣшенію возможно и небольшимъ взносомъ, позволительно и послѣ мастеровъ.

Взявшись за такой отвѣтъ, мы отсылаемъ читателя, въ томъ что касается подробностей біографическихъ — къ очеркамъ Крашевскаго и Тышинскаго, предполагая, что факты эти ему извѣстны и станемъ приводить изъ нихъ только тѣ, которые на нашъ взглядъ имѣли дѣйствительное значеніе въ самомъ развитіи его таланта.

II.

Въ домѣ мелкаго дворянина, бывшаго сперва землемѣромъ, а потомъ арендаторомъ небольшого фольварка въ радзивилловскихъ имѣніяхъ въ минской губерніи, Александра Кондратовича, по гербу Сырокомли (Крашевскій, 214) родился 17 сентября 1823 года, сынъ Людовикъ-Владиславъ. Средства были самыя скромныя, домашняя обстановка простая. Когда мальчику минуло 10 лѣтъ, отецъ отдалъ его въ школу къ доминиканамъ въ Несвижѣ. Систематическое ученіе Людовика какъ началось съ этой школы, такъ на ней почти и окончилось. Образование она давала крайне недостаточное, притомъ чисто — конфессіональное, полу-духовное, такое, о которомъ можно себѣ составить понятіе только по преданіямъ, такъ какъ школы эти въ нашихъ мѣстахъ давно уже не существуютъ. Много можно бы о немъ сказать и хорошаго и дурнаго. Во всякомъ случаѣ, оно уже было не похоже на прежнее, іезуитское, основывавшееся на средневѣковомъ Альварѣ и на розгѣ, удалилось и отъ того, какое давали въ своихъ школахъ соперники и преемники іезуитовъ — піары (*fratres scholarum piarum*). У отцовъ доминикановъ преподаваніе было уже наполовину свѣтское, умѣренное благотворнымъ вліяніемъ виленскаго университета, которому были подчинены и духовныя школы. Нѣтъ сомнѣнія, что въ монастыряхъ учительскіе приемы несоотвѣтствовали требованіямъ нынѣшней педагогики, имѣющей главной цѣлью — изощреніе ума, развитіе въ умѣ учащагося критической способности, само-

стоятельности сужденія, вмѣстѣ съ усвоеніемъ научнаго матерьяла. Духовные отцы смотрѣли на вещи нѣсколько иначе; у нихъ, преподаваніе основывалось на авторитетѣ, исходную точку имѣло богословскую; цѣлью его было прежде всего—сдѣлать изъ учениковъ людей богобоязненныхъ, не позволяющихъ себѣ судить о догматѣ, но принимающихъ на-вѣру, сердцемъ, какъ этотъ, законченный въ себѣ догматъ, такъ и готовые, простые, на подобіе прямыхъ линій, правила нравственности.

Обученіе было и моральное и физическое, обнимало науку и вѣру («Школьные годы Демборга» Кондратовича, 312 и слѣд.), и преимущественно послѣднюю, дабы человѣкъ «не возлеталъ никогда на крыльяхъ Икара и, увѣренный въ своей истинѣ, не предавался суетной заботѣ, постился бы себѣ въ субботу и святилъ день воскресный». Нельзя не признавать, что всякое нравственное ученіе, хотя бы основанное исключительно на авторитетѣ, заслуживаетъ полного уваженія и, для совокупности людей, не можетъ быть замѣнено ничѣмъ, предполагая, конечно, что предписываемыя имъ правила дѣйствій не состоятъ въ открытой борьбѣ съ потребностями времени. И надо прибавить, что острый кризисъ въ этомъ послѣднемъ смыслѣ происходитъ рѣдко, а пока онъ не наступилъ, вѣра и знаніе умѣютъ взаимно согласоваться, вступая въ многочисленные взаимные компромиссы, легко осуществимые въ самой жизни—до тѣхъ поръ, покамѣстъ нравственное правило само въ себѣ не оказывается отжившимъ, то-есть во всё-то время, когда подъ него еще возможно подводить не только теологическое, но и раціональное основаніе. Выходили же изъ школъ при-монастырскихъ люди просвѣщенные, передовые; самъ Мицкевичъ учился первоначально у оо. доминикановъ въ Новогрудѣ, и преподавателямъ тѣхъ школъ надо вмѣнить въ большое достоинство фактъ, что несмотря на суровую дисциплину съ примѣненіемъ розги, воспитанники монашескихъ школъ Игнатій Ходзько, Л.

Кондратовичъ сохраняли для нихъ чувства самыя сердечныя, почти сыновнія.

Въ «Школьныхъ годахъ Демборога» Кондратовичъ самъ далъ, положимъ, нѣсколько идеализированный отчетъ—какъ и чему онъ учился. Воспитаніе, впрочемъ, вовсе не было аскетическое. Ученики жили въ достаточномъ городкѣ, на вольныхъ квартирахъ, а въ монастырь приходили только на уроки. Городокъ былъ въ высокой степени проникнутъ духомъ католичества, много въ немъ было костѣловъ и монастырей, воздвигнутыхъ на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ еще не такъ давно передъ тѣмъ дѣйствовали кальвинистскія кирки и аріанскія типографіи. Надъ всѣми костелами господствовала, однако, огромная развалина съ тремя башнями, окруженная прудами въ окопахъ и валомъ; это былъ замокъ Радзивилловъ, носившій слѣды погрома 1792 года, а затѣмъ, еще болѣе опустошенный въ 1812 году. Правда, развалина эта, запечатлѣнная едва не королевскимъ величіемъ, вмѣщавшая въ склепахъ кости своихъ владѣльцевъ, а на галлереяхъ—ихъ портреты, стояла пустою, какъ разрытая могила, не посѣщаемая никѣмъ, кромѣ привидѣній. Но зато монастырь со школою представлялся какъ бы остаткомъ прежней Польши, остаткомъ перенесеннымъ заживо въ XIX вѣкъ, и несмотря на такое перенесеніе, приросшимъ еще вполне къ цѣлому прошлому, не только къ тому, какое сохранилось въ церкви, но и къ прошедшему во всемъ его составѣ, со всѣми традиціями самоуправленія, строгой домашней дисциплины и тѣхъ добродѣтелей, какія создаетъ гласная, дѣятельная, общественная жизнь. Мелкія дворянскія усадьбы находились въ самыхъ тѣсныхъ и дружественныхъ связяхъ съ монастыремъ, въ непрерывномъ съ нимъ общеніи на церковныхъ праздникахъ, училищныхъ открытых экзаменахъ, ученическихъ прогулкахъ за-городъ, съ префектомъ во-главѣ, на торжествахъ въ дни св. Петра и Тѣла Господня, когда подъ открытымъ небомъ, передъ алтарями, стоявшими въ цвѣтахъ, среди безчис-

ленного множества горѣвшихъ свѣчъ и сотенъ хоругвей, въ дыму кадилъ, гремѣло изъ тысячъ грудей—«отъ моря, войны, огня и наводненія спаси насъ Господи!»

Ничто не сравнится, по силѣ и неизгладимости, съ тѣми первоначальными впечатлѣніями юности; ихъ свѣтлые образы, согрѣтые всей полнотою чувства, западаютъ въ самую глубь души, собираются тамъ, какъ въ сокровищницѣ и хранятся на всю дальнѣйшую жизнь, становятся главнымъ запасомъ, чуть-ли не единственнымъ матеріаломъ, откуда въ воображеніи художника исходить та нить, изъ которой будетъ тѣаться основа его представленій. Наростаніе такого запаса основныхъ впечатлѣній продолжается только до извѣстнаго возраста; впоследствии впечатлительность притупляется и человекъ перестаетъ дополняться и обновляться, онъ уже только сопоставляетъ и сортируетъ то, что въ молодые годы прошло сквозь его сознаніе и улеглось въ памяти. Многому можно научиться въ позднѣйшемъ возрастѣ, можно не разъ даже измѣнить свои убѣжденія, утратить свою вѣру, разобрать ее какъ стѣну—камень за камнемъ, сдѣлаться совершеннымъ скептикомъ—и однакоже не быть увѣреннымъ въ себѣ, не быть обезпеченнымъ отъ насильственнаго возврата тѣхъ впечатлѣній, которыя казались уже пережитыми и забытыми. Въ силу закона объ ассоціаціи представленій, иногда пустое какое-нибудь и равнодушное съ виду обстоятельство, можетъ прикоснуться къ вещамъ минувшимъ, вызвать и обновить тотъ или другой образъ, а вмѣстѣ съ нимъ выступаетъ, какъ стертый текстъ на палимпсестѣ, и чувство, которое тотъ образъ когда-то проникало и оживляло. Бываетъ и такъ, что чувство это оказывается затѣмъ сильнѣе разума и тогда оправдывается, въ тысячу — первый разъ, басня Красицкаго о томъ мудрецѣ, что мѣрилъ сводъ небесъ, а подъ конецъ не только въ Бога увѣровалъ, но и въ привидѣнія.

Возвратимся отъ этихъ общихъ замѣчаній—къ Кондратовичу. Въ немъ сѣмя религіозное пало на доброе

поле, что запечатлѣлось въ его душѣ въ то время, такъ и осталось нестертымъ и даже ничѣмъ не заслоненнымъ. У него была и осталась вѣра, простая, прямо по катехизису, но это была вѣра художника, онъ въ ней былъ какъ въ своей стихіи, впрядалъ ее въ свои пѣсни и безъ нея не умѣлъ бы ничего произвести. Пришелъ и для него опытъ, наслушался и онъ всяческихъ сомнѣній и отрицаній, но у него они въ одно ухо влетали, а въ другое вылетали вонъ; къ аналитическому розыскиванію истины онъ не чувствовалъ ни малѣйшаго призванія, а поэтизировать самыя сомнѣнія онъ не пытался, находя ихъ негармоничными и некрасивыми; почему онъ просто—инстинктивно сторонился отъ нихъ.

Послѣ первоначальнаго курса, пройденнаго въ Несвижѣ, а затѣмъ еще въ 5-мъ классѣ Новогрудскаго уѣзднаго училища, и не смотря на то, что затѣмъ онъ тотчасъ закопался въ Мархачевѣ, а потомъ въ Залучѣ, Кондратовичъ однако вовсе не былъ лишенъ—какъ бы то казалось вѣроятнымъ—возможности познакомиться съ умственнымъ движеніемъ вѣка, съ религіозными и философскими теоріями, какія въ то время находились въ оборотѣ. Почти періодически, ежегодно, лѣтомъ появлялись въ его уединеніи перелетныя птицы—студенты университетовъ петербургскаго, московскаго, дерптскаго, и кievскаго. Содрогались стѣны отъ страстныхъ диспутовъ, въ которыхъ боролись самыя крайніе оттѣнки мысли, представлявшіеся въ самыхъ необузданныхъ борцахъ, начиная съ мистиковъ и обскурантовъ до бѣшеныхъ материалистовъ. Кондратовичъ слушалъ ихъ всѣхъ со вниманіемъ, но будучи, по своему темпераменту болѣе чѣмъ кто-либо склоннымъ къ терпимости, не могъ примириться только со страстной исключительностью и фанатизмомъ диспутантовъ. Въ 1851 году, тотчасъ послѣ общеевропейской бури, которой отголоски залетали и на Литву, Кондратовичъ писалъ Крашевскому (стр. 45): «у меня голова болитъ отъ прогрессистскихъ криковъ, мысль расходится въ стороны, не могу еще сосредоточиться».

Въ первый разъ посѣтивъ въ этомъ году Вильно, онъ описывалъ пребываніе тамъ мрачными красками (стр. 42, 43): «не зналъ я, какая жалкая рознь въ понятіяхъ господствуетъ среди насъ. *Obsturni*. Одни, съ крестомъ въ рукахъ, отгоняютъ въ адъ всякій рационализмъ, всѣ научные розыски называютъ дѣломъ сатанинской гордости. Другіе, произнося слова прогресса и братства, плюютъ на вѣру, на преданія, на все что дорого и свято... Христово имя у всѣхъ на устахъ, но христовой любви къ людямъ, ей-богу, я не примѣтилъ. Люди сами по себѣ прекрасные взаимно чернятъ и облыгаютъ себя. Благодаря моей молчаливой фигурѣ, я могъ выслушивать все и съ іезуитской улыбкой какъ будто поддакивалъ всему, но возвращаясь вечеромъ домой, я иногда плакалъ. Я имѣлъ намѣреніе поселиться въ Вильнѣ; но теперь вижу, что если бы умственно я при этомъ и выигралъ, то сердце высохло бы какъ прахъ. Я не гожусь въ діалектики»... Однако необходимость заставила его переѣхать въ Вильно, поселиться среди тѣхъ спорщиковъ и крикуновъ, между враждовавшими партіями, въ атмосферѣ насыщенной сплетнями (стр. 62, 67). Здѣсь, находясь на самой аренѣ борьбы между враждующими понятіями, а вдобавокъ сломленный и разстроенный болѣзнью, Кондратовичъ не въ силахъ былъ отогнать сомнѣній, вкрадывавшихся въ его душу. Въ 1859 г. онъ писалъ Хенцинскому (Крашевскій 172): «я пришелъ къ полному равновѣсію между сердцемъ и разумомъ, а это значить, что у меня не осталось ни того, ни другого». Но тутъ же онъ признается, что не можетъ освоиться съ состояніемъ «разсудочнаго безвѣрія», которое для него было равнозначуще съ опѣпеніемъ и утратой всякаго стимула къ творчеству. Передъ лицомъ смерти вѣра возвращается и поэтъ, снова одушевленный ею, пишетъ въ 1861 г., въ Борейковщизнѣ, одно изъ тѣхъ произведеній, которыя относятся къ періоду его болѣзни и агоніи — «*Cupio dissolvi*»; въ этомъ стихотвореніи раскрывается душа поэта и Сыро-

комля является предъ нами такимъ, какимъ онъ собственно былъ во всю свою жизнь: идеалистомъ, действомъ, стоящимъ внѣ опредѣленнаго вѣроисповѣданія, но въ высшей степени религіознымъ, въ общемъ духѣ христіанства, человѣкомъ. Эта вещица припоминаетъ предсмертные стихи Эдмунда Василевскаго: «чтожъ мнѣ, не все-ль равно, сегодня или завтра», но еще ббльшее и даже поразительное сходство имѣетъ съ послѣднимъ стихотвореніемъ Рылѣва, написаннымъ въ заключеніи, въ 1825 году, но остававшимся совершенно неизвѣстнымъ до 1872 года, когда оно впервые явилось въ печати («Девятнадцатый вѣкъ», изд. Бартенева, Москва, I. 327). Сходство тутъ — въ одинаковой по содержанію вѣрѣ и отчасти аналогичномъ положеніи, а стало быть и общимъ обоимъ поэтамъ настроеніи. Но въ данномъ произведеніи русскій поэтъ значительно превосходитъ литовскаго, судьба перваго трагичнѣе, вопль его души электрически потрясаетъ читателя, какъ послѣдняя исповѣдь и молитва. Приводимъ эти стихи:

Мнѣ тошно здѣсь какъ на чужбинѣ.
Когда-жъ покину́ плоть мою?
Ктожъ дастъ крылѣ мнѣ голубинѣ
Да полечу и почию?
Міръ цѣлый смраденъ какъ могила,
Душа изъ тѣла рвется вонъ
Ты мнѣ, Творецъ, прибѣжище и сила —
Вонми мой вопль, услышь мой стонъ,
Приними на мое моленье
Внеми смиренію души
Пошли друзьямъ моимъ спасенье,
А мнѣ грѣховъ дай отпущенье,
И духъ отъ плоти разрѣши!

Кондратовичъ же, въ своихъ стихахъ, не молится, но скорѣе философствуетъ: «на что мнѣ, о Боже, эта тѣлесная одежда, сковывающая духъ? Зачѣмъ, будучи духомъ, я осужденъ ходить въ образѣ животнаго? Развѣ слово способно выразить хотя бы тѣнь мысли? Каждое изъ чувствъ моихъ убого и лживо въ самой основѣ. Въ

каждомъ изъ нихъ лежитъ одинъ обманъ, одна помѣха душѣ для совершеннаго познанія вещей. Земныя условія плоти и костей только лишаютъ меня вѣнца независимости. Голодь и жажда, холодъ и жаръ даютъ только мѣрку нищеты человѣческой. Жадность пригнетаетъ душу къ землѣ, тщеславіе воздымаетъ грудь суетой, ненависть даетъ ножъ въ руки, любовь дѣлаетъ звѣринымъ то, что было божескимъ», и т. д. Изъ такого сознанія, у Кондратовича, какъ и у Рылѣва, истекаетъ горячее желаніе, чтобы раздѣлились двѣ, какъ они думаютъ, составныя части человѣка, чтобы разорвалась завѣса, преграждающая полетъ въ таинственный міръ— за предѣломъ міра, туда, гдѣ сіяетъ неизрѣченный и земному взгляду недоступный Богъ теологическій, освобожденный однако—у Кондратовича, какъ и Рылѣва—отъ всякихъ вѣроисповѣдныхъ особенностей, такъ какъ оба поэта восприняли посвященіе въ тѣ идеи вѣротерпимости, которыя составляютъ лучшее наслѣдіе XVIII столѣтія.

Приведенные выше образчики достаточно объясняютъ, какую огромную роль въ поэзіи Кондратовича играетъ элементъ религіозный; но слѣдуетъ нѣсколько подробнѣе опредѣлить сущность и свойства этой религіозности.

И такъ, прежде всего бросается въ глаза полное отсутствіе въ ней всякаго мистицизма. Умъ Кондратовича отличался замѣчательной трезвостью; это была—голова разсудочная, а сердце, чувствовавшее сильно, но—только вещи ясно понятія. Натура его была такъ мало расположена къ восторженнымъ видѣніямъ, до такой степени не склонна къ обращенію въ міръ сверхъестественномъ, къ розысканію въ фактахъ жизни—таинственныхъ символовъ и къ вниманію въ заключенное въ такихъ символахъ откровеніе, что на немъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда того польскаго мессіанизма, который представлялъ направленіе положительно господствующее, именно въ то время, когда Кондратовичъ наиболѣе учился и развивался. Мессіанизмъ, который опуталъ

крылья гораздо болѣе могущественныхъ талантовъ, не оказавъ никакого вліянія на Кондратовича, не ставившаго себѣ никогда иныхъ задачъ, кромѣ чисто-художественныхъ. Онъ, какъ художникъ, и бралъ чудесность, но бралъ ее готовою, именно такую, какую находилъ въ св. писаніи, или прочелъ въ старой хроникѣ, или услышалъ въ разсказѣ.

Въ этомъ родѣ—первое его, почти ребяческое произведеніе, съ котораго и начинается собраніе его стихотвореній—«Св. Садохъ» (I ч. 1845 г.); таковы далѣе «Видѣніе пустынника» (1858, IV, 53), довольно большой разсказъ «Мартинъ Студзенскій» (IV, 81, 139., 1859 г.) и множество другихъ. Кондратовичъ не всегда помнилъ, что самъ сказалъ въ «Студзенскомъ» (138), а именно, что «отчизна чудесъ, вѣра встрѣчавшая насъ на паперти, нынѣ отлетѣла изъ христіанскихъ сердець». Иногда онъ нарушалъ то обязательство, которое какъ бы заключалось въ этихъ словахъ. Напримѣръ: «Возможно-ль чудо или нѣтъ, я въ это не вхожу, но свой разсказъ веду о временахъ, когда всякъ вѣрилъ въ чудо». Если-же Кондратовичъ пытался сочинить чудесность и придумать вещи сверхестественныя, то всѣ подобные опыты оканчивались полнымъ неуспѣхомъ, то есть выходили вещи просто плохія. Къ числу такихъ слабыхъ произведеній принадлежитъ и ненапечатанное стихотвореніе, написанное на смерть Мицкевича: «Надъ Босфоромъ, тамъ, далеко, печально стоятъ люди чужіе. Вотъ крышка гроба опустилась надъ героемъ славянской пѣсни и т. д.»—въ которомъ авторъ дѣлаетъ видимыя и принужденныя усилія, чтобы подняться выше, стать какъ бы на высотѣ предмета. Въ этомъ стихотвореніи душа Мицкевича восходитъ на Олимпъ христіанскій, представляется Христу и Богоматери, а затѣмъ лучи тойже души рассылаются по вышнему велѣнію во всѣ тѣ мѣста, которыя великій поэтъ любилъ при жизни и которыя обезсмертилъ. Отъ всего этого вѣетъ холодомъ и дѣланностью, средства не соотвѣтствуютъ цѣли. Средства, дѣйствительно, были малы и не позволяли поэту создавать

своеобразныхъ воплощеній того или другого религіознаго понятія, были достаточны единственно для передачи тѣхъ впечатлѣній и чувствъ, какія, въ души простой и вѣрующей, вызываетъ самый обрядъ церковный, притомъ— обрядъ, совершаемый при самой скромной и бѣдной обстановкѣ, въ неказистой деревянной сельской церкви, гдѣ простой людъ, стоя на колѣняхъ, съ покаяніемъ вкушаетъ единый доступный ему хлѣбъ умственной жизни. Правда, и у Мицкевича есть подобное мѣсто, въ IV части «Дѣдовъ»: «ты помнишь-ли, когда тебѣ было лѣтъ десятокъ, и въ первый разъ ты въ увлеченіи духа, склонился набожно на колѣни передъ рѣшеткой алтаря. И вдругъ надъ образомъ раздвинулась занавѣска, блеснула чаша, зазвенѣлъ звонокъ. Со мной въ такую минуту душа какъ будто разставалась».—Но то чтó у Мицкевича явилось разъ только, да и то въ неизданномъ при жизни поэта варьянтѣ, то чтó онъ отожжилъ, какъ ненарушимо святое, но уже пережитое воспоминаніе изъ дѣтства,— у Кондратовича было любимой темою, которую онъ рисовывалъ сто разъ, на разные лады, не потворяясь притомъ въ самомъ описаніи. Ксендзь читаетъ по миссалу, органистъ фальшивитъ на клавиатурѣ, школьники на хорахъ перевираютъ латынь, вокругъ—закопченныя стѣны, и нагорѣвшія свѣтильни на желтыхъ свѣчахъ, вмѣсто хоругвей какія-то лохмотья, угольники въ черныхъ рамахъ по стѣнамъ, и съ креста склоняется окровавленный Спаситель, нисходящій въ посвященномъ хлѣбѣ къ алчущимъ устамъ вѣрныхъ («Великій четвертокъ», II. 278. «Школьные годы Демборога» III. 336).

И самъ Кондратовичъ въ поэзіи своей принимаетъ какъ бы личное участіе въ обрядѣ, замѣняетъ органиста, не считаетъ ниже себя «играть въ церкви, Богу во славу, и людямъ на пользу», на томъ же хрипломъ инструментѣ. Онъ переводитъ литургическіе гимны (VI. 293), сочиняетъ даже набожныя легенды къ святцамъ (VII. 65), размышленія на опредѣленные дни года (VII. 68), посвященные праздникамъ; мало того—молитвы къ святымъ

для образковъ, продаваемыхъ на мѣстныхъ праздникахъ (pardons), снабженныхъ особыми разрѣшеніями (7, 13, 21, 117, 122, 161). А между тѣмъ и въ такихъ крошкахъ, сброшенныхъ со стола поэзіи — почти уже за предѣлъ литературы изящной, есть одна черта, не позволяющая имъ утонуть въ массѣ предназначенныхъ для той же цѣли церковныхъ виршей, возвышающая ихъ высоко надъ уровнемъ простого ремесла. Черта эта — вдохновеніе, правда — не религіозное, но чисто артистическое, огонь, который Кондратовичъ самъ приносилъ съ собой въ церковь, а не бралъ съ церковныхъ свѣчекъ (Къ Зенькевичу. VII. 192).

Да, это былъ поэтъ религіозный, но вовсе не правовѣрный; для него было важно, какъ вѣруютъ массы, но онъ самъ не принималъ всего буквально, былъ даже равнодушенъ къ тому, во что именно онѣ вѣруютъ, что бываетъ всегда сомнительнымъ и неудобопонятнымъ, а во всякомъ случаѣ не можетъ быть строго доказано и защищено. Несмотря на дѣтскую почти набожность своего сердца, поэтъ нашъ пользовался однакоже всеми привилегіями человека свободномыслящаго. А въ минуты легкомысленной веселости, онъ даже позволялъ себѣ, особенно въ пріятельской бесѣдѣ, остроумныя шутки надъ разными предметами изъ среды церковной, надъ кардиналами «что съѣхались въ Парижѣ на постой чтобы избранника (Наполеона III) мастить помадою святой (стихи къ Румбовичу VI. 275)»; или надъ прелатомъ, который «учено морщить лобъ, чтобы доказать непогрѣшимость папы (VII. 182)». Точно такъ, поэтъ крайне фамиліярно обходится съ св. Софіею (VII. 280), Іоанномъ-Крестителемъ (VII. 286), или съ св. Евстахіемъ, по поводу именина ученаго гр. Тышкевича (VI. 306): «сегодня вѣдь дежурнымъ состоитъ при Богѣ — святой Евстахій. Охотно онъ съ докладомъ благосклоннымъ войдетъ о дорогомъ кліентѣ, его поддержитъ самъ своимъ авторитетомъ — святой Евстахій. И на пути твоёмъ прекрасномъ

разсѣтъ онъ щиты и шлемы, и чаны полные медовъ вѣ-
ковыхъ—святый Евстахій».

Такая вольность въ обращеніи съ вещами свойства
духовнаго, положимъ, не оскорбляетъ религіи, такъ какъ
не выходитъ за предѣлы того, надъ чѣмъ, по убѣжде-
нію поэта, позволительно подсмѣяться (къ Круповичу,
VII. 60) и не ведетъ къ колебанію вѣры въ Бога. Но она
все таки дѣлаетъ религіозныя произведенія Сырокомли
насквозь-свѣтскими. Въ нихъ нѣтъ ничего приторнаго,
подслащеннаго, ничего что бы припоминало сакристію и
ризы, онъ не пытается разжалобить орудіями страстей и
украшать терновый вѣнецъ фольгою и разноцвѣтными
бумажками. Повсюду у него чувствуется возвышенный
идеализмъ, возносящійся горѣ въ безконечныхъ обра-
щеніяхъ къ Богу, идеализмъ безъ котораго однако необхо-
дится ни одна изъ сколько-нибудь значительныхъ его
поэмъ, начиная отъ эпическихъ и кончая хотя бы пре-
лестною кантатой «Францискъ Ассизскій» (1857. Вильно
V. 81—86). Кромѣ вещей религіозныхъ по самому содер-
жанію, у Кондратовича есть еще одинъ родъ произведеній,
который даетъ намъ послѣднюю черту для характеристики
религіознаго элемента въ его поэзіи вообще. Онѣ носятъ
названіе «бесѣдъ» и представляютъ собой—драматизиро-
ванные народныя поученія, заключающія въ себѣ прак-
тическую мораль. Въ нихъ иногда самое содержаніе и
не относится къ Богу и представленіямъ церковнымъ,
но тѣмъ не менѣе онѣ запечатлѣны свойственнымъ на-
роду, истекающимъ изъ религіи, глубокимъ вѣрованіемъ
въ непосредственное дѣйствіе божескаго правосудія—еще
въ семъ мірѣ, а также въ такія вещи, какъ носящія на
себѣ проклятіе клады, чортовы сокровища, и наконецъ,—
въ то, что чѣмъ кто согрѣшилъ, тѣмъ и наказанъ будетъ.

Что Кондратовичъ не принималъ и такихъ преданій
въ смыслѣ буквальномъ, а понималъ ихъ глубже, чѣмъ
простой народъ, это доказывается хорошенькой сказкой
«Краденое (1849. Залучье, I. 53)», въ которой отецъ,
желая проучить сына, предлагавшаго ему кражу, пред-

ставляется будто укралъ вола, и съѣдая его съ сыномъ постепенно толстѣетъ, между тѣмъ, какъ сынъ, одержимый страхомъ соучастника въ преступленіи, исхудалъ какъ щепка: «тотъ волъ былъ купленъ мной, и вотъ мнѣ шло во здравье, а ты, считая себя воромъ, исхудалъ какъ собака». И такъ, одно и то же мясо одному идетъ на здоровье, а другому становится поперекъ горла, въ зависимости отъ представленія о самомъ способѣ пріобрѣтенія; словомъ совѣсть является тутъ судьей, исполнителемъ кары и самымъ воздаяніемъ за вину. Въ другомъ превосходномъ стихотвореніи того же рода, пасычникъ Ходыка, гонимый такими же Евменидами, самъ отдастъ себя подъ мечъ палача въ слупкомъ замѣѣ (1847. I. 31 — 52); въ третьемъ панъ Корсакъ проходитъ чрезъ тягчайшее, по его дворянскимъ понятіямъ, поканіе, отбывая службу работника у своего же крестьянина, зато, что убилъ его сына (1852 г. I. 300 — 331). Народъ связываетъ эти понятія болѣе вещественнымъ образомъ: палецъ Божій поражаетъ нераскаяннаго преступника чрезъ внѣшнія, будто-бы случайныя приключенія. Такъ, у Польнаго Гетмана, который допустилъ насилие солдатъ надъ крестьянами, татары сжигаютъ замокъ и уводятъ въ неволю жену съ дѣтьми (1851. I. 193); подъ клятвой знаменитаго проповѣдника Скарги, старыя ворота упадаютъ на карету, въ которой ѣдетъ измѣнникъ, сынъ почтеннаго Шелиги, и падая, «они исполнили долгъ свой» (1856. III. 1—71).

Конечно, уже самое введеніе въ дѣло своего рода механики (*deus ex machina*), для разрѣшенія нравственныхъ задачъ, свидѣтельствуетъ о нѣкоторой дѣтскости мысли, слишкомъ пеглубокой, какъ и о нѣкоторомъ недостаткѣ вкуса въ самомъ выборѣ сюжетовъ. Но это еще не все. Разъ взявъ себѣ задачею какое-нибудь народно-нравственное сказаніе, Кондратовичъ исчерпываетъ его до самой мути, находящейся на днѣ, до предразсудка, до преувеличеннаго вѣрованія въ такія напр. вещи, что преступленіе пятнаетъ и заражаетъ собой предметы не-

одушевленные, такъ что и тотъ, кто ихъ коснется невиннымъ образомъ, самъ заражается падшимъ на нихъ проклятіемъ. Такъ, когда нѣкій графъ отнялъ землю у чиншевиковъ шляхетскаго имѣнія (застѣнка), то застѣнокъ Подкова обратился въ заколдованное урочище: «Бѣда скоту, что тамъ травы сорветъ, и горе человѣку, если тамъ зачерпнетъ воды. Тотъ, кто ошибкой забредетъ въ глушь эту, заплатитъ жизнью или здоровьемъ свою неосторожность (1850. I. 143—167)». Авторъ объясняетъ въ предисловіи, что содержаніе «Застѣнка Подковы» онъ заимствовалъ изъ слышаннаго имъ мѣстнаго преданія (I. 143). Но самое это понятіе о вещи, носящей на себѣ проклятіе, должно быть, сильно срослось съ его воображеніемъ, такъ какъ поэтъ возвратился къ нему, передѣлалъ его и воспроизвелъ въ другой поэмѣ, «Кусокъ хлѣба» (1854. Вильно. II. 115—152), принадлежащей къ числу наиболѣе задушевно написанныхъ и признаваемой Крашевскимъ за образецъ мастерства (94). «Когда въ Литвѣ заѣдешь ты въ первую деревню, людъ Божій покажетъ тебѣ такой хлѣбъ, что спорится, и такой, что не спорится. Въ одномъ изъ нихъ навѣрное есть плевелы или людская обида, или слезы сиротскія. Такого хлѣба, когда его признаешь самъ въ городѣ, не покупай и не давай сосѣдамъ, не ѣшь его ни въ праздникъ, ни въ будній день: то—хлѣбъ съ проклятіемъ, адомъ вѣетъ отъ него, въ томъ хлѣбѣ гнѣздятся духи нечистые..... Горсть этого зерна брось на плоть и плоть навѣрное поидетъ подъ воду.....» Въ другомъ мѣстѣ мы отдадимъ справедливость тѣмъ красивымъ узорамъ, какіе поэтъ вышивалъ на такой канвѣ, но не можемъ не признать, что самая канва грубовата. Онъ бралъ ее непосредственно отъ народа, а у народа она составляетъ практическую сторону религіознаго вѣрованія.

Весьма вѣроятно, что еслибы Кондратовичъ ограничился воспѣваніемъ церковныхъ обрядовъ, то имя его не сдѣлалось бы столь извѣстно и вліяніе его не имѣло бы значенія. Наше время никто не назоветъ религіознымъ,

религія принадлежитъ уже къ тѣмъ элементамъ, которые заняты самообороною, мѣсто ея занимаемое въ жизни, какъ единичныхъ людей, такъ и общества, скорѣе уменьшается, нежели идетъ въ ширину, а участіе ея въ прогрессирующемъ воспитаніи общества все болѣе слабѣетъ. Но во время Сырокомли, среди цѣлей, какія себѣ ставила польская литература, быть можетъ главною было—стремленіе къ созданію великаго народнаго эпоса. Въ эту-то сторону обращались преимущественно и усилія Кондратовича. Онъ мечталъ о лаврѣ историческаго поэта Литвы и Польши, и въ произведеніяхъ своихъ, относящихся къ этому роду, онъ полагалъ главныя свои заслуги. Лишь позднѣйшее время показало ошибку, какъ самого поэта, такъ и его современниковъ. Ни апотеоза прошедшаго не могла принести тѣхъ плодовъ, какіе отъ нея ожидались, ни историческія произведенія Кондратовича не могли считаться лучшими, наиболѣе удавшимися. Его почти исключительное пристрастіе къ нимъ втеченіи извѣстнаго періода было скорѣе ошибкою въ призваніи. Дабы оцѣнить причины такихъ неуспѣховъ, мы должны возвратиться къ прерванному разсказу о его молодости и ходѣ его умственнаго развитія.

III.

Въ обществѣ культурномъ и жившемъ жизнью историческою, всегда накапливается немалое количество матеріала эпическаго, но лежитъ онъ въ скрытомъ состояніи. Онъ выдѣляется, какъ и пары въ атмосферѣ сгущаются и обращаются въ дождь или снѣгъ—при особыхъ условіяхъ. Подобное выдѣленіе оказывается обильнымъ преимущественно вслѣдъ за великими катастрофами, послѣ большихъ перемѣнъ, а особенно—политическихъ разгромовъ, когда внезапно становятся лицомъ къ лицу двѣ взаимно-враждебныя цивилизаціи, какъ будто два воз-

душныхъ теченія разной температуры, и когда вдругъ происходитъ смѣна всего, что окружало человѣка...

Послѣ такой метаморфозы, всѣ упавшія и погребенныя особенности прежняго быта еще сохраняются въ памяти и обращаются въ пищу жадно ухватывающей ихъ поэзіи, которая и занимается преимущественно раздумьемъ надъ мельчайшими чертами прежняго историческаго строя и быта. Она съ любовью останавливается надъ воспоминаніемъ о томъ, какъ люди сеймиковали и упивались, какіе вели процессы и затѣвали драки, о томъ даже — какъ они одѣвались нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ или еще давнѣе. Современники юности Сырокомли находились именно въ подобномъ плачевномъ положеніи, по распаденіи польской республики, какъ рыбы выброшенныя на берегъ, но съ той разницею, что внесенныя въ несвойственную себѣ стихію животныя умираютъ, а люди живутъ и плодятся — и въ чуждой имъ общественной средѣ, пока не приспособятся, въ третьемъ или четвертомъ поколѣніи, къ новымъ внѣшнимъ условіямъ жизни. Между моментомъ паденія прежняго порядка и той порой, когда общество успѣваетъ освоиться съ новыми, окружающими его условіями, тянется періодъ переходный, болѣе или менѣе продолжительный. Продолжительность же его зависитъ въ весьма значительной степени отъ того, какимъ образомъ къ тому же обществу относится самая та среда, съ которою его связали событія, именно, требуетъ ли она отъ людей, чтобы прежде всего, они забыли свое прошлое и затѣмъ старались приспособиться къ новому порядку вещей, или же, наоборотъ, старается облегчить имъ сперва такое приспособленіе, причемъ не исключается надежда, что они, вслѣдствіе того, сами забудутъ о временахъ минувшихъ.

У Сырокомли есть одно прекрасное мѣсто («Сеймъ Люблинскій». III. 301. 1857 г.), въ которомъ рельефно указано на трудности, представляющіяся при сліяніи: «Племя, народъ-ли, всякъ языкъ особые нравы ведетъ отъ отцовъ, иные законы сборной жизни имѣетъ, по сво-

ему бьется въ немъ сердце. Многого-многого нужно при сліяніи двухъ отдѣльныхъ племенъ, чтобы сравнялся обычай, чтобы сердца стали бить однимъ тактомъ! Лишь потомъ, когда, встрѣтаясь съ собой, воды текуція изъ двухъ руслъ ударятся вмѣстѣ о камни, и сольются въ борьбѣ и побѣдѣ, лишь тогда двѣ рѣки соберутся въ союзномъ теченіи. Только прожитая вмѣстѣ доля и недоля соединяютъ два разныхъ племени».

Переходный періодъ имѣетъ свои особенныя черты. Тѣ люди, которые его на себѣ не испытали, живутъ болѣе въ настоящемъ и въ ближайшемъ будущемъ, мысль ихъ занята цѣлями практическими и безъ особаго умственнаго напряженія эти люди не могутъ даже сознавать, какъ прочно въ нихъ самихъ еще сидитъ человѣкъ прежній, мало, да и то скорѣе по внѣшности, отличный отъ современнаго. Наоборотъ, для человѣка, находящагося въ періодѣ переходномъ, все окружающее представляется чужимъ, а потому онъ и не забываетъ ни на минуту своего сходства съ прежнимъ первообразомъ, видя всю разницу съ нимъ лишь въ отсутствіи благоприятной среды, въ неимѣніи соотвѣтственнаго поля для дѣйствія и для примѣненія своихъ способностей. Конечно, со временемъ, приобрѣтаются новыя навыки и свойства, заступающіе мѣсто прежнихъ. Но прежде, чѣмъ такая перемѣна совершится, новыя привычки еще незамѣтны, и самый переходъ отъ стараго къ новому представляется сознанію какъ постепенный отплывъ силы, какъ вырожденіе и измельчаніе—откуда истекаетъ чувство скорбное, а съ нимъ вмѣстѣ—и особливая привязанность къ воспоминаніямъ и остаткамъ старины.

Пѣсня, какъ вѣюнокъ, оплетаетъ руины, воображеніе приростаётъ къ старымъ развалинамъ и пепелищамъ, отыскивая въ нихъ укрытыхъ сокровищъ. Это общее настроеніе, которое у насъ, въ польской литературѣ, произвело «Пана Тадеуша», рапсоды и бесѣды Поля, рассказы и повѣсти Г. Ржевускаго, романы Качковскаго и безконечное число литературныхъ вещей меньшаго

значенія, само, у источника своего, сливалось съ господствовавшимъ въ западно европейскихъ литературахъ теченіемъ, съ романтизмомъ, съ возвратомъ къ среднимъ вѣкамъ, съ вальтер-скотизмомъ. Выразилось же оно во множествѣ различныхъ оттѣнковъ, начиная отъ титанической борьбы съ судьбой, за какую брались духи великіе и пламенные, сродные Байрону, и отъ мистическаго порыва крыльевъ къ Богу—въ надеждѣ чуда,—и кончая такими поэтическими опытами, которые имѣли цѣли исключительно-художественныя, не заботясь о дальнѣйшихъ, практическихъ результатахъ.

Внѣшнія обстоятельства продляли непомѣрно дѣйствіе этого мечтательства, обращеннаго назадъ, продляли тѣмъ, что воздвигали неодолимыя преграды наступленію времени лучшаго. Жизнь общественная была слаба, возможности коллективной работы не было почти вовсе—даже хотя бы на полѣ промышленности; хозяйство-же было главнымъ образомъ сельское и велось оно, притомъ, посредствомъ барщины. Дворянинъ — помѣщикъ, при такихъ условіяхъ, и при возраставшей конкуренціи, измѣнялся и превращался въ вооруженнаго бичемъ плантатора. При отсутствіи дѣятельности сборной, оставалась только единичная; прежнюю общественную службу, къ какой вѣками привыкло цѣлое сословіе, можно было продолжать лишь въ одиночку, да и то — развѣ на полѣ литературномъ, Кондратовичъ уже вступилъ на это поле и вотъ какъ онъ выражаетъ эту мысль въ заключеніи «Застѣнка Подковы» (1850 г.), откуда мелкая шляхта, привыкшая прежде къ бою и сеймикованію, пошла по-міру, утративъ землю. Проѣзжіи говорить шляхтичу, обратившемуся въ нищаго: «не кручинься, старичокъ; вы еще потребуетесь на свѣтѣ, правда, уже не на сеймикъ, съ саблей у бока, но—съ головой на плечахъ, съ перомъ въ рукѣ. Свѣтъ это—поле широкое, и хлѣба на немъ на всѣхъ хватитъ; только учиться надо и надо—работать».

Такъ, и самъ Кондратовичъ вступилъ на поле ли-

тературное. Среди стѣсненныхъ условій, литература представляла собой линію наименьшаго сопротивленія, и онъ пошелъ по этой линіи. Его несла впередъ волна общественнаго настроенія, главной чертой котораго была именно влюбленность въ идеализируемое прошедшее. Согласно съ духомъ своей эпохи, Кондратовичъ представлялъ себѣ людей этого прошлаго въ видѣ великановъ ростомъ въ нѣсколько сажень, которые, если бы ожили, то смотрѣли бы на насъ съ сожалѣніемъ и презрѣніемъ (VI. 138), а сами представлялись бы величаво, какъ рыцарская могила среди деревушки бѣдняковъ (III. 136). Посредствомъ разныхъ пріемовъ пытался онъ объяснить это восторженное отношеніе къ давнимъ временамъ, но всѣ основанія, какія онъ приводилъ были слабыя, ребяческія.

«Что ни шагъ—въ Литвѣ событій можно слѣдъ найти:
Холмъ-ли, груды-ли развалинъ, крестъ-ли на пути,
Столбъ, часовня или даже постоянный дворъ,—
Все здѣсь памятникъ старинный и съ давнишнихъ поръ
Любопытнаго такъ много о Литвѣ даетъ...»

Поэтъ ставитъ наивный вопросъ—отчего это у насъ не было запорожскихъ бандуристовъ, шотландскихъ бардовъ или греческихъ рапсодовъ? («Демборогъ» I. 67—68).

. А для струнъ пѣвца
Что за творческое поле, поле безъ конца—
Пѣтъ кресты, курганы наши и гробы князей
Отъ Мендоговой эпохи и до нашихъ дней.
Отъ старинной Кревской башни, гдѣ Кейстутовъ прахъ,
И до Припечи и Щары, гдѣ на берегахъ
Рядъ крестовъ поутонувшихъ въ глубинѣ рѣчной
Чудныхъ розсказней по селамъ вызываетъ рой.
Сколько сладости волшебной есть въ сказаньяхъ тѣхъ!
Въ нихъ порою скорбь и слезы, а порою смѣхъ....
Оживи послушной пѣснью рай минувшихъ дней
И тайникъ души литовской развернется въ ней!

Само собою разумѣется, что не только крестъ надъ утопленникомъ, но даже кухонные остатки и свай над-

водныхъ жилищъ — чрезвычайно любопытны, а каменные стрѣлы или черепки отъ горшковъ—изъ того же первобытнаго періода—драгоцѣннѣе, пожалуй, чѣмъ кирпичи отъ королевскаго замка. Самая мелкая частность получаетъ огромное значеніе, если она повторялась миллионами людей, втеченіи сотенъ лѣтъ и выросла затѣмъ въ фактъ историческій, который относится къ быту общества и представляетъ иногда большій интересъ, чѣмъ смерть героя или перемѣна династіи. Но Кондратовичъ нисколько не заботится объ извлеченіи такихъ бытовыхъ основъ изъ памятниковъ исторіи. Для него всякій памятникъ—только знакъ, вызывающій воспоминаніе объ умершихъ, которые жили и страдали, а все, что люди перечувствовали можетъ быть предметомъ пѣсни. Такимъ образомъ, каждый черепокъ, камушекъ или щепка могутъ быть перекристаллизованы въ алмазъ, и если это не дѣлается, то виной тому—неохота и неспособность пѣвцовъ, которые, еслибы они явились, имѣли бы изъ чего создать у насъ эпосъ, неуступающій эллинскому, или вальтер-скоттовскія баллады и поэмы. Да, собственно говоря, даже и таланта тутъ не требуется, лишь бы именно была охота. «Положите—говорить поэтъ—подъ микроскопъ души головку бабочки или людское сердце, слезинку чѣмъ стекла изъ скорбныхъ глазъ, иль сорванный съ литовскаго поля цвѣтокъ—и расскажите вы правдиво и точно блескъ каждой краски, каждое содроганіе сердца, движеніе каждое мельчайшаго атома, и пѣсня ладно сложится сама собою («Кусокъ хлѣба» II. 117)».

Но если это такъ, если, помощью приема, котораго тайну чародѣй унесъ съ собой въ могилу, возможно извлечь пѣснь изъ каждой травки, изъ глаза мухи и изъ всего, чѣмъ играетъ великая космическая жизнь, то затѣмъ казалось бы, что пепелища и могилы должны уже занимать въ творчествѣ лишь второстепенное мѣсто; что едва ли стоитъ изъ самыхъ лѣтописей вычитывать о всемъ, что перенесли люди умершіе, когда гораздо легче

производить наблюдение надъ всѣмъ живымъ. Однакоже поэтъ держится иного мнѣнія. Приведемъ мѣсто изъ Маргера (II в.): «Гдѣ ты, святое прошлое земли родной, съ героями твоими и богами, и съ арфами пѣвцовъ, сыновъ твоихъ? Какъ сновидѣніе ты пронеслась надъ свѣтомъ и нынѣ кто сумѣетъ прочесть тебя по старосвѣтской книжкѣ или на древнемъ кирпичѣ? Кто истолкуетъ жизнь ту, замкнутую въ знакѣ, кто правду извлечетъ изъ пересказа басенъ?» Здѣсь задача для поэзіи опредѣлена уже совершенно иначе: прошлое поставлено какъ таинственный сфинксъ на пьедесталѣ, и цѣлью поэта оказывается уже не воскрешеніе дѣлъ единичныхъ людей, пріемомъ анекдотическомъ, но—раскрытіе общаго смысла, замкнутаго въ совокупности народной исторіи, однакоже доступнаго научному, методическому изслѣдованію всей этой совокупности. Между тѣмъ, такая нетвердость, измѣнчивость во взглядахъ Кондратовича на цѣли поэзіи и въ его предпочтеніяхъ, хотя и обнаруживаетъ слабость въ разсужденіи, объясняется весьма просто. Дѣло въ томъ, что пристрастіе къ прошедшему, влюбленность въ это прошедшее являлись у Кондратовича лишь частицей того сильнаго и горячаго чувства, которое охватывало его со всѣхъ сторонъ, господствовало въ душѣ его безраздѣльно, проникало его до мозга костей. Этимъ безграничнымъ чувствомъ была у него любовь къ родному краю, какъ къ необходимой ему стихіи, внѣ которой ему казалось невозможнымъ дышать и существовать.

Въ этой то привязанности для него дѣйствительно, и соединялось все—и травка, и вѣтеръ, и воспомина- нія, и обычай. Въ «Ночлегъ Гетмана» (III. 13 в.) старый Дершнякъ спрашиваетъ Григорья Сулиму: знаешь ли, что такое родина?

. Частью жизни, крови
Родину святую старики зовутъ,
За нее дерутся и на смерть идутъ
Весело... Отчизна! Это—домъ твой, хата,
Крыша, подъ которой росъ ты, жилъ когда-то.

Пашня—хлѣбъ насущный твой въ голодный годъ,
Рѣчка, гдѣ ты лѣтомъ плавалъ безъ заботъ,
Это—очи милой, это другъ сердечный,
Это наше небо съ дольюй безконечной,
Тѣнь родного сада, старый дубъ и кленъ,
И взовущій въ церковь колокольный звонъ.
Это—долгъ твой, воля, сила молодая
И отца родного борода сѣдая....
Вотъ что значить это слово—край родной,
И въ частицахъ мелкихъ, и въ семьѣ одной!

Еслибы пришлось разложить это многостороннее чувство, то на днѣ его оказались бы первобытныя впечатлѣнія, навѣяанныя принѣманской природой. «Я тѣ дуга по аромату знаю и воду ту отгадаю по вкусу, не обманетъ меня пѣніе птицъ иныхъ, по шуму я узнаю лѣсъ принѣманскій, и легкими своими различу я вѣтеръ съ мѣстъ родныхъ («Кусокъ хлѣба» II 130)». Авторъ самъ открываетъ намъ способъ зарожденія своихъ представленій и первоначальное ихъ сцѣпленіе, оставшееся затѣмъ навсегда: «по вкусу хлѣба этого и запаху, я чувствую вдалекѣ, надъ Нѣманомъ полянку боровую, даже каплицу вижу тамъ на ней, соломой крытую и колокольчикъ слышу, что звенить вверху (II 130)».

Къ впечатлѣніямъ семейства физическаго, прибываютъ, какъ новыя колѣнца на стеблѣ, представленія деревни, праздника, корчмы, школы, крестьянскаго скуднаго добра и шляхетскаго стѣсненнаго быта; наконецъ,росло и третье колѣнцо, выше памяти о полѣ и деревнѣ—сказки, народныя преданія и повѣрья, анекдоты, воспоминанія связанныя съ крестомъ на дорогѣ, съ развалинами старой башни, съ такимъ-то домомъ или костеломъ, и представленія, сросшіяся съ этими предметами. А такъ какъ самую эпоху отличало общее стремленіе къ собиранію возбуждающихъ воспоминанія вещей и къ сложенію изъ нихъ народнаго эпоса, то Кондратовичъ и принялся съ увлеченіемъ за это народное дѣло. Но, чтобы быть въ состояніи совершить его, кромѣ врожденнаго таланта, необходимо еще и знаніе, а его-то Сырокомля

и не имѣлъ, такъ какъ былъ самоучкой, образовалъ себя самъ, способомъ оригинальнымъ и страннымъ, какъ нынѣ никто не учится.

IV.

Когда состоявшія при монастыряхъ школы были закрыты, Кондратовича отдали въ уѣздное училище въ Новогрудкѣ; отсюда, окончивъ пятый и послѣдній классъ, 15-ти лѣтній мальчикъ былъ обращенъ отцомъ къ хозяйственнымъ занятіямъ, къ которымъ оказался совершенно неспособенъ; природа влекла его къ книжкѣ, какъ волка въ лѣсъ. Тогда отецъ, мелкій радзивилловскій арендаторъ, отдалъ Людовика, осенью 1847 г., въ главную контору радзивилловскихъ имѣній, помѣщавшуюся въ развалинахъ несвижскаго замка. Кондратовичу было уже 19 лѣтъ; робкій и неловкій, пришелъ онъ съ отцемъ, старосвѣтскимъ шляхтичемъ, въ княжеское управленіе и, глядя на отца, повторялъ его поклоны и жесты. Съ канцелярской работой юноша вскорѣ освоился. Веселаго нрава, способный, остроумный, сыпавшій стихами, Кондратовичъ понравился товарищамъ, старшіе изъ нихъ: Добровольскій, Рихтеръ, Контковскій, открывъ въ молодомъ человѣкѣ большія дарованія, старались склонить его къ болѣе серьезнымъ занятіямъ. Легко дававшіеся стишки не имѣли цѣнности, такъ же, какъ и пародіи, переложенія и подражанія сонетамъ крымскимъ Мицкевича въ «сонетахъ несвижскихъ» (VI 135—159). Вскорѣ пришла и любовь, къ которой поэтъ былъ склоненъ еще съ первыхъ юношескихъ годовъ. Глазки 16-ти лѣтней Паулины Митрашевской покорили сердце немногимъ старше ея Кондратовича. Недолго думая, молодые люди повѣнчались, не имѣя ничего за душой, а такъ какъ надо было подумать о ихъ будущемъ, то отецъ уступилъ имъ аренду подъ Миромъ, въ Залучѣ надъ Нѣманомъ. Впрочемъ, женитьба не оправдала мечтаній поэта; жена

его была женщина добрая, но простая и прозаичная, не подходившая къ идеалу; дѣтей же родилось пятеро.

Казалось бы, что женившись и похороня себя въ глуши, Кондратовичъ закрылъ предъ собой всякую будущность. Между тѣмъ, вышло иначе: въ этомъ уединеніи, работая надъ своимъ образованіемъ, поэтъ втеченіи девятилѣтія (1844—1853) значительно развился; уединеніе «учительница великихъ людей (Мицкевичъ)» послужило ему въ пользу. Войдемъ въ тотъ старый домъ, съ кривыми, влѣзшими въ землю стѣнами, съ крышей, покрытой цвѣтущимъ мхомъ («О старомъ моемъ домѣ» VI 177—182. Въ Залуччи. 1847 г.): двѣ горницы—одна для семьи, другая, кирпичнаго цвѣта, составляла для поэта цѣлый университетъ; тутъ находились столъ съ бумагами—«тронъ силы» и шкафъ съ книгами («гибель моя и мое счастье»). Здѣсь-то, вглядываясь въ каминъ или въ нитки паутины, сноваль Кондратовичъ и свои мысленныя нити, также «легкія и слабыя, какъ паутина». Тѣ книжки, изъ коихъ онъ добывалъ свою умственную пищу были старыя, заброшенныя, никѣмъ въ то время уже не читавшіяся; ключъ къ нимъ далъ ему пріобрѣтенное у доминикановъ основательное знаніе латинскаго языка. Въ ряду этихъ «покойныхъ» книгъ, первое мѣсто занимали польскіе и польско-латинскіе поэты XVI и XVII вѣковъ. Усидчивымъ трудомъ—перевода великихъ мастеровъ золотого вѣка Сигизмундовъ, Ягеллоновъ: Кохановскаго, Клѣновича, Сарбѣвскаго—Кондратовичъ какъ бы воспринялъ крещеніе въ духъ европейскаго Возрожденія, изощрилъ на немъ и на нѣкоторомъ знакомствѣ съ классической древностью свой вкусъ и выработалъ языкъ, которымъ впослѣдствіи владѣлъ мастерски, хотя до самаго конца не могъ отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ провинціализмовъ и даже руссизмовъ. Переводилъ онъ не только поэтовъ, но и сухихъ историковъ; разбиралъ старыхъ, просматривалъ и новыхъ, затверживалъ, подаренную ему при свадьбѣ, исторію литературы Вишневскаго, которую цѣнилъ какъ величайшее сокровище (Крашевскій 15); собиралъ кое-

какія археологіческія свѣдѣнія, изъ которыхъ впослѣдствіи произошли его «Поѣздки» и собирався самъ написать исторію польской литературы. Само собою разумѣется, что при такихъ условіяхъ, въ какихъ онъ работалъ эта исторія могла быть только компиляціею, украшенною немногими самостоятельными чертами, какія можетъ прибавить каждое изученіе наново извѣстныхъ и приведенныхъ уже въ систему подлинниковъ.

Недостаточность такого образованія очевидна. Будучи совершенно неметодичнымъ, оно шло навыворотъ: не отъ общихъ, принятыхъ въ данное время началъ—къ частностямъ, но отъ мельчайшихъ подробностей—къ общимъ началамъ, которыя Кондратовичъ долженъ былъ угадывать и порою дополнять. Въ сороковыхъ годахъ господствовала въ преподаваніи нѣмецкая метафизика, перенесенная на нашу почву Трентовскимъ, Кремеромъ, Либельтомъ. Каждому изъ насъ вкладывали въ ротъ разжеванную, готовую исторіософическую систему, въ которой исторія начиналась не такъ какъ теперь—отъ праотцовъ каменнаго вѣка, но всетаки издалека—отъ Индіи и Китая, и выражала собой рядъ эволюцій въ три темпа—«абсолютнаго духа», оканчивавшійся на культурѣ германской—вѣнцѣ мірозданія. Намъ хотѣлось немногаго: только прибавить къ разыграннымъ эволюціямъ еще одну, новую, которая бы представлялась въ будущемъ—народами славянскими. Хорошо теперь смѣяться надъ «абсолютнымъ духомъ», надъ фатализмомъ *des Werden's*, надъ искусственной группировкой фактовъ исторіи, надъ соединеніемъ ихъ въ тройки тезъ, антитезъ и синтезъ. Польза однако отъ этой исторіософіи была въ свое время большая, такъ какъ система эта соединяла огромный запасъ свѣдѣній, сгруппированныхъ съ такой точностью, что отсюда явствовало основное единство всемірной исторіи, и теченіе жизни каждого народа представлялось ясно отъ начала до конца, какъ ходъ развитія сборнаго организма, который принадлежалъ къ еще большому цѣлому.

Исторіософія давала возможность сразу ориентироваться въ громадной совокупности фактовъ, она открывала въ этомъ лѣсу далекія просѣки, ставила путевые столбы, а историческому поэту давала готовый фонъ для его картинъ. Такъ какъ надо было предполагать, что духъ народа и вѣка, однажды опредѣленный этою исторіософіею, извѣстенъ всѣмъ, то поэту было позволительно прямо вводить дѣйствующія лица, ограничася немногими вступительными чертами. Но Кондратовичъ не проходилъ этой школы, а усердное собираніе по крупнымъ мелкимъ историческимъ подробностямъ въ ближайшей окружности могло дать ему развѣ значеніе уѣзднаго археолога—какимъ онъ представляется въ своихъ «Поѣздкахъ»—или компилятора—какимъ онъ является въ своей «Исторіи литературы». Взавшись за историческую поэму, Кондратовичъ признавалъ необходимымъ сперва загрузнтовать фонъ картины, описать подробно эпоху; но такъ какъ историческія его свѣденія были среднія, такъ какъ онъ зналъ только то, что вычиталъ въ трудахъ позднѣйшихъ, или то, что во всякомъ случаѣ, уже послужило матеріаломъ для такихъ работъ, а стало быть было уже извѣстно, то и его описанія эпохъ, занимающія иногда цѣлыя страницы, представляютъ, по большей части, только реторику, то есть украшенное изложеніе истинъ весьма извѣстныхъ, являются картинной и остроумной, но совѣмъ излишней ихъ перифразой.

Приводимъ нѣсколько примѣровъ въ доказательство предшествующаго положенія. Въ «Янкѣ Могильникѣ» — поэмѣ написанной въ 1856 г., т. е. въ лучшую эпоху, Кондратовичу пришлось дать характеристику близкаго, хорошо извѣстнаго Наполеоновскаго времени. Спрашивается, развѣ не чистѣйшая реторика—все то мѣсто, гдѣ «диктаторъ галловъ» представляется какъ творящій самъ великую историческую поэму: «отдѣлы войскъ — его слова, вооруженные ряды — огненные его фразы. Тактъ сердца его — громъ орудій, а хартіей ему — полсвѣта. И слово каждое, и каждый оборотъ кнѣгли

такъ, какъ мысль художника, горѣли огнемъ человѣческой мысли (III 87)... И между тѣмъ, «то былъ обычный путь, которымъ идетъ титанъ, чтобы стать полубогомъ». Если бы здѣсь не была вставлена фраза «диктаторъ галловъ» и нѣсколько географическихъ терминовъ какъ-то о переходѣ Альповъ и Пиренеевъ, о пирамидахъ и т. д. то можно было бы теряться въ догадкахъ, котораго собственно изъ завоевателей новыхъ временъ (такъ какъ упоминается артиллерія) должно изображать это описаніе, оканчивающееся моралью во вкусѣ проповѣдей: «и пѣснь великая огня, крови и дѣла, мыслью не вышла за предѣлы толпы» — потому что была внушена гордостью, а гордость не можетъ создать вещей, отмѣченныхъ божественной искрою, все равно «беретъ-ли словесныя болѣе блѣдныя краски, или картечью разрываетъ воздухъ».

Можно проклинать геній за то, что дѣла его были не — благотворныя, не — божескія, но произносить такое сужденіе, что мысль генія не вышла за предѣлы толпы, значитъ — противорѣчить собственному признанію за тѣмъ же лицомъ характера геніальности и титаничности.

Обратимся къ пропущенному болѣе отдаленному, къ XVI вѣку, который Кондратовичу такъ нравился и былъ ему лучше другихъ извѣстенъ. Въ «Стеллѣ Форнаринѣ» есть длинное описаніе, которое должно служить характеристикой эпохи Возрожденія (IV 4—9), но состоитъ изъ общихъ мѣстъ или изъ понятій ошибочныхъ, ни мало несоотвѣствующихъ тому преклоненію предъ нагимъ человѣческимъ тѣломъ, тому языческому взгляду на природу, наконецъ тому какъ-бы захвату религіи искусствомъ, противъ котораго, какъ противъ кощунства, заявила свой горячій и мрачный протестъ Реформація. У Кондратовича же, послѣ рутиннаго изображенія сперва господства римскихъ цезарей, затѣмъ — рыбаля ладѣ Петровой, оказывается, что чудеса и отлученія, перо философовъ и талантъ художниковъ были провиденціальными ору-

діями господства церкви: «свѣтъ засіялъ надъ камнемъ Петровымъ и народились міру геніи искусства».

При такомъ фальшивомъ усвоеніи всему искусству эпохи Возрожденія—характера церковнаго, между тѣмъ, какъ искусство это весьма мало религіозно, даже въ самомъ Рафаэлѣ, и самые предметы изъ сферы церковной изображаетъ не въ религіозномъ духѣ, — всѣ великіе мастера должны оказаться похожими другъ на друга. Леонардо и Рафаэль, Луини и Буонаротти, точно такъ, какъ Фра-Анжелико, становятся воплощеніями божескаго духа, въ предѣлахъ ученія Церкви, и во славу ея. «Изрекъ духъ божій—и въ міръ явился Рафаэль Урбинскій». Но такимъ образомъ изъ характеристики улетучивается духъ Возрожденія, и остаются въ ней однѣ риторическія фразы безъ внутреннаго значенія.

Если Кондратовичу не удалась картина Возрожденія, то оцѣнка Реформаціи у него вышла крайне поверхностная («Перемышльскій каноникъ». 1851 г. I. 211, 238). Реформація у него объясняется своеволіемъ дворянства — ставъ наравнѣ съ королевской властью, дворянство не церемонится и съ властью божеской—и съ фанатизмомъ женевскихъ и виттембергскихъ проповѣдниковъ, гласящихъ, что они восприняли всю премудрость Божію. Отъ Лютера и великихъ отступниковъ поэтъ отдѣляется слишкомъ легкимъ способомъ, какъ патеры въ проповѣди: «черту любви святой они стерли въ себѣ, и не ея бальзамъ, но жолчь имѣютъ въ сердцѣ, и на устахъ ихъ брань, и гордость на челѣ». Общими мѣстами въ этомъ родѣ исполнены всѣ произведенія Кондратовича, имѣющія претензію на значеніе историческихъ. Есть въ числѣ ихъ и такія, которымъ нельзя сдѣлать иного упрека, кромѣ того, что они—совершенно излишни. Это—тѣ, въ которыхъ преподается, на нѣсколькихъ страницахъ, просто риетованная лекція изъ исторіи, съ одной стороны вовсе не нужная по ходу разсказа, а съ другой не дающая ровно ничего болѣе, чѣмъ любой учебникъ («Селеніе Любранецъ». I. 202; въ этомъ стихотвореніи,

строфа XI о Болеславѣ Кривоустомъ, какъ будто прямо взята изъ «Историческихъ пѣсенъ» Нѣмцевича). Картины Польши при Пястахъ въ «Послѣднемъ изъ Топорчиковъ (III 125)» и Запорожье—въ эпилогѣ «Ночлега Гетмана (III. 180)» непрятно дѣйствуютъ своей банальностью. Скарга, время Яна—Казимира въ «Старыхъ Воротахъ (III 57, 59)», соперничество Лещинскаго и Августа III—въ «Старостѣ Копаницкомъ (III, 47)» представлены растянута, скучно, безвкусно. Въ самомъ «Маргерѣ», несмотря на старательную обработку стиля, собственно историческій фонъ сдѣланъ сѣро, потому что недоставало живости самымъ идеямъ. Положимъ, Янъ изъ Мельштина, посолъ Казимира Великаго; дѣйствительно былъ отпущенъ ни съ чѣмъ изъ Мариенбурга, это—знаменательный фактъ въ исторіи Длугоша и въ событіяхъ польской дипломатіи. Но когда поэтъ посвящаетъ цѣлую пѣснь на описаніе одного церемоньяла при отпускѣ этого посла, то въ читателѣ, при наилучшихъ намѣреніяхъ, она не возбуждаетъ интереса, какъ его не заняло бы переложеніе въ стихи вѣнскаго трактата, лайбахскаго или парижскаго конгресса.

Возьмемъ изъ этой пѣсни двѣнадцать плавныхъ и гладкихъ стиховъ: «Покинувъ стражу предъ Господнимъ гробомъ, разсѣлся инокъ на княжой столицѣ, и мечъ испробовавъ въ благочестивой службѣ, сталъ нынѣ хищникомъ чужихъ владѣній. Онъ надъ сосѣднею Литвой, надъ Прусомъ и надъ Ляхомъ, съ угрозой держитъ мечъ, увѣнчанный крестомъ. Всѣ силы алчности, гордыни непреклонной гнѣзятся въ сердцѣ богача—монаха. Тотъ, кто принялъ покорности обѣтъ—теперь могуществомъ царей превыситъ хочетъ; чудовищную грудь вздымаетъ высокъ лишь жажда власти, золота и наслажденья».... Стихи Кондратовича звучны и легки, но если этотъ образъ разложить на единичныя черты, то не получится ни одной, которая бы не была зауряднымъ «общимъ мѣстомъ», такъ что въ сравненіи съ этой тканью изъ поэтизированныхъ нитей, красивѣе представляется про-

заическая иллюстрація Шайнохи, гораздо лучше даже рассказъ Длугоша, а нечего уже и упоминать о «Валленродѣ», изъ котораго Кондратовичъ позаимствовалъ всѣ краски, нужныя ему для «Маргера».

Вообще рассказы и описанія у Кондратовича приторны, но еще приторнѣе тѣ нравоученія, какими они сопровождаются. Онъ считалъ обязанностью не только очерчивать физиономію вѣка, но еще истолковывать историческія событія, и не только истолковывать, но какъ бы раскусывать ихъ и подавать читателю заключающійся внутри ихъ нравственный смыслъ въ родѣ поученія для потомства. Конечно, такая задача, если она исполняется надлежащимъ образомъ, можетъ имѣть высокое значеніе. Но для этого, самая точка зрѣнія на событія должна быть взята гораздо выше; сверхъ того, здѣсь необходимо обширное знаніе, знакомство съ законами роста и упадка общества, съ тѣмъ, что на языкѣ нынѣшняго позитивизма называется статическими условіями быта, отъ которыхъ зависитъ дѣятельность всѣхъ членовъ организма и самая его прочность. Если смотрѣть съ высоты научной, то въ событіяхъ наиболѣе рельефно выступаютъ самыя массы, а не единичныя личности; вліяніе этихъ единицъ, съ ихъ добрыми и злыми намѣреніями, представляется тогда мелкимъ, незначительнымъ; въ усиліяхъ, совершаемыхъ массами проглядываютъ иныя, неизмѣнныя причины дѣйствія, всегда производящія сходные результаты, причины, кроющіяся въ самыхъ организмахъ и болѣе глубокія, чѣмъ свободная воля отдѣльныхъ личностей или сословій, и хотя бы даже самыхъ племенъ и народовъ.

Когда тѣ условія, которыя произвели извѣстное зло выказаны, то роль какъ науки, такъ и поэзіи, которая пользуется наукою, уже окончена. Остальное дополнить читатель, и самъ же извлечетъ нравственный смыслъ изъ того, что случилось, самъ сознаетъ этотъ смыслъ такъ ясно, что можетъ даже пожертвовать жизнью на защиту коренныхъ условій быта своего народа или при-

ложить всё усилія къ тому, чтобы ослабить дѣйствіе тѣхъ причинъ, которыя угрожаютъ разложеніемъ организма. Когда задача историческаго изслѣдованія поставлена такимъ образомъ, то анализъ личной вины того или другаго дѣятеля является уже дѣломъ второстепеннымъ, нужнымъ только въ смыслѣ представленія иллюстрированныхъ примѣровъ въ подтвержденіе основныхъ тезъ изслѣдованія. Кондратовичъ смотрѣлъ на дѣло совершенно иначе; онъ даже не догадывался, что рядомъ съ вопросами общественной динамики, представляются и прежде всего требуютъ разрѣшенія вопросы статики, что главные недостатки заключались не въ тѣхъ или другихъ функціяхъ общественныхъ органовъ, но въ самомъ составѣ общества. Онъ не сознавалъ, что іезуиты не могли не преслѣдовать Ацерна (II. 234), что лехитъ не могъ, при данныхъ условіяхъ быта, не остаться самовольнымъ, магнаты не могли не спекулировать староствами, а нисшее дворянство не предаваться разгулу и колебать имъ все (Т. 54); что польскій сеймъ въ половинѣ XVIII вѣка не могъ быть инымъ, какъ 'именно бурнымъ и слѣпымъ; самымъ естественнымъ и роковымъ образомъ происходило, что «сенаторъ деньги копилъ въ сундукѣ, монахъ сталъ гордъ, разбогатѣвъ безъ мѣры, а шляхтичъ на подати гроша не давалъ».

Въ простотѣ своей души, Кондратовичъ вѣритъ, какъ, впрочемъ вѣрили и его предшественники, начиная отъ Кохановскаго, что главной бѣдой было размягченіе нравовъ: «сарматъ сошелъ съ пути предковъ (I. 54). Въ чистой любви и въ вѣрѣ горячей скрывалась тайна дѣлъ могучихъ; не по плечу мы тѣмъ людямъ великимъ, что Богу давали всю вѣру, а родинѣ всю любовь (III. 188)». Согласно съ такой душевной простотой, Кондратовичъ все содержаніе исторіи видитъ въ ошибкахъ и винахъ единичныхъ сословій, вѣковъ и поколѣній, заключая по-богословски отъ ихъ прегрѣшеній къ объясненію бича Божьяго, казнящаго народы (I. 53). Гораздо яснѣе однако, чѣмъ въ своихъ историческихъ

поэмахъ, Кондратовичъ выразилъ свое пониманіе польской исторіи въ одномъ изъ красивыхъ по формѣ, произведеній, носящемъ заглавіе «Старопольскія рораты» (1858 г. Вильно ¹⁾). На алтарѣ стоитъ семираменный свѣтильникъ; представитель каждаго звена польскаго государства или республики: король, примасъ, сенаторъ, землевладѣлецъ, воинъ, мѣщанинъ и крестьянинъ, по очереди, зажигаетъ на томъ свѣтильникѣ свѣчу, представляющую основную добродѣтель соотвѣтствующаго положенія или сословія (status) ²⁾. Когда нравы въ республикѣ испортились, свѣтильникъ покрылся ржавчиной и положеніе всѣхъ сословій измѣнилось: «на руки королей крѣпкія вложены узы, угасло въ пастыряхъ усердіе святое, сенаторы «братъевъ» поятъ, а дворянство думаетъ только о конфедераціяхъ. Воинъ сталъ притѣснять тѣхъ, кого защищалъ, купца разорила лихва, крестьянинъ захудалъ, ставъ рабомъ господскаго двора; и вотъ труба ангела позвала всѣхъ на судъ Божій». По отдѣлкѣ «Старопольскія рораты» похожи на отшлифованный камень, хотя—камень не особенной цѣнности.

Приведемъ еще мѣсто въ томъ же родѣ изъ «Старыхъ воротъ» (Борейковщина, 1856 г., III. 47), гдѣ говорится, что тягчайшимъ грѣхомъ пропедшаго была «свобода», но свобода дурная, а не та, законная, какая дана Богомъ «и мысли человѣка, и небесной птицкѣ». Эта, здравая свобода хорошо сознаетъ, что «если она путь начертанный хоть на атомъ нарушить, то вмѣсто счастья, которое утверждено на ней, она несетъ конецъ ужасный міру». Возраженіе наше противъ этого мѣста вызывается не основной его мыслью, которая заключаетъ лишь обыденную мораль, что злоупотребленіе свободой

¹⁾ «Roratae» — спеціальныя мессы въ декабрѣ предъ Рождествомъ (Adventus), начинающіяся псалмомъ «Rorate».

²⁾ Какъ латинское слово status обозначаетъ и то, и другое, такъ и польское слово «stan». Поэтому при перечисленіи государственныхъ сословій (stanów), включались король и примасъ.

вредно, но странной путаницей во первых въ сдѣланномъ сравненіи понятій о свободѣ человѣческой мысли, которая можетъ и должна быть неограниченна, и о свободѣ птачки небесной. Приводить такое сравненіе въ назиданіе человѣку совсѣмъ неумѣстно. Во вторыхъ, если сравненіе относится къ свободѣ человѣческихъ дѣйствій, которая становится вредна, когда выходитъ за опредѣленный кругъ, то сравненіе невѣрно, потому что люди, нарушая, такимъ образомъ, справедливость или вреда общей пользѣ, обыкновенно не сознаютъ при этомъ, что переступаютъ границу естественныхъ своихъ правъ, такъ что нарушеніе чаще является логической ошибкой, чѣмъ нарушеніемъ нравственнаго начала.

Высказавъ наше мнѣніе, что Кондратовичъ, вслѣдствіе недостатка высшего образованія, былъ неспособенъ исполнять призваніе историческаго поэта, что историческая поэзія его не возносится высоко и часто падаетъ, въ своихъ усиліяхъ справляться съ великими вопросами исторіи, отдадимъ однако справедливость поэту, признаемъ его заслуги и на этомъ полѣ. Однимъ изъ главныхъ достоинствъ его представляется то обстоятельство, что онъ смотрѣлъ на факты трезво, никогда не поддавался господствовавшему въ то время въ польской поэзіи «мессіанизму», не старался выставить святымъ то, что было несомнѣнно—грѣховно. Напротивъ, онъ прямо высказалъ, что: «только орудіемъ Бога служатъ хищныя вороны, стаей слетаясь на мертвое тѣло. Не они повинны въ смерти твоей, не чужая рука гибель царствамъ приносить, но лишь вины народовъ» («Старыя ворота III. 58»). Правда, авторъ, какъ бы убоясь смѣлости своей мысли, считаетъ обязанностью объясниться и извиниться: «о прошлая жизнь, ты наставница наша!... Пусть то не будетъ святотатствомъ предъ тобой, если взирая издали на мать нашу, мы на лицѣ ея усмотримъ недостатки». Разсмотрѣніе сатирической стороны въ талантѣ поэта ниже докажетъ, что подобныя оговорки вставлялись имъ только, какъ говорится «для приличія».

Одинъ тотъ фактъ, что въ историческихъ картинахъ Кондратовичу не удавался «фонъ», что очертаніе и колоритъ самой эпохи у него часто невѣрно или, по меньшей мѣрѣ, не отвѣчаетъ нынѣшнимъ требованіямъ отъ искусства, этотъ фактъ, взятый отдѣльно, былъ бы еще недостаточенъ, чтобы на немъ одномъ основать сужденіе о достоинствѣ цѣлыхъ произведеній. Никому въ мысль не приходитъ осуждать картины славной школы Леонардо Перуджина и самого Рафаэля за несовершенство пейзажа, за недостатокъ на картинахъ «воздуха», перспективы, за плоскость отдаленныхъ горъ и лѣсовъ, какъ бы прилѣпленных полосами на заднемъ планѣ. Эти техническіе промахи въ вырисовкѣ фона у тѣхъ художниковъ исчезаютъ, мы забываемъ о такихъ недостаткахъ — въ виду первостепенныхъ красотъ въ изображеніи дѣйствующихъ фигуръ, богатства жизни и выраженія въ ихъ лицахъ. Великимъ мастерамъ удавалось, даже при относительно маломъ запасѣ положительныхъ свѣдѣній о той или другой исторической личности, всего по нѣсколькимъ чертамъ, создавать такіе типы, что только позднѣйшія изслѣдованія исторической науки приносили точное подтвержденіе геніальной догадки художника. Но къ Кондратовичу нельзя этого примѣнить и относительно изображенія главныхъ лицъ; онъ не владѣлъ тѣмъ художественнымъ откровеніемъ и не былъ счастливъ ни въ выборѣ, ни въ уразумѣніи и передачѣ своихъ героевъ; онъ принимался за воспроизведеніе многихъ, но то не вырисовывалъ ихъ окончательно, то создавалъ портреты, хотя и законченные, но вызывающіе много возраженій.

V.

Первымъ недоношеннымъ плодомъ историческаго пониманія и воображенія Сырокомли явился Владиславъ III, прозванный Варненчикъ, этотъ король-юноша, посланный

всехристианскою политикою на Венгрію, а послѣ Венгріи, путемъ нарушенія присяги, — на смерть подъ Варною. Представленіе объ этомъ несчастномъ королѣ возникло у Кондратовича при чтеніи Кохановскаго и Каллимаха. Во времена Кохановскаго люди были менѣе щепетильны; нарушеніе данного слова, совершенное въ интересахъ вѣры, казалось тогда такимъ пустякомъ, что Кохановскій, въ отрывкѣ о битвѣ съ Амуратомъ, выражается такъ: «о святой король Владиславъ, который мужествомъ достигъ золотого престола въ небѣ, на землѣ памятникомъ тебѣ — Балканы, а вся Европа — могилой». Во времена позднѣйшія того, въ которомъ жилъ Кохановскій, не только люди стали относиться строже къ нѣкоторымъ вещамъ, но подвергалась сомнѣнію и мученическая заслуга романическаго рыцаря, который бросилъ собственную страну, устремляясь за суетнымъ блескомъ крестоваго похода, и тѣмъ способствовалъ ослабленію королевской власти, т. е. именно тому обстоятельству, что впоследствии на руки королей «крѣпкіе вложены узы». Современный намъ поэтъ обязанъ былъ бы коснуться вопроса о совѣсти и выставляя, положимъ, короля въ видѣ агнца принесеннаго на закланіе, долженъ былъ бы высказать приговоръ надъ легатомъ Чезарини и надъ канцлеромъ Збигнѣвомъ Олесницкимъ, которымъ Владиславъ поддался. Но такимъ образомъ, поэтъ вызвалъ бы въ читателѣ иное впечатлѣніе, совершенно несогласное съ отношеніемъ его самаго къ церкви.

Кондратовичъ впрочемъ только поигралъ съ этою темою и оставилъ ее, увлекшись другимъ, съ виду яркимъ предметомъ, а именно привязался мыслью къ самому отъявленному коноводу смуты, какой только являлся въ Польшѣ, а именно къ Оржеховскому, перемышльскому канонику и знаменитому публицисту, настоящему польскому Алкивиаду XVI вѣка, несмотря на сутану. Поэтъ-художникъ, остановясь на этой фигурѣ геніальнаго политика, бушевавшаго страстью, вооруженнаго истинно-золотымъ перомъ, представлявшаго собой уди-

вительную смѣсь хорошаго и дурнаго, непременно долженъ былъ рѣзко выставить и соединить въ своемъ героѣ три главныя черты его публичной дѣятельности: показать въ немъ—общественнаго реформатора, выдвигающаго впередъ идею объ уніи и вмѣстѣ мысль объ отмѣнѣ безбрачія, затѣмъ—пламеннаго католика, бичевавшаго диссидентовъ и наконецъ—столь же значительнаго теоретика золотой дворянской вольности. Но Кондратовича, кажется, влекло къ Оржеховскому болѣе всего то, что этотъ новаторъ былъ въ сущности до мозга костей католикъ; что этотъ пламенный дѣятель, будучи въ душѣ приверженцемъ строгости и дисциплины церковной, силился создать какой-то своеобразный католицизмъ, примѣнимый къ духу времени (Кондратовичъ, «Исторія литературы», II. 147, изд. 1875 г.). Не подлежитъ сомнѣнію, что борьба взаимно-враждебныхъ элементовъ въ самомъ Оржеховскомъ была въ высшей степени драматична, но еще не всякое драматическое положеніе создаетъ героя, пригоднаго для драмы или эпопеи. Чтобы заинтересовать и расположить читателя къ герою требуется, или, чтобы при высокихъ качествахъ души, его судьба была трагична, или, чтобы вслѣдствіе внутренней борьбы, человѣкъ этотъ сдѣлалъ нѣчто его возвысившее; отрекся отъ своего влеченія, отъ своего счастья, принесъ ихъ въ жертву идеалу, поставленному имъ выше эгоизма.

Между тѣмъ, ни въ томъ, ни въ другомъ смыслѣ, Оржеховскій въ герои не годился. Конецъ его былъ не трагическій, а только достойный сожалѣнія: послѣдователи новыхъ ученій возненавидѣли его какъ своего врага, католики видѣли въ немъ сомнительнаго союзника и относились къ нему съ подозрѣніемъ; словомъ, всѣ его оттолкнули. Оржеховскій старался заслужить своимъ перомъ милость Рима, однако не дождался освященія своего брака и признанія дѣтей законными. Онъ самъ былъ виноватъ въ томъ, что отъ него всѣ отвернулись. Онъ былъ человѣкъ талантливый, но отлитый изъ неособен-

наго металла, колеблющійся, пристрастный, приносящій все въ жертву страсти. Кондратовичъ напрасно старается его возвысить, одаряя его задушевною мечтательностью, сердцемъ чувствительнымъ, которое губить его же «радужные сны и мысли свѣтозарныя» (I. 247); самыя эти свойства уже находятся въ противорѣчїи съ вулканичностью его натуры, съ рѣзкостью и необузданностью его порывовъ: «когда читаю, то читаю страстно, когда молюсь—весь ухожу въ молитву, когда люблю—прочь мудрость всего свѣта, а когда каюсь—кровь въ моихъ слезахъ» (I. 240). Въ дѣйствительности же, Оржеховскій представляется человѣкомъ весьма положительнымъ, практическимъ, умѣющимъ господствовать надъ обстоятельствами и людьми, пламеннымъ только въ словахъ, а въ душѣ—холоднымъ себялюбцемъ. Не имѣя призванія въ духовному сану и зная свой темпераментъ, Оржеховскій дѣлается священникомъ, чтобы заработать кусокъ хлѣба, принимаетъ посвященіе съ предвзятымъ намѣреніемъ жениться, то-есть—нарушить приносимый обѣтъ.

Оправданія, придуманныя для него поэтомъ будто отецъ принудилъ его сдѣлаться духовнымъ: «надѣнь сутану иль прими отцовское проклятіе (I. 245)», а въ послѣдствіи «сердце ему вновь и вновь разжигаетъ Кипра богиня (249)»—недостаточны уже просто потому, что рѣшеніе относительно женитьбы было принято Оржеховскимъ не только прежде посвященія, но и раньше, чѣмъ онъ познакомился и съ дочерью Страша и съ Хелмской, такъ что рѣшеніе это было внушено не любовью, но совсѣмъ иными побужденіями, а именно—страшнымъ честолюбіемъ, желаніемъ играть роль, которая по настроенію времени приходилась какъ разъ впору и должна была сразу дать ему огромную популярность. Такую популярность онъ, дѣйствительно, и приобрѣлъ, но она была нѣсколько похожа на славу Герострата: ксендзъ вступилъ въ борьбу съ епископами, желая силою остаться въ Церкви, и самъ наводилъ на церковь нововѣрцовъ, которые хотѣли не преобразовать ее, но уничтожить; словомъ, довелъ смуту

до того, что Польша едва не сдѣлалась протестантской. А такъ какъ при всемъ этомъ, Оржеховскій, оставался ревностнымъ католикомъ, то въ смятеніи имъ руководили только личные мотивы. Знатные протестанты—Гурки, Радзивиллы, Зборовскій, Лещинскій, которые переодѣвались слугами, чтобы сопровождать въ Краковѣ Оржеховскаго, на конференцію съ епископами, и помогали ему деньгами, имѣли при этомъ ясную цѣль; они хотѣли, при его помощи, уничтожить такъ называемую «экзекуцію», то есть ограниченіе свѣтскихъ правъ, сопряженное съ епископскимъ отлученіемъ отъ церкви; понятно, что они стремились къ этому для полученія полнаго простора распространенію протестантства.

Дѣло, дѣйствительно, дошло до того, что принадлежавшее епископамъ право судить дворянъ за ересь сдѣлалось сомнительнымъ—и разумѣется, это былъ очень большой успѣхъ, но если принять въ соображеніе собственныя убѣжденія того человѣка, который этого добился, то такая побѣда представится печальной для личной его совѣсти. И вотъ, одержавъ ее, Оржеховскій молить о прощеніи, трибунъ дворянства смиряется передъ церковью аппелируетъ въ Римъ, который безконечно медлитъ отвѣтомъ, а Оржеховскій выслушивается куріи ядовитымъ перомъ, которое онъ обращаетъ противъ послѣдователей новыхъ религіозныхъ ученій. Эти его сочиненія сдѣлались для двухъ послѣдующихъ вѣковъ чѣмъ-то въ родѣ политическаго катехизиса, въ которомъ выразился неразрывный союзъ религіозной реакціи съ духомъ и интересомъ дворянства, еократическаго правленія съ—анархіей. Отъ этого-то брака и родилось грѣховное и проклинаемое Кондратовичемъ дитя, называвшееся въ то время свободой, «чье имя первымъ призоветъ тотъ самый, кто хочетъ рабскія вложить оковы (III. 47)». Впрочемъ, Кондратовичъ не довелъ своей поэмы до этого періода жизни Оржеховскаго, а потому и не былъ принужденъ самъ сознать ошибочность первоначальной мысли своего произведенія, выраженной въ первыхъ его стихахъ, нѣ-

сколько напыщенныхъ и къ характеристикѣ его героя не подходящихъ: «я человѣкъ свободный, сынъ свободного народа, къ чему же юношей еще, я тяжело скованъ былъ (I. 236)».

Поэма не была доведена даже и до самаго драматическаго момента—борьбы Оржеховскаго съ епископами, и въ отрывкѣ, который мы имѣемъ, очерчены только два главные противники: Оржеховскій, который, по любви къ Маргаритѣ Хелмской, хочетъ на ней жениться и епископъ Дзядускій, этотъ эпикуреецъ и шутливый царедворецъ, крестуря королевы Боны, котораго поэтъ, наперекоръ исторіи, выставляетъ аскетомъ и поборникомъ строгости нравовъ. Мы можемъ догадываться о поводахъ, послужившихъ для отклоненія Кондратовича отъ дальнѣйшей работы надъ Оржеховскимъ, которою онъ занимался въ 1851 году въ Залучы. Въ этомъ году Кондратовичъ два раза ѣздилъ въ Вильно—въ январѣ и въ сентябрѣ. При первомъ посѣщеніи города, онъ познакомился съ поэтомъ, державшимся совершенно иного направленія, а именно съ Эдвардомъ Желиговскимъ, послѣдователемъ школы мистицизма и титаническихъ порывовъ, который въ то время работалъ надъ поэмою «Монахи» (Крашевскій, отзывается о ней такъ: «стихи прекрасные, но мысль ядовитая», стр. 44). Когда Кондратовичъ пріѣхалъ въ Вильно въ сентябрѣ, то Желиговскій былъ уже перемѣщенъ въ Петрозаводскъ, а поэма его получила окончательно такое названіе: «Онъ, она и они». Отрывки ея Кондратовичъ прислалъ въ «Athenaeum», прибавивъ, что въ общей совокупности, она ему не нравится (51). Это было нѣчто въ родѣ продолженія «Монахомахіи» Красицкаго, но продолженія уже не въ добродушномъ тонѣ сатирика—епископа, а человѣка исполненнаго желчи. Темой служила любовь монаха, и поэма прямо и сильно была въ самое учрежденіе безбрачія лицъ духовныхъ. Это совсѣмъ не соотвѣтствовало настроенію Кондратовича; правда, онъ также избралъ въ Оржеховскомъ тему аналогичную, но вовсе безъ намѣренія выводить изъ нея какія либо практические

скія послѣдствія; онъ видѣлъ въ ней только драматическій сюжетъ—не болѣе. Въ виду рѣзкой постановки вопроса у Желиговскаго, Кондратовичъ тотчасъ отретировался, бросилъ своего перемышльскаго каноника въ самомъ критическомъ моментѣ его жизни—среди его стараній относительно брака—и отыскалъ собѣ другую тему для эпической обработки, во временахъ совсѣмъ отдаленныхъ, до — христіанскихъ. Такимъ образомъ, возникъ «Маргеръ», о которомъ самъ поэтъ говоритъ въ предисловіи, что это—наиболѣе удавшееся изъ дѣтей его духа. Въ самомъ дѣлѣ, надъ «Маргеромъ» Кондратовичъ работалъ долѣе, чѣмъ надъ какимъ-либо изъ своихъ произведеній—отъ конца 1852 до 1854 года—и эта поэма дала ему наиболѣе наслажденій и наиболѣе мукъ, соединенныхъ съ творчествомъ. Этому своему дитяти поэтъ заранѣе старался обезпечить благопріятное вступленіе въ свѣтъ и писалъ Крашевскому: «esto ei propitius».

Современники, а вѣроятно и потомство едва ли подтвердятъ мнѣніе поэта о собственномъ его произведеніи. Упомянемъ мимоходомъ, что на тему эту указала Кондратовичу г-жа Паулина Вильконская. Тема заключается въ томъ, что въ 1336 году, то-есть, при концѣ царствованія Гедимина, 4 тысячи литовцевъ, осажденные въ замкѣ Пилленахъ или Пулленѣ надъ Нѣманомъ или въ Жмуди—словомъ въ мѣстности, которая исторіею не указана съ точностью, и видя невозможность оборонить замокъ, а притомъ не желая попасть въ плѣнъ, умертвили себя взаимно, вмѣстѣ съ вождемъ своимъ, Маргеромъ. Вотъ и все, что извѣстно изъ хроники. Замѣчательно, что остановившись на этомъ сюжетѣ, Кондратовичъ самъ признаетъ его неудобнымъ для поэтической обработки; по его отзыву, изображеніе такого героическаго дѣйствія не подъ силу современному поэту, сюжетъ своимъ фактическимъ величіемъ убьетъ всѣ усилія поэта къ его передачѣ. Крашевскій даетъ такой отзывъ, что подобная легенда сама собою представляетъ нѣчто въ родѣ обломаннаго древняго памятника, которому мѣсто—въ музеѣ; тамъ онъ и дол-

женъ стоять, такимъ какъ есть: неполнымъ, съ отбитыми частями, но неприкосновеннымъ отъ передѣлокъ (56). «Положите—говорить онъ—передъ художникомъ, хоть одинъ трупъ изъ той великой могилы, и все что художникомъ сдѣлано обратится въ ничто, станетъ само трупомъ». Мы не можемъ согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Преданіе, о которомъ здѣсь рѣчь вовсе не есть обломокъ мастерской скульптуры; это просто—необтесанный камень, кусокъ гранита, непригодный для скульптурнаго памятника, по самой невозможности справляться съ нимъ рѣзцомъ. Самоубійство — дѣйствіе повторяющееся ежедневно и не доказывающее еще никакого геройства; лишь въ исключительныхъ случаяхъ оно заслуживаетъ чего-либо, кромѣ простаго сожалѣнія. Самоубійство цѣлыхъ массъ не составляетъ спеціальнаго свойства и особаго характера какого-либо народа; оно случалось неразъ, и въ религиозныхъ войнахъ, и въ борьбѣ однѣхъ расъ съ другими, причемъ цѣлью было избѣгнуть или жестокихъ мученій, или позорнаго рабства. Кто же не знаетъ эпизода изъ страшной битвы при Aquae Sextiae (102 г. до Р. Х.), когда легіоны Марія брали приступомъ таборъ тевтоновъ, а тевтонскія женщины душили своихъ дѣтей и сами убивались, опережая одна другую? Самоубійство массами возможно даже у народовъ наиболѣе дикихъ, въ битвахъ между канныбалами, въ эпохахъ почти до — историческихъ. Чтобы занять искусство, недостаточно одного кровопролитія, одного ужаса развязки, необходимо еще показаніе силы и высоты самаго чувства, которое вызвало такое отчаяніе, необходимо, стало быть, пониманіе какъ велика была потеря для той толпы, которая послѣ нея не хотѣла жить. Подобный финалъ получаетъ потрясающее значеніе, если въ немъ выражается гибель цѣлаго народа, паденіе великой цивилизаціи. Когда на второмъ планѣ мы видимъ великія историческія событія, то и дѣйствующія отдѣльныя фигуры, поставленныя впереди, выростають передъ нами. Мы иными глазами смотримъ на побивающую самое себя толпу какого нибудь

неизвѣстнаго намъ племени и иными—на первосвященника, держащаго въ рукѣ жертвенный ножъ—на Каульбаховскомъ фрескѣ «Разрушеніе Іерусалима», или на самоубійство жены Газдрубала, которая, послѣ шестидневнаго штурма Кареагена, бросается съ дѣтьми въ пламя въ храмъ Эскулапа.

Между тѣмъ, дѣло представляется такъ, что ни 1336 годъ не составлялъ никакого историческаго перелома, ни потерянная въ памяти крѣпость Пулленъ не можетъ чѣмъ-либо дѣйствовать на воображеніе, ни сама древняя языческая Литва, со своими богами, не въ состояніи нынѣ растрогать никого, хотя бы даже прямыхъ своихъ по плоти потомковъ. У насъ и ключа нѣтъ къ той угасшей вѣрѣ, навсегда погребенной и, если можно такъ выразиться, запечатанной такимъ образомъ, что и археологіи навѣрное никогда не удастся открыть ея тайну. Но еслибы даже такой ключъ и оказался у насъ въ рукахъ, то всетаки весьма сомнительно, чтобы намъ могла внушить что-либо религія дикая и жестокая, которая еще въ XIV вѣкѣ требовала человѣческихъ жертвоприношеній—обычай, по мнѣнію новѣйшихъ археологовъ и изслѣдователей доисторическаго быта, находившійся въ связи съ распространеннымъ нѣкогда повсемѣстно употребленіемъ человѣческаго мяса въ пищу. Поклоненіе огню и животнымъ, кудесничество и пророчество, закланіе людей въ жертву, пьянство и хищничество, при бѣдности храброй Литвы, ходившей въ лаптяхъ, все это—черты отрицательныя, вредящія красотѣ картины. Конечно, историческій поэтъ, соблюдающій правду, обязанъ упомянуть о нихъ, но не можетъ изъ самаго этого быта дѣлать главное содержаніе героическаго разсказа, потому что иначе возбудилъ бы отвращеніе, вмѣсто удивленія и сочувствія къ тѣмъ лицамъ, которыхъ онъ взялся представить въ очищенномъ и возвышенномъ видѣ.

Вѣдь и у Мицкевича въ «Гражинѣ» намѣчены, гдѣ-то вдали, контуры капища, посвященнаго богу—громо-

вершцу: «гдѣ ежедневно на святыхъ кострахъ дымится кровь воловъ, коней, овецъ сереброрунныхъ». Въ той-же «Гражинѣ» изображенъ конный нѣмецкій плѣнникъ, стоящій на кострѣ, трижды объятый цѣпью и прикованный къ желѣзному крюку. Но у Мицкевича такія черты составляютъ только неважныя частности, содержание же представляется мужественнымъ подвигомъ, литовки, которая, подъ вліяніемъ вѣрно—понятой любви къ своей странѣ, разрываетъ приготовленныя ей мужемъ, пагубныя для Литвы, связи съ нѣмцами. Большое историческое значеніе Литва приобрѣла не потому, что держалась своихъ восточныхъ боговъ, но наоборотъ, потому, что сѣмѣла отречься отъ нихъ и приняла вѣру своихъ враговъ, которой и сдѣлалась, затѣмъ, сама самымъ вѣрнымъ и ревностнымъ апостоломъ. А въ XIV вѣкѣ, она то именно уже сильно была проникнута христіанскимъ элементомъ; князей соединяли съ христіанами многообразныя отношенія и вѣра простаго народа уже не была ихъ вѣрою, да наконецъ, и въ дѣйствіяхъ ихъ на первомъ мѣстѣ стояли вовсе не интересы идолопоклонства, а интересы политическіе. Мицкевичъ превосходно понялъ тогдашнія условія въ «Валленродѣ». Тамъ Вальтеръ Альфъ, уже христіанинъ, обращаетъ Альдону, которая и живетъ затворницей въ орденскомъ городѣ: ни у нея, ни у Валленрода въ мысляхъ не осталось уже никакого слѣда язычества.

Совсѣмъ иначе обработалъ ту же тему Кондратовичъ. Въ сказаніе хроники о замкѣ Пулленъ онъ ввелъ всю литовскую мифологію и изъ человѣческихъ жертвоприношеній сдѣлалъ главную ось, около которой обращаются событія разсказа. Маргеръ только тѣмъ спасаетъ плѣннаго Рансдорфа, что предназначаетъ его къ сожженію въ честь боговъ; боги непременно требуютъ этой жертвы; а когда дочь Маргера — Эгле спасаетъ Рансдорфа и убѣгаетъ съ нимъ, то храбрая Литва, вмѣстѣ съ вождемъ, и перебиваетъ сама себя, среди пожара замка. Но если, такимъ образомъ, литовское войско по-

гибло отъ того только, что не были сожжены Рансдорфъ и Эгле, которыхъ боги требовали себѣ въ жертвенную нищу, то отсюда пришлось бы предположить, что вслучаѣ, еслибы то жертвоприношеніе совершилось, Маргеръ съ своимъ войскомъ не погибли бы и храбрая Литва восторжествовала бы надъ крестомъ. Странное сведеніе великаго вопроса борьбы двухъ племенъ — на вопросъ объ апетитѣ боговъ... Для довершенія непріятнаго, неэстетическаго впечатлѣнія, появляется богъ ада Поклюсъ, въ видѣ страшилища, похожаго на тѣ, какія показываются въ «вертепѣ» колядующими на Рождество мальчуганами: «нагое чудище, костистое, обросшее по тѣлу волосами, съ большою бородой и пламенемъ летящимъ изъ очей». Литовцы всѣ поверглись ницъ передъ этимъ явленіемъ, одинъ только Маргеръ выдержалъ взглядъ чудовища.

Правда, Кондратовичъ, въ предисловіи, ссылается на примѣръ Виргилія, въ оправданіе появленія такого «*deus ex machina*». Но извиненіе это неудовлетворительно. Не говоря уже о различіи вѣковъ, о томъ, что въ наше время чудесность производитъ иное впечатлѣніе, чѣмъ въ ту эпоху, въ которой жилъ любимецъ Августа,—есть огромная разница между самыми предметами, какіе избраны однимъ поэтомъ и другимъ. Виргилій воспроизводилъ, положимъ, самъ не вѣруя въ то, живое народное преданіе, самое патріотическое преданіе, какое имѣлъ Римъ—объ основаніи великаго города; значитъ, римскій поэтъ вводилъ такую чудесность, вѣра въ которую составляла въ его время едва-ли не гражданскій долгъ. Между тѣмъ, нашъ поэтъ сочинялъ чудесность вовсе не существующую въ понятіяхъ его читателей, и склеивалъ изъ бумаги, на проволокахъ, такое страшилище, которое никакой иллюзіи производитъ въ читателяхъ не могло, а должно было вызывать лишь комическое впечатлѣніе. При такой полной неудачности мифологической стороны поэмы, произведеніе это могло-бы все-таки держаться на возвышенныхъ характерахъ дѣйствующихъ лицъ,

могло сильно дѣйствовать той жизненной силой, которую авторъ вдохнулъ бы въ нихъ изъ собственной души. Но Кондратовичъ, какъ извѣстно, не принадлежалъ къ сонму великихъ духовъ и не владѣлъ способностью творить великіе характеры; онъ просто шелъ въ этой поэмѣ по пути, проложенному Мицкевичемъ, но непосильномъ для его послѣдователя, подражалъ великану, съ которымъ невозможно никакое сравненіе и самое сосѣдство для поэтовъ меньшихъ.

Какъ Словацкій въ «Балладинѣ» не могъ освободиться отъ помысловъ Шекспира, такъ передъ Кондратовичемъ въ «Маргерѣ» безпрестанно появляются обороты и образы созданные Мицкевичемъ. Въ подтвержденіе приведемъ примѣры. Два стиха въ «Маргерѣ» (II 31): «поперебѣнно на тебѣ печать—то ангеловъ Господнихъ, то дьяволовъ» напоминаютъ два стиха въ «Дѣдахъ» (VI): «какъ ждуть стихіи грома, такъ твоей мысли ожидаютъ ангелы—и сатана». Сопоставимъ далѣе: стихъ въ «Маргерѣ» (II 66—67) «во имя ада или неба, я иду въ походъ» и два стиха въ «Дѣдахъ»: «взнесусь ли въ облака, иль въ пропасти исчезну?... Слетишь ли въ адъ, иль на небѣ засвѣтишь». Стихи въ Маргерѣ (II 85): «они уже дошли до половины валовъ и головы ихъ выше линіи огня» похожи на стихи въ «Редутѣ Ордона», которыхъ приводить не будемъ. Начало IV пѣсни въ Маргерѣ, гдѣ сдѣлано сравненіе черной рыцарской рати, идущей съ Балтики на Литву—съ черной тучей, идущей съ моря, представляетъ прямое позаимствованіе изъ пѣсни вайделота въ «Валленродѣ». Конецъ Маргера: «хочешь знать правду—спроси лѣтописцевъ, а остальное мысль твоя и сердце доскажутъ» похожъ на послѣдніе стихи «Валленрода»: такъ и пѣсня моя; ту пѣсню объ Альдонѣ, Пусть ангелъ музыки по небу разнесетъ А нѣжный слушатель въ душѣ пусть допоетъ.

Дѣйствующія лица въ «Маргерѣ», несмотря на заимствованную высоту сравненій и стиля, всѣ безъ изыятія, находятся на уровнѣ весьма обыденномъ и отличаются

только приторностью и неестественностью. И такъ, самъ Вернеръ Рансдорфъ—самый обыкновенный типъ молодого, исправнаго офицера во всѣхъ бывшихъ и будущихъ полкахъ—недалеко ушедшій отъ Феба Шатопера въ «Соборѣ парижской Богоматери» Гюгô. Это образчикъ простой животной натуры, здороваго тѣла и горячей крови. Находясь съ дѣтства въ лагеряхъ, Рансдорфъ привыкъ къ кутежамъ, привязался къ вину и къ маріенбургскимъ кокоткамъ. Почти чудомъ избѣгнувъ смерти въ битвѣ, Рансдорфъ въ плѣну, въ пулленскомъ замкѣ, ухаживаетъ за дочерью Маргера Эгле, которая, хотя ходитъ не въ шелкахъ, а въ простой холщевой одеждѣ, съ коралловымъ ожерельемъ, но зато какъ Горгона, оплетается вѣнцами изъ вьющихся, прирученныхъ змѣй. Увидѣвъ ее, рыцарь обращается къ ней съ комплиментами, которыхъ не постыдился бы классикъ XVIII вѣка: «о слѣпые литовцы, не змѣй здѣсь богъ, она по праву здѣсь богиня (II 30)». Затѣмъ, онъ начинаетъ философствовать, какъ пантеистъ и метафизикъ нѣмецкій: «красота, это—слово великое, сила немалая; самъ Богъ есть красота, въ ней чудеса его. Красуется небо предъ нимъ, люди взираютъ къ нему на колѣняхъ, а чудовищный адъ падаетъ ницъ, разсыпается въ прахъ». Чтобы спасти Рансдорфа, осужденнаго на сожженіе, Эгле, вмѣстѣ со старымъ воиномъ Лютасомъ, проводятъ его чрезъ подземельный ходъ и выпускаютъ на свободу, связавъ его только обѣщаніемъ, что онъ не откроетъ своимъ тайну подземнаго хода. И вотъ, Рансдорфъ поступаетъ съ точной добросовѣстностью, то есть намѣренъ исполнить буквально то что обѣщалъ, ни болѣе, ни менѣе. Онъ снова находится въ войскѣ, идущемъ на Литву, онъ осаждаетъ самый замокъ Пулленъ, но тайнымъ проходомъ онъ воспользоваться не намѣренъ. Онъ даже великодушно собирается не убивать безоружныхъ и безъ нужды не жечь хатъ литовскихъ (III 70); остается только сказать ему и за это спасибо. Но уже, стоя подъ замкомъ, Рансдорфъ узнаетъ, довольно страннымъ образомъ, что Эгле имѣетъ быть казнена зато, что

облегчила ему побѣгъ. Тогда любовь, благодарность и желаніе спасти возлюбленную берутъ въ немъ верхъ надъ вѣрностью данному слову: онъ проникаетъ съ отрядомъ стрѣльцовъ чрезъ подземелье и уводитъ Эгле. Обѣщаніе свое онъ нарушилъ, но совершилъ это при такихъ смягчающихъ обстоятельствахъ, что присяжные, вѣроятно, бы его оправдали. Рассказъ представляется въ видѣ ловкой адвокатской защиты, послѣ которой, однако, оправданный обыкновенно выходитъ изъ суда лишенный уже всякаго престижа, низведенный на уровень существа самого зауряднаго.

Что касается дочери Маргера, этой литовской Ифигении, то она, какъ всѣ женщины у Кондратовича, очерчена слишкомъ туманно и блѣдно, но если къ ней приглядѣться ближе, то она окажется обыкновенной романтической барышней нашихъ, а вовсе не литовскихъ временъ. Литвинка, положимъ, могла влюбиться въ раненаго и несчастнаго рыцаря; но влюбившись, она бы забыла обо всемъ остальномъ, не дѣлила бы сердца между Рансдорфомъ и разными соображеніями и идеями высшего порядка, потому что всѣ соображенія и узы такого рода суть продуктъ цивилизаціи, усваиваются только путемъ старательной дрессировки человѣка съ дѣтства, приученія его къ разбору смысла его дѣйствій, такъ, чтобы онъ не дѣлалъ ничего необдуманъ и во всемъ сохранялъ извѣстную мѣру. Влюбленная литвинка того времени, узнавъ, что ея боги требуютъ смерти Рансдорфа, должна была возненавидѣть боговъ: «жрецы и вѣщуны, и сами боги, хулу я шлю и добротѣ, и силѣ вашей (II 42)». Единственнымъ средствомъ спасенія отъ этихъ боговъ и соединенной съ ними Литвы, было бы однако для нея принятіе вѣры Рансдорфа и побѣгъ съ нимъ чрезъ подземелье, послѣ чего, подъ вліяніемъ разницы въ воспитаніи между влюбленными, Рансдорфъ, рано или поздно, оттолкнулъ бы эту женщину, принесшую ему въ жертву свой долгъ, а она или зачахла бы съ тоски по родинѣ, или, пожалуй, совершила бы убій-

ство изъ ревности... Но во всякомъ случаѣ, судьба ея не имѣла бы уже ничего общаго съ судьбой крѣпости Пулленъ и самого Маргера.

Между тѣмъ, подъ перомъ Кондратовича, развязка выходитъ совсѣмъ иная, и такая притомъ, что, теряя все обаяніе дико растущаго цвѣтка, лѣснаго ландыша, босая княжна Эгле превращается въ утонченную, сентенціональную даму, которая въ отношеніи анализа своихъ чувствъ въ состояніи преподать не одинъ урокъ самому рыцарю Рансдорфу. Она и взглянуть умѣетъ такъ свысока и по аристократски, что смѣльчака можетъ тотчасъ осадить: «Но дочь Маргера, какъ острой стрѣлой, пригвоздила его своимъ взглядомъ (II 39)». Однако, вырвавъ Рансдорфа у своихъ боговъ, она сама остается на мѣстѣ, при богахъ и отцѣ, такъ какъ мысль и виды ея заходятъ далѣе умственного горизонта обыкновенной женщины: быть можетъ этотъ нѣмецъ когда нибудь станетъ орудіемъ примиренія между орденомъ и Литвой, «угаситъ ненависть, что оба пятнаетъ народа и примиритъ боговъ своей земли съ литовскими богами». Затѣмъ, послѣ бѣгства Рансдорфа, Эгле, осужденная сдѣлаться добычею боговъ и заключенная въ подземной темницѣ, не перестаетъ заниматься политикой и поочередно примѣряетъ къ себѣ, какъ платья, двѣ борющіяся вѣры: «несчастливая дѣвушка то молится, то проклинаетъ, то крестикъ, данный ей, къ устамъ прижметъ, то съ груди его срываетъ (II 85)» то отъ боговъ жестокихъ отвращаетъ взоръ, такъ какъ въ вѣнкѣ своемъ терновомъ Богъ чужой ей милосердно смотритъ въ очи». Она уже готова бѣжать къ нѣмцамъ, подъ власть Христа, но тотчасъ сознаетъ себя преступницей: «О святые боги, я отступаю когда Поклюсь требуетъ жертвы для спасенія Литвы... Рансдорфъ ей врагъ, пускай погибнетъ онъ... О нѣтъ, пусть лучше гибнетъ Эгле, гибнетъ и сама Литва»... Эта нерѣшительность, эти переходы изъ одной крайности въ другую оканчиваются чѣмъ-то въ родѣ гаданья или вытягиванія узелковъ: «спасите вы его, о боги, родные или

чужіе, которые могущественнѣе, тѣ его спасите; тѣхъ прокляну, что жалости не знаютъ, того признаю, который возвратитъ мнѣ счастье».

Однако, когда возлюбленный и безъ помощи боговъ исполнилъ желаніе Эгле, ворвался сквозь подземелье, чтобы спасти ее, когда вокругъ горятъ замокъ и стропила надъ ея головой, героинею овладѣвають нерѣшимость и сознаніе долга—погибнуть вмѣстѣ со своими. Притомъ, все это выражается не въ формѣ первобытнаго чувства, но въ видѣ искусственного резонерства. Хотя она уже присягала, что покинетъ своихъ боговъ и склонится сердцемъ къ христіанству, Эгле въ эти минуты, объявляетъ, что хочетъ сгорѣть на одномъ кострѣ съ идолами, обращая къ любимому человѣку еще такую загадку: «и не узнаешь никогда, кому я и о чемъ—последнюю пошлю молитву (II. 108)». Моментъ неудобенъ для разгадыванія, такъ какъ подземелье, въ которомъ брусья занялись огнемъ, угрожаетъ обваломъ, а потому стрѣлки схватываютъ Эгле, выносятъ ее въ обморокъ и кладутъ въ лодку, гдѣ ее поражаетъ стрѣла, пущенная ея отцемъ, заканчивая ея жизнь и колебанія.

Какъ непомѣрное развитіе рефлексивности сдѣлало характеръ Эгле неестественнымъ, обратило его въ какой-то маятникъ, пассивно качающійся въ бездѣйственномъ пространствѣ, такъ другая, допущенная авторомъ невѣрность испортила фигуры, въ которыхъ онъ хотѣлъ изобразить давнихъ литовцевъ. Будучи самъ человѣкомъ мягкимъ и добродушнымъ, Кондратовичъ, должно быть, по себѣ составилъ себѣ понятіе не только о нынѣшнихъ, но и о тогдашнихъ литвинахъ, вообразилъ себѣ, что основной чертой ихъ характера и въ то время была безконечная податливость и расплывчатость, при обращеніи къ нимъ во имя чувства: «кровавая сѣча сегодня и пиръ для мечей и обуховъ. А завтра тотъ же литовецъ сердцемъ готовъ подѣлиться, и, при чаркѣ алусу, своихъ палачей обнимаетъ, имъ же пролитая кровь въ немъ слезу вызываетъ (II. 15)». Тѣмъ болѣе, если врагъ

заговорить съ нимъ по-литовски: «велико обаянне словъ родныхъ; ими насъ врагъ всегда обезоружить, если съ ними къ намъ онъ обратится; въ насъ ярости огонь родные звуки гасятъ, и хорошо, что врагъ того не знаетъ чуда». Между тѣмъ, изъ всѣхъ областныхъ нравственныхъ особенностей въ прежнемъ польскомъ государствѣ, преданіе наиболѣе опредѣленно признавало именно за литовскимъ племенемъ—твердый закалъ характера, съ сопровождающими это свойство недостатками: злопамятствомъ и мстительностью («завзятый» литвинъ). Нынѣ смягчились нравы и прежнія свойства ступевались, но нѣсколько вѣковъ тому назадъ, они должны были выступать очень рельефно. Нельзя не видѣть, по меньшей мѣрѣ, анахронизма въ такихъ представителяхъ старой Литвы, какъ Маргеръ и Лютасъ; это скорѣе—представители идилической розмазни, и въ ихъ рукахъ дѣло литовцевъ впередъ проиграно, такъ какъ ни защищать своихъ боговъ, ни оборонять Литву они не могутъ. Старый воинъ Лютасъ впередъ убѣжденъ въ побѣдѣ нѣмцевъ: «въ дни будущіе, лучшіе для міра, побрататься оба народа могутъ, когда у нѣмцевъ и у насъ единый будетъ Богъ (замѣтимъ отъ себя, что не побратались они и доселѣ, несмотря на единство Бога)». Руководимый чувствомъ весьма рыцарскимъ, но относясь къ дѣлу своего народа какъ къ какой нибудь игрѣ, Лютасъ помогаетъ Рансдорфу бѣжать для того только, чтобы тотъ пришелъ опять съ нѣмцами жечь литовскія хаты, и чтобы литовцы одолѣли его въ бою, что послужить къ ихъ славѣ (II 44). Но если ужъ Лютасъ выпустилъ Рансдорфа, чтобы доставить себѣ удовольствіе помѣряться съ нимъ въ равномъ бою, то какое же право тотъ же Лютасъ имѣетъ обвинять своего врага въ вѣроломствѣ за то, что тотъ опять пришелъ съ нѣмцами (II. 96); какое право проклинать его во имя боговъ Литвы и даже во имя Христа: «брось молніей въ него съ креста, тебя язычники молятъ».

Случилось то, чего желалъ самъ Лютасъ, но иначе,

такъ какъ нѣмцы опять пришли, только пришли они съ большей силой и самого Лютаса, который раненъ, взяли въ плѣнъ. Затѣмъ, совершается еще вещь, которую можно приписать лишь замѣчательной глупости этого старика, или лихорадочному бреду его: всѣ мысли Лютаса въ плѣну сосредоточились на опасеніи, какъ бы Рансдорфъ не выдалъ тайны подземнаго хода въ крѣпость, а между тѣмъ тотъ же Лютасъ спѣшитъ разсказать рыцарю о плачевной участи, ожидающей Эгле, то есть самъ ставить его въ неодолимое искушеніе, почти заставляетъ его нарушить тайну и спасти дѣвушку, которой изъ-за него грозитъ смерть. Но Лютасъ не только погубилъ Эгле, оказавъ ей содѣйствіе въ устройствѣ бѣгства Рансдорфа; онъ губитъ затѣмъ и замокъ Пуленъ, и Маргера, и Литву. Самъ Маргеръ крайне непослѣдователенъ. Авторъ, правда, говоритъ: «въ немъ живетъ одна только ненависть къ нѣмцамъ, столь страшная, какъ будто бы всѣ змѣи влили свой ядъ въ его пламенное сердце (II. 12)». А все-таки, герой этотъ только рычитъ, но не кусаетъ: онъ обманываетъ народъ, показывая видъ, будто охраняетъ Рансдорфа только съ цѣлью сжечь его на кострѣ. Мало того, литовскій вождь сажаетъ врага къ своему столу «какъ гостя издали прибывшаго въ нашъ край». Утонченное рыцарство проявляетъ Маргеръ восклицая: «стой! надъ безоружнымъ люто- сть не похвальна (15)», а затѣмъ—запрещая пускать стрѣлы въ нѣмцевъ, пока они не окончили молитвы: «мы не воюемъ съ ихъ Богомъ, какъ они съ нашими; они теперь не ожидаютъ нападенія, ударить на нихъ неожиданно было бы вѣроломствомъ (84)».

Въ результатѣ такихъ вѣжливостей Рансдорфъ, на глазахъ отца, похищаетъ дочь. Тогда Маргеръ пускаетъ двѣ стрѣлы въ дочь-измѣнницу, «вразью гадину», но дѣлаетъ это не изъ патріотизма, который уже не имѣетъ цѣли, когда все пропало, а просто изъ злости. А такъ какъ злоба—чувство некрасивое, то авторъ внушаетъ литовскому вождю того времени чувства и мысли, достойныя

развѣ того позднѣйшаго вождя, который утонулъ въ Эльстерѣ (маршала Г. Понятовскаго): «повѣдай небесамъ въ день воздаянъя, что честь твою я спасъ и при тебѣ я палъ! Не опозоренной погибла ты — несчастной (113)». Боги, жаждущіе крови, и послѣдователи ихъ, философствующіе, что современемъ у всѣхъ людей будетъ единый Богъ и новѣйшая религія «чести (*point d'honneur*)», разные вѣка, перемѣшанные и стопленные въ безформенной амальгамѣ — вотъ и весь Маргеровскій эпосъ. Самъ же Кондратовичъ въ предисловіи къ этой поэмѣ, говоритъ: «не имѣя надежды очертить вѣрно литовцевъ (давнихъ), я изображалъ людей вообще». Но люди носятъ печать своего вѣка, а у Кондратовича являются люди, принадлежащіе одновременно къ разнымъ вѣкамъ, а потому неестественные и не живые.

Холодность, съ какой «Маргеръ» былъ встрѣченъ публикой не вразумила автора, что избранный путь не соотвѣтствовалъ его таланту. Онъ продолжалъ, съ усиленіемъ, писать въ тонѣ высоко-героическомъ рассказы, діалоги и цѣлыя трагедіи, все — вещи, столь приторно-скучныя и представляющія столь малую цѣнность, что достаточно кратко упомянуть о нихъ. Нельзя не пожалѣть о такой потерѣ труда и такомъ насиліи надъ талантомъ.

VI.

Когда въ поэтѣ, берущемся за большую историческую тему, мыслитель не стоитъ на одномъ уровнѣ съ художникомъ, что можетъ зависѣть и отъ недостатка образованія, то, несомнѣнно, произведеніе выйдетъ слабымъ, напоминающимъ ученическія «сочиненія». Правда, историческая тема завлекательна, но обработка ея особенно трудна. Ктожъ изъ насъ въ дѣтствѣ не рвался къ тѣмъ великимъ сюжетамъ, какими на школьной скамѣ насъ увлекаетъ исторія? Кто не умиралъ съ Лео-

нидомъ въ Оермопилахъ, не боролся при Мираеонѣ и Саламинѣ, или не приносилъ себя въ жертву съ Винкельридомъ? Всемирная исторія, какъ она излагается въ школѣ, содержитъ въ себѣ множество такихъ, освященныхъ преданіемъ общихъ мѣстъ. Не всякъ пріобрѣтаетъ такое знаніе, чтобы снять съ событія, обросшую его легенду и поставить передъ собой простой и наглый фактъ, который въ этомъ видѣ можетъ представиться болѣе возвышеннымъ и дѣйствовать сильнѣе, чѣмъ самая легенда. Кому это недоступно, тому остается только, при созерцаніи событія, перенестись воображеніемъ въ легенду, влѣзть въ кожу традиціоннаго героя, уже испорченнаго преданіями, и сыграть его роль, то есть представить себѣ тѣ мысли и чувства, какія вѣроятно прошли чрезъ душу героя въ данныхъ обстоятельствахъ.

Но если поэтъ разрѣшаетъ свою задачу этимъ послѣднимъ, болѣе обыкновеннымъ пріемомъ, то онъ долженъ быть Байрономъ или Альфіери, чтобы увлечь читателя, чтобы расшевелить въ немъ страсть, изображая, какъ то дѣлалъ Байронъ, отчаяніе, убожество, страданіе современнаго человѣка — подъ трагическою маскою Сарданапала или Марино Фальеро, или же, какъ дѣлаетъ Альфіери — возбуждая современника примѣрами изъ прошлаго, къ дѣйствіямъ политическаго свойства. Кондратовичъ не могъ равняться съ этими великими поэтами, но сверхъ того, онъ вовсе и не болѣлъ скорбью вѣка, а отъ политики держался всегда въ сторонѣ. Онъ просто избиралъ ту или другую легенду, вырисовывалъ ее и клалъ на нее краски. Идея, одушевляющая поэму у него, обыкновенно — патріотизмъ, но не воспламеняющійся, не выбрасывающій искры вдохновенія, а какой-то неяркій, какъ-бы пепельно-сѣраго цвѣта. Геройство, возбужденное патріотизмомъ, то въ мужчинѣ, то въ женщинѣ — вотъ обыкновенная его задача, и на каждый полъ приходится по нѣскольку экземпляровъ.

Самопожертвованіе женщины изъ патріотизма изображено Кондратовичемъ, во-первыхъ, на тему Ядвиги, от-

дающей свою руку Ягеллѣ, несмотря на свою любовь къ другому человѣку. Эта же тема обработана въ разсказѣ «Дочь Пястовъ (1858 г. II. 198)», въ которомъ опять являются литовцы, сотворенные по образу и подобию самого автора, или склеенные изъ шерсти и воска: «бродатые, дикіе, въ шкурахъ медвѣжьихъ»... «какъ дѣти — мягкіе душой въ родимой хатѣ». Здѣсь Ганна, сестра князя Конрада Мазовецкаго, идетъ замужъ за литовскаго князя Тройдена — что прообразуетъ будущее соединеніе двухъ народовъ. Таже мысль, но уже въ самомъ неудачномъ видѣ составляетъ основу драмы «Вельможи и сирота (1858 г.)». Магнатскіе дома Ходкевичей и Радзивилловъ, ведя распрю изъ-за руки и наслѣдія последней княжны Слуцкой, изъ рода Олельковичей, собрали войска въ своихъ палацахъ, доселѣ стоящихъ въ Вильнѣ, и вступили въ бой на улицѣ, который однако тотчасъ кончился соглашеніемъ, безъ всякаго спроса самой княжны и ея склонности. Изъ этого историческаго факта, въ которомъ Янъ-Карлъ Ходкевичъ сыгралъ вовсе не лестную роль, Сырокомля вывелъ романъ между Ходкевичемъ и княжною Слуцкой. Ходкевичъ у него дерется на поединкѣ возлѣ своего дома ¹⁾ съ Янушемъ Радзивилломъ; для эффекта, на сценѣ изъ дома Ходкевичей стрѣляютъ пушки, и въ Вильнѣ происходитъ пожаръ; наконецъ княжна приноситъ себя въ жертву, оставляетъ Ходкевича и отдаетъ руку Радзивиллу, со словами, которыя для насъ звучатъ ироніею: «если вы братскую кровь съ рукъ вашихъ смыли». Въ дѣйствительности, Радзивиллу потому только и достаются княжна съ ея владѣніями — Слуцкомъ и Копылемъ, что онъ безъ всякаго колебанія умылъ свои руки именно въ братской крови, то-есть онъ получаетъ награду за ту смуту, которая въ Литвѣ послужила прологомъ къ цѣлому ряду междоусобицъ.

¹⁾ Нынѣ — зданіе учебнаго округа.

Мужское героизмъ Сырокомля изображаетъ въ пожертвованіи родинѣ—жизни, свободы и дѣтей. Маргеръ убиваетъ дочь, чтобы спасти честь Литвы; за нимъ идетъ Касперъ Карлинскій (1857 г.), стрѣляющій въ сына, котораго поставили впереди своихъ рядовъ непріатели. Далѣе, въ «Приговорѣ Яна-Казимира (1859 г.)», дворянинъ Гноинскій героизмомъ превосходитъ Брута. Онъ не только самъ пронзаетъ сына за измѣну и шпіонство въ пользу шведовъ, но когда сынъ остался живъ, отецъ такъ говоритъ королю: «я поражу его еще разъ и вѣрнѣе, потомъ убью себя; и не прощу, какъ право не прощаетъ; но не казни его, король, позорной казнью (V. 268)». Этотъ твердый закалъ души оказывается, однако, фальшивымъ. Довольно было нѣсколькихъ словъ короля, обѣщанія его, что веревка и лишеніе чести будутъ замѣнены простымъ изгнаніемъ — и Брутъ уже забылъ, что «не въ приговорѣ стыдъ, а въ дѣйствиіи самомъ», уже растаялъ какъ воскъ и примирился не только съ судьбой, но и съ сыномъ-выродкомъ: «хвала тебѣ, святое провидѣнье! Ужь не убійца я, и домъ мой безъ пятна (?). И мое имя сохранить свой блескъ на всю Литву мою, на всю Корону!»

Тотъ же безсознательный переходъ отъ идеальнаго къ преувеличенному и смѣшному, какой мы уже видѣли въ исторіи Ходкевичей и Радзивилловъ, замѣчается и въ «Старостѣ Копаницкомъ (1857 г.)». Этотъ староста, приверженецъ Станислава Лещинскаго, посаженъ въ тюрьму въ Зонненбургѣ, за то, что не хотѣлъ признать королемъ Августа III и продолжалъ бить саксонцевъ. Изъ самого же разсказа видно, что Августъ III—не Тиверій и не Неронъ: узникъ сидитъ въ той же камерѣ, гдѣ были прежде заключены Собѣскіе, ему разрѣшены вино и компанія и отъ него домогаются только, чтобы онъ присягнулъ королю, который уже признанъ всей страной; наконецъ король и такъ, безъ этого, отпускаетъ его на свободу. Стало быть, все героизмъ староста проявляетъ лишь тѣмъ, что и сидя въ заключеніи, онъ еще ведетъ

формальный процессъ о нарушеніи свободы выборовъ и о незаконности своего заключенія, ссылаясь на установленное для королей въ законѣ правило: *netinet captivabitur* (лишеніе свободы принадлежитъ судебной власти). «Его не избралъ я, не присягну ему (III. 285)»; «я убѣжденіе одно уже избралъ и присягнуть другому не могу (229)». «Крѣпка моя присяга до тѣхъ поръ, передъ страной, предъ королемъ и Богомъ, пока не разошлеть универсаловъ примасъ, дворянъ не созоветъ на выборное поле, пока свободные уста не возгласятъ, что Августъ—нашъ король».

Въ этомъ непреклонномъ защитникѣ золотой вольности, Кондратовичъ видѣлъ «великаго человѣка (186)» и говорилъ, что это—тотъ же Касперъ Карлинскій, но только—въ нравахъ иной эпохи («предисловіе»). Трудно признать это тожество, но можно сказать, что въ убѣжденіяхъ копаницкаго старосты Понинскаго уже содержится основа будущей тарговицкой конфедераціи, и что если нѣсколько измѣнить черты времени, то изъ Понинскаго выйдетъ Феликсъ Потоцкій, типъ, отъ прославленія котораго Кондратовичъ былъ наиболѣе далекъ. «Староста Копаницкій», яснѣе другихъ произведеній Кондратовича показываетъ, какъ ему неудавалась исторія и до какой степени результаты на этомъ полѣ расходились у него съ намѣреніями. Не будемъ останавливаться на такой слабой вещи, какъ «Смерть Ацерна (1855 г.)», пропустимъ лишенный всякой оригинальности и сентиментальный образъ Сигизмунда-Августа въ «Королевскихъ пѣвцахъ 1856 г.», а также—выступающія эпизодически, вводныя фигуры: Скарги—въ «Старыхъ Воротяхъ» и гетмана Тарновскаго—въ «Гетманскомъ ночлегѣ». Для славы автора не было бы большого ущерба, еслибы эти произведенія потерялись, хотя по количеству стиховъ и убывла бы въ такомъ случаѣ добрая половина изъ всего что написалъ Кондратовичъ. Привлекательность его не заключается въ томъ, что онъ былъ поэтомъ развалинъ. Тяжелая необходимость заставила всѣхъ поэтовъ

его страны и эпохи—жить среди развалинъ, отдыхать—въ гробахъ, играть черепами и костями, и поступать такъ, какъ «Янко—могильникъ» въ одномъ изъ разсказовъ Сырокомли (III. 72 — 108. Борейковщина. 1856 г.): старый солдатъ, возвратившись въ свою деревню, не находитъ уже ни одной души знакомой, поэтому идетъ на кладбище и тамъ пьетъ въ бесѣдѣ съ умершими братьями; уже окостенѣвшимъ, съ порожней кружкой въ рукѣ, его находятъ на могилѣ. Деревенская толпа, конечно, насмѣялась надъ Янкомъ, какъ надъ безумнымъ.

Такіе «могильники» явились въ польской поэзіи въ немаломъ числѣ, потому именно, что въ извѣстный моментъ установилось общее настроеніе такое, какое соотвѣтствуетъ «задушному дню (*le jour des morts*)». Кондратовичъ появился случайно въ средѣ этихъ поэтовъ и пѣлъ съ ихъ нотъ, пѣлъ вѣрно и усердно, но порою личный темпераментъ бралъ въ немъ верхъ надъ школою, ея дрессировкой и дисциплиной. Тогда, посреди мрачнаго хора, къ соблазну консерваторовъ, вдругъ раздавалось бойкое и рѣзкое бряцанье колокольчиковъ съ шутовской палки Станчика. Иной же разъ, вырывались изъ сердца поэта неожиданно такія правды, такіе призывы къ дѣйствію, которыхъ не постыдился бы и отрицающій исторію радикалъ. Скрытый въ Кондратовичѣ шутникъ нерѣдко непріятно «подводилъ» бывшего въ немъ же эшпика: наконецъ, вмѣщался въ немъ еще и моралистъ который, неизвѣстно какъ просто по инстинкту и отъ доброты душевной—высказывалъ иногда такія заключенія, которыя и не снились историку, стоящему предъ прошлымъ на колѣняхъ. Кондратовичъ самъ не понималъ всего значенія такихъ скачковъ высоко-даровитой его натуры—за предѣлы тезисовъ, поставленныхъ школою, къ которой онъ же принадлежалъ. Онъ не отдавалъ себѣ отчета, какимъ образомъ совмѣщались въ немъ одновременно и тѣ старинныя, историческія понятія, за которыя дворянская среда должна была прославить его своимъ дѣтищемъ, видѣть въ немъ «кость отъ своей кости»,

и горячія пожеланія, свойственныя тѣмъ людямъ, отъ которыхъ поэтъ держался въ сторонѣ, такъ какъ они, по его мнѣнію, «плюютъ на вѣру, на преданье, на все то, что дорого и свято (Крашевскій, стр. 42)». А между тѣмъ, такое совмѣщеніе въ немъ было и мы постараемся объяснить, какъ въ Кондратовичѣ согласовались традиція съ прогрессомъ и «охранительность» въ идеяхъ— съ радикализмомъ на дѣлѣ.

VII.

Родившись бѣднымъ шляхтичемъ, поэтъ нашъ воспитался въ условіяхъ постоянной неувѣренности о завтрашнемъ днѣ, заботы о насущномъ хлѣбѣ и непрерывной тяжелой работы. Но родовое вліяніе на немъ все-таки было: изъ него онъ вынесъ отвлеченное понятіе о дворянскомъ равенствѣ и склонную къ подозрительности гордость, заставлявшую его избѣгать всякаго вида зависимости отъ большихъ господъ. Если не себя, то это свое чувство Кондратовичъ олицетворилъ въ Старомъ Бардишѣ, въ рассказѣ «Трензельное (На поводѣ)», написанномъ «для шляхетскаго назиданія» (Борейковщина. 1855 П. 28): «Мнѣ-то что? Плачу я чинши: милостей не жду... Кто живетъ подачкой панской, пусть живетъ здоровъ. Съ кастелланомъ — шутка шуткой: вещь одна мой песь, вещь иная—конь. Я собаку далъ на—память, а платить не смѣй! Вотъ теперь хорошій выстрѣлъ счетъ и поровнялъ... Славно спать на конской шкурѣ—шкуру я возьму. Но барышъ — избави Боже! Дорогъ былъ бы конь».

Богатымъ поэтъ не завидовалъ, самъ о богатствѣ не мечталъ; онъ просто имѣлъ горячее сочувствіе къ всему слабѣйшему, нищему, словомъ къ той массѣ, надъ которой господствуютъ соединенные элементы рода, денегъ и ума. Такое, чисто—демократическое чувство онъ открыто высказывалъ при каждомъ удобномъ случаѣ,

нисколько не стѣсняясь тѣмъ, что оно не нравится. Въ отношеніи къ вельможнымъ господамъ, стихъ Сырокомли загорался, отдавалъ желчью и иногда даже переходилъ въ ѣдкую сатиру. Это былъ, можно сказать, единственный предметъ, въ отношеніи къ которому Кондратовичъ отступалъ отъ обычнаго своего сатирическаго добродушія, какъ его онъ выразилъ въ шутовскомъ стихотвореніи, обращенномъ къ Крашевскому (VI. 203. Залучье 1848 г.): «ужели-жъ стихъ—игра, ребячество и только—долженъ разѣдать намъ внутренность укусомъ и желчью? Я еще почти не пробовалъ такихъ приправъ, но долженъ сказать впередъ, что не люблю ихъ... О еслибъ Іегова въ уста мои вложилъ слова вѣщія, величавыя, тогда я далъ бы побить себя камнями какъ св. Стефанъ. Но нынѣ... К чему напрасно лобъ намъ подставлять и наводить сонъ на людей, которые дремлютъ и безъ нашихъ пѣсенъ. Будить же ихъ и возбуждать заботу...? Не стоитъ — пошли имъ Богъ тузовъ побольше въ преферансѣ». Вельможныхъ Сырокомли зналъ только издалика, изъ горькихъ воспоминаній, изъ живаго шляхетскаго преданья: «пока шляхетство трудовое—мои святые предки нужны были магнатамъ тѣмъ, на сеймы и на битвы, они ласкали насъ и вѣжливо поили, и было имя намъ: вы, милостивые братья. Минуло время давнее и нынѣ, средь разныхъ перемѣнъ, паны забыли и любовь и братство. («Подкова» I. 166).

Новыя времена принесли съ собою эксплуатацію, денежное притѣсненіе: «слишкомъ бойко, дружина веселая, ты работала саблей и тянула вино. Въ кубкахъ панскихъ нынѣ муть лишь только осталась, со вкусомъ желчи, для убогихъ братьевъ. А такому бѣда, кто чиншъ не заплатитъ, за луга и за нивы, и за воду, стоящую въ лужѣ; и за кровь надъ головой, и за лучи солнца, и за воздухъ, которымъ мы дышемъ, за цвѣтокъ полевой. оживленный росой. («Кусокъ хлѣба» II. 120)». Кондратовичъ упрекаетъ богатыхъ за ихъ лѣность, излишества и роскошь:

«Часто съ виномъ драгоцѣнный бокалъ,
Сколько онъ стѣитъ,—своею цѣною
Вѣднхъ бы хлѣбомъ весь годъ пропиталъ»...

(«Демборогъ» I. 77). «Цѣлые морги пшеницы и ржи
урожай свой сложили на цвѣтокъ, что цвѣтетъ въ во-
лосахъ знатной дамы.

За цѣну одного освѣщенья
Залъ богатыхъ, возможно бы было
Просвѣтить много темныхъ головъ».

(«Годичные дни», V II. 86). Погружаясь въ част-
ности и слишкомъ замыкаясь въ одиночные типы, са-
тира однако переходитъ уже въ карикатуру, въ рису-
нокъ не знающій пропорцій, становится преувеличенной,
слишкомъ яркой и грубой. Такіе примѣры можно ука-
зать у Кондратовича въ томъ воеводѣ троцкомъ, который
велитъ бить нагайкой своего егеря Грицка, за то, что
тотъ вытащилъ его «мужицкою рукой» за чубъ изъ
пруда, и въ томъ графѣ де-Вонторы, у котораго: «еди-
ный хлопъ, но три двора. (Борейковщина. 1856 г. V.
5 — 54)». Эта двуактная пьеса дана была въ Вильнѣ,
но многочисленные тамъ «графы Вонторскіе» сговорились
не быть на представленіи, такъ, что бель-этажъ былъ
пустъ (Крашевскій 116. Письмо къ Хенцинскому). Впро-
чемъ, не изъ за чего было и сердиться, такъ какъ это—не-
винный, хотъ нѣсколько пересоленный фарсъ, осмѣиваю-
щій претензіи въ дырявыхъ сапогахъ.

Но настоящимъ любимцемъ Кондратовича, когда онъ
не уходилъ въ старину, въ міръ бумажный, былъ не
панъ и даже не братъ—шляхтичъ, но народъ, то есть,
самый простой людъ безъ различія исповѣданія и пле-
мени, самая младшая братья—крестьянинъ съ которымъ
поэтъ познакомился и побратался съ дѣтства, котораго
любилъ и всегда готовъ былъ защищать. Однимъ изъ
первыхъ опытовъ его пера былъ сельскій рассказъ
«Почтарь (1845 г. Залучье I. 7)». Такъ какъ здѣсь
было нѣсколько чертъ, живо взятыхъ съ натуры, нѣ-

сколько бойкихъ переливовъ почтарской трубы, то издатель Т. Глюксбергъ поспѣшилъ извѣститъ въ газетахъ о появленіи въ послѣдней книжкѣ «Athenaeum'a» «преlestнаго стихотворенія». Эта была для поэта первая печатная похвала, которою ему едва ли не пришлось довольствоваться и во всю жизнь. Онъ отмѣтилъ этотъ фактъ въ записной книжкѣ, какъ приведшій его въ восторгъ, заставившій его благодарить Бога, обнять жену и даже плакать, несмотря на сознаніе, что это была похвала издательская (Тышинскій, стр. 170). Отъ этого момента, когда Кондратовичъ еще только расправлялъ свои неувѣренныя крылья и до конца карьеры—сколько онъ нарисовалъ картинокъ съ натуры, сколько типовъ реальныхъ и превосходныхъ въ своей неподраженной простотѣ! Корчма и церковныя сѣни, священникъ, органистъ и народъ, собравшійся подъ костеломъ, жидъ—арендаторъ фермы и отставной служивый, похороны и крестины, и всякіе годичные праздники, дожинки (конецъ жатвы) и починъ—все это поочередно проходитъ передъ глазами читателя, какъ въ волшебномъ фонарѣ. Эти народныя сцены и фигуры представлены на фонѣ болотъ и топей Полѣся, такъ гармонирующемъ съ показаніемъ пасѣчника Ходыки или съ кровавымъ концомъ несчастной шляхетской военной попытки въ 1812 году—въ Улясѣ, а иногда сцены разыгрываются и въ болѣе веселыхъ мѣстностяхъ Литвы, поросшихъ сосной, березой, можжевельникомъ, испещренныхъ пескомъ, изрѣзанныхъ живописными холмами.

Только эти-то виды «въ лѣсахъ Палемона», только этихъ неказистыхъ людей, въ волчьихъ шубахъ и лаптяхъ, людей грубоватыхъ и нескладныхъ, но правдивыхъ и умѣлъ рисовать Сырокомля. Какъ только онъ пробовалъ вылетать въ свѣтъ болѣе широкій, за предѣлы этихъ простаковъ и этихъ пейзажей, пробовалъ сдѣлаться польскимъ Чайдъ-Гарольдомъ (1858 и 1859 гг.) и воспѣть свои впечатлѣнія изъ путешествія по отечественнымъ землямъ, — то испыталъ неудачу. На мато-

вомъ стеклѣ той камер-обскуры, при помощи которой онъ работалъ, не выходили тѣ скульптурныя черты, какими Винцентій Поль распоряжался столь свободно, не отражались ясно ни тѣ края и мѣста, освященные исторіею, которые онъ посѣтилъ, ни тѣ историческіе призраки, которые на долгій рядъ вѣковъ къ тѣмъ мѣстамъ приколдованы. Правда, и въ его путевыхъ впечатлѣніяхъ есть много нотъ соловьиныхъ, много остроумныхъ сопоставленій и выходовъ противъ нѣмцевъ, заливающихъ край съ запада, но только нѣтъ того, что могло бы быть схвачено лишь съ высоты орлинаго полѣта и притомъ — глазомъ, привычнымъ къ такому собиранію. Возвышенныя сферы вообще не были предназначены для таланта Кондратовича; тѣ предметы и отношенія, которые онъ зналъ хорошо и любилъ, были простые и мѣстные.

Случилось такъ, что сердечныя его симпатіи склонялись въ ту самую сторону, куда несло подземнымъ русломъ теченіе самого вѣка, въ которой представлялась задача того времени. На современникахъ его, людяхъ сороковыхъ годовъ, тяготѣлъ крестьянскій вопросъ, какъ загадка, какъ узелъ, который слѣдовало развязать. Немного возможно было въ то время говорить объ этомъ вопросѣ, еще менѣе—писать. Но не было той юной головы, которая бы не занималась разрѣшеніемъ его, на основаніи историческомъ,—экономическомъ или какомъ-либо иномъ. Экономистомъ Кондратовичъ не былъ, приискивать же доводы—въ теоріи права или заимствовать ихъ путемъ историческимъ — отъ война, проигравшаго битву при Мацѣйовицахъ (Косцюшки), или отъ какихъ либо мечтателей, занимавшихся судьбою крестьянъ въ прошломъ или настоящемъ столѣтіи — ему не предстояло нужды. Великій вопросъ былъ самымъ кореннымъ образомъ рѣшенъ въ его душѣ, безъ помощи діалектики, — однимъ нравственнымъ чувствомъ. Въ отношеніи къ этому дѣлу, Кондратовичъ уже не считалъ свой стихъ — игрушкой, то есть плодомъ чистаго искусства, какъ въ примѣне-

нии къ инымъ вещамъ; здѣсь онъ чувствовалъ что и какъ поэтъ, онъ имѣетъ предъ собой гражданскій долгъ, за который и далъ бы побить себя камнями, какъ св. Стефанъ. Въ первыхъ же своихъ «Поѣздкахъ», Сырокомля пятналъ дворянское право бича; неразъ онъ скорбитъ, что «тамъ князь, здѣсь панъ, а тамъ еще судья граничный, иль депутатъ въ дорожномъ комитетѣ, всякъ на тронѣ своемъ разсѣвшия спѣсиво, ремненнымъ скипетромъ творить судъ надъ вассалами (1858 г. Вильно. 126)». Еще въ Залучи, Кондратовичъ проклиналъ винокурни (VII. 164) и подъ самый конецъ своей жизни еще давалъ совѣтъ: «соберитесь хозяева, вы идите толдой—заорать глубоко ту дорогу, что березкой идетъ отъ села—да въ корчму. Забороньте конемъ, вы засыпьте руками. Пусть и слѣдъ и названье той дорожки исчезнутъ; а взойдетъ на ней колосъ—станетъ легче всѣхъ (VII. 218. 1860 г.)». Наконецъ, еще къ очень ранней порѣ творчества Сырокомли относится и та чудесная сатира, въ формѣ дѣтскаго разсказа «Кукла», такъ непохожая на то, что онъ писалъ обыкновенно, немилосердно бичующая обычаи и сословіе, хотя онъ и не принадлежалъ къ сонму тѣхъ мастеровъ слова, которыхъ призваніе бичевать пороки и фальшь: «ты, куколка моя, еще не знаешь: мы—господа, а есть другіе люди, то — мужики, такъ ихъ зовутъ; а боженька работать на господъ велѣлъ имъ строго — строго... Папѣ лошадокъ любить, мама любить шпица, а мужиковъ бранять всѣ, часто бьютъ, и право, даже жалко... зачѣмъ же вѣчно ихъ? Ведутъ себя, должно быть, очень худо... Вотъ и вчера: папѣ послѣ обѣда заснулъ себѣ; ну, развѣ хорошо: пришли, весь полъ запачкали, орали, какъ медвѣди: дай хлѣба намъ, панѣчку, дай намъ хлѣба! Зачѣмъ имъ захотѣлось вдругъ? Ну, и велѣли ихъ посѣчь—и чтожь? вѣдь подѣломъ».

На крестьянскій вопросъ, Кондратовичъ, конечно, смотрѣлъ какъ поэтъ, не вдаваясь въ его условія, сложность и трудности; вопросъ у него рѣшался моменталь-

но при помощи одного чувства, была бы только добрая воля. Отсюда у него произросла и повторялась идиллія— продолженіе тѣхъ, подобныхъ же идиллій, какими у насъ, еще ранѣе его, занимались умы ясные и трезвые, начинающая отъ Красицкаго въ «Панъ Подстолій» до Т. Массальскаго — въ «Панъ Подстольничъ», а отъ этого послѣдняго—до второй части Іордана. Такъ у Кондратовича произошли: конецъ «Хатки въ лѣсу (1855 г. Бореѣковщина. IV. 241 — 340)» и «Деревенскіе политики (VI. 139—199)», произведенія, которыя, вмѣстѣ съ недоконченными отрывками (1860—1862 гг. Вильно), которымъ еще не было дано названія, составляли опыты поэта въ области современной комедіи. Отношенія къ театру явились послѣ того, какъ изъ своей глуши, онъ переселился въ столицу Литвы, откуда видъ былъ уже шире. Такъ какъ Кондратовичъ очень дорожилъ внѣшними заявленіями сочувствія, то сцена составляла для него большое искушеніе, сулившее въ одну минуту болѣе упоенія, чѣмъ всѣ газетныя рецензіи, взятыя вмѣстѣ. Искушеніе одержало верхъ, а при талантѣ, который позволялъ все, къ чему онъ ни прикоснулся, понятно, что публикѣ могла понравиться и «драматическая странность», сотворенная, такъ сказать,—изъ ничего. «Хатка въ лѣсу», это—вещь безъ характеровъ, безъ всякой завязки и дѣйствія, просто — нѣсколько діалоговъ, связанныхъ лирическою нитью; она состоитъ изъ восторговъ, надеждъ и разочарованій героя пьесы Генриха, въ которомъ поэтъ изобразилъ себя. Генрихъ ведетъ записки и гонитъ издателя, предлагавшаго ихъ купить. Но въ Генриха влюблена дочь маршалка Марія и мечтаетъ о счастьи съ нимъ, хотя-бы въ хаткѣ—въ лѣсу. Генрихъ, подъ этимъ вліяніемъ, продаетъ издателю свои записки, «сокровище своей души» и покупаетъ предлагаемый ему обманщикомъ дрянной кусокъ земли. Тамъ онъ строитъ домъ и затѣмъ, обращается къ Маріи съ предложеніемъ раздѣлить съ нимъ этотъ рай. Но прошелъ уже годъ, и Марія забыла о своей фантазіи; Ген-

риху она отказывается и только беретъ себѣ въ альбомъ рисунокъ его хатки.

Такъ и кончалась эта картинка. Но художественный смыслъ подсказалъ автору, что нельзя возбудить сочувствія къ герою тѣмъ только, что онъ далъ себя обмануть дѣльцамъ и женщинѣ. Въ маѣ 1855 г. окончена была первая часть «Хатки», а въ декабрѣ поспѣла уже и вторая, смагчающая непріятное впечатлѣніе первой и развивающая положительную сторону идеаловъ поэта на тему Горация: *«hoc erat in votis: modus agri, non ita magnus hortus, ubi et tecto vicinus aquae fons. Et paululum sylvae super his foret»*¹⁾. Понесши великія неудачи, Генрихъ однакоже преобразился въ земледѣльца, изъ хатки въ лѣсу сдѣлалъ прекрасную мызу, а изъ всей окрестности, которой онъ сталъ благодѣтелемъ—нѣчто въ родѣ общественнаго рая. Сосѣди его любятъ, окрестные крестьяне боготворятъ. И вотъ, неожиданный, разумѣется, случай происходитъ, какъ разъ на землѣ Генриха, съ коляской, въ которой маршалокъ везетъ за границу свою скучающую дочь. Въ душѣ ея оживаетъ прежнее чувство, при видѣ этой жизни, соединенной съ разумной дѣятельностью. Марія проситъ у Генриха прощенія, а отецъ, послѣ вкуснаго обѣда, благословляетъ. Тотъ лиризмъ, которымъ оживлена первая часть «Хатки», изображающая борьбу поэта во всякихъ неудачахъ, оказывается уже изчерпаннымъ во второй части, гдѣ поэтъ понастроилъ свои идеалики, блѣдныя, слабыя, не превышающіе простаго оказыванія взаимныхъ услугъ сосѣдами.

Одновременно выступили и тѣ недостатки, которые уже затѣмъ повторялись и во всѣхъ сценическихъ произведеніяхъ Кондратовича, недостатки, которые вообще дѣлали его неспособнымъ къ драматическому призванію. Драматическія произведенія его положительно относятся къ французской школѣ, выводящей на сцену общіе ти-

¹⁾ Вотъ что было въ желаніи: немного поля, небольшой садъ, гдѣ и близко отъ дома—источникъ. И немного лѣса, чтобы было на нихъ.

пы, долженствующие цѣльно представлять то или другое свойство, а не къ той школѣ, какую составляютъ послѣдователи Шекспира—если только позволительно собрать ихъ въ одну школу, отличительной чертою которой было бы въ такомъ случаѣ—не выведеніе на сцену фигуръ, обозначенныхъ какимъ — либо общимъ ярлыкомъ, но—созданіе единичныхъ личныхъ типовъ, гораздо болѣе сложныхъ и разнообразныхъ, а тѣмъ самымъ и болѣе живыхъ. Кондратовичъ же, слѣдуя французской манерѣ, еще преувеличиваетъ ее, и вотъ гдѣ его коренная слабость. Каждый типъ у него обрисовывается впередъ, опредѣленно и ярко, каждый самъ какъ-бы рекомендуетъ себя публикѣ: я—моль—вотъ какой, у меня вотъ какіе вкусы и пороки. Разъ выведенный на сцену, каждый типъ неуклонно исполняетъ данную ему должность, не поддается никакимъ измѣненіямъ — вплоть до развязки. Зато же самая развязка въ томъ и состоитъ, что съ выведеннымъ характеромъ происходитъ внезапная перемѣна, которая и заключаетъ въ себѣ нравученіе пьесы. Наговорившись и наспорившись съ другими лицами — представителями иныхъ свойствъ или направленій, главное лицо пьесы, подъ конецъ ея, безъ достаточной къ тому причины, вдругъ измѣняетъ свои взгляды и привычки, дѣлается сразу инымъ человекомъ. Такъ Вонторскій даетъ согласіе Пахоловецкому, Гноинскій прощаетъ сыну, Елена—своему жениху, а Марія превращается въ Магдалину. Такая портретная вырисовка дѣйствующихъ лицъ, вмѣсто того, чтобы дать имъ выразиться въ самомъ дѣйствіи, такое отсутствіе неизбежныхъ измѣненій въ характерахъ подъ вліяніемъ взаимнодѣйствія, а затѣмъ — внезапныя метаморфозы въ наклонностяхъ и жизни—лишали произведенія Кондратовича качествъ необходимыхъ для сцены. «Хатка въ лѣсу» понравилась, но только — своими прелестными лирическими отрывками и добрыми, человеческими намѣреніями, какія въ ней вложены.

Между тѣмъ, событія шли быстро: крестьянскій вопросъ, доселѣ бывшій лишь призракомъ, который вызы-

вался заклинаніями, сталъ вдругъ дѣйствительностью и раздѣлилъ общество на два лагеря. Кондратовичъ, конечно, не могъ оставаться равнодушнымъ къ ходу того дѣла, отъ котораго зависѣла вся будущность края. Онъ выступилъ съ новой, тенденціозной пьесой, которая была прямо—*pièce de circonstance*; это—написанная въ 1858 г. и игранная въ Вильнѣ въ 1859 году, комедія: «Деревенскіе политики». Борьба между двумя направленіями проникла уже въ область семьи, разъединила старое и молодое поколѣнія. Здѣсь, Стефанъ, сынъ судьи, представляетъ собой повтореніе типа Генриха въ «Хаткѣ», но взятое уже въ иномъ фазисѣ; Стефанъ мечтаетъ, что уже наступила заря обновленнаго міра: «духъ божій самъ стучится въ окна крестьянскихъ избъ». Отецъ этого мечтателя такъ былъ поглощенъ газетной политикой, что даже забылъ уплатить въ срокъ въ банкъ, гдѣ заложено имѣніе. Но на мечтанія своего сына о прогрессѣ, судья смотритъ недоувѣрчиво: «прогрессомъ съ мужичьемъ не далеко дойдетъ—начнетъ пороть, какъ всѣ, жида въ корчмѣ посадить, за дѣвками начнетъ охотиться и онъ, а вмѣсто школы будетъ винокурня». Рядомъ съ этимъ байбакомъ и банкротомъ, поставленъ другой типъ: «исправнаго», по старинному, помѣщика, скопидома, прагматическая мудрость котораго выражается такимъ образомъ: «хочетъ водки мужикъ; дай ему водки, онъ за—второе скоситъ. Жидъ же не тѣмъ нехорошъ, что мужикъ у него разопъется; вредъ его тотъ, что себѣ онъ беретъ нашъ законный доходъ. Я въ корчму не пускаю жида—не хочу съ нимъ дѣлиться». Этотъ помѣщикъ—пріобрѣтатель, пожалуй, и отдалъ бы свою дочь сыну судьи, видя, что молодой человекъ хозяйничаетъ прекрасно. Но имѣніе судьи уже назначено къ продажѣ съ торговъ, и сосѣду гораздо выгоднѣе купить это имѣніе за безцѣнокъ, чѣмъ выдать дочь за банкрота. Дѣло однако устраивается такъ, что недоимку вносятъ крестьяне, желая, чтобы остался прежній помѣщикъ. Стефанъ объявляетъ тогда, что отдаетъ имъ землю на чиншевомъ правѣ. Казалось бы, что это

справедливо, такъ какъ помѣщикъ удержалъ имѣніе только по милости, крестьянъ. Сосѣдъ—практикъ не одобряетъ, разумѣется, такой уступки, но въ концѣ, въ силу одной изъ тѣхъ внезапныхъ перемѣнъ, которыя Кондратовичъ допускалъ такъ легко, мирится и съ этимъ: «ты съ чиншемъ, юноша, немного поспѣшилъ; потери, впрочемъ, я большой не вижу: ты нравственность крестьянъ под-
нялъ, а это также можетъ дать доходъ».

Пьеса это, хотя и написанная, «на случай», но построенная слабо и слишкомъ боязливая по мысли, не могла, разумѣется, послужить программой для будущаго, получить такое значеніе, какое имѣло, въ свое время «Возвращеніе депутата съ сейма»—Нѣмцевича. Комедія Кондратовича обозначила собой не больше, какъ только мимолетный моментъ въ настроеніи общества, переходный моментъ между тѣми десятками лѣтъ, когда вовсе нельзя было касаться вопроса о положеніи крестьянъ—и временемъ самаго изданія уставовъ о ихъ освобожденіи, тѣмъ временемъ, которое произвело столь коренную перемѣну въ общихъ условіяхъ, что и самое обращеніе крестьянъ на оброкъ или на чиншъ представлялось уже дѣломъ отсталымъ. Тотъ или иной видъ зависимости крестьянъ отъ помѣщиковъ уступили мѣсто рѣшительному отдѣленію однихъ отъ другихъ, за которыми ихъ могли связывать уже только соосѣдніа отношенія. Началась чрезвычайно важная подготовительная работа въ губернскихъ комитетахъ, составленныхъ изъ землевладѣльцевъ и членовъ отъ правительства. Въ настоящее время нельзя не признать, что только небольшое число членовъ въ этихъ комитетахъ понимали историческое значеніе того момента и огромную важность происходившихъ въ комитетахъ постановокъ того или другаго изъ частныхъ вопросовъ. Большинство, въ сущности, хотѣли подъ самыми благо-
видными предлогами, удержать въ своихъ рукахъ ту рабочую силу, которую боялись потерять.

Посреди такихъ, вчерашнихъ еще прогрессистовъ, которые, подъ давленіемъ момента, обращались почти въ

реакціонеровъ, Кондратовичъ съ удивительнымъ ясновидѣніемъ уразумѣлъ необходимость рѣшенія радикальнаго. Къ негодованію, что то мѣстное общество, о готовности котораго къ жертвамъ онъ ранѣе имѣлъ столь высокое понятіе, стало колебаться, Кондратовичъ разразился полнымъ гнѣва стихотвореніемъ «На освобожденіе крестьянъ», въ которомъ поэтъ оказывался гораздо болѣе способнымъ въ данномъ случаѣ политикомъ, чѣмъ опытные калькуляторы и авторитетные ораторы въ комитетахъ: «Я полагалъ—напрасно крикуны бросали грязь въ имя дворянина; я думалъ—завтра, послѣзавтра скажутъ, что насъ не даромъ «благородьемъ» звали... А между тѣмъ—О край родимый мой, кто изорвалъ вѣнокъ твой благородный—отцы твои, своими именами, въ исторію внесли постыдный примѣръ практическаго попеченія о крестьянахъ. Мнѣ стыдно за тебя, о Вильно, не хочу я быть литвиномъ; со стыдомъ смотрю—на гербъ на дѣдовской печати».

VIII.

Этотъ дворянинъ—«хлопоманъ», не забывшій о гербѣ своего рода даже въ ту минуту, въ которой изрекалъ осужденіе «уѣзднымъ отцамъ», впадалъ въ гнѣвъ и страсть не столько тогда, когда отрицались его убѣжденія, сколько—когда наносилось оскорбленіе его демократическому чувству, болѣе сильному въ немъ, чѣмъ сословный духъ, въ какомъ онъ воспитался. Въ текущія дѣла Кондратовичъ вмѣшивался лишь въ исключительныхъ случаяхъ и то урывками, преимущественно въ защиту сельскаго люда, котораго онъ былъ адвокатомъ и представителемъ на Парнассѣ. На инныя цѣли и задачи ему недоставало той ѣдкой и непроходящей злости, которая, при наличности поэтическаго дарованія, и создаетъ сатиру нравовъ. Въ приведенныхъ уже стихахъ къ Крашевскому (Залучье, 1848 г. VI. 201), онъ самъ признается, что

не любить приправъ изъ уксуса и желчи и не чувствуетъ призванія «раздирать себѣ внутренности, чтобы произвести на свѣтъ свой трудъ, окровавлять бѣдное сердце, потрясать нервъ за нервомъ, кипятить мозгъ такъ, что онъ едва не разрываетъ черепа, и въ этомъ видѣ, съ истерзанной грудью и разбитой головой, подобно безумцу, неистовствовать надъ перемаранной чернвою». Напѣвъ поэтъ писалъ не такъ: стихи его лились легко, въ минуты внезапнаго вдохновенія, въ формѣ вполне отдѣланной и наилучшими были именно тѣ, которые сложились такъ, сами собой. Въмѣсто гложущей злости природа дала ему даръ, быть можетъ, менѣе полезный для общества, но болѣе пріятный, а именно такой неисчерпаемый запасъ веселости, такое блестящее остроуміе, такую способность смѣшнить, просто — смѣха ради, что волшебникъ этотъ своей скромной лирой могъ поочередно заставлять слушателей то плакать, то пускаться въ плясъ. Въ фантазіи его, подвижной, какъ волна, предметы отражались каждую минуту иначе, смотря по его личному настроенію. Можно сказать, что онъ владѣлъ рѣдкимъ свойствомъ схватывать всякую тему съ двухъ сторонъ и представлять ее, по волѣ, то со стороны серьезной и патетической, то со стороны забавной. Въ произведеніяхъ Кондратовича, особенно при составленіи вещей болѣе старательно обработанныхъ съ летучими набросками, встрѣчаешься съ такими противоположностями, что недоумѣваешь, какъ могъ ихъ написать одинъ человѣкъ и написать притомъ нисколько не измѣнивъ ни убѣжденій своихъ, ни направленія. Такую рѣзкую противоположность представляютъ именно тѣ выходки, которыя художникъ позволялъ себѣ, лично для себя, когда его занимала какая-нибудь новая мысль; то были какъ бы частныя, фамиллярныя выходки противъ того, что онъ же писалъ при отправленіи своей должности Аполлонова жреца.

Извѣстно, что Кондратовичъ былъ человѣкъ глубоко религіозный, а между тѣмъ, у него вырвался же стихъ, что стоявшіе подъ крестомъ чувствовали голодъ (1859. VII.

173). Сравнимъ также заботливо обработанный, полный величія образъ Сигизмунда III, исповѣдующагося у Скарги, въ «Старыхъ воротахъ» (1856. III. 9), съ той картинкой, которая находится въ «Впечатлѣніяхъ странника» (1858. VII. 141), видящаго фигуру того же короля на краковскомъ предмѣстьѣ: «Съ крестомъ и саблею, онъ съ высоты колонны, кичится безтолковыми дѣлами, и будто говоритъ: народъ, народъ—я выострилъ тотъ мечъ, которымъ ты пронзенъ; а крестъ мой вырѣзанъ рукою іезуитской и ты на немъ самъ за грѣхи казнь примешь». Еще болѣе любопытный матеріалъ для такого противопоставленія имѣется въ загадочномъ стихотвореніи Кондратовича «Прошедшее», найденномъ уже по его смерти и напечатанномъ въ «*Kalendarzu Ilustrowanym*» Яворскаго на 1874 г. Стихотвореніе это помѣчено такъ: w Zacierzewie, 1851. Зацержевѣ, это—усадьба залучскихъ сосѣдей Кондратовича—Пашкевичей, и имя этой мѣстности находится на многихъ стихотвореніяхъ, написанныхъ до перѣзда поэта въ Вильно (X. 331—334). Что оно дѣйствительно могло быть написано въ Зацержевѣ, это подтверждается и указаніемъ на 1851 годъ. Эти стихи, прежде всего, непріятно дѣйствуютъ какимъ-то особеннымъ оптимизмомъ «нынѣ, когда дышется такъ легко, когда мы любимъ другъ друга свободно», тогда какъ Кондратовичъ вовсе не былъ оптимистомъ, а еще менѣе эпикурейцемъ. Затѣмъ, въ стихахъ этихъ проявляется удивительное отношеніе къ прошедшему Польши. Во всю свою жизнь, поэтъ колѣнопреклоненно взывалъ къ «святому прошлому». Въ такомъ настроеніи онъ былъ при концѣ жизни, но въ такомъ же онъ и началъ свою дѣятельность, когда, еще въ Залучи (1845 г. VI. 157), онъ шелъ, съ свѣчею погребальной—къ могиламъ отцовъ, чтобы отыскать въ прахѣ ихъ костей все великое и благородное, и возвратиться съ великой исторической пѣснью. Не разъ выставлялъ онъ какъ верхъ геройства—самопожертвованіе женщины, которая, изъ любви къ странѣ или народу, соглашалась на бракъ безъ любви.

Внезапно, и неизвестно по какой причинѣ, поэтъ обрушивается на это, прежде и послѣ обожавшееся имъ прошедшее и упрекаетъ его за скандалы, ссоры и развратъ—внѣ дома, а въ домѣ—за неравноправное положеніе женщины; словомъ—за разные такіе грѣхи, которые тяготятъ вовсе не надъ одной польской исторіей, но составляютъ общій скорбный листъ всѣхъ націй въ средніе вѣка. Стихотвореніе «Прошедшее» до такой степени отличается отъ всего написаннаго Кондратовичемъ, что многіе—и въ ихъ числѣ г. Коротынский, котораго показаніе изложено далѣе въ выносѣ—видятъ въ этомъ произведеніи выдержанную иронию, вещь написанную для осмѣянія неправедныхъ судей прошедшаго. Съ такимъ взглядомъ трудно согласиться: въ стихахъ этихъ не чувствуется тона ироніи, напротивъ они кажутся написанными совершенно серьезно. Слѣдуетъ принять во вниманіе, что 1851 годъ имѣлъ большое значеніе въ исторіи умственного развитія поэта. Это тотъ памятный годъ, когда онъ побывалъ въ Вильнѣ (Крашевскій. 52. Январь 1851 г.) и когда его часто посѣщали въ Залучьи молодые, университетскіе пріятели (стр. 45. Августъ 1851 г.). Въ это время Кондратовичъ почти—было втянулся въ водоворотъ борющихся умственныхъ партій и очутился лицомъ къ лицу съ самыми новыми теоріями въ областяхъ религіи, исторіи и общественнаго быта. До того момента, когда у него голова разболѣлась отъ прогрессистскихъ криковъ, прежде, чѣмъ онъ рѣшительно устранился и отъ реакціонныхъ консерваторовъ, и отъ насильственныхъ реформаторовъ, онъ долженъ былъ, хоть разъ, испытать на себѣ искушеніе и поддаться тому обаянію, съ какимъ представляется молодому, легко воспламеняющемуся воображенію самая смѣлость новыхъ взглядовъ. Легко могло случиться, что послѣ одного изъ такихъ жаркихъ диспутовъ, подъ вліяніемъ захватившей его бури новыхъ мыслей, онъ и попробовалъ начертить свойственнымъ ему образомъ, ту, несходную съ прежней, перспективу, какая передъ нимъ на минуту раскрылась. За-

тѣмъ, оставшійся слѣдъ того момента, когда поэтъ поигралъ съ разрушительнымъ стремленіемъ вѣка, былъ или заброшенъ, или спрятанъ въ столъ, а та гармонія, которая характеризовала его душу, не дала ему унестиcя въ безбрежное море мечтаній о передѣлкѣ челоуѣчества, и вотъ онъ возвратился къ прежнему настроенію и къ своимъ всегдашнимъ привязанностямъ. Этотъ позабытый листокъ однако нашелся послѣ смерти поэта, и не вредя его славѣ, представляетъ собой лишь еще одну дополнительную черту для его характеристики, доказываетъ, что челоуѣкъ этотъ могъ превращаться, какъ Протей, и отбывался, какъ эхо, на всѣ голоса своего времени ¹⁾).

¹⁾ Такъ какъ стихотвореніе Кондратовича «Прошедшее», при появленіи въ календарѣ Яворскаго, вызвало разные сужденія и споры, то предшествующее мѣсто настоящаго очерка было въ свое время сообщено г. Коротынскому, издавшему первое полное собраніе сочиненій поэта. Сохраненіе отвѣта, присланнаго г. Коротынскимъ приводимъ за симъ въ сокращеніи.

Въ 1871 году, въ то время, когда г. Коротынскій былъ занятъ изданіемъ поэмъ Кондратовича въ пользу семьи послѣдняго, издателю было доставлено изъ Минска отъ г. Камиллы де-Белльѣ значительное число стихотворныхъ набросковъ Сырокомли, находившихся въ рукахъ жены г. де-Белльѣ, урожденной Пашкевичъ. Почти всѣ они были написаны въ Зацержевѣ, на какой-нибудь случай. Нѣкоторые изъ этихъ, небольшихъ вещицъ г. Коротынскій помѣстилъ въ полномъ собраніи стихотвореній, какъ имѣвшія художественное значеніе, но «Прошедшее» помѣщено не было, за неимѣніемъ достаточныхъ разъясненій со стороны приславшихъ. Впослѣдствіи г. Коротынскій напечаталъ его въ редактированномъ имъ же «календарѣ Яворскаго», безъ всякихъ комментаріевъ, такъ какъ самая мысль этого произведенія ему казалась совершенно ясною. Однако, вслѣдствіе возникшихъ недоразумѣній, сама г-жа де-Белльѣ, въ отвѣтъ на запросы двухъ знакомыхъ, сообщила слѣдующія фактическія подробности: Кондратовичъ въ 1851 году ѣздилъ въ Вильно, по дѣламъ своей аренды въ Залучы, и аренды своихъ родителей Тулонки, зависѣвшихъ отъ управленія радзивиловскими имѣніями, которое находилось въ Вержахъ. Въ Вильнѣ разные общественныя обстоятельства подѣйствовали на поэта подавляющимъ образомъ. Въ такомъ настроеніи онъ пріѣхалъ въ Зацержевъ, гдѣ жила г-жа Пашкевичъ съ двумя дочерьми, изъ которыхъ одна (г-жа Іозефина де-Белльѣ) и сообщаетъ эти свѣдѣнія. Молодыя дѣвушки знали, что лучшимъ средствомъ, чтобы вывести Кондратовича изъ такого тяжелаго нравственнаго состоянія, было - противорѣчить ему, начать съ нимъ спорить. И вотъ, онъ сталъ ему доказывать, что въ старыя времена, въ Польшѣ, «не умѣли любить, а слѣдовательно не могло тамъ и быть ничего хорошаго». Кондратовичъ не могъ переспорить своихъ собесѣдницъ, но взялъ въ руки перо и набросалъ тѣ стихи, о которыхъ идетъ рѣчь, и которые такъ въ Зацержевѣ и остались.

IX

Силу свою въ родѣ сатирическомъ или комическомъ Кондратовичъ сознавалъ вполне, но онъ смотрѣлъ на поэзію серьезно, не хотѣлъ быть шуткомъ, какимъ иногда является Гейне, и если отдавался цѣликомъ веселому настроенію, то—только въ ближайшемъ, тѣсномъ кружкѣ, набрасывая стихи, которые, хотя и были впоследствии напечатаны, но первоначально для печати не предназначались. Таковы были сперва стишки на разные случаи, шутки надъ знакомыми, пародія прощанія Чайдъ Гарольда (VI. 126) и Горациевой оды (*Quem tu Melpomene semel*): «кому ты, муза, сядешь разъ на шею, тотъ ужъ пристрастится къ такому занятію, какъ складываніе стиховъ, подъ деревомъ или надъ прудомъ, лежа кверху животомъ своимъ тощимъ» (Залучье. 1844 г. VI. 143). Затѣмъ пошли шутилывыя посланія къ товарищамъ—литераторамъ и забавныя переодѣванья боговъ и героев Греціи и Рима, какъ въ опереткахъ Оффенбаха, но съ болѣе вкусомъ и безъ элемента нескромности. Такъ, у него Эней шествуетъ размахисто, покуривая короткую люльку, въ тирскія палаты Дидоны (VI. 277); Овидія везутъ въ Пинскъ, а Юлія, дочь Августа, кокетничаетъ съ юнкеромъ преторьянской гвардіи (VII. 254). Эту неисчерпаемую веселость можно было примѣнить съ большою пользою для искусства. Уже и самая пародія несомнѣнно входитъ въ область искусства и хотя не занимаетъ въ ней

И такъ, по убѣжденію г. Коротынского, стихи эти составляютъ не приговоръ надъ прошедшимъ, но наоборотъ—защиту его, въ формѣ иронической. Затѣмъ, онъ сопоставляетъ неуважительные отзывы въ этомъ стихотвореніи о прошломъ вообще, а также о нѣкоторыхъ историческихъ лицахъ, какъ напр. о Янѣ и Яковѣ Собѣскихъ, съ полными уваженіями его же отзывами о тѣхъ же дѣлахъ и лицахъ—въ иныхъ его произведеніяхъ. Прошедшее недоразумѣніе г. Коротынской приписываетъ лишь неточности нѣкоторыхъ выраженій и наконецъ, напоминая о своей дружбѣ съ Кондратовичемъ, отклоняетъ всякую мысль, чтобы обнародованіе упомянутыхъ стиховъ могло быть сколько-нибудь несогласно съ уваженіемъ къ поэту.

высокаго мѣста, однако требуетъ особаго таланта. Кондратовичъ владѣлъ имъ въ высокой степени отъ природы, но не могъ дать ему развиваться, потому что современники были болѣе склонны къ увлеченіямъ и восторгамъ, нежели къ осмѣянію, и несомнѣнно усмотрѣли бы въ томъ измѣну, еслибы художникъ занялся не отливкой изъ бронзы—великихъ историческихъ фигуръ, а вырѣзываніемъ ихъ изъ картона и одѣваніемъ ихъ въ шутовское платье. Кондратовичъ былъ слишкомъ хорошій патриотъ, чтобы дерзнуть на подобное кощунство, хотя бы даже для шутки. Самое болѣе вѣрное въ этомъ направленіи, на что онъ рѣшался, было—выводить въ смѣшномъ видѣ какого-нибудь обознаго или мародера, или такую фигуру, которая уже въ преданіи представляется забавной, въ родѣ напр. графа (комеса) де-Вонторы или сторожеваго рыцаря Белины (II. 332 Борейковщина. 1856 г.), какого-либо чудака или глупца, обратившихся уже въ поговорку. Народныя поговорки послужили Кондратовичу источниками для лучшихъ его разсказовъ: Матыска, Заблоцкаго, нищаго по ремеслу и въ особенности—пана Марка, блуждающаго по аду. Маркъ былъ при жизни нахлѣбникомъ магнатовъ и вотъ, въ аду они не хотятъ его знать, шляхта отъ него отворачивается, а крестьяне бѣгутъ прочь, такъ, что онъ осужденъ на всю вѣчность скитаться одинокимъ. Потомъ онъ идетъ кланяться сосѣдямъ изъ дворянъ, но оттолкнутый и шляхтой и крестьянами, опять пойдетъ предлагать свою службу панамъ (1852 г. I. 332).

При разработкѣ поговорокъ, Кондратовичъ напалъ на мысль дѣйствительно глубокую, на богатую, почти нетронутую руду: ему захотѣлось возстановить репутацію одного изъ такихъ историческихъ, вошедшихъ въ поговорку глупцовъ, а имѣнно Филиппа изъ Коноплей, котораго имя обратилось въ названіе для всякой неумѣстной и несвоевременной выходки. Мысль эта пришла ему вскорѣ по переѣздѣ въ Вильно (1853 и 1854 г.), но долго она не отливалась у него въ подходящую форму. Въ письмѣ къ Кра-

шевскому (стр. 78), онъ говоритъ: «жду пока чернила вскипятятся въ чернильницѣ. Изъ почтеннаго Филиппа сдѣлали посмѣшище за то, что онъ «выскачилъ» съ чѣмъ-то некстати. Мнѣ кажется, что это былъ человѣкъ не низшій, а высшій по развитію, чѣмъ его современники. Сказалъ онъ что-нибудь крайне умное, но такъ какъ тогдашнее общество не было приготовлено къ выслушиванію такихъ истинъ, то его осмѣяли и имя его обратили въ поговорку. Бываетъ такъ, что именно умственное превосходство наказывается осмѣяніемъ». Наконецъ, сложилась маленькая поэма изъ семи отрывковъ съ эпилогомъ, представившая рельефные моменты изъ жизни почтеннаго, но непрактичнаго человѣка, который говоритъ прекрасныя вещи, но вѣчно — не къ мѣсту и не впаздъ. Еще въ школѣ, гдѣ патеры знакомятъ его съ миеологическими богами, онъ возстаетъ противъ нихъ и за это приѣмлетъ розги; потомъ, онъ защищаетъ жидовъ отъ насилія и за это слыветъ вождемъ Израиля; вмѣсто того, чтобы жениться на красивой и богатой дѣвушкѣ, онъ самъ пособляетъ ей, изъ доброты, выйти за своего соперника; находясь на службѣ у воеводы, онъ на выборахъ подаетъ голосъ за противника своего патрона, вслѣдствіе чего воевода его прогоняетъ, а на пирѣ у противника онъ всетаки не приглашенъ. Далѣе, попавъ въ депутаты на сеймъ, Филиппъ на банкетѣ провозглашаетъ тостъ за здоровье крестьянъ и объявляетъ, что потребуетъ на сеймѣ предоставленія имъ равноправности и внесетъ предложеніе объ обложеніи дворянстваналогами; тогда дворяне бьютъ его и рубятъ; на послѣдокъ, уже передъ смертью, онъ догадывается замѣтить приходскому священнику, что грѣхъ брать десятину съ бѣдной деревушки и что не всякъ, кто соблюдаетъ посты, получить спасеніе; и вотъ священникъ не даетъ ему отпущенія грѣховъ (II 154. 170). Заслуживающій уваженія, добрый, но несчастливый панъ Филиппъ, это — одна изъ самыхъ удачныхъ фигуръ Сырокомли, созданная притомъ почти изъ ничего, такъ какъ поговорка дала ему только одно имя, съ краткимъ допол-

неніемъ, что человекъ дѣйствовалъ невпопадъ. Такая тема какъ бы напрашивалась на фарсъ: авторъ менѣе талантливый и вывелъ бы изъ нея какого-нибудь запальчиваго дурака, придумавъ для него разныя комичныя положенія. Кондратовичъ взглянулъ на тему серьезно, и неумѣстности, служившей посмѣшищемъ, придавъ значеніе преждевременности, превосходства надъ вѣкомъ.

Изъ такой постановки предмета могла выйдти широкая историческая сатира. Если Филиппъ изъ Коноплей подвергся всеобщему осмѣянію за то, что мыслить гуманно и выступалъ противъ несправедливости, то каково же было то общество, которое смѣшало съ грязью его и многихъ ему подобныхъ? Въ исторіи каждый новый шагъ, будь онъ впередъ или назадъ, совершается на счетъ множества человѣческихъ существъ, оставляеть за собой слѣдъ страданій, нерѣдко и крови. Вызвать представленіе не о томъ, что восторжествовало, но о томъ, что было раздавлено, предано позору или убито—это почти тоже, что сдѣлать великое открытіе, навести мысль на пути новые, лежащіе въ сторонѣ отъ слишкомъ торной дороги исторической славы, какъ бы приподнять край завѣсы, прикрывшей иную, быть можетъ еще болѣе обширную—область историческихъ страданій. Нѣтъ нужды доказывать того большаго значенія, какое можетъ представлять разработка этой малоизвѣстной страны, это нѣчто въ родѣ опытовъ исторической диссекціи. Нѣсколько подобныхъ опытовъ, исполненныхъ безъ страсти, съ хладнокровіемъ натуралиста, могли бы подвинуть насъ далѣе и лучше урегулировать наше отношеніе къ прошлому, чѣмъ всѣ написанныя доселѣ исторіи, такъ какъ въ нихъ прошедшее явилось бы передъ нами полнѣе, истиннѣе, ярче, чѣмъ въ тѣхъ акварельныхъ работахъ, какія мы доселѣ имѣемъ. Труда хватило бы на нѣсколько поколѣній, чтобы исчерпать ту богатую руду, на которую Кондратовичъ натолкнулся въ своемъ Филиппѣ изъ Коноплей. Но самъ онъ извлекъ изъ нея лишь одну небольшую вещь, не созналъ цѣны сво-

его открытія, поступилъ въ родѣ того швейцарца, который, послѣ битвы при Грансонѣ вбѣжавъ въ палатку Карла Смѣлаго и захвативъ крупнѣйшій его алмазь, продалъ его за нѣсколько грошей, считая его стекломъ. Самый выводъ Кондратовича изъ приключеній Филиппа и его судьбы, представляется довольно безсодержательнымъ, въ какомъ смыслѣ его ни принять: въ положительномъ-ли, или въ ироническомъ: «горячими стремленьями души не увлекайся, а лишь смотри, что выгодно, что—нѣтъ. Открой лицо, но сердце подъ замкомъ держи, и прежде, чѣмъ собой пожертвовать, спроси — умно-ли? Будь холодно воздерженъ въ словѣ, и въ дѣлахъ. Не—то тебя Филиппомъ изъ Коноплей всякъ прозоветъ. Прошли уже годъ героевъ огненныхъ, и нынѣ—только кровь, и брань да слезы, вотъ и вся ихъ мзда!»

Если бы однако поэту задали вопросъ—а когда же были годъ огненныхъ героевъ? — то онъ, самъ конечно, отвѣтилъ бы, что никогда. Разумѣется, приведенныя правила нравственности, пригодной для улитокъ, преподаны авторомъ въ шутку; такую нравственность Кондратовичъ презиралъ, такъ какъ самъ былъ человѣкъ искренній и непрактичный, и лично смахивалъ на Филиппа изъ Коноплей, если не во всемъ, что сдѣлалъ, то въ томъ, какъ относился къ разнымъ вещамъ. Отличался же онъ отъ этого героя тѣмъ, что однажды поселился въ заколдованной области обожжаемаго прошедшаго, онъ уже и до конца жизни представлялъ себѣ ее такою именно, не поддаваясь тѣмъ колебаніямъ, какія иногда возникали въ его же умѣ, не понявъ даже и возможности спуститься въ одинъ изъ болѣе глубокихъ Дантовыхъ круговъ, въ ту бездну, гдѣ и понынѣ трещать на огнѣ исторіи—души сродныя пану Филиппу изъ Коноплей.

Х.

Не слѣдуетъ однако простираť требовательности слишкомъ далеко и вмѣнять поэту въ вину, что онъ не совершилъ такихъ дѣлъ, къ которымъ не былъ склоненъ по своей природѣ и не побуждался современнымъ ему настроеніемъ общества. Ему недоставало новыхъ идей и сильной страсти—двухъ условій, безъ которыхъ нельзя стать нравственнымъ властелиномъ своего вѣка. Умственный организмъ его, мягкій, чувствительный, вмѣщавшій въ себѣ яркія противоположности, еще въ самой колыбели кругомъ обвился домашними преданіями. Прибавимъ вмѣстѣ, что эта традиція привязывала его къ себѣ лишь тѣми, дорогими нитями, какія представляютъ установившіяся издавна добродѣтели и чистыя нравственныя понятія; всѣ иныя связи съ прошлымъ оборвались на немъ, ничто невѣжественное, грязное, глупое не приставало къ этой великолѣпной и благородной натурѣ, составленной исключительно изъ лазури и лучей солнечныхъ. При томъ, умъ его вовсе не былъ обыкновенный, но исполненный откровеній, доступный всѣмъ теченіямъ и дуновеніямъ духа времени, схватывавшій на полусловѣ новыя идеи и инстинктивно сознававшій общественныя потребности. Такъ какъ тотъ періодъ, въ которомъ онъ жилъ, былъ безцвѣтенъ, а общество было осуждено на бездѣйствіе, то вѣянія духа времени могли дѣйствовать лишь незримо, въ устной пропагандѣ и вліяніи литературы, посредствомъ теоріи и разсужденія, болѣе, чѣмъ путемъ опытовъ. Но и среди этихъ невидимыхъ, носившихся въ воздухѣ элементовъ, поэтъ усваивалъ себѣ никакъ не всѣ безъ разбора. Круговая безнадежность, разнузданная чувственность, готовая къ подозрѣніямъ зависть, не переносящая ничего превосходства, расколъ общества на крайнія противоположности—все это осталось ему навсегда чуждымъ. Изъ демократизма и радикализма, онъ всасывалъ и усваивалъ только

то, что въ нихъ было привлекательнаго: вѣру въ непрерывность движенія впередъ, въ совершенствованіе чело-вѣчества и горячее желаніе, чтобы люди и націи под-вигались къ сближенію, къ братству, при помощи свя-зей преимущественно нравственныхъ, посредствомъ ра-боты на пользу народныхъ массъ и ихъ нравственнаго подъема.

Изъ сліянія элементовъ давнихъ и новыхъ, слага-лось какое-то чудесное единство, какъ бы радужная дуга, связующая два міра, и вотъ по ней-то, какъ по мосту, поэтъ пытался идти впередъ, во слѣдъ прогресса могучаго, уже заранѣе провозглашавшаго близкое торже-ство свое, паденіе невѣжества и неправды. Его-то, этотъ прогрессъ, Кондратовичъ напутствовалъ такими словами: «О Боже мой, когда онъ пустится въ свой соколиный путь, то пусть чело его осѣнится крестомъ. Ты поддержи благія въ немъ желанья, пусть голова его не закружится и рукъ своихъ онъ не опуститъ долу». («Часы» VII. 41. Борейк. 1857 г.). Оказалось однако впоследствии, что мостъ, уже соорудившійся въ мысли, былъ лишь опти-ческимъ обманомъ, что самый прогрессъ былъ еще немно-гимъ болѣе призрака; по меньшей мѣрѣ—что нравствен-ный тотъ прогрессъ, какой имѣлъ въ виду поэтъ, совер-шается лишь незамѣтно, медленно, осуществляется мелкою ежедневной работою, единично—невеликими, но сборными усилиями, которыя напрягаются въ одну сторону, что прогрессъ шествуетъ походкою улитки, а не летитъ ор-ломъ. Крайности разошлись еще далѣе, чѣмъ можно было ожидать. Цѣлыхъ два материка, какими оказались тра-диція съ одной стороны и новыя стремленія—съ другой, представились нашимъ глазамъ еще болѣе взаимно от-даленными, какъ будто шире разлилось разъединяющее ихъ море. А все-таки, работать надъ сближеніемъ ихъ необходимо и мостъ съ одного на другой строить должно, но только болѣе «постепенно, систематично и прочно».

(Конецъ 1875 и Январь 1876 г.).

Шекспировскій Гамлетъ.

Одна изъ лекцій читанныхъ въ Варшавѣ.

Шекспировскій Гамлетъ.

(Одна изъ лекцій, читанныхъ въ Варшавѣ).

Предисловіе отъ автора.

Въ декабрѣ, 1879 г. «Варшавское Благотворительное Общество» устроило рядъ чтеній преимущественно по исторіи общеевропейской литературы.

Разбирались «Божественная комедія» Данта, «Фаустъ» Гёте, новѣйшіе французскіе романисты. Если по приглашенію общества, я при выборѣ оставался на «Гамлетѣ», то потому единственно, что къ тому меня расположили занятія мои въ небольшомъ Шекспировскомъ кружкѣ любителей, въ Петербургѣ, посвятившемъ три—четыре года на изученіе совокупными силами великаго драматурга.

Еслибы чтеніе происходило въ Петербургѣ то, понятно, я коснулся бы точекъ соприкосновенія Шекспира и его трагедіи съ русскою литературою, но я читалъ передъ Варшавскою публикою и потому долженъ былъ дѣлать экскурсіи въ область новѣйшей польской литературы. Первое чтеніе посвящено было самому Шекспиру, характеристикѣ его и разрѣшенію вопроса, насколько трагедія о Гамлетѣ можетъ считаться источни-

комъ для автобіографіи драматурга и возсозданія личнаго его міросозерцанія. Послѣ оцѣнокъ доказательствъ и за и противъ, я пришелъ къ отрицательному результату: по моему мнѣнію, вовсе еще не доказано то, будто въ Гамлетѣ Шекспиръ изобразилъ свой собственный нравственный обликъ, свои жизненные опыты, свои личные чувства; Гамлетъ вмѣстѣ съ сонетами или отдѣльно отъ нихъ не можетъ служить руководящею нитью для ознакомленія съ авторомъ, какъ съ человѣкомъ. Второе затѣмъ чтеніе, предлагаемое нынѣ русской публикѣ посвящено Гамлету, разсматриваемому уже безъ всякаго соотношенія къ лицу автора.

Гамлетъ общеизвѣстѣе всѣхъ другихъ драмъ и трагедій Шекспира, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и самое темное, самое загадочное изъ всѣхъ шекспировскихъ произведеній, по сему для надлежащаго его пониманія и для ориентировки въ немъ надлежитъ тщательно отдѣлать то, что безспорно по общему признанію критиковъ входило въ намѣренія автора, отъ намѣреній предполагаемыхъ, приписываемыхъ автору каждымъ изъ критиковъ отдѣльно взятымъ; а предположеній такихъ пущено входъ несмѣтное число. Мнѣ кажется, что я могу взять за аксиому и за отправную точку такое положеніе, по моему мнѣнію, безспорное: Шекспиръ намѣреннo изобразилъ въ яркой противоположности и столкновеніи съ одной стороны бездушное, прогнившее и трупными пятнами покрытое общество; съ другой—чувствительнаго, гениальнаго, но въ высшей степени непрактичнаго принца Датскаго. Не одни только слова Гамлета, какими заканчивается I дѣйствіе, обличаютъ родъ проклятія, которое какъ будто бы тяготѣетъ надъ цѣлымъ вѣкомъ: «Распалась связь временъ; зачѣмъ же я связать ее рождень» (переводъ Кронеберга — переводъ неточный; собственно надлежало бы сказать: время вывихнуто въ суставахъ, out of joint, и проклять я, что родился на то, чтобы его исправить). Даже простые люди, какъ Марцелло (I. 5) приходитъ

по одному чутью къ убѣжденію, что «нечисто что-то въ Датскомъ королевствѣ». Процессъ разложенія изображень полный, осязаемый, отражающійся во всемъ объемѣ отношеній, характеровъ, наклонностей и умственныхъ привычекъ въ средѣ, окружающей Гамлета. Процессъ этотъ до того уже дошелъ въ своемъ развитіи, что не легко исправить попорченное даже лицу, не оглядывающемуся назадъ, даже имѣющему львиное сердце и страшную выдержку въ предпринимаемомъ. Можетъ быть съ такою задачею не справился бы самъ Фортинбрасъ, еслибы онъ былъ датчанинъ и если бы онъ обрѣтался въ столь тяжелыхъ семейныхъ отношеніяхъ, которыя бы его заставляли быть судьбою и палачемъ по отношенію къ собственной его крови, къ ближайшимъ роднымъ. Есть неприятныя и съ болью сопряженныя операціи, съ которыми гораздо легче справиться иностранцу, нежели родному человѣку-земляку. Люди болѣе честные, болѣе благородные заставляютъ себя посредствомъ нѣкотораго насилія «дышать въ испорченномъ воздухѣ сего міра» (V, ч. 2. In this harsh world draw they breath in pain): «Нѣтъ въ Даніи, говоритъ Гамлетъ (I, 5) ни одного злодѣя, который бы не былъ негоднымъ плутомъ», а Гораціо возражаетъ: «чтобъ это намъ сказать—не стоитъ, вставать изъ гроба мертвецу». Гервинусъ справедливо замѣтилъ, что дѣйствіе драмы перенесено въ переходное время; что оно совершается на рубежѣ двухъ разныхъ эпохъ. Въ недавнемъ прошломъ преобладали люди воинственные, храбрые, которые подчинили Данію и Норвегію и Англію и побивали на льдахъ приморскихъ изъ сaney состоящіе обозы поляковъ (I, 1). Этими дружинами командовалъ пожилой съ просѣдою на бородѣ герой, покрытый сталью «отъ головы до ногъ, отъ темени до пятокъ» (I, 2), котораго духъ прохаживается по ночамъ по дворцовой терассѣ въ Эльзенерѣ. Прошли кровавыя войны, настало время мира, бездѣйствія, лѣниваго отдыха. Варвары немножко пообтесались и преобразовались, но только на видъ, вліяніе культуры остановилось на по-

верхности, не проникая внутрь. Они ходятъ въ соболяхъ, наряжаются въ бархатъ, ѣдутъ учиться манерамъ въ Парижъ, или наукамъ въ Виттенбергъ, упражняются въ фехтованіи на тонкихъ французскихъ шпагахъ, въ международныхъ своихъ сношеніяхъ справляются съ государственными задачами, не прибѣгая къ оружію, посредствомъ одной дипломатіи, но подъ внѣшнею шлифовкою и гладью скрывается въ каждомъ датчанинѣ вѣтхій человекъ-варваръ, который любитъ дать волю своимъ наклонностямъ, любитъ поѣсть, напиться и не чувствуетъ потребности въ высшихъ наслажденіяхъ и въ умственныхъ работахъ и занятіяхъ. «Похмѣлье и пирушки, говоритъ Гамлетъ, (I, 4) мараютъ насъ въ понятіи народовъ. За нихъ вовуть насъ Бахуса жрецами и съ нашимъ именемъ соединяютъ прозваніе свиней». Одинъ мало важный на первый взглядъ порокъ смысляетъ съ цѣлаго народа «всю славу дѣлъ великихъ и прекрасныхъ» и превращаетъ всю страну въ «опустѣлый садъ, негодныхъ травъ пустое достояніе» (I, 2). Въ цѣлой драмѣ нѣтъ ни одного честнаго, чистаго лица за исключеніемъ только Горацио, но сей послѣдній опредѣляетъ себя самъ такимъ образомъ: «я не датчанинъ, а древній римлянинъ» (V, 2). Понятно, что принцъ крайне удивленъ его пріѣздомъ: «Чтожь привело тебя къ намъ въ Эльзинеръ» и что онъ предсказываетъ ему слѣдующее: «Пока ты здѣсь, тебя еще научатъ стаканы осушать» (I, 2). Вся Данія похожа на громадный кабакъ, весь дворъ представляетъ сборище всевозможныхъ пресмыкающихся, глухихъ и неразвитыхъ, какъ приставленные къ Гамлету ровесники его Розенкранцъ и Гильденштернъ, или пріученныхъ всячески ломаться и сгибаться лакеевъ, подобныхъ Озрику «стрекозѣ», о которомъ такъ выражается Гамлетъ: «онъ и за грудь матери не принимался безъ комплиментовъ. У него много земли и плодородной. Пусть скотъ будетъ царемъ скотовъ и его ясли будутъ стоять на ряду съ царскимъ столомъ» (V, 2). Низкопоклонничество и соглядатайство, доведенныя до высо-

чайшей степени, входятъ какъ крупныя составныя части въ эту зараженную атмосферу двора и народа. Каковъ народъ, такова и семья. На подкладкѣ весьма непривлекательнаго общества изображены два такіа семейства, чьихъ судьбы взаимно связаны и взаимно перепутаны: семья министра и семья монарха.

Въ жизни среднихъ вѣковъ и въ самомъ репертуарѣ Шекспира путь (fool) довольно важное лицо, которымъ обыкновенно пользовались такимъ образомъ, что подъ одеждой изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ и колпакомъ съ бубенчиками авторъ помѣщалъ не дюжинное сердце или по крайней мѣрѣ признаки большого ума, сквозящія въ грубыхъ шуткахъ. Однажды пришла Шекспиру счастливая мысль перевернуть задачу и прикрыть чувства настоящаго дурака-шута собольею шубою и шитымъ мундиромъ гофмаршала и перваго министра датскаго. Высокій комизмъ типа, изображеннаго въ лицѣ Полонія, заключается въ ничѣмъ непоколебимомъ самомнѣніи, въ полной увѣренности въ превосходствѣ своего ума, практичности и таланта, которые становятся еще больше, когда министръ промахнулся и попалъ въ просакъ (II, 2). «Желательно бы знать, говоритъ онъ, когда случилось, чтобъ положительно сказалъ я: это такъ, а вышло иначе?» «Такъ съ плечъ мнѣ голову снимите, когда оно не такъ. Ужъ если я попалъ на слѣдъ, такъ истину сыщу, хоть будь она сокрыта въ самомъ центрѣ... Если онъ не отъ любви безуменъ, такъ пусть впередъ не буду я придворнымъ, а конюхомъ, крестьяниномъ простымъ». Весь умственный скарбъ этого старика, который передъ царскою семьей гибокъ какъ резинка, а передъ всѣми другими спѣсивъ и важенъ, заключается въ неистощимой его болтливости; онъ млѣетъ отъ наслажденія заслушиваясь потоку извергаемыхъ имъ обильно звонкихъ фразъ и это качество растетъ въ немъ съ лѣтами. Тщетно король унимаетъ его: «поменѣ искусства, но дѣла болѣе». Словоизверженіе происходитъ неудержимо, механически, оно превратилось въ природу человѣка, «честью вамъ кля-

нусь, въ моихъ словахъ нисколько нѣтъ искусства. Что онъ безуменъ — это правда; правда, что жаль его, и жаль, что это правда. Метафора глупа — такъ прочь ее». Самомнѣніе, свойственное совершенно пустому человеку, мѣшаетъ Полонію принять на свой счетъ, когда надъ нимъ трунять. Онъ не догадывается, что по немъ прохаживается Гамлетъ (II, 2), обвиняя мерзавца-сатирика въ клеветѣ за то, что сей послѣдній утверждаетъ, что старики имѣютъ сѣдины и морщины, что у нихъ большой недостатокъ остроумія и слабость въ ногахъ». «Это хоть и безумство, замѣчаетъ министръ, но систематическое... только безумцы способны на такіе мѣткіе отвѣты». Никто бы не интересовался этимъ «пожилымъ дитятею, которое еще не вышло изъ пеленокъ» (II, 2), еслибы Полоній не занималъ къ несчастію высокій оффиціальныи постъ, еслибы не то, что къ несчастію онъ править людьми, что онъ — рѣшающій авторитетъ въ дѣлахъ искусства, потому что изучалъ риторику и изображалъ когда то на сценѣ Ю. Цезаря, закалываемаго заговорщиками; въ поэзіи — потому что писалъ когда-то мадригалы; въ любви потому, что когда-то волочился за женщинами. Въ политикѣ онъ считаетъ себя настоящимъ Макиавелемъ (III, 1) потому что располагаетъ цѣлымъ арсеналомъ хитрыхъ но плоскихъ совѣтовъ, въ родѣ тѣхъ, которыми напутствуетъ сына (I, 3), и которыхъ главный недостатокъ заключается въ томъ, что они выведены *à posteriori*, такъ сказать, заднимъ умомъ, послѣ испытаннаго зла, слѣдовательно, что они не научатъ того, кто зла не испыталъ, а кто его испыталъ, тому они совсѣмъ не нужны. («Будь ласковъ, но не будь пріятель общій. Друзей, которыхъ испыталъ желѣзомъ прикуй къ душѣ, но не марай руки, со всякимъ встрѣчнымъ заключая братство... Не занимай и не давай въ займы, заемъ нерѣдко исчезаетъ съ дружбой, а долгъ есть ядъ въ хозяйственномъ разсчетѣ...»). Кромѣ совѣтовъ, Полоній мастеръ пускать въ ходъ разныя мелкія штучки въ родѣ наушничества, вывѣдыванія тайнъ у

принца посредством подосланной дочери, отправки въ Парижъ Райнольда, съ тѣмъ, чтобы сей послѣдній слѣдилъ за Лаэртомъ, развѣдывалъ, что Лаэртъ дѣлаетъ и какъ живетъ и доносилъ бы о всемъ отцу. Высокимъ занимаемымъ имъ мѣстомъ Полоній обязанъ тому, что увѣрялъ постоянно при всякомъ случаѣ, «что долгъ мой, государь, люблю я также, какъ жизнь мою, а короля какъ Бога», что поминутно распространялся о томъ, «что значитъ преданность, что власть монарха», и что соваль всюду свой носъ. Въ концѣ концовъ ему пришлось и поплатиться за свое навязчивое повсюду вмѣшательство, когда онъ попалъ точно въ щель между дверьми и ушакомъ, между царственныхъ дядю и племянника и былъ въ этой коллизіи раздавленъ, причемъ заслужилъ вполне еще такой строгій приговоръ со стороны Гамлета: «негодяй, вздоръ болтавшій безъ умолку» (a foolishspratling knave III, 3). Въ сущности приговоръ справедливъ: глупецъ, не по заслугамъ пользующійся властью почти всегда бываетъ такимъ отъявленнымъ негодяемъ.

Старикъ Полоній до конца жизни не въ состояніи былъ отличать фразу отъ мысли и нравственность отъ свѣтскихъ приличій. Это смѣшеніе понятій сдѣлалось основаніемъ воспитанія вполне достойнаго его сына Лаэрта. На видъ это безукоризненный рыцарь, образецъ придворнаго, ходящій примѣръ учтивости и чести. На него посыпались самые тяжелые удары судьбы; среди этихъ испытаній не можетъ не обнаружиться изъ какого онъ отлить металла. Отецъ его убитъ, сестра сошла съ ума; не по приказу духа, но по стеченію обстоятельствъ онъ долженъ явиться мстителемъ. Шекспиръ съ намѣреніемъ указываетъ на эту тождественность практическихъ задачъ при совершенномъ несходствѣ съ Гамлетомъ въ характерахъ и дѣйствіяхъ («Гамлетъ» V, 2: «въ жребіи его я вижу отпечатокъ моей собственной судьбы»). Лаэртъ несомнѣнно доказалъ, что онъ твердъ и рѣшительнъ: «Я средствами ничтожными съумѣю свершить великое» говоритъ онъ, (IV, 4) и дѣйствуетъ со-

образно тому. Но, спрашивается, куда дѣвались среди испытаній вѣрноподданническія чувства, когда, ставъ въ главѣ бунтующейся черни, онъ съ обнаженнымъ мечемъ въ рукахъ, посягаетъ на жизнь своего государя, прикрывая это покушеніе словами: «капля хладнокровія изобличить во мнѣ бастарда, стыдомъ покроетъ честь отца!» Куда дѣвались чувство чести и рыцарская прямота, когда Лаэртъ не только соглашается на предложеніе короля драться съ Гамлетомъ съ отточенною рапирою вмѣсто тупой, но придумываетъ еще одно средство, превращающее бой съ принцемъ въ измѣнническое убійство (IV, 7): «Я награжу его. Я шпаги остріе намажу ядомъ». Только въ минуту смерти пробуждается въ немъ сознаніе неправоты и мерзости его поступка, равняющихъ его съ простымъ убійцею: «Простимъ другъ друга, благородный Гамлетъ; моя и моего отца кончина да не падетъ на голову твою, твоя же на мою. (V, 2). Я въ собственную сѣть попался, я собственной измѣною убить». Добавимъ еще одну черту къ характеристикѣ Лаэрта. Этотъ человѣкъ горячій и столь естественно раздраженный, въ сильнѣйшемъ увлеченіи страсти слѣдуетъ не за одною правдою чувства, и въ рѣчахъ, и въ дѣйствіяхъ его много фальши, много напускнаго, напримѣръ, когда, прыгая въ самую могилу сестры, онъ восклицаетъ (V, 1): «Теперь надъ мертвымъ и живымъ насыпьте могильный холмъ превыше Пеліона и звѣзднаго Олимпа голубой главы!». Эта наныщенность въ словахъ всего сильнѣе поражаетъ Гамлета, который цѣной отчаянья и утраты вѣры, приобрѣлъ необычайную остроту зрѣнія при сортировкѣ правды въ чувствахъ и фальши. Гамлетъ срываетъ, такъ сказать, маску съ Лаэрта: «Ты выть пришелъ? Ты на зло мнѣ спрыгнулъ въ ея могилу? Ты хочешь съ ней зарытымъ быть? Я тоже. Ты говоришь о высяхъ горъ? Такъ пусть же на насъ навалятся миллионъ холмовъ, чтобъ Осса передъ нимъ была песчинкой». Вскорѣ потомъ Гамлетъ признается Горацио (V, 2); «Лаэрта уважаю, но право, другъ, риторика печали меня взбѣсила».

Въ сценѣ при могилѣ Офеліи, Шекспиръ нарочно сопоставилъ два преувеличенныя выраженія печали, одну — серьезную напыщенность въ устахъ Лаэрта, другую — ироническую въ устахъ Гамлета.

Перейдемъ къ нѣжной прелестной Офеліи. По артистическому преданію, образъ русой дочери Полонія, съ голубыми глазами, есть одинъ изъ самыхъ популярныхъ. Онъ врѣзался въ память въ томъ фантастическомъ нарядѣ и въ той поэтической обстановкѣ, въ которой онъ выведенъ въ двухъ послѣднихъ сценахъ 4-го дѣйствія. Онъ особенно памятенъ по тѣмъ полевымъ цвѣтамъ, незабудкамъ, розмарину, павиликѣ, василькамъ, которые она дарить, по той ивѣ, съ сѣдыми листьями, вѣтви которой обломались подъ тяжестью ея тѣла, по тѣмъ водорослямъ, среди которыхъ плавалъ ея трупъ, наконецъ по тѣмъ отрывкамъ простонародныхъ пѣсенъ и балладъ, которыя она поетъ и которыя хотя и безсвязны, но по словамъ Горацио (IV, 5) «ихъ безобразность на заключенія наводитъ умъ того, кто имъ внимаетъ. Изъ этихъ словъ съ догадкою слагаешь какой-то смыслъ сокрытый». Однако многіе критики уже замѣчали не безъ основанія, что къ этой податливой дочери Евы подходятъ гораздо ближе, нежели къ королевѣ Гертрудѣ, слова Гамлета (I. 2): «Ломкость, женщина, твое названіе» (*frailty thy name is woman*). Гёте въ *Wilhelm Meister's Schutzhahn* далъ Офеліи слѣдующее весьма мѣткое опредѣленіе: все ея существо погружено въ зрѣлую, сладкую чувственность. Этотъ прелестный цвѣточекъ, нѣжно лелѣяемый, выросъ на тучной почвѣ, среди роскоши и всевозможныхъ удобствъ. Онъ имѣетъ всѣ качества вьющагося растенія, всякій сдѣлаетъ съ нимъ, что захочетъ. Приказано ей возвратитъ принцу письма и подарки — она возвращаетъ; приказано не принимать его — она не принимаетъ; кокетничать и притворяться — она притворяется и не колеблясь участвуетъ въ интригѣ, направленной къ тому, чтобы вывѣдать тайну помысленій принца. Это сердечко до того легкое, что не въ силахъ

ненавидѣть, но оно предается легко и цѣликомъ, и не въ состоянїи даже защищаться. И отецъ и братъ при-
нуждены сдерживать ее и поминутно напоминать (I, 3),
что изъ «дѣвъ чистѣйшая ужъ не скромна, когда лунѣ ея
открыта прелесть», внушая, чтобы она была «подальше
отъ опаснаго желанїя, отъ вспышки склонности своей». Послушное дитя, она повинуется, не безъ ропота однако
на претерпѣваемое ея склонностью насилїе. Тяжелая ка-
тастрофа случилась, принцъ о которомъ мечтала дѣва и
котораго она любила насколько могло любить ея пас-
сивное сердце, оттолкнулъ ее, издѣвался надъ нею са-
мымъ чувствительнымъ образомъ, въ добавокъ убилъ
отца. Умственный ея организмъ не перенесъ испытанїя,
она сошла съума. Въ безсвязныхъ мысляхъ сумасшед-
шей, точно въ осколкахъ разбитаго зеркала отражаются
мечты, преслѣдовавшїя ее въ ея дѣвичьихъ снахъ, объ
умершемъ «бѣлымъ саваномъ покрытомъ, головою ле-
жащемъ на зеленомъ дернѣ, съ холоднымъ камнемъ у
пятъ», но также и о томъ, что творится наканунѣ Ва-
лентинова дня. «Ты присягнулъ на мнѣ жениться, прежде
чѣмъ я исполнила твою просьбу», говоритъ дѣвушка.
Парень ей отвѣчаетъ: и я бы исполнилъ клятву, если
бы ты была болѣе скромна». Эти реальные черты сгла-
живаются и пропадаютъ въ переводахъ. Офелїи не до-
ставало только случая, а приключилось бы съ нею тоже,
что передаетъ пѣсенка: «Онъ услышалъ, вострепнулся,
Быстро двери отворилъ, Съ нею въ комнату вернулся,
Но не дѣвой отпустилъ». Эта безоружная чувственность
придаетъ особенный вѣсъ разговору Гамлета съ Офелїей.
Всѣ слова Гамлета попадаютъ мѣтко въ цѣль, смотря
по лицу, къ которому онѣ адресованы. «Ты честная дѣ-
вушка? Ты хороша-ли собой? Если ты честна и хороша,
такъ добродѣтель твоя не должна имѣть дѣла съ кра-
сотою. Ступай въ монастырь! Зачѣмъ рожать на свѣтѣ
грѣшниковъ... или если ты хочешь непременно выйти
замужъ, выбери дурака; умные люди знаютъ, какихъ
чудовищей вы изъ нихъ дѣлаете... У насъ не должно

быть больше браковъ. Которые уже женились, пусть живутъ всё — кромѣ одного, (т. е. Клавдія); остальные останутся чѣмъ они есть: въ монастырь! въ монастырь!» (III, 1). Такіе красивые граціозныя цвѣточки, какъ Офелія, могутъ произрастать на общественной почвѣ, среди полнѣйшаго разложенія общества. Весь промежуточный слой между народомъ и престоломъ, изображаемый семействомъ Полонія, гниль и подвергался тлѣнію. Что же замѣчаемъ мы надъ этимъ слоемъ? На высяхъ, у самой вершины общества, красуются два чудовища, которыя, по словамъ Гамлета, превратили престолъ въ «гнѣздо кровосмѣшенія и разврата» (III, 3): король Клавдій и королева Гертруда.

Когда воинственный Гамлетъ-отецъ погибъ внезапною и таинственною смертію, царскій вѣнецъ въ фантастическомъ государствѣ Даніи по фантастическимъ законамъ наслѣдованія, установленнымъ законодателемъ Шекспиромъ, за которыми мы должны, не разсуждая, признать обязательную силу, достался женѣ умершаго, Гертрудѣ, имѣющей 30-лѣтняго, очень любимаго народомъ сына, Гамлета—героя драмы. Братъ умершаго, Клавдій, снискалъ столь быстро сердце вдовы, а вмѣстѣ съ сердцемъ и руку ея, а вмѣстѣ съ рукою престолъ датскій, что въ одинъ мѣсяцъ послѣ того, какъ она сдѣлалась вдовою, уже состоялся съ забвеніемъ всякихъ приличій новый бракъ между царственною совладѣлицею воинственной страны (*imperial jointress*) и новымъ монархомъ, возведеннымъ въ этотъ санъ по волѣ сословій государства («Мы поступили, говоритъ Клавдій къ представителямъ народа (I, 3), согласно вамъ: вы съ мудростью глубокой одобрили нашъ бракъ»). Клавдій достигъ короны самымъ законнымъ путемъ. Ходъ событій не указываетъ на то, чтобы Гамлетъ имѣлъ какое-либо право на эту корону. Его сильно огорчила только поспѣшность, съ которою мать его вступила въ этотъ новый бракъ (I, 2): «И башмаковъ еще не износила, въ которыхъ шла въ слезахъ какъ Ніобея за бѣднымъ прахомъ моего

отца... Еще слѣды ея притворныхъ слезъ въ очахъ заплаканныхъ такъ ясно видны... Хозяйство, другъ Горацио, хозяйство! Отъ похоронныхъ пироговъ осталось холодное на свадебный обѣдъ»... Въ концѣ драмы встрѣчается въ словахъ Гамлета единственный намекъ на политическое отношеніе племянника къ дядѣ (V, 2): «Онъ ловко втерся, говоритъ Гамлетъ, между избраніемъ и моею надеждой», что значитъ, что не будь дяди, сынъ, какъ ближайшій преемникъ царственной матери, могъ бы по избранію чиновъ государства, сдѣлаться соправителемъ при королевѣ, теперь-же, когда дядя завладѣлъ престоломъ на слова его: «племянникъ Гамлетъ-сынъ мой» (1, 2), Гамлетъ отвѣчаетъ язвительно: «побольше чѣмъ племянникъ, поменьше чѣмъ сынъ». По сценическимъ преданіямъ и рутинѣ, король Клавдій представляется обыкновенно какимъ-то брадытымъ разбойникомъ, какимъ-то мрачнымъ и трусливымъ Иродомъ, между тѣмъ какъ въ Клавдіѣ мы имѣемъ дѣло съ болѣе глубокою натурою, съ архизлодѣемъ весьма ловкимъ, весьма проницательнымъ, всегда смѣющимся (I, 5) и даже обольщающимъ подданныхъ своею любезностью по свойственному ему искусству, о которомъ болтаетъ только Полоній, но которымъ король владѣетъ въ совершенствѣ: «Святымъ лицомъ и маскою смиренной—И чѣрта проведемъ» (III, 1). Во всемъ его существѣ нѣтъ ни капли геройства, ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя облагораживаютъ кровавую, но могучую личность Макбета. Клавдію присуще хладнокровіе, ему свойственны скользкая кожа и всѣ движенія змѣи. Онъ не идетъ прямо къ цѣли, но приближается къ ней ползкомъ, онъ только дипломатизируетъ, но что касается практичности, то онъ головой выше Гамлета, предъ нимъ Гамлетъ просто ребенокъ. Превосходство его заключается въ томъ, что онъ никогда не колеблется и дѣйствуетъ для осуществленія своихъ цѣлей безъ зазрѣнія совѣсти. (IV, 7) «Когда ты что нибудь готовъ свершить, свершай пока на то согласна воля. Она измѣнчива, ослабнуть ей легко. Легко

уснуть отъ тысячи совѣтовъ, упасть отъ случая или сильныхъ рукъ. И что-жъ тогда родитъ твоя готовность? Бесплодный вздохъ, вредящій облегченіямъ». Гамлетъ, имѣющій полное основаніе ненавидѣть дядю, величаетъ его мерзавцемъ, мошенникомъ, королемъ изъ тряпокъ и лоскутьевъ (III, 4), Сатиромъ при Аполлонѣ, столь же похожимъ на Гамлета-отца, какъ Гамлетъ-сынъ походить на Атланта. Если взглянуть на дѣло безпристрастнѣе, нельзя не признать, что этотъ король, хотя не воинъ, а только дипломатъ — мастеръ править, что хотя и не по своей волѣ, а по необходимости, онъ способенъ встрѣтить лицомъ къ лицу опасность. Онъ вмигъ осадилъ Лаэрта, нападающаго на него съ мечомъ въ рукахъ, защитивъ себя указаніемъ на святость особы короля (IV, 5); онъ вслѣдъ затѣмъ изъ бывшаго врага снискалъ себѣ союзника, съ которымъ устраиваетъ гибель принца. Чувство не входитъ вовсе въ область политики Клавдія; божество, которому онъ поклоняется, есть чистый эгоистическій интересъ, исповѣдуемый имъ въ случаѣ надобности открыто и безъ обиняковъ. «Я твоего отца любилъ, — говоритъ онъ Лаэрту, но также мы любимъ и самихъ себя; надѣюсь изъ этого ты можешь заключить...» (IV, 7). Этотъ человѣкъ весьма злой и весьма вредный, но лишь на столько, на сколько того требуетъ его личная выгода. Онъ любитъ отдыхать когда сытъ. Само бражничанье есть составная часть его политики. Когда онъ «всю ночь гуляетъ на пролетъ, шумитъ, и пьетъ и мчится въ быстромъ вальсѣ; едва осушить онъ стаканъ рейнвейна, какъ слышенъ громъ и пушекъ и литавръ, гремящихъ въ честь побѣды надъ виномъ» (I, 4), то эти попойки составляютъ практическое примѣненіе къ народу извѣстной поговорки, что, кто пьетъ, тотъ потомъ спитъ, а кто спитъ, тотъ не грѣшитъ. Побольше удали и сангвинической вспыльчивости и Клавдій походилъ бы вполне на короля Августа II Сильнаго, а изъ Даніи вышла-бы Польша XVIII вѣка. Разительное сходство довершается еще ме-

доточивымъ краснорѣчіемъ короля, напыщенными цвѣтистыми рѣчами изъ устъ его текущими, въ родѣ слѣдующей (I, 2): «Съ восторгомъ, такъ сказать, лишеннымъ силы, съ слезой въ очахъ и съ ясною улыбкой, веселый гимнъ запѣвъ при гробѣ брата, за упокой при брачномъ алтарѣ и на вѣсахъ души, развѣсивъ равно веселье и печаль»... мы женились. Однако королю не спится, злодѣяніе всплываетъ всячески наружу. Тиранъ становится отъ страха подозрителенъ, кровожаденъ и испытываетъ нѣчто отчасти похожее на угрызенія совѣсти. Собственно это не угрызенія совѣсти, а боязнь адскихъ огней. Въ ужасающей 3 сценѣ III дѣйствія, одной изъ лучшихъ, какія только написалъ Шекспиръ, проявляется не раскаяніе, а неисправимая разорванность внутри себя у злодѣя (*to double business bound*), который хотя хотѣлъ бы молиться, но не можетъ, потому что не можетъ сожалѣть о винѣ, не можетъ распрощаться съ плодами злодѣянія, вѣнцомъ, властью, женою брата. Не сокрушаясь, такъ какъ онъ сильно озабоченъ сохраненіемъ злодѣйски пріобрѣтеннаго, грѣшникъ рѣшается на отчаянный пріемъ и пытается обмануть Бога посредствомъ молитвы («Зачѣмъ же есть святое милосердіе, какъ не затѣмъ чтобы прощать грѣхи? И развѣ нѣтъ двойной въ молитвѣ силы: паденіе грѣшника остановить, а падшимъ милость испросить?») Онъ похожъ на утопающаго, который хватается за соломенку; такъ и онъ прельщаетъ себя сладкою надеждою, что «быть можетъ все будетъ хорошо».

Гамлетъ занимаетъ донинѣ первое мѣсто въ современной европейской драматургіи, не по лирическимъ своимъ мѣстамъ, а по глубокой психологической правдѣ характера Гамлета, котораго особенность заключается въ томъ, что, обладая пылкимъ сердцемъ и ослѣпительными какъ молнія по яркости своей помыслами, этотъ герой вполне не способенъ справиться съ практическою задачею, возложенною на него помимо его воли, но составляющею въ сознаніи его святой и безусловный его долгъ.

Нѣкогда въ подобномъ положеніи по приказу Аполлона античный Гамлетъ-Орестъ, не колеблясь и не разсуждая, убиваетъ въ трагедіи греческой и вотчима своего, и родную мать.

Гамлетъ относится (III, 2), съ особеннымъ презрѣніемъ къ людямъ «рабамъ страстей», то есть собственно къ массѣ, къ толпѣ обыкновенныхъ людей, которые имѣются въ виду въ слѣдующихъ еще его словахъ (I, 5): «простимся и пойдѣмъ — вы по дѣламъ или желаніямъ вашимъ; у всякаго свое желаніе или дѣло (*business and desire* собственно: желаніе или расчетъ). Превыше этой черты стоятъ избранники, лица самостоятельныя, которыя благословлены тѣмъ, что въ нихъ «кровь уравновѣшена съ разсудкомъ» (III, 2). Каждый изъ этихъ нерабовъ страстей, но все-таки обыкновенныхъ людей, справился бы съ задачею несравненно лучше, нежели Гамлетъ. Даже такой не особенно развитой и деликатный человѣкъ, какъ Лаэртъ, да и тотъ умѣлъ справиться со средствами въ подобномъ же положеніи весьма цѣлесообразно, нашелъ въ себѣ и выдержку и страсть, и точно топоромъ обрубилъ нити психологическихъ зазрѣній совѣсти и сомнѣній, восклицая: «во адъ вассала вѣрность! Пусть сатана возьметъ всѣ мои клятвы!» (IV, 3). Между тѣмъ этотъ принцъ столь храбрый, что въ дѣлѣ имѣвшемъ видъ судебнаго поединка, трупомъ положилъ старшаго Фортинбраса, короля норвежскаго, что грозитъ «превратить въ видѣніе» всякаго, кто помѣшаетъ ему идти на разговоръ съ духами, причемъ всѣ нервы у него напряжены, какъ у немейскаго льва (I, 4); этотъ принцъ, столь хитроумный, что могъ бы перещеголять въ изобрѣтеніи всякихъ кововъ и подкоповъ любаго изъ славнѣйшихъ королей нормандскихъ, этотъ принцъ, одаренный притомъ рѣдкою правдивостью, утонченностью и благородствомъ, котораго паденіе такимъ образомъ оплакиваетъ Офелія (III, 1) «Какой высокій омрачился духъ! Языкъ ученаго, глазъ царедворца, героя мечъ, цвѣтъ и надежда царства, ума и нравовъ образецъ — все, все погибло!..»

этотъ принцъ, говорю я, бичуя себя, такъ сказать, нравственно въ 4 сценѣ III дѣйствія, въ виду проходящаго войска Фортинбраса, дѣлаетъ признаніе, что онъ ничтожнѣе тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ называлъ рабами страстей: «что человѣкъ, когда все свое благо онъ полагаетъ въ снѣ? Онъ звѣрь и только... Богъ вѣрно въ насъ богоподобный разумъ вселилъ не съ тѣмъ, чтобы онъ безъ всякой пользы истлѣлъ въ душѣ». Безчисленными повторяющимися мелкими чертами Шекспиръ постарался изобразить въ Гамлетѣ органическое сочетаніе ослѣпительной и обольстительной гениальности съ полнымъ практическимъ бесплодіемъ, съ безсиліемъ въ дѣйствіи, на которое указалъ уже Гёте. Въ древней сагѣ Гамлетъ походитъ на Юнія Брута, по Ливію, воспитываемаго при дворѣ Тарквиніемъ; онъ прикидывается идиотомъ, дабы усыпить подозрѣнія, и проявляетъ въ то же время такую ловкость, такую цѣлесообразность въ кажущихся дурачествахъ, что въ концѣ концовъ достигаетъ цѣли, то есть убиваетъ короля и завладѣваетъ престоломъ. Иное дѣло—Гамлетъ Шекспира. Одинъ изъ самыхъ общихъ, всего чаще ставимыхъ критиками вопросовъ, заключается именно въ томъ, почему и съ какою цѣлью прикидывается онъ сумасшедшимъ, или не сдѣлался ли онъ и въ самомъ дѣлѣ сумасшедшимъ? Объясняя характеръ принца, Гёте остановился на половинѣ пути и не раскрылъ его окончательно, не указалъ, въ чемъ заключается органическій порокъ въ его организаціи, почему герой не справится съ возложеннымъ на него бременемъ, почему дѣло, для многихъ трудное, но возможное, превосходитъ его силы, почему, будучи неспособенъ поднять эту тяжесть, онъ, по мнѣнію Гёте, остается все-таки способнымъ къ тому, чтобы править людьми и исполнять общественныя функціи, хотя и менѣе сложныя, чѣмъ та, которую онъ призванъ исполнить, но требующія трезвости разсудка, а потомъ извѣстной рѣшительности и воли. Гёте отнесся къ Гамлету слишкомъ снисходительно и готовъ оправдать его. По мнѣнію

Гёте, среди до тла прогнившего общества принцу приказано вырвать одинъ репейникъ съ колючими шипами; понятно, что принца останавливаетъ бесполезность задачи въ виду того, что весь садъ покрытъ сорнымъ бурьяномъ. Къ положенію Гёте, что Гамлетъ не годится въ мстители, но годился бы въ короли и правители, я вернусь въ послѣдствіи, теперь же ставлю вопросъ: въ чемъ заключается органическій порокъ психической натуры Гамлета? Отвѣтъ какъ будто бы навязывается простой: въ излишнемъ умствованіи, въ избыткѣ мышленія, въ отыскиваніи въ виду имѣющихся аксіомъ еще болѣе очевидныхъ аксіомъ, въ то время, когда умственная почва все больше и больше шатается, чѣмъ больше мысль пытливая доискивается точекъ опоры. Подобное пониманіе характера Гамлета могло бы основываться на двухъ мѣстахъ въ драмѣ: во первыхъ, на монологѣ: *to be or not to be*, на словахъ: «Такъ блекнетъ въ насъ румянецъ сильной воли, когда начнемъ мы размышлять: слабѣетъ живой полетъ отважныхъ предпріятій и робкій путь склоняетъ прочь отъ цѣли (ближе къ тексту было бы перевести конецъ: и эти предпріятія теряютъ имя дѣла—lose the name of action). Второе мѣсто находится въ монологѣ предъ проходящимъ войскомъ Фортинбраса (IV, 4): «Слѣпое-ль то забвеніе или желаніе узнать конецъ со всей подробностью—а въ этой мысли, какъ разложить ее, на часть ума три части трусости—не понимаю, зачѣмъ я живъ, зачѣмъ я говорю: «свершай! свершай! когда во мнѣ для дѣла и сила есть, и средства, и желаніе». Къ этому самобичеванію слѣдуетъ отнести критически. Гамлетъ не провинился забвеніемъ о приказаніи отца, напротивъ того, память о приказаніи при сознаніи о томъ, что исполнить приказъ онъ не въ силахъ, причиняетъ ему жгучую боль, которая его мучитъ точно пытка и заставляетъ бесплодно сокрушаться и самого себя терзать. Названіе трусъ къ нему совсѣмъ не подходящее, потому что при извѣстномъ нервномъ возбужденіи онъ способенъ совершать чудеса ловкости и силы

и доказать несравненную свою физическую отвагу. Что касается до отвлеченнаго мышленія, то оно само бываетъ крайне разнородно и не всякое мышленіе является вампиромъ, высасывающимъ кровь изъ рѣшеній человѣческихъ. Есть люди, которымъ уединеніе необходимо, потому что только въ уединеніи распускается цвѣтъ отвлеченной мысли, который потомъ даетъ плоды исполненные сѣмянъ дѣла. Гамлетъ ошибается, смѣшивая румянецъ рѣшимости (the hue of resolution) съ лихорадочнымъ румянцемъ вспышки чувства и нервнаго возбужденія. Мысль сгоняетъ съ лица румянцы аффекта и рождаетъ холодную рѣшимость, но эта рѣшимость, ставъ активною силою, брызжетъ огнемъ при встрѣчѣ сопротивленія и превращается во всеокрушающій громъ. Помните въ 3 части «Дядювъ» Мицкевича мечтанія узника Густава Конрада: «о, зналъ ли бы ты, человѣкъ, какъ велика твоя власть, когда мысль появится въ головѣ твоей еще не видимая, какъ будущая искра въ тучѣ.... Посредствомъ отвлеченной мысли можно завладѣть внѣшнимъ міромъ, а завладѣвъ имъ, господствовать—и по своей идеѣ, и волѣ его преобразовать. Но прежде чѣмъ завладѣть внѣшнимъ міромъ, надо владѣть собственными своими мыслями и крѣпко держа ихъ ими править. Элементъ воли и скорой рѣшимости необходимъ даже и при мышленіи, хотя бы на одно то, чтобы, подъ его давленіемъ, газъ чувства превращался въ твердое состояніе, то есть въ рѣшимость. Къ рѣшимости путь прямой чрезъ убѣжденіе, для убѣжденія же необходима хотя бы малая капля вѣры; я разумѣю здѣсь не какую нибудь религіозную вѣру или философскую систему, но просто на просто сильное убѣжденіе. Кто хочетъ дѣйствовать, долженъ прежде всего отрѣшиться отъ сомнѣній и, избравъ изъ многихъ положеній самое правдоподобное, прильнуть къ нему и утвердиться на немъ какъ на скалѣ. Къ этому то процессу относятся слова Мицкевича въ той же сценѣ, въ темницѣ Конрада: «О, люди, каждый изъ васъ могъ бы одинокій, скованный, разрушать или созидать мыслью

и вѣрою престолы». Съ такого рода мышленіемъ не имѣютъ ничего общаго фантазіи Гамлетовскія, геніальныя, но безусловно безплодныя. Великій, но побѣжденный человѣкъ можетъ страдать, питая въ себѣ чувства побѣдителя, которому подвластно будущее, но Гамлетъ, изъясняя готовность помѣститься въ орѣховой скорлупѣ, останавливается на томъ, что онъ только «считать» себя будетъ королемъ необъятныхъ пространствъ. Въ сущности онъ вполне равнодушенъ къ тому, что есть, къ дѣйствительности, къ добру и пользѣ, къ цѣлямъ жизни и результатамъ дѣйствій, что и передаетъ безъ обиняковъ Розенкранцу (II, 2); «Само по себѣ ничто не дурно, ни хорошо, только мысль дѣлаетъ его тѣмъ или другимъ». Этому этическому нигилизму соответствуетъ полнѣйшій философскій скептицизмъ. Гамлетъ вѣчно качается на дилеммѣ: *to be or not to be*, либо есть что нибудь за гробомъ, либо ничего нѣтъ? Въ сценѣ V дѣйствія съ могильщиками, перебирая черепа, онъ предается размышленіямъ о ничтожествѣ и небытіи, отъ которыхъ словно несетъ матеріализмомъ, между тѣмъ, какъ въ слѣдующей затѣмъ сценѣ (V, 2), предъ смертію, онъ погружается есть въ лѣнивый фатализмъ и поражаетъ своею увѣренностью въ предопредѣленіе: «я смѣюсь надъ предчувствіями; даже воробей не погибнетъ безъ особой воли Провидѣнія» (*special providence*). Шекспиръ никогда не былъ фаталистъ. Его личный взглядъ на вопросъ выражается всего лучше, по моему мнѣнію, въ бесѣдѣ Кассія съ Брутомъ (Ю. Цезарь I, 2): «люди, любезный Брутъ, бываютъ иногда владыки своихъ судебъ. Когда мы низко падаемъ, вина въ томъ не нашихъ звѣздъ, но только насъ самихъ». Для Гамлета этотъ фатализмъ служить чѣмъ то въ родѣ подпорки, на которую опирается его практическая несостоятельность, оправдываемая имъ по мѣрѣ силъ всевозможными соображеніями въ родѣ слѣдующихъ: (V, 2) «Насъ иногда спасаетъ безразсудство, а планъ обдуманнѣйшій не удастся. Есть божество, ведущее насъ къ цѣли». И такъ мышленіе Гамлета не по-

хоже на то, что мы называемъ этимъ именемъ, оно — мышленіе особаго рода или лучше сказать — мечтательство, или еще иными словами — поэзія, никогда не касающаяся стопами земли.

Величіе Шекспировой драмы: «Гамлетъ» заключается прежде всего въ томъ, что онъ представилъ реальный типъ такого безшабашнаго мечтателя, такого лунатика, типъ, который будетъ повторяться непрерывно вплоть до нашихъ временъ у всѣхъ народовъ, и снабдилъ его способностью, страдая насмѣхаться ѣдко, язвительно, истерическимъ смѣхомъ, доводящимъ смѣющагося до сумаспешствія, до агоніи. Этотъ смѣхъ не перестаетъ раздаваться въ теченіи трехъ вѣковъ до нынѣ и потрясаетъ всю систему нашихъ нервовъ. Его общественное значеніе громадно. Есть въ жизни минуты тяжелыя, безотрадныя, безнадежныя, когда въ будущемъ ничего не видать, а въ живыхъ нѣтъ бодрости, нѣтъ отваги идти на приступъ на укрѣпленныя твердыни всемогущаго зла. Тогда у протестующихъ только есть одно оружіе въ рукѣ: Гамлетовскій спазматическій смѣхъ, *memento mori* по отношенію къ злой дѣйствительности, заявленіе того, что хотя мы и слабы и тщедушны, но и эта дѣйствительность не вѣчна, и она раскрыта въ ея ничтожествѣ и гнусности, слѣдовательно нравственно побѣждена, а упразднить ее болѣе счастливыя будущія поколѣнія. Но кромѣ этой заслуги Шекспира въ Гамлетѣ, есть еще и другая не менѣ важная: новый реальный типъ намѣченнаго характера онъ намъ представилъ всесторонне и объективно, а не односторонне, какъ бы это сдѣлалъ менѣ искусственный мастеръ. Овладевъ этимъ типомъ, болѣе посредственный драматургъ изобразилъ бы его либо въ апопееозѣ, то есть представилъ бы намъ картину того, какъ выспренная поэзія изнываетъ и чахнетъ въ желѣзныхъ тискахъ дѣйствительности, либо въ каррикатурѣ, то есть воспользовался бы высокимъ комизмомъ ситуаціи, который не можетъ не проявляться тамъ, гдѣ изъ необдуманыхъ намѣреній по необходимости рож-

даются нелѣпные результаты. Въмѣсто того и другаго Шекспиръ написалъ раздирающую сердце драму, въ которой видимъ, какъ это нѣжное и благородное сердце отравляется по собственной винѣ, какъ этотъ характеръ искажается, какъ этотъ умъ падаетъ низко въ коллизіи съ дѣйствительностью и какъ въ концѣ концовъ смерть оказываетъ ему услугу, потому что лучше, что онъ гибнетъ отъ столкновенія съ дѣйствительностью, нежели чтобы эта дѣйствительность предана была въ жертву его поэтическимъ прихотямъ, его мечтамъ и вспышкамъ чувства. Есть два прекрасныя мѣста въ Гамлетѣ, изображающія прогрессивное развитіе души и ея паденіе. Въ одномъ мѣстѣ Лаэртъ говоритъ: (I, 3) «Природа въ насъ растетъ не только тѣломъ; чѣмъ выше (строится) храмъ, тѣмъ выше возникаетъ души и разума святая служба», Въ другомъ мѣстѣ (I, 4) Гамлетъ объясняетъ, какъ «проростаніемъ» (overgrowth) извѣстнаго прирожденнаго дурного качества или привычки портится самая благородная душа, потому что «пылинка зла уничтожаетъ благо». Въ лицѣ Гамлета осуществляется второй изъ этихъ случаевъ. Вся драма ничто иное, какъ изображеніе развивающагося умственнаго и нравственнаго паденія принца. Остановимся на главныхъ моментахъ этого процесса.

Гамлетъ человѣкъ дѣйствующій по вдохновенію, но не рефлектирующий; не даромъ порывается онъ ѣхать обратно въ Витгенбергъ. Самое любимое его занятіе— книга. Въ бесѣдахъ съ актерами обнаруживаетъ онъ глубочайшее знакомство съ эстетикой при сильномъ отвращеніи къ какому бы то ни было длящемуся систематическому труду: (V, 1) «Такъ обыкновенно бываетъ: чѣмъ меньше рука работаетъ, тѣмъ нѣжнѣе у нея чувство». Онъ способенъ къ подвигамъ, требующимъ большой храбрости или ловкости, но только подъ условіемъ непосредственно предшествовавшаго нервнаго возбужденія, вслѣдствіе воспріятого впечатлѣнія, то есть пока не прошелъ аффектъ и пока дѣйствіе можетъ произойти въ теченіи одного и того же аффекта въ видѣ его рефлекса,

то есть пока оно сверкает молнією, сливаясь съ вызвавшею его причиною и не прерываясь промежутками рефлексіи. Какъ только встрѣтилась остановка, чувство стѣсненія, моментально рождаются мысли радужныя, запечатлѣнныя то жгучею тоскою, то иронією, но королевичъ уже не въ состояніи ихъ сочетать и ими править, не онъ надъ ними властвуетъ, но они влекутъ его за собою. Тщетно повторяетъ онъ самъ себѣ, что время дорого, что надо торопиться, что «жизнь человѣка быстра—и одного счесть не успѣешь» (V, 2). Тщетно дѣлаетъ онъ надъ собою усиліе: (IV, 4) «Отнынѣ мысль проникнута будь кровью, или будь ничто!» Все таки, не смотря на усилія, онъ этого «одинъ» не сочтетъ и либо будетъ вертѣться на мѣстѣ, либо будетъ носиться по волѣ вѣтра безъ веселья, парусовъ и руля на бурныхъ волнахъ происходящихъ событій. Онъ слишкомъ тонокъ и проницателенъ, чтобы позволить играть на себѣ, какъ на флейтѣ, кому бы то ни было, не только такимъ неуклюжимъ парнямъ, какъ Розенкранцъ и Гильденштернъ, но онъ невольно представляетъ собою дудку, изъ которой событія извлекаютъ случайные звуки (III, 2). Остываніе чувства и превращеніе его въ фантазію обнаруживаются тотчасъ послѣ исчезновенія духа. Онъ умоляетъ привидѣніе: (1, 5) «Скажи скорѣе (кто убійца)! на крыльяхъ какъ мысль любви, какъ вдохновеніе быстрыхъ, я къ мести полечу». Но какъ только духъ исчезъ, Гамлетъ вынимаетъ вмѣсто кинжала записную книжку и записываетъ, иронизируя на свой манеръ: «что можно съ улыбкой вѣчною злодѣемъ быть, по крайней мѣрѣ въ Даніи возможно». Потомъ... потомъ онъ заставляетъ свидѣтелей видѣнія присягать, что они будутъ молчать, а самъ онъ начинаетъ играть роль сумашедшаго. Каково это сумашествіе, настоящее или симулированное, и если симулированное, то съ какою цѣлью? Эти вопросы сильно занимали критиковъ и вызвали даже не одну психіатрическую экспертизу. Не подлежитъ спору, что съ момента смерти отца и въ особенности со вступленія ма-

тери во второй брак королевичъ душевно страдалъ, что онъ впалъ въ меланхолію, что умственные его способности сдѣлались, такъ сказать, тусклыми, потеряли блескъ. Появленіе духа сильно потрясло весь его организмъ, вывело его изъ состоянія упадка духа и привело его въ другое состояніе—необыкновеннаго болѣзненнаго возбужденія чувствъ. Мысли и нервы его какъ будто навинчены, повышены цѣлою октавою, впечатлительность немовѣрно остра, отъ чрезмѣрной чувствительности, ощущенія вызываютъ въ немъ поминутно истерическій смѣхъ. Трясаясь какъ въ лихорадкѣ и звеня зубами, онъ начинаетъ бесѣдовать въ тонѣ похожемъ на бредъ, говоритъ скачками, отрывками, намеками и чудаческими сопоставленіями. Этотъ тонъ онъ сохраняетъ до самой смерти.

Съ датскими воинами, стоявшими на караулѣ, Гамлету не зачѣмъ было притворяться. Онъ не прикидывался рехнувшимся, когда бралъ съ нихъ клятву, что не скажутъ, отъ чего онъ сдѣлался страннымъ человѣкомъ, чудачкомъ. Онъ дѣйствительно измѣнился и сдѣлался чудачкомъ. Сумашествіе и чудачество очень близки одно къ другому. Для скрытія причины дѣйствительно произошедшей перемѣны, принцъ придумываетъ странныя выходки и дурачества, похожія на сумашествіе, сначала чтобы не отгадали его тайны, а потомъ по чувству артиста, которому нравится самъ процессъ дѣятельности независимо отъ результатовъ. Мнимое сумашествіе освобождаетъ его отъ этикета и церемоній двора, даетъ ему возможность уединяться, даетъ просторъ его ироніи и сатиричности. Маска сумашествія не плотно пристаетъ однако къ лицу Гамлета; увлекаемый художественнымъ чувствомъ, онъ не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи насмѣхаться надъ придворными. Возбужденныя мысль и чувство сіяютъ необычайно яркимъ блескомъ. Онъ видитъ людей насквозь, онъ ихъ пронзаетъ насквозь иглами своей ироніи; даже очень недалекіе люди, какъ напр., Полоній, замѣчаютъ извѣстный методъ въ его сумашествіи. Сумашествіе Гамлета не ведетъ ни къ

какимъ практическимъ результатамъ, не облегчаетъ осуществленія плана мести, напротивъ тому, мѣшаетъ дѣлу, потому что, втолковавъ себѣ, что сумашествіе необходимо ему для достиженія цѣли, Гамлетъ, продолжая прикидываться сумашедшимъ, изобрѣтаетъ подъ этимъ видомъ все новые и новые опыты и повѣрки для испытанія не средствъ и условій осуществленія цѣли, но только прочности мотивовъ своего намѣренія. Ему понадобились инныя гарантіи, кромѣ словъ привидѣнія. Ему хочется посредствомъ кочующей труппы артистовъ удостовѣриться, поставивъ на сцену пьесу своего издѣлія, точно-ли дядя его злодѣй: (II, 2) «Злодѣю зеркаломъ пусть будетъ представленіе.—И совѣсть скажется и выдастъ преступленіе».

Представленіе на сценѣ, устроенное Гамлетомъ, повлекло за собою двоякаго рода послѣдствія. Во-первыхъ, оно переполошило весь дворъ и произвело невообразимый скандалъ; въ дурачествахъ сумашедшаго мелькнула мысль мстителя. И передъ спектаклемъ король догадывался, что (III, 1) «у него на сердце запало сѣмя; грусть его взраститъ. Оно взойдетъ и плодъ опасенъ будетъ». Теперь онъ наглядно убѣдился въ томъ, что изведеніе Гамлета является единственнымъ средствомъ необходимой обороны. Отношеніе обострилось и превратилось въ бой на жизнь и смерть. Объективныя условія осуществленія цѣли стали для Гамлета несравненно труднѣе, но это не озадачиваетъ его нисколько: онъ предается всецѣло восхищенію, упоенію, порадованный тѣмъ, что задуманная штука удалась; (III, 2) «Ха, ха, ха—музыку! эй! флейтчики! О, если нашъ театръ не нравится ему, такъ значитъ король не любитъ нашего театра». Второй результатъ представленія тотъ, что въ Гамлетѣ возобновилось то нервное возбужденіе, которое располагаетъ его къ быстрому дѣйствію безъ обдумыванія. Насталъ кризисъ: либо теперь, либо никогда! На лицѣ короля, какъ на страницахъ книги, Гамлетъ прочелъ то самое, что ему возвѣщено было духомъ и пере-

полненъ такою активною ненавистью, что восклицаетъ: (III, 2) «Теперь отвѣдать бы горячей крови, теперь ударъ бы нанести, чтобъ дрогнулъ веселый день...». Драматическое дѣйствіе доходить до своего апогея, послѣ чего оно обрывается, какъ и слѣдовало, какъ и должно было случиться, вслѣдствіе того, что руководителями его являются не разумъ, а пылкая кровь или случай.

Местъ поддавалась сама Гамлету, полная, совершенная, когда онъ стоялъ съ мечомъ за спиною колѣно-преклоненнаго, молящагося короля. Гамлетъ изобрѣтаетъ мотивъ колебанія въ совѣсти и выпускаетъ изъ рукъ оказію, которая можетъ быть никогда не повторится: «въ ножны мой мечъ! ты будешь обнаженъ ужаснѣе, когда онъ будетъ пьянъ. Во снѣ, въ игрѣ, въ забавахъ сладострастныхъ, съ ругательствомъ въ устахъ среди занятій, въ которыхъ нѣтъ святыни ни слѣда,—тогда рази, чтобы пятами къ небу онъ въ Тартаръ полетѣлъ» (III, 3).

Вмѣсто цѣльнаго дѣйствія все сводится къ полудѣйствіямъ, къ бесѣдѣ съ матерью, которая требуетъ только огненнаго и сокрушающаго краснорѣчья — не болѣе: «Кинжалы на словахъ, но не на дѣлѣ. Пусть въ эту грудь не вступитъ духъ Нерона!» Не смотря на то, что принцъ дѣйствуетъ съ самообладаніемъ, онъ человѣкъ опасный. Малѣйшее обстоятельство можетъ въ эту ночь, когда духъ является, опять «воспламенить потухающій замыселъ, превратить его въ бѣшенаго, вызвать слѣдную запальчивость». Движеніе ковра и крикъ: «помогите!» рождаютъ въ немъ подозрѣніе, что за этимъ ковромъ спрятался смѣющійся злодѣй, и моментально шпага пронзаетъ коверъ и убиваетъ Полонія: — «что? Король?—нѣтъ не онъ, прощай ты, жалкій, суетливый шутъ! тебя я вышимъ счелъ». Знаменитый разговоръ съ матерью, въ которомъ Гамлетъ, совсѣмъ снимая маску сумашествія, «ломаетъ» и сокрушаетъ ея сердце, обращаясь къ ней то какъ судья и духовный отецъ, то какъ дитя, исполненное нѣжнѣйшихъ сыновнихъ чувствъ,

принадлежить къ числу великолѣпнѣйшихъ сценъ, не превзойденныхъ до нынѣ ни въ какой европейской драматургіи. Въ этой сценѣ Гамлетъ издержалъ себя весь, извлекъ изъ себя все то, на что активной воли его хватало, потомъ онъ палъ духомъ, окончательно избѣрился въ себя, даже пересталъ обдумывать смерть дяди и сталъ похожъ на ту книгу, которую перелистывалъ при Полоніѣ, произнося: «слова, слова, слова!» Послѣ того какъ герой столь сильно понизился нравственно, интересъ драмы слабѣетъ и она идетъ довольно вяло въ теченіи послѣднихъ двухъ дѣйствій, которыя уступаютъ предыдущимъ по красотѣ построенія и переполнены множествомъ эпизодическихъ подробностей, слабо связанныхъ съ главною основою произведенія. Есть еще одна большая разница между тремя первыми и двумя послѣдними дѣйствіями, а именно та, что главные дѣйствующія лица помѣнялись, такъ сказать, ролями. Въ первыхъ трехъ король защищался, Гамлетъ на него нападалъ, пока онъ не свихнулся вслѣдствіе своихъ ошибокъ и не сталъ тѣнью прежняго человѣка. Теперь король предпринимаетъ наступательное движеніе, чтобы упразднить ходячее угрызеніе своей совѣсти въ лицѣ Гамлета. Гамлетъ парируетъ только удары, но еще и въ паденіи своемъ онъ на столько силенъ, что отчасти при содѣйствіи случая, отчасти при содѣйствіи логики событій, погибая самъ, онъ губитъ и своего противника и расплачивается и за отца, и за мать, и за самого себя, въ чемъ и проявляется на сценѣ та высшая справедливость, которой требуютъ и ищутъ и философы и артисты, когда они обозрѣваютъ цѣлую крупную какую-нибудь область человѣческихъ событій съ мало-мальски возвышенной точки зрѣнія.

Менѣе совершенныя нежели три первыя дѣйствія, два послѣднія подвергаются на сценѣ при представленіяхъ весьма значительнымъ сокращеніемъ, такъ что обыкновенно предлагаютъ вмѣсто нихъ одни лоскутки и обрѣзки, что весьма прискорбно, потому что они крайне

интересны въ психологическомъ отношеніи и запечатлѣны тѣмъ мастерствомъ въ изслѣдованіи души человѣческой, въ которомъ до нынѣ еще Шекспиръ не имѣлъ соперника. Смѣю думать, что по мѣрѣ большаго ознакомленія съ Шекспиромъ и штудированія его измѣнится и обращеніе съ его произведеніемъ. До нынѣ подѣ влияніемъ, продолжающагося кой въ какихъ отголоскахъ романтизма, выдвигались впередъ тѣ сцены, въ которыхъ сіяютъ яркими блесками преимущественно красивыя стороны подвижной и измѣнчивой личности Гамлета. Современемъ по мѣрѣ большаго углубленія въ изученіе этого лица и отдѣльныя изслѣдованія и публика можетъ увлечься и полюбить созерцаніе другихъ сторонъ этого характера, хотя и черныхъ, но написанныхъ съ ужасающею правдою. Въ концѣ концовъ въ драмѣ сценично все, что передаетъ типически характеръ лица, либо въ его приготовленіяхъ къ дѣйствію, либо въ самомъ дѣйствіи и столкновеніяхъ съ другими. Съ этой точки зрѣнія сцениченъ монологъ: *to be or not to be*, но весьма также сцениченъ и другой въ IV дѣйствіи, изъ котораго я приводилъ выдержки и безъ котораго характеристика Гамлета всегда останется половинчатою и неполною. Идутъ норвежскія войска въ походъ на Польшу подѣ предводительствомъ молодого Фортинбраса, двадцать тысячъ лихихъ солдатъ, всѣ они бравые, молодецъ въ молодца и всѣ веселые, точно отправляются на свадебный пиръ. Вѣрно «вся Польша вашего похода цѣль»? спрашиваетъ Гамлетъ.—Ничуть не бывало, отвѣчаетъ полковникъ, мы идемъ завоевать мѣстечко, которое не дастъ намъ ничего за исключеніемъ своего названія. Я за него не далъ бы трехъ червонцевъ. Да больше и не дастъ оно дохода». «Такъ поляки и защищаться не будутъ?». «О нѣтъ, они его ужъ укрѣпили. Двѣ тысячи солдатъ и двадцать тысячъ червонцевъ будетъ стоять эта соломинка». Гамлетъ присовокупляетъ: *«Великъ Тотъ истинно, кто безъ великой цѣли не возстае, но за песчинку бьется на смерть, когда задѣта честь. Каковъ же я? Когда меня ни матери безчестіе,*

ни смерть отца, ни доводы разсудка, ни кровь родства не могутъ пробудить? Гляжу съ стыдомъ, какъ двадцать тысячъ войска идутъ на смерть и за видныя славы, въ гробахъ, какъ въ лагерь уснуть. За что? За клочъ земли, идъ даже нтъ и мста сражаться встмъ, идъ для однихъ убитыхъ нельзя довольно наконать могилъ». Въ цѣломъ Гамлетъ нтъ ничего, чтобы превосходило этотъ отрывокъ по глубинѣ мыслей. Шекспиръ-соціологъ сравнялся съ Шекспиромъ-психологомъ. Величіе собирательнаго лица-народа, а слѣдовательно общественныя заслуги человѣческой особы заключаются только въ сознаниі долга и добровольномъ подчиненіи себя обществу, въ духѣ самопожертвованія полагающемъ жизнь и имущество за кажущуюся шалость, за нѣчто порою столь ничтожное, какъ скорлупа яичка, не колеблясь и не отступая. Условія проявленія этого чувства могутъ быть весьма различны. У иныхъ народовъ, менѣе образованныхъ, оно можетъ дѣйствовать безъ разсужденій, по слѣпому послушанію и тому табунному инстинкту, посредствомъ котораго юные варвары одолѣваютъ старыя, истлѣвшія цивилизаціи. У другихъ народовъ оно бываетъ плодомъ живой и сознательной вѣры въ горящіе яркими свѣтильниками идеалы, имена которыхъ: родина, слава, религія, отечество или какъ бы мы ни называли эти предметы, которые для скептика не болѣе какъ пустые призраки воображенія. Эти идеалы мелькаютъ передъ умственными глазами Гамлета, но ни одинъ изъ нихъ не наполнить его, не воспламенить, не превратить его въ героя. Такимъ образомъ въ этомъ отношеніи гениальный и чувствительный принцъ датскій стоитъ на лѣстницѣ созданій ниже послѣдняго изъ рядовыхъ въ арміи Фортинбраса, изъ которыхъ каждый сказалъ себѣ: я долженъ сдѣлать—и сдѣлаетъ или ляжетъ костями. На Гамлета эти слова не дѣйствуютъ, хотя онъ ихъ повторяетъ сотни разъ.

Но Гамлетъ поэтъ и вслѣдствіе того онъ способенъ на многое, чего не вынудить у него чувство долга, по

одному артизму, по одной любви къ искусству, по интересу, который возбуждаетъ въ немъ самъ процессъ дѣйствія независимо отъ цѣлей его и содержанія. Этой любви къ искусству принцъ жертвуетъ всѣмъ; ради ея попираются сердца, наносятся тысячныя душевныя раны, смертью и гибелью обозначенъ слѣдъ Гамлетовскихъ за-тѣй и фантазій. «Не пылокъ я, говорить Гамлетъ (V, 1), но берегись: во мнѣ есть кое-что опасное...» то есть малая доля того чувства, которое одушевляло Нерона, когда онъ произнесъ: *qualis artifex pereo*. Необходимость скрыть тревожное состояніе своей души, пока не послѣдуетъ мщеніе, заставила Гамлета прикидываться сумашедшимъ, но, разъ ставъ на эту дорогу, Гамлетъ полюбилъ взятую на себя роль, потому что она отвлекаетъ его отъ непріятнаго дѣла и даетъ возможность упражнять его злую иронию, его способности сатирическія. Первая жертва этой безсердечной насмѣшливости—Офелія. Гамлетъ никогда не былъ въ нее, что называется, влюбленъ, онъ только забавлялся, какъ артистъ, этимъ прелестнымъ существомъ. Послѣ появленія духа, онъ уже далекъ отъ всякихъ эротическихъ помышленій, но ему представляется великолѣпный случай провести другихъ: прикинуться, что онъ сошелъ съ ума отъ любви. Онъ такъ художественно сыгралъ эту штуку, что одурачилъ такого стараго воробья, какъ Полоній. Съ Офеліею Гамлетъ обошелся жестоко; приторно сладкіе мадригалы, которые онъ къ ней пишетъ, циническія шутки, которыми онъ ее потчуетъ, столь циническія, что онѣ даже исключены по ихъ непристойности въ переводахъ, то обольщаютъ, то глубоко уязвляютъ это влюбчивое и влюбленное сердечко. Гамлетъ имѣетъ наготовѣ и оправдательный предлогъ: она сговаривалась съ моими врагами съ цѣлью вывѣдать мои тайны. Внезапная смерть отца отъ рукъ любовника наносить рѣшительный ударъ дочери Полонія. Сумашествіе ей было привито Гамлетомъ, который на ея могилѣ, вырытой ею же собственными руками изъ чистой любви къ искусству, чтобы превзойти Лаэрта въ его

жалобахъ, скачетъ въ ея могильный домъ и дерется самымъ непристойнымъ образомъ съ Лаэртомъ, сочиняя фальшивыя увѣренія въ любви, которыя беретъ тотчасъ же назадъ, насмѣхаясь надъ ними: (V, 1) «сорокъ тысячъ братьевъ со всею полнотою любви не могутъ ее любить такъ горячо... Я разглагольствовать умѣю, какъ и ты». Вторая жертва рока, преслѣдующаго не безъ основанія всякаго, кто только имѣлъ дѣло съ Гамлетомъ, есть Полоній. Когда причинена смерть даже случайно или по ошибкѣ въ лицѣ кому бы то ни было, хотя бы онъ былъ «капитальный теленокъ» (so capital a calf), ему слѣдуетъ отъ виновника его смерти нѣчто большее, чѣмъ тѣ насмѣшки надъ «кучею мяса», чѣмъ то упрятываніе трупа подъ лѣстницей, гдѣ собирается конгрессъ «политиковъ червей на вкусный ужинъ». Горькая иронія вытравивае всѣ другія чувства въ сердцѣ и заняла ихъ мѣсто. Нипочемъ весь свѣтъ, нипочемъ люди, нипочемъ ихъ жизнь и счастье. Стоитъ ли принимать въ расчетъ эти ничтожныя и пошлыя существа? Въ исполненномъ аристократизма превознесеніи своего субъективнаго я надъ чернью, надъ обыкновенными людьми, начинается сквозить разнузданный и безпредѣльный эгоизмъ, ни передъ чѣмъ не останавливающійся, только бы удовлетворить своимъ фантазіямъ. Этотъ эгоизмъ, сочетающійся съ наивною жестокостію, достигаетъ крайняго своего предѣла въ катастрофѣ, постигающей Розенкранца и Гильденштерна, въ дѣйствіи Гамлета, безусловно преступномъ, о которомъ Штопферъ (Shakespeare et l'Antiquité 1880, 2 v., p. 303) говоритъ, что оно исполнено съ адскимъ искусствомъ и дьявольскимъ злорадствомъ. Эти два вѣрные служители короля, приставленные къ Гамлету, суть простые исполнители приказаній свыше. Имъ приказано отвезти Гамлета въ Англію и дано порученіе передать запечатанный пакетъ, котораго содержаніе имъ неизвѣстно и въ которомъ Клавдій проситъ своего вассала, короля Англіи, дабы высадившемуся Гамлету была немедленно отрублена голова. Гамлетъ догадался объ из-

мѣнѣ, добрался на кораблѣ до пожитковъ своихъ приставовъ, вскрылъ пакетъ и не только похитилъ его, но и замѣнилъ другимъ фальшивымъ, за поддѣланною имъ подписью короля. Въ этомъ фальшивомъ посланіи заключалась просьба къ англійскому королю предать смерти обоихъ его подателей. Въ теченіи морского пути Гамлетъ, воспользовавшись нападеніемъ на датскій корабль пиратовъ, вскочилъ на ихъ судно и попалъ къ нимъ въ плѣнъ, между тѣмъ какъ пристава достигли по отраженіи пиратовъ благополучно Англіи, ничего не подозревая, но были тамъ казнены. Оба они были люди простые, но по своимъ понятіямъ честные и ни въ чемъ неповинные. Они погибли только вслѣдствіе того, что Гамлетъ свою борьбу съ королемъ понимаетъ какъ искусную азартную игру, что онъ ее смакуетъ и радъ, когда ему удастся убить ту или другую пѣшку у короля. Еще до начала путешествія (III, 4) Гамлетъ наслаждается мысленно тѣмъ, что «забавно будетъ видѣть, какъ инженеръ взлетитъ, съ своимъ снарядомъ. Подъ ихъ подкопъ, когда я не обчелся, я подведу другой, аршиномъ глубже и онъ взорветъ ихъ до луны! О, какъ отрадно, столкнуть двѣ силы на одномъ пути». Штука вполне удалась; принцъ описываетъ ее съ величайшимъ наслажденіемъ, какъ истый художникъ, не замѣчая даже, какъ отъ его разсказа покорило друга его—Горацио. Совѣсть королевича чиста и спокойна, стоитъ ли думать о такихъ червячкахъ и букашкахъ: «Плохо, если слабый бросается въ средину межъ мечей бойцовъ сильнѣйшихъ». Нравственная порча въ Гамлетѣ далеко подвинулась и добрый, благодушный племянникъ подъ конецъ сталъ немногимъ лучше дяди. Недавно Ренанъ пытался продолжать «Бурю» Шекспира въ двухъ драмахъ «Caliban» и «Eau de Jouvence» и представить дальнѣйшія судьбы мудреца Просперо по возвращеніи его съ дикаго острова въ Миланъ. Любопытно, не попытается ли въ будущемъ кто либо, измѣнивъ конецъ Гамлета и возведя его на престолъ, по упраздненіи по дѣломъ на-

казаннаго дяди, изобразить намъ въ поэтическомъ произведеніи систему управленія этого фантаста съ его скептицизмомъ, съ его мечтательствомъ, съ прирожденнымъ ему артизмомъ и съ приобретенными презрѣніемъ и пренебреженіемъ людей. Курьезное зрѣлище представило бы намъ царствованіе этого короля-поэта, которое заставило бы, вѣроятно, многихъ вспомнить съ сожалѣніемъ о временахъ короля Клавдія. Трагическая катастрофа, пресѣкающая нить жизни королевича въ измѣнническомъ поединкѣ съ Лаэртомъ, спасаетъ Гамлета отъ еще болѣе плачевнаго конца, который бы его постигъ, если бы онъ пережилъ дядю. Не могу согласиться съ заключающими драму словами Фортинбраса: (V, 2) «Онъ все величіе царя явилъ бы, когда-бъ остался живъ». Думаю, что при своей умственной организаціи, уже выработавшейся въ моментъ перваго появленія духа, онъ не совладалъ бы ни съ какими болѣе сложными практическими задачами, но въ виду постигающей его смерти, забывая про пятна и поминая его только добромъ за благородство и даровитость этой многострадавшей души, мы настраиваемся на тонъ послѣдняго сказанія Горацио: «Вотъ благородное угасло сердце! Покойной ночи, милый принцъ. Спи мирно подъ свѣтлыхъ ангеловъ небесный хоръ!»

Теперь можемъ сказать «прощай» и Гамлету, и Шекспиру. Поэзія Шекспира не объемлетъ всѣхъ родовъ поэтическаго творчества и всѣхъ его источниковъ. Есть одинъ особый родъ поэзіи—поэзія религіозно-мистическая или метафизическая, поэзія библіи и корана, псалмовъ и книгъ пророковъ, Данта, а изъ польскихъ великихъ поэтовъ—Красинскаго. Кто такую поэзію возлюбилъ, того вѣчно будутъ отталкивать иронія и наблюдательность Шекспира, при признаваемыхъ за нимъ всевозможныхъ достоинствахъ. Но есть также поэзія, истекающая изъ другаго источника, не кидающаяся за предѣлы этого міра, довольствующаяся меньшимъ, идеализирующая этотъ свѣтъ, каковъ онъ есть, со всѣми его несовершенствами и терніями, заглядывающая въ сокровеннѣйшіе изгибы

души, ищущая прежде всего правды и изслѣдующая ее во всей полнотѣ не только въ гармоническомъ и граціозномъ, но и въ уродливомъ, и въ ужасномъ, не тенденціозная, но старающаяся выработать въ человѣкѣ совѣсть и волю и внушить ему, что онъ лицо весьма ответственное. Кто остановился у втораго изъ этихъ двухъ полюсовъ поэзіи, кто понимаетъ искусство какъ красивѣйшій изъ цвѣтовъ въ этой жизни, тому Шекспиръ послужить наставникомъ, путеводителемъ, неисчерпаемымъ источникомъ знанія, отрады и наслажденія. Въ 4 пѣснѣ первой части трилогіи Данта добрыя, хотя некрещеныя души поютъ въ честь величайшаго пѣвца древности—Гомера: *onorate l'altissimo poeta!* Переимѣняя предметъ поклоненія и подставляя вмѣсто Гомера Шекспира, мы можемъ сказать: отдайте честь высокому поэту!

1883 г.



Мартинъ Матушевичъ

И ЕГО МЕМОАРЫ.



Мартинъ Матушевичъ

И ЕГО МЕМУАРЫ.

Pamiętniki M. Matuszewicza, kasztelana brzesko-litewskiego. 1714 — 1765.
wydał Adolf Pawiński, tomów 4. Warszawa 1876.

I.

Передъ нами — «Записки кастеляна брестъ-литовскаго Матушевича». Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ тотъ моментъ, когда авторъ дописывалъ послѣднее слово въ своемъ дневникѣ, въ которомъ, по его же словамъ, истина «изложена слишкомъ откровенно и для многихъ лицъ непріятно» (IV. 318), Матушевичу еще было далеко до высшихъ званій и кресла въ сенатѣ. Онъ былъ въ то время еще только брестскимъ стольникомъ и при всей своей оборотливости еще не успѣлъ выплыть наверхъ, а долженъ былъ держаться покровительства благодѣтелей своихъ, противниковъ партіи Чарторыскихъ, или, какъ въ то время было принято называть ее, — партіи «фамиліи». Главными противниками «фамиліи» были гетманъ Браницкій, Карлъ Радзивиллъ и Францискъ-Феликсъ Потоцкій, о которыхъ канцлеръ литовскій Чарторыйскій выражался такъ: «другіе всѣ, при этихъ трехъ — все равно, что звонки на ошейникѣ: тряхнетъ ошейникъ, тогда и они звенятъ» (IV, 243).

Нелегка была служба Матушевича, а вознагражденіе было еще впереди, оно только обѣщалось. Къ тому же, покровители его и сами-то не всегда стояли твердо, а потому стольникъ брестскій принужденъ былъ унижаться, заискивать у князя-канцлера литовскаго, ѣздить къ нему, чтобы побыть у него на глазахъ, выжидая его надъ собой милосердія (IV. 239, 242). Но эти кошачьи ласки не обманывали канцлера: «г. стольникъ брестскій—говаривалъ онъ—для насъ хорошо, когда намъ хорошо, а еслибъ намъ пришлось худо, тогда онъ былъ бы къ намъ всѣхъ хуже» (IV. 287). Дѣйствительно вышелъ въ люди Матушевичъ уже значительно позднѣе, когда самъ король Станиславъ-Августъ уже разошелся съ «фамиліею», когда «фамилія» уже лишилась опоры въ Петербургѣ, всѣ ея планы пошли прахомъ, а фаворитомъ счастья сдѣлался возвратившійся изъ за-границы изгнанникъ Карлъ Радзивиллъ, воевода виленскій, маршалъ бывшей радомской конфедераціи. Радзивиллъ въ отношеніи умственномъ постоянно находился подъ чьимъ нибудь руководствомъ. Руководителями Радзивилла въ этомъ важномъ но некрасивомъ періодѣ его жизни были Карръ и Матушевичъ—какъ секретарь той же конфедераціи, а потомъ и сейма 1768 года. Съ радомской конфедераціей, въ смыслѣ нравственномъ, можно сравнить развѣ только тарговицкую. Правда, о Карлѣ Радзивиллѣ можно при этомъ замѣтить, что онъ самъ не вѣдалъ, что творилъ, но о Матушевичѣ этого ужъ никакъ сказать нельзя. Въ числѣ всѣхъ, окружавшихъ виленскаго воеводу, Матушевичъ отличался и находчивостью въ совѣтахъ и искуснымъ перомъ. Вотъ за эти-то непохвальныя услуги Матушевичъ и получилъ обильную награду: 50 тысячъ золотыхъ, выданныхъ изъ казначейства, и достоинство кастеляна. Это высокое званіе, хотя и осуществило мечты юности честолюбца, но зато, если разобрать, какъ оно было выслужено, является на немъ какъ бы клеймомъ. По прочтеніи мемуаровъ, хотѣлось бы вѣрить, что писавшій ихъ стольникъ былъ лучше позднѣйшаго кастеляна брестскаго.



Конечно, приобретённое это званіе было результатомъ тѣхъ нравственныхъ свойствъ, какія въ Матушевичѣ обнаруживались втеченіи всей жизни и которыя въ самыхъ запискахъ его высказываются съ замѣчательной наивностью; но всетаки въ этихъ запискахъ, онъ не рѣшился досказать—какими путями и по какимъ ступенькамъ онъ дошелъ до званія члена сената—кастеляна брестъ-литовскаго.

Какъ бы ни представлялась несимпатичною личность автора, это не уменьшаетъ интереса самыхъ записокъ. Онѣ, дѣйствительно, составляютъ «настоящее сокровище», какъ о нихъ отзывался Юльянъ Бартошевичъ, являются однимъ изъ обильнѣйшихъ источниковъ для уразумѣнія нравственной фізіономіи, близкаго уже къ упадку въ половинѣ XVIII столѣтія, польскаго государства. Эта, не слишкомъ еще отдаленная эпоха была впоследствии, когда она представилась воображенію какъ предсмертные часы независимости—сильно подкрашена и идеализирована въ множествѣ беллетристическихъ произведеній. И вотъ передъ нами, съ изданіемъ мемуаровъ Матушевича, появился такой призракъ, который поражаетъ реальностью, и въ силу ея похожъ на человѣка живаго, истолкователя мыслей и чувствъ многихъ людей, жившихъ вѣкъ тому назадъ. Записки эти настолько же отличаются отъ мраморныхъ статуй, созданныхъ искусствомъ, насколько опытъ выше гаданія, а вивисекція поучительнѣе вскрытія мертваго организма. Записки Матушевича слѣдуетъ признать столь же цѣннымъ матеріаломъ для уразумѣнія людей и отношеній въ періодъ, непосредственно предшествовавшій разложенію республики, какъ открытые гр. Едуардомъ Рачинскимъ въ 1836 году мемуары Яна-Хризостома Паска — для XVII вѣка. Стоя безъ всякаго сравненія ниже Паска въ отношеніи нравственномъ, Матушевичъ однако не уступаетъ ему какъ замѣчательный писатель, отчасти даже художникъ. Въ своемъ качествѣ оратора, всегда готовый привести цитату изъ Горация или Буало, какъ

стихотворецъ, онъ по владѣнію формой, уже почти можетъ быть причисленъ къ эпохѣ Станислава-Августа. Записки свои Матушевичъ составлялъ долгіе годы, не имѣя при томъ какой либо особой практической цѣли. Это не есть самозащита передъ потомствомъ, изложенная чело-вѣкомъ, который бы заботился еще при жизни соорудить себѣ храмъ съ алтаремъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, это и не памфлетъ тенденціознаго свойства, приспособленный къ взглядамъ извѣстной партіи и имѣющій что-либо доказать. Набрасывая свое «частное писаніе для домашняго свѣдѣнія», Матушевичъ просто удовлетворялъ внутренней своей потребности — собрать впечатлѣнія и наблюденія своей исполненной волненій жизни и сохранить ихъ, въ первобытной ихъ свѣжести, для самого себя на то время, когда придется неподвижно сидѣть передъ каминомъ, читая «Часы» и оглядываясь на прошлое. При чтеніи этихъ записокъ невольно приходитъ мысль о заполненныхъ ими долгихъ дняхъ дурной погоды въ деревнѣ или о зимнихъ вечерахъ, проведенныхъ за ними въ промежуткахъ сессій сеймиковъ и трибуналовъ, когда, присѣвъ къ переплетенной книгѣ, столъникъ извлекалъ изъ черновой записной тетрадки и разныхъ бѣглыхъ замѣтокъ и заносилъ сразу событія и случаи за нѣсколько мѣсяцевъ и даже лѣтъ, неоднократно мѣняя притомъ свой взглядъ на людей, которыхъ прежде изображалъ иначе, и характеризуя ихъ съ новымъ освѣщеніемъ, согласно съ измѣнившимися своими къ нимъ отношеніями.

Въ заголовкѣ записокъ сказано: «дневникъ моей жизни, для свѣдѣнія потомковъ и *въ ихъ назиданіе*», но это первоначальное намѣреніе, если оно у автора и было, вовсе не исполнено съ точностью. Матушевичъ мало старается поучать, ни о чемъ не выражаетъ сожалѣнія, но даетъ полную волю своей сатирической венѣ, и въ концѣ проситъ извинить и отпустить ему только лишь этотъ сатирическій грѣхъ, простить только то, что истина слишкомъ искренно изложена и потому оскорбительна.

Не имѣя нужды стѣсняться передъ самимъ собой, авторъ ничего не прикрываетъ и не подкрашиваетъ, а признается наивнѣйшимъ образомъ въ поступкахъ, противныхъ нравственности, иногда даже прямо некрасивыхъ. Такъ какъ мемуары свои онъ писалъ постепенно а не подъ рядъ, то въ повѣствованіи преобладаетъ не эпическій, но скорѣе драматическій характеръ, не картинное представленіе лицъ и происшествій, но схватываніе ихъ на ходу и отмѣтка мелкими, но характерными чертами, какъ бы при помощи рѣзца. Ему удается иногда полусловомъ вызвать предъ нами не выписанный портретъ, но живой типъ, съ его движеніями и игрой тѣхъ нравственныхъ пружинъ, которыя побуждали его дѣйствія.

Такого рода чистый реализмъ, не заправленный какимъ бы то ни было спеціальнымъ намѣреніемъ, не можетъ не производить сильнаго впечатлѣнія, хотя бы онъ былъ примѣненъ даже къ предметамъ грязнымъ и противнымъ. Самая правда и есть красота—таково принятое нынѣ эстетическое правило, а такъ какъ красота въ значеніи эстетическомъ входитъ въ общее понятіе о красотѣ, къ которому принадлежитъ и представленіе о красотѣ нравственной, то еслибы мемуары Матушевича появились лѣтъ 20—30 тому назадъ, въ самый разгаръ старопольскаго эпоса и прославленія дворянщины въ нашей литературѣ, то кто-нибудь, пожалуй, восхищался бы этими записками въ простотѣ души, за мастерское воспроизведеніе родной старины, не смущаясь весьма сомнительнымъ значеніемъ и самого автора, и его произведенія, въ смыслѣ гражданской нравственности. Вѣдь имѣли же въ то время большой успѣхъ рассказы Бенедикта Винницкаго, которые, въ этомъ послѣднемъ отношеніи, стояли немногимъ выше, изобиловали поркою и кровавыми драками въ церкви, а даже и кухонными условіями всей обстановки сеймованія. Ко всему этому, въ запискахъ Матушевича присоединяются еще новыя и неоцѣнимыя подробности свойства финансоваго: сколько сребренниковъ пошло на то, чтобы сеймикъ состоялся

или чтобы онъ «сорвался», или на избраніе депутата въ трибуналь.

Но нынѣ измѣнилось отношеніе наше къ прошедшему, взгляды наши стали трезвѣе, а требовательность строже, мы сдѣлались разборчивѣе, муть въ недопитой рюмкѣ мы уже не принимаемъ за чистое вино. Насъ реализмъ этихъ мемуаровъ интересуеъ и поучаетъ, но одновременно и ужасаетъ, такъ какъ изъ этого зеркала глядитъ на насъ отвратительное лицо того времени, заплывшее жиромъ, красное отъ вина, сіяющее вакхической усмѣшкой, лицо Силена на картинѣ Рубенса. То эстетическое удовольствіе, какое могли бы намъ доставить типичность и реальность картины, совершенно исчезаетъ вслѣдствіе отвращенія, какое производитъ ея смыслъ. По теоріи Дарвина, потребовались сотни тысячъ лѣтъ, чтобы изъ звѣринаго образа могъ выработаться человѣкъ, а въ той картинѣ, которую намъ далъ Матушевичъ, всего сто лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ дѣйствующихъ лицъ—людей, которые не сѣумѣли предвидѣть близкой, кровавой будущности, людей безъ совѣсти и стыда. Слишкомъ недавнимъ является все это для того, чтобы мы могли представить себѣ возможность такихъ людей и невольно чувствуется потребность—или отречься отъ нихъ, или же взять на себя защиту того безславнаго вѣка противъ Матушевича. И въ самомъ дѣлѣ, все что случилось рельефнаго впослѣдствіи, всѣ стремленія преобразовательныя, всѣ усилія обращенныя, хотя и поздно, къ улучшенію, къ спасенію—невозможно было бы объяснить себѣ, если бы не предположить, что и въ томъ періодѣ, который описанъ Матушевичемъ, наряду съ нравственнымъ упадкомъ, были же и болѣе чистыя теченія, болѣе здоровыя понятія; что духъ своего времени авторъ «Записокъ» мѣрилъ слишкомъ исключительно на мѣрку личнаго своего характера. А вѣдь онъ самъ, какъ общественный дѣятель, является предъ нами если не однимъ изъ крупнѣйшихъ червей на тѣлѣ умиравшей Республики, то во всякомъ случаѣ порочнымъ

сыномъ своего вѣка. Многое, что было совершаемо внослѣдствіи во искупленіе прошлаго должно же было произойти изъ какихъ-нибудь наличныхъ и передъ тѣмъ элементовъ, и потому намъ остается только предположить, что картину своего времени Матушевичъ представилъ слишкомъ односторонно, слишкомъ сгустилъ и безъ того уже мрачныя краски тогдашней дѣйствительности.

И такъ, прежде чѣмъ провѣрить въ общемъ и въ частностяхъ поставленный передъ нами образъ историческаго періода, подвергнемъ изслѣдованію самыя свойства и особенности того зеркала, въ которомъ онъ для насъ отразился; намъ необходимо войти прежде всего въ оцѣнку характера самого автора «Записокъ», какъ человѣка и гражданина; затѣмъ уже будетъ легче убѣдиться, насколько эти свойства личности повліяли на писателя, на художественную сторону изображенія и на степень точности въ рисовкѣ событій и портретовъ изображаемыхъ лицъ. Но замѣтимъ напередъ, что изъ всѣхъ являющихся въ «Запискахъ» портретовъ наименѣе сомнительнымъ, относительно сходства, представляется намъ собственный портретъ ихъ автора. Самая личность Мартина Матушевича можетъ служить однимъ изъ наиболѣе цѣнныхъ историческихъ источниковъ для уразумѣнія XVIII вѣка, такъ какъ онъ самъ является однимъ изъ наиболѣе характерныхъ типовъ того исполненнаго тревоженій періода.

II.

Общественную свою дѣятельность Матушевичъ началъ при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. Происходилъ онъ изъ семьи порядочной, достаточной, дворянской, но не аристократической. Отецъ его, староста стокискій, былъ человѣкъ умный, бывалый, знавшій почти всѣ европейскіе языки (I. 92); онъ построилъ монастырь

въ Расной, состоялъ членомъ братства Дѣвы Маріи, былъ столь строго набоженъ, что даже лежа на смертномъ одрѣ, когда ему было 83 года, все еще соблюдалъ постъ. Староста, приверженецъ Сапѣговъ и близкій имъ человѣкъ, держался однако какъ можно дальше отъ жизни публичной, занимался исключительно хозяйствомъ, но при этомъ пользовался такимъ уваженіемъ и вліяніемъ, что когда воевода мазовецкій Понятовскій, отецъ будущаго короля (1743 г.), вздумалъ женить старшаго своего сына, Казимира, на дочери подскарбія Сапѣги, разведенной съ Іеронимомъ Радзивилломъ, то Матушевича просилъ быть сватомъ; бракъ этотъ, однако, не состоялся, такъ какъ Сапѣга видѣлъ въ немъ *mésalliance* для своего дома (I. 145). Мартинъ былъ старшимъ сыномъ старосты Матушевича. Одаренный большими способностями, хорошо изучившій классиковъ—у іезуитовъ, молодой Мартинъ поступилъ въ лейбъ-мушкетеры короля Августа II. Эта лейбъ-компанія, состоявшая изъ 80 молодыхъ людей, разсѣялась послѣ смерти короля, такъ какъ, получавъ жалованье отъ саксонскаго курфюрста, часть ихъ не захотѣли присягнуть республикѣ и были высланы. Другіе же, а съ ними и Матушевичъ, присягнули безъ затрудненій, какъ вѣрные сыны отечества, за что Матушевича поцѣловалъ въ голову примасъ Потоцкій, а великій маршалъ коронный Мнишехъ похвалилъ, пообѣщавъ, что пошлетъ его, послѣ избранія новаго короля, вмѣстѣ съ своими сыновьями за границу (I. 13). Покамѣстъ, однако, Матушевичъ остался въ домѣ у родителей, но не надолго. Все брестское дворянство, исключая развѣ Сапѣговъ, было горячо предано партіи Станислава Лещинскаго, а потому среди наступившей борьбы родители не могли удержать молодаго человѣка, который рвался къ участию въ ней. Отецъ, по привычкѣ сторонившійся отъ политики, остался дома, а когда вступилъ русскій отрядъ и полковникъ Кондыревъ сталъ приводить жителей Бреста къ присягѣ на вѣрность Августу III, то старый Матушевичъ принесъ требуемую

присягу, выговоривъ, впрочемъ, про себя, вмѣсто поп соасте—nunc соасте (I. 33).

Но сынъ присоединился къ конфедераціи при королѣ Станиславѣ и получилъ подъ начальство команду изъ 200 рекрутъ изъ крестьянъ, не имѣвшую ни ружей, ни какой-либо амуниціи (I. 38). «Тутъ я узналъ—пишетъ авторъ—что одно дѣло знать учебные приемы, а другое дѣло—командовать, и что плохо не проходить всѣ военныя званія подъ рядъ, начиная отъ унтеръ-офицера: я бы просто не сумѣлъ сдѣлать никакого распоряженія, еслибы меня не научилъ поручикъ Ланге» (I. 63). Матушевичъ былъ въ этой пѣхотѣ старшимъ капитаномъ. Другимъ офицерамъ пришла мысль распустить людей, а отъ Матушевича вытребовать около тысячи талеровъ на жалованье; но встрѣтивъ съ его стороны отказъ, они съ нимъ распрощались и разъѣхались (I. 43). Матушевичу не пришлось видѣть настоящей войны. Военныя дѣйствія, въ которыхъ участвовалъ его отрядъ, просто состояли въ безцѣльныхъ переходахъ изъ Кобрина на Волынь, оттуда чрезъ Пинскъ на Минскъ, въ Вильно, на прусскую границу—въ Вармию, а наконецъ въ Кенигсбергъ, куда собрались одни только предводители Станиславовской партіи, растерявъ предварительно подчиненныхъ. «Эти господа—говоритъ авторъ—позабывъ о домахъ своихъ и своемъ неблагопріятномъ положеніи, зажили тутъ на широкую ногу, стали задавать пику, давали балы, пустились въ инклинаціи и наслажденія, такъ что многіе впали въ болѣзни непристойнаго свойства. А партія уменьшалась, такъ какъ иные, не уплативъ долговъ, тайно изъ Кенигсберга выѣзжали» (I. 54, 55). Нашъ офицеръ снялъ съ себя мундиръ навсегда, тамъ же, въ Кенигсбергѣ, и далѣе мы уже имѣемъ дѣло только съ писателемъ, дипломатомъ и юристомъ, который, конечно, готовъ при необходимости выйти на поединокъ и рубиться за возстановленіе чести своей, или своего рода, или своей партіи, но предпочитаетъ вообще разрѣшать всякія столкновенія оружіемъ «гусинымъ» и

даже «жидовской саблей (деньгами)», а не открытой силою (IV. 247).

Когда пришлось вернуться домой, то Матушевичъ сталъ тамъ скучать, сидячая домашняя жизнь скоро ему надоѣла, занимался онъ больше книгами и охотой, чѣмъ помощью отцу въ хозяйствѣ. Вотъ эта-то скука, гораздо болѣе чѣмъ легитимистская преданность—какъ-то утверждаетъ Бартошевичъ, въ своемъ этюдѣ о Сосновскомъ, гдѣ многое прямо взято въ сыромъ видѣ изъ записокъ Матушевича—и подсказала проектъ поѣздки въ Люневилль, ко двору бывшаго короля, такъ какъ при такой поѣздкѣ можно было и научиться кое-чему и во всякомъ случаѣ усовершенствовать манеры. Но отецъ Мартина избралъ для него нѣчто иное: службѣ придворной или званію домашняго секретаря у кого либо изъ магнатовъ, онъ предпочелъ для сына должность общественную. А такъ какъ должности въ то время почти всѣ продавались, а мѣста въ староствѣ зависѣли отъ старосты, то старикъ и купилъ для 25 лѣтняго сына у старосты брестскаго Фридерика Сапѣги канцлера вел. кн. литовскаго, за 600 дукатовъ, должность градскаго брестскаго секретаря. «Я держался съ оглядкой—пишетъ авторъ—снискивая аффекты жителей воеводства, кланялся я и угощалъ по мѣрѣ возможности. Угощалъ и моихъ товарищей—подстаросту и градскаго судью (I. 88). Расходы все возрастали, а супплементъ отъ отца былъ невеликъ. Я рѣшился не задаваться парадностью, сталъ разъѣзжать куда надо верхомъ, съ двумя людьми, а то и самъ-другъ, прислуживаться отказомъ отъ вознагражденій, бѣгать по розыскамъ и исполненіямъ» (I. 92—144). Успѣлъ онъ притомъ же привести въ порядокъ дѣла т. е. акты старостинскаго (градскаго) управленія и суда, которые до того времени гнили, сваленные въ брестскихъ костелахъ (I. 96). И дѣйствительно, «аффекты» мѣстнаго дворянства въ Матушевичу росли, вслѣдствіе его услужливости, росли популярность и вліяніе, пригодныя въ будущемъ. «А когда мнѣ кому удалось услужить, то при сеймикѣ писалъ я

ему, приглашалъ его прибыть—говорить авторъ (I. 125), при чемъ развиваетъ цѣлый обдуманнѣйшій планъ своей политики. «Ибо такова была моя максима при сессіяхъ сеймиковъ, да и въ отношеніяхъ по воеводству: всѣмъ искренно и охотно служить, обидѣ своихъ не помнѣть, даже врагамъ оказывать услуги или дать подарокъ, за официальное мое дѣлопроизводство брать мало, а то и вовсе ничего, нуждающемуся помочь, пріѣхать по довѣренности на-легкѣ и актъ составить скоро, дабы не вводить сторонъ въ расходъ, мирить, а при мировой приплатить иногда и изъ своего кармана. При судебныхъ и сеймиковыхъ сѣздахъ держать столъ открытый, угощать виномъ хорошимъ, и не то, что подчивать, а усиленно поить, при чемъ и собственнаго своего не щадить здоровья; на сеймикахъ никогда не доходить самому *ad extremitates*; каждому голосу давать значеніе, контрадицентовъ упрашивать, претензіи, какія у нихъ бывали къ кандидатамъ на должности, нерѣдко удовлетворять на свой счетъ, данное слово сдерживать пунктуально. Если сессія сеймика состоялась благополучно, то радоваться тому вмѣстѣ со всѣми; а если не дошло до конца, тогда—разъѣзжаться въ совершенной конфиденціи даже и съ тѣми, кѣмъ сеймикъ былъ испорченъ, и которые послѣ, бывало, ко мнѣ приходили. Я съ ними пилъ, веселился съ полной откровенностью, извиняя ихъ и входя въ ихъ потребности, что они имѣли свои поводы поступить такъ, а не иначе» (I. 213).

Вотъ — премудрые совѣты, на первый взглядъ одушевленные, какъ будто, искренней преданностью гражданскимъ обязанностямъ. Но если присмотрѣться къ нимъ ближе, то станетъ ясно, что истекали они изъ расчета, который заходилъ гораздо далѣе скромнаго желанія — добросовѣстно служить братьямъ—дворянамъ. Нѣтъ такихъ интересовъ общественнаго блага, которые бы требовали подобнаго маккиавельскаго притворства, да и состояніе обыкновеннаго дворянина не могло бы выдержать такого возраставшаго расхода на ѣду и вино, еще съ заключе-

ніемъ мировыхъ между спорящими—на свой счетъ. Цѣною подобныхъ усилій бываетъ лишь пріобрѣтеніе популярности, при такихъ условіяхъ, когда она нужна, какъ лѣстница, чтобы взобраться на верхи общественной іерархіи. И дѣйствительно, Мартинъ Матушевичъ съ самой молодости былъ одержимъ жаждой власти и величія и вполне выдержанно шелъ къ цѣли своего честолюбія: уже въ 1754 году у него въ мысли то востелянство брестское, которое онъ и получилъ 14 лѣтъ позднѣе. Положимъ, и въ большомъ честолюбіи нѣтъ ничего дурнаго, если оно избираетъ такіе пути къ возвеличенію человѣка, которые согласны съ благами общественными. Но таково ли было честолюбіе Матушевича? И могъ ли человѣкъ съ честолюбіемъ такого рода, дѣйствительно выдвинуться изъ рядовъ и занять высокое положеніе, у насъ въ XVIII вѣкѣ? Отвѣтъ на эти вопросы мы дадимъ въ послѣдующемъ.

Какъ бы то нибыло, въ способностяхъ для осуществленія честолюбивыхъ намѣреній у автора не было недостатка, но на пути его становились разныя иныя препятствія. Не мало вредили ему родные: мать и братья, а сверхъ того, та почва милости сильныхъ магнатовъ, по которой приходилось ставить шагъ за шагомъ, чтобы добраться до ступеней высокихъ, была такъ скользка, и такъ обильна разными неожиданностями, что судьба автора «Записокъ» неразъ висѣла на волосѣ. Здѣсь мы должны нѣсколько приоткрыть къ его близкимъ, и прежде другихъ—познакомиться съ личностью его родительницы. Госпожа Тереза Матушевичъ, рожденная Кемпская, бывшая по отцу въ свойствѣ съ Мостовскими и принеся мужу значительное приданое, сама принадлежитъ къ числу наиболѣе курьезныхъ типовъ, обрисованныхъ въ настоящихъ мемуарахъ. «Во время оно (1742 г.)—пишетъ авторъ—мать моя, пріѣхавъ въ Гоглицы, нашла тамъ какой-то безпорядокъ (I. 126), а такъ какъ управляющимъ тамъ былъ шляхтичъ Ластовскій, то она приказала бить его плетью по голому

тѣлу такъ сильно, что этотъ Ластовскій померъ. Испугалась матушка и скрылась въ францисканскій монастырь». Дабы отвратить скверное судебное дѣло, надо было сдѣлать Ластовскаго не-дворяниномъ; вытребовали метрическую книгу крещеній отъ священника въ Опшянахъ и затѣмъ, г-жа Матушевичъ съ угрозами требовала отъ сына, чтобы онъ внесъ въ эту книгу фальшивую запись о Ластовскомъ, а когда сынъ не согласился, то она долгое время не пускала его къ себѣ на глаза (I. 127). Дѣло это устроилъ подкоморій (предводитель дворянства) Красинскій такимъ способомъ, что г-жа Матушевичъ обязалась показать подъ присягою, что не была виновна въ смерти Ластовскаго, — «каковая присяга — прибавляетъ авторъ — и по сей день не принесена». Было еще и другое, также не хорошее дѣло, касавшееся серебряной церковной утвари и обломковъ дароносицы, которые были найдены во время пожара у одного жида въ имѣннѣ Матушевичей — Расной, и вручены на храненіе г-жѣ Матушевичъ, присвоившей эти вещи себѣ, откуда и пошла вѣсть, что Матушевичи обогащаются присвоеніемъ краденыхъ церковныхъ вещей (I. 66, 120). Наконецъ, третье дѣло было начато самой старостиною къ немалой опасности для всей семьи Матушевичей, такъ какъ противникомъ былъ человекъ могущественный — Михаилъ Салѣга, воевода подляскій и генералъ литовской артиллеріи. Дѣло произошло изъ за ярмарки, бывавшей въ Расной, въ день русскаго праздника св. Іліи (I. 39 — 73). Воевода устроилъ на тоже время ярмарку въ своей деревнѣ — Высокомъ, и разставивъ по дорогамъ караулы изъ своихъ солдатъ, заставлялъ купцовъ сворачивать къ себѣ. Тогда родители Матушевича принудили его дать имъ брестскую конфедератскую пѣхоту для охраны ихъ ярмарки въ Расной. Старикъ Матушевичъ сперва писалъ воеводѣ, что «на семь свѣтъ ничего съ вашей милостью мнѣ не подѣлать, зато призову васъ, за мою обиду на судъ Божій»; но потомъ однако предъявилъ къ воеводѣ искъ

въ люблинскомъ трибуналѣ. Г-жа Матушевичъ отправилась тогда на сессію, взявъ 11 тысячъ злотыхъ на поддержку дѣла, сама всячески экономничая въ пути и обижая хозяевъ въ заѣздныхъ домахъ; но возвратилась она ни съ чѣмъ, такъ какъ люблинскій судъ призналъ дѣло подлежащимъ компетенціи трибунала литовскаго, въ которомъ самъ Сапѣга уже предъявилъ встрѣчный искъ къ родителямъ Матушевича. Семьи ихъ угрожало полное разореніе. Сапѣга собирался уже завладѣть Расною и побудилъ кредиторовъ Матушевича къ общему предъявленію ихъ претензій на его имѣніе, но раньше, чѣмъ это могло состояться, воевода умеръ внезапно, и Матушевичи ожили. Страстно любя сутяжничество, старостина второго своего сына Іосифа отдала въ адвокатскую контору для выучки, и готова была бы всѣхъ своихъ дочерей повыдавать за адвокатовъ при трибуналахъ, съ тѣмъ чтобы имѣть въ нихъ даровыхъ защитниковъ въ своихъ процессахъ. На одной изъ дочерей женился люблинскій адвокатъ Лехницкій, котораго дворянское происхожденіе было сомнительно, который и дома своего не имѣлъ, а нанималъ квартиру, а на свадьбу пріѣхалъ верхомъ и не имѣлъ въ чемъ везть жену къ себѣ, въ Люблинъ. Очень скоро устроили разводъ, ссылаясь, по обычаю, на мнимое принужденіе; но едва ли не тотчасъ затѣмъ мать стала всѣми силами принуждать другую дочь — при чемъ, то страшила ее розгами, то падала къ ея ногамъ — чтобы та вышла за противнаго ей вдовца-адвоката Рушица, и дѣвушка должна была согласиться. Самъ старикъ Матушевичъ подозрѣвалъ, что имѣя зятемъ адвоката, жена постарается по смерти мужа, завладѣть всѣмъ, что онъ оставитъ (I. 118). Всѣ гадкія дѣла матери падали и на Мартина Матушевича, такъ какъ она принуждала его поддерживать ихъ, угрожая въ противномъ случаѣ отнять у него свое благословеніе.

Братья также не были Мартину ни подмогой, ни честью. Выдавая себя за особеннаго ихъ благодѣтеля и

разсказывая сколько трудовъ ему стоила защита ихъ въ серьезномъ дѣлѣ по убійству Паровинскаго, который былъ ими застрѣленъ (I. 109, 190), авторъ разсказываетъ о нихъ такія вещи, что нельзя понять, какимъ образомъ онъ поддерживалъ какія-либо съ ними отношенія. Младшій братъ Вячеславъ, поручикъ, постоянно судился съ нимъ за раздѣлъ движимаго имущества по отцѣ, и угрожалъ хватить брата саблей по лбу (III. 56), Мартинъ Матушевичъ упрекалъ его въ глаза, что онъ, братъ, въ химерическомъ своемъ молодечествѣ «искажи своими и жалобой сдѣлалъ меня въромъ, публично обвинялъ меня въ лжеприсягѣ и примиреніе предлагалъ мнѣ въ видѣ милости». Средній братъ, Іосифъ, полковникъ, былъ разсудительнѣе, но зато оказывался эгоистомъ, хотѣлъ помѣшать Мартину жениться, чтобы не лишиться надежды быть его наслѣдникомъ (II. 172), ни разу не досидѣлъ до конца на сеймикѣ или на семейныхъ совѣщаніяхъ съ противникомъ для составленія компромисса, всегда жалѣлъ денегъ на публичныя издержки для партіи, данныя же себѣ для этой цѣли деньги употреблялъ въ свою пользу, а между тѣмъ постоянно критиковалъ каждый шагъ своего старшаго брата; въ самыя трудныя минуты борьбы съ канцлеромъ Сапѣгою—думалъ только о томъ, какъ бы самому выйти сухимъ изъ воды, то есть просто сдаться канцлеру на его произволъ, и наконецъ, ухаживая за любовницей Флеминга, Тимановой, чтобы на ней жениться, выдавалъ приверженцамъ Чарторыскихъ тайны радзивилловской партіи (IV. 219), вводя этимъ брата Мартина въ подозрѣніе у покровителей послѣдняго.

При такой матери и такихъ братьяхъ—если только правда все, что о нихъ сказано въ «Запискахъ»,—Мартинъ Матушевичъ, стало быть, уже только самому себя былъ обязанъ той любовью и уваженіемъ, какими онъ пользовался среди дворянства брестскаго воеводства. Этой любовью онъ могъ и ограничиться, не тратя средствъ на расширеніе своей популярности (IV. 39). «Я при-

няль рѣшеніе—говорится въ «Запискахъ» — не вдаваться слишкомъ глубоко въ сеймики, такъ чтобы ни отъ кого не зависѣть и никому не становиться поперекъ дороги, и личное свое вліяніе употреблять только для того, чтобы поддерживать на сеймикахъ *bonum ordinem*. Я былъ бы счастливъ, еслибы могъ достигнуть такого результата, но не далъ мнѣ Господь Богъ этого желаннаго счастья». Въ этомъ помѣшала Матушевичу собственная его натура и онъ напрасно ссылается тутъ на волю Божью: самъ онъ не могъ устоять противъ покушенія — блестятъ на болѣе обширной сценѣ. Непріятны были необходимыя для этого въ то время условія; на нашъ нынѣшній взглядъ они представляются столь противными, что подчиняться имъ, по нынѣшнимъ понятіямъ, значило бы унижать себя, отречься отъ всякаго чувства достоинства. Условія эти лучше всего можно охарактеризовать, приведя одно мѣсто изъ упомянутаго уже труда Ю. Бартошевича («Сосновскій» въ «Сборникѣ» Огрызки 1859. II. 146); отзывъ этотъ имѣетъ здѣсь тѣмъ большее значеніе, что онъ былъ внушенъ Бартошевичу именно чтеніемъ мемуаровъ Матушевича. «Вся общественная нравственность и весь патріотизмъ дворянства непервостепеннаго заключались въ томъ, чтобы слѣпо летѣть за приказаніями магнатовъ, даже заглушая голосъ собственной совѣсти. Каждый высокій родъ имѣлъ свою особую политику въ примѣненіи къ странѣ, свои виды и свои союзы; средства же у всѣхъ ихъ были одинакія, а именно—посягательство на все, хотя бы самое святое, для того только, чтобы поставить на своемъ. Каждый дворянинъ, если хотѣлъ добиться карьеры, долженъ былъ выбрать себѣ какой-нибудь могущественный домъ и отдаться самъ къ его услугамъ съ душой и сердцемъ». Бартошевичъ прибавляетъ, что такія условія выработались вѣкомъ, а потому люди слабые не чувствовали униженія и не догадывались, что убиваютъ будущность республики.

Но даже и по этому опредѣленію, Матушевичъ все-таки не былъ въ состояніи невмѣняемости, такъ какъ не

принадлежалъ къ числу слабыхъ. Надъ нимъ оправдалась въ этомъ отношеніи аксіома, что привычка—вторая натура; человѣкъ постепенно втягивается въ непохвальныя отношенія, затѣмъ понемногу притупляется въ немъ нравственное чувство, и наконецъ, та связь, которую онъ наложилъ на себя по расчету, хотя и съ неудовольствіемъ, превращается въ безусловную необходимость и въ законъ существованія. Возьмемъ для примѣра обращеніе Матушевича въ одной рѣчи, къ канцлеру Сапѣгѣ (1738 г. 84). Слѣдуя за испорченнымъ вкусомъ того времени, ораторъ погружается *in abyssum* ¹⁾ глубочайшаго благоговѣнія, упадаетъ къ стопамъ великаго Гераклида, не дервая *tollere vultus* ²⁾ и прося дабы канцлеръ соизволилъ къ сей вѣрной и покорной головѣ прикоснуться *pollice pedis* ³⁾). Понятно, что въ личномъ представленіи оратора, все это были не болѣе какъ риторическія фигуры, фразы, которыхъ никто не долженъ былъ брать буквально, какъ мы не принимаемъ въ буквальномъ смыслѣ выраженій въ родѣ «покорнѣйшій слуга», «безпредѣльная преданность» и т. п. Но есть однако то различіе въ значеніи нынѣшнихъ и тогдашнихъ формъ вѣжливости, что теперь подобныя фразы всѣми признаются за чисто—условныя, и употребляютъ ихъ наиболѣе старательно скорѣе—тѣ, кто имѣетъ право считаться вышнимъ; а въ прошломъ вѣкѣ у насъ, тѣ избранники судьбы, которымъ удавалось возвыситься на уровень власти почти монархической, наши польскіе «корольки»—какъ ихъ называли (*królewicęta*)—принимали преувеличенную вѣжливость, какъ слѣдовавшую имъ дань. Всѣ они постоянно держали въ мысли нѣчто похожее на то, что великій канцлеръ литовскій Чарторыскій высказалъ безъ обиняковъ Матушевичу, сочинившему для него хвалебную оду: «благодарю васъ, любезнѣйшій, за эти похвалы,

¹⁾ Въ бездну.

²⁾ Поднять лицо.

³⁾ Пальцемъ ноги.

et fabula partem veri habet» (VI. 311)¹⁾. Отношенія сла-
гались такимъ образомъ, что вѣжливая фраза и преу-
величенный комплиментъ постоянно имѣли склонность
получить и безпрестанно получали значеніе самой несо-
мнѣнной дѣйствительности. Такъ напр. приверженцы
князя-канцлера Чарторыскаго при каждомъ случаѣ бро-
сали Матушевичу въ глаза на судѣ слѣдующій упрекъ:
esse homo qui edebat panes meos, magnificavit super me supplan-
tationem» (II. 231)²⁾. И напрасно Матушевичъ возра-
жалъ, что «хлѣбъ на обѣдахъ у него я, конечно, ѣлъ,
но и 60 тысячъ злотыхъ—собственнаго своего хлѣба я
проѣлъ на услугахъ князя-канцлера». Не только при-
верженцы канцлера, но и онъ самъ, всетаки были
убѣждены, что человѣкъ, который нѣкогда выпрягся въ
его колесницу, чтобы заслужить его покровительство,
навсегда долженъ былъ принадлежать ему душой и
тѣломъ.

Превосходную къ этому иллюстрацію представляетъ
сцена въ Волчинѣ, у канцлера, когда Матушевичъ, при-
надлежа къ его противникамъ, всетаки явился къ нему
на поклонъ, чтобы избѣгнуть его мести. «Князь прика-
залъ подать кресла» и когда я церемонился, то князь
сказавъ: гдѣ много церемоніи, тамъ мало искренности—
приказалъ непремѣнно сѣсть. Когда я сѣлъ, онъ вы-
жидалъ отъ меня просьбы, не дождавшись же, сталъ го-
ворить: «милостивый пане стольникъ! не нуждаюсь въ
иномъ судѣ, кромѣ вашей милости. Вникните только,
м. г., въ свою совѣсть и припомните себѣ, какой я имѣлъ
къ вамъ аффектъ, какъ васъ любилъ, и какую вамъ
хотѣлъ оказать поддержку; и какже вы мнѣ, м. г., за
это отблагодарили?» Когда князь окончилъ, я отвѣчалъ
ему: милостивѣйшій князь! Припоминая себѣ то счастливое
время, когда я у васъ находился *in statu gratiae*³⁾ и

¹⁾ И сказка не лишена правды.

²⁾ Се человѣкъ, который ѣлъ мой хлѣбъ, а приумножилъ на меня го-
неніе.

³⁾ Въ состояніи милости.

сравниваю нынѣшнее свое положеніе, когда обрѣтаюсь *in statu reprobationis*, ¹⁾ сердце мое обливается горькими слезами» и т. д. По временамъ въ Матушевичѣ отзвучивалась гордость унижаемаго дворянина и тогда, въ сердцахъ, онъ бравировалъ магната: «Князь-канцлеръ привѣтствовалъ меня церемоньяльно (въ Волчинѣ), а самъ глядѣлъ на меня съ очевидной злобой; я, не обращая на то вниманія, нарочно велъ себя свободно, вмѣшивался въ разговоръ, садился вмѣстѣ съ другими, безъ приглашенія, лишь бы сидѣть» (II. 87). Но подобныя бравады продолжались не долго; на смѣну имъ являлось вскорѣ отчаяніе червяка, который, въ сознаніи своего безсилія, опасаясь, какъ бы его не раздавили, не лишили судебными приговорами имѣнія, а пожалуй не наступили бы и на горло, начиналъ бѣгать и молиться по всѣмъ церквамъ, и обивать пороги менѣе доступныхъ, чѣмъ церкви—палацовъ своихъ покровителей, вопія, что содѣлался аки бѣдная овца въ волчьей пасти, и умоляя о помилованіи (II. 282). «Неразъ я—признается авторъ—въ бернардинскомъ монастырѣ со стономъ плакалъ передъ Пресвятой Дѣвою, поручая себя ея покрову (II. 274), ходилъ на исповѣдь, давалъ на 30-ти дневныя молитвы; часто я до того бывалъ утомленъ продолжительнымъ стояніемъ у великихъ міра сего и на ихъ ассамблеяхъ, что лишался силъ и начинала меня бить лихорадка (II. 262).

Но кромѣ молитвъ, пускались въ ходъ и всякія иныя средства обороны, менѣе набожныя и чистыя. Приведемъ собственное признаніе Матушевича о нѣкоторыхъ его пріемахъ во время извѣстной сессіи 1755 г. минскаго трибунала. «Депутатовъ ²⁾ началъ я приглашать къ себѣ на обѣды и, угощая ихъ, самъ принужденъ былъ напиваться. Какъ только депутаты возвращались изъ суда домой, я верхомъ объѣзжалъ ихъ съ визитами, падалъ имъ въ ноги и лежалъ крестомъ, и такъ пріучился пла-

¹⁾ Въ состояніи осужденія.

²⁾ Члены трибуналовъ избирались по воеводствамъ.

кать, что лишь только съ кѣмъ-либо изъ депутатовъ начиналъ говорить, то слезы сами лились изъ глазъ. И такимъ манеромъ, недѣли двѣ, давъ себѣ вздремнуть не болѣе одного часа, и то не раздѣваясь, я ѣздилъ отъ одного депутата къ другому» (II. 150). У депутата Смогоржевскаго, который подалъ самое неблагоприятное въ его дѣлѣ мнѣніе, «неоднократно я—говоритъ авторъ—лежалъ въ ногахъ, въ собственной его квартирѣ, и предлагалъ ему сто червонныхъ золотыхъ, да онъ не бралъ» (II. 166). Уже изъ подобнаго заискиванья у депутатовъ можно вывести себѣ представленіе, какъ же надо было держать себя съ тѣми полубогами, которые ворочали и самыми трибуналами и даже судьбу всей страны держали въ своихъ рукахъ. И вотъ, Матушевичъ цѣлуетъ въ ноги великаго хорунжаго литовскаго Радзивилла (II. 146) и великаго короннаго канцлера Малаховскаго (II. 268); будучи самъ избранъ депутатомъ на сессію трибунала въ Вильнѣ, онъ спѣшитъ быть первымъ для привѣтствованія пріѣхавшаго въ тотъ городъ вел. литовскаго гетмана Радзивилла (по прозванію «Рыбка») и цѣлуетъ ему руку (III. 170), цѣлуетъ въ ноги вел. короннаго гетмана Браницкаго, сидѣвшаго въ каретѣ, встрѣчая его на проѣздѣ, во главѣ мѣстнаго дворянства, съ бокаломъ вина въ рукахъ, при чемъ еще жена гетмана разсердилась и выбранила Матушевича, что онъ спаиваетъ ея мужа (III. 144).

Это курьезное пристрастіе къ горизонтальному положенію тѣла заходило такъ далеко, что подобные знаки почтенія оказывались не только благодѣтелямъ и давателямъ хлѣба, но и—противникамъ, даже врагамъ, о которыхъ было извѣстно, что они готовы бы были растоптать наружно унижавшагося передъ ними супостата. Можно еще простить Матушевичу такую вещь, что, угощая у себя гетмана Радзивилла, на вопросъ его—чьи это портреты на стѣнахъ?—онъ заплакалъ и отвѣчалъ: «ваше покровительство, князь-гетманъ, позволило мнѣ имѣть портреты»—что слыша и всѣ присутствующіе не

могли воздержаться отъ слезъ» (П. 151). Но трудно намъ понять, что заставляло Матушевича неоднократно цѣловать подскарбія Флеминга въ животъ (Ш. 94), такъ что даже братъ Мартина, полковникъ, былъ скандализованъ этой выходкой; или бросаться съ плачемъ къ ногамъ совсѣмъ непримиримому канцлеру Чарторыскому, который отстраняя такое челобитье, говорилъ съ ироніей и вѣроятно съ непріятнымъ ощущеніемъ: «по наружности ваша милость—вѣжливы и покорны, а внутри горды и завзяты, какъ самъ чортъ» (П. 241). Наряду съ обычными низкими поклонами, шла дѣсть устная и письменная, въ прозѣ и въ стихахъ. Муза нашего стольника не была никогда дѣвственною въ этомъ отношеніи; въ немъ сказывается послѣдній представитель панегирической эпохи іезуитовъ и провозвѣстникъ эры придворныхъ стихотворцевъ-нахлѣбниковъ короля Станислава-Августа. Вмѣстѣ съ гимномъ Пречистой Дѣвѣ (IV. 297) писалъ онъ стихи въ честь князя-гетмана, въ которыхъ перечислялъ родственные союзы дома Радзивилловъ съ королевскими фамиліями (П. 148), оду въ честь князя-канцлера литовскаго (IV. 310). Точно такъ онъ торопится однажды передѣлать, съ парафразами во славу Станислава-Августа, посланіе Горация къ Августу императору: «Cum tot sustineas et tanta negotia solus» (IV. 289—301) ¹⁾, и даже къ гончей сучкѣ, которую дарить, присоединяетъ стихи: «гончую сучку рѣзую и довольно ролую—пишетъ авторъ—за которую самъ заплатилъ 10 червонныхъ злотыхъ, да еще далъ стогу сѣна, я подарилъ подкоморію Понятовскому и къ подарку приложилъ стихи».

Само собою разумѣется, что со стараніями и про-текціями шло вмѣстѣ исканіе милостей и выпрашиваніе средствъ. Для поддержки партіи, хотя бы она была и гетманская, требовалось денегъ, а гетманъ Браницкій былъ скупъ, такъ что рассказываетъ Матушевичъ —

¹⁾ Когда все держится тобой и столько дѣла свершаешь ты одинъ.

«я ему цѣлую руки, а онъ отплачиваетъ—только цѣлуя меня въ шею, наконецъ далъ просительныя письма, и такъ я отъ него ушелъ въ большомъ прискорбіи» (IV. 92). Надо было выпрашивать денегъ на каждый расходъ въ общемъ интересѣ, вымаливать заслуженное и уговариваться впередъ, подавать записки (II. 299), а привлеченный подаркомъ въ составъ партіи не могъ быть слишкомъ разборчивымъ въ своихъ пріемахъ при исполненіи того, что ему велѣли дѣлать и при служеніи своему вождю. Политика заставляла покупать совѣсть людей, вербуя сторонниковъ для партіи. «Но деньги, которыя я разсылалъ—говоритъ Матушевичъ—не дѣйствовали бы еще достаточно, если бы я не увеличивалъ ихъ цѣну ласками, поклонами, угощеніемъ (III. 94). Первымъ правиломъ на сѣздѣ сеймика или трибунала было подкупить за деньги кого-нибудь въ противномъ лагерѣ, чтобы онъ сообщалъ о томъ, что тамъ затѣвалось». Въ борьбѣ съ противниками считались дозволенными такіе пріемы, которые мы бы назвали уловками дикихъ. Характерны въ этомъ смыслѣ отношенія между Матушевичемъ и Сосновскимъ—секретаремъ вел. кн. литовскаго, котораго Ю. Бартошевичъ, опираясь на запискахъ Матушевича, изобразилъ въ самыхъ темныхъ краскахъ. Человѣкъ фальшивый, жадный, интриганъ, *subjectum asperum et posivum* ¹⁾—какъ его называлъ гетманъ Браницкій—Сосновскій предпринялъ, по приказанію князя-канцлера литовскаго, во время сессіи сеймика въ Брестѣ въ 1758 г., совершить покушеніе на личность Матушевичей, бывшихъ противниками канцлера, то есть если не убить ихъ, то искалѣчить (III. 4). Съ этой цѣлю, Сосновскій сдѣлалъ Матушевичамъ визитъ и пригласилъ ихъ на ужинъ, который долженъ былъ принять кровавый оборотъ. Люди враждебной Матушевичамъ партіи условились искать съ ними за ужиномъ—«оказіи», какъ говорилось въ то время, т. е. повода къ насилію, подѣ

¹⁾ Грубое и вредное существо.

предлогомъ полученнаго оскорбленія, и затѣмъ просто изрубить ихъ саблями. Къ счастью, пріятели, узнавъ о злодѣйскомъ намѣреніи, поспѣли во время къ нему на помощь и начавшееся уже смятеніе прекратилось, а Матушевичи спаслись изъ этой западни. По нынѣшнимъ понятіямъ, послѣ такого измѣнническаго дѣйствія, Матушевичъ могъ, хотя бы и не мстить Сосновскому, но по меньшей мѣрѣ—навсегда прекратить всякія съ нимъ сношенія. Но въ то время смотрѣли на такія дѣла иначе. На слѣдующій же день, Матушевичъ вступилъ въ разговоръ съ Сосновскимъ объ обыкновенныхъ предметахъ *in omni suavitae* ¹⁾, не требуя даже объясненія; черезъ два года, окончательно обойдясъ безъ такого объясненія, оба эти дѣльца, знавшіе другъ друга насквозь, возобновили дружественныя взаимныя отношенія, а такъ какъ Сосновскій занималъ болѣе высокое положеніе чѣмъ Матушевичъ, то послѣдній являлся депутатомъ на избирательный сеймъ, уже—подъ эгидою Сосновскаго. «Пріѣхавъ въ Варшаву—пишетъ авторъ (1764), отправился я къ секретарю В. княжества Лит. Сосновскому, чтобы первый поклонъ принести своему благодѣтелю» (IV. 298). Подобная снисходительность у автора записокъ означала въ сущности притупленіе нравственнаго чувства, то есть нѣчто близкое къ полному нравственному паденію.

Обладая замѣчательнымъ во всякомъ случаѣ и богатымъ изобрѣтательностью умомъ, человекъ этотъ не имѣлъ никакихъ идеаловъ, и большія свои дарованія издержалъ на мелкія интриги, посвятивъ множество заботъ и труда на достиженіе мелкихъ цѣлей личнаго эгоизма. Каждая черта того вѣка, въ которомъ онъ жилъ, знакома намъ, но замѣчателенъ тотъ фактъ, что сравнивая наши чувства, съ тѣми, какія одушевляли людей XVIII столѣтія, мы не находимъ въ себѣ ничего съ ними общаго. На одной сторонѣ мы видимъ лишь господство узкихъ, грубо-практическихъ взглядовъ, мелкихъ жиз-

¹⁾ Въ тонѣ вполне пріятномъ.

ненныхъ задачъ, отсутствіе всякой заботы о будущемъ, въ тогдашнемъ мнимомъ республиканцѣ — рѣшительный недостатокъ чувства человѣческаго достоинства. На другой, предъ нами—одни безбрежные идеалы, витаніе въ поднебесной лазури, при наличности условій самыхъ неблагопріятныхъ для сколько-нибудь практическаго дѣйствія; но вмѣстѣ съ тѣмъ, во всемъ умственнымъ складѣ и душевномъ настроеніи преобладаетъ особая, характерная черта, та самая, которую прекрасно охарактеризовалъ Словацкій—въ примѣненіи къ одному лицу (Адаму Чарторыскому), но которая можетъ быть отнесена къ цѣлому поколѣнію—«лишь онъ одинъ заслуживалъ названье—благородный; онъ мукой сердца, чистотой стремленій, хотъ безуспѣшныхъ, своею тихой, гордой и великой скорбью, унылой давнею какой-то славой, заслуживалъ названья — благородный»!

И вотъ въ цѣломъ сочиненіи Матушевича напрасно стали бы мы искать хотя бы малѣйшей тѣни той «тихой, гордой скорби»; а безъ нея личность автора, со всѣми его собственными приключеніями и неудачами, столь же мало можетъ вызывать въ насъ интересъ къ себѣ, какъ напримѣръ фигура акробата и его упражненія на протянутомъ канатѣ. Приключенія эти удовлетворяютъ только—любопытство. Представимъ ихъ обзоръ, чтобы закончить наше знакомство съ личностью автора записокъ.

III.

Матушевичи, по своей родовой традиціи, были приверженцами дома Сапѣговъ. Отъ Фридерика Сапѣги великаго-канцлера литовскаго, получилъ Мартинъ Матушевичъ свою должность въ брестскомъ староствѣ. Но такъ какъ восходящимъ въ то время солнцемъ представлялась «фамилія», т. е. домъ Чарторыскихъ съ ихъ родственниками, Понятовскими, то молодой секретарь брест-

скій старался подслужиться къ князю Михаилу Чарторыскому, и зятю его, подскарбію литовскому, Флемингу, тѣмъ болѣе, что получалъ отъ нихъ вознагражденіе за описи и исполненіе декретовъ по ихъ экономическимъ дѣламъ въ градскомъ судѣ (I. 156). Эти отношенія къ Чарторыскимъ, съ которыми канцлеръ Сапѣга находился въ постоянномъ соперничествѣ, были достаточнымъ поводомъ къ тому, чтобы Матушевичъ лишился милости канцлера и въ особенности — жены его, рожденной Радзивиллъ. Авторъ рассказываетъ, что «канцлеръ уже тронулся моими слезами, уже сталъ говорить милостиво, когда канцлерша, княгиня Сапѣга, вошла въ комнату, въ превеликомъ гнѣвѣ, и отличаясь завзятостью своей и прегрубными манерами, стала ругать меня послѣдними словами и кричать» (I. 161). Желая удалить Матушевича изъ градскаго управленія, Сапѣга хотѣлъ сдѣлать его подкоморіемъ (предводителемъ дворянства) брестскимъ. Тогда Матушевичъ, потерявъ надежду оправдаться передъ канцлеромъ, принялъ призывъ партіи Чарторыскаго и открыто присоединился къ ней (I. 70). Чарторыскій обходился съ нимъ какъ съ величайшимъ любимцемъ, публично выказывалъ ему свое благоволеніе, цѣловалъ въ голову, осыпалъ похвалами (I. 237), но будучи мастеромъ въ извлеченіи изъ людей пользы для себя, ничего не давалъ ему, держалъ его постоянно въ ожиданіи милостей и награжденій. Однако Матушевичъ не принадлежалъ къ числу людей, которыхъ можно было привязать одними ласками. Когда и подкоморство ему не досталось, а взамѣнъ получилъ онъ только званіе брестскаго стольника, когда затѣмъ, послѣ смерти Сапѣги, староство брестское перешло къ Флемингу, а тотъ, побуждаемый врагомъ Матушевичей, Быстрымъ, не подтвердилъ Матушевича въ секретарствѣ, а назначилъ другое лицо, то Матушевичъ охладѣлъ къ кн. Чарторыскому, который въ это время сдѣлался великимъ канцлеромъ литовскимъ. Сообразивъ, что ему слишкомъ невыгодно издерживаться на угощенія при сеймиковыхъ

стѣздахъ и рисковать безъ всякаго вознагражденія (I. 250), Матушевичъ началъ систематически заявлять себя будто-бы независимымъ, и даже говорилъ открыто, что радуется неудовольствію на него новаго канцлера, которое освобождаетъ его отъ услугъ, требовавшихъ и труда, и расходовъ (I. 260).

Услуги эти иногда состояли въ томъ, чтобы въ судѣ посредническомъ или въ судебной комисіи судить не по совѣсти, но согласно съ интересомъ покровителя. И вотъ, когда въ одной изъ такихъ комисій, а именно—въ волынской, разбиралось дѣло дворянина Кучевского съ королевской экономіей, которой представителемъ являлся подскарбій (казначей) Флемингъ, то Матушевичъ повелъ дѣло такъ ловко, что экономія его проиграла, а рѣшеніе вышло въ пользу Кучевского, съ дочерью котораго между тѣмъ, еще до окончанія сессіи комисіи, обручился братъ Матушевича (I. 267). Въ глазахъ канцлера Чарторыскаго, которому Флемингъ приходился зятемъ, это дѣло только прибавилось къ нѣсколькимъ, бывшимъ уже у него на счету поступкамъ Матушевича, и потому князь сталъ только ждать случая отомстить ему и такой случай представился на брестскомъ сеймикѣ 1754 года. Флемингъ не сумѣлъ удержаться на немъ въ качествѣ предсѣдателя и въ виду возставшаго противъ него дворянства, сталъ бѣжать, упалъ, и получилъ нѣсколько позорныхъ ударовъ саблями плашмя, пока гайдуки его успѣли его подхватить подъ руки и унести изъ церкви, гдѣ собирался сеймикъ (I. 41). Правда, Марина Матушевича вовсе не было на сеймикѣ, а находился тамъ только братъ его, полковникъ, но весь срамъ, какому подвергся подскарбій былъ приписанъ вліянію Матушевичей и придумано примѣнить къ нимъ средство, которое было въ обычаяхъ того времени, а именно—подвергнуть сомнѣнію ихъ дворянское достоинство, а стало быть и политическія права. Для этого требовалось, чтобы кто нибудь, принадлежащій къ сословію, выступилъ формально съ такимъ воз-

раженіемъ противъ участія обвиняемаго на сеймикѣ, или, какъ говорилось «задалъ ему *imparitatem* (неравенство)». И вотъ, къ Матушевичамъ, которыхъ родъ былъ извѣстенъ въ Литвѣ въ продолженіи не одного вѣка, примѣнено было это средство. Нѣкій Іосифъ Витановскій, мелкій дворянинъ, который мальчикомъ былъ въ услуженіи у Мартина Матушевича и былъ имъ однажды высѣченъ за воровство, выставилъ бабу, крестьянку Гинчукъ, служившую Витановскимъ, которая показала, что она приходится Матушевичамъ тѣткой, такъ какъ они происходятъ отъ крестьянина Матиса. Бабу эту привезли къ канцлеру, въ его имѣніе Волчинъ, и канцлеръ поселилъ ее въ своемъ фольваркѣ Кринкѣ (II, 84), и потомъ даже купилъ ее (II, 131). Самъ онъ не думалъ выступать лично, и передалъ бы все веденіе дѣла Витановскимъ. По заявленію о *imparitas*, дворянскія права Матушевичей были бы временно приостановлены, и имъ приходилось бы позвать къ суду кого-либо изъ Витановскихъ, а этого тогда можно бы было припрятать куда-нибудь подальше, такъ что Матушевичи могли бы добиться только заочнаго надъ нимъ приговора и затѣмъ гоняться за вѣтромъ въ полѣ, а между тѣмъ выжидать своей реабилитаціи года четыре, а то и больше, оставаясь пока *civiliter mortui* (II, 163) ¹⁾.

Опасность эта предстала какъ разъ въ то время, когда отецъ Матушевича умеръ, а онъ самъ собирался жениться на вдовѣ мечника Хелховскаго, знатной дамѣ, изъ дома Щитовъ, носившей званіе кастелянки мстиславской. Матушевичи въ это время примкнули уже къ радзивилловской партіи и имѣли связи съ Мнишхомъ (II, 38, 64), короче—приобрѣтали значительное положеніе въ обществѣ. Прежде всего, нашъ Мартинъ устроилъ отцу пышныя похороны, такъ что заупокойныя службы продолжались цѣлую недѣлю, а участвовало въ ихъ отпраздненіи, щедро вознагражденное многочисленное ду-

¹⁾ Въ состояніи гражданской смерти, т. е. лишенія правъ.

ховенство, именно: 324 духовныхъ лица латинскаго обряда, да 150 грекоуніятскаго. Вся внутренность церкви была покрыта гербами и надписями, свидѣтельствовавшими о блестящихъ родственныхъ связяхъ Матушевичей (II, 90, 91). Справившись съ этимъ дѣломъ, Мартинъ Матушевичъ рѣшился на отважный шагъ: онъ призываетъ къ суду самого князя — канцлера Чарторыскаго, требуя, чтобы тотъ выставилъ оную бабу — клеветницу, Анну Шимчиху Гинчукову къ разбирательству литовскаго трибунала въ Минскѣ и отвѣчалъ за то оскорбленіе чести, какое претерпѣваютъ Матушевичи вслѣдствіе держательства оной бабы канцлеромъ въ его имѣніи. И дѣйствительно, благодаря покровительству Карла Радзивилла, предсѣдательствовавшаго въ трибуналѣ и бывшаго тогда еще только мечникомъ литовскимъ, дѣло приняло благоприятный для Матушевичей оборотъ. Обѣ стороны нустили въ ходъ всевозможныя уловки. Изъ 20 поданныхъ голосовъ только половина принадлежала сторонникамъ Радзивилла, но большинство всетаки составилось, хотя и сомнительное, за отводомъ одного изъ депутатовъ, наиболѣе враждебнаго Матушевичамъ, такъ что у приверженцовъ Чарторыскихъ убылъ одинъ голосъ. Такимъ образомъ, состоялось рѣшеніе суда, которое, устранивъ вопросъ объ отвѣтственности канцлера, постановляло однако, что онъ обязывается представить бабу Гинчукъ къ суду (II. 160). Это былъ большой успѣхъ, но непродолжительный, а къ тому же удвоившій опасность положенія Матушевичей. Канцлеръ воспылялъ безпредѣльнымъ гнѣвомъ и сталъ самъ призывать Матушевичей къ суду, а какъ при послѣдующихъ сессіяхъ составы трибунала были уже подъ полнымъ вліяніемъ «фамиліи», то Матушевичамъ было безопаснѣе подвергнуться заочному осужденію, чѣмъ являться на судъ. Магнатъ повелъ открытую войну съ дворяниномъ, который одновременно и кланялся магнату, падая ницъ передъ нимъ, умолая о милосердіи, и вступалъ во всевозможныя союзы, направленные противъ магната.

Наконецъ, Матушевичъ челобитьемъ своимъ надѣлъ канцлеру, и въ тоже время вмѣшались въ дѣло самъ король и другіе могущественные посредники, такъ что состоялось кое-какъ склеенное примиреніе. Сдѣйствовало ему еще и такое обстоятельство, что канцлерская партія сильно обидѣла двухъ вліятельныхъ въ Литвѣ людей—Богуща и Абрамовича, которые были за одно съ Матушевичемъ, и вмѣстѣ съ нимъ вступили въ соглашеніе съ канцлеромъ. Но Матушевичу канцлеръ въ душѣ всетаки не простилъ, а только отказался отъ мести. Что касалось Матушевича, то онъ съ крайнимъ сожалѣніемъ, долженъ былъ также отказаться отъ того удовольствія, котораго усиленно домогался, именно: чтобы та крестьянка Гинчукъ, которую онъ между тѣмъ приобрѣлъ въ собственность, заплативъ за нее прежнему ея владѣльцу Телетицкому, была выдана ему, Матушевичу, и высѣчена розгами рукою палача у поворнаго столба въ Брестѣ (II. 286).

Но обратимся къ тѣмъ связямъ, въ какія вступилъ авторъ «Записокъ» во время своей войны съ канцлеромъ.

Ему удалось найти доступъ къ великому гетману литовскому Радзивиллу и вскорѣ ловкій дѣлецъ сдѣлался у него правою рукою, казначеемъ его по расходамъ на собраніяхъ сеймиковыхъ, раздавателемъ его милостей и агентомъ по дѣламъ гетмана при дворѣ. Бывая вслѣдствіе того въ Варшавѣ на поклонъ къ партіи придворной, то есть къ надворному коронному маршалу Мнишху—зятю министра Брюля, и къ епископу Солтыку, Матушевичъ, при этомъ случаѣ обдѣлывалъ и свои дѣла, и даже помышлялъ переѣхать въ Дрезденъ, чтобы находиться постоянно вблизи двора, въ интересъ какъ гетмана, такъ и своемъ собственномъ. По одной изъ тѣхъ случайностей, которыя могли бывать только въ тогдашней Польшѣ, этотъ человѣкъ, повсюду искавшій покровителей и денегъ, встрѣтился въ Бѣлостоцѣ съ другимъ человѣкомъ, который искалъ людей, чтобы имъ раздавать чужія деньги. Это былъ швейцарецъ Бэкъ, секретарь великаго корон-

наго гетмана Браницкаго и вмѣстѣ—французскій агентъ, сверхъ того, какъ это оказалось впоследствии, онъ же состоялъ еще тайнымъ корреспондентомъ короля прусскаго. (III. 61). Этотъ Бэкъ имѣлъ порученіе—набирать приверженцевъ для Франціи, противъ русской партіи Чарторыхскихъ. А такъ какъ Матушевичъ охотно бы вступилъ въ союзъ противъ канцлера съ самымъ адомъ, да еще даромъ, то предложенія со стороны Бэка были для него все равно что находка клада на большой дорогѣ. И вотъ, потекло французское золото щедро разбрасываемое для усиленія партіи враждебной канцлеру.

Въ то время партія эта была уже не сапѣговская, но главнымъ образомъ—радзивилловская, и тогдашніе правы были таковы, что люди, къ ней принадлежавшіе считали даже почетнымъ для себя опираться на такой иностранный «союзъ». Легко приобретаемыя, деньги эти и раздавались далѣе слишкомъ щедро, такъ что даже иные изъ сторонниковъ самой «фамиліи» жаждали заполучить изъ нихъ сколько нибудь и для себя. Такъ, родственникъ Матушевича и какъ будто сердечный другъ его, ковенскій маршалъ Забѣлло, показывавшій видъ, что держитъ его сторону, а самъ получившій тайно и измѣнническимъ способомъ отъ Флеминга деньги и даровую аренду Рѣжицы, которая входила въ составъ государственной экономіи, усиленно домогался отъ Матушевича тысячи червонцевъ изъ французскихъ денегъ. Когда же Матушевичъ сорвалъ съ него маску, показавъ, что знаетъ всѣ его продѣлки, то Забѣлло рассказалъ въ свое оправданіе анекдотъ о подстаростѣ упицкомъ и подкоморіи троцкомъ, которые оба получали взятки съ противныхъ сторонъ и наконецъ, наскучивъ перебиваніемъ ихъ другъ у друга, сказали себѣ: чего тутъ ссориться, пусть лучше и ты бери, и я бери, и будетъ ладно. «Но я не захотѣлъ быть такимъ *беркой*»—заключаетъ авторъ (II. 220).

Такимъ образомъ Забѣлло французскихъ денегъ не получилъ, но зато выдалъ тайну сторонниковъ Франціи, а сокровище, между тѣмъ, исчерпалось, магнаты скупи-

лись на расходы, такъ что при каждомъ сеймѣ—дабы не дать канцлерчикамъ совсѣмъ подавить противную имъ партію, Матушевичъ долженъ былъ приплачивать значительныя суммы изъ собственнаго кармана, какъ тотъ игрокъ, который, втянувшись, не можетъ забастовать, а идетъ все на новыя ставки. Самая радзивилловская партія начала расклеиваться по недостатку ума и единогласія у ея вождей. Сперва умеръ (1760 г.) вельможа большой руки, но мелкаго разума, а вмѣстѣ неуживчивый и жестокій, содержавшій нѣсколько тысячъ человѣкъ войска, а въ тюрьмѣ своей множество заключенныхъ, Іеронимъ Радзивиллъ, великій хорунжій литовскій (III. 85, 86.); и вотъ, въ его бумагахъ (о ужасъ для великаго гетмана литовскаго Радзивилла) нашлись доказательства тѣсной его связи съ Чарторыскими, устроенной епископомъ Ріокуромъ (III. 172). Потомъ и самъ вел. гетманъ литовскій, воевода виленскій, Михаилъ Радзивиллъ, у котораго было правиломъ непремѣнно держаться короля, человѣкъ мало-проницательный, но практически опытный (III. 175), отправился вслѣдъ за хорунжимъ, почти наканунѣ рѣшающей минуты, т. е. кончины короля.

Наступило время междуцарствія. «Фамилія» уже давно готовилась къ этому моменту, но противниковъ ея событіе это застало какъ бы врасплохъ. Въ этой партіи, которая считала себя старо-республиканскою ¹⁾, каждый шелъ своимъ путемъ, не заботясь о другихъ: въ Руси Потоцкій, воевода кіевскій, въ Литвѣ Браницкій, вел. гетманъ коронный и Карлъ Радзивиллъ (получившій прозвище отъ поговорки своей—*Ranie kochanku*). Гетманъ былъ съ Чарторыскимъ въ родствѣ, но и въ давней ссорѣ; по симпатіямъ своимъ—французъ, въ политикѣ—консерваторъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и крайне заботливъ о томъ, какъ бы не уменьшить миллионныхъ сво-

¹⁾ Такъ какъ противилась преобразованіямъ, направленнымъ къ укрѣпленію королевской власти т. е. къ ограниченію дворянской анархіи.

ихъ доходовъ. Карлъ Радзивиллъ былъ скандалистъ, любитель приключеній и насилія; съ нимъ надо было порою ждать по недѣлямъ, чтобы переговорить, найдя его въ трезвомъ видѣ. Имъ управлялъ по произволу Пацъ—въ то время подольникъ вел. кн. литовскаго, убаюкивая его прозрачнымъ ожиданіемъ союза съ домомъ Массальскихъ, которые были тѣсно связаны съ княземъ—канцлеромъ. То гетманъ, то воевода виленскій Карлъ Радзивиллъ писали Матушевичу, требуя отъ него совѣта и помощи, но этотъ послѣдній былъ уже не въ такомъ возрастѣ и не въ такомъ настроеніи, чтобы дѣлать что нибудь даромъ на пользу партіи или изъ за милостивыхъ отношеній къ себѣ вельможъ. Онъ зналъ, что у Радзивилла ему не выдержать, а потому подсунулъ ему другаго, болѣе разсудительнаго руководителя, взамѣнъ Паца, именно—Богуша. Но весь умъ и тактъ, какими обладалъ Богушъ не помѣшали однако, что князь стрѣлялъ въ него изъ пистолета въ Прешовѣ, въ Венгріи, а потомъ атаковалъ его, въ его домѣ, вооруженною силой (IV. 305). Съ гетманомъ Браницкимъ Матушевичъ поставилъ вопросъ напрямки: «видя прогрессъ гетманской партіи неудовлетворительнымъ, партію же Чарторыскихъ—берущую верхъ, и имѣя на себѣ долгъ обезпечить жену и дѣтокъ», онъ просилъ, чтобы гетманъ, если желаетъ его услугъ, переуступилъ ему радзивилловское имѣніе Орля, заложенное Браницкому въ суммѣ 300 тысячъ злотыхъ (IV. 205).

Браницкій на такія условія не согласился, а Матушевичъ, предвидя паденіе своихъ благодѣтелей и опасаясь, какъ бы самымъ своимъ пребываніемъ у Браницкаго не возбудить еще болѣе противъ себя Чарторыскихъ, поспѣшилъ въ Варшаву и сидѣлъ тамъ, обрекши себя какъ бы на добровольный арестъ, дабы избѣгнуть подозрѣній, чѣмъ и далъ поводъ канцлеру сказать, что если ужъ Матушевичъ отѣхалъ, то должно быть гетманъ не имѣетъ надежды устоять (II. 218). Наступила буря, среди которой тонули и большіе корабли. Браницкій

ушелъ черезъ Карпаты въ Бардіовъ, а Радзивиллъ въ Валахію. Но лодка Матушевича находилась уже въ безопасномъ портѣ; держась за полу новаго своего покровителя, Сосновскаго, онъ спокойно смотрѣлъ на избраніе и коронованіе Станислава Августа. Всегда покорный, всѣмъ кланявшійся, чувствовавшій себя въ безопасности, но въ тоже время осужденный уже, какъ показалось, на бездѣтельность, Матушевичъ заключилъ свой дневникъ на начавшемся 1765 году. Не продолжалъ онъ своихъ «Записокъ» и впослѣдствіи, когда, въ силу внезапной перемѣны ролей и дѣйствовавшихъ на политической сценѣ лицъ, ему, усердному католику, пришлось участвовать въ конфедераціи въ пользу диссидентовъ и изъ приверженца Франціи преобразиться въ сторонника той державы, которая прежде поддерживала партію Чарторыхскихъ.

Переходъ этотъ онъ, навѣрное, совершилъ безъ всякой внутренней борьбы, рѣшилъ на него моментально, съ такой же легкостью, какъ прежде переходилъ отъ партіи Лещинскихъ къ партіи саксонской, отъ Чарторыхскаго къ Радзивиллу. Втеченіи всей жизни, Матушевичъ шелъ не за принципами, а за лицами, и ни однимъ дѣломъ, ни однимъ мнѣніемъ не высказалъ своего собственнаго убѣжденія или предпочтенія въ великомъ вопросѣ борьбы между наступавшею реформой и оборонявшейся анархіей. Не можетъ быть сомнѣнія, что онъ самъ примкнулъ бы къ партіи реформы, если бы князь-канцлеръ далъ ему своевременно положеніе и родъ дѣятельности, которые бы соотвѣтствовали его дарованіемъ и честолюбію. Вѣдь похвалилъ же онъ, въ запискѣ своей, составленной во время междуцарствія (1764) и не подписанной авторомъ, — даже книгу о. Конарскаго и принципъ сеймовыхъ постановленій большинствомъ голосовъ (*praepararunt in viris honestioribus assensum pluralitati votorum libri reverendi patris Konarski scholarum piarum, eruditissime nuper editi* ¹⁾). Конечно, Матушевичъ не признался бы

¹⁾ Приступленіе къ началу большинства голосовъ было подготовлено въ лучшихъ людяхъ книгами преподоб. отца Конарскаго.

передъ Чарторыскимъ въ этомъ своемъ отзывѣ, да и назначеніемъ самой записки было пустить къ свѣдѣнію дворовъ версальскаго и вѣнскаго такую инсинуацію: «какъ бы эта гордая, алчная и лукавая фамилія князей Чарторыскихъ, занявъ престолъ, не обезпечила его себѣ насильственными средствами наслѣдственно и, обставивъ себя союзами съ Россіей, Пруссіей и Австріей, не стала опасной для всей Европы» (IV. 189—192). Познакомившись уже достаточно съ личностью автора, узнавъ какъ онъ дѣйствовалъ и каковы были его цѣли, мы имѣемъ понятіе о той сторонѣ сочиненія, въ которой онъ, вольно и невольно, обрисовалъ самъ себя. Перейдемъ теперь къ той сторонѣ книги, въ которой отражаются событія того историческаго періода и, не дѣлая ихъ обзора, ограничимся тѣми замѣчаніями, какія вызываетъ самый рассказъ о нихъ Матушевича.

IV.

Въ повѣствованіи этомъ проходитъ передъ нашими глазами, какъ въ смѣнахъ живыхъ картинъ, вся Польша XVIII столѣтія въ періодъ до воцаренія Станислава-Августа. И мы должны сказать, что самая злая, дышащая негодованіемъ и презрѣніемъ сатира не могла бы представить дѣятелей того времени въ худшемъ свѣтѣ, чѣмъ какими ихъ показываютъ намъ эти простыя, веденныя безъ преднамѣренія «Записки», эта откровенная исповѣдь въ приключеніяхъ тревожной и полной усилій жизни, излагаемыхъ спокойно, безъ смущенія, безъ желчи и нареканій. Въ словахъ—напыщенность чувствъ, въ разсказываемыхъ дѣлахъ—полное безстыдство; грязная чувственность и себялюбіе, едва прикрытыя обрывками старыхъ религіозныхъ и политическихъ идеаловъ, до того уже износившихся, что остались отъ нихъ однѣ лишь фразы. По смерти короля, даже такого, какимъ былъ Августъ III, повторяется, по привычкѣ а вовсе

не по убѣжденію, что король это—*primum movens* ¹⁾; что «послѣ этого благодѣтельныйшаго изъ монарховъ, республика можетъ быть уподоблена тѣлу лишенному главы своей, дому безъ хозяина; двѣ (политическія) составныя части: сенатъ и рыцарское сословіе безъ третьей— короля, не представляютъ полного естества республики» (IV 162). Оплакиваемый такимъ образомъ король, по тѣмъ же «Запискамъ», былъ весьма набоженъ, ежедневно слушалъ обѣдню на колѣняхъ, имѣлъ страсть къ охотѣ и къ операмъ, щедро раздавалъ милостыню, но вмѣстѣ съ тѣмъ сторонился отъ всякой работы и заботъ государственныхъ (I. 120). Благодѣтельный этотъ, кроткій, не-гнѣвлимый король терпѣливо выслушивалъ обращенныя къ нему польскія рѣчи, коихъ неразумѣлъ (I. 105), читалъ только тѣ прошенія, которыя писаны по французски (II. 247), и исполняя единую важную функцію, какую оставилъ за собой—раздачу милостей и денегъ, подписывалъ, не читая, повелѣнія (привилегіи), которыя ему подкладывалъ подкупленный камердинеръ. Вслѣдствіе того, происходили забавные случаи. Такъ, однажды король съ гнѣвомъ сказалъ епископу виленскому, что данный отцу его, вел. гетману литовскому Массальскому, патентъ на волковыское старство, полученъ обманомъ (IV. 8). Въ другой разъ, Тизенгаузъ, близкій другъ Чарторыскихъ (въ 1763 г.), которому Удальрикъ Радзивиллъ уступилъ за деньги должность секретаря вел. кн. литовскаго, для полученія подписи короля на патентѣ, далъ сто червонцевъ любовницѣ его камердинера, а камердинеръ вложилъ этотъ патентъ въ число бумагъ, приготовленныхъ къ подписанію короля на особомъ столѣ. Король подписалъ и эту бумагу, а канцлеръ Чарторыскій приложилъ къ ней печать. Этимъ путемъ Тизенгаузъ, сдѣлался секретаремъ литовскимъ безъ вѣдома короля, который, находясь въ открытой войнѣ съ «фамилиєю», никогда бы добровольно этого повелѣнія

¹⁾ Вождь народа, дающій всему направленіе.

не далъ. Когда затѣмъ у Тизенгауза потребовали отъ имени короля объясненія, кѣмъ принесенъ былъ къ королю его патентъ, то секретарь литовскій отшутился, слагая вину на ручнаго вѣрона, который прилеталъ къ окну короля и получалъ мясо и хлѣбъ (IV. 10). Чрезъ этого соломеннаго короля инныя силы давали направленіе дѣламъ, приводя его въ движеніе по своему произволу. Это были—продажныя руки графа Брюля, безразсудная и запальчивая воля Мнишха, котораго почти всѣ находили противнымъ (IV. 120).

Вся карьера Брюля, при чтеніи «Записокъ», проходитъ передъ нашими глазами, начиная съ того времени, когда онъ былъ фаворитомъ «фамиліи», состоявшимъ на ея жалованьи, подслуживался ей, а она выхлопотала ему дворянское право гражданства (*indugenat*) въ Польшѣ, на основаніи фальшивыхъ документовъ и родословныхъ, признанное рѣшеніемъ трибунала пѣтрковского. Когда Брюль въ послѣдствіи сдѣлался министромъ Августа III, то на немъ сперва еще оставалось тяжелое бремя требованій Чарторыхскихъ. Вел. канцлеръ литовскій сердито вынуждалъ отъ него разныя назначенія, дулся на него и угрожалъ. Но затѣмъ, Брюль высвободилъ свою шею изъ подъ ярма «фамиліи» и еще повредилъ имъ въ мнѣніи короля. «Поѣхалъ онъ (канцлеръ лит.) со мной въ каретѣ—пишетъ Матушевичъ—на ассамблею къ Брюлю (I. 25), Брюль, узнавъ о прибытіи князя-канцлера и князя-воеводы русскаго, вышелъ не скоро и, избѣгая привѣтствій съ ними, тотчасъ сѣлъ за карты, даже не взглянувъ въ ту сторону, гдѣ находился канцлеръ, а игралъ такъ долго, что Чарторыхскій, не дождавшись конца, уѣхалъ (1752 г.)». Вскорѣ потомъ, Брюль заодно съ гетманомъ Браницкимъ вырвалъ изъ рукъ Чарторыхскихъ лакомый кусокъ—Острогскую ординацію (маіоратъ). «Фамилія» обидѣ не забывала и въ 1762 г. дождалась удобнаго момента. Въ одинъ и тотъ же день произошли двѣ сцены. Одна—на сеймѣ, гдѣ потребовали исключенія Брюля-сына, генерала артилеріи, депутата отъ го-

рода Варшавы: стольникъ литовскій-депутатъ подольскій предъявилъ ему *imparitatem* и потребовалъ, чтобы онъ, какъ не-дворянинъ, былъ исключенъ изъ сейма, а радзивилловская партія съ Карломъ Радзивилломъ во главѣ, защищала Брюля. Другая сцена была за обѣденнымъ столомъ. Въ то время, какъ въ палатѣ депутатовъ, *in sacratio libertatis* ⁴⁾, блистали обнаженные сабли и шпаги, произошло словесное столкновение за обѣдомъ у вел. кор. гетмана Браницкаго, между Брюлемъ-отцомъ и канцлеромъ литовскимъ, который, намекая на пѣтрковское рѣшеніе, угрожалъ: «если я могъ это сдѣлать, то могу и раздѣлать» (IV. 208). Едва прошли два мѣсяца и король умеръ, а черезъ двѣ недѣли послѣ него, умеръ и Брюль-отецъ. Чернь въ Дрезденѣ хотѣла разорвать его трупъ на куски, все его имѣніе было конфисковано курфиршескою казною, а гардеробъ его былъ распроданъ въ Варшавѣ съ аукціона евреями за ничтожныя деньги. Что касалось Брюля-сына, то когда стольникъ литовскій, Станиславъ Понятовскій, надѣлъ корону, младшій Брюль бросился ему въ ноги и лежалъ на землѣ крестомъ, благодаря короля за ту великую милость, исходатайствованную Ксаверіемъ Браницкимъ, что ему возвращено было званіе генерала артилеріи, котораго онъ былъ уже лишенъ. «У видѣвшихъ это униженіе — говоритъ Матушевичъ — слезы выступили въ глазахъ»; и прибавляетъ: «и сдѣлано это было съ цѣлью огорчить Потоцкаго, воеводу кіевскаго, котораго дочь была за этимъ Брюлемъ» (IV. 301).

Дворъ, вообще, не внушалъ уваженія при такомъ первомъ министрѣ (Брюлѣ), который до того былъ алченъ, что во время сильнѣйшей своей борьбы съ Чарторыскими, все-таки принималъ отъ нихъ денежныя подарки за проведеніе дѣлъ (II. 192); при другомъ королевскомъ совѣтникѣ Мнишкѣ, зятѣ Брюля, надутомъ и ограниченномъ, который и мѣста раздавалъ только лю-

⁴⁾ Въ святилищѣ свободы.

дямъ бездарнымъ (Ш. 49) и епископъ Солтыкъ, который держался этой ничтожной придворной партіи, о которой громко говаривали: Чарторыскіе какъ только прослышатъ о какомъ-нибудь мошенникѣ, тотчасъ посылаютъ за нимъ и приглашаютъ въ свою партію, а дворъ лишь услышитъ о дуракѣ, сейчасъ посадить его въ сенатъ.

Въ сравненіи съ такой придворной партіей нельзя было отказать во внѣшнемъ величіи и блескѣ той, окруженной восточной роскошью, польской, особенно литовской аристократіи, которой могущество уже находилось наканунѣ упадка, этими пышными, поставленными почти на королевскую ногу дворами въ Волчинѣ, Бѣлостокѣ, Коднѣ, Несвѣжѣ. «Ежегодно на Ивановъ день (гетманскія именины у Браницкаго въ Бѣлостокѣ) пріѣзжали съ поздравленіемъ два депутата отъ люблинскаго трибунала, одинъ духовный, другой свѣтскій и произносили рѣчи, а затѣмъ получали подарки: духовный—табакерку изъ чистаго золота, набитую сотнею червонцевъ, а свѣтскій—золотую саблю и 50 червонцевъ. Затѣмъ—пальба изъ орудій и ружей въ знакъ поздравленія, производимая чрезъ полковую пѣхоту и придворныхъ гетманскихъ венгровъ съ янычарами, а равно и драгунъ. Послѣ—проповѣдь, за которою слѣдовалъ банкетъ: По окончаніи обѣда, подавали лучшаго вина столько, что хотъ въ бродъ иди по разливному морю; игралъ оркестръ, давалась комедія съ балетомъ, а въ заключеніи ужинъ и танцы до поздней поры. Иностранцы признаютъ, что гетманъ, окруженный всякимъ великолѣпіемъ, ведетъ жизнь истинно-королевскую» (II. 212). Въ «Запискахъ» приводится на первомъ планѣ цѣлый рядъ портретовъ гетмановъ. Онъ начинается со слышанныхъ авторомъ еще въ родительскомъ домѣ преданій о Казимірѣ Сапѣгѣ, воеводѣ виленскомъ, вел. гетманѣ литовскомъ, который однажды, ѣдучи на поклонъ къ королю Яну III, переправлялся съ сопровождавшею его толпою черезъ Вислу, изъ Праги къ замку, цѣлый день, и зная что король его ждетъ, въ шутку поѣхалъ въ свой собственный палацъ;

на другой же день отправился въ королевскій замокъ со свитой столь многочисленной (при немъ въ каретѣ съ нимъ сидѣли три епископа), что, войдя въ замокъ, они должны были только проходить сквозъ апартаменты, не останавливаясь, ибо не могли бы помѣститься (I. 20). Это было еще передъ олькеницкою стычкою, со шляхтою, которая надломила силу могущественнаго дома.

Во времена Матушевича были уже иныя, болѣе яркія звѣзды на литовскомъ горизонтѣ. Подканцлеръ Сапѣга держалъ сторону «фамиліи», а старинныя традиции вѣстной аристократіи имѣли своихъ представителей въ гетманахъ: Янъ-Клеменсъ Браницкомъ—коронномъ и Радзивиллѣ (по прозвищу «Рыбка») —литовскомъ. Владѣтель Бѣлостока и кандидатъ на польскую корону, Янъ-Клеменсъ былъ въ сущности человѣкъ мягкій, даже слабый, и поддавался разнымъ вліяніямъ: черезъ жену онъ былъ въ свойствѣ съ «фамиліею», а черезъ пріятеля Чарторыскихъ, своего ближайшаго руководителя Мокроновскаго былъ солидаренъ съ французскою политикой—противъ русской, которую представляли Чарторыскіе; наконецъ, своими привычками и самыми своими недостатками, онъ былъ связанъ со старою формою республики. Въ партіи консервативной, во главѣ которой онъ сталъ по смерти Радзивилла-«Рыбки», ощущался недостатокъ не въ матеріальныхъ средствахъ, но въ согласіи и единствѣ дѣйствій; всякъ тамъ политизировалъ на свою руку. Но въ рѣшительный моментъ, во время междуцарствія, Браницеому потребовались и деньги на войну съ Чарторыскими; не хотѣлось ему выпустить изъ рукъ гетманской власти, которую пытались подсѣчь, какъ слишкомъ разросшееся дерево. Однако, понесъ безъ войны пораженіе на сеймѣ, гдѣ конфедерація отняла у него гетманскую булаву, поставивъ войска подъ начальство командующаго (regimentarza) Чарторыскаго, воеводы русскаго, Браницкій безцѣльно выступилъ съ войскомъ изъ Варшавы чрезъ Подгурже въ Лискъ, совершая тѣмъ самымъ актъ мятежный, а когда владѣтель Лиска, другъ

самого гетмана—воевода волынской, Оссолинский, сталъ его немилосердно обирать (IV. 230), подавая ему дорогіе счета за все поставляемое, тогда Браницкій ушелъ въ Венгрію, въ Бардіовъ. Затѣмъ потихоньку отрекаясь отъ своего же протеста, онъ, послѣ королевскаго избранія, возвратился къ себѣ въ Бѣлостокъ и, не рѣшаясь уже показаться въ столицу, выслалъ въ Варшаву жену (IV. 293), а еще самъ спрашивалъ Матушевича: «а вы чего туда торопитесь? Вѣрно для выслушанія приказаній?»—«Плохо не слушать ихъ»—отвѣтилъ прозорливый Матушевичъ, который уже давно принялъ свои мѣры, чтобы покинуть утопавшій корабль своей безтолковой партіи.

Но жена гетмана оказалась гораздо энергичнѣе его. Разъ, на обѣдѣ у себя въ домѣ, она, защищая, по какому-то дѣлу, своего брата, едва не бросилась на Брюля: «если съ братомъ приключится что дурное, то на твоей особѣ мой домъ того искать будетъ и не быть тебѣ въ Польшѣ» (III. 207). Такъ и въ дѣлѣ по восстановленію гетманской власти, «видѣлъ я—пишетъ авторъ—какъ, стараясь о томъ и имѣя у себя на обѣдѣ короля, она начала плакать, весьма будучи исхудалой и истощенной. Король, удостовѣряя ее, что былъ бы готовъ сдѣлать ей удобное, слагалъ вину на князя-канцлера, а князь—на своего брата, воеводу русскаго, какъ маршала конфедераціи и командующаго войсками; и такимъ образомъ, одинъ обращалъ ее къ другому». Но всѣ эти просьбы и слезы не привели ни къ чему, какъ и оппозиція единственныхъ защитниковъ гетманской власти, выступившихъ на сеймѣ, а именно Массальскихъ—противъ вновь учрежденной войсковоѣ комисіи. Массальскій самъ былъ вел. гетманомъ литовскимъ, какъ Браницкій—короннымъ; держа за одно съ Чарторыскими и конфедераціею, онъ не успѣлъ и оглянуться, какъ кафтанъ, шитый для Браницкаго, былъ надѣтъ и на него. Разсердившись, онъ пересталъ бывать въ засѣданіяхъ сейма. Зато, продолжалъ говорить сынъ его, епископъ виленскій, впо-

слѣдствіи повѣшенный толпою, человекъ надменный, модникъ, ходившій во фракѣ, и цѣдившій свои слова какъ вѣщанія оракула. Онъ выступилъ на сеймѣ въ защиту той же темы, въ патетическихъ и выработанныхъ рѣчахъ, которыя для насъ звучать весьма странно, такъ какъ онъ защищалъ сохраненіе въ цѣлости государственной должности—выставляя ее въ видѣ частной собственности, требуя ненарушимости булавъ въ рукахъ ихъ владѣльцевъ, въ родѣ пожизненнаго имѣнія. «Въ чемъ же ты виноватъ, дорогой отецъ»... или: «о когда самые кедры падаютъ на землю, то какже не трепетать хворосту...» (IV. 315). Всѣ эти старанія были напрасны: сеймъ утвердилъ верховную войсковую комисію. Глядѣла на это, изъ своей ложи, супруга гетмана; а когда все совершилось, то она произнесла: «пусть же васъ всѣ черти поберутъ»—и тотчасъ отъѣхала въ свой палацъ».

Быть можетъ, консервативно-олигархической партіи удалось бы оказать болѣе сильное сопротивленіе, еслибы дожидъ до междупарствія опытный въ дѣлахъ, хотя и не особенно умный, Михаилъ Радзивиллъ, великій гетманъ литовскій. «Добродушный, не мстительный, этотъ магнатъ соблюдалъ два правила: всегда держаться короля и не раздражать Россіи. Правда, что поэтому его не боялись и не цѣнили ни дворъ, ни Чарторыскіе. Но тѣмъ неменѣе, онъ пользовался значеніемъ въ странѣ. При небольшомъ умѣ, отсутствіи инициативы и разныхъ недостаткахъ, происходившихъ отъ самаго воспитанія, отъ того, что Радзивилловъ отъ самой колыбели окружала лезть, въ этой слабой, но доброй натурѣ выдавались хорошія черты давнихъ магнатовъ, которые изъ поколѣнія въ поколѣніе занимали высшія должности: гуманность, благосклонность къ низшимъ и щедрость, склонность къ благотвореніямъ. Значеніе, какое имѣлъ Михаилъ Радзивиллъ въ странѣ обнаружилось въ той радости, какая охватила враговъ его дома, когда гетманъ, присутствуя, изъ одной вѣжливости, при вѣздѣ въ Вильно—Массальскаго, вступавшаго въ управленіе

епархією, простудился и послѣ кратковременной болѣзни умеръ (III. 76), а во главѣ дома сталъ мечникъ литовскій Карлъ Радзивиллъ (Ranie kochanku). Въ «Запискахъ» Матушевича портретъ этого героя легендарныхъ разсказовъ доселѣ популярный въ Литвѣ, относится именно къ началу безславной политической роли Радзивилла и не совсѣмъ похожъ на тотъ типъ, какой сохранило позднѣйшее устное и литературное преданіе. Лѣта и опытность могли, конечно, вполнѣдствіи нѣсколько умѣрить его темпераментъ и смягчить наиболѣе рѣзкія черты въ его характерѣ. Но въ этотъ первоначальный періодъ его политической дѣятельности, по даннымъ Матушевича, весьма точнымъ и вполне историческимъ, князь Карлъ представляется не только дурно-воспитаннымъ и сумасброднымъ чудакомъ, но еще такимъ человѣкомъ, съ которымъ имѣть дѣло было и непріятно, и даже небезопасно, такъ какъ въ его дикихъ выходкахъ отражалась склонность къ жестокости, свойственной, впрочемъ, и инымъ членамъ Радзивилловскаго дома, за исключеніемъ гетмана. Такъ, Радзивиллу хорунжему ничего не стоило велѣть разстрѣлять офицера за малый проступокъ, не взирая на мольбы всей его семьи о помилованіи (II. 85), а Радзивиллъ-крайчій былъ поставленъ подъ опеку родственниковъ, за то, что устроилъ себѣ гаремъ, въ который поступали дѣвушки, воспитываемыя для этой цѣли въ его фольваркахъ, да еще за то, что жену и дѣтей держалъ подъ ключемъ, въ великомъ неудобствѣ и смрадѣ, а также за разные насилія, нападенія, сожиганіе строеній, словомъ за безчисленные «криминалы», за которые иной человѣкъ давно бы поплатился жизнью (I. 201).

Князь Карлъ былъ въ 1755 г. маршаломъ трибунала въ Минскѣ и когда бывалъ пьянъ (что случалось нерѣдко), то «обыкновенно становился violentus» — пишетъ Матушевичъ (II. 169). — «Послѣ одного обѣда, которымъ онъ угощалъ своихъ товарищей — депутатовъ, онъ велѣлъ позвать въ столовую двѣнадцать драгунъ и приказалъ

имъ дать залпъ изъ карабиновъ въ потолокъ, затѣмъ вошли барабанщики и сурники, начали бить въ барабаны, заиграли на дудкахъ: пискъ, стукъ, поднялась пыль отъ обрушившейся печи, и вдобавокъ крики пьющихъ, — все это представило сцену подобную аду. Въ заключеніе, тѣхъ депутатовъ, которые принадлежали къ канцлерской партіи посадили насильно въ карету, запряженную отменно злыми лошадьми, послѣ чего кучеру и фореитору князь приказалъ слѣзть, а бѣшеныхъ жеребцовъ пустить, пугая ихъ щелканьемъ бича и стрѣльбою» (I. 170). Еще хуже князь Карлъ поступилъ съ Пржисѣцкимъ, депутатомъ полоцкимъ (т. е. депутатомъ въ трибуналъ). Правда, его обвиняли въ томъ, что по дѣлу Матушевичей онъ бралъ деньги одновременно и отъ Радзивилла, и отъ канцлера. Подъ утро, когда Пржисѣцкій возвращался домой, шестеро княжескихъ слугъ, переодѣтые въ рясы, будто монахи конгрегаціи св. Анны, всыпали ему больше трехсотъ ударовъ плетми, упрекая его въ безправственной жизни и во взяточничествѣ, такъ что потомъ фельдшеръ должны были спивать ему истерзанную кожу и мясо (II. 180). «Бить князь любилъ и трудно описать — говоритъ авторъ — какія безразсудства онъ творилъ, напившись пьянъ (IV. 82): стрѣлялъ въ людей носился на конѣ, или отправлялся въ каплицу и пѣлъ тамъ *godzinki* ¹⁾ до тѣхъ поръ, пока не выкричался и не отрезвѣлъ. Никогда онъ не пилъ изъ стакана умѣренной величины и понемногу, а непременно изъ такого, въ который входила кварта вина, и выпивалъ его сразу. Вина къ нему возили постоянно и выпивались онѣ невыдержанныя, сладкія, еще и не отстоявшіяся, ибо расходовались немедленно; а пили ихъ только съ верху, остальное же, мутное, отдавали гайдукамъ и простонародью. На новый 1764 годъ, какъ разъ передъ избраніемъ короля, всѣ предводители анти-канцлерской

¹⁾ Пѣсни въ честь Божіей Матери, разложенныя на «часы».

партіи собрались къ гетману, въ Бѣлостокѣ, на совѣтъ. Князь напился, заставилъ Мокроновскаго сѣсть на коня, и оба вѣхали верхомъ по каменной лѣстницѣ, выложенной мраморомъ, въ залъ, на оперетку. Тутъ оперетки князь не слушалъ, а подѣлъ къ одной венгерской полковницѣ и сталъ ей рассказывать весьма двусмысленныя вещи. Послѣ оперетки, во дворцѣ гетмана, князь приставалъ къ его супругѣ: «вѣдь братъ вашъ, милостивая государыня ¹⁾, стольникъ литовскій — дуракъ! кто его станетъ возводить на польскій престолъ?» За ужиномъ, князь сталъ пить еще, что видя, мы встали, а онъ поѣхалъ въ городъ, гдѣ, собравъ музыкантовъ со скрипками и цимбалами, остался ночевать» (IV. 142).

При такомъ препровожденіи времени, съ княземъ нельзя было ни о чемъ толкомъ переговорить, тѣмъ болѣе, что разсудительныхъ совѣтовъ онъ не слушалъ, да еще за даваніе ихъ обрывалъ, какъ-то случилось съ тогдашнимъ кастеляномъ брестскимъ Абрамовичемъ (VI. 79). Порядочные люди его оставили, а остались, которые хотѣли пользоваться и одни сплетничали на другихъ; когда же откуда нибудь получались деньги, то они, сговорившись между собой, расхватывали ихъ подъ пьяную руку. Богущъ, бывшій главнымъ столпомъ радзивилловской партіи и единственный человѣкъ, котораго окружавшіе князя люди охотно признавали руководителемъ, поспѣшно прибылъ изъ Вильна—извѣстить князя о смерти его отца, а когда Радзивиллъ началъ печалиться, громко выражая свою скорбь, Богущъ посоветовалъ ему выпить стаканъ вина, потомъ еще стаканъ, и тогда подсунулъ ему къ подписи бумагу, въ которой за какіе-то, будто-бы невыплаченные Богушу гетманомъ 60,000 злотыхъ, Богушу предоставлялось въ пожизненную аренду имѣніе Дубинки, приносившее въ годъ 30,000 зл. доходу (III. 177). Тѣмъ не менѣе, Богущъ былъ единственнымъ че-

¹⁾ Станиславъ Понятовскій.

ловѣкомъ, который умѣлъ сдерживать князя своими почти нахально выражаемыми убѣжденіями. Но и онъ не выдержалъ, такъ какъ серьезно оскорбилъ Радзивилла, рѣшивъ какое-то дѣло, председательствуя въ трибуналѣ, въ качествѣ вице-маршала, не по мысли князя. Когда Богушу дали знать о неудовольствіи послѣдняго, то онъ пріѣхалъ въ Негнѣвиче, гдѣ находился князь и хотѣлъ обращаться по прежнему, какъ свой человѣкъ. Но князь наоборотъ, принялъ его со всеѣмъ уваженіемъ, подобавшимъ вице-маршалу, посадивъ его на первомъ мѣстѣ, отъ частной же аудіенціи уклонился, а между тѣмъ велѣлъ закладывать коляску, чтобы ѣхать на охоту. Богушъ хотѣлъ, чтобы и его взяли съ собой, но князь отвѣтилъ ему: «такъ какъ вы такъ заботливо соблюдаете законъ и справедливость, то вамъ лучше, согласно присягѣ, немедленно возвратиться въ трибуналъ» (IV. 54).

Послѣ этой опалы Богуша, руководителемъ Радзивилла сдѣлался интриганъ подстолий литовскій Паць, который пилъ вмѣстѣ съ княземъ и до такой степени низкопоклонничалъ предъ нимъ, что когда всѣ пѣли «godzinki» къ Пресв. Дѣвѣ, и когда доходили до стиха: «и къ мудрости направъ въ сенатѣ разсужденья» — весь дворъ вставалъ и кланялся Радзивиллу ¹⁾). Вся политика Паца направлена была къ заключенію союза Радзивилловъ съ Массальскими, который былъ невозможенъ, такъ какъ Массальскіе, люди хитрые, желали напротивъ того — разорить Радзивилловъ, чтобы прислужиться Чарторыскимъ и затѣмъ воспользоваться чѣмъ либо самимъ изъ колоссальнаго Радзивилловскаго состоянія. Болѣе проницательные люди давно убѣдились, что Массальскіе только отводятъ глаза и обманываютъ, наконецъ понялъ это и самъ князь Карлъ, только ужъ слишкомъ поздно. Конечно, онъ рѣшился тотчасъ-же расправиться по своему, то есть прямо затянулъ самъ себѣ па шеѣ петлю, ко-

¹⁾ Какъ члену сената по званію воеводы виленскаго.

торая уже издавна приготовлялась его врагами. Онъ былъ въ Вильнѣ въ это время. Былъ въ гостяхъ у г-жи Тышкевичъ, и тамъ забавлялся стрѣльбою въ цѣль. Послѣ этой забавы, онъ отправился ко дворцу епископа виленскаго ¹⁾, нашелъ двери запертыми, велѣлъ ихъ выломать, догналъ гдѣ-то Массальскаго, который хотѣлъ уѣхать отъ него изъ дому, грозилъ епископу саблей, называя ее кропильницею, напомнилъ ему о судьбѣ Св. Станислава, и пообѣщалъ ему, что продастъ какой-нибудь фольварекъ, но поѣдетъ въ Римъ судиться съ епископомъ (IV. 250). Послѣ этого скандала въ Вильнѣ, у всѣхъ приверженцевъ дома Радзивилловъ опустились руки; епископъ велѣлъ отправить въ церквахъ *Te-Deum* за избавленіе отъ угрожавшей опасности. Надъ Радзивиллами собиралась гроза, надо было уходить передъ декретомъ конфедераціи, отстрѣливаясь спасаться за границу; при этомъ случаѣ можно было себѣ позволить разорить принадлежавшій зятю канцлера Чарторыскаго—Тизенгаузу, Тересполь, но зато предоставить еще худшему разоренію Бялу, владѣніе Радзивилловъ и всякія другія ихъ имѣнія. Весь этотъ походъ за границу, въ изгнаніе, съ вѣрными слугами Радзивилловскаго дома, съ Богушемъ и двумя амазонками, представляется весьма поэтичнымъ въ повѣствованіи француза Рюльера. Но къ рѣалистичному разсказу о томъ же, у Матушевича, поэзія Рюльера относится такъ, какъ героическая картина изъ походовъ Александра Великаго, въ стилѣ Пуссена—къ какому-либо эскизу Колло или къ одной изъ абрузскихъ сценъ Сальватора-Розы. Амазонки же, о которыхъ упомянуто, были: Теофиля, сестра князя Карла—дама, которая еще въ Негнѣвичахъ разбивала топоромъ шкафъ, гдѣ было вино, когда ей не дали ключей (IV. 40); брата она бросила въ Олыкѣ, и вывезла въ каретѣ въ Львовъ Моравскаго—гусарскаго капитана, упросивъ затѣмъ львов-

¹⁾ Нынѣшній императорскій дворецъ.

скаго архіепископа, чтобы онъ разрѣшилъ свадьбу безъ оглашеній (IV. 40). Другая амазонка была сама княгиня Радзивилль Тереза, рожденная Ржевуская. За границей, она испытала ревность мужа, подозрѣвавшаго ее въ склонности къ Богушу. По этому поводу, князь стрѣлялъ въ Богуша изъ пистолета; сама же госпожа воеводина виленская благополучно возвратилась въ Варшаву, пѣла тамъ и танцевала, рассказывала королю нескромныя аллегоріи, желая втереться въ его милость, дотога что необходимый князь-канцлеръ литовскій (Чарторыскій) называлъ ее въ глаза такъ, что того неудобно написать (IV. 305).

Непріятному впечатлѣнію, какое производятъ всѣ эти печальныя фигуры, соответствуетъ, съ другой стороны, нападеніе вѣроновъ на имѣнія и состояніе Радзивилла, на освободившіяся, принадлежавшія ему старѣства и званія. Евреямъ, въ Тересполѣ, которыхъ Радзивилль разгромилъ, было велѣно показать подъ присягою убытокъ, опредѣленный ими въ 540 тысячъ злотыхъ, и за эту сумму предоставлена была имъ половина принадлежавшаго Радзивилламъ графства Бялы съ окрестностями (IV. 243). Сумму въ 100 тысячъ талеровъ изъ подымной подати съ радзивилловскихъ имѣній собралъ Брюжостовскій, маршалъ конфедераціи. «Пригласилъ насъ — пишетъ Матушевичъ — Пржездецкій на старое вино; Пржездецкій былъ рефендаріемъ вел. кн. литовскаго, а потомъ — подканцлеромъ, онъ же былъ одинъ изъ упомянутыхъ вѣроновъ. Когда мы пріѣхали, онъ былъ въ халатѣ тканомъ, не шитомъ, холщевомъ, какіе дѣлаютъ тамъ, подъ Пинскомъ. Меня просили сказать что-нибудь, по поводу этого плафрока хозяина, тогда я неосторожно выразился такъ, что плафрокъ оный — какъ риза Господа Христа — тканъ, но не шитъ, а когда Пилатъ былъ обвиненъ передъ Тиверіемъ за лихоимство въ Палестинѣ, то онъ, идя къ императору, надѣлъ на себя ризу Христову, и тѣмъ убожествомъ охранилъ себя отъ цесарскаго гнѣва. Шутка эта была неосторожна ибо

она Палестина означала тутъ разграбленіе радзивилловскихъ имѣній. Смѣяться-то, всё смѣялись, но мы оба—рефендарій и я—смѣялись принужденнымъ смѣхомъ, онъ—потому, что шутка попала ему въ больное мѣсто, а я—потому, что сдѣлалъ глупость» (IV. 288).

V.

Матушевичъ былъ свидѣтелемъ того, какъ падали одинъ за другимъ эти кедры ливанскіе, подгнившіе внутри, но паденіемъ своимъ придавливавшіе широко вокругъ себя скромный хворостъ мелко-дворянскаго быта. Къ такому хворосту принадлежалъ, собственно говоря, и самъ авторъ «Записокъ», но онъ счумѣлъ устроиться такъ, что вышелъ сухъ изъ воды, а между тѣмъ сердце у него лежало все-таки—къ означеннымъ могучимъ кедрамъ, ибо онъ чувствовалъ отвращеніе и опасеніе къ той силѣ, которая ихъ сваливала. Мартинъ Матушевичъ, лично, былъ вполне доволенъ прежнимъ порядкомъ вещей и анархіей, этотъ порядокъ сопровождавшей. Отъ князя-канцлера его отвращало не только то, что тотъ самъ былъ къ нему дурно расположенъ, но еще и то, что, пристава къ партіи канцлера, партіи реформы, пришлось бы отречься отъ шляхетской свободы, отъ возможности вести политику на свою руку, переходить свободно отъ одного кормильца къ другому, пришлось-бы отречься отъ служенія одновременно нѣсколькимъ господамъ. Партія Чарторыскихъ, образывавшаяся по выдержанному принципу, управлялась «фамилією» почти самовластно, и требовала отъ своихъ приверженцевъ такого послушанія, такой дисциплины, которыя были несносны для людей, привыкшихъ къ совсѣмъ инымъ условіямъ, и для которыхъ такія привычки сдѣлались второй натурой. Партія Чарторыскихъ имѣла именно то, чего въ продолженіи вѣковъ недоставало цѣлому народу: послѣдовательную политику въ осуществленіи реформъ. Конечно, она имѣла и слабыя сто-

роны: преобразованія нельзя было совершить тѣми средствами, какими партія располагала. Начиная сверху, несочувственное большинству преобразование она принуждена было секретничать, недоговаривать послѣднихъ своихъ словъ, должна была запутываться въ дипломатическіе компромиссы.

Уже главная точка опоры партіи была—заграницей; средствомъ дѣйствія была дипломатія, дѣйствовавшая въ невѣрномъ и даже наивномъ предположеніи, что гдѣ-то найдутся такіе благодѣтели, которые искренно помогутъ ввести улучшенія. Между тѣмъ, для осуществленія реформы, приходилось и внутри государства занять такое положеніе, чтобы господствовать надъ всѣмъ, а для этого казались дозволенными всякія средства, неисключая подкупа и даже насилія; впрочемъ, въ этомъ отношеніи соперничали обѣ стороны. Но преобразование — преобразованиемъ, а всетаки было видно, что преобразователи были и сами лично заинтересованы въ своемъ дѣлѣ, что ихъ манилъ блескъ монархической власти. Какъ бы то ни было, надо признать, что политика «фамиліи» въ то время была единственной возможной для спасенія, скажемъ болѣе — была вполне патріотической. Но Матушевичъ не могъ оцѣнить ни значенія ея, ни ея патріотичности: онъ видѣлъ только, что въ Республикѣ устанавливается весьма чувствительное притѣсненіе; а потому, отплачивая зубъ за-зубъ, нарисовалъ намъ канцлера въ видѣ какого-то демона. А между тѣмъ, несмотря на ненависть автора и односторонность представленнаго имъ портрета, фигура канцлера въ самыхъ «Запискахъ» является болѣе сочувственной и внушительной, чѣмъ лица, съ нимъ боровшіяся и Матушевичемъ одобряемые — такъ велика въ канцлерѣ сила выдержанности и энергія характера. Даже наиболѣе рѣшительные противники канцлера должны были признавать вѣрность нѣкоторыхъ сравненій его и изрѣченій (VI. 245), напр. когда онъ говорилъ о «звонкахъ на ошейникѣ», или упоминая о приступленіи Сапѣги, полевого гетмана

литовскаго къ конфедераціи (1764), говорилъ: «всеравно что четверть листа къ дести приложилъ» (IV. 229).

Однимъ изъ худшихъ свойствъ того вѣка было притворство (*dissimulatio*). Типическій его примѣръ представляется въ анекдотѣ, включенномъ въ «Записки», о бывшемъ виленскомъ воеводѣ Людвикѣ Поцѣѣ, который говаривалъ: «когда кто-нибудь броситъ въ меня камнемъ, я камень припрячу; броситъ потомъ другой и третій, я и тѣ сохранию, а когда придетъ время, тогда, бросая внезапно всѣми этими камнями въ противника, я навѣрное попаду въ него» (I. 20). Канцлеръ былъ по крайней мѣрѣ воленъ отъ притворства: онъ рѣзалъ правду въ глаза. Однажды въ Волчинѣ справлялась свадьба дочери Флеминга съ кн. Адамомъ Чарторыскимъ, сыномъ воеводы русскаго, генераломъ земель подольскихъ, и на ту свадьбу пріѣхали (1761 г.) между прочими: вел. гетманъ литовскій Радзивиллъ и близкій пріятель его дома Абрамовичъ, кастелянъ брестскій. Канцлеръ, по своему обыкновенію, началъ говорить гетману несовсѣмъ пріятныя вещи, напр: что, строя себѣ повсемѣстно дворцы, онъ не умѣлъ устраивать въ нихъ порядка. Тогда Абрамовичъ сказалъ, что это легко тому, кто имѣетъ одну только резиденцію, чѣмъ самымъ уколовъ князя-канцлера, что у него нѣтъ столькихъ резиденцій, какъ у Радзивилловъ. Тогда канцлеръ сказалъ, что его бѣда въ большомъ числѣ посредниковъ—арендаторовъ или держащихъ его имѣнія на залоговомъ правѣ, какъ Абрамовичъ; иначе, управляя самъ, онъ бы, навѣрное, получалъ неменѣе 20% отъ своего капитала. Такъ канцлеръ не прощалъ даже гостямъ какія-либо критическія выходки (III. 145). Во всякомъ случаѣ, вся партія реформы, партія Чарторыскихъ, была основана на дисциплинѣ; партія эта принимала въ свой составъ и аристократовъ новыхъ, людей «безъ чести и вѣры», шедшихъ исключительно за добычей—какъ оригиналь Флемингъ, подскарбій литовскій, и Массальскіе—расточители, и магнатовъ чистой крови, недовольныхъ дворомъ, какъ подканцлеръ литовскій Са-

пѣга, и даже — перебѣжчиковъ изъ лагеря олигархическаго. «Всѣхъ, кого дворъ глупымъ своимъ образомъ дѣйствій оскорбитъ или оттолкнетъ — говорилъ канцлеръ—я соединяю съ собою и въ настоящее время имѣю болѣе числомъ, и болѣе могущественныхъ сторонниковъ, чѣмъ дворъ, который распоряжается раздаваніемъ королевскихъ милостей» (III. 145). Даже такіе столпы партіи олигархической, какъ Геронимъ Радзивиллъ, были въ уговорѣ съ Чарторыскими во время междоусобицы (1764 г.). Одинъ изъ трехъ предводителей радзивилловской лиги, гордый воевода кievскій Потоцкій, измѣняя своимъ, вступилъ въ сношенія съ Чарторыскими и прислуживался имъ, сообщая наиболѣе тайныя рѣшенія своей партіи (III. 214). Иные изъ самыхъ близкихъ приверженцевъ «фамиліи», даже принадлежавшіе къ ней по родству, такъ напр. Левъ Сапѣга, подканцлеръ, зять канцлера, скучали этой дисциплиной, этимъ тяжкимъ ярмомъ и пробовали отъ него освободиться. Но это была рискованная игра, и Левъ Сапѣга испыталъ то на себѣ, въ какое трудное положеніе его поставилъ тесть-канцлеръ (III. 90 — 99). Умирая, Сапѣга говорилъ: «благодарю Господа своего Бога, что глаза мои не увидятъ того, что будетъ съ республикой по смерти короля, если князь-канцлеръ переживетъ его величество ¹⁾».

Для Чарторыскихъ политика была выше родства: вслѣдствіе того разстроились ихъ отношенія съ гетманомъ Браницкимъ, потомъ съ подканцлеромъ Сапѣгой, а наконецъ они пожертвовали и Флемингомъ, состоявшимъ съ ними въ двойномъ свойствѣ, но несмотря на то, принужденномъ ими уступить званіе литовскаго подскарбія (казначея)—Бржостовскому, (IV, 290, 302). «Записки» Матушевича можно назвать регистромъ столкновеній и побѣдъ «фамиліи», которой умъ и выдер-

¹⁾ Левъ Сапѣга, благодѣтель виленскихъ бернардиновъ, похороненъ подъ красивымъ памятникомъ въ церкви св. Михаила въ Вильнѣ, недавно запертой.

жанность постоянно одерживали верхъ надъ многочисленными, но безтолковыми противниками. Въ послѣднемъ избраніи короля (Станислава Августа) Чарторыскіе одерживаютъ побѣду на всей боевой линіи—событіе, на которомъ и оканчиваются «Записки» Матушевича.

Правда, побѣда Чарторыскихъ была обманчивая, непрочная, и тотчасъ послѣ нея, всплыли на верхъ всѣ ихъ невѣрныя предположенія, иллюзіи и невѣроятные расчеты ихъ политики, разочарованія и въ дипломатіи, и въ союзникахъ, которые только и жаждали освобожденія своего отъ зависимости, и наконецъ — въ самомъ бывшемъ стольникѣ литовскомъ. Такъ много было приложено усилій и такъ незначителенъ полученный результатъ—*nascitur mus*. Какъ въ лабораторіи Фауста, изъ сгущенныхъ паровъ вышелъ бродячій схоластикъ, такъ изъ всей подготовительной работы конфедераціи и тучи чужестранныхъ денегъ появился, граціозно раскланиваясь на всѣ стороны, панъ стольникъ литовскій — совершеннѣйшій актеръ, какого произвелъ XVIII вѣкъ во второй своей половинѣ, актеръ такъ хорошо проникшійся своей ролью, что въ эффектной его игрѣ можно было принять за правду—и сильную власть въ мягкой рукѣ, и королевскія чувства, которыя у него были на языкѣ, но не въ сердцѣ. Король этотъ, повидимому, чувствовалъ глубоко и важность момента, и святость своего призванія; во время коронаціи его пришлось поить лавровыми каплями и оттирать духами (IV. 286), а передъ принесеніемъ присяги о соблюденіи договорныхъ пунктовъ (*pacta conventa*) онъ произнесъ столь трогательную рѣчь, что почти всѣ плакали, всѣми овладѣла надежда, что монархъ съ такими дарованіями сѣумѣетъ хорошо царствовать (IV. 286). Манеры были въ самомъ дѣлѣ королевскія, а шутить онъ извоилъ остроумно. Напр. подвыпившій подкоморій Глинка, приверженецъ Чарторыскихъ, просить куска хлѣба, то есть старѣства, а король ему: «постараюсь, чтобы вапа милость не пили на-тощакъ» (IV. 300). Между тѣмъ, этому Адонису въ

королю со всѣхъ сторонъ дѣлають глазки прелестныя и кокетливыя дамы. Въ то время у короля были всего только двѣ привязанности: одна — къ женѣ литовскаго полеваго гетмана, которая заявляла даже желаніе быть открыто объявленной метрессою короля; другая — къ дочери Сапѣги, воеводы мстиславскаго. И между двумя этими дамами происходила конкуренція (IV. 303). Въ богатой коллекціи портретовъ, какую даетъ намъ Матушевичъ, послѣдній изображаетъ Понятовскаго, но это — не наиболѣе удачный. Въ «Запискахъ» очертанъ только восходъ этого солнца, начало его долговременнаго пути.

Галлерея портретовъ у Матушевича разнообразится множествомъ жанровыхъ картинокъ и анекдотовъ, которыми иллюстрируются характеры и обычаи вѣка. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Алчные Массальскіе, гетманъ и епископъ, вывозятъ изъ Новогрудка тѣло умершаго тамъ сына перваго и брата втораго, маршала трибунала (1763 г.) тайно, какъ будто везутъ серебро и посуду — для того только, чтобы избавить себя отъ расхода на парадную церковную службу и звонарей (IV. 7). Въ числѣ послѣднихъ приверженцевъ Лещинскаго, державшихся въ Кёнигсбергѣ, находилась Мокроновская, итальянка, по отцу — Кастель; и вотъ ксендзъ по ея поводу сказалъ проповѣдь на текстъ: *venit mulier de Castello in civitatem peccatrix* (I. 54) ¹⁾. Къ Мокроновскому не благоволилъ гетманъ Браницкій, подозрѣвая его, что будучи влюбленъ въ его, гетмана, жену, онъ выдавалъ «фамиліи» секреты гетманской партіи. Разъ Мокроновскій, взявъ въ руки бутылку шампанскаго, сталъ спрашивать Мнишха, надворнаго маршала и совѣтника короля Августа III, какъ онъ желаетъ, чтобы разливали вино: по министерски — то есть пѣну другимъ, а себѣ вино, или добросовѣстно — вино безъ пѣны? Маршалъ сердился, зато жена гетмана, (рожденная Поня-

¹⁾ Прииде блудная жена изъ замка во градъ.

товская), которой наконецъ надоѣли цѣлую недѣлю длившіяся совѣщанія враговъ ея дома, такъ была довольна конфузомъ Мнишха, что у нея даже цвѣтъ лица поправился (IV. 50). Подскарбій Флемингъ, который такъ позорно былъ угощенъ саблями плашмя на сеймикѣ, является въ «Запискахъ» забавнымъ чудакомъ. Когда онъ парадно въѣзжалъ въ Брестъ-Литовскъ, для вступленія въ свое званіе стардсты, то его встрѣтилъ старшина рѣчью; Флемингъ прервалъ ее, хладнокровно сказавъ по нѣмецки: «я бы слушалъ, да лошадь не желаетъ», и двинулъ ее впередъ (I. 245)¹⁾. Когда онъ злился, то лѣвая щека его тряслась; къ исповѣди и причастію приступалъ онъ совершенно разсѣяннo (II. 193), а когда что нибудь приводило его въ замѣшательство, то подскарбій повертывался къ гостямъ спиною и четверть часа стоялъ, уткнувъ голову въ стѣну (II. 294); иной разъ принимался бить жидовъ (III. 79), а то встрѣтивъ на улицѣ нищую, которая къ нему обратилась, началъ колотить ее палкой, такъ что его насилу удержалъ шедшій съ нимъ самъ канцлеръ Чарторыскій (II. 59).

На сеймикѣ въ Ковнѣ, собравшійся для избранія депутата, пріѣхалъ одинъ кандидатъ, Скорульскій, съ толпой друзей и—съ гробомъ, чтобы сейчасъ хоронить его, если онъ не будетъ избранъ (III. 160). Членъ палаты депутатовъ отъ Смоленска—Дылевскій, на сеймовомъ засѣданіи возблагодарилъ Бога за миръ въ христіанствѣ, по тому поводу, что онъ примѣтилъ въ трибунѣ—іезуита, сидящаго рядомъ съ піаромъ. Тотъ же Дылевскій рассказывалъ, что старшиною у литовскихъ лютеранъ состоитъ Грабовская и посвящаетъ ихъ проповѣдниковъ словами: «прими духа изъ подъ фартуха»;

¹⁾ Когда Карлъ Салъга во время сеймика въ Брестѣ, прислалъ въ городъ свои экипажи, но самъ не пріѣхалъ, извинившись геморроемъ, то Флемингъ, разозлился, сказалъ громко: «а что-же въ экипажахъ—Drek?» (I. 247).

онъ же наконецъ, придумалъ такое разрѣшеніе еврейскаго вопроса, чтобы всѣхъ жидовъ, молодыхъ и старыхъ оскопить, «вслѣдствіе чего онаѣ нація *insensibiliter* переведется» (I. 195). Такими мелкими, безчисленными анекдотами и мимоходными штрихами дополняются у Матушевича изображеніе событій и картина нравовъ. Обычное теченіе жизни и очередь разныхъ приключеній періодически обращались вокругъ двухъ главныхъ, центральныхъ и ежегодныхъ фактовъ—засѣданій сеймика и засѣданій трибунала. Тотъ матеріалъ по характеристикѣ нравовъ, который собранъ Рёпеллемъ въ его послѣднемъ сочиненіи («*Polen um die Mitte des 18 Jahrhunderts*») представляется незначительнымъ въ сравненіи съ массою матеріала собраннаго у Матушевича. Читая его, мы какъ бы стоимъ передъ самымъ, находящимся въ дѣйствиіи механизмомъ политической жизни, и намъ не трудно подмѣтить несложные секреты этого движенія.

VI.

Наружный образъ сеймиковъ достаточно знакомъ, и нѣтъ нужды напоминать такихъ подробностей, что на нихъ нерѣдко разсѣкались головы и порубались носы. Но основное условіе для того, чтобы сеймикъ могъ состояться представлялось въ успѣхѣ совѣщаній, предшествовавшихъ засѣданіямъ; если на нихъ не состоялось соглашеніе, то сеймику предстояло уже только быть «сорваннымъ», то есть опротестованнымъ и несостоявшимся. Тогда уже искусство заключалось въ томъ, чтобы сеймикъ открыть безъ немедленнаго протеста и тотчасъ же распустить его, не приступая къ выбору маршала, т. е. предсѣдателя, такъ какъ именно по этому поводу обыкновенно и возникало смятеніе и обнаженіе сабель (II. 83). Прибѣгали къ разнымъ уловкамъ, чтобы обмануть противную партію:—открыть сеймикъ, избрать депутатовъ и тотчасъ же закрыть засѣданія, чтобы против-

ники не успѣли спохватиться. Вотъ напр. въ Мозырѣ, въ 1743 г. предполагено было избрать на сеймикѣ въ депутаты Сапѣгу, впослѣдствіи подканцлера, а противились этому Радзивиллы. Сеймикѣ долженъ былъ собираться въ городскомъ замкѣ, у старосты Оскерки. Староста пригласилъ къ себѣ въ гости всѣхъ, кого слѣдовало. Когда начались танцы, то противники порасходились; въ это время Оскерко велѣлъ музыкѣ замолчать, открылъ сеймикѣ обычной формулой, предложены были имена кандидатовъ, тотчасъ выбранныхъ, и затѣмъ сеймикѣ закрылся, а танцы возобновились съ большимъ оживленіемъ (I. 138). Въ Ковнѣ, въ 1761 г. маршалъ Забѣлло, вмѣстѣ съ кастеляномъ витебскимъ Сируцемъ шли медленно, будто бы въ церковь, къ бернардинамъ, и передъ Забѣллой несли жезлъ; противная имъ партія успѣшила занять мѣста въ церкви; между тѣмъ, дойдя до нее, жезлъ, а за ними и маршалъ повернули сквозъ калитку—къ замку, лежавшему въ развалинахъ, въ безлюдномъ мѣстѣ. Тамъ въ одинъ моментъ произошли — открытіе сеймика, провозглашеніе депутатовъ, принесеніе послѣдними благодарности и уже затѣмъ, войдя въ церковь, побѣдители распорядились, чтобы было пропѣто *Te Deum*. Канцлерская партія попыталась—было протестовать, но приверженцы маршала, схвативъ перваго попавшагося противника—Козѣровскаго, «персону довольно огромную», такъ его вздули, что прочіе притихли и даже не внесли протеста въ градскомъ судѣ (III. 115).

Особенно важною представлялась финансовая сторона всей процедуры. Втеченіи всего десяти лѣтъ, Матушевичъ сдѣлалъ огромные успѣхи въ опытности и недобросовѣстности по этой части. Въ 1754 г. онъ еще твердо рѣшался — не вдаваться слишкомъ глубоко въ сеймики ни отъ кого не зависѣть и не становиться никому поперекъ дороги, а лишь охранять *bonum ordinem*. Между тѣмъ, уже въ 1757 г. онъ участвовалъ, въ качествѣ второстепеннаго агента, въ важныхъ совѣщаніяхъ Радзивилловской партіи о будущемъ сеймикѣ. «Была

подписка на расходы по сеймикамъ для избранія депутатовъ; князь гетманъ (Мих. Радзивиллъ) далъ 100 тысячъ злотыхъ; князь хорунжій (Іеронимъ Радзивиллъ) далъ 50 тысячъ; вел. маршалъ литовскій (Огинскій) — 25 тысячъ; дали и иные, а въ совокупности собрана была сумма 200 тысячъ, которую и оставили на хранение у Грабовскаго, старобы дудскаго. Тотчасъ разнесся слухъ о такой контрибуціи и дошелъ до канцлера» (П. 256). Но вскорѣ оказалось, что на такую машину какъ формированіе трибунала—мало 200 тысячъ. Тогда обратились къ инымъ источникамъ и прежде всего—къ французской субсидіи, сокровищу, ключъ отъ котораго случайно находился въ рукахъ у Матушевича. Возроженія совѣсти успокоивались легко: «неужто это было въ самомъ дѣлѣ — государственное преступленіе для людей, находившихся въ столь тяжелой опрессіи — принимать что-либо отъ короля французскаго, столь великаго, получать отъ щедротъ его пособіе, безъ всякихъ хотя бы наименьшихъ условій?» (П. 316). Деньги эти распредѣлялись по спискамъ между воеводствами и уѣздами; каждый округъ имѣлъ въ предѣлахъ уѣзда человека, которому довѣрялъ, который руководилъ дворянствомъ (П. 282); въ уѣздѣ каждый человекъ *verbosus* и *ex lingua venalis* ¹⁾ имѣлъ свою болѣе или менѣе опредѣленную денежную цѣну; но сверхъ того, надо было еще позаботиться о винахъ и кушаньяхъ, нанять, червонцевъ за 25, тайнаго пріятеля, сирѣчь шпіона въ противной партіи и приготовить отступное для соперника избираемаго кандидата (П. 5). Когда собранныхъ подпискою денегъ не хватало, приходилось уже, не оглядываясь назадъ, приплачивать изъ своихъ, въ той надеждѣ, что авось возвратятъ ихъ или французскій король, или гетманъ, или хорунжій. Такъ, «брестскій сеймикъ (1758 г.)—писалъ со скорбью Матушевичъ — стоилъ мнѣ 423 червонца и 30 копѣнъ ржи, кромѣ иныхъ припасовъ. Французскій

¹⁾ Говорунъ съ продажнымъ языкомъ.

министръ денегъ мнѣ не возвратилъ, князь-гетманъ (Радзивиллъ) сдѣлалъ кислую мину на одно упоминованіе о добавочномъ еще расходѣ (III. 35). Щедрѣе явился князь хорунжій (Геронимъ Радзивиллъ): тотъ далъ 3 тысячи злотыхъ—остатокъ изъ подписанной въ Ивѣ суммы, да еще прибавилъ въ послѣдствіи 1 тысячу злотыхъ, и наконецъ объявилъ, что, хотя у него есть доходы, но монетнаго двора у него нѣтъ» (III. 45). Такъ и въ 1759 г. Матушевичъ приплатилъ на брестскій сеймикъ изъ своего кармана 92 червонца, а въ 1760 г. вышло у него на тотъ же предметъ, сверхъ припасовъ и вина— 2 тысячи тынфвъ (въ тынфѣ 1 злотый и 8 грошей) (III. 65). Съ нимъ было какъ съ игрокомъ, который чѣмъ далѣе играетъ, тѣмъ сильнѣе втягивается въ игру. За 1761 г. онъ пишетъ: «я разослалъ, согласно съ обычными вознагражденіями, 2 тысячи тынфвъ для сбора приверженцевъ на сеймикъ по избранію депутатовъ въ сеймъ (III. 119), дабы партія наша не разсыпалась». Такая же сумма была роздана и въ 1762 г., какъ обычная, «для того, чтобы друзья наши, усмотрѣвъ, что имъ ничего не даютъ, и на сеймики ихъ не водятъ, и потерявъ надежду, не обратились завтра же къ партіи Флеминга, и встрѣтя тамъ однажды хорошій пріемъ, не покинули насъ навсегда, такъ что бы мы и остались безъ дворянства *et sine popularitate*» ¹⁾ (III. 160). На сеймикахъ направленіе давали лично заинтересованные въ выборахъ, больше всѣхъ дѣйствовали нанятые, а посредственно — тѣ, кого удалось склонить не подарками, но во всякомъ случаѣ — приглашеніями и угощеніемъ. Главное дѣйствіе всегда происходило за кулисами. Вотъ какъ поступали державные избиратели. Посмотримъ теперь, какъ дѣйствовали избираемые, а въ особенности — тѣ изъ нихъ, кому доставались въ руки мечъ Ѳемиды и вѣсы правосудія.

Составъ и устройство судовъ не соотвѣтствовали

¹⁾ Безъ популярности.

основнымъ законамъ государственной и общественной статистики. Суды должны быть въ государствѣ тѣмъ, что маятникъ въ часахъ и костяной остовъ въ тѣлѣ: той частью организма, которая наименѣе подвергается измѣненію, равномѣрнымъ регуляторомъ, властью наиболѣе независимою отъ борьбы партій, даже отъ вѣяній общественнаго мнѣнія; они должны представлять собой поставленнаго на возвышеніи посредника, наблюдающаго за тѣмъ, чтобы повседневная борьба, взаимодѣйствіе единичныхъ людей и цѣлыхъ партій происходили законно, въ предѣлахъ точно указанныхъ законами. Очевидно, что наши давніе суды, начиная отъ трибуналовъ, такимъ условіямъ не отвѣчали. Всякая переменна, каждый кризисъ въ республикѣ пріостанавливали отправленіе постоянныхъ судебныхъ мѣстъ и вводили въ дѣйствіе суды временные: такъ называемые *kartuowe* ¹⁾ и конфедератскіе ²⁾. Но и въ обыкновенное время пульсъ судебного отправленія прерывался, такъ какъ судопроизводство происходило только въ опредѣленные засѣданія (каденціи), и кромѣ того, избраніе членовъ трибунала на сеймикахъ ежегодно ставило трибуналы въ зависимость отъ текущей борьбы партій, отъ стремленій, и взаимнаго отпора разныхъ интересовъ. Отправленіе юстиціи было въ высшей степени партійное и пристрастное. Выборъ маршала, подъ вліяніемъ интригъ и подкуповъ—вотъ чѣмъ каждая партія старалась прежде всего обезпечить за собою трибуналъ, въ которомъ маршалъ предсѣдательствовалъ.

Такъ напр. въ 1759 г. составъ трибунала принадлежалъ партіи Флеминга, то есть рѣшительное большинство получили въ немъ приверженцы «фамиліи» и подскарбія. И въ маршалы, канцлеръ предназначалъ сво-

¹⁾ Отъ словъ *libera captura*, такъ какъ во время междуправствія пріостанавливалось дѣйствіе закона ограждавшаго неприкосновенность личности (дворянской).

²⁾ Или маршальскіе во время королевскаго избранія.

его кандидата Іодко. Но гетманъ Радзивиллъ прислалъ въ Вильно 40.000 злотыхъ, чтобы повернуть дѣло въ свою сторону. Богушъ, бывший прежде земскимъ нотаріусомъ, но смѣщенный партіею Чарторыскихъ, сманировалъ такъ ловко, что когда, принеся присягу, депутаты (члены трибунала) собрались для избранія маршала, большинство голосовъ оказалось за Ясинскимъ, комиссаромъ бѣльскихъ имѣній Радзивилловъ (II. 294). Впослѣдствіи конфедераты, опустошивъ Бялу, отдѣляли этого же Ясинскаго нагайками, припоминая ему прежнее величіе (IV. 239). Маршалъ имѣлъ большое вліяніе на теченіе дѣлъ въ трибуналѣ. Мечника литовскаго (Карла Радзивилла), когда онъ былъ маршаломъ, депутаты боялись, потому что онъ просто мальтретировалъ ихъ. Въ Минскѣ (1741 г.) въ дѣлѣ Сапѣговъ съ Яблоновскими, маршалъ трибунала Массальскій, видя *plurimam adversam*¹⁾, три дня и три ночи не приступалъ къ подачѣ голосовъ, такъ что сами депутаты бросились съ саблями на своего маршала (I. 114). Другой Массальскій, будучи маршаломъ, увидѣвъ, что большинство высказалось противъ его мнѣнія, такъ озлился, что у него на лицѣ и на рукѣ выступили черныя пятна (IV. 4). Маршалъ Юдицкій, находясь подъ вліяніемъ даннаго обѣщанія, не хочетъ приступить къ разсмотрѣнію дѣла Сапѣги съ Новосельскимъ, не прочитываетъ его заголовка по реэстру и болѣе пяти минутъ стоитъ, мѣняясь въ лицѣ, и не зная, что дѣлать; наконецъ онъ призвалъ дѣло и тогда Сапѣги съ досадою вышли изъ трибунальской палаты (I. 111). Маршалы трибуналовъ поддавались вліяніямъ, а иногда и подаркамъ. Такъ маршалъ Юзефовичъ далъ Матушевичу клятвенное обѣщаніе нустить дѣло г-жи Рущицъ, сестры автора, съ Пацомъ (1763 г.), но получилъ отъ епископа Массальскаго тысячу талеровъ и отъ Паца дорогой поясъ со 100 червонцевъ—и не призвалъ дѣла (IV. 12).

¹⁾ Что большинство было враждебно.

Если возможно было подкупать маршала, то тѣмъ болѣе членовъ. Самъ Мнишехъ, королевскій маршалъ надворный попался однажды почти на мѣстѣ преступленія, когда онъ совершалъ подкупъ въ люблинскомъ трибуналѣ, по дѣлу Корецкаго съ Малаховскимъ (1758 г. III. 50—54). И въ трибуналѣ каждое дѣло рѣшалось за кулисами, раньше, чѣмъ наступала его очередь призыва по реэстру; иногда стороны, взвѣсивъ свои силы, сами приходили къ соглашенію, каково должно было быть рѣшеніе. Если результатъ дѣла былъ важенъ для партіи, то депутаты обязывались подъ страшными клятвенными формулами не измѣнять ей (II. 166). Иногда большое значеніе имѣлъ и одинъ голосъ. Повѣренному канцлера, Фронцкевичу, было крайне нужно, чтобы Зенковичъ остался предсѣдателемъ скарбоваго суда (1755 г.), для этого надо было устранить отъ разбирательства судебного дѣла депутата Іосифа Володковича. Увидѣвъ изъ дома Флеминга, что Володковичъ пробѣждаетъ верхомъ, Фронцкевичъ вышелъ и пригласилъ его зайти; но какъ только появился Володковичъ, приверженцы канцлера бросились на него и нанесли ему 26 ранъ саблями; въ числѣ рубившихъ его было трое его товарищей — депутатовъ; Фронцкевичъ былъ осужденъ на смертную казнь (II. 141). Впрочемъ, пускались въ ходъ и менѣе трагическія средства. «Дѣло длилось три недѣли—пишетъ въ одномъ мѣстѣ Матушевичъ — наконецъ, когда депутату радзивилловской партіи, Горницеому, задали слабительнаго, такъ что онъ не былъ въ состояніи явиться на засѣданіе, то однимъ голосомъ большинства о. коадьюторъ виленскій выигралъ дѣло объ опека надъ имуществомъ своихъ племянниковъ и ими самими» (1742 г. I. 117). Обыкновеннымъ и почти неизбѣжнымъ при тяжбахъ приѣмомъ было хожденіе къ депутатамъ, обниманіе ихъ колѣнъ, обѣщаніе и ношеніе имъ подарковъ, угощеніе. Когда въ Вильнѣ трибуналъ разсматривалъ дѣло ловчаго литовскаго Забѣллы со Страшевичами (1762), то маршаломъ былъ Массальскій.

Будучи небогаты деньгами, онъ очень часто навязывался на обѣдъ къ Пюро, старостѣ румшишскому, который жилъ въ Пюромонтѣ на Снипишкахъ ¹⁾, и «глотая чужіе обѣды и ужины, депутатовъ на нихъ не приглашалъ» — говоритъ авторъ, который былъ пріятелемъ ловчаго и депутатомъ, и затѣмъ прибавляетъ: «послѣ того, сталъ я самъ держать открытый столъ, порядочный и обильный; стали бывать за нимъ у меня депутаты, не только радзивилловской, но и чарторыской партій; и ловчій бывалъ съ ними въ одной компаніи; столько депутатовъ общали намъ голоса, что мы стали надѣяться» (III. 181). Онъ же говоритъ о трибуналѣ 1757 г. въ Новогрудкѣ: «по приказанію канцлера они бы отстунили и отъ христіанской вѣры» (II. 281).

Когда таковы бывали судьи, то что же сказать объ адвокатахъ? Вотъ какую характеристику даетъ авторъ о консультаціи, состоявшихъ при трибуналѣ юристовъ: «Пржіялговскій — грубіанъ (кровесовѣтникъ); Яковицкій — явный поддѣлыватель, однажды уже изгнанный судомъ изъ сословія, но потомъ вновь принятый изъ милости, мошенникъ и нахаль; Полховскій — хоть не такой мастеръ, за то бездушный и безстыдный человѣкъ; при нихъ — Пневскій, повѣренный канцлера, который полученную отъ него инструкцію считалъ закономъ. Нельзя и выразить, какъ нахально они обходились со мной» (II. 285). При такихъ условіяхъ, когда случалось, что судья проявлялъ независимость, то это получало значеніе особаго геройства. Подобный случай Матушевичъ рассказываетъ о себѣ, когда онъ былъ членомъ трибунала. «Въ Новогрудкѣ (1763 г.), прочли въ засѣданіи заголовокъ дѣла Огинскаго, вел. маршала литовскаго, противъ воеводы виленскаго, Радзивилла. Отъ лица воеводы поданъ былъ затѣмъ отводъ *ex quo senator*, по причинѣ отъѣзда его на *senatus consilium* ²⁾

¹⁾ Предмѣстье Вильна, гдѣ встарину были мызы.

²⁾ По тому мотиву, «что онъ — членъ сената» — по отъѣзду для присутствованія въ сенатѣ.

въ Варшаву; а въ уставѣ прямо сказано, что этотъ мотивъ для отсрочки можетъ быть представленъ только въ такомъ случаѣ, если сенаторъ находится въ засѣданіи сейма. Когда на меня пришла очередь подать мнѣніе, я крѣпился съ рѣшеніемъ; съ одной стороны я опасался своего воеводы, единого моего покровителя, а съ другой—поступивъ вопреки ясному закону, боялся согрѣшить предъ Богомъ. Кто меня видѣлъ въ эту минуту, сказывалъ потомъ, что я даже перемѣнился въ лицѣ; наконецъ, однако, поручивъ себя защитѣ Господа Бога, я отклонилъ представленный воеводою отводъ. Когда декретъ былъ прочтенъ, я радовался, что не согрѣшилъ Богу. Вел. маршалъ литовскій пригласилъ меня послѣ того на обѣдъ, но я извинился, давъ ему понять, что ту сентенцію свою я произнесъ не ему въ угоду, но ради справедливости» (IV. 16).

Чѣмъ основательнѣе были падавшія на судей обвиненія въ продажности, тѣмъ сильнѣе оскорблялся трибуналъ каждымъ отзывомъ въ этомъ смыслѣ и тѣмъ былъ склоннѣе всякаго, кто посмѣлъ посягнуть на судебный авторитетъ—подвергнуть заключенію и присудить къ наказанію *ex termino tacto*¹⁾. Дѣвица Борковская выразила въ частномъ письмѣ жалобу, что по дѣлу ея съ Живултами, Радзивиллы, поддерживая ея противниковъ, подкупили трибуналъ посредствомъ ужиновъ и иныхъ услугъ. Письмо это (1742 г.), такъ возбудило противъ нее членовъ новогрудскаго трибунала, что онъ постановилъ даму эту взять подъ стражу, доставить къ суду и судить какъ клеветницу. Однако, во время предостереженная, Борковская спаслась къ доминиканкамъ и просидѣла въ монастырѣ нѣсколько недѣль (I. 112). Такъ какъ партія, которая имѣла большинство въ трибуналѣ, могла притѣснять своихъ противниковъ путемъ суда, то иногда нарочно устраивались западни, въ такомъ родѣ, чтобы вызвать какое нибудь насиліе, а потомъ привлекать кого-

¹⁾ Немедленно.

либо къ уголовному суду за мнимое оскорбленіе трибунала или его маршала. Много подобныхъ измѣнъ и убійственныхъ ловушекъ рассказано въ «Запискахъ». Приведемъ примѣры.

Іосифъ Володковичъ и Морскій проѣзжали верхомъ мимо монастыря миссіонеровъ въ Вильнѣ, а передъ нимъ стояла карета Массальскаго, маршала трибунала. Конюхи маршала, съ наглостью лакеевъ знатнаго пана, нѣсколько разъ стегнули коня, бывшаго подъ Морскимъ. Этотъ послѣдній, человѣкъ горячій, самъ однако не поднялъ на нихъ руки, но проѣхавъ мимо, велѣлъ своему конюху выстрѣлить на воздухъ изъ пистолета заряженнаго только порохомъ; зарядъ былъ давнишній и пистолетъ разорвало. На другой день, Массальскій предъявилъ на Володковича и Морскаго обвиненіе, что они стрѣляли по каретѣ маршала трибунала. Володковичъ и Морскій бѣжали за границу, осужденные къ отсѣченію головъ, а конюхъ, у котораго въ другихъ пистолетахъ, дѣйствительно, оказались холостые заряды, содержался на гауптвахтѣ въ продолженіи двухъ трибунальскихъ сессій, стращаемый пыткой и умеръ бы съ голода, еслибы ему милосердныя души не посылали милостыни (III. 190). Въ такой же опасности для жизни находился два раза ловкій и прозорливый Богущъ: однажды, когда онъ шелъ (1757 г.), къ маршалу трибунала, подскарбію Флемингу—какъ на вѣрную смерть, убѣжденный, что тамъ найдутъ какой-нибудь поводъ придратъся къ нему, арестуютъ и отдадутъ подъ судъ; поэтому, онъ взялъ съ собой пистолетъ, чтобы убить Флеминга, если бы пришлось плохо и не погибнуть одному (II. 281). Въ другой разъ, когда маршаломъ былъ Массальскій (1762 г.), Богущъ обходилъ депутатовъ, прося ихъ о благопріятномъ рѣшеніи по дѣлу Забѣллы со Страшевичами, отъ имени мечника литовскаго. Тогда Массальскій съ бѣшенствомъ укорялъ его за веденіе интригъ, а потомъ, въ присутствіи епископа, принято было рѣшеніе, чтобы, когда Богущъ придетъ, депутатъ смоленскій Ейдзятровичъ далъ

ему «оказію», словами или толкнувъ его, къ ссорѣ, послѣ сего Богуща бы арестовали и привлекли по уголовному обвиненію. Но Богущъ, провѣдавъ о томъ, уѣхалъ въ Варшаву, гдѣ друзья трунили надъ нимъ, что шея у него толстая и крѣпкая (III. 184).

Въ «Запискахъ» Матушевича раскрывается съ новой, доселѣ неизвѣстной стороны, извѣстная во всей Литвѣ исторія Михаила Володковича, разстрѣляннаго въ Минскѣ въ 1760 году. Здѣсь она представляется совсѣмъ иначе, чѣмъ въ «Запискахъ Квестаря» Ходзьки ¹⁾, а именно— въ видѣ предумышленнаго судебного убійства. Предсѣдательствовалъ въ трибуналѣ вице-маршалъ Морикони. Весь составъ трибунала былъ на обѣдѣ у Володковича, который, угощая товарищей, самъ напился и пріѣхалъ позднѣе въ засѣданіе. Заставъ своихъ товарищей за совѣщаніемъ—играющими въ карты, между тѣмъ, какъ секретари составляли постановленіе, Володковичъ велѣлъ подавать вина и просилъ, чтобы въ совѣщательную комнату впустили флейтчиковъ и барабанщиковъ трибунальской стражи, съ тѣмъ, чтобы они играли «туши» къ провозглашаемому тостомъ. Тогда Морикони грубо возразилъ, что это «развратная манера», а Володковичъ, сбросивъ со стола карты и деньги, сказалъ: «а это—шулерское дѣло» и потомъ, выхвативъ саблю, сталъ срубать фитили на горѣвшихъ свѣчахъ, при чемъ слегка исцарапалъ руку депутату Длускому, стоявшему сзади. Затѣмъ раздался звонокъ, призывавшій въ залъ стороны, для выслушанія рѣшенія, а на слѣдующій день за обѣдомъ у Паца и по его старанію состоялось примиреніе между Володковичемъ, Морикони и Длускимъ. Но это соглашеніе таило въ себѣ измѣну; Морикони разослалъ письма къ врагамъ Володковича—Пржездѣцкому, князю канцлеру, маршалу трибунала Сапѣгѣ, въ которыхъ разсказывалъ, будто Володковичъ ударилъ его, Морикони, въ лицо, разрубилъ маршальскій жезлъ и посягалъ даже

¹⁾ Obrazy Litewskie.

на стоявшее на столѣ распятіе. Получивъ отвѣты и подробныя инструкціи отъ Чарторыскаго, Флеминга и даже отъ Іеронима Радзивилла, который въ ту пору дѣйствовалъ за одно съ канцлеромъ, Морикони сговорился съ депутатами, какимъ образомъ погубить Володековича. Когда этотъ послѣдній появился въ засѣданіи трибунала, Длускій предложилъ очистить залу; по удаленіи сторонъ, Длускій формально внесъ въ совѣтъ жалобу на порѣзаніе ему руки Володековичемъ. Не опредѣливъ, въ чемъ состояло оскорбленіе, нанесенное при этомъ суду и не назначивъ Володековичу защитника, Морикони пустилъ на голоса смертный приговоръ. Этотъ приговоръ былъ одобренъ и прочтенъ, послѣ чего вбѣжала, заранѣе приготовленная трибунальская стража, осужденному вложили цѣпи на руки и ноги, отвели въ тюрьму, гдѣ приковали его къ стѣнѣ, и въ ту же ночь, послѣ двухъ часовъ, Володековичъ былъ разстрѣлянъ (III. 70).

Если, такимъ образомъ, оковы и разстрѣланіе или обезглавленіе могли неожиданно пасть на родовыхъ дворянъ, дворянъ «такъ называемыхъ кармазиновъ», то чему же подвергались простолюдины? Свидѣтеля изъ простолюдовъ допрашивали слѣдующимъ образомъ: «а ты, Хведоръ Ящукъ, скажи правду, а то можешь побывать въ рукахъ у палача»; если онъ не признавался, то его пытали, а если признавался, то его также пытали, дабы еще болѣе убѣдиться въ справедливости его показанія— тѣмъ, что онъ и подъ пыткой не отступился (I. 131). Надъ простыми людьми глумилась даже трибунальская стража. Въ 1762 году, въ такомъ большомъ городѣ какъ Вильно, по наущенію нѣкоего Нѣмчиновскаго, солдаты захватывали людей ни въ чемъ не виновныхъ и брали съ нихъ выкупъ за освобожденіе отъ карцера; нападали даже на дома порядочныхъ мѣщанокъ, обвиняя ихъ въ занятіи распутствомъ, такъ что мѣщанки съ дочерьми стали спасаться на время трибунальскихъ засѣданій въ монастыри. Нѣмчиновскій же такими вымогательствами нажилъ болѣе 10 тысячъ (III. 202). Злоупотребленій въ судебномъ дѣло-

производствѣ было множество: поддѣлывались реестры (I. 7), предъявлялись ложныя завѣщанія (Забѣлло ловчій лит. III. 189), уничтожались подлинныя (Оссолинскій, сынъ хорунжаго велюнскаго II. 7); въ договорной записи существенныя слова писались самымъ тонкимъ перомъ, для удобства подчистки и замѣны ихъ иными словами (Ивановскій, староста минскій съ евреями II. 69); фокусническимъ приѣмомъ подмѣнивались однѣ бумаги другими (III. 121). Брестскій гродскій судья, сказавшись больнымъ, по дѣлу Матушевича, предпочелъ подтвердить потомъ это фальшивое показаніе присягою, такъ какъ самолюбіе не дозволило ему просить объ увольненіи отъ присяги (I. 100). Референдарій Пржездзѣцкій обѣщалъ Гуйскому 100 червонцевъ за отказъ отъ апелляціи въ бракоразводномъ дѣлѣ, но выѣзжая отъ него, Гуйскій получилъ отъ его кассира свертокъ въ узелкѣ, завязанномъ множествомъ питей, въ которомъ потомъ оказалось только 30 червонцевъ (I. 102). Завелся уже обычай, не разъ практиковавшійся въ началѣ столѣтія магнатами, что сынъ отказывался отъ наслѣдства въ имѣніи отца, а потомъ являлся на конкурсъ въ качества кредитора, съ обязательствами, выданными матери (Сапѣга, впоследствии воевода смоленскій I. 147). Духовныя суды были продажны не менѣе свѣтскихъ; часто упоминается объ обвиненіяхъ, падавшихъ на духовныя лица въ злоупотребленіяхъ и преступленіяхъ. Безпрестанно встрѣчаются черты грубыхъ и нечестныхъ нравовъ, какъ напримѣръ въ обираніи евреевъ. Деньги вообще играли въ томъ вѣкѣ гораздо большую роль, чѣмъ въ наше, столь обвиняемое за матеріализмъ время, просто потому, что гораздо болѣе было вещей, продававшихся на деньги: рѣшенія судей, голоса депутатовъ на сеймѣ, почти всѣ должности и званія, служившія постоянными предметами сдѣлокъ между продавцами и покупателями. Такъ напр. Матушевичъ, купивъ самъ для себя должность брестскаго писаря у старосты Сапѣги за 600 червонцевъ, беретъ у него же бочку вина за

то, чтобы оставить мѣсто нотаріуса (реента) за Ласковскимъ, а такъ какъ вино оказалось дурное, то получаетъ взаменъ 15 червонцевъ. Понятовскій, воевода мазовецкій, продалъ должность подскарбія литовскаго Соллогубу за 100 тысячъ злотыхъ; «фамилія» купила у Брюля за 600 червонцевъ званіе стольника литовскаго для будущаго короля (П. 119).

Сводя въ цѣлое мелкія черты, заимствуемыя изъ мемуаровъ Матушевича, мы не можемъ не прійти къ заключенію, что не только въ смыслѣ упадка независимости и разложенія, проникшаго въ учрежденія, но и въ отношеніи нравственномъ вообще, въ половинѣ XVIII вѣка въ Польшѣ было плохо, такъ плохо, что хуже сдѣлаться уже и не могло. Конечно, оцѣнка можетъ быть только сравнительная, а сравненіе здѣсь возможно — съ нашимъ временемъ, съ иными странами и, наконецъ, съ болѣе отдаленнымъ прошлымъ въ самой Польшѣ. Нынѣ понятія столь измѣнились, въ сравненіи съ тогдашними, что многое въ томъ, не столь далеко въ прошломъ представляется намъ просто невѣроятнымъ. Правда, намъ могутъ казаться привлекательными такія условія жизни, которыхъ теперь недостаетъ: шумъ, движеніе, дѣйствіе массаами, просторъ для проявленій оригинальности типовъ, какъ и для заявленія убѣжденій въ многочисленныхъ совѣщательныхъ собраніяхъ. Но мы не были бы въ состояніи ни низойти на уровень тогдашнихъ понятій, ни войти въ тонъ чувствованій того времени. Зло было очевидно, но за исключеніемъ немногихъ, болѣе проникательныхъ людей, никто не желалъ переменъ; всѣ жили, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, не думая о какой-либо перспективѣ въ будущности. Такъ, гетманъ Радзивиллъ (1756 г.), когда оказалось, что въ трибуналъ попали одни только сторонники Флеминга—«сдѣлался печаленъ, но произнесъ съ резигнаціей—*victor dat leges*»; то есть—въ сущности примирился съ случившимся, въ той надеждѣ, что на будущій годъ, обработавъ сеймики въ свою пользу, будетъ такъ же

тѣснить канцлерчиковъ, какъ составившійся въ тотъ моментъ флеминговскій трибуналъ могъ притѣснять приверженцевъ Радзивилловъ (II. 206). На коронаціонномъ сеймѣ Юндзилль внесъ предложеніе о преобразованіи сеймиковъ, но это былъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Проектъ его провалился, вслѣдствіе короткаго возраженія, что пришлось бы шляхтѣ отправляться прямо съ сеймика въ тюрьму и сидѣть тамъ постоянно (IV. 312). Не одно наше нравственное, но и эстетическое чувство многимъ въ тогдашнихъ нравахъ и обычаяхъ было бы поражено непріятно. Не по вкусу пришлась бы намъ, навѣрное, и тогдашняя размашистость, фамиллярность и безцеремонность въ шуткахъ, которая такъ была близка съ грубой непристойностью. Каковы напр. этотъ гетманъ Радзивилль, который, принимая короля въ лагерѣ, такъ напился, что не могъ удержаться въ сѣдлѣ (I. 154), или знатныя дамы, которыя бранятся какъ рыночныя торговки, или услышавъ чрезъ окно неприличныя шутки придворныхъ конюховъ, передаютъ эти выходки одна другой, такъ что онѣ дошли какъ весьма забавныя до самого короля Августа III.

Къ менѣе рѣшительнымъ заключеніямъ и приговорамъ привело бы насъ, конечно, сравненіе — съ порядками, нравами и обычаями, существовавшими въ иныхъ странахъ, въ разныя времена. Такъ продажничество въ судахъ и вообще взятки практиковались не въ одной Польшѣ XVIII вѣка; продажа офицерскихъ мѣстъ въ Англіи держалась до нашего времени, какъ узаконившійся обычай; примѣровъ измѣнническихъ нападеній и насилій всякаго рода можно найти въ исторіи Италіи, тогдашней и позднѣйшей, гораздо болѣе; самодурство вельможъ или временщиковъ также проявлялось въ разныхъ странахъ; нравственность XVIII столѣтія, напр. при французскомъ дворѣ, конечно, не была выше, если съ *Rais* ах *cerfs* Людовика XV, куда родители-дворяне иногда просили объ опредѣленіи своихъ дочерей, у насъ приходится сопоставлять только гаремъ крайчаго Радзивилла

изъ похищенныхъ дѣвушекъ; а насчетъ грубости въ шуткахъ и вообще въ словахъ иныхъ знатныхъ дамъ, изобилуютъ примѣрами всѣ французскіе мемуары, начиная отъ Брантома и кончая временами Директоріи. Географическое сравненіе, повторяемъ, почти невозможно, какъ невозможно взвѣсить совокупности частныхъ, характерныхъ случаевъ или примѣровъ.

Но есть иное сравненіе, наиболѣе поучительное въ смыслѣ исторіософическомъ, въ примѣненіи къ объясненію хода развитія даннаго общества. Это—сравненіе его нравственнаго состоянія въ извѣстный историческій моментъ—съ тѣмъ, каково оно было прежде, анализъ сравнительныхъ свойствъ того момента, раскрытіе что онъ представлялъ собою: успѣхъ или упадокъ въ дѣйстви учрежденій и въ общественныхъ нравахъ? Положимъ не всегда и упадокъ нравовъ влечетъ за собой политическую смерть; онъ бываетъ явленіемъ временнымъ, исправимымъ, а объ исправимости его могутъ свидѣтельствовать дальнѣйшіе признаки, хотя бы появившіеся уже послѣ того, какъ общественное зданіе рухнуло, подмытое водой или ниспровергнутое землетрясеніемъ. Но тѣмъ не менѣе, для цѣлой и законченной характеристики опредѣленнаго историческаго періода всего важнѣе рѣшеніе вопроса, чѣмъ онъ былъ: успѣхомъ или упадкомъ? На этотъ вопросъ, по отношенію къ первой половинѣ XVIII вѣка у насъ можетъ быть данъ рѣшительный отвѣтъ — это было время упадка.

VII.

«Записки» Матушевича представляютъ характерный pendant и вмѣстѣ поправку къ дворянскому роману Ржевускаго—«Листопадъ», къ «Литовскимъ Картинамъ» Ходзьки, къ значительной части произведеній Винцентія Поля, къ цѣлому циклу сочиненій Сигизмунда Качковскаго, сосредоточивающихся около «Мартина Нечуи».

Утрата, преданіе, и за ними—поэзія покрыли золотыми лучами множество вещей низкихъ и грубыхъ, вдохнули современныя намъ, сильныя чувства души скорбящей или восторженной въ единичные образы и цѣлыя массы изъ того прошлаго, которое ничего похожаго въ себѣ не испытывало, такъ какъ условія тогдашняго быта были совсѣмъ иныя. Много надо было страданій, горечи и разочарованій, чтобы могъ явиться тотъ поэтъ, который написалъ исполненныя скорби слова: «посѣвъ чувствъ невышенныхъ никогда не поспѣетъ» (Мальчевскій). Но возможно ли было появленіе такой скорби, хотя бы даже мерцаніе ея среди людей того времени, до такой степени занятыхъ лишь собою, такъ откормленныхъ, столь хорошо тѣшившихся среди крика и шума, въ пьянствѣ и дракахъ, такъ всецѣло преданныхъ мелкимъ своимъ честолюбіямъ и интригамъ, что всякая забота иного рода удовлетворялась бы для нихъ кое-какимъ замазываньемъ трескавшихся стѣнъ и выгнувшихся уже наружу стропиль общественнаго зданія?

Дѣлая эти замѣчанія, мы должны, однако, оговориться, что нашу характеристику примѣняемъ лишь къ XVIII вѣку, и то—только къ первой его половинѣ, до того времени, котораго послѣдними представителями являются Барскіе конфедераты и до первыхъ признаковъ нравственнаго поворота къ лучшему. Этотъ поворотъ въ мемуарахъ Матушевича еще не предчувствуется, но наблюдательный и зоркій глазъ автора примѣтилъ и засвидѣтельствовалъ такой фактъ, что его время было временемъ упадка, приниженія и разложенія нравственности, переходъ къ худшему—въ нравахъ и порядкахъ. Такихъ мѣстъ, въ которыхъ это сознаніе выражается, въ «Запискахъ» Матушевича, правда, не много, но они знаменательны. Такъ въ 1763 г. стольника ковенскаго Хелховскаго публично упрекали, что имъ внесены были въ ковенскій уѣздъ денежный подкупъ и лихоимство, которыхъ тамъ прежде не бывало никогда (IV. 2). *«Въ*

тѣ времена паны еще не прибирали такъ къ своимъ

рукамъ сеймиковъ (I. 64)», говоритъ Матушевичъ, очерчивая лучшій, въ нравственномъ отношеніи, въ его коллекціи портретъ—Николая Забѣллы, ковенскаго маршала, человека *великаго, достойнаго*, къ которому пріѣзжали издалека, чтобы съ нимъ познакомиться—такъ какъ онъ вызывалъ къ себѣ уваженіе и столь рѣдкимъ уже, по времени, представлялся образцомъ гражданской добродѣтели и совѣсти. Братьевъ Забѣлло было трое, всѣ съ возвышенной душой сильные и вліятельные; жили они дружно. Изъ нихъ Николай былъ старшимъ. Онъ былъ опытный политикъ. Для того, чтобы ему не разстраивали сеймиковъ, онъ умѣлъ удовлетворять обѣ партіи, обыкновенно проводя въ депутаты на трибуналъ по одному приверженцу той и другой партіи. Избраніе же въ депутаты на сеймъ онъ старался устраивать для себя или кого-нибудь изъ своей семьи, а отъ выбора въ депутаты на трибуналъ *уклонялся*. Пользуясь большимъ вліяніемъ, онъ въ одномъ году, проводилъ въ маршалы трибунала—депутата одной партіи, а въ слѣдующемъ — другой. Щадя такимъ образомъ соперничающихъ между собой магнатовъ, онъ всѣхъ умѣрялъ, и каждая сторона была довольна тѣмъ, что въ свою очередь могла рассчитывать на ковенскій сеймикъ. Этотъ «великій» человекъ самъ ни отъ кого не зависѣлъ, о полученіи арендъ изъ государственныхъ имуществъ не старался, жилъ умѣренно, собственными доходами, а на сеймики всегда являлся съ большимъ числомъ пріятелей.

Рядомъ съ этимъ внушительнымъ образомъ истиннаго «земца», образомъ, который въ то время уже поражалъ своей необычайностью и импонировалъ, «какъ рыцарскій курганъ среди убогой деревушки» (Сырокомля), можно бы поставить нѣсколько меньшихъ фигуръ, взятыхъ изъ тѣхъ-же «Записокъ». Отецъ Матушевича, религіозный, уклонявшійся отъ публичности, не алчный, часто дарилъ одеждой бѣдныхъ шляхтянокъ, такъ чтобы никто не зналъ, часто давалъ потихоньку и цѣлую пригоршню денегъ (II.24). Воевода виленскій, вел. гетманъ литовскій

Михаилъ Вишневецкій однажды сдѣлалъ М. Матушевичу такое замѣчаніе: «ты еще молодъ, тебѣ надо стараться приобрести сочувствіе въ воеводствѣ, не возбуждай же противъ себя, разстраивая сеймики (I. 114)». Янъ-Клеменсъ Браницкій, человѣкъ слабаго характера, представляется однако въ «Запискахъ» съ той хорошей, по тогдашнему времени, стороны, что ни въ какомъ случаѣ не хотѣлъ и прикоснуться къ деньгамъ, притекавшимъ изъ за границы (III. 14). Вотъ нѣсколько образцовъ изъ сферы дѣятельности общественной, къ которымъ мы можемъ присоединить два-три примѣра окруженныхъ общимъ уваженіемъ матронъ, передъ которыми долженъ преклониться читатель «Записокъ». Г-жа Плятеръ, рожденная Бржостовская, жена воеводы мстиславскаго, была извѣстна святостью своей и милосердіемъ, держала домашнюю аптеку и узнавъ о какомъ-либо проѣзжемъ больномъ, брала его къ себѣ, врачевала его молитвами, лекарствами и доставленіемъ ему удобствъ, а потомъ давала ему на дорогу денегъ (I. 118). Госпожа Радзивиллъ, жена гетмана, была готова пособить каждому гостю и держала при себѣ около двадцати воспитанницъ, съ коими проводила время въ скромныхъ развлеченіяхъ, сама сочиняла разныя пѣсни и музыку, и выбравъ подходящіе голоса, устраивала благозвучное пѣніе (IV. 4). Госпожа Морштынъ, урожденная Потоцкая, жена воеводы инфлянтскаго и дочь славнаго Вацлава, автора «*Argenidy*» и «*Wojny Chocimskiej*», сама постоянно управляла хозяйствомъ, была весьма бережлива, но гдѣ было нужно, не жалѣла расходовъ, оказывала много благотвореній бѣднѣйшимъ монастырямъ (III. 22). Вотъ и весь тотъ пучекъ образцовъ утѣшительныхъ, какой мы можемъ связать изъ фактовъ, которые приводятся въ «Запискахъ» и тонутъ въ нихъ среди цѣлой массы явленій противоположнаго свойства.

Въ заключеніе, представляется еще, всетаки, вопросъ: имѣемъ ли право безусловно осудить цѣлый періодъ съ относящимся къ нему обществомъ на основаніи по-

казаній этого новаго свидѣтеля? Или-же мы должны усомниться въ его правдивости и заподозрить, что онъ оклеветалъ своихъ современниковъ? Ни то, ни другое. Матушевичъ наблюдалъ вѣрно и очертилъ съ точностью то видѣль—полное разложеніе, гниль, бывшую на поверхности. Но въ глубину взоръ его не проникалъ, о томъ, что находилось въ сердцевинѣ, подъ этою корой, онъ не догадывался, не думалъ объ этомъ, какъ обозрѣвающій страну туристъ—если онъ не геологъ—не думаетъ объ укрытыхъ подъ ея почвой ископаемыхъ богатствахъ, о слояхъ каменнаго угля, продуктѣ первобытной флоры, какіе могутъ лежать тутъ-же въ землѣ, скрытые всего на нѣсколько сажень подъ поверхностью. Въ душѣ народовъ и обществъ, какъ и въ душѣ единичнаго человѣка, покоятся необозримыя залежи понятій, чувствъ и унаслѣдованныхъ свойствъ, въ видѣ скрытномъ, какъ будто спящихъ, изъ коихъ малая лишь частица переходитъ въ силу дѣятельную, вызываемая благопріятными условіями и обстоятельствами, которыя пробуждаютъ и вызываютъ къ дѣйствію то, что было погружено въ сонъ и оставалось незримымъ.

У насъ такъ долго занимались розыскиваніемъ полнаго сходства между жизнью старо-польскою вообще и нашей собственною, что о различіяхъ не было и помина, стало быть не могло быть рѣчи и о томъ, когда именно основныя черты такого различія возникли. Дѣйствительно, есть связи сильныя и жизненныя, которыя и насъ соединяютъ со старой Польшей, и изъ ихъ числа мы можемъ указать здѣсь на святость семьи, на отношенія родственныя, на живую религіозную вѣру, изъ коей, какъ и въ старину, истекаютъ добрыя дѣла. Но если подвергнемъ точному анализу тотъ мотокъ мыслей и чувствованій, изъ котораго прядется нить душевной жизни современнаго человѣка, то окажется, что преобладающій въ нихъ матеріалъ имѣетъ происхожденіе значительно позднѣйшее, сравнительно съ временемъ мемуаровъ Матушевича. Настроеніе души измѣнилось, жизнь

облагородилась, вслѣдствіе сильныхъ нравственныхъ потрясеній, сквозь какія мы прошли въ послѣднюю четверть прошлаго столѣтія, вслѣдствіе усилій къ поднятію образованія въ эпоху Станислава-Августа, а наконецъ и въ результатъ разныхъ превратностей судьбы втеченіи настоящаго вѣка. Во многихъ отношеніяхъ мы — *liberi posthumi*, то есть дѣти родившіяся по смерти отцовъ, среди развалинъ рухнувшаго государственнаго зданія. Наилучшими изъ нашихъ желаній и стремленій мы обязаны времени гораздо болѣе къ намъ близкому, чѣмъ половина XVIII столѣтія и ничто такъ не вредитъ намъ и въ такой мѣрѣ не препятствуетъ прогрессу и нравственному совершенствованію, какъ именно давніе недостатки и дурныя привычки, отъ которыхъ намъ слѣдуетъ освободиться. Если взглянуть на «Записки» Матушевича съ этой точки зрѣнія, то надо признать, что открытіе ихъ является въ пору, обѣщаетъ пользу, такъ какъ онѣ могутъ содѣйствовать къ исправленію нашихъ взглядовъ на недавнее прошлое, научить насъ смотрѣть на него реальнѣе, а стало быть вѣрнѣе.

(Конецъ 1876 г.)

Нѣсколько словъ о Кавелинѣ,

произнесенныхъ въ административномъ отдѣленіи Юридическаго Общества
при С.-Петербургскомъ Университетѣ въ засѣданіи 11 мая 1885 г.

Нѣсколько словъ о Кавелинѣ,

произнесенныхъ въ административномъ отдѣленіи Юридическаго Общества при С.-Петербургскомъ университетѣ, въ засѣданіи 11 мая 1885 года.

Мм. Гг. Въ послѣднемъ засѣданіи московскаго Юридическаго Общества, какъ намъ извѣстно изъ газетъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и талантливѣйшихъ ученыхъ русскихъ юристовъ, *С. А. Муромцевъ*, а за нимъ и его товарищи, выразили горячими, сильно прочувствованными словами, скорбь объ уtratѣ, понесенной всею Россіею, схоронившею на дняхъ Константина Дмитріевича Кавелина. — Эту потерю мы чувствуемъ сугубо. Кавелинъ принадлежалъ въ гораздо большей степени Петербургу, нежели Москвѣ: въ Петербургѣ родился Кавелинъ; въ Москвѣ провелъ онъ только свою раннюю молодость; конецъ же этой молодости, начиная отъ 30 лѣтъ, весь зрѣлый и преклонный его возрастъ до дня смерти на 67 году, прошли среди насъ въ Петербургѣ. Онъ былъ однимъ изъ основателей нашего Юридическаго Общества, и всегда охотно посѣщалъ наши засѣданія. Я помню, съ какимъ удовольствіемъ онъ въ нынѣшнемъ еще году вспоминалъ о выслушанномъ имъ докладѣ Л. З. Слонимскаго о поземельной собственности, развивавшемъ

нѣкоторыя идеи, которымъ онъ всегда сочувствовалъ.— Намъ памятенъ еще и собственный докладъ К. Д. Кавелина въ гражданскомъ отдѣленіи по поводу кодификаціи нашего гражданского права, и диспутъ по этому вопросу съ другимъ изъ нашихъ ученыхъ, диспутъ — который пресѣченъ былъ, не дойдя до своего конца, потому что противникъ Константина Дмитриевича, по странному недоразумѣнію, поставилъ споръ на личную почву, объясняя критику Кавелина эгоистическими мотивами. Личное достоинство не дозволило умершему отвѣчать, онъ только улыбнулся иронически, да и въ самомъ дѣлѣ онъ былъ бы послѣднимъ изъ всѣхъ, кого можно было бы заподозрить въ какихъ-либо эгоистическихъ расчетахъ.— Всѣ въ одинъ голосъ говорятъ: это былъ человекъ *цѣльный*. Да, онъ и былъ таковъ: кого любилъ, того всѣмъ сердцемъ любилъ; ето былъ ему противенъ, того онъ сильно и страстно ненавидѣлъ, но и эта любовь, и эта ненависть, никогда не возбуждались личными соображеніями, а всегда опредѣлялись и руководимы были понятіями общественнаго, народнаго или общечеловѣческаго добра. Кавелинъ меньше привязывался по натурѣ своей къ людямъ, нежели къ идеямъ. — Я помню, какъ не разъ приходилось ему, не озираясь и повидимому не особенно печалась, разставаться съ людьми, съ которыми онъ жилъ десятки лѣтъ, когда ихъ пути расходились съ его собственнымъ подъ прямымъ угломъ на общественной аренѣ; но зато какой же онъ былъ вѣрный товарищъ и заступникъ всякаго, въ комъ онъ не извѣрился, кого считалъ принадлежащимъ къ одному лагерю, въ комъ замѣчалъ одушевленіе идеями добра.— Онъ былъ прежде всего моралистъ, строгій цѣннитель поступковъ, воплощенная, ходячая общественная совѣсть. — Онъ былъ неисчерпаемымъ источникомъ громадной, благотворной нравственной силы, которую расточалъ кругомъ себя съ необычайною щедростью.— Кто имѣлъ счастье быть съ нимъ лично знакомымъ, тотъ не могъ не знать, какъ благотворно дѣйствовало всякое общеніе

съ этимъ безпримѣрно общительнымъ и отзывчивымъ человѣкомъ; какъ благотворны были его указанія, его совѣты; какъ широкъ былъ кругъ его вліянія на современниковъ. Наибольшая часть его «я» уходила на это непосредственное вліяніе на людей, и сравнительно меньшая часть проявлялась въ трудахъ, которые, однако, настолько содержательны, что, благодаря имъ однимъ, имя покойнаго перейдетъ къ далекому потомству, за нимъ обезпечено безсмертіе.—Еслибы каждый изъ насъ—нельзя сказать, чтобы изъ насъ немногихъ (это число довольно значительно), знавшихъ лично Константина Дмитріевича, рассказалъ только свои съ нимъ сношенія, то я увѣренъ, что получился бы образъ умершаго болѣе живой и рельефный, чѣмъ тотъ, который могутъ дать самыя его произведенія.—Позвольте мнѣ, мм. гг., дать первый примѣръ такой личной исповѣди и передать вамъ три особенно памятные для меня моменты моихъ отношеній къ великому покойному.

Константинъ Дмитріевичъ зналъ меня по моей диссертации «*pro venia legendi*», 1852 г.: *Объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу, по древнему польскому праву*». Вступивъ въ с.-петербургскій университетъ въ 1857 году на кафедру, онъ вскорѣ потомъ поставилъ мою кандидатуру на кафедру уголовного права. Ему я обязанъ, что я занялъ этотъ постъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе трехъ лѣтъ, я видался съ Константиномъ Дмитріевичемъ почти ежедневно. Подъ его вліяніемъ разсѣялись въ умѣ моемъ послѣдніе остатки прежняго міросозерцанія, усвоены приемы научнаго изслѣдованія. Кавелинъ былъ рѣшительный противникъ всякаго «метафизическаго абсолюта»; въ послѣдніе годы онъ еще спорилъ противу допущенія въ область умозрѣнія Спенсера элемента «непознаваемаго». — Онъ былъ предводитель, настоящій leader и средоточіе нашего кружка въ университетѣ; съ нимъ мы отстаивали въ 1861 г., противъ предполагаемой тогда ломки, старый университетъ; съ нимъ мы подали въ отставку, съ нимъ потомъ мы работали въ комиссіи

по составленію новаго университетскаго устава. Для меня лично Константинъ Дмитріевичъ былъ всегда любимый и глубоко уважаемый учитель.

Второй памятный моментъ моихъ отношеній къ покойному относится къ концу 1858 и началу 1859 г. Въ его квартирѣ, при его горячемъ и ободряющемъ содѣйствіи, возникъ планъ изданія нѣсколькими въ С.-Петербургѣ осѣдлыми поляками, съ которыми Кавелинъ былъ особенно друженъ, польской газеты «*Ślowo*», въ духѣ такъ называемомъ теперь «примирительномъ», то-есть съ направленіемъ къ отысканію условій дружнаго и братскаго въ культурномъ отношеніи сожителства, которое бы замѣнило нетерпимость, самосѣданіе и взаимное самоистребленіе, составлявшія до тѣхъ поръ отличительную черту нѣкоторыхъ междуславянскихъ отношеній. — Когда, по послѣдовавшимъ для новаго органа невзгодамъ, издатель его подвергся заключенію, Кавелинъ хлопоталъ объ освобожденіи его; въ томъ же смыслѣ дѣйствовалъ тогда и Тургеневъ, какъ видно изъ опубликованныхъ посмертныхъ о немъ воспоминаній и его переписки.

Третій моментъ въ моихъ воспоминаніяхъ касается послѣдняго литературнаго труда Константина Дмитріевича Кавелина: «Задачи этики». — Этому труду умершій придавалъ большое значеніе: онъ въ него вложилъ самыя задушевные свои мысли, и былъ сильно озабоченъ тѣмъ, чтобы сочиненіе не проскользнуло только по поверхности общества, но остановило на себѣ вниманіе и нашло оцѣнку. По содержанію труда мы спорили съ Константиномъ Дмитріевичемъ, и онъ взялъ съ меня слово, которое я считаю завѣтомъ, формулировать не устно, а письменно, мои противъ его «Задачъ этики» возраженія. — Въ книжкѣ Кавелина, когда я ее читаю, онъ воскресаетъ весь, съ его типическими чертами, съ особенностями его міросозерцанія. — Онъ несомнѣнно человѣкъ «сороковыхъ годовъ»; человѣкъ, котораго убѣжденія окончательно сложились въ тотъ періодъ развитія русской мысли, когда общій стволъ ея еще не развѣтвился

вполнѣ на западничество и на славянофильство, оттого, что въ немъ были черты и того, и другого направленія. — Согласно съ лучшими людьми своего поколѣнія обоихъ направленій, онъ вѣрилъ, что европейскій западъ быстро идетъ къ своему концу, что новое вино—вырабатанная имъ культура—не можетъ храниться въ ветхихъ мѣхахъ; онъ вѣрилъ, что есть мѣха новые для этого вина. Что эти новые мѣха—славянство, а во главѣ его доработавшееся до своеобразной государственности русское племя,—это для Кавелина было очевидно уже по одному тому, что на этой «бѣлой страницѣ» до сихъ поръ ровно ничего не написано. Весь умственный трудъ ученаго и гражданина направленъ былъ къ разгадкѣ того, что будетъ въ будущемъ на этомъ листѣ написано. Отвѣтъ подсказывала ему собственная его жизнь, которая такъ сложилась, что вся вертѣлась около одного главнаго по его времени событія: освобожденія крестьянъ, — «*мужицкое царство*», міръ сель, въ противоположность съ отходящимъ *міромъ городовъ*. — Мы, люди позднѣйшіе, воспитанные при иныхъ условіяхъ, не могли безусловно предаваться этимъ идеаламъ. И западъ не представляется намъ столь одряхлѣвшимъ и отжившимъ, — и спорили мы о качествахъ новаго вина, и на «бѣломъ листѣ» являлись на нашихъ глазахъ слегка рисующіяся черты, иногда и непримѣтные, далеко не соответствующія искомому идеалу; и смущало насъ то, что «царство мужицкое» можетъ быть таковымъ, только пока оно некультурно, и перестанетъ быть мужицкимъ, коль скоро сдѣлается мало-мальски культурнымъ. — Мы очевидно расходились съ Константиномъ Дмитріевичемъ въ понятіяхъ о близости ожидаемаго обновленія міра, но его сильное упованіе увлекало и насъ, и приучало насъ жить мысленно въ XX и XXI столѣтіи. Будемъ уповать въ то лучшее будущее,—это самый достойный способъ почитать память великаго упователя, о неожиданной кончинѣ котораго мы нынѣ можемъ только глубоко скорбѣть.

О П у ш к и н ѣ.

Рѣчь произнесенная 31 Января 1887 года въ С.-Петербургѣ на
поминальномъ обѣдѣ по поводу исполнившагося пятидесятилѣтія
со дня кончины Пушкина.



О Пушкинѣ.

Рѣчь произнесенная 31-го января 1887 года на поминальномъ обѣдѣ по поводу исполнившагося пятидесятилѣтія со дня кончины Пушкина.

Въ 1835 году Пушкинъ былъ въ послѣдній разъ въ своемъ Михайловскомъ, гдѣ, по его словамъ, онъ «прожилъ отшельникомъ два года незамѣтно». Онъ описалъ свою деревню, и въ гору поднимающуюся дорогу, размытую дождемъ. Возлѣ нея стоятъ три сосны «одна поодаль, двѣ другія другъ къ дружки близко»:

Онъ все тѣ же.

Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семей кусты тѣнятся
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти.

Здравствуй племя

Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій, поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго.

Племя молодое, незнакомое — это мы, еще ходившіе въ рубашечкахъ или ползавшіе на четверенкахъ, когда

умеръ поэтъ. Теперь и мы сѣдые, усталые, сослужившіе службу и ждущіе, когда насъ смѣнятъ на часахъ. — Были-ли мы, въ самомъ дѣлѣ, то племя сильное, могучее, котораго ожидалъ поэтъ — это вопросъ, хотя я не думаю, чтобы намъ слѣдовало самимъ на себя клеветать: и мы кое-что сдѣлали. Какъ гусаръ у Пушкина, можемъ о себѣ сказать: «и мы видали виды». — Я не знаю, чувствовалъ-ли бы Пушкинъ, что онъ въ своей семьѣ, еслибы онъ между нами вдругъ явился. Его можетъ быть покорило бы отъ нашей приземистой положительности, отъ нашей сухой и нѣсколько черствой дѣловитости, отъ того, что на многое мы бы и не откликнулись сочувственно, на примѣръ на его слова: «ста низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ»! Наконецъ, его-бы могла оттолкнуть наша демократическая грубость, его, бѣлоручку, аристократа, по тонкому вкусу настоящаго грека. Одно лишь примирило-бы его и сплотило-бы его съ нами: уваженіе къ его памяти, страстная къ нему любовь, которая не угасаетъ, но рости будетъ съ вѣками: теперь онъ высится надъ нами какъ холмъ, а лѣтъ черезъ пятьдесятъ, я увѣренъ, что слава его будетъ, какъ пирамида Хеопса. Самое его имя производитъ магическое дѣйствіе на массы. Стоишь предъ народомъ точно въ лѣсу, гдѣ ни листокъ не шелохнется, или у моря въ тиши; произнесешь это слово и толпа заколыхается точно волны, она отвѣтитъ тѣмъ привѣтливымъ шорохомъ листьевъ или тѣмъ глухимъ протяжнымъ гуломъ валовъ, которые такъ любилъ поэтъ. — Я полагаю, что такой откликъ торжественный, неунылый, привѣтливый, приличествуетъ вполне поэту, который былъ по преимуществу веселый человѣкъ, весь жизнь, весь радость, котораго остроуміе похоже было на непрерывно дѣйствующій фонтанъ.

Мы собрались съ тѣмъ, чтобы достойно чествовать великаго поэта. Но какъ его чествовать достойно? Я полагаю, что наша задача выполнима только тогда, когда мы его чествовать будемъ только правдою, только искренностью

чувства, сопоставленіемъ его произведеній, намъ извѣстныхъ, и чувствъ, нами ощущаемыхъ при чтеніи этихъ произведеній, съ личностью поэта, съ извѣстными намъ біографическими данными, раскрытіемъ стоящаго за произведеніями живаго лица, со всѣми его доблестями и слабостями, съ его темпераментомъ и характеромъ. Я иного чествованія и не понимаю. Я подымаю бокаль за настоящаго Пушкина, такого, именно, какимъ его воспроизвела критическая исторія литературы настоящаго, какимъ его еще точнѣе воспроизведетъ она въ будущемъ;—вмѣстѣ съ тѣмъ я устраниаю всѣ сказочныя представленія о Пушкинѣ, нынѣ ходячія, между столь-же любящими его, но увлекающимися людьми. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того полумифическаго Пушкина, какимъ онъ былъ изображенъ въ одной изъ извѣстныхъ рѣчей, произнесенныхъ 8-го іюня 1880 г.; до «всечеловѣка», не то Христа, не то святого духа Параклита, обладавшаго дивною, невиданною и никогда не встрѣчавшеюся способностью воплощать свой народный духъ въ духъ другихъ народовъ и въ этомъ смыслѣ народнаго. Такая способность перевоплощенія была-бы на мой взглядъ лишь высшею степенью подражательности, а Пушкинъ былъ лучше и выше того — онъ былъ самъ собой. Я не могу поставить его между первоклассными мировыми геніями, но этихъ геніевъ не много—всего три или четыре: Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ и, можетъ быть, Гёте. Во второмъ уже ряду стоятъ: Байронъ, Шиллеръ, Альфредъ Мюссе, Мицкевичъ, Викторъ Гюго, Гейне; въ этой, все-таки великой семьѣ помѣщается и Пушкинъ.

Я устраниаю и другое невѣрное представленіе о Пушкинѣ: не могу я видѣть въ немъ образецъ великаго гражданина, образецъ героя. Для героизма необходимы два условія: устойчивость въ убѣжденіяхъ и рѣшимость отстаивать свое убѣжденіе до конца, хотя-бы пришлось очутиться въ совершенномъ одиночествѣ. Возьмемъ двухъ современниковъ, двухъ друзей: Пушкина и того, о которомъ онъ писалъ: «Онъ въ Римѣ былъ-бы Врутъ, въ Аѣинахъ

Периклесь». Оба были люди весьма умные, но по талантливости между ними нѣтъ никакого сравненія. Я не сочувствую ни уму Чаадаева, ни тому окончательному выводу, къ которому онъ, отчаявшись въ будущемъ своего народа, пришелъ въ «Философическомъ письмѣ», но я утверждаю, что его дѣйствія имѣли всѣ признаки смѣлаго героическаго протеста. Пушкинъ не былъ по натурѣ способенъ плыть противъ теченія, его несла съ собою всякая поступательная общественная волна, онъ былъ самымъ могучимъ художественнымъ выразителемъ господствующаго чувства своего времени, онъ былъ единственно и исключительно только поэтъ и неболѣе, какъ поэтъ!

Но за-то, какой дивный и гениальный поэтъ! Для Россіи онъ то-же что Дантъ для италіанцевъ, что Кохановскій для поляковъ въ XVI столѣтіи:—онъ создатель поэтическаго языка. До него существовала какая-то свирѣль или что-то похожее на деревенскую гармонію; вдругъ созданъ дивный инструментъ, неподобный по красотѣ звуковъ. Уже Брандесъ замѣтилъ, что у нѣкоторыхъ европейскихъ народовъ литературный ренесансъ запоздалъ на нѣсколько вѣковъ, что такимъ запоздалымъ ренесансомъ были Гёте и Шиллеръ у нѣмцевъ. Въ Россіи воплощеніемъ такого-же литературнаго ренесанса является Пушкинъ почти единолично, человѣкъ способный мыслить и страдать выразительно, столь выразительно, что звуки его лиры волнуютъ насъ столь-же сильно, какъ и его современниковъ, и что каждый изъ насъ чувствуетъ, что вдохновляясь имъ, онъ становится и чище и выше.—Онъ настоящій чародѣй, онъ одинаково привлекателенъ во всѣ періоды своей жизни, и въ своей бурной байроновской молодости, и въ своемъ зрѣломъ возрастѣ, когда пришибленный жизнью онъ писалъ (1835):

уже судьба

Меня борьбой неровной истомила,
Я былъ ожесточенъ. Въ уныніи часто
Я помышлялъ о юности моей,

Утраченной въ безплодныхъ испытаніяхъ,
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства.

Хотя въ гражданскомъ смыслѣ слова онъ не всегда былъ вѣренъ тому, что онъ писалъ въ одномъ изъ своихъ первоначальныхъ набросковъ къ «Памятнику», — что «въ слѣдъ Радищеву возславилъ я свободу», — я долженъ замѣтить, что была другая свобода, которой онъ всю свою жизнь былъ вѣренъ: свобода мысли, независимости поэтическаго творчества, которую въ «свой жестокій вѣкъ» изображалъ собою Пушкинъ до могилы. Хотя онъ сказалъ Жуковскому: «весь былъ-бы его», но по натурѣ своей онъ никогда не могъ быть ничей, онъ былъ вольная, рѣзвая птичка, которая по натурѣ своей не могла быть никакъ приручена. Это свое качество онъ превосходно изобразилъ:

Никому

Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать. Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ
Дивясь божественнымъ природы красотамъ
И предъ созданіями искусствъ и вдохновенія
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленія:
Вотъ вольность! вотъ права!

Предлагая тостъ за вѣчную память Пушкину, какъ я его понимаю, я не на столько самоувѣренъ, чтобы выдавать мое представленіе о немъ за безусловно вѣрное и правильное. Пусть каждый изъ присутствующихъ меня дополнить и исправить. Я напому, что во всякомъ искреннемъ представленіи о поэтѣ есть доля истины и напому сказку Боккачіо, воспроизведенную Лессингомъ въ «Натанѣ Мудромъ» о кольцахъ, изъ которыхъ одно только было настоящее, съ драгоценнымъ камнемъ, а другія съ поддѣльными, но никто не знаетъ какое настоящее. — Я предлагаю мое, какъ настоящее, но очень можетъ быть, что меня разубѣдятъ.

Винцентій Поль

и его поэзія.

Винцентій Польш

и его поэзія.

I.

Въ малораспространенныхъ своихъ запискахъ о польской литературѣ XIX в., В. Польш порицаетъ ту, основанную на временныхъ теоріяхъ рутину, съ какою литература излагается въ книгахъ, и отдѣльныя ея произведенія разбираются въ газетахъ. Теоріи, говоритъ Польш, принадлежатъ времени и понятіямъ въ немъ господствующимъ, а только факты переходятъ въ исторію (Лекція I). Изгнать рутину, сплетенную изъ предубѣжденій и поверхностныхъ теорій, можетъ лишь критика. Но критика въ наши дни имѣетъ многочисленныхъ враговъ. Одинъ изъ ея обвинителей (Луневскій, «Niwa» № 34. 1876.) говоритъ слѣдующее: «критицизмъ особаго рода, возникшій въ послѣднее время, немилосердно обходится съ нашей поэзіей; перетряхнувъ архивы прошлаго, онъ призываетъ великихъ нашихъ художниковъ къ отвѣту предъ нравственнымъ и умственнымъ обличемъ настоящей минуты». И такъ, съ одной стороны, жалуются на рутину, основывающуюся на

- теоріяхъ условныхъ и отцвѣтшихъ, а съ другой — на критицизмъ, за то, что онъ судить на основаніи новыхъ теорій. Главную же вину самыхъ этихъ теорій указываютъ въ томъ, что онѣ съ преступной дерзостью зовутъ умершихъ великихъ художниковъ слова къ суду предъ настоящей минутой, которая однакоже составляетъ единственное возможное судьбище, всегда открытое, не знающее пропуска сроковъ. Нѣтъ вопроса, сужденнаго хотя бы десять разъ, по которому не была бы возможна и иногда необходима аппеляція къ этому суду.

Нельзя же обходиться совсѣмъ безъ критики, а критика не можетъ не теоризировать: она должна каждое поэтическое произведеніе разлагать на составныя его элементы, объяснять обстоятельства и условія, сопровождавшія его возникновеніе и, лишивъ его тѣхъ яркихъ красокъ, какими его разцвѣчивало страстное чувство, указать въ ясномъ, прозрачномъ видѣ содержаніе его, въ ничѣмъ не окрашенномъ свѣтѣ основной его идеи. Критика систематизируетъ накопившіяся сокровища поэтического творчества, облегчаетъ извлеченіе изъ нихъ полезнаго, отбрасываетъ то, что выдохлось и потеряло значеніе, разгоняетъ вредную тьму слѣпыхъ подражателей. Въ критикѣ лежитъ гарантія умственной независимости и самостоятельности общества передъ великими монархами мысли, которыхъ господство бываетъ крѣпко и долговременно и продолжается иногда втеченіи жизни нѣсколькихъ поколѣній, но при этомъ, приноситъ пользу лишь тогда, если оно основано не на рабскомъ обожаніи, но на непрерывной провѣркѣ основаній къ ихъ признанію. Критика имѣетъ право желать, чтобы ее выслушивали спокойно и безъ предубѣжденія. Ее возможно опровергнуть, но не иначе, какъ обличивъ ошибки и пробѣлы въ ея теоріяхъ, а главнымъ образомъ—въ ея методахъ и ея приѣмахъ изслѣдованія.

Во имя этихъ, несомнѣнныхъ правъ критики, авторъ настоящаго очерка проситъ выслушать спокойно

предлагаемый имъ этюдъ, посвященный одному изъ значительнѣйшихъ представителей польской поэзіи, человѣку, скончавшемуся еще недавно и безспорно принадлежащему къ немногочисленному сонму бессмертныхъ. Это была личность прекрасная, внушительная, привлекавшая всѣхъ, кто имѣлъ счастье знать ее и притомъ столь истинно польская, что никто не предположилъ бы въ ней и капли нѣмецкой крови. Неголевскій былъ правъ, когда въ рѣчи, произнесенной при погребеніи поэта сказалъ: «на Вавель—его!», ибо посреди почивающихъ тамъ давнихъ людей, которыхъ мы видимъ въ статуяхъ изъ порфира или песчаника, послѣдній этотъ пришелецъ въ соборѣ на Вавелѣ ¹⁾ оказался бы между своими, не ниже ни одного изъ нихъ, высѣченный изъ одного съ ними матеріала».

Было время, когда на всемъ пространствѣ, гдѣ звучитъ польскій языкъ, Польша являлся наиболѣе читаемымъ, любимымъ и популярнымъ поэтомъ. Справедливо замѣчено, что непосредственно за смертью Адама Мицкевича, наступилъ моментъ, когда никто изъ живыхъ не цѣнился такъ высоко, какъ В. Польша. Это всеобщее признание отразилось въ «Окликѣ» Кондратовича (1855. VI 325), написанномъ въ тонѣ на-половину шуточномъ, на-половину серьезномъ. Игру словъ Тржицескаго въ похвалѣ Рею—«*ty rej wodzisz*» ²⁾—Кондратовичъ переносилъ въ примѣненіи къ Польшѣ:

«Ты Польша—пѣвецъ единственный сарматскаго поля; ты просторенъ какъ поле отъ края и до края,—и пѣсня твоя сарматская несется удалая—съ нею знакомо эхо въ далекихъ краяхъ, отъ Карпатъ и Повислія до Невы и лапландскихъ рубежей».

Въ тотъ моментъ, когда писались эти слова, солнце нашей поэзіи уже близилось къ закату, и затѣмъ скры-

¹⁾ Вавель—холмъ въ Краковѣ съ королевскимъ замкомъ и соборомъ, гдѣ находятся гробницы королей и многихъ знаменитыхъ людей.

²⁾ «Ты предводительствуешь».

лось за горизонтъ; послѣ Поля не родился у насъ ни одинъ великій поэтъ. Не смотря на то, въ настоящее время почти каждый критикъ считаетъ долгомъ значительно сбавить изъ прежняго удивленія къ послѣднему трубадуру дворянскаго эпоса и понизить сравнительную оцѣнку его поэзіи. Взгляды измѣняются съ переменной точки зрѣнія. Путешественникъ, когда восходитъ на высокую гору, не видитъ ничего кромѣ ея вершины, которая заслоняетъ предъ нимъ линію всего хребта и острія главныхъ возвышенностей. Но когда онъ возвратится въ долину, зритель открываетъ въ дали цѣлую перспективу господствующаго горнаго края, а на его фонѣ усматриваетъ родъ возвышенностей меньшихъ и, между этими двумя планами, угадываетъ пониженіе почвы. Вотъ именно такой впадиной въ исторіи польской поэзіи XIX столѣтія представляются памятные годы 1846—1848, дѣлящіе какъ бы черной полосой исторію эту на два несходныхъ періода.

Такая переменна должна была произойти сама собой. Мицкевичъ, какъ поэтъ, замолкъ послѣ 1834 года, а наиболѣе великіе и даровитѣйшіе за нимъ пѣвцы наши—Словацкій и Красинскій—ударились въ туманную метафизику или погрузились въ мистицизмъ. Событія и умственное движеніе въ Европѣ только придали болѣе рельефности неизбѣжному, даже и безъ нихъ, различію въ нашей поэзіи между флорою перваго періода и флорою періода послѣдующаго, наступившаго, какъ бабье лѣто, послѣ раннихъ холодовъ, которые предвѣщали осень.

И это дополнительное лѣто было въ самомъ дѣлѣ похоже на осень ясную, ровную, безъ крайностей температуры, безъ далекихъ идеаловъ, безъ всякихъ поэтическихъ порывовъ въ будущее. Въ этомъ періодѣ, послѣ того, какъ уяснилась несостоятельность летанія въ воздухъ на крыльяхъ метафизической дедукціи, и практическихъ попытокъ къ перестройкѣ общества по теоріямъ демократіи и социализма, господствовали одни консервативные элементы: религіозность, всегда торжест-

вующая послѣ умственныхъ катастрофъ, упрочившееся преданіе и стародавніе обычаи. Понятно, что неопредѣленное развитіе этихъ силъ и ихъ преобладаніе надъ элементами прогрессивными вело бы общество къ окостенѣнію, значило бы то же самое, что жить насчетъ основнаго капитала и постепенно его проживать.

Среди общества прогрессирующихъ и обновляющихся, моменты возобладанія старой традиціи всегда означаютъ собой періоды переходные, втеченіи которыхъ трудно судить по тому, что видимо на поверхности—о томъ, что происходитъ въ глубинѣ, такъ какъ одновременно идетъ двойная работа, и жизнь разбрасывается въ разныхъ направленіяхъ. И у насъ — въ періодѣ, о которомъ мы ведемъ рѣчь, идеалы общества оставались, повидимому, прежніе, общество продолжало увлекаться стариной, которую ему предлагали постоянно въ новой формѣ и съ новой группировкой поэты, но впрочемъ и эти пѣвцы уже не были вдохновенными пророками, а только бардами по профессіи. А между тѣмъ, на днѣ жизни, условія сложились такимъ образомъ, что совершенно не соответствовали тѣмъ идеаламъ. Одновременно, въ умственной жизни Европы, столь тѣсно связанной съ нашею жизнью, развивалась критика и подготовлялся научный синтезъ міра душевнаго и міра внѣшняго, представляющій собой крупнѣйшее въ наши дни, хотя и не послѣднее, конечно, усиліе человѣческаго разума. Въ немъ явился опытъ новой философіи, которую слѣдуетъ отмѣтить какъ фактъ,—хотя бы и не раздѣляя всѣхъ ея принциповъ и надеждъ—опытъ удостовѣренія, что одни и тѣже законы управляютъ какъ вращеніемъ небесныхъ свѣтилъ и движеніемъ матеріи, такъ и душевными процессами, и развитіемъ обществъ.

Вслѣдствіе указанной двойственности въ нашемъ переходномъ періодѣ, всѣ лица и предметы въ немъ представляются въ обманчивомъ и невѣрномъ освѣщеніи—при двойномъ свѣтѣ вечерней зари и утренняго мерцанія. Вотъ почему всѣ тогдашнія сужденія о лицахъ и

предметахъ требуютъ сильной провѣрки, съ возвышеніемъ достоинства того, что не было достаточно понято и съ пониженіемъ оцѣнокъ преувеличенныхъ.

На тверди польской поэзіи блещутъ какъ неподвижные винты исполинской арфы, великія имена Мицкевича, Красинскаго и Словацкаго. Окончательная ихъ оцѣнка не многимъ можетъ отойти отъ установившейся. Но дѣло обстоитъ иначе съ поэтами, которые появились или приобрѣли извѣстность послѣ 1850 г., и среди которыхъ главными представлялись двое: Кондратовичъ—въ Литвѣ, и Польша—въ Галиціи. Оба они были далеки отъ новаторства, оба—лирики и рассказчики, оба—безусловные и набожные почитатели старыхъ преданій. По внѣшности они какъ будто—братья, соратники; но если ихъ поставить рядомъ, то различіе бросается въ глаза. Литовскій поэтъ это человѣкъ, который навсегда пріемлетъ древній уставъ, обоготворяетъ старину; для него они признаки неизмѣнныхъ убѣжденій, теоретическія основы самого мышленія; въ нихъ онъ воспитался и ими проникся на всю жизнь. И однакоже, рядомъ съ этой любовью къ міру минувшаго—любовью, которой Кондратовичъ, впрочемъ, никому не навязывалъ, у него же проявляется и искренній интересъ къ міру настоящаго, вниманіе въ обстоятельства реальныя, пробуждаемое его горячимъ сочувствіемъ ко всему, что просто, унижено и слабо, простодушно и необразовано, а потому, несмотря на свою численную силу, страдаетъ отъ притѣсненія и эксплуатаціи. Эта великая человѣчность, это демократическое чувство, въ силу котораго Кондратовичъ становился всегда на сторону большихъ народныхъ массъ, а не личностей, торчащихъ надъ уровнемъ, а стало быть, неотступно шель съ преобладающимъ теченіемъ нашего вѣка; это, повторяемъ, демократическое чувство его, въ соединеніи съ неистощимой его терпимостью къ тому, что съ его вѣрой и убѣжденіями расходилось, вели къ такому результату, что этотъ религіозный человѣкъ и приверженецъ старины никогда не проклиналъ духа

вѣка, не пытался опровергать и противиться великимъ умственнымъ успѣхамъ и богатымъ послѣдствіями усиліямъ. Скромнѣйшій изъ людей, Кондратовичъ — не идеями, но стремленіями своими значительно опережалъ своихъ современниковъ и будетъ цѣниться все болѣе, какъ предвозвѣстникъ новой эпохи.

Винцентій Поль представляется въ совершенно иномъ свѣтѣ. Онъ задавался всегда возвышеннымъ и понималъ только орлиные полеты. Если онъ порою возлюбить и воспоетъ что-либо мелкое, то только въ теоретическомъ, отвлеченномъ смыслѣ, какъ король въ идилліи, который вздыхаетъ: «счастливы поселяне», но самъ короны съ себя не сниметъ и съ крестьянами жить не станетъ, хотя и понимаетъ «что то, что мало чаще будетъ цѣло; оно и вѣчно, и здорово, и мило, чисто, любезно, и живо, и Богу угодно; и себѣ радо, и ближнему тоже; ни себѣ не вредить, ни чужому; ибо радо тому, что досталось, а само оно—мощь, своимъ множествомъ сильно». «А значить, лучше, хоть пылинкой, но въ лучѣ исчезнуть и какъ бы каплей утонуть въ пучинѣ жизни».

Совѣты въ родѣ того, что «бѣдные вы люди, что не знаете каково быть малымъ»... даются обыкновенно другимъ, а не примѣняются къ себѣ, да и другимъ преподаются лишь условно: «если не въ силахъ ты свершить великое, то искрою блесни, иль въ капельку слейся»... Самъ совѣтчикъ, однако, не слѣдуетъ своему совѣту, хотя и знаетъ, что «бѣда рыбѣ большой, что ходитъ верхами, и птицѣ съ полетомъ высокимъ, и бѣдный тотъ глазъ, что въ солнце устремленъ». Самъ авторъ не можетъ однако снизойдти лично къ «малому», именно потому, что ему пришлось бы въ такомъ случаѣ усомниться въ себя и въ свою способность свершить великое. И такъ, онъ вѣчно несется все выше и выше, ему нравится только то, что міръ обыкновенно гонитъ, или еще, что само себя гонитъ, именно «все ясное, крайнее и летучее, все великое и одинокое—на землѣ-ли,

или въ морѣ, или въ небѣ». (Изъ путешествія VIII). Въ человѣкѣ пробуждается порою эгоистическое искушеніе отдалиться отъ тѣхъ могилъ, которыми онъ окруженъ,—«идти не по дну жизни», а съ высшимъ теченіемъ. «Весело брызнемъ какъ рыбка водой» (*тамъ же I*). Но искушеніе это у Поля непродолжительно и мысль его, какъ стосковавшійся бѣглець, возвращается снова къ «стоящимъ башнями сторожевыми—вѣковымъ Татрамъ, съ которыми мысль никогда не освоится, какъ не освоится никогда съ вѣчностью» (IV). Казалось бы, что поэтъ дышетъ свободно лишь тамъ, гдѣ «небо усѣяно мірами» — «И видны были звѣздъ теченія; а надъ туманами, разорванными острыми клиньями, возставали изъ пропастей грозныя какъ духи вершины; исполины, онѣ возвышались надъ облачнымъ потокомъ; чудовищны онѣ казались, какъ призраки совѣсти, странны какъ изреченія пророковъ, величественны, какъ глаголы мірозданья» (XV).

Что же лучше—горныя выси или низменности? Выборъ зависитъ отъ вкуса, отъ раннихъ привычекъ, даже отъ темперамента. Среди каждаго общества и во всякомъ, самомъ даже простомъ состояніи, есть люди по природѣ своей болѣе склонные стать по сторонѣ каменной неизмѣняемости, крѣпкаго устава и власти, или же порываться къ разнообразію, окунаться въ подвижной волнѣ жизни и свободы. Предпочтенія перваго рода въ прошлыя времена были даже гораздо обыкновеннѣе, чѣмъ второго; гористыя мѣстности считаются и доселѣ особенно живописными, а искусство занималось главнымъ образомъ предметами историческими и религіозными, прежде чѣмъ обратилось къ жанру, къ простонародью, къ типамъ. Самая исторія гораздо охотнѣе изслѣдовала прошлое человѣчество въ явленіяхъ чрезвычайныхъ, въ полубогахъ и чудовищахъ, чѣмъ средняго человѣка, чѣмъ свойства массъ и законы развитія. При томъ же всего дороже мѣра, нѣтъ ничего хуже впаденія въ крайность. Туристы рассказываютъ, что вся красота альпійской

мѣстности пропадаетъ съ того момента, какъ путникъ поднялся слишкомъ высоко, выше черты жизни органической, когда онъ вступилъ въ ужасающую область мертвыхъ стихій. Надъ головою у него темное небо, а подъ ногами—безформенныя, недвижныя груды; нѣчто въ родѣ предшествовавшаго созданію міра хаоса; онъ не видитъ городовъ и жилищъ человѣка, почти не можетъ различить лѣсовъ и полей. Когда мы восходимъ на эти гранитныя вершины, или когда спустимся мысленно на дно океана, слѣдуя девизу поэта: «на самое дно жизни! лишь на днѣ голая правда, само вдохновеніе бьетъ ключемъ изъ глубины, когда въ сердцѣ вскипнеть кровь» (Переболѣло IV),—то легко можемъ ошибиться и принять тотъ гранитъ, лёдъ и песокъ за почву возможную для жизни, уединиться отъ людей и пропасть, попавъ на какой-нибудь утесъ. Вотъ въ подобномъ уединеніи очутился Польша послѣ 1850 г., въ тотъ самый моментъ, когда слава его наиболѣе гремѣла и когда признавалось, что онъ между пѣвцами первый. Это одиночество выказалось двояко и въ жизни его и въ его поэзіи, во-первыхъ, въ томъ, что самое господство его было постоянно оспариваемо: въ 1848 г. онъ даже считъ нужнымъ выступить съ публичной исповѣдью, въ которой объяснялся болѣе насчетъ своихъ литературныхъ тенденцій, чѣмъ дѣйствій; въ 1860 г. другой поэтъ—Корнель Уейскій, въ «Письмахъ изъ подъ Львова», бросилъ въ лицо Польша страстный и чувствительный для Польша упрекъ; въ послѣдніе же годы, въ печати повторялось все чаще, что Польша истощился, что онъ пережилъ свой талантъ. Во-вторыхъ, поэтъ превратился въ раздраженнаго и запальчиваго критика своего времени и горько брюзжалъ, порицая всѣ идеи вѣка, всѣ дѣла и изобрѣтенія.

Приводимъ нѣсколько примѣровъ. «Безконечной жемчужною нитью земля была связана съ небомъ; эту нить порвали и все испортилось, рассыпались перлы, и уже никто не свяжетъ больше нити, и искра Божія не про-

летить по ней» («Послѣ бури» V. ¹⁾ 30). Что поэтъ взялъ отъ Бога, то онъ съ любовью отдалъ міру: «но что я даю («Маковое зерно» V. 74) то непризнаннымъ осталось»... «За что онъ любить крикнула чернь... И вотъ грѣхи моей жизни!» Напрасно нѣкій голосъ возвѣщаетъ ему, что спасеніе—въ крестѣ простирающемъ, «точно руки терпѣныя и прощенъе»... (V. 75). Но поэтъ простить не можетъ тѣмъ змѣямъ, въ чьемъ гнѣздѣ самъ онъ находится («Послѣ бури» V), тѣмъ трутнямъ, которыхъ онъ въ своемъ отвѣтѣ Кондратовичу (V. 158) перечисляетъ цѣлыхъ семь видовъ,—трутнямъ, которые не работаютъ на свѣчи Господу Богу, но первые лѣзутъ на мѣдъ. Поэтъ однако ненавидитъ этихъ современныхъ трутней не столько за то, что они дармоѣды, сколько за то, что «приладиться имъ только дайте, такъ они, химическимъ путемъ, и мѣдъ изготовятъ», что при помощи сала и свеклы, они приучатъ народъ обходиться и безъ свѣчей восковыхъ, и безъ пчѣлъ, и безъ мѣда, и безъ пчеловода. Словомъ, весь міръ виноватъ. «Въ иныхъ мѣстахъ зло дѣлаютъ злодѣи, у насъ же зло творятъ и люди добрые» (V. 156)... «Міръ замкнулся въ твердую раковину, и въ этомъ панцырѣ завязъ такъ глубоко въ обманъ, что нѣтъ дороги ни сюда, ни туда. Стоитъ онъ такъ, что и помочь нельзя: похвалить невозможно, а перечить напрасно; ни съ нимъ идти, ни вести его, ни умереть съ нимъ, ни излѣчиться» («Вечеръ въ Своповицахъ» VI. 49).

Ужъ до того худо, что хуже и быть не можетъ. Передъ нами полное ужаса и безконечнаго отчаянія видѣніе въ стилѣ Микель Анджело, припоминающее канунъ страшнаго суда; называется оно «Картина жизни», съ эпиграфомъ: «Страхъ и смерть приходятъ, міръ въ страданіяхъ рожаютъ». М. Дзѣдушицкій поставилъ это стихотвореніе подъ 1863 годъ, но оно приводилось Уейскимъ еще въ 1860 году, а ходъ мысли въ произведеніи до-

¹⁾ Изданіе Львовское 1876 г.

казываетъ, что оно было вызвано впечатлѣніями политическихъ смятеній въ Европѣ въ 1845—1851 годахъ и французской социалистической демагогіи (VII. 360). На взглядъ поэта, умъ человѣческій сдѣлался безплоднымъ безъ вѣры, а особенно безъ благодати Божіей; наступило время мерзкое, время безсильное, вѣкъ обвиненія, неспособный произвести даже смерть, вѣкъ, въ которомъ рука человѣка, будь въ ней оружіе или будь на ней оковы, не дѣйствуетъ, а все чего то ждетъ, но нѣтъ никакого дѣла. вмѣсто дѣйствія, среди людей, превратившихся въ карликовъ, мы видимъ только интриги партій и сбродъ, раздѣленный на два лагеря, въ одномъ нѣтъ справедливости, въ другомъ—ума. По одной сторонѣ бренчить золото, по другой—торчатъ лохмотья; по одной власть, трезвая, но безсердечная, по другой—полусонныя мечты; посрединѣ того и другого проходитъ вереница смутныхъ представленій, которыхъ рой разбѣгается во всѣ стороны, какъ собаки безъ хозяевъ, какъ заблудшіяся дѣти, какъ духи тьмы вокругъ побоища. Всякій человѣкъ ждетъ, но самъ холоденъ. «Только въ слабости врага онъ видитъ свою силу; онъ знаетъ, что ему должны, и что самъ онъ долженъ. Но онъ не можетъ ни долга уплатить другимъ, ни отстоять унаслѣдованное право. Онъ хуже каннибала, ибо укусить хотѣлъ бы, но не смѣетъ. Онъ знаетъ въ какое мѣсто можно бы ударить, но не дерзаетъ; и вотъ, онъ слѣдитъ за постепеннымъ паденіемъ врага, и душу свою тѣшитъ видомъ этого упадка; какъ будто ядомъ могъ бы онъ умножить силы»...

Характеристика эта въ самомъ дѣлѣ ужасна, но въ ней главная черта—именно, соединеніе одной злобы съ безсиліемъ. И вотъ она-то должна приготовить читателя къ пронзительному звуку трубъ страшнаго суда надъ распадающимся человѣческимъ обществомъ. Между тѣмъ, въ силу внезапнаго вторженія въ ходъ мысли старыхъ воспоминаній, мы узнаемъ отъ поэта, что духъ человѣчества окончательно сбиться съ пути не можетъ, что всѣ эти стра-

данія только родильныя боли, что мать жизнь свою, зараженную грѣхомъ, заключить смертию; но дитя отъ ней рожденное протянетъ руки свои ко всему міру. Это представляетъ, во всякомъ случаѣ, странный скачекъ отъ полной порчи, распадающейся въ ничтожество, не имѣющей никакихъ уже задатковъ будущности—къ зарѣ новой жизни. Переходъ этотъ у автора ровно ничѣмъ не мотивированъ, и основывается единственно на предположеніи непосредственнаго дѣйствія воли Божіей, на непонятномъ чудѣ. Поэтъ просто вѣруетъ, что «кого Богъ призоветъ къ дѣлу, тотъ будетъ въ силахъ сотворить великое!» Въ 1853 г. («Комета» VII. 236) поэтъ мечталъ объ этомъ чудѣ и такъ молился: «дай міру, Господи, великаго человѣка; если еще нуженъ бичъ для міра, то дай его хоть бы и въ боевомъ лагерѣ... Дай намъ его хотя бы изъ вражескаго дома»... При этомъ заклинаніи Польша, очевидно, подразумѣвала не тѣхъ, которые владѣютъ перомъ или бряцаютъ на арфѣ, но именно людей прямого дѣйствія, держащихъ въ рукѣ своей скипетры, жезлы военачальниковъ, правителей. Самое это заклинаніе обнаруживаетъ непониманіе условій и значенія дѣятельности тѣхъ людей, которые призваны къ дѣйствію. Практическій человѣкъ будь онъ великій, ничего не творить и ничего не вноситъ въ свѣтъ изъ самого себя. Онъ только быстрымъ своимъ взглядомъ пойметъ потребность времени, воспользуется удобною минутой и разорветъ или же выпрямитъ неудовлетворительное какое-нибудь отношеніе, о которомъ давно уже люди поговаривали, люди мыслящіе; онъ воздастъ какое-нибудь новое отношеніе, болѣе справедливое и болѣе прочное, о которомъ уже впередъ, давно говорили тѣже мыслящіе люди. Самъ Польша, допускающій даже и бичъ для человѣчества, отрицаетъ то, чѣмъ оканчивается его стихотвореніе «Послѣ бури» («Изъ путешествій»): «чѣмъ свѣтитъ прошлое и чѣмъ озаряется сей міръ — то родилось отъ любви» (V. 32). Ясно, что бываютъ великіе дѣла, зачатые не отъ любви, только не бываетъ великихъ дѣлъ, зачатыхъ безъ ума.

Съ заклинаніями и вызовами, впрочемъ, слѣдуетъ вообще обращаться осторожно, какъ съ огнемъ. Сказываютъ, что волшебникъ не одинъ разъ не зналъ, что подѣлать съ вызваннымъ имъ же духомъ. Полагаемъ, что и самому Полю, который дожилъ до временъ не одного «железнаго князя-канцлера», въ послѣдствіи не приходились по сердцу горячія его мольбы о великомъ человѣкѣ, изъ какого бы то небыло даже и изъ непріятельскаго дома.

Будемъ однако снисходительны къ неудачнымъ пророчествамъ; кто же не ошибался въ своихъ предположеніяхъ о вещахъ будущихъ, загадочныхъ. Гораздо хуже ошибочность самой точки зрѣнія, и она положительно ошибочна у Поля, по нашему мнѣнію, въ его Апокалипсисѣ, въ мрачной картинѣ, начертанной въ одну изъ тѣхъ минутъ, которыя Уейскій описываетъ такимъ образомъ: «когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я былъ въ Краковѣ, то г. Винцентій Поль говорилъ мнѣ: «пришло время антихриста» (146). Миръ, по отзыву поэта, потому сдѣлался злымъ и похожимъ на гнилое яблоко, что онъ все подвергаетъ анализу, и разсуждаетъ, «Нынѣ свѣтъ иной, ибо онъ изслѣдуетъ содержаніе жизни; какъ прежде оружіе, такъ нынѣ онъ вонзаетъ въ грудь врага свое доказательство. Насквозь все видно, только холодно при этомъ, холодно и, въ самомъ дѣлѣ, трезво», потому что всякій человѣкъ свелъ свои счеты со всѣми и съ самимъ собой. Поль не только предсказывалъ невѣрно, но и практическимъ руководителемъ и совѣтчикомъ былъ ошибочнымъ; сужденія его о нынѣшнемъ порядкѣ вещей, о томъ, что въ немъ хорошо и что дурно, противны самымъ основаніемъ нравственности, если не нынѣшней, то будущей, которую Поль, въ своемъ призваніи поэта, долженъ былъ предчувствовать и готовить для нея почву. Разсматривая успѣхи и приобрѣтенія человѣческаго духа, по отношенію къ добротѣ, нравственности, истинно-хрістіанскимъ понятіямъ, мы глубоко убѣждены, что величайшимъ изъ этихъ успѣховъ представляется борьба умовъ,

вмѣсто борьбы кулачной, а слѣдовательно: «вонзаніе въ грудь противника» доказательства, а не клинка сабли. Существо жизни едва ли кто нибудь въ состояніи постигнуть, но изслѣдуются явленія жизни и отношенія между предметами; изслѣдованіе это ведетъ къ разумѣнію препятствій; отсюда должна истекать и снисходительность къ понимающимъ вещи иначе. Даже личный врагъ при этомъ долженъ разсматриваться просто какъ противникъ, котораго не слѣдуетъ ненавидѣть, а достаточно—устранить. Безчисленное множество столкновений, даже кровавыхъ; какъ между единичными людьми, такъ и между государствами, могли бы быть разрѣшены путемъ не кровопролитнымъ, такъ, какъ и самыя ярныя изъ такихъ столкновений истекаютъ не столько изъ страстей, сколько изъ ослѣпленія, недоразумѣнія, непониманія борющимися общаго ихъ интереса. Мы полагаемъ, что и всемірная исторія, въ силу поднявшагося уровня знанія, потечетъ далѣе иной ложбиною, не столь, быть можетъ, живописною, безъ проливанія крови въ борьбѣ международной или междоусобной, не среди гранитныхъ утесовъ, поражаемыхъ молніями и озаренныхъ огнями — какъ Синай и, наконецъ, и безъ людей, подобныхъ метеорамъ. («Великій мужъ, какъ метеоръ, блеснувъ, исчезнетъ» — «Сенаторскій уговоръ». III. 41), но потечетъ она спокойнѣе, шире, однимъ словомъ—болѣе по-человѣчески, и стало быть и болѣе по-божески. И въ будущности этой, вырабатывающейся болѣе правильнымъ образомъ, людямъ станетъ не холоднѣе, но несомнѣнно свѣтлѣе, а потому и лучше. Кто это просвѣтленіе порицаетъ, тотъ стоитъ одной ногой въ Среднихъ Вѣкахъ и не можетъ принадлежать къ числу умовъ руководящихъ человѣчество, хотя бы и былъ великимъ поэтомъ, властителемъ сердецъ, на которыхъ бы онъ игралъ какъ на струнахъ. Въ каждомъ человѣческомъ чувствѣ, которое выразилось въ художественномъ произведеніи и въ каждомъ идеалѣ художника заключена мысль, которую возможно извлечь, какъ

гусеницу изъ куколки, и разсмотрѣть, истинна-ли она или фальшива, ведетъ ли она впередъ или назадъ. Современники же поэта, любясь его идеаломъ, лаская свой слухъ его звуками, поглощаютъ и самую мысль, и ею, смотря по ея свойству, или питаются или отравляются.

«Апокалипсисъ» Поля, изданный въ 1863 году, и заключающій въ себѣ приведенныя выше, исполненныя страшнаго разочарованія мѣста, принадлежитъ ко второй половинѣ творчества поэта, который иначе началъ и иное сперва обѣщалъ. Нѣкоторые критики, между прочими — Уейскій, ставятъ гораздо выше прежняго Поля, того который еще не былъ такъ славенъ, того Поля, который въ 1851 году съ пренебреженіемъ и горечью писалъ въ стихотвореніи «Что я выстрадалъ» — «славу мою попралъ свѣтъ ногами, я же бросаю ему мое отверженіе» (V. 30). По мнѣнію этихъ критиковъ, Полю во второй половинѣ жизни отступилъ отъ первоначальныхъ своихъ принциповъ и сталъ отрицать то, въ чемъ видѣлъ прежде истину и благо, забывъ о томъ, что самъ онъ выразилъ въ «Путевыхъ картинахъ», «худа та вѣра, которая въ огнѣ измѣняется». Сопоставимъ первую и вторую половины жизни и дѣятельности В. Поля, дабы убѣдиться, насколько правды въ этихъ замѣчаніяхъ, послѣ чего рѣшимъ вопросъ—въ самомъ ли дѣлѣ поэтъ перемѣнился, и если это случилось, то — къ худшему ли? Для сего остановимся сперва на произведеніяхъ перваго періода: «Пѣсни Януша», «Кишинскій», «Путевыя картины» и «Пѣснь о землѣ нашей». При этомъ мы должны однако поставить отдѣльно, внѣ хронологическаго порядка—«Приключенія Бенедикта Винницкаго», вещь, которая, хотя и была написана еще въ 1840 году, то есть, относится къ числу раннихъ произведеній, но по духу своему принадлежитъ къ періоду второму, наступившему послѣ того, какъ вліяніе внѣшняго міра и его событій отразилось въ душѣ поэта перемѣной всего его настроенія.

Займемся прежде всего маленькой книжкой, «Пѣсни Януша», изданной въ 1833 году, и которая по мнѣнію извѣстнаго поэта Корнелія Уейскаго (57) можетъ быть почитаема нами «выше Иліады» и «Пана Тадеуша», ибо если-бы погибли всѣ историческія источники, а уцѣлѣла лишь эта золотая книжка, то изъ нея историкъ отгадалъ бы характеръ исторіи народа». Въ подобныхъ преувеличеніяхъ бываетъ всегда та основная ошибка, что въ нихъ упускается изъ виду чрезвычайная сложность и неизчерпаемость исторіи, жизни и развитія какого-либо народа, если ихъ разсматривать, какъ матерьялъ для наблюденія. Никакой анализъ не въ состояніи его разложить сполна на составные элементы. Исторія, какъ она представляется намъ сегодня, окажется завтра недостаточной, такъ какъ завтрашній день будетъ имѣть свои особыя нужды, новыя задачи, которыя потребуютъ пересмотра всего сыраго историческаго матерьяла и извлеченія изъ него, посредствомъ новой провѣрки, указаній на такія стороны, которыя ускользнули отъ глазъ прежнихъ наблюдателей, не придававшихъ имъ достаточной цѣны, такъ какъ эти стороны были менѣе пригодны для ихъ современности. Сообразно съ такими задачами и потребностями измѣняется и самая перспектива историка; изслѣдователь направляетъ зрительный свой снарядъ по нуждамъ своего времени, то на конецъ XVIII столѣтія, то на XVI вѣкъ, озаренный свободою, то на сильную монархію XIV вѣка или, наконецъ, на до — пастовскую, загадочную всесловянскую демократію, о самомъ существованіи которой ведутся нескончаемые споры.

Во всемъ этомъ безпредѣльный выборъ и возможность безконечнаго разнообразія взглядовъ; каждый новый взглядъ выставляетъ рельефнѣе новыя группы отношеній, ряды новыхъ мыслей и чувствъ въ будущихъ поколѣніяхъ, соотвѣтствующіе тѣмъ отношеніямъ и вызванные неуклонною необходимостью. Таково положеніе исторіи, но совсѣмъ въ иномъ видѣ представ-

ляется задача поэзіи. Поэтическое произведение, однажды отлившееся, тоже что остывшій плакъ, кусокъ отвердѣвшей лавы, въ лучшемъ случаѣ—кристалль, плотный осадокъ кипѣвшаго нѣкогда чувства. По этому кристаллу, путемъ рефлексіи, можно заключить о силѣ и свойствахъ, того чувства. Произведение поэта представляетъ собой никакъ не картину цѣлой жизни народа, во всѣхъ ея фазахъ, а только—извлеченное изъ состава извѣстнаго періода, опредѣленное чувство, въ томъ періодѣ дѣйствительно преобладавшее, но не господствовавшее исключительно, притомъ-же—чувство, хотя быть можетъ и значительной части общества, но не всей его совокупности. Было-бы противно логикѣ—судить на основаніи той частицы, какую представляетъ произведение, о характерѣ всей исторіи народа. Но зато, нѣтъ нужды быть ясновидящимъ, а вполне достаточно быть разсудительнымъ человѣкомъ, для того, чтобы разобрать, какія изъ выраженныхъ въ данномъ произведеніи чувствъ и мыслей здравы, какія, вредны, и чтобы догадаться, какіе плоды должны были произрасти изъ тѣхъ или другихъ сѣмянъ въ дѣлахъ поколѣній, которыя восторгались пѣснями поэта.

Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія «Пѣсни Януша» представляютъ вполне опредѣленный характеръ. Винцентій Поль происходилъ изъ семейства полу-нѣмецкаго, былъ сыномъ небогатаго чиновника-судьи, возведеннаго австрійскимъ правительствомъ въ дворянство въ 1815 году. Въ этомъ семействѣ господствовали: любовь къ музыкѣ и цвѣтамъ, и основательное знакомство съ литературами нѣмецкой и польской. Къ этимъ, основнымъ даннымъ, присоединились личныя впечатлѣнія ребенка, общеніе съ народомъ и знакомство съ нѣсколькими, типичными представителями недавняго прошлаго: съ пастышникомъ—въ Мосткахъ, съ дворовымъ казакомъ изъ Злочовскаго замка Собѣскихъ, съ жившимъ при дворахъ магнатовъ Бенедиктомъ Винницкимъ—въ Тарнополѣ. Въ 1823 г. Поль, имѣя всего 16 лѣтъ, лишился отца, что сильно подѣйствовало на его нервную организацію,

онъ сталъ черствѣе и горче. «Со смертію отца—писать онъ въ автобіографіи, пали на меня страданія, я возненавидѣлъ людей и жилъ одиноко въ большой нуждѣ». Въ 1826 г. семью Полей поразили другой ударъ: умеръ старшій братъ поэта Францискъ, о которомъ поэтъ отзывается такъ: «онъ далъ мнѣ то образованіе, какое имѣю». Послѣ 1830 г. Поля пишетъ: «я отдѣлался отъ лишней чувствительности», что произошло отъ возмужанія. Въ это время полный надеждъ, влюбленный еще съ 1827 года въ дѣвушку, на которой могъ жениться только десятью годами позднѣе, Поля, приготовляясь къ литературному поприщу, съ готовой въ портфель исторіей Эпопеи, отправился черезъ Подолію, Волынь и Подлѣсье—въ Вильно, чтобы хлопотать о полученіи кафедры нѣмецкой литературы. Здѣсь, въ Вильнѣ, въ гнѣздѣ польскаго романтизма, еще исполненномъ воспоминаніями о Мицкевичѣ, юный поэтъ весь проникся той свѣтлою зарей возрожденія, которая, какъ и всякая заря, озолотила сперва лишь идеальныя нагорья, лишь однѣ вершины искусства. Романтизмъ, подобно другимъ формамъ художественнаго разцвѣта, (какъ въ Аѳинахъ при Периклѣ, или въ Италіи въ XVI вѣкѣ) появился вслѣдъ за новыми общественными событіями огромнаго значенія. Самый составъ европейскаго общества передъ тѣмъ совершенно преобразился, въ него вошли и заняли главныя мѣста совсѣмъ новые элементы. Сверхъ того, наполеоновскія войны расширили горизонтъ, а наше въ нихъ участіе еще сблизило насъ съ Европой и вызвало у насъ болѣе широкіе взгляды на исторію человѣчества вообще.

У духа народнаго выросли крылья, прибавились новые органы, куцое классическое платье лопалось по всѣмъ швамъ и отпадало, весело праздновались роды; никто не зналъ, а всѣ лишь инстинктивно предугадывали великое предназначеніе ребенка. Въ первыхъ произведеніяхъ Поля множество мѣстъ объясняются исключительно вліяніемъ романтизма и его вдохновеніемъ; черты ихъ—возвышенный полѣтъ мысли, сближеніе съ народомъ,

вѣтра въ народную правду, извлеченіе пѣсни изъ самыхъ простыхъ — простонародныхъ темъ: «вамъ не наскучить жалоба моя, я у народа взялъ, что вамъ пою. И грусть той пѣсни тонетъ въ груди; а что изъ сердца воспою, то слышать только мѣсяцъ ясный, да столѣтній дубъ».

Молодой доцентъ отличался умомъ болѣе солиднымъ, чѣмъ подвижнымъ, прочно державшимся того, что разъ усвоилъ, способнымъ къ усидчивому, систематическому труду по избранной специальности, доказательствомъ чего служатъ позднѣйшія географическія работы Поля. Внѣшнія обстоятельства заставили его сойти съ рельсовъ: предводитель студенческаго союза, затѣмъ — уланъ въ 10-мъ полку, наконецъ — изгнанникъ, Поль издалъ въ 1832 году небольшое сочиненіе, о которомъ и говорить: «писать пѣсни я сталъ по поводу Адама Мицкевича и вслѣдствіе внушенія Клавдіи Потоцкой».

Романтизмъ, въ моментъ своего возникновенія, не имѣлъ окраски политической, — чему доказательствомъ служатъ первые опыты Мицкевича, а также отношенія его въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Политиковать поэзія стала у большинства польскихъ романтиковъ лишь послѣ 1831 года, но нигдѣ это политическое направленіе ея не выразилось сильнѣе, чѣмъ въ первыхъ же пѣсняхъ Поля. Юноша, стоя на палубѣ корабля, который долженъ унести его въ далекій край, разсуждаетъ по-байроновски, что ему наскучили превратности случающагося на материкѣ и боль, которую причиняютъ несправедливости, что ему все равно гдѣ погибнуть — въ битвахъ, или въ водѣ, послѣ чего онъ заключаетъ: «ибо нѣтъ средствъ судьбу вернуть вспять, какъ не вернуть вѣтра, дующаго въ пространствѣ. И такъ, все далѣй-далѣе, вокругъ земнаго шара; вѣдъ и отчаянне можетъ стать счастьемъ».

Но счастье въ отчаяніи, это только фраза; съ плечъ юнаго пѣвца спадаетъ заимствованный у Чайльд-Гарольда плащъ; передъ нами является вовсе не исполненный одного отчаянія боецъ, который во снѣ и наяву только и бредитъ о новыхъ столкновеніяхъ и бит-

вахъ и продолжаетъ прежнюю борьбу своимъ огненнымъ перомъ, чертя множество картинокъ лагерныхъ, переплетая новое со старымъ, простой народъ, враговъ, шляхту, трагическое съ забавнымъ. Эти образы видѣннаго представляли не упражненія въ эпическомъ родѣ, въ нихъ звучить боевая труба Тиртея. Не имѣя иного способа дѣйствія, поэтъ дѣйствуетъ перомъ какъ стальнымъ копьемъ: «Дамъ тебѣ перо летучее, ты ляшенокъ когда его найдешь, войдешь въ нашъ союзъ, оно пригодится тебѣ вмѣсто копья» («Пѣсня о градѣ Кракуса»).

Польскій романтизмъ можно назвать пробужденіемъ къ жизни послѣ долгой летаргіи, пробужденіемъ среди совершенно новыхъ условій жизни. У всѣхъ польскихъ романтиковъ, романтизмъ представляетъ совокупность двухъ явленій: апофеоза прошедшаго, недавно почившаго въ могилѣ, и пророчествованія о будущемъ, иными словами, въ немъ возникли почти одновременно, и взаимно себя дополняютъ—эпосъ старошляхетскій и мессіанизмъ. Таковы были два направленія мысли. Польша явился вѣрнымъ сыномъ романтизма — въ обоихъ направленіяхъ. Скажемъ сперва о первомъ. Конечно, не заслуживаетъ уваженія тотъ народъ, который не цѣнитъ своей исторіи, но во всемъ необходима извѣстная мѣра, а въ исторіи вѣрнѣе всего—правда, стало быть, дѣломъ историка должно быть указаніе не на одну только славную сторону прошедшаго, но и на его недостатки, ошибки и пропуски. Между тѣмъ, сами даже историки польскіе часто грѣшатъ забвеніемъ этого правила, по крайней мѣрѣ, прежніе историки. Даже у Шайнохи, въ одномъ изъ его историческихъ этюдовъ, находимъ слѣдующее выраженіе, разящее некритицизмомъ, что «историческій индифферентизмъ вреденъ, такъ какъ руководимый имъ авторъ не воспламеняется любовью къ историческимъ событіямъ, не увлекается ихъ славою, не заботится о возвеличеніи высокихъ дѣлъ и стремленій, («Разборъ ист. Богдана Хмельницкаго Костомарова», V. 12). Это значитъ, въ иныхъ словахъ, что кто желаетъ быть на-

роднымъ историкомъ, тотъ обязанъ быть не научно-безпристрастнымъ, но намѣренно предрасположеннымъ къ прославленію событій писателемъ. Винцентій Поль былъ прежде всего поэтъ. Безусловное величіе народныхъ историческихъ событій—его вѣра; касаясь исторіи, онъ обязательно восторгается; но зато же, подъ этимъ шипучимъ лиризмомъ, сверкающимъ волшебными словами, пробуждающими тысячи сердечныхъ воспоминаній, нѣтъ и слѣда прагматическаго пониманія историческаго хода событій въ ихъ совокупности.

Онъ намъ вѣщаетъ, что мы приходимъ отъ великихъ могилъ и будемъ жить снова въ событіяхъ будущаго въ этой землѣ («Пѣсни Януша»). Но когда возникаетъ вопросъ относительно содержанія этого великаго наслѣдія, то авторъ его не объясняетъ, а когда требуется представить его въ чемъ-либо осязательномъ, то поэтъ лишь бросаетъ какой-либо звукъ или образъ, вмѣсто мысли, какую-либо поговорку, или прибаутку, или забавный анекдотецъ, или даже общее мѣсто сомнительнаго свойства, напримѣръ: «хорошіе были тѣ времена, когда сапожникъ, и тотъ ходилъ въ золотомъ поясѣ; кто былъ чистъ — тому вездѣ было первое мѣсто, кто работалъ, тотъ былъ сытъ, и въ должностяхъ бывали люди честные». «Тамъ и по закону и по саблѣ, говоритъ Поль о шляхтѣ, всякъ былъ другъ другу равенъ, а неравнымъ былъ только—врагъ братства». Нельзя достаточно настаивать на томъ, что это—иллюзіи, которыхъ вовсе не питали сами современники. Уже въ этихъ стихотвореніяхъ есть мѣста, въ которыхъ сквозитъ любовь къ описаніямъ, которая впоследствии до утомленія выразилась въ «Пѣсни о землѣ нашей»: «гдѣ лучше въ свѣтѣ, чѣмъ мѣдъ польскій, палашь старый, снопъ подольскій»... Есть повѣствованія, напр. «Вечеръ у камина», въ которыхъ уже заключаются, какъ въ почкѣ, всѣ будущіе рассказы или гавенды въ стилѣ приключеній Винницкаго.

Въ этихъ, чрезвычайно живыхъ картинкахъ недостаетъ однако перспективы; крупное поставлено рядомъ

съ мелкимъ, далекое съ близкимъ. За возвышеннымъ лирическимъ увлеченіемъ при видѣ града Кракова съ драконовой его ямой и бѣлыми орлами («Гордо старыя стѣны стоятъ и вѣкамъ говорятъ съ высоты—простоймъ мы!») является мелкій, нѣсколько сектантскій провинціализмъ: «Дѣти, древнѣе нашъ Слущей соборъ, чѣмъ лютеранская неправая вѣра».

Отъ прошедшаго обращаясь къ будущности, то есть, переходя къ другой чертѣ Поля—мессіанизму, мы могли бы представить достаточный примѣръ проявленія ея хотя бы въ небольшомъ стихотвореніи: «Пророчество священника». Таже черта обнаруживается и въ безусловномъ, по духовному родству, удивленіи, какое внушалъ Полю величайшій изъ польскихъ мессіанистовъ — Сигизмундъ Красинскій. Какъ бы ни были велики, прекрасны и истинно-гуманны нѣкоторыя изъ преданій прошлаго, отреченіе отъ которыхъ было бы отступничествомъ, но и полное почитаніе ихъ не оправдываетъ слишкомъ преувеличенныхъ и горделивыхъ предсказаній въ родѣ слѣдующихъ: «Твои законы міромъ будутъ править, Ты удивишься Самъ Твоимъ чудесамъ, пѣвцы Твои станутъ пророками, Твоя книга станетъ Евангеліемъ народовъ». Уже миновали времена вѣры въ непосредственное дѣйствіе высшей воли на пользу народовъ, безъ собственной ихъ заслуги. Есть латинская пословица: *suae quisque faber fortunae*, которой соотвѣтствуетъ итальянская: *ciascuno è orefice della sua fortuna*, то есть: «всякъ имѣетъ ту судьбу, какую самъ себѣ приготовилъ». На первый взглядъ это изреченіе кажется горькимъ и ироническимъ, но, въ сущности, оно полно утѣшенія и побуждаетъ къ мужественной выдержанности и работѣ надъ самимъ собой. Примѣнимо же оно не только къ единичнымъ людямъ, но, съ нѣкоторыми оговорками и исключеніями—и къ народамъ.

Прекрасны были историческія преданія, но это были преданія одной касты, затвердѣвшія въ аристократической формѣ. Слишкомъ поздно попытались при помощи

идей новыхъ размягчить то, что окаменѣло, распространить, развить его, сообщить гибкость и упругость тому, что окостенѣло. Старыя, износившіяся формы развалились, сквозь бреши и щели проникли элементы новые и общество оказалось, независимо отъ своей воли, стоящимъ на чуждой ему почвѣ гражданской равноправности, утонувшимъ въ растворѣ демократическихъ элементовъ и учреждений, точно кристаллы какой-либо соли въ массѣ воды. Тэнъ, посѣщая Италію въ 1864 году, («Voyage en Italie» I.89) слѣдующимъ образомъ характеризовалъ нынѣшнюю задачу итальянскаго народа: «передѣлать себя изъ народа феодальнаго въ современный спокойно, не вдругъ, и безъ взрывовъ». Тоже самое могъ сказать зоркій наблюдатель о полякахъ еще при началѣ вѣка. Слѣдовало стараться, чтобы кристаллы шляхетскихъ обычаевъ, образъ жизни и исключительности поскорѣ распустились въ общемъ растворѣ, а это задача трудная, требующая продолжительной работы. Самъ мессіанистъ Красинскій понималъ ее, именно какъ нѣчто, требующее долгаго времени, когда указывалъ намъ великую цѣль въ перспективѣ вѣковъ, чрезъ которыя слѣдуетъ пройти спокойно и терпѣливо, пока общество не облагородится чрезъ нравственный подъемъ личности. Но Польша не понимаетъ тѣхъ огромныхъ трудностей, съ какими сопряжено совершеніе великаго дѣла; онъ даже не предполагаетъ ихъ существованія.

Онъ, по образу мысленія и политическому настроенію, является сыномъ XVIII стол. и полагаетъ, что еслибы только имѣлись побольше энергіи, и вдобавокъ малая толика терроризма, то можно бы для общества и съ обществомъ сдѣлать что угодно—произойдетъ чудо, и на родинѣ будетъ все точно въ раю. Кровь его манитъ яркостью своей краски и опохмѣляетъ его точно вино. Тотъ великій человекъ, котораго Польша сперва искалъ кругомъ себя прежде, чѣмъ сталъ его искать среди вражескаго дома, долженъ былъ, по его словамъ: «мечомъ святаго палача пролить на землю море крови» («годов-

щина 29 ноября»). Отъ того-то у поэта такая привязанность къ Килинскому, что дневникъ послѣдняго Поль переложилъ въ стихи, вслѣдствіе чего дневникъ, сказать мимоходомъ, нисколько не выигралъ. Та языческая и сатанинская пѣсня Мицкевичевскаго Конрада, которую его товарищи прерываютъ, не сходитъ съ устъ Поля. Кажется, онъ бы готовъ высасывать мозги, вѣшать измѣнниковъ, а съ богатыми барами учинилъ бы скорую расправу. Тотъ самый поэтъ, который такъ превосходно воспѣлъ, въ «градѣ съ драконовою ямой» могилу вождя мощныхъ кметей т. е. Косцюшки, который въ «Вахмистрѣ Дорошѣ» далъ прекрасную политическую современную сатиру, тотъ же Поль поэтизировалъ порою и противныя вещи, возбуждалъ недобрыя чувства, давалъ совѣты безумные. Оправдывалось, что было сказано имъ самимъ: «и въ пѣснѣ ядъ быть можетъ», но такая пѣснь была не ржавчиной, которая разъѣдаетъ оковы, а прямымъ призывомъ къ самодубіиству.

Послѣдующія произведенія Поля отдѣляются отъ пѣсенъ Януша продолжительнымъ временемъ (болѣе 7-ми лѣтъ) и многими событіями. Послѣ долгаго пребыванія за границу, Поль возвратился въ Галицію, и въ 1834 г. въ первый разъ посѣтилъ Краковъ, а въ 1836 г. объѣхалъ Татры. Невполнѣ увѣренный въ безопасности для себя, онъ поселился въ горахъ, въ уединенной деревушкѣ, Каленицѣ; въ 1837 г. онъ женился. Въ исторіи его умственной жизни, за эти годы пребыванія въ уединенномъ убѣжищѣ, слѣдуетъ отмѣтить знакомство съ Кремеромъ въ Краковѣ, въ 1834 г., а при помощи Кремера—съ нѣмецкой философіей: «въ 1835 г. училъ меня Кремеръ философіи Гегеля—въ Загуржанахъ; послѣ знакомства съ Кремеромъ установился нѣкоторый порядокъ въ моей головѣ». Къ тому же времени относится начало занятій Поля землевѣденіемъ, или вѣрнѣе — начало наклонности въ немъ къ ея изученію. Онъ работалъ медленно и писалъ мало, болѣе для самого себя, чѣмъ для другихъ. Настроеніе его было пасмурнѣе чѣмъ прежде,

но спокойнѣе, а мышленіе стало зрѣлѣе; онъ уже яснѣе сталъ видѣть разстояніе между областями искусства и жизни дѣйствительной, сталъ признавать существующее между ними равновѣсіе и равноправность ихъ въ бытіи.

Къ тому времени относится прекрасный собственный портретъ, данный намъ Полемъ въ стихотвореніи «Матросъ». Этотъ отрывокъ заслуживаетъ во всѣхъ отношеніяхъ быть поставленнымъ наряду съ сонетомъ Мицкевича «Аюдагъ». Поэтъ утромъ напутствовалъ пожеланіями отплывавшую эскадру, красовавшуюся разноцвѣтными флагами и слегка воздымавшимися парусами; солнце жгло, берегъ былъ покрытъ росой, небо сіяло чистой лазурью, и каждая волна, прикасаясь къ берегу, «какъ водолазъ достаетъ жемчугъ, мысль изъ моря приносила; отъ мыслей тѣхъ вѣяло свѣжестью морской пѣны и тайной глубины»: Но пришелъ вечеръ, померкли волны, земля усыялась слезами, на небесномъ сводѣ выступили звѣзды, засверкавшія такъ же точно какъ слезы, а земля стала похожа на пепелище или на поле сраженія, усыянное трупами. «Тогда — говоритъ поэтъ — жизнь понесла меня на дно свое, туда, гдѣ въ лонѣ земли дремлютъ сокровища, гдѣ жемчужины скрытыя мечтаютъ съ тоскою. И вынесъ я оттуда вещь дорогую, которая блеснула искрой, я вынесъ жемчужину полусонную, которая, взглянувъ на свѣтъ, заплакала... Не все-ль равно, сгорѣть-ли искрой, иль слезой скатиться.... утѣшся, въ ней ты не погибнешь: пусть будетъ лишь она чиста — слеза-ли жемчужины, или искра огня». Уединеніе и тоска въ душѣ дѣйствуетъ какъ легкій туманъ, одѣвающий пейзажъ: краски имѣютъ меньше яркости, картина выходитъ блѣдная, но зато очертанія сдѣлались нѣжнѣе.

Эти черты въ высшей степени присущи «Картинамъ изъ жизни и путешествій», которыя Поль издалъ въ 1847 году, но написалъ гораздо раньше. Оно наиболѣе совершенное, въ художественномъ смыслѣ, изъ произведеній поэта, внушенное видами Татровъ, долгимъ пре-

бываніемъ въ горской мѣстности. Въ самой природѣ Поля было нѣчто общее съ горами: таже величавость, (*grandezza*) отъ которой какъ бы вѣетъ холодомъ на тѣхъ, кто еще не позналъ этой души нѣсколько суровой, но чувствительной и простой; расположеніе къ гранитной неподвижности и къ затвердѣнію въ однажды принятыхъ формахъ; наконецъ — такой же порывъ къ небу, за предѣлы жизни органической, на собесѣдованіе съ богомъ, среди природы безлюдной или среди людей столь первобытныхъ, какъ будто они только что вышли изъ рукъ Творца. «Хочешь ли помѣряться съ громадою природы, или съ народомъ горцевъ и его величавой простотой — ни духъ твой, ни сердце къ мѣрѣ не подойдутъ» (VIII). — «Безотрадно было бы величіе тѣхъ видовъ, еслибы народъ, по этимъ пропастямъ проторившій тропинки, не заселилъ тотъ міръ своими легендами» (IV). И вотъ передъ нами проходитъ вереница этихъ легендъ, начиная отъ короля Храброго, пробившаго эти скалы ударомъ молота, чтобы дать истокъ рѣкѣ Дунайцу (III), до рудокопа Гржели — короля на Магорьѣ, который застрѣлилъ управляющаго, побилъ гайдуковъ и пошелъ въ свѣтъ къ «веселымъ», т. е. къ разбойникамъ (IX).

Жители горъ — югасы съ любопытствомъ осматривали путника, пришедшаго къ нимъ съ «ляшскихъ» долинъ. Напрасно онъ увѣряетъ ихъ, что не пришелъ искать въ скалахъ золота: «ты никакъ развѣдчикъ или нищій, коли по свѣту ходишь одинъ оденешенекъ» (II). Дѣвушки спрашиваютъ одна у другой, не поѣлъ ли этотъ чловѣкъ травы — бѣшенки, отъ которой, кто ея вкусилъ: «то такъ ужъ по свѣту чего-то ищетъ, ходитъ, ходитъ, собой тоскуетъ, отдохнуть не можетъ — хоть отопрі ему ворота, и все о чемъ-то молча судить самъ съ собою» (XIX). Старикамъ — горцамъ пришлецъ пришелся по-сердцу за его полное достоинства уваженіе къ нимъ; затѣмъ, онъ влюбляется средь горцевъ въ дѣвушку, посѣщаетъ рудники, поднимается на самыя высокія вершины. «Ой вы горы, вы гали мои, гдѣ чудныхъ словъ найти, чтобъ васъ

хвалить. Видать — видать съ васъ далеко, видать на двѣ стороны, и къ Кракову, и къ Спижу» (XX). А самому ему почти жалъ, что похвалилъ онъ тотъ народъ горцевъ, потому что «какъ быють ястреба — вредители, такъ вы напуститесь на эту стаю голубей» (XXII). Онъ сожалѣть и о горцѣ, который сходитъ съ Подгалья на низменность, жалѣть о немъ, какъ и о рѣкѣ Дунайцѣ, который бѣжитъ внизъ, гдѣ толпятся на его берегахъ люди, живущіе въ грязи, нуждающіеся въ чистой водѣ, плескаются, мутятъ его воды и загрязняютъ Дунаецъ, послѣ чего и убѣжитъ онъ отъ людей далеко — въ песчаное безлюдіе. Безъ слова жалости, въ молчаньи вѣчномъ устремится рѣка, какъ безвинный преступникъ, въ широкое море» (XXI).

Но какъ ни дышется привольно на горахъ, какъ легко ни сбрасываетъ съ себя оковы мысль, пришлецъ хотя и не вкусившій «травы-бѣшенки», все-таки въ тѣхъ горахъ остаться не можетъ, развѣ бы дѣвушка напла ему иную траву, такую, отъ которой можно-бы «забыть чтó было». Жилъ онъ нѣкогда среди народа, который плавалъ въ солнечныхъ лучахъ, судился самъ и самъ собою правилъ; и вотъ это воспоминаніе овладѣло всей душой путника; тотъ міръ и тѣхъ людей будетъ онъ розыскивать до самой смерти (XIX); и такъ, хотя кругомъ стоитъ туманъ, закрывшій все, кромѣ скалы плывущей въ туманѣ, подобно острову въ морѣ, умъ прохожаго стремится только къ тому — чтó за тѣмъ туманомъ. «А подъ тѣмъ моремъ, сколько есть народу, и земли тамъ какія распростерты» (XV)? И вотъ, ему хочется увидѣть церковь Святой Дѣвы Маріи въ Краковѣ, услышать колокольный звонъ, окинуть взоромъ, мыслью не только Краковъ, но и что за Краковомъ — все то, чтó высится и стелется ширѣко, равнины, выпуклости и пространства, отдѣляющія море отъ моря.

Отъ такого мысленнаго обзора и объятія, и родилось у Поля то его произведеніе, которое наиболѣе распространено и общеизвѣстно — «Пѣснь о землѣ нашей».

Это поэма описательная, приемованная географія, какъ ее называли, состоящая изъ 1184 стиховъ, вещь вышитая по канвѣ совсѣмъ схоластической. Дабы объяснить чарующее впечатлѣніе, какое эта «Пѣснь» производила на современниковъ, необходимо разложить ее на элементы, изъ коихъ она складывается, выдѣлить ея планъ, картинность и направленіе, и затѣмъ только поставить себѣ вопросъ, почему она могла такъ повсемѣстно и столь глубоко отозваться въ сердцахъ читателей. Всякая поэма нуждается въ основной поэтической мысли, идея цѣлаго должна быть красива. Но такимъ органическимъ замысломъ художественнаго произведенія не могутъ служить ни взятый изъ катехизиса догматъ, ни статья, заимствованная изъ кодекса, ни что-либо въ родѣ логической схемы или умственного шкафчика съ полками, ни даже географическая карта съ начертанными на ней горами и рѣками, — ибо, какъ Поль самъ прекрасно сказалъ о Татрахъ, въ смыслѣ поэтического сюжета: «васъ не объять, ни духомъ освѣтить, ни воплотиться въ васъ, ни выше васъ взлетѣть». Видъ громады самъ по себѣ не утѣшителенъ, такъ какъ «понятно духу — только духа дуновение». Наконецъ, никакой предметъ не бываетъ поэтическимъ самъ по себѣ, и становится таковымъ лишь въ силу той мысли, какую въ него вложилъ поэтъ. Возьмемъ какъ примѣры сравненіе горца съ рѣкой Дунайцемъ и мелкія стихотворенія: «Балтика», «Къ Одрѣ», «Вислѣ», «Нѣману», «Двинѣ» «Къ Бескиду и степямъ» — повсюду мы найдемъ собственные ощущенія поэта, искусно связанныя въ совокупность представленіемъ о чемъ либо, чтó занимаетъ большое мѣсто въ жизни людей и въ преданіяхъ.

Наименѣе искусственною, но вмѣстѣ и самую грубою формою, связующею поэтическій матерьялъ, можетъ быть поэтическое путешествіе, въ которомъ случайно укладываются послѣдовательно вещи, видѣнные, такъ сказать, на лету и подлежавшія наблюденію при

содѣйствіи того тонкаго оптическаго инструмента, какой представляетъ глазъ поэта.

Если открываемыя вещи велики не столько матеріальными размѣрами, сколько рядами возбуждаемыхъ ими воспоминаній, если оптический инструментъ отличается совершенствомъ и полной своеобразностью, если, наконецъ, самая личность поэта интересна, гениальна, то и изъ простаго путешествія, можетъ возникнуть нѣчто достойное удивленія, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, хотя и въ Чайльдъ-Гарольдѣ центральнымъ пунктомъ является лишь самъ Байронъ, съ его необычайностью, возвышенностью и титаничностью. Въ нашъ вѣкъ реализма опасно пускаться вслѣдъ за Байрономъ дѣлать опыты въ этомъ смѣшанномъ и неблагодарномъ родѣ. За страничку Тэна или Словацкаго — изъ писемъ его къ матери, передающихъ свѣжія путевыя впечатлѣнія — мы готовы отдать всѣ описательныя поэмы.

Какъ же справился съ своей задачей В. Поль? Прежде всего замѣтимъ, что изъ «пѣсни о землѣ» онъ сдѣлалъ нѣчто иное, а именно — «пѣснь о народахъ и племенахъ», въ которой природа физическая служитъ только фономъ картинѣ, выдается же впередъ и дѣйствуетъ болѣе намъ близкій элементъ — этнографическій: «ты знаешь ли, мой братецъ юный, тѣ роды, близкіе тебѣ по крови: карпатскихъ горцевъ тѣхъ, Литву и Жмудъ святую, и русиновъ?» Поэма вставлена въ самыя простыя рамки: пѣвца окружаетъ молодѣжь и ободряетъ его пѣть пѣсни; онъ ударяетъ по струнамъ и воспѣваетъ поочередно каждое племя на основѣ той природы, среди которой оно живетъ. Видимаго центральнаго пункта вовсе нѣтъ. Но такъ какъ Поль обладалъ въ высокой степени способностью наблюдать природу, глазомъ истиннаго пейзажиста и вкусомъ этнолога, то у него картинки эти и вышли красивыми, живыми, граціозными, хотя мелкими и, пожалуй — слишкомъ прилизанными. Это — настоящія игрушки или мозаика съ перламутровыми инкрустаціями.

При величайшемъ талантѣ невозможно удовлетворительное исполненіе той батальной картины, которая помѣщалась на донышкѣ табакерки ксендза Робака въ «Панѣ Тадеушѣ», гдѣ люди какъ мухи, а императоръ Наполеонъ — величиной съ небольшого жучка. Самый великій талантъ не въ силахъ заключить въ нѣсколько стиховъ шумъ литовскихъ боровъ, мрачную тоску, вѣющую съ болотъ Полѣсья, или ширь необозримыхъ пространствъ степныхъ. Только легкость и игривость стиха спасаетъ тѣ мѣста, которыя въ сущности представляютъ одну номенклатуру, похожи на инвентарь. Эти эмалированные картинки вышли такъ хорошо спаянными, что между ними нѣтъ никакихъ скважинъ и всѣ онѣ одинаково красивы, такъ что глазу нѣ-начѣмъ особенно остановиться. Произведеніе Поля, въ совокупности его, можно еще сравнить съ выпуклымъ стекломъ, преломляющимъ солнечные лучи, оптический центръ котораго находится не въ стеклѣ а гдѣ то въ пространствѣ, противъ стороны обращенной къ солнцу, — въ нѣкихъ отдаленныхъ намѣреніяхъ, въ полу-словахъ, которыми затрогивается нѣчто недосказанное — великое. Здѣсь поэтъ уже не представляется обломкомъ, уцѣлѣвшимъ отъ кораблекрушенія; настроеніе его измѣнилось, онъ сдѣлался спокойнѣе и веселѣе, находится въ такомъ же счастливомъ настроеніи, какимъ отличалась лучшая пора его жизни, когда онъ писалъ: «Хотя неровенъ жизни путь, но есть, ей богу, люди недурные». То была пора женитьбы его съ Корнелією Ольшевской (1837), трехлѣтняго пребывания въ Каленицѣ (1837—1840 гг.), отстройки замка Кмитовъ въ Лискѣ, знакомства и пріязни съ Ксаверіемъ Красицкимъ, и, наконецъ, поселенія въ собственномъ домѣ, въ деревнѣ Маріамполѣ, въ Бѣцкомъ округѣ (1840 г.). И личные обстоятельства приняли въ то время благополучный оборотъ и общественное настроеніе поэта стало лучше, онъ соглашался, что можно и веселиться «теперь когда опять есть кому пѣть и всѣхъ васъ вижу я въ согласьи». Эта перемѣна настроенія произошла постепенно и безъ особыхъ внѣшнихъ поводовъ. Поэтъ

сохранилъ убѣжденія демократическія, но его уже удовлетворяло чувство взаимнѣ дѣйствія, а пора для дѣйствія оказалась перенесенною на неопределенное будущее.

Дѣйствительно, у Поля, въ «пѣснѣ о землѣ нашей», какъ и прежде, на первомъ планѣ поставленъ народъ; велика вѣра поэта не только въ нравственную натуру этого народа, въ его трудолюбіе и порядочность, но и въ его разумъ, въ чемъ, какъ полагали другіе, онъ отсталъ отъ болѣе образованныхъ классовъ, хранящихъ національныя преданія (напр. стихъ: «когда бы вѣзлмошнымъ дворянамъ далъ Богъ прямой крестьянскій умъ»). По прежнему же, Польша полагаетъ, что здравыя мысли и сердца скрываются въ тихихъ уголкахъ «и въ скромномъ званьицѣ». Когда реформа предполагается только въ усвоеніи одной идеи, безъ приступа къ ея осуществленію, безъ жертвъ и усилій надъ собою, скорѣе наоборотъ—съ нѣкоторой вѣроятностію, что изъ идеи этой, обращенной въ слезу жемчужинку, никогда не вылетитъ электрическая искра, могущая что-либо зажечь, то поэту всегда можно рассчитывать на искреннее сочувствіе, какъ прогрессистовъ, такъ и самыхъ зачерствѣлыхъ консерваторовъ; въ такомъ видѣ идея не придется по вкусу, развѣ лишь людямъ крайнимъ въ обѣихъ партіяхъ. Платонически восторгаться качествами народа и мечтать о той будущности, которую вынесетъ на своихъ могучихъ плечахъ народъ крестьянскій, могли, пожалуй, и такіе господа, которые по сильному выраженію Кондратовича, «ременнымъ скипетромъ правили надъ вассалами». Если гдѣ и указываются поэтомъ отношенія ненормальныя, то они кажутся исключеніями, мѣстными особенностями. Рѣшительно порицаются поэтомъ полу-панки, но только подольскіе, вышедшіе изъ грязной пѣны новой формации, или спѣсивые волынскіе магнаты, которые едва выносятъ мысль, что и тебя Богъ сотворилъ; «все дѣло тамъ—въ магнатствѣ, польскаго же нѣтъ ничего, кромѣ фамилій». Въ остальныхъ мѣстахъ, повидимому, плевелъ вовсе нѣтъ: «никто тебя тамъ панствомъ не ошпаритъ»,

такъ, что, пожалуй, ничего не оставалось и желать. Всѣ безъ различія восхищались гармонической музыкой поэта, который въ этой музыкѣ плескался, какъ рыбка, плывя поверхъ жизни, почти невѣдая о томъ, что творилось въ глубинѣ.

Эту гармонию совершенно неожиданно прервалъ страшный скрежетъ галиційскихъ событій 1846 года. Голая дѣйствительность предстала мечтателямъ и сказала имъ то, что черный херувимъ, въ 27 пѣснѣ Дантова «ада» говоритъ Гиду де Монтефельтро: *tu non pensai ch'io logico fossi* (а ты не думалъ, что и я логиченъ). Разоренный, раненный, больной тѣлесно и душевно, поэтъ засажженный въ тюрьму, въ кармелитскомъ монастырѣ во Львовѣ, повторялъ съ Гёте: «кто хлѣба не вкушалъ въ слезахъ, безсонныхъ кто ночей на ложѣ не проплакалъ и въ узахъ къ помощи небесной не взывалъ, тотъ не позналъ Тебя о, Боже всемогущій!» Это потрясеніе подѣйствовало на весь умственный складъ поэта: демократизмъ, бывшій у него болѣе въ головѣ, чѣмъ въ сердцѣ, улетучился, а осталась безусловная привязанность къ традиціи, въ которой онъ съ тѣхъ поръ и сталъ видѣть единственную опору, якорь спасенія, и за которую онъ ухватился обѣими руками.

II

Въ февралѣ 1846 г., Поль, находясь подъ Кросномъ, въ имѣніи пріятелиа своего Тржицескаго, откуда собирався во Львовъ, подвергся нападенію вооруженныхъ крестьянъ. Вещи его были разграблены, часть рукописей пропала, жена его была избита до крови, когда попыталась защитить мужа. Самого поэта привязали къ дереву и уже душили, такъ, что онъ едва избѣгнулъ смерти. Послѣ того, его на телѣгѣ доставили въ Ясло, а оттуда во Львовъ, гдѣ онъ и просидѣлъ въ тюрьмѣ до Іюля. Раненый и больной, онъ постра-

далъ не только нравственно но и имущественно, и былъ насильно выброшенъ изъ прежней колеи.

Пришлось, для содержанія себя и семьи, давать уроки литературы, писать статьи въ журналъ, издаваемый библіотекою имени Оссолинскихъ, продавать издавна проготовлявшіяся и скупо сообщавшіяся имъ публикѣ поэтическія произведенія. Вслѣдъ за этою печальною переменною въ обстановкѣ, передъ поэтомъ мелькнуло нѣсколько обманчивыхъ проблесковъ надежды и кратковременныхъ улучшеній въ личномъ его положеніи. Происходило это въ 1848 году, среди общаго европейскаго смятенія, которое монархію Габсбурговъ потрясло въ самыхъ основаніяхъ. Въ первыхъ дняхъ мая того года, чехи устроили славянскій съѣздъ въ Прагѣ, которому Польша послала свой привѣтъ: «Слово и Слава» — «Słowo a Sława». Затѣмъ, поэтъ былъ избранъ помощникомъ начальника штаба національной гвардіи во Львовѣ. По восстановленіи спокойствія, Польша на нѣкоторое время исчезъ изъ Галиціи, былъ въ Вѣнѣ и получилъ въ ноябрѣ 1849 г. назначеніе въ должность профессора всеобщей географіи въ Ягеллоновскомъ (Краковскомъ) университетѣ. Но три года спустя, въ 1853 г., въ періодъ сильнѣйшей реакціи, по инициативѣ того же гр. Леона Туна, министра просвѣщенія, который далъ Польшу упомянутое назначеніе, изъ университета уволены были четыре профессора, и въ ихъ числѣ Польша; затѣмъ, втеченіи 1854 года, введено было въ университетѣ преподаваніе всѣхъ предметовъ на языкѣ нѣмецкомъ.

Въ моментъ своего увольненія отъ профессуры, Польша пользовался уже славою; каждое новое его произведеніе встрѣчалось какъ литературное событіе. Большое впечатлѣніе произвели «Разказы Винницкаго» (изданные въ 1853 г.), «Могортъ» и «Вить Ствошъ» (1855 г.). Въ 1855 же году, умерла жена Польша (V. 336): «моя Корнелія, о ангелъ мой, хранитель вдохновенія, намъ тяжко безъ тебя, молись за всѣхъ насъ въ небѣ». Въ 1858 г. прославленный поэтъ пріѣхалъ въ Варшаву,

встрѣченный торжественнымъ пріемомъ въ обывательскомъ клубѣ; оваціями же онъ былъ встрѣченъ въ родномъ своемъ Люблинѣ; наконецъ состоялась публичная подписка, вслѣдствіе которой былъ за счетъ подписчиковъ купленъ и подаренъ поэту фольваркъ Фирлеювка. Приведенныхъ данныхъ достаточно для разъясненія, что втеченіи 12-ти лѣтъ (1846 — 1858 г.), закончившихъ пятидесятилѣтіе въ жизни Поля, то есть, обнимавшихъ въ себѣ наиболѣе возмужалую его пору, поэтъ испыталъ свою долю горестей, но имѣлъ также участь, не совсѣмъ даже обыкновенную, и испыталъ много счастья и успѣха. Мы уже сказали, что, подъ вліяніемъ событій, онъ сильно измѣнился, и дѣйствительно, внѣшнія событія играли на немъ какъ на Эоловой арфѣ и на поэзію его ложились поочередно то свѣтовыми то тѣневыми полосами. Это положеніе слѣдуетъ объяснить нѣсколько ближе, примѣняясь къ словамъ самого поэта, что «стѣны лбомъ не прошибешь, счастья не догонишь конемъ, не человѣкъ вертитъ міровое колесо, а міровое колесо проходитъ по немъ самомъ» (V. 1207). Прежде всего скажемъ, что какъ значительны не были перемѣны въ міровоззрѣніи поэта, но совершались онѣ, нисколько не нарушая убѣжденія его, что онъ остается вѣрнымъ своимъ основнымъ убѣжденіямъ, что онъ продолжаетъ быть непоколебимымъ въ своихъ основахъ, что онъ — гранитная скала, о которую разбиваются волны. Но, въ тоже время онъ, самъ того не сознавая, измѣнялся какъ воскъ, тающій постепенно. Такое видоизмѣненіе, безъ всякаго внутренняго самопротиворѣчія, произошло тѣмъ легче, что, вопервыхъ, Польша по своей природѣ и какъ романтикъ, былъ человѣкъ чувства, такъ, что всякій, болѣе сильный порывъ чувства, онъ принималъ безъ размышленія, какъ вдохновеніе самой истины; во-вторыхъ, потому, что по своему характеру, Польша былъ въ высшей степени народный человѣкъ, то есть, что тѣже перевороты, какіе совершались въ немъ, происходили одновременно и въ обществѣ. Общество это онъ охарактеризовалъ вмѣстѣ

и съ самимъ собою—въ слѣдующихъ словахъ: «сердце чуткое, душа гордая, воля мягкая, вѣра сильная, край открытый, любовь къ нему сильная, весь умъ въ обычаяхъ, и непогрѣшимое чувство». Въ этомъ слѣдованіи за наиболѣе погрѣшающимъ изъ проводниковъ, но слѣдованіи искренномъ, заключался весь секретъ большаго вліянія Поля на его современниковъ, съ чувствами которыхъ его чувство всегда совпадало, и съ которыми онъ шелъ совершенно солидарно, хотя ему самому казалось, что онъ пролагаетъ себѣ путь независимо и даже въ одиночествѣ. Совершенно неосновательна слѣдующая жалоба поэта (въ «Маковомъ зернѣ»): «я шелъ безъ опеки и безъ товарищей, шелъ по заносамъ снѣжнымъ и по кѣчкамъ. Большія дороги мнѣ казались безплодными; а узкія тропы казались глупыми. И вотъ себѣ я проторялъ путь собственный, и былъ онъ и узокъ и всегда уединенъ» (V. 71). Наконецъ, третьимъ обстоятельствомъ, которое объясняетъ совершившіяся въ Польшѣ быстрыя перемѣны, мы можемъ признать то, что и переродился онъ лишь отчасти, что въ немъ замерли только нѣкоторыя представленія и желанія, вмѣсто которыхъ выдвинулись другія, но такія однако, которыя и всегда въ немъ были сильны, и лишь ожидали удобнаго случая, чтобы подчинить его себѣ нераздѣльно и исключительно.

Съ дѣтства Польшъ былъ религіозенъ, теперь же онъ сталъ почитателемъ даже самыхъ мелкихъ внѣшнихъ обрядностей; съ дѣтства же онъ былъ поклонникомъ старыхъ обычаевъ и шляхетскаго и простонароднаго—и теперь продолжалъ поклоняться тому и другому: «лишь тотъ обрѣлъ сокровища міра, кто и съ тѣмъ согласуется и того не упускаетъ, что унаслѣдовалъ отъ отца и дѣда; кто ведетъ коня впередъ знакомою дорогой, и сидитъ тамъ, гдѣ и они разсѣлись» (V. 35). Однако въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ уже не являются фигуры «мощныхъ кметей», какія показывались у него прежде. Съ этими народными типами у него случилось то, что, какъ

онъ рассказываетъ, бывало при дворѣ гетмана Тарновскаго: «кто наказаніе понесъ и битъ былъ, тотъ укрывался отъ глазъ человѣческихъ». Если кто либо изъ нихъ еще и является позднѣе, то лишь въ видѣ исключенія, какъ напр. челядь въ драконовой ямѣ у гетмана Тарновскаго. Показываются лишь твари покорныя, прирученныя, служебные типы, какъ напр. Цива, у котораго было сердце и мнѣніе сельскаго старосты, то есть выдрессированное къ послушанію: «ибо, если случалось разъ, что панъ разсердился, то тотъ, кто былъ имъ покаранъ уже не переступалъ его порога (V. 51. «Гетманскій отрокъ»).

Внутренняя перемѣна въ Полѣ произошла постепенно втеченіи годовъ, исполненныхъ для него превратностей судьбы (1846 — 1851), даже не безъ самопротиворѣчій и не безъ минутныхъ поворотовъ къ прежнему. Возьмемъ его въ то время, когда онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, подъ гнетомъ остраго нравственнаго страданія. Смираясь, онъ переводитъ покаянныя псалмы Давида и молится, но во всемъ этомъ покаяніи, какъ справедливо замѣтилъ Уейскій, ни разу не встрѣчается открытое прощеніе народу за буйство, совершенное чернью, и тѣмъ менѣе — примиреніе и забвеніе обидъ, которыя были, по меньшей мѣрѣ, взаимными. Вездѣ и всегда, народная толпа, вызванная къ рѣшительному дѣйствію, проявляетъ хищныя инстинкты и свирѣпствуетъ какъ звѣрь; но сердиться на нее столь же неосновательно, какъ проклинать пожаръ, наводненіе, вообще физическія катастрофы. Если кого-либо можно — бы дѣлать отвѣтственнымъ за дѣйствія разъяренныхъ массъ, то скорѣе всего — минувшія поколѣнія, которыми эти массы оставлены были въ нравственномъ запусѣ, и подстрекателей, то есть тѣхъ, кто поднималъ эти толпы и подущалъ ихъ къ свирѣпствованію. Если бы Польша приняла на видъ эти соображенія, то ему пришлось бы ударить себя съ раскаяніемъ въ грудь, такъ какъ вѣдь и онъ принадлежалъ къ обществу, которымъ не было сдѣлано для нисшихъ сословій все

то, что было возможно, и самъ же онъ, нѣкогда, подстрекалъ къ немедленной расправѣ и междуусобной борьбѣ и революціи, то есть, принадлежалъ къ тѣмъ, которыхъ впослѣдствіи уже называлъ лже-пророками («Когда по землѣ прошли лже-пророки, то проклята земля и перестала рожать»). Вмѣсто такого *теа сипра*, Поль постоянно тягается передъ господомъ Богомъ съ народомъ, который на первомъ же шагу, какой онъ сдѣлалъ въ жизни, «уже въ дѣяніяхъ міра Каиномъ явился». Поэтъ постоянно помнитъ о винахъ должника своего и проситъ только о смягченіи кары, которою считаетъ неизбѣжною. «Ты отведи ихъ въ паровое поле и потерпи, караньемъ не спѣша. И сохрани насъ Боже отъ кровавой мести». Такая молитва не свободна отъ оцта и желчи, и прямо уличаетъ фальшь, впрочемъ и безъ того явную, слѣдующихъ словъ: «ужель мы столь виновны были нашею любовью, что ты въ нее насъ прямо поразилъ». Впрочемъ, этому человѣку, не примиренному съ собственнымъ народомъ, и желающему оставить его «подъ паромъ», для того, чтобы онъ избѣжалъ кары Божіей, пришлось вскорѣ потомъ мирить двѣ стороны, между которыми вражда была и гораздо давнѣе и гораздо сильнѣе.

Мы имѣемъ въ виду стихотвореніе, внушенное неожиданными внутренними смятеніями въ габсбургской монархіи въ 1848 году — «Слово и Слава». Моментъ былъ исключительный и странный. Въ смятеніи временно исчезли и какъ бы ушли изъ подъ ногъ дѣйствительныя условія быта, стѣснительныя и тяжкія: казалось всего можно было пожелать, а пожелавши, немедленно осуществить желаніе, совсѣмъ какъ во снѣ. Умъ поэта, на эту краткую минуту, воспрянулъ съ прежней упругостью, изъ памяти его какъ бы исчезли личныя воспоминанія 1846 года, и пробудилось въ немъ, рѣдкое у нашихъ поэтовъ—за исключеніемъ Мицкевича и Богдана Залѣскаго, — чувство славянское, племенное. Подъ влияніемъ его, подъ рукой пѣвца прозвучало нѣ-

сколько могущественныхъ, полныхъ и гармоническихъ аккордовъ на тему: «дай вамъ Богъ счастья», посвященныхъ представителямъ славянскаго племени надъ Велтавой. Едва эти аккорды польскаго поэта, посланные въ привѣтъ чехамъ смолели, какъ смятеніе покрыло и самые слѣды славянскаго сѣзда въ Прагѣ, который, впрочемъ, еслибы и дошелъ до конца, то не осуществилъ бы возлагавшихся на него надеждъ. Еще и теперь это стихотвореніе, гдѣ частью политика, частью исторіософія оправлены въ чудесную лирическую форму, привлекаетъ игрою цвѣтовъ и блескомъ мыслей, настоящихъ алмазовъ, которыми оно богато изукрашено. Но, тѣмъ не менѣе, съ точки зрѣнія, какъ исторической, такъ и политической, мы не можемъ признать, чтобы то была пѣснь съ глубокимъ содержаніемъ — какъ полагаетъ Уейскій,—и нисколько не оправдываемъ сравненіе Шайнохи, этого историка-мечтателя, будто бы это поэтическое произведеніе послужить голубицей, вылетѣвшей изъ ковчега и парившей надъ потопомъ, или той первой, встрѣченной на океанѣ птицей, которой чиликанье возвѣщаетъ кораблю близость пристани. Изъ всего славянства, Польша знала только чеховъ и потому его панславизмъ является польско-чешскимъ, то есть западно-славянскимъ, католическимъ панславизмомъ. Польша оставляетъ совсѣмъ въ сторонѣ славянщину южную и восточную и проектируетъ какой-то, выдуманный мечтателями историками славянский демократически-мірской союзъ.

Самый пріемъ при выведеніи этой Славянщины на сцену поражаетъ поверхностностью понятій: «Въ началѣ бѣ Слово» — буквально какъ начинается евангеліе отъ Іоанна. Съ этой новой, данною Откровеніемъ истиною, поселились народы, «разсѣшася на три громады, но жили бокъ о бокъ какъ злые сосѣди. Изъ нихъ одна звалась — Романе, помѣсь они отъ римлянъ и дикихъ. Другая — Германцы—пришельцы изъ странъ дальнихъ, чужихъ». Наконецъ, третью «громаду» составили братья Славяне: «на памяти вѣковъ никто не говорилъ, чтобы мы ту землю

отъ него отняли. Мы здѣсь выросли—какъ выросли лѣса, съ сосной и съ дубомъ вмѣстѣ, имъ современникъ наше племя». Надъ этими народами, которымъ слово Божіе повелѣваетъ питать взаимную къ себѣ любовь, но которые живутъ такъ какъ жили издревле язычники, высятся пресловутое двоеначаліе силъ, владычествующихъ на землѣ, какъ солнце съ мѣсяцомъ на небѣ: «Главою церкви былъ отецъ святой, а императоръ былъ властелиномъ міра». Первая изъ этихъ властей, самая непоколебимая какъ символъ вѣры, строго приказывала человѣчеству чтить Бога; вторая, т. е. императоръ, съ римскимъ мечомъ и мировымъ золотымъ шаромъ въ рукахъ, посягнула на первую и стала причиной и источникомъ всякаго зла. «Слово» въ мірѣ было побѣждено мечомъ. «И кто увѣровалъ въ тотъ мечъ и шаръ златой, того уже ничто не свяжетъ съ небомъ». Тотъ мечъ былъ остръ и былъ запятнанъ кровью, а въ шарѣ томъ содержались проклятыя сребренники Гуды. Подъ такой властью, одни народы сдѣлались глухими къ слову Божію и только ковали деньги, другіе же народы стали нѣмы, ковали мечи и бродили во крови. Напрасно ниспосылались имъ и великія мысли, и великіе люди; каждая изъ такихъ мыслей для нихъ обращалась въ бичъ и кару, ибо они утратили вѣру и тайну божескаго слова. «Сердце въ нихъ пусто какъ земля подъ паромъ, а голова какъ мельница работаетъ; прошедшее ихъ подло, и потому они съ ними связь порвали. И нить исторіи у нихъ безплодно оборвалась, такъ какъ они теперь не знаютъ на чемъ имъ стоять». Изъ ненависти къ революціи, поэтъ изрекаетъ приговоръ надъ цѣлымъ западомъ и, вступая, самъ о томъ не вѣдая, въ братскій союзъ съ московскими славянофилами, восклицаетъ, что этотъ западъ, представляемый народами нѣмыми и глухими, насквозь прогнилъ и не имѣетъ будущности. «Все, что въ тебѣ дурного, то къ тебѣ привито тѣми чужыми умами». Но, зато, на востокѣ, за предѣлами господства «золотаго шара», существовала истая Аркадія,

обитаемая великимъ народомъ, земледѣльческимъ и мирнымъ, который даже когда былъ язычникомъ не заблуждался, судилъ на вѣчахъ о благѣ земли, все дѣлалъ громадою, и жилъ согласно и ладно еще въ то время, когда съ одной стороны Кириллъ и Меѳодій, а съ другой Войцѣхъ вышли проповѣдывать Евангеліе народамъ.

Этотъ «народъ», или вѣрнѣе сонмъ этихъ народовъ и нынѣ, какъ тогда, готовъ къ воспріятію слова Божія, и вотъ этому-то безчисленному сонму, этимъ братьямъ «въ словѣ и славѣ» поэтъ шлетъ свое привѣтствіе, свою пѣснь, веселую и торжественную, какъ гимнъ «Аллилуя». «Слово то несетъ не войну, а миръ, слава та живетъ не обидой ближняго». Этимъ, земледѣльческимъ народамъ поэтъ вѣщаетъ, какъ совершившійся фактъ, единеніе славянскихъ народовъ посредствомъ общихъ сѣздовъ, и подроставшему славянскому міру преподаетъ свои совѣты на погибель мечу и золотому шару. «Велтава, ты красавица», — восклицаетъ онъ — прояви то, что скрыто въ твоёмъ ложѣ. Пусть теченіе твое выроетъ глубину до того мѣста, гдѣ лежитъ оставленное Жишской оружіе. Оно намъ нужно не для боя; мы словомъ боремся, а не десницей, союзъ нашъ — человѣчество, а панцыремъ намъ служить слово; таково оружіе наше, въ него мы вѣруемъ; народъ можно взбѣсить, но измѣнить нельзя; кто пытается передѣлать народъ, тотъ не знаетъ цѣны ему. Горе вамъ, горе, славяне, если по примѣру западныхъ попытокъ, или слѣдуя уму-разуму юга, или уму срединныхъ (въ Европѣ) народовъ, и вы захотите господствовать надъ своею толпой. Она ничего отъ васъ не приметъ, все отброситъ. Нѣтъ, только намъ и понять — что въ ней самое лучшее, намъ слѣдуетъ лишь плыть съ потокомъ. Пусть дозрѣваетъ то, что въ немъ скрыто, пусть онъ туда идетъ, куда ему дорога. Намъ вѣрить въ то, во что онъ вѣритъ, а остальное — дѣло времени и Бога». Очарованіе этой поэзіи такъ велико, присущій ей тонъ убѣжденія такъ си-

лень, что на минуту забываешь и о томъ изъ чего она соткана и о томъ какъ она соткана. Дѣло въ томъ, что туманное пятно славянщины доселѣ еще не сосредоточилось и не образовало какой либо правильной солнечной системы, еще ожидается установление нравственного ея центра. То только нынѣ очевидно, что центромъ этого, вновь образующагося изъ космической матеріи міра, не можетъ сдѣлаться который либо изъ привлечшихъ вниманіе поэта средневѣковыхъ полюсовъ. Этотъ новый міръ, если можетъ быть связанъ воедино какой либо религіозною силой, то во всякомъ случаѣ не той, какая проявляется въ мертвомъ единствѣ внѣшнемъ. Несправедливо также поэтъ отнесъ слишкомъ многое къ винѣ нѣмецко-императорской власти; во всякомъ случаѣ не ею была вызвана Реформація, а Реформаціи этой нельзя выкинуть изъ исторіи человѣчества и даже изъ нашей умственной жизни, доказательствомъ чему можетъ служить хотя бы и краснорѣчивое обращеніе самого поэта къ Жишке, первому и великому знаменосцу Реформаціи.

Еще несправедливѣе сужденіе поэта о народахъ романскихъ и германскихъ, будто бы забывшихъ, что «исторія это—память народная. Кто утратилъ память, тотъ впадаетъ въ безуміе или просто глупѣетъ». Выразаясь столь рѣзко, Поль забывалъ о «чашѣ» проповѣданной Жишкою и о самомъ Жишке, забывалъ также и о томъ, что самъ онъ прежде прятъ свою основу не только изъ бѣлыхъ нитокъ, но и изъ красныхъ. Впослѣдствіи, побуждаемый нерасположеніемъ своимъ ко всякому новшеству, онъ беретъ на свой станокъ нитки исключительно бѣлыя, отбрасывая всякія иныя, какъ не-историческія и человѣка хотѣлъ бы, такъ сказать, составить только изъ костей и мускуловъ, безъ крови и нервовъ. Въ самомъ сопряженіи идей, въ этомъ случаѣ, у Поля многое поражаетъ невѣрностью. Намѣреваясь соткать будущность славянства изъ историческихъ будто-бы нитей, поэтъ не нашелъ подъ рукою достаточныхъ матеріаловъ. Извѣст-

но, что при составленіи общаго понятія о славянствѣ, главную трудность представляетъ именно недостатокъ тѣхъ историческихъ нитей—отсутствіе общаго для всѣхъ племенныхъ развѣтвленій языка. При такихъ условіяхъ, поэтъ былъ принужденъ броситься въ міръ до-историческій, въ вѣкъ гадательный, бронзовый или каменный, и основывать будущность на томъ, что одно только воображеніе могло ему подсказать о томъ вѣкѣ. Однимъ словомъ, славянскую будущность онъ строитъ не на историческихъ фактахъ, которыхъ нѣтъ, но исключительно на идеальномъ пониманіи племенныхъ свойствъ, вопреки національной польской традиціи, ставящей культуру выше расы, за что именно поклонники племенной славянской отдѣльности (напр. Самаринъ) неразъ обзывали поляковъ измѣнниками славянству, авангардомъ запада, вбившимся, какъ клинъ, въ самую сердцевину славянщины.

Точно такъ, какъ въ «Словѣ и Славѣ» идеалистически представлено славянство, въ другомъ мѣстѣ стихотворенія изображенъ—«народъ», вовсе не похожій на тотъ, чьи медвѣжки объятія самому поэту пришлось испытать на себѣ въ Полянкѣ, «Придутъ Поляне съ дѣдовской косою и изъ лѣсовъ придутъ мѣткіе стрѣлки, а съ горъ стечется людъ съ топориками въ рукахъ, и съ копьями люди степные, на коняхъ». Они соединятся, обсудятъ и установятъ правду—«чистую, какъ ключевая вода, мирную, какъ исторія селенія, какъ новъ первобытную и краткую какъ Божій судъ». Весь этотъ рой мнимо-народныхъ понятій, окрыленный какою-то, вовсе не историческою утопіей, разлетѣлся и исчезъ, какъ ночное видѣніе, когда истинныя отношенія, существовавшія въ то время, проявились въ событіяхъ 1848 года. Ни единое изъ блестящихъ упованій поэта не оправдалось, наоборотъ, всѣ они кончились разочарованіемъ. Впрочемъ, и не одинъ Польша пересталъ съ тѣхъ поръ играть въ политику; все, что въ обществѣ было лучшаго, болѣе сознательнаго, устранилось, сохраняя себя для лучшаго времени, сторонясь отъ борьбы разнуздан-

ныхъ и слѣпыхъ стихій, бѣжа и отъ «бѣлаго» историческаго знамени и отъ революціонизма, носившаго цвѣтъ крови, оно устранилось отъ той борьбы, послѣ которой наступили десятилѣтняя мертвенная реакція и якобы застой по внѣшнему виду въ исторіи Европы. Это самоустраненіе внушило Гашинскому извѣстный красивый сонетъ, характеризовавшій тотъ моментъ (1849 г.), съ которымъ нынѣшнее время имѣетъ уже мало общаго: «Два лагеря стоятъ въ противоположныхъ концахъ міра; подъ одно знамя стекаются почитатели давняго прошлаго; ихъ цѣль — все охранять, даже и зло, а аргументъ у нихъ одинъ — штыкъ или пушка. Надъ лагеремъ другимъ виситъ красный лоскутъ, и вотъ подъ нимъ толпа впередъ рѣшаетъ дѣло будущаго: уничтожить все, хотя бы и доброе — такъ кричатъ разрушители, подражатели безбожнаго преступленія Герострата». Почти такимъ же образомъ опредѣляетъ Поля значеніе 1849 года въ «Картинахъ», которую можно назвать полу-апокалиптической. Въ каждомъ изъ двухъ лагерей стремятся повернуть міръ на свою дорогу, навязать ему свои мысли и волю, а человѣчество, при этомъ, и тѣ и другіе готовы топтать ногами». Но есть и различіе по сравненію со взглядомъ Гашинскаго, который ни въ томъ, ни въ другомъ лагерѣ не признаетъ ни ума, ни сердца и видитъ одну страстность, между тѣмъ, какъ Поля говоритъ, что «одни лишены добродѣтели а другіе — разума». Гашинскій признаетъ, что одно знамя представляетъ собой идею историческую, которую онъ и понимаетъ поевропейски, т. е. въ видѣ «златого шара», съ остатками феодализма. Самъ поэтъ стоитъ въ сторонѣ, высказываетъ вѣру и надежду, что дѣло худо начатое еще поправится, когда появятся такіе люди, которые разумно и терпѣливо согласивъ крайности, счумѣютъ вывести человѣчество на путь новый, но съ прежними вѣрой и правдой въ душахъ. У Поля же одни хотятъ на душѣ скованнаго міра выжечь клеймо своей воли, а другіе — управлять человѣчествомъ лишь при помощи сѣкиры палача.

Въ формулѣ начертанной Полемъ реакція представляется безъ идеи и содержанія; назвать ее согласіемъ съ историческою идеей—онъ не хотѣлъ, да и не могъ бы, такъ какъ она просто стояла за совершившійся фактъ, хотя бы и новый, хотя бы онъ представлялъ собой переворотъ въ сравненіи съ прежнимъ, вѣковымъ теченіемъ исторіи. Въ новые же пути поэтъ не вѣрилъ, онъ уже утратилъ бодрость духа, разочарованіе, такъ сказать, подшибло ему крылья; онъ самъ уже окончательно увязъ въ историческомъ направленіи, но только не въ обще-европейскомъ, а именно въ собственномъ, польскомъ. Отнынѣ, онъ уже всѣми силами зоветъ свое общество, какъ въ рай—въ Польшу XVIII столѣтія, въ которой мысль его избрала себѣ окончательное пребываніе. Въ это время Польша уже забыла, что самъ онъ былъ человѣкъ «новый»; въ предисловіи къ «Могорту», онъ говоритъ такъ: «пришли на свѣтъ люди новые со старымъ язычествомъ, тѣмъ, что когда-то пало передъ крестомъ; и въ міръ вносили бѣшенства заразу и вновь кумиру ставили алтарь». Забывъ, что самъ прежде искалъ онъ чего-то новаго и возвышеннаго, Польша разсуждаетъ уже такъ, что все зло пошло отъ пренебреженія къ благодати отъ церкви—этой сокровищницы народа; онъ бьетъ себя въ грудь и признаетъ вмѣстѣ съ тѣми, кого самъ считаетъ за «искреннихъ и лучшихъ», что все совершившееся представляетъ собой кару неба за злыя дѣла, что для человѣчества не можетъ быть никакой новой истины. Вотъ почему «міръ снова якореми себѣ поставилъ вѣру и держится за то, что называли старымъ». Въ такомъ своемъ отступленіи, въ проникновеніи началомъ самаго безусловнаго консерватизма, Польша поддавался—гораздо болѣе, чѣмъ думалъ самъ,—направленію той минуты, общему настроенію въ обществѣ утомленномъ борьбою, которое, послѣ пережитыхъ смутъ, чувствовало себя какъ человѣкъ, выбившійся изъ силъ и охотно бросающійся на первую попавшуюся постель, лишь бы выспаться. И поэзія Поля тѣмъ именно при-

ходила по вкусу современникамъ, что соответствовала общему настроенію. Надо однако признать, что этотъ новый въ ней поворотъ былъ несогласенъ съ прежними умственными привычками Поля, какъ напр. съ его смѣлыми романтическими увлеченіями или съ приемами нѣмецкой метафизики, то есть собственно — гегелевской философіи, которой Поль былъ приверженцемъ, бывъ посвященъ въ ея таинства Кремеромъ, Либельтомъ и Трентовскимъ. Какъ бы не была ошибочна исходная точка этой философіи, но она всетаки отводила себѣ самостоятельное мѣсто рядомъ съ религіею, толковала о безконечномъ развитіи идеи, утверждала разумность всего совершившагося.

Оглядываясь на романтизмъ съ новой своей позиціи, Поль относился къ нему уже съ сожалѣніемъ и видѣлъ въ немъ такой фактъ, который почти не былъ нуженъ или, вѣрнѣе, — фактъ не удавшійся и оставшійся безплоднымъ (V. 232). «Искра генія, говоритъ онъ, сама преобразилась въ наказаніе; то, что дала любовно открытая душа, то вверзаемо было въ домъ, какъ адское пламя. Въ новомъ мы разочаровались, а старое развалилось, и духъ народа надолго отравленъ». Записки Поля о польской литературѣ XIX в. (курсъ стенографированный въ 1866 г.), въ 9 и 10-й лекціяхъ заключаютъ любопытныя разсужденія Поля, — такія, которыя вовсе не оправдываютъ его тенденцій. Авторъ этого курса, прежде всего — идеалистъ; на его взглядъ, идеи, это нѣчто существующее самостоятельно, появляющееся въ міръ неизвѣстно откуда, выскакивающее изъ небытія, какъ Минерва изъ головы Юпитера. Индуктивный путь возникновенія идей оставленъ въ сторонѣ, и умственная жизнь народа представлена въ видѣ какихъ-то скачекъ идей, перегоняющихъ одна другую въ умахъ и чувствахъ слѣдующихъ за собою поколѣній. Идеи, по словамъ Поля, обращавшіяся въ XIX вѣкѣ были: ученіе французскихъ энциклопедистовъ XVIII в., панславизмъ, нѣмецкая философія и французскій, социалистическій радикализмъ.

Полю, какъ поэту, собственно говоря, противна каждая новая идея, потому что является она обнаженная, холодная, совершенно прозаичная и отрицательная, и напоминаетъ Сатурна съ косою, уничтожающаго всѣ пережившіе себя элементы. Такова она, дѣйствительно, въ первомъ періодѣ своего проявленія, имѣющаго еще отвлеченный характеръ. Но, за тѣмъ, слѣдуетъ второй фазисъ, когда идея перерабатывается и приспособляется къ жизни усилиями тысячи единичныхъ умовъ, такъ сказать, оплотняется и порастаетъ пухомъ. Наконецъ, наступаетъ третій періодъ, когда идея, въ своемъ отвлеченномъ видѣ, окруженная любовью и трудами поколѣній, кончилась какъ отвлеченность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлалась живымъ преданіемъ народа. Такъ было въ Польшѣ съ идеею реформы при Станиславѣ-Августѣ. Упавъ, въ своемъ формальномъ составѣ, она, однако, перешла въ душу слѣдующихъ поколѣній, какъ послѣднее преданіе, послѣдній завѣтъ прошлаго. Защищаясь отъ разрушительнаго дѣйствія отвлеченныхъ идей, общество противопоставляетъ имъ все, что только имѣетъ наиболѣе консервативнаго—идеалы своей поэзіи. Таковъ взглядъ Поля.

Все это разсужденіе болѣе оригинально, чѣмъ согласно съ истиною. Авторъ курса литературы, очевидно, упустилъ изъ виду, что есть поэзія въ самой реальной жизни, что наиболѣе сильнымъ обаяніемъ пользуется тотъ художникъ, который служитъ новой великой идеѣ, что идеалы предшествуютъ всякой формѣ примѣненія идеи къ дѣлу, что невозможно замкнуть поэзію въ одно только художество и конфисковать ее въ пользу одного консерватизма. Оставимъ въ сторонѣ эту несообразность, мы должны признать, что идея отвлеченная уравнивается всегда съ идеалами поэзіи — какъ два разные божества на разныхъ солнцахъ ¹⁾). Можно даже сказать, что поэзія слабѣе отвлеченной идеи по-

¹⁾ Сравненіе Словацкаго.

тому, что выросла изъ вчерашней абстракціи, и должна предчувствовать, что она будетъ ниспровергнута современемъ противникомъ, какъ только онъ выступитъ въ новомъ вооруженіи, а именно — съ отрицаніемъ, имѣющимъ по своей сторонѣ такуюже живую традицію.

Винцентій Поль достаточно понималъ необходимость такого равновѣсія между преданіемъ и новаторствомъ, но, на практикѣ, онъ современниковъ своихъ тянулъ всѣми силами въ средніе вѣка и посвятилъ свой талантъ почти исключительно воспроизведенію прошлаго въ цѣломъ ряду произведеній, преимущественно эпическихъ. Въ ихъ числѣ первое мѣсто занимаютъ трилогія «Записокъ Винницкаго», «Могортъ» и «Витъ Ствошъ». Мы остановились долѣе надъ идеями «Маковаго зерна», потому, что находимъ въ немъ выраженіе того, что художникъ выше всего любилъ. Затѣмъ, мы должны перейти къ тому маковому цвѣту, что выросъ изъ этихъ зѣренъ и придалъ имени Поля широкую извѣстность, такъ какъ главная наша задача заключается въ сравненіи результатовъ творчества поэта съ его намѣреніями, то есть, съ его идеями. Самый родъ эпическій творчествъ былъ избранъ Полемъ сознательно, потому что онъ чувствовалъ въ себѣ призваніе «покровомъ славы старые почитать гробы» (V. 347), пріести идеалы для современниковъ изъ вѣры и преданій, которыми онъ защищался отъ идей отрицательныхъ. Въ прошедшее онъ углублялся не холоднымъ умомъ наблюдателя, ищущаго одной правды, но «сердцемъ любящимъ», словомъ, преклонялся предъ прошлымъ, прося его о вдохновеніи, какъ молились набожные художники до-рафаэлевскихъ временъ, Орканья и Фра-Анджелико да-Фіезоле. Отъ такого восторженнаго настроенія, казалось, можно было ожидать чудесъ, но результаты не соотвѣтствовали ожиданію. По крайней мѣрѣ о первомъ изъ произведеній Поля въ этомъ духѣ, а именно, о «Запискахъ Бенедикта Винницкаго» можно положительно сказать, что гора родила мышъ. Корнелій Уейскій, въ своемъ строгомъ, но вполне справедливомъ

приговорѣ относитъ эти «Записки» (89—95, 131—145) къ самому дурному сорту польской литературы. Къ этому вѣрному сужденію остается лишь прибавить нѣсколько замѣчаній.

Первая трилогія, озаглавленная именемъ Б. Винницкаго, а именно: «Приключенія молодости», вышла во Львовѣ, въ 1840 г., то есть, годомъ спустя послѣ появленія извѣстныхъ разсказовъ Генриха Ржевускаго: «Записки Северина Соплицы» (парижское изд. 1834 г.), съ которыми «Приключенія» находятся въ тѣсной связи, какъ потому, что въ обоихъ выведенъ Карлъ Радзивиллъ, такъ и по колориту, веселости и добродушной грубоватости. «Приключенія» написаны безъ всякой притязательности, относятся еще къ той, сравнительно лучшей порѣ, когда Поль руководствовался въ своемъ эпическомъ творествѣ только цѣлями художественными и патріотическими. Какъ у Ржевускаго, такъ и у Поля разсказъ ведется отъ лица и въ стилѣ современника описываемой эпохи, бывалаго служаки при дворахъ вельможескихъ. Въ качествѣ разсказчиковъ выведены: у Ржевускаго кравчій Парнавскій, у Поля—шляхтичъ Тарнопольскій. Въ обоихъ произведеніяхъ удачно схваченъ тонъ старинной польской жизни и обычаевъ, который впослѣдствіи изпошлили и износили до невозможности безчисленные подражатели. Въ обоихъ выходитъ наружу наивная безнравственность и гниль, которыхъ Бенедиктъ Винницкій, конечно, не признавалъ такими, да и самъ Поль едва ли понималъ таковыми. Нужда побуждаетъ мелкопомѣстнаго шляхтича пристроить сына къ панскому двору, по поговоркѣ: «держись хоть за щекѣлду—да на знатномъ дворѣ». При дворѣ господствовали праздность и развратъ, укрощаемыя плетью: «И шляхтичъ, доложу вамъ, провинившись порою, сносилъ порку, лишь бы на коврѣ, а послѣ панъ дарилъ ему поясъ или коня». Можно себѣ представить каково было баловство на такомъ, почти королевскомъ дворѣ, какой держалъ Карлъ Радзивиллъ, этотъ хмѣльной самодуръ, приго-

варивавшій безпрестанное свое «раніе кошачку». «Тамъ приходъ только по расходу можно было сосчитать; ужь не то, что текло все, какъ говорится, а просто лилось все черезъ край. И народу и шуму было столько, что развѣ въ церкви было время отдохнуть». Изъ такого особаго рода университета, молодой Радзивилловскій придворный, уже знающій толкъ въ амурахъ и винѣ, изящно одѣтый и сопровождаемый подареннымъ ему крѣпостнымъ слугою, возвращается домой подъ отцовскій батогъ. И вотъ, вмѣсто поцѣлуя, его тотчасъ встрѣчаетъ изрядная пѣрка, такъ какъ онъ сразу совершилъ нѣсколько неловкихъ вещей, не снялъ шапки передъ священной фигурою на дорогѣ, проѣхалъ по отавѣ, забылъ, что день постный, а паче всего—разрядился щеголемъ: «отецъ твой лишь къ вѣнцу такъ одѣвался».

Отецъ-деспотъ засадилъ затѣмъ сына въ чуланъ на хлѣбъ и на-воду, на четыре недѣли, и только соединенными усиліями бѣдной больной матери и священника выпрошено было у стараго волка прощеніе сыну; да и то лишь при содѣйствіи возліаній и лести: «позволь же, ваша милость, сыну принесть тебѣ поклонъ, поклонъ—отъ самаго пана Радзивилла». Пѣрка, какую перенѣсъ молодой Бенедиктъ чувствительна не для одного его: весь рассказъ, можно сказать, идетъ подъ акомпаниментъ плети и эта плеть, какъ главное орудіе домашняго воспитанія, столь упорно восхвалявшаяся нашими бардами, какъ напр., Нарушевичемъ въ его одѣ, Игнатіемъ Ходзько въ его «Запискахъ квестарія», составляла постыднонаслѣдство прошлаго, и когда уже изгнана была изъ школъ, держалась еще какъ нѣчто почтенное—въ эстетическихъ произведеніяхъ. Что Поль крѣпко держался всякихъ преданій прошлаго—о томъ свидѣлствуютъ совѣты, какіе онъ преподавалъ славянину въ своемъ «Словѣ и Славѣ»: «дѣтей содержи строго, и законъ примѣняй мягко, толпой же правь сильной рукою» (VII. 336). Что касается «сильнаго правленія толпой», то это полякамъ какъ извѣстно, никогда не удавалось. Относительно за-

кона, надо признать, ни уголовные, ни гражданскіе законы въ Польшѣ мягкими не были, но часто не исполнялись, а иногда были и неисполнимы. Во всякомъ случаѣ они были нехороши, такъ какъ въ самомъ содержаніи своемъ, они являлись неравными и не одинакими для магната и бѣднаго шляхтича, для дворянства и недворянства, и потому «удаль иногда не знала и предѣла и кривда зарублена неразъ кривою саблею на людяхъ» («Сенаторскій уговоръ»). Въ общественно-политическомъ быту распущенность, дѣйствительно, сдерживалась главнымъ образомъ строгой дисциплиной домашняго воспитанія. Но когда та политическая жизнь исчезла, а «удаль» была взята въ предѣлы весьма тѣсныя, то единственнымъ убѣжищемъ духа національнаго осталась семья, изъ которой и грубая строгость прежняя, какъ уже ненужная, улетучилась гораздо ранѣе, чѣмъ старосвѣтскіе теоретики примѣтили эту перемену въ нравахъ.

Со второго разсказа Винницкаго—«Сенаторскій уговоръ», (написанъ въ 1852 г., изданъ въ 1853 г.), начинается уже рядъ произведеній Поля—тенденціозныхъ и съ преднамѣренно поучительнымъ содержаніемъ. Дѣйствіе происходитъ на Санѣ, въ томъ уголку Польши, который послужилъ писателямъ половины XIX в. неисчерпаемымъ источникомъ старопольскихъ типовъ и преданій. Въ этомъ, какъ и во всѣхъ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Поля замѣчается изобиліе разныхъ вводныхъ эпизодовъ; на основную фабулу наброшенъ какъ бы покровъ, свитый изъ плюща и повилики, сплетеніе легендъ и описаній (входящіе во второй разсказъ эпизоды и отступленія: «Янекъ изъ Новаго Мяста», липа въ Дубецкѣ, преданія о панѣ Крупѣ, о Попелѣ и Лещинскомъ, о родѣ Гоздава). Но если устранить всю эту роскошь орнаментации, то самое содержаніе сводится на какой-нибудь пустякъ. Такова суть напр., «Сенаторскаго уговора»: все дѣло въ раздорѣ между подкоморіемъ Балемъ и старостою Мнишхомъ, возникшемъ изъ того, что Баль, произнося фамилію Мнишха, искажалъ ее,

называя его Мнишкомъ. Изъ-за такой личной ссоры происходитъ распря между партіями въ цѣлой области, и эту распря прекращаетъ только остроумная выходка князя-епископа Вармійскаго (поэтъ Красицкій), который, наливъ одну рюмку вина въ честь Баля, другую въ честь Мнишха, слилъ рюмки въ стаканъ и выпилъ однимъ залпомъ съ завѣтнымъ тостомъ «Kochaјmy się». Тогда «въ области вновь водворилось прежнее согласіе; и понынѣ, въ Саноцкомъ, если хотятъ сказать, что что-нибудь сошло по-сердцу—гладко какъ по водѣ, то говорятъ, что дѣло удалось, какъ сенаторскій миръ». Производство въ герои «Сенаторскаго уговора» Красицкаго—рѣшительнаго сторонника реформъ и въ герои «Сеймика въ Вишни» Чарторійскаго—генерала земель подольскихъ, остроумнаго французомана, доказываетъ что, поэтъ, относившійся враждебно по всему чужому въ современности, является къ нему гораздо снисходительнѣе въ прошломъ, потому конечно, что то давнее заимствование представляется съ напудренной косой, то есть вещь старинною, пріобрѣвшею уже право гражданства и какъ бы уже запечатлѣнною, по самой своей старости, польскимъ характеромъ.

На указанномъ выше, тонкомъ какъ острье булавки, обстоятельствѣ, на томъ пріемѣ, къ которому прибѣгнулъ Красицкій, чтобы водворить миръ среди областнаго дворянства, Польша устанавливаетъ перпендикулярно высокое какъ башня Св. Маріи въ Краковѣ нравоученіе. Прошедшее въ этомъ примѣрѣ будто бы поучаетъ насъ, что все жившее такъ долго было прочно, что оно держалось въ высокихъ родахъ традиціей, а въ шляхетствѣ—семейными совѣтами, что каждый родъ признавалъ свое гнѣздо, а въ каждой семьѣ былъ кто-нибудь признанный головою, случилось что и женщина, что иной, не боявшійся ни сейма, ни судовъ, ни короля, боялся главы своего рода, признавалъ его право надъ собою; что всякъ помнилъ, что человѣкъ держится не однимъ умомъ, но еще и братской помощью, что неизвѣстно откуда, являлась порою за-

щита и обиженному могущественнымъ противникомъ, и вдовѣ, и сиротамъ. Несомнѣнно, что это случалось, но именно только случалось, а вовсе не было неизбѣжнымъ явленіемъ. Какъ на нивѣ боярышникъ пробивается посреди колосьевъ, такъ и въ произрастаніи польскихъ семейныхъ и родовыхъ традицій, сорныя травы смѣшались съ полезными и росли быстрѣе послѣднихъ. «И гетманы бывали изъ бабьихъ сродниковъ, изъ ловцовъ богатыхъ невѣстъ, хотя бы и горбатыхъ. А мало ли дворянъ стряпчихъ по природѣ чернильныхъ душъ, кляузниковъ и плутовъ. Другіе — панскіе клеветы, придворные рубаки и зашники, Ахаты дрессированные для высокихъ пороговъ». Но вѣдь сверхъ того, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что вся эта нива, пороставшая плевелами все гуще и гуще, представлялась однимъ только дворянскимъ сословіемъ, и что понятіе о братствѣ въ немъ было неразлучно съ понятіемъ о гербовой печати. И Польша въ то время такъ уже измѣнилась въ сравненіи съ тѣмъ, какимъ былъ прежде, что точно забытъ, что за этимъ дворянскимъ народомъ стоялъ еще другой, гораздо болѣе многочисленный и что вотъ этотъ-то послѣдній и долженъ былъ бы служить фундаментомъ для всего государства.

Еслибы непрочность основанія при томъ порядкѣ, какой тогда существовалъ, требовалось объяснять примѣрами, то наиболѣе характерными могли бы послужить именно тѣ великія распри изъ за ничтожныхъ причинъ, то видимое отсутствіе прочнаго равновѣсія, когда для восстановленія порядка требовалось нѣчто въ родѣ чуда — какой-нибудь неожиданный пріемъ, сердечное увлеченіе, подѣйствіемъ котораго нарушители подавали себѣ руки и клялись позабыть взаимныя обиды. Это было прекрасно, но слишкомъ неустойчиво. Мягкая и добро-сердечная натура исправляла, сколько могла, роковые недостатки общественнаго и политическаго строя, но строй этотъ уже обваливался по кускамъ въ ту именно эпоху, когда саноцкое дворянство весело запивало миръ между

сенаторами, такъ какъ моментъ этотъ совпадалъ съ кануномъ барской конфедераціи, въ которой и герой разсказа Баль, и саночное дворянство приняли участіе.

Найдя, что «сенаторскій уговоръ» — вещь въ сущности пустая, мы, затѣмъ, должны будемъ признать, что «Сеймикъ въ Судной Вишнѣ», написанный въ Полянкѣ въ 1853 году — вещь самая постыдная по содержанію, и весьма слабая по формѣ. Публичное дѣло, по словамъ Поля, нѣчто столь же великое какъ свобода, а въ этомъ публичномъ дѣлѣ — сеймъ — нѣчто столь святое, что рѣшенія его точно воля Божія. Но зато сеймикъ — тотъ ужъ прямо былъ въ рукахъ человѣческихъ. А кто бралъ верхъ на сеймикѣ? «Не тотъ, кто выше родомъ, головой, силой или мошной; нѣтъ, сударь, тотъ бралъ верхъ, кто раньше угостилъ». Поэтъ насъ вводитъ задворками въ грязную обстановку этой страшни. Дѣло было, конечно, не въ томъ, чтобы избрать хорошихъ депутатовъ въ государственный сеймъ, но исключительно въ томъ, чтобы провести въ депутаты людей своей партіи. На одной сторонѣ Сѣнявщина или иначе партія Чарторыскаго, генерала земель подольскихъ, трунящаго надъ шляхтою, на другой — оппозиція съ предводителемъ своимъ, народнымъ трибуномъ шляхетскаго плебса, судьей Хойнацкимъ, великаномъ и силачемъ, гораздо болѣе склоннымъ рубить саблѣй нежели судить по статуту и увлекающаго всегда шляхетское селеніе инымъ фокусомъ.

Драмъ предшествуетъ фарсъ: приверженцы Чарторыскихъ едва не проиграли всего дѣла вслѣдствіе того, что во время ночлега у всѣхъ ихъ были украдены штаны. Но вотъ, наконецъ, избиратели собрались въ церкви, гдѣ амвонъ проповѣдника обращенъ въ трибуну для ораторовъ, а алтарь завѣшенъ сукномъ. Вскорѣ добыты сабли наголо и уже течетъ кровь. Хойнацкій, забывъ данную священнику присягу, что не обнажитъ меча, пробивается къ своимъ сквозь толпу, рубя толпу на-право и на-лѣво. Въ эту минуту преграждаетъ ему

путь священникъ: «руби, ваша милость, и я пойду *pro Christo* въ небо; но ужъ съ тобой, судья, и пёсъ не станетъ ѣсть хлѣба, лишенный церковнаго благословенія, проживешь остатокъ дней, а въ аду будешь горѣть по самыя лопатки». Убѣжденный такой угрозою, судья начинаетъ бить себя въ грудь съ покаяніемъ, священникъ выносить дары, всѣ сабли влагаются въ ножны, и устраивается кое-какое примиреніе въ силу религіознаго чувства, въ оскверненной кровью церкви. Все, разумѣется, окончилось ѣдой и питіемъ. Собственно какъ фактъ, содержаніе «Судной Вишни», относящееся къ 1766 году, совершенно однородно съ попойкою Грановскаго въ Люблинѣ (1784 г.), рассказанною въ Запискахъ Кастаня Козмяна, или съ любою страницю Записокъ Матушевича. Различіе лишь, что Матушевичъ рассказываетъ о такихъ случаяхъ наивно, какъ о совершенно простой вещи, Козмянъ упоминаетъ о нихъ съ отвращеніемъ, а поэтъ, писавшій въ половинѣ XIX в., приводитъ подобный случай въ видѣ доказательства, что хотя онъ самъ по себѣ и былъ нехорошъ, но восторжествовало въ немъ всетаки дѣло Божье: «на каждую недѣлю бывало воскресенье»,—и всетаки тогдашній міръ былъ лучше нынѣшняго. «А нынѣ покажи мнѣ человѣка, который бы почтилъ завѣтъ, который бы и душу заложивъ, не отступилъ отъ даннаго обѣта. Ты покажи мнѣ нынѣ человѣка, который во имя Бога мечъ бы опустилъ, когда въ его рукѣ трепещетъ врагъ смертельный»?...

Но неужели же изъ-за того, что случайно напелся священникъ, который во время схватилъ Хойнацкаго за полу, и что случайно не произошла кровавая расправа, и дѣло окончилось нѣсколькими рубцами на лбахъ и щекахъ—слѣдуетъ уже падать на колѣни предъ тѣмъ, «что дѣдовъ нашихъ согрѣвало» и побивать камнями все современное намъ? «Да, хоть крѣпости въ васъ нѣтъ никакой, а труднѣе васъ сдержать, и осадить на волѣ вашей и обратитъ васъ къ Богу». Упрекъ, облеченный въ такую форму представляется совершенно неосновательнымъ. Ока-

зывается, что Полю не доставало свойства самого необходимого для моралиста, а именно—нравственного чутья; онъ возсѣлъ на судейскомъ креслѣ, чтобы творить судъ надъ современностью по законамъ исторіи, а между тѣмъ, самъ не распознаетъ добра и зла. Моралистомъ, по преимуществу, Поль сдѣлался послѣ 1846 года, почувствовавъ къ тому особое призваніе, а средствомъ для нравственнаго поученія онъ избралъ историческую живопись. Но мы только что видѣли, какъ этотъ историческій живописецъ перепуталъ въ «Сенаторскомъ мірѣ» крупныя вещи съ мелкими и создалъ картину въ китайскомъ вкусѣ, т. е., безъ всякой перспективы; въ «Сеймикѣ» же онъ смѣшалъ добро со зломъ и въ идеаль возвелъ это послѣднее.

Невольно задаешься вопросомъ—да былъ-ли въ самомъ дѣлѣ В. Поль тѣмъ, за кого себя признавалъ, то есть историкомъ—поэтомъ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить только отрицательно, а еслибы затѣмъ требовалось опредѣлить, чѣмъ же онъ былъ въ дѣйствительности, то можно бы сказать, что онъ былъ самый поэтический и самый популярный польскій антикварій. Различіе историка отъ антикварія въ томъ, что историкъ относится къ фактамъ критически и сужденія свои основываетъ на изученіи точной связи между фактами и непрерывнаго ихъ соотношенія, между тѣмъ какъ собирателю древностей это вовсе не нужно. Лишь бы ему попались лоскутъ одежды, ручка вѣера, застѣжка, табакерка, парикъ, коробочка для пудры, шаловливаго содержанія картинка или стипки, — если онъ любитель XVIII вѣка, вотъ уже на него пахнуло цѣлымъ этимъ вѣкомъ. Такъ, въ одномъ изъ стихотвореній Словацкаго, поэту почудился запахъ волосъ возлюбленной, а затѣмъ, въ силу ассоціаціи идей, въ сознаніи его возрождается ея образъ, да притомъ еще не схожіи съ дѣйствительностью, а соответствующій тому, какъ поэтъ ее себя идеализировалъ; и вотъ образъ этотъ уже и остался навсегда неизмѣннымъ, окаменѣлымъ и священнымъ. Что

Поль былъ вовсе не историкъ, а лишь высокоталантливый антикварій — это доказывается, во-первыхъ, особенностями его художественнаго творчества, а во-вторыхъ, полнымъ у него отсутствіемъ научнаго духа въ пониманіи исторіи.

Обремененіе первоначальной темы множествомъ орнаментовъ, вотъ свойство, которое въ произведеніяхъ Поля постепенно возрастало и дошло до такого же преувеличенія, какъ въ позднѣйшемъ готическомъ стилѣ, въ періодъ упадка послѣдняго. Каждая отдѣльная его поэма или стихотвореніе, являлись, по мѣрѣ того чѣмъ они поднѣе, все болѣе похожими на реликваріи, на богатые сосуды, въ которыхъ хранятся предметы, занимающіе мало мѣста — какой-нибудь клочекъ одежды или камушекъ. Въ концѣ концовъ, всѣ поэмы представляются чѣмъ-то въ родѣ коллекцій не то чтобы типичныхъ экземпляровъ, но скорѣе — примѣчательныхъ рѣдкостей (таковы, напр., цѣлый гипшичскій трактатъ въ «Могортѣ», масса образцовыхъ скульптурныхъ украшеній въ «Витѣ Ствошѣ», весь почти цѣликомъ «Гетманскій отрокъ» — съ часами, астрономіею, сокольничествомъ и сватовствомъ, вся «Стрыянка», весь «Староста Кисляцкій» и «Годъ охотника»). Чѣмъ Поль становился серьезнѣе и чѣмъ болѣе углублялся въ это направленіе, тѣмъ больше пріобрѣталъ онъ вѣры въ свое призваніе какъ историка, и тѣмъ презрительнѣе относился въ своей поэзіи (V. 346.) къ «пишущимъ книжки критиканамъ дѣлъ минувшихъ, а вмѣстѣ съ ними и къ публикѣ, которая поучается газетами и читаетъ въ кафе ресторанахъ, (объясн. къ 3 изд. «Могорта»)). Для анатомовъ и патологовъ исторіи, по его отзыву, (объясн. къ 1 изд. «Могорта»)). стоило бы, въ наше филантропическое время учредить богадѣльню съ клинкой: нѣтъ въ этомъ направленіи ни правды, ни жизни, такъ какъ при немъ книга исторіи превращается въ кладовую аналитическихъ изслѣдованій и ученыхъ пустяковъ, подогнанныхъ къ видамъ той школы или той партіи, къ которой принадлежитъ писатель.

Согласно тому же, совсѣмъ особенному взгляду Поля, польская историческая литература была серьезна пока перо обрѣталось въ рукахъ людей съ политическимъ положеніемъ, мужей государственныхъ; она измельчала, когда перо перешло въ руки кропотливыхъ копателей школы аналитической (Бандтке, Лелевель, Мацѣвскій), которые стали каждый матерьялъ обрабатывать въ отдѣльности, безъ соображенія съ тѣмъ, что было, есть и будетъ (лекція 13). По мнѣнію Поля историческое изслѣдованіе должно быть производимо по приему синтетическому, то есть: сперва слѣдуетъ бросать сверху свѣтъ на цѣлыя эпохи, и уже потомъ, при этомъ освѣщеніи изучать подробности. Но такъ, какъ польскіе государственные люди умерли, да мало осталось и тѣхъ людей, которые видѣли прошлое въ его подлинномъ освѣщеніи, то, по убѣжденію Поля, историкъ и художникъ должны вдохновляться не книжками и диссертациями, а—источникомъ живаго преданія, которому былъ столько обязанъ самъ Польша. Излишне было бы доказывать ошибочность такихъ взглядовъ, при которыхъ муза Кліо уже никогда бы полякамъ болѣе не улыбнулась. Исторія народовъ писалась и должна писаться независимо отъ состоявшихся въ быту этихъ народовъ перемѣнъ; историческое повѣствованіе должно было изъ рукъ государственныхъ людей перейти въ руки изслѣдователей — специалистовъ; наконецъ, изученіе отдѣльных матерьяловъ необходимо должно предшествовать самому изложенію событій, какъ обжиганіе кирпичей предшествуетъ той постройкѣ, на которую они пойдутъ. Своими разсужденіями Польша доказалъ единственно то, что ни задачи, ни методы исторической науки онъ не понималъ; историкомъ научнымъ, онъ никогда и не могъ бы сдѣлаться.

Вѣрно то, что условія творчества различны для поэта и для историческаго изслѣдователя. Поэтъ отыскиваетъ лишь прекрасное, а не достовѣрное и вполне властенъ въ подборѣ фактовъ каждой данной эпохи. Тѣмъ не менѣе, и поэтъ обязанъ всетаки пользоваться

наукою, стоять на высотѣ науки, не оскорблять нравственныхъ чувствъ общества, а когда произносить приговоры, то для него, наравнѣ какъ для ученаго историка, обязательны трезвость, добросовѣстность и логичность: недостатокъ этихъ свойствъ въ «Разсказахъ Винницаго» не могъ не повредить Полю въ умахъ людей глубокомыслящихъ. Но поколебленную свою славу Поль поправилъ и поднялъ до наибольшей высоты, пустивъ въ свѣтъ въ 1856 году, начатаго еще въ 1840 году и въ 1852 г. уже оконченнаго «Могорта». Эта прекрасная, превосходящая предшествующія произведенія поэма послужить намъ для дополнительнаго выясненія нашего взгляда на значеніе Поля въ литературѣ.

Само собою разумѣется, что и въ XVIII столѣтіи Польшѣ присущи были не однѣ же отрицательныя черты: нахлѣбничество и пьянство. Подъ мерзкою корою дурныхъ привычекъ и несмотря на несомнѣнный упадокъ нравовъ, тлился однако, какъ и обнаружили впоследствии событія, духъ самопожертвованія, соединенный съ чувствомъ, гражданского долга. Этотъ духъ и это чувство въ особенности доходили иногда до наибольшей степени развитія въ людяхъ военныхъ, чему благопріятствовали въ томъ призваніи дисциплина, привычка къ лишеніямъ и преданія рыцарства. Обстоятельства дали Полю случай близко узнать и полюбить одного изъ такихъ старыхъ воиновъ, поклонника идеи чести и чистаго какъ слеза. Этотъ пріятель былъ Ксаверій Красицкій; и онъ-то разсказалъ кое-что поэту о другомъ рыцарѣ, еще болѣе славномъ и принадлежавшемъ къ поколѣнію болѣе давнему, рыцарѣ желѣзномъ и столь доблестномъ, что ему было бы подѣ стать быть въ числѣ пэровъ Карла Великаго или богатырей Круглаго Стола.

Изъ этихъ сказаній, которые передалъ душа—человѣкъ Красицкій, возникла въ умѣ Поля былина о поручикѣ Могортѣ, и въ лицѣ этого героя, возвышенная идея удачно и изящно (что не всегда случалось у Поля) связалась съ тѣми событіями, которыхъ она была сама

выраженіемъ. Сценою избрана окраина государства — украинская степь, съ ея необозримымъ черноземнымъ пространствомъ, усѣяннымъ курганами, свидѣтелями борьбы съ дикою татарщиной. Поэма изображаетъ то, въ чемъ народъ польскій издревле видѣлъ свое особенное призваніе, а именно — борьбу съ мусульманскимъ востокомъ. Эта сторона скрашиваетъ самыя особенности мѣстнаго быта, въ то время довольно прозаическія, занятія скучныя и хотя соединенныя съ опасностью, но не блестящія. Большихъ войнъ уже не видали тѣ окраины, назначеніе украинскаго тамъ воинства сводилось лишь къ тому, что теперь мы бы назвали степною полиціею. «Еще свѣжа была въ умахъ память объ уманьской рѣзнѣ (колівщина), и страхъ чумы держалъ солдата днемъ и ночью на стражѣ границы. Тамъ, гдѣ-нибудь, на чей-либо дворъ татары напали или ограбили церкви. А то казаки угнали у насъ табунъ, увели челядь или село спалили». У Поля, Могорта является, между прочимъ, учителемъ въ военномъ дѣлѣ князя Іосифа Понятовскаго, чтó значительно оживляетъ рассказъ, такъ какъ князь, лицо уже близкое намъ по своимъ понятіямъ и образованію, и намъ какъ бы современное, дѣлается звеномъ, которое приближаетъ къ намъ и самого Могорта и его приключенія, является героемъ — прямымъ какъ бы преемникомъ другаго героя Могорта. Поэтъ при этомъ обошелъ весьма ловко неприятную подробность — участіе войска въ усмирении бунта гайдамаковъ и приведеніе въ послушаніе крѣпостнаго крестьянства.

Извѣстенъ полевой судъ региментарія Стемпковскаго надъ мужиками въ Коднѣ. — Ксаверій Браницкій писалъ къ королю 15 сент. 1768 г. («Варская Конф.» изд. Гумпловича 1872 г. стр. 68): гайдамаковъ повѣшено 700; главные вожаки жесточайше наказаны примѣра ради. Но и Браницкій не могъ всѣмъ угодить. — «Сосѣди, пишетъ онъ (Іюля 1768), осаждаютъ меня: помѣщики, евреи; одинъ проситъ четвертовать, другой жечь, садить на колъ, вѣ-

шать безпардонно и т. д. *tolle crucifigi*, и входятъ въ такой азартъ, что каждый хотѣлъ бы быть палачемъ». — Даже Браницкій уклоняется предъ королемъ, «не могу исполнить Вашей воли и не могу явѣшать ради только того, чтобы не кормить». — Но король своею собственною нѣжною рукою отписываетъ (24 сентября), если вамъ попадутся такіе арестанты изъ огайдамаченныхъ крестьянъ, то прикажите брать десятого и уѣзжать ему по одной рукѣ и по одной ногѣ, это лучше усмирить чѣмъ смерть».

Могортъ Поля — литвинъ, уніать, связанный дружбой съ игуменомъ монастыря базилиановъ, построеннаго на окраинѣ степи. Старикъ Могортъ находился въ монастырѣ, когда возставшая чернь въ движеніи, носившемъ названіе *коливщины*, залила всю окрестность и подступила подъ стѣны монастыря; Могортъ лично защищаетъ монастырь и разбиваетъ чернь при неожиданной и непрошенной помощи татарскаго мурзы. Старецъ, болѣе чѣмъ столѣтній, помнить еще шведскія войны и передаетъ слышанный устный рассказъ объ освобожденіи Вѣны королемъ Яномъ III. Этотъ Могортъ бдителенъ какъ журавль, въ опасное время спитъ даже иначе, какъ сидя на деревянной кобылѣ, съ пистолетомъ въ рукѣ. Для себя лично онъ ничего не желаетъ и не требуетъ, живетъ аскетомъ, отказывается отъ предложенныхъ старчества и ордена, говоря, что еще при крещеніи отрекся отъ сатаны, и хоть земли у него мало, но добрые люди прибавятъ и отведутъ ему могилу. Это высокое безкорыстіе выступаетъ во всемъ величіи, когда сопоставимъ его съ типами разныхъ искателей. Такъ, напримѣръ, о главномъ укротителѣ *коливщины*, Стемпковскомъ, Браницкій писалъ королю такъ: («Барская конфедерація», изд. Гумпловича, 1872 г., стр. 71). «Стемпковскому благоволите, ваше величество, прислать орденъ, а то съ нимъ сдѣлается желтуха и бессонница; онъ уже ко всѣмъ плафроякамъ понакупилъ звѣзды».

Укажемъ на слабыя стороны «Могорта». Почти всѣ

наши критики сходятся въ томъ, что эта поэма Поля — истая скульптура, и самая фигура Могорта — статуя изъ мрамора. Но въ самомъ этомъ сравненіи, которое дѣлается съ намѣреніемъ принести дань удивленія автору, мы усматриваемъ осужденіе этой поэмы, какъ произведенія эпическаго. Эпосъ повѣствуетъ о великихъ дѣяніяхъ такихъ людей, которымъ можно ставить памятники, а здѣсь передъ нами является сама статуя, которая никакихъ великихъ дѣяній не совершаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже и та послѣдняя кавалерійская атака на Боришковской плотинѣ, при которой Могортъ наконецъ палъ, какъ состарѣвшійся дубъ, спасая главные силы войска, представляетъ не что иное, какъ достохвальное, но все-таки обычное исполненіе прямого долга солдата. Напрасно бы мы стали искать у Могорта какого-либо великаго, героическаго, важнаго по послѣдствіямъ предпріятія. Могортъ не дѣйствуетъ, онъ только стоитъ на посту, не покидая его. «Онъ ни съ сѣдла, ни съ мѣста не сходилъ, всѣ нити, стало быть, держалъ въ своей рукѣ». Это каменная фигура, держащаяся на пьедесталѣ еще болѣе неподвижнаго преданія. Многолѣтняя жизнь его имѣетъ свое величіе, если взять всю ея совокупность, но составляется она изъ дѣйствій столь же одинаковыхъ и монотонныхъ, какъ вращеніе колесъ въ часахъ, которые бы были заведены лѣтъ на сто. Ложился онъ спать рано, ѣлъ разъ въ день, весною вспахивалъ не меньше двухъ полосъ собственноручно, съ весенней оттепели и до осенняго снѣга жилъ подъ палаткою. Въ великомъ посту приготавливалъ іерусалимскій бальзамъ и велъ записки (*Silva gerum*), а въ маѣ пускалъ себѣ кровь, — однимъ словомъ, двигался съ ужасающею регулярностью автомата. Конечно, могутъ быть и герои выдержки, постоянства; но безъ совершенія новаго, великаго, творческаго дѣла и безъ борьбы — нѣтъ эпопеи, и мыслимо лишь нѣчто дидактическое, въ родѣ «Жизни честнаго человѣка» — Рея. И дѣйствительно, рапсодія Поля представляетъ поэму — въ такомъ же описательномъ и нра-

воучительномъ родѣ, въ которой авторъ, какъ влюбленный въ старину антикварій, рассказываетъ, какъ Могортъ пашетъ, какъ постится и совершаетъ свои военные объѣзды. Здѣсь лишь та разниа между Полемъ и Реемъ или Красицкимъ (Панъ Подстолій—такое же правоучительное описаніе какъ и «Жизнь честнаго человѣка»), что оба эти послѣдніе авторы хотѣли изобразить только образцовые идеальные типы лучшихъ гражданъ для своего времени.

Поль, между тѣмъ, изучалъ типъ исчезнувшій послѣдняго Могикана польскаго сторожеваго пограничія, одного изъ тѣхъ ископаемыхъ типовъ, о которыхъ упоминаетъ Словацкій въ 6-й пѣсни «Бенёвскаго»: «о тѣхъ богатыряхъ временъ минувшихъ, которые не знали кофе ниже чаю, на головахъ носили куски желѣза, точно куски синайскаго кіота. И Богъ ихъ хранилъ румяныхъ и здоровыхъ, понеже они въ сапоги одну солому клали». Въ Могортѣ Поль нашелъ въ самомъ дѣлѣ эпическій сюжетъ, но не сумѣлъ имъ воспользоваться, обратилъ героя въ какого-то окостенѣлаго старика, такъ, что этотъ каменный гость—командоръ уже почти не въ состояніи и слѣзть съ своего каменнаго же коня. Вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, главная ошибка въ отношеніи художественномъ въ этой поэмѣ, хотя она, въ силу своего содержанія и по своему духу, вполне справедливо сдѣлалась на долгое время однимъ изъ наиболѣе популярныхъ произведеній польской поэзіи въ срединѣ XIX вѣка.

Теперь мнѣ приходится рассмотреть послѣднее изъ лучшихъ созданій Поля, поэмѣ, вылившуюся у него изъ вдохновенія, такъ сказать, сразу, потому что написана она была втеченіи всего 40 дней (начата 17 декабря 1853 г., окончена 25 января 1854 г.). Это—«Витъ Ствошъ». Здѣсь авторъ начертилъ типъ художника, безотносительно, на всѣ времена, какъ, впрочемъ, онъ творилъ всѣ свои типы, въ приложенномъ же къ поэмѣ объясненіи набросалъ, сильно подкрашенные полемической желчью исторію и теорію

христіанскаго искусства. Здѣсь, въ этомъ объясненіи, проводить онъ такіе, напр., взгляды, что Торвальдсенъ испоганилъ каѳедральную церковь на Вавель-горѣ въ замкѣ, въ Краковѣ, тѣмъ, что поставилъ тамъ статую Владимира Потоцкаго въ греческомъ стилѣ; что архитектура Возрожденія была уже смертью настоящаго христіанскаго искусства, такъ какъ она разорвала нить церковнаго преданія; что искусство оставалось истинно христіанскимъ лишь покамѣстъ было строго-церковнымъ, пока свѣтъ ниспадалъ свыше—съ неба на церковь, съ церкви на престолъ и на совокупность тѣхъ неисчислимыхъ общественныхъ узелковъ, какими въ средніе вѣка все было связано, начиная съ божескаго права правителей и кончая братствомъ цеховъ. Какъ только искусство стало искать идеаловъ внѣ церкви (въ классической древности), и перестало творить въ ея духѣ, согласно традиціонному канону, отступивъ отъ этой вдохновенной свыше традиціи и ея символики, то оно сдѣлалось бесплоднымъ. Нельзя серьезно опровергать подобныя взгляды; желать, чтобы искусство навсегда осталось церковнымъ, всеравно, что требовать, чтобы цвѣтокъ никогда не распускался изъ своей почки. Что искусство, переставъ отождествляться съ духомъ церкви, могло оставаться христіанскимъ, то доказали: величайшій изъ художниковъ того же Нюрнберга, откуда происходилъ Витъ Ствошъ, а именно — Альбрехтъ Дюреръ, послѣдовавшій за Лютеромъ и создавшій свою чудную, и глубоко-задуманную Меланхолю, за тѣмъ—драматическія произведенія Шекспира, которыя не могли бы появиться во времена безусловнаго господства церкви, эпосъ Мильтона и, наконецъ, — все искусство протестантское. Готическому искусству никто не причинилъ насилія; сами собою опали лепестки перцвѣтнаго цвѣтка, послѣ чего искусство обратилось къ классической древности, то есть, возстановило связь съ еще болѣе давними своими преданіями. Поль здѣсь смѣшиваетъ двѣ различныя вещи: традиціонное правило,

которое было стѣсненіемъ, и — самое чувство, которое создавало мастерскія произведенія, несмотря на это стѣсненіе.

Міръ средневѣковой былъ усѣянъ замками, жилъ не снимая доспѣховъ, онъ былъ въ самомъ дѣлѣ опутанъ безчисленными узелками; для многихъ людей, въ то время, отечество простиралось не далѣе городского вала; единственной связью общей и настоящей была вѣра. Но вѣра эта была простая, безъ разсужденія: на раны Распятаго люди взирали съ болью въ сердцѣ, какъ бы смотрѣли они на раны отца, сына, брата, орошенныя еще вчера слезами всей семьи; скорбь, какую они ощущали при этомъ видѣ была тѣмъ сильнѣе, что потерпѣлъ Онъ за живыхъ и искупилъ ихъ отъ смерти вѣчной. Всякое сомнѣніе считалось грѣхомъ, а сила обычая была такъ велика, что грѣшнику угрожали не только церковное отлученіе, но еще—клепцы желѣзные палача при пыткѣ, а по смерти—огнь неугасимый. И такъ—люби, говорила совѣсть, не разсуждая, но вѣруя, и хвали Господа кистью, рѣзцомъ и молотомъ; ты создашь благолѣпіе храма, ты возвысишь городъ, облагородишь себя и родъ свой. Но какъ воздавать Богу хвалу искусствомъ? Какимъ образомъ выразить въ немъ идеалъ чистоаскетическаго свойства, пренебрегавшій красотою формы, будто смертнымъ грѣхомъ? При отсутствіи образцовъ античныхъ, приходилось творить наблюдая то, что подъ руками было, то есть, руководствуясь образцами грубой, неотесанной натуры.

И самый духъ германскаго племени мало былъ расположенъ къ исканію красивыхъ формъ, это—духъ реалистическій, который въ искусствѣ идетъ не отъ общаго къ частному, но наоборотъ, то есть, не отъ усвоенія себѣ идеальныхъ проблесковъ красоты, озаряющихъ грубую оболочку тѣлесную, но отъ индивидуальнаго и единичнаго, отъ воспроизведенія грубой природы, со всѣми ея морщинами и бородавками. Такое искусство, не могло изображать идеальный типъ человѣка вообще, но должно

воспроизводить только Іоанна, Андрея, Петра, или Пилата въ видѣ воеводы, или палачей Христа въ видѣ ландскнехтовъ, а самый ликъ Божій заимствовать либо отъ какого нибудь живаго лица либо съ византійскихъ иконъ. Чѣмъ менѣе тѣлесной красоты будетъ въ фигурѣ воплощеннаго Бога, тѣмъ лучше; его изобразить исхудалымъ, съ выдающимися ребрами, изобразить раны, изъ коихъ обильно течетъ кровь. Святыхъ угодниковъ и народъ художникъ представитъ тяжелыми, массивными, съ мясистыми лицами, съ головами лысыми или же съ сильно кудлатыми прическами. Для насъ уже не совсѣмъ понятны тѣ чувства, какими воодушевлялись и тѣ лица и зрители, на нихъ смотрѣвшіе, мы не въ состояніи ощутить того трепета—прекрасно переданнаго Полемъ — когда Ствошъ, изображая Распятаго, долженъ былъ, страдая, какъ Іуда послѣ своего предательства, пробить ступни, руки и бокъ въ священномъ подобіи, вырѣзанномъ изъ дерева; не можемъ мы уже, вообще говоря, чувствовать нервами то, что для насъ представляется болѣе идеей и символомъ, но для тогдашнихъ людей имѣло смыслъ самой живой и какъ бы современной реальности.

Что наиболѣе поражаетъ въ произведеніяхъ искусства того времени, это—экспрессія, переданная съ несравненной наивностью. Въ нихъ палачъ въ самомъ дѣлѣ мучаетъ, апостолъ дѣйствительно молится. Эта экспрессія истекла изъ искренняго чувства, а чувство—изъ вѣры, но изъ такой вѣры, которая была свойственна людямъ лишь за нѣсколько вѣковъ тому назадъ, и для проникновенія себя которою пришлось бы въ понятіяхъ нашихъ и всемъ умственному складѣ нашемъ, низойти на тогдашній уровень. А такъ какъ подобное возвращеніе себя вспять на нѣсколько вѣковъ неосуществимо, то можно любить произведенія мастера Ствоша, можно удивляться имъ, но нельзя указывать на нихъ какъ на образцы для подражанія. Всякое имъ подражаніе представляло бы только карикатуру и фальшь, давало бы искус-

ственные цвѣты, вмѣсто живыхъ, похожіе формою, но лишённые запаха, искренняго чувства и души. Такова бываетъ судьба всякаго архаизма.

Обращаясь теперь отъ теоретическихъ взглядовъ къ самой поэмѣ Поля «Витъ Ствошъ», мы, прежде всего, поражаемся обиліемъ подробностей: глаза разбѣгаются при видѣ этой роскоши сводовъ, выведенныхъ на подобіе навісовъ пальмовыхъ лѣсовъ, утвержденныхъ на высокихъ, стройныхъ столпахъ; это — цѣлый городъ, свитый «изъ филиграна чуднаго, изъ ангельской рѣзбы», и украшенный радугами завѣта. Здѣсь у Поля, Краковъ, Нюренбергъ и всѣ мастерскія произведенія Ствоша, кромѣ позабытыхъ поэтомъ гравюръ и гробницы канцлера Збигнѣва Олесницкаго, находящейся въ Гнѣзнѣ — переданы въ стихахъ вѣрнѣе, чѣмъ они могли бы быть воспроизведены рѣзцомъ гравёра. Къ тому же передано все это съ полнымъ пониманіемъ духа каждаго произведенія, однимъ словомъ, поэзія здѣсь преобразилась въ пластику и дошла до идеальнаго совершенства въ этомъ, особаго рода мастерствѣ.

Окруженная всѣмъ этимъ богатствомъ дивныхъ описаній является въ поэмѣ фигура самого художника — Вита Ствоша. Ствошъ или Штоссъ былъ Нюренбержецъ и, переселяясь въ 1477 году въ Краковъ, далъ подписку подъ присягой, что ничего ко вреду сего города не учинить и тайнъ оного не выдастъ (Baader 1860. Anzeige zur Kunde deutscher Vorzeit. — Исслѣдованіе В. Bergau, 1877, въ изданіи Dohme'a: Kunst und Künstler). Художникъ этотъ работалъ въ Краковѣ, съ перерывомъ (а именно съ 1477 по 1486 и потомъ съ 1489 по 1496 гг.), 15 лѣтъ, послѣ чего возвратился на родину съ семьей и имуществомъ, и потерявъ зрѣніе, умеръ 95-ти лѣтъ отъ роду въ Нюренбергѣ.

Ствошъ, по всей вѣроятности, былъ нѣмецъ, котораго, пожалуй, можно было изобразить усыновленнымъ Польшею и признавшимъ ее вторымъ своимъ отечествомъ. Но Польша дѣлаетъ изъ него природнаго поляка,

вслѣдствіе чего является загадочнымъ, какимъ образомъ могъ разцвѣсти въ Краковѣ такой талантъ, не имѣвъ предшественниковъ и не оставивъ преемниковъ, безъ образцовъ и безъ созданной имъ школы. Для того, чтобы понять развитіи таланта Ствоша и дать ему соотвѣтствующее мѣсто, необходимо допустить, что не Польша подарила его Нюренбергу, но наоборотъ — Нюренбергъ Польшѣ. Тогда онъ станетъ въ ряду цѣлой плеяды великихъ художниковъ: Ствошъ займетъ мѣсто на ряду съ Адамомъ Краффтотъ, Петромъ Фишеротъ и Альбрехтотъ Дюреротъ, а первымъ въ ихъ дружинѣ будетъ Михаилъ Вольгемутъ (1519 г.), который много позаимствовалъ отъ фламандской школы, изъ Брюггена, отъ Ванъ-Эйковъ. Между тѣмъ, Поль, приписавъ Ствоша Польшѣ, на славу ей, отобралъ у другихъ и приписалъ Ствошу созданіе всѣхъ главныхъ художественныхъ сокровищъ Нюренберга, обидѣвъ тѣмъ и Краффта, несомнѣннаго творца ковчега для даровъ, который называется Sakramensthaüslein Иммогоффовъ въ церкви св. Лаврентія, и замѣчателенъ своей верхушкой, представляющей изогнутый стебель, — и Фишера, столь же несомнѣннаго автора гробницы св. Себастьяна (1508 — 1519 гг.). Достаточно взглянуть на этотъ прелестный реликварій, не имѣющій въ себѣ ничего готическаго, кромѣ основной архитектурной мысли, на украшающихъ его амуровъ, тритоновъ, дельфиновъ, фавновъ, сиренъ и раковины, на фигуры апостоловъ превосходно моделированные и драпированные въ античномъ вкусѣ, — и необходимо будетъ признать, что это произведеніе не имѣетъ ничего общаго съ работами Вита Ствоша и можетъ идти въ сравненіи лишь съ дверьми къ баптистерію св. Іоанна во Флоренціи, главнымъ произведеніемъ Гиберти. Пусть въ произведеніяхъ Ствоша готическій родъ уже является усовершенствованнымъ; но здѣсь, въ произведеніи Фишера мы уже видимъ чистый Ренесансъ.

Возвратившись въ Нюренбергъ, Ствошъ проявилъ характеръ беспокойный и страсть къ тяжбамъ. Одинъ изъ

процессовъ имѣлъ для него роковой исходъ. Желая отомстить Якову Банеру, который хитрой продѣлкою, нанесъ ему значительный денежный убытокъ, Ствошъ поддѣлалъ подпись Банера на долговомъ обязательствѣ, а когда поддѣлка была открыта, онъ искалъ спасенія въ монастырѣ и, наконецъ, сознался въ своей винѣ, послѣ чего хотя не былъ казненъ, во уваженіе къ его таланту, но былъ клейменъ (1503 г.). Поль, недопуская, чтобы человѣкъ, бывшій сосудомъ Божіей благодати могъ совершить подлость (I. 115), представляетъ его, Ствоша, жертвой злодѣйской интриги. Положимъ, какъ поэтъ, Поль имѣлъ полное право представить дѣло въ такомъ свѣтѣ. Но чтобы воспользоваться этимъ несчастіемъ съ цѣлью художественною, слѣдовало отнять у него характеръ случайности, придать ему смыслъ трагическій, обусловивъ такую судьбу художника прежней его жизнью, какой-либо иной, собственной его виною, словомъ, показать, почему на голову его обрушилась такая злоба людей. Г. Рапацкій, въ своей драмѣ, представляетъ Ствоша новаторомъ, который погибаетъ въ борьбѣ съ рутиною и консервативнымъ духомъ цеха. Въ этомъ уже есть объясненіе, но объясненіе невѣрное, такъ какъ Ствошъ вовсе не былъ новаторомъ, и наоборотъ, строгимъ последователемъ традиціи, притомъ же и самые цехи въ XVI вѣкѣ представляли собой учрежденіе живое, разрабатывавшее традицію, но охранявшее и свободу, и притомъ—учрежденіе съ духомъ аристократическимъ, вмѣщавшее въ себѣ различныя ступени и далекое отъ демагогической нетерпимости къ превосходству.

Поль объясняетъ несчастіе павшее на Ствоша двумя причинами. Прежде всего — дурными свойствами племени: «взгляну я на цехъ — чистѣйшіе вѣдь кнехты, пивомъ раздутая, негодная порода!» Весь Нюренбергъ былъ точно Содомъ, гдѣ только и была рѣчь не о томъ, какъ и что кѣмъ сдѣлано, но — сколько даютъ за штуку. Такое сужденіе неосновательно потому, что въ подобной, торгашеской атмосферѣ не могло бы раз-

виваться искусство вообще, и въ особенности такое искусство, благодаря которому въ Нюренбергѣ каждый домъ—настоящій музей. Затѣмъ, другое, уже нравственное объясненіе павшей на Ствоша кары заключается въ томъ, что художникъ согрѣшилъ гордостью. Приведены и доказательства его гордыни. Когда Длугошъ хотѣлъ причислить его къ своему гербу Вѣнява, то есть, приобщить художника къ шляхетству, то Ствошъ отвѣтилъ: «я, сударь, первый въ городскомъ кругу, а въ шляхетствѣ былъ бы я послѣдній». Далѣе, гордясь произведеніемъ своимъ—надгробнымъ памятникомъ королю Казимиру Ягеллону, художникъ, при открытіи этого памятника, не раздѣлялъ достаточно чувствъ оплакивавшаго умершаго короля народа и не проронилъ ни слезинки. Надо однако согласиться, что не каждый человекъ въ состояніи проливать слезы по востребованію. Что касается до отказа отъ дворянства, то всякъ признаетъ, что мастеръ Витъ поступилъ благоразумно. Шляхетство въ то время вовсе не было только достоинствомъ, отличіемъ, но составляло вмѣстѣ и военно-государственное призваніе, своего рода профессію, которая требовала, чтобы принадлежавшіе къ сословію посвящали свои силы обязанностямъ политическимъ, занятіямъ военнымъ и общественнымъ, и сверхъ того, не допускала, чтобы у нихъ въ рукахъ могли быть молотъ и рѣзецъ, чтобы они принадлежали къ цехамъ, словомъ, чтобы они занимались какимъ-либо мастерствомъ, хотя бы оно было и художество. Однимъ дворяниномъ стало бы больше, но зато мы не имѣли бы теперь гробницы короля Казимира и другихъ мастерскихъ произведеній Ствоша. Причины павшей на него кары остаются невыясненными, развѣ пришлось бы допустить, что истинная мысль автора заключалась въ томъ, что виною Ствоша было уже само желаніе для себя славы за художественное произведеніе, которое должно быть посвящено только славѣ церкви, отъ которой самъ художникъ воспріялъ свое вдохновеніе. Возьмемъ эпиграфъ поэмы: «крыломъ архангела взлетѣлъ бы

геній въ небо, еслибъ не стягивала его уздою гордость;» — сопоставимъ этотъ мотивъ съ нѣкоторыми другими стихами напр. «въ смиреніи генію дается вдохновеніе» или «благословенъ тотъ умъ, что Богу не хулилъ» (V. 328); отсюда видно, что Поль, какъ поклонникъ преданія, хотѣлъ бы, чтобы и мысль и чувство оставались на привязи; но при этомъ условіи геній уже не взлетитъ никакимъ крыломъ, тѣмъ менѣе—крыломъ архангела.

Однимъ словомъ, обрисовывая типъ великаго художника, Поль понялъ артистическое творчество слишкомъ односторонне, обратилъ все вниманіе на одинъ элементъ—преданіе, и упустилъ изъ виду другой элементъ творчества—новую, свободную и самостоятельную группировку рукою художника тѣхъ матеріаловъ, которые ему принесло преданіе. Художественное творчество беретъ свое начало снизу—въ работѣ и индивидуальномъ вдохновеніи лица, которое разламываетъ или разгибаетъ прутья клѣтки, называемой преданіемъ; затѣмъ, то, что имъ самимъ передумано и создано обращается въ свою очередь въ преданіе, войдя въ общую совокупность взглядовъ на искусство и его правилъ. И въ совокупности этой нѣтъ ничего такого, что въ свое время не представляло бы новизны, созданной смѣло и самостоятельно, а вовсе не «въ смиреніи», какъ то представлялось Полю. Общій нашъ выводъ о его поэмѣ «Витѣ Ствошѣ» можно выразить въ краткомъ опредѣленіи; мысль поэмы неясна и односторонняя, очертаніе характера самого героя слишкомъ туманно, такъ какъ онъ изображенъ не въ дѣйствіяхъ своихъ, а только въ произведеніяхъ; за то самые эти произведенія Ствоша поняты и объяснены поэтомъ съ замѣчательнымъ умѣньемъ, которое обнаруживаетъ въ немъ полного и несравненнаго, хотя и безпристрастнаго знатока среднихъ вѣковъ.

Приходя къ концу, я оставляю безъ разбора нѣсколько второстепенныхъ произведеній Поля: «Гетманскаго отрока», «Стрыянку», «Наводненіе», «Походъ подъ Вѣну» и «Старосту Кисляцкаго». Характерныя черты, указанные выше

въ произведеніяхъ лучшей поры его творчества, если только черты эти схвачены нами вѣрно, повторяются, въ разной степени, и въ вещахъ менѣе извѣстныхъ, менѣе сильныхъ, написанныхъ имъ въ старости. Полю — великій художникъ, съ талантомъ сильнымъ и своеобразнымъ, но не богатымъ идеями и одностороннимъ, такъ, что къ перво-степеннымъ поэтамъ Поля причислить нельзя. Ему недоставало гармоническаго развитія способностей, а также равновѣсія между мыслью и исполненіемъ. Будучи болѣе всего лирикомъ, Поль обладалъ и будетъ обладать особымъ обаяніемъ, такъ какъ никто сильнѣе его не выразилъ стремленія «горе», полета выше низменной дѣйствительности, среди которой протекла его жизнь и жизнь его современниковъ, порыва къ чему-то болѣе идеально совершенному—*excelsior, excelsior*. Взоръ его не выходилъ никогда за горизонтъ его народности и вѣры, которую онъ связывалъ съ народностью, любя ту и другую съ нѣкоторымъ шовинизмомъ и пренебреженіемъ ко всему лежащему внѣ ихъ. Отсюда происходитъ, что онъ—поэтъ исключительно польскій, малопонятный для иностранцевъ.

Горькія разочарованія и неоправдавшіяся надежды толкнули его въ область среднихъ вѣковъ, гдѣ онъ какъ бы окончательно поселился мыслью, не ожидая ничего отъ завтрашняго дня и убѣжденный, что все, что могло быть лучшаго уже миновало. Эта преднамѣренная отсталость взглядовъ Поля повліяла вредно на его современниковъ. Теперь вліяніе его ослабѣваетъ. Но если отбросить все, что во взглядахъ его и теоріяхъ представляется слишкомъ одностороннимъ и невѣрнымъ, то за нимъ останется та его великая заслуга, что онъ былъ внушавшимъ уваженіе стражемъ великихъ могилъ и дорогихъ останковъ, завѣщанныхъ прошлымъ; что ободрялъ онъ людей въ вѣрѣ, ибо самъ крѣпко вѣровалъ и съумѣлъ сдѣлать то, что далось очень немногимъ—извлечь изъ лиры своей звуки, напоминающіе арфу Давида, такъ они искренне и глубоко-религіозны. Не лишне будетъ,

въ заключеніе этуада, посвященнаго Полю привести одно изъ такихъ мѣстъ, стихи обращенныя «къ Богу:» «Измученный стою и трепетомъ объятый — Но Ты велѣлъ и я еще стою. По милости Твоей осиновый листокъ дрожащій—отъ страшныхъ болестей—вотъ образъ мой. Ты жизнь мнѣ далъ Твоей Господней волей.—И муки мнѣ Твоими даны крестомъ. — А третьимъ даромъ — ниспошли спасенье.—Ибо мой слѣдъ въ слезахъ весь и въ кровѣ.— Съ Тобою, Господи, не можетъ быть разчета.—Но послѣ мрака дай зрѣть, разсвѣтъ, ахъ дай! — И если гибели моей не хочешь Ты—О Господи! помилуй мя, помилуй!» Никто сильнѣе Поля не провозгласилъ великихъ истинъ, что «надо въ дому́ у себя стоять своей силой.— И въ вѣрѣ отцовъ, и въ родной одеждѣ (V 312)», и также что «Изъ рода въ родъ перейдутъ и Богъ, и память дѣлъ,—родное слово и родная совѣсть (V. 201)».

(Начало 1878 г.)

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

Содержаніе I тома.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Предисловіе.

~~~~~

|                                          | СТРАНИЦЫ. |
|------------------------------------------|-----------|
| I. Владиславъ Сырокомля . . . . .        | 1— 92     |
| II. Шекспировскій Гамлетъ . . . . .      | 93—125    |
| III. Мартинъ Матушевичъ . . . . .        | 127—201   |
| IV. Нѣсколько словъ о Кавелинѣ . . . . . | 203—207   |
| V. О Пушкинѣ, рѣчь. . . . .              | 209—213   |
| VI. Винцентій Ноль . . . . .             | 215—286   |

---



10

СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.



# СОЧИНЕНІЯ

## В. Д. СПАСОВИЧА

---

### Томъ II.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Байронъ и нѣкоторые его предшественники.—  
Мицкевичъ въ раннемъ періодѣ его жизни (до  
1830 г.) какъ байронистъ.—Пушкинъ и Мицке-  
вичъ у памятника Петра Великаго.—Байронизмъ  
у Пушкина.—Байронизмъ у Лермонтова.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Книжный Магазинъ Бр. Рымовичъ.  
Каванская, 26.

1889.



# Б а й р о н ъ

**И НѢКОТОРЫЕ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ.**





# Байронъ

И нѣкоторые его предшественники.

Въ «Посмертныхъ Запискахъ» Шатобріана есть нѣсколько любопытныхъ сужденій о лордѣ Байронѣ и еще болѣе любопытныя личныя жалобы, весьма примѣчательныя въ устахъ человѣка столь самолюбиваго и крайне-притязательнаго, какимъ былъ основатель французскаго романтизма <sup>1)</sup>. Шатобріанъ былъ безъ сомнѣнія искренно убѣжденъ, что ему лично принадлежала, по меньшей мѣрѣ, половина заслуги въ возстановленіи алтаря и упроченіи европейскихъ престоловъ подъ сѣнью этого послѣдняго <sup>2)</sup>. Серафическій авторъ «Мучениковъ» оцѣниваетъ весьма трезво вождя той поэтической школы, которую прозвали «демонической». На его взглядъ, ни Руссо, ни Байронъ не понимали искусства (VI. 194). Геній Байрона лишенъ чувствительности (V. 413). Въ немъ «соединялись постоянно поэтъ и актёръ (с'était toujours l'acteur et le poète (V. 348)). Байронъ выводитъ

---

<sup>1)</sup> II. 146 «Мною началась такъ называемая романтическая школа, съ тѣмъ переворотомъ, какой она произвела въ французской литературѣ».

<sup>2)</sup> V. 348 «правда, я бы могъ прискаты средства къ жизни; могъ бы обратиться къ монархамъ. Такъ какъ я все принесъ въ жертву ихъ коронамъ, то было бы довольно справедливо съ ихъ стороны кормить меня».

на сцену вѣчно одно и тоже лицо подъ разными названіями: Чайльдъ-Гарольда, Конрада, Лары, Манфреда и Гаура. Геній его не только не обширенъ, но даже довольно ограниченъ. Поэтическая мысль его — неболѣе, какъ глубокій стонъ скорби, жалоба, упрекъ, и въ этомъ смыслѣ она несравненна. Что касается его ума, то онъ «многостороненъ и саркастиченъ, но вызываетъ волненіе и вліяетъ вредно: авторъ зачитался Вольтеромъ и подражаетъ ему (П. 192)».

Невзирая однако на вольтеровскій сарказмъ (П. 188) Байрона, нѣкая сила духовнаго сродства влечетъ къ нему автора «Посмертныхъ Записокъ». «Онъ и я—вожди школъ англійской и французской, равные другъ другу, оба мы путешествовали по Востоку, пути наши встрѣчались, но мы съ нимъ никогда не видались. У насъ былъ общій запасъ идей (*un même fond d'idées*), сходная почти судьба, если не нравы». Шатобрианъ считалъ за Байрономъ вину по отношенію къ себѣ, имѣлъ на него претензію чистоличнаго свойства. «Ренѣ явился ранѣе Чайльдъ-Гарольда. Байронъ, который читалъ и цитируетъ всѣхъ современныхъ французскихъ поэтовъ, не могъ не знать меня; почему же онъ имѣлъ слабость—ни разу не упомянуть обо мнѣ (I)? Неужели же онъ боялся умалить себя въ глазахъ потомства, признавъ, что свѣтъ фонаря съ моей гальской ладьи (*le falot de ma barque gauloise*) указалъ кораблю Альбіона путь на неизвѣданныхъ дотолѣ моряхъ (поставлено въ «Запискахъ» подъ 1822 годомъ, т. е. еще при жизни Байрона)».

Эти сѣтованія Шатобриана вполне основательны. Байронъ не могъ не знать произведеній славнаго бретонца: есть даже положительное доказательство, что они не были ему незнакомы. Но самое это доказательство представляетъ характерный курьёзъ: единственный разъ, когда онъ упомянулъ о Шатобрианѣ («Мѣдный вѣкъ» XVI), Байронъ отозвался о немъ (по поводу конгресса въ Веронѣ) въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Тамъ мучениковъ въ книгахъ прославляетъ—Шатобрианъ, и онъ же,

вмѣстѣ съ тѣмъ, ведетъ, съ коварствомъ греческимъ, интриги, служба политикѣ татаръ непросвѣщенныхъ». Дѣло въ томъ, что именно одною изъ слабостей Байрона было, что онъ открыто чтить только такихъ поэтовъ, англійскихъ и иностранныхъ, въ сопоставленіи съ которыми онъ самъ не тратилъ. Такъ онъ превозносилъ Попа, хвалилъ и Мильтона, но сколько могъ умалчивалъ о Шекспирѣ. Немыслимо, чтобы Байрону были неизвѣстны «Атала», «Ренѣ» и хоть нѣкоторые эпизоды изъ «Генія христіанства». «Ренѣ», дѣйствительно, появился раньше Чайльдъ-Гарольда, и стало быть съ Ренѣ, а не съ Чайльдъ-Гарольдомъ (1801 г.) начался въ XIX вѣкѣ рядъ тѣхъ кипящихъ, бурныхъ, тревожныхъ духовъ, типъ которыхъ всего сильнѣе воплотился въ герояхъ Байрона, а впоследствии обносился и перешелъ почти-что въ карикатуру въ произведеніяхъ безчисленныхъ мелкихъ байронистовъ. «Всякій соплякъ въ школѣ сталъ воображать себя несчастнѣйшимъ изъ людей, каждый шестнадцатилѣтній ребенокъ думалъ, что уже исчерпалъ жизнь, изнывалъ, мучимый своимъ гениемъ, утопалъ въ пучинѣ мысли, предавался своимъ страстямъ и билъ себя въ блѣдное чело съ взъерошенными волосами, удивляя людей несчастіемъ, котораго назвать не умѣли ни они, ни онъ самъ (II. 262)». Оцѣнивая гораздо скромнѣе достоинство ихъ поэтическихъ произведеній, чѣмъ важность своихъ политическихъ дѣлъ, Шатобрианъ ставилъ себѣ въ заслугу то лишь, что вмѣстѣ съ Гёте въ «Вертерѣ» и съ Байрономъ, онъ высказалъ всепоглощающія, исключительныя страсть и несчастіе своей эпохи».

«Въ «Ренѣ»—говоритъ онъ (II. 262)—я выразилъ болѣзнь вѣка. Чувства великія, всеобщія, вмѣщающія въ себѣ суть человѣчества, каковы любовь родительская, любовь половая и дружба являются неисчерпаемыми. Чувства же разныхъ особенныхъ родовъ, какъ и индивидуализмъ ума и характера, не могутъ быть обобщаемы или хотя бы распространяемы. Тѣ малые уголки человеческого сердца, которые еще не были открыты—тѣ-

сны, такъ что съ этой нивы не соберешь многого послѣ первой же жатвы. Болѣзнь души не есть состояніе прочное и естественное, ея нельзя воспроизводить наново, ея не хватитъ на созданіе цѣлой литературы, изъ нея нельзя извлечь столько, какъ изъ чувства общечеловѣческаго, котораго проявленія могутъ быть безконечно измѣняемы обрабатывающими ихъ художниками и воспринимать постоянно новыя формы.» Но изъ этого же слѣдуетъ, что и самая слава тѣхъ писателей, которые изображаютъ не вѣчное содержаніе человѣческой души, а только болѣзни своего вѣка, не можетъ быть ни вѣчной, ни даже продолжительной. Шатобріанъ лично пережилъ свою славу и уже ему казалось, что слава Байрона угасаетъ, а слава Вольтера и совсѣмъ исчезла, такъ какъ «духъ вѣка постепенно слабѣетъ и угасаетъ, по мѣрѣ того, какъ намъ становится слышнымъ дыханіе вѣка новаго (V. 348)».

Несмотря на огромную разницу въ силѣ таланта, между Шатобріаномъ и Байрономъ есть умственное родство. Оба они шли во главѣ теченій вѣка въ извѣстную пору, оба изображали не нормальное состояніе человѣческой природы, но болѣзненные ея содроганія и конвульсіи, и сами являлись отчасти примѣромъ этой болѣзни, продолжительной, но всетаки проходящей, которая, однажды миновавъ, обыкновенно уже не повторяется. Господство такихъ умственныхъ владыкъ въ данный моментъ бываетъ сильно, безспорно и нераздѣльно, даже деспотично; но оно не вѣчно, оно приходитъ къ концу съ ослабѣніемъ дыханія ихъ времени. Нашему времени Шатобріанъ уже чуждъ; да и самъ Байронъ уже устарѣлъ въ большей части своихъ произведеній—пожалуй во всѣхъ—за исключеніемъ послѣднихъ двухъ пѣсенъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана. Предъявляя свое замолчанное Байрономъ право первородства въ извѣстномъ родѣ поэзіи, свою привилегію на открытіе типа героя XIX вѣка, Шатобріанъ указываетъ на сучекъ въ глазу Байрона, а въ своемъ глазу не видитъ цѣлаго бревна. Во всякомъ случаѣ родство между ними довольно отдален-

ное, не по прямой, а лишь по боковой линіи и основано на предположеніи, что Байронъ ранѣе, чѣмъ выступилъ съ Чайльдъ-Гарольдомъ, быть можетъ, проникся идеями автора «Ренé», высосалъ изъ нихъ хотя каплю своего меда (*Réné a pu l'apparenter à ses idées*), но Шатобрианъ не скрываетъ, что онъ самъ сроднился съ Оссіаномъ и Вертеромъ (II. 190).

Однакоже есть нѣкто, отъ кого и Шатобрианъ происходитъ въ прямой линіи, кого можно признать ближайшимъ предкомъ, даже умственнымъ отцомъ автора «Ренé», хотя послѣдній отрекался отъ него и если о немъ упоминалъ, то только какъ о родственникѣ дальнемъ, или свойственникѣ. Этотъ «нѣкто» — Ж. Ж. Руссо. «У Руссо — пишетъ Шатобрианъ — сквозъ прелесть слога пробивается нѣчто циничное, противное вкусу, обнаруживающее дурной тонъ (VI. 194)». Въ иномъ мѣстѣ: «19 іюня 1792 г. (по возвращеніи изъ Америки) я посѣтилъ долину Монморанси и Эрмитажъ Руссо; не потому чтобы я увлекался воспоминаніями о г-жи д'Эпинэ и объ искусственномъ, искаженномъ обществѣ того времени. «Но мнѣ хотѣлось распроститься съ уединеннымъ мѣстопребываніемъ человѣка, противнаго мнѣ по нравственнымъ началамъ, но одареннаго талантомъ, коего прелесть вліяла на меня въ юности (II. 8)». Тотъ плебей, за котораго Шатобриану, «пришлось бы краснѣть, если бы они встрѣтились въ обществѣ (VI. 194)», разросся среди XVIII столѣтія, какъ исполинское и раскидистое дерево, бросающее свою тѣнь еще и на половину XIX вѣка, потому что изъ его же сѣмянъ родился и такъ называемый «романтизмъ». Когда читаешь такія мысли: «имѣй сердце и вглядывайся въ сердце («Романтичность» Мицкевича)» или: «если чувствительное сердце находилось въ числѣ существъ, которыя Ты укрылъ въ ковчегъ и исхитилъ у потопа, если то сердце — не чудовище, сотворенное случаемъ, но никогда не созрѣвающее, если въ порядкѣ, установленномъ Тобой чувствительность не значитъ безпорядокъ»..... («Дядя» III часть) — то

здѣсь въ формѣ, напоминающей Байрона и его манеру, узнаешь сердце Жана-Жака Руссо. Впрочемъ и Густавъ, въ «Дзядяхъ», спрашиваетъ у священника: «отецъ, читалъ ли ты жизнь Элоизы?» И нынѣ, когда во Франціи третья республика, которую мы назовемъ республикой Гамбетты, колыхаемая бурей, задѣваетъ порою о подводныя скалы, нельзя не вспомнить, что самыми опасными изъ нихъ могутъ быть исчезнувшія еще преданія принципа якобинцевъ о возрожденіи людей къ состоянію свободы—посредствомъ насилій и принужденія. А каждое изъ такихъ преданій—не что иное, какъ одна изъ идей Руссо, передѣланная въ статью политической программы.

Этотъ величавый, широколиственный дубъ слѣдуетъ разсмотрѣть поближе всякому, кто хочетъ познать связь девятнадцатаго вѣка съ XVIII-мъ или хотя бы только изучить основные элементы, вошедшіе въ поэзію Байрона и другихъ замѣчательнѣйшихъ поэтовъ начала вѣка текущаго. Политическая сторона творческой дѣятельности Руссо не входитъ въ область нашего очерка; но прежде, чѣмъ приступить къ Байрону, мы должны нѣсколько остановиться передъ Ж. Ж. Руссо, къ которому восходитъ первый починъ въ возрожденіи европейскихъ литературъ послѣ сухаго, вполне рационалистическаго XVIII столѣтія.

## II.

Превосходную характеристику двора Людовика XIV, а вмѣстѣ и монархической Франціи того времени, даетъ Тэнъ (*Origines de la France contemporaine. Ancien Régime*, 133). «Мужчины и женщины, все — люди отборные, свѣтскіе, украшенные всѣмъ изяществомъ, какое могли дать происхожденіе, воспитаніе, богатство, праздность и наконецъ привычка. Малѣйшая подробность въ одеждѣ, каждое движеніе головы, каждый звукъ голоса и оборотъ фразы, все это—мастерскія произведенія свѣтской

культуры, дистиллированный спиртъ всякаго изыщества, какое только было въ состояніи произвести искусство общежитія. Городской міръ Парижа, какъ онъ ни былъ отшлифованъ, всетаки еще отдавалъ провинцію при сравненіи его съ дворомъ. Надо, говорятъ, употребить сто тысячъ розъ, чтобы добыть одну только унцію той розовой эссенціи, которая требуется для персидскаго шаха. Таковъ былъ и этотъ салонъ придворнаго свѣта: флакончикъ изъ хрустала и золота, но въ немъ былъ экстрактъ изъ всего человѣческаго произрастанія. Для того, чтобы его наполнить, надо было сперва всю эту аристократію пересадить въ оранжереи и выхолостить, чтобы она уже не давала плодовъ, а вся шла только въ цвѣтъ. Затѣмъ, требовалось еще очищенный сокъ этого цвѣта перегнать сквозь королевскій перегонный кубъ, такъ чтобы все содержаніе сока сосредоточилось въ нѣсколькихъ капляхъ аромата. Конечно, такой продуктъ обходился чрезвычайно дорого, но лишь съ подобными затратами возможно готовить самые утонченные духи».

Словомъ, это была чудовищная перестановка всѣхъ цѣлей и средствъ жизни; результатомъ такого процесса должна была явиться смерть отъ истощенія, и дѣйствительно, только великая революція 1789 года спасла общество отъ смерти этого рода. Революціи той не предвидѣли и не предчувствовали сами тѣ, кто приготовлялъ ее, а именно—писатели, посвятившіе многіе десятилетия своей муравьиной работы философствованію объ утѣсненномъ человѣчествѣ. Никогда писатель не былъ такъ мало обезпеченъ отъ преслѣдованія, какъ въ то время, а между тѣмъ, никогда вліяніе печатнаго слова не дѣйствовало столь сильно, какъ именно тогда, на умы и событія. Первая фаланга разрушителей, съ «королемъ» Вольтеромъ во главѣ, предприняла разломать и сравнять съ землей понятія, составлявшія самыя основанія прежняго строя, а потому она и устремлялась только на идеи; она вѣровала, что зло возможно превратить въ благо,

при помощи одного разсужденія и уничтоженія предразсудковъ. Силы штурмовавшихъ раздѣлились какъ бы по мановенію искуснаго стратега. Вольтеръ обратилъ всѣ свои удары на одинъ, центральный пунктъ — на авторитетъ церкви, провозглашая извѣстный свой окликъ—«*écoutez l'infâme*». Онъ былъ убѣжденъ, что лишь бы только удалось сбросить путы съ мысли и дать ей рациональную точку опоры, лишь бы утвердить свободу вѣрованія и безвѣрія, то все остальное уже придетъ само собой, при благорасположеніи философовъ-королей и государственныхъ людей. Вліяніе такъ называемаго «просвѣщенія» захватывало общество хотя и широко, но мелко, скорѣе скользило только по поверхности. Заключались союзы съ однѣми силами для того, чтобы преодолѣть другія и ко многому приходилось относиться снисходительно. А между тѣмъ, подъ внѣшними признаками культуры и свѣтскихъ условій, оставался тотъ же прежній, нисколько не возродившійся человѣкъ, съ разлагавшимся, червоточивымъ нутромъ; и тѣмъ онъ былъ опаснѣе, что уже не носилъ узды, не признавалъ болѣе идеи долга, выведенной изъ катехизиса и основанной на его началахъ. «Я уразумѣлъ — говоритъ Руссо («Признанія», кн. IX стр. 415) въ чемъ заключается нравственность г-жи д'Эпинэ, Дидеро и энциклопедистовъ. Нравственность эта содержитъ вся въ одной статьѣ—что человѣкъ обязанъ слѣдовать лишь влеченіямъ своего сердца, то есть дѣлать все, что ему нравится».

Этотъ мизантропъ, другъ уединенія, человѣкъ, котораго г-жа д'Эпинэ называла «*mon ours*», но котораго слѣдовало бы назвать Діогеномъ XVIII столѣтія, представилъ страшную характеристику историческаго и легкомысленнаго общества среди славной, но «рабской» націи. Вотъ какъ онъ опредѣляетъ человѣка въ тогдашнемъ обществѣ: «онъ начитанъ, подлъ, фальшивъ, исполненъ шарлатанства, много говорить, но ничего не скажетъ, весьма остроуменъ безъ всякаго таланта, богатъ словами, но въ идеяхъ бесплоденъ; онъ полированъ, съ вѣчнымъ



комплиментомъ на языкѣ, ловокъ и обманчивъ, онъ полагаетъ весь свой долгъ въ томъ, чтобы расписаться у кого слѣдуетъ, всю нравственность — въ фокусничествѣ, а человѣческое достоинство понимаетъ лишь въ кривляньѣ и поклонахъ («Новая Элоиза». IV).

Любитель нагой правды, Руссо негодуетъ на всеобщее лганье и торжествующую фальшь. «У каждаго есть тысяча выраженій, которыхъ не слѣдуетъ брать буквально, тысяча мнимыхъ предложеній, услугъ, дѣлаемыхъ только въ расчетѣ, что ими никто не воспользуется: пожалуйста, рассчитывайте на меня, располагайте моимъ вліяніемъ, моимъ кошелькомъ. Если бы все это было правдой, то наступилъ бы настоящій имущественный коммунизмъ, раздѣлъ имуществъ, быть можетъ болѣе равномѣрный, чѣмъ былъ въ Спартѣ. Но если не обращаясь къ этой подозрительной готовности услужить, будешь искать лишь просвѣщенія и знанія, то вѣдь здѣсь ихъ любимый источникъ. Разговоръ плыветъ естественно, онъ не тяжелъ и не пустъ, онъ наученъ безъ педантизма, веселъ безъ шума, округленъ, но безъ аффектаціи. Говорятъ всѣ, кто только имѣетъ что-нибудь сказать, но никто не углубляется въ вопросы, чтобы не наскучить, касаются вещей будто мимоходомъ и быстро отъ нихъ отдѣлываются. Въ выраженіяхъ — изящная точность, всякъ, высказавъ мнѣніе, мотивируетъ его въ нѣсколькихъ словахъ, никто не станетъ горячо оспаривать чужаго мнѣнія, ни упорно защищать свое. Пренія имѣютъ цѣлью лишь узнать что-нибудь новое, отъ спора люди воздерживаются; затѣмъ расходятся, пріятно проведя время и находясь въ хорошемъ расположеніи. Что-же, однако, можно вынести изъ такихъ бесѣдъ? Умѣнье защищать искусными аргументами ложь, выворачивать, при помощи философіи, всѣ основы нравственности, полагать посредствомъ тонкихъ софизмовъ собственнымъ страстямъ и предразсудкамъ, придавать заблужденію нѣкій модный фасонъ.. Когда человѣкъ говоритъ, у него проявляется и нѣкоторое чувство, но это чувство при-

надлежить не ему лично, а его одеждѣ, то есть зависить отъ того—носить-ли онъ парикъ, эполеты или наперсный крестъ, и вотъ сообразно тому, онъ будетъ поочередно говорить въ пользу правительственной власти или въ пользу инквизиціи («Новая Элоиза», II. 378. 14).—«Когда я вижу, какъ эти люди мѣняютъ убѣжденія, смотря по надобности, ползаютъ у министра, наслаждаются у недовольнаго, какъ они платятъ за обѣды остроуміемъ или лестью (I. 17), какъ человѣкъ залитый золотомъ жалуется на роскошь, финансистъ на подати, а прелать на безнравственность, какъ придворная дама толкуетъ о скромности, вельможа о добродѣтели, мошенникъ о религіи, и подобныя несообразности никого не поражаютъ,—то не принужденъ ли я предположить, что никто и не желаетъ ни слышать, ни говорить правду, ни въ самомъ дѣлѣ убѣдить тѣхъ людей, къ которымъ обращается, ни даже казаться передъ ними такимъ, какъ будто онъ самъ вѣритъ тому, что говоритъ (I. 16)?» «На меня—сознается Руссо—находить какой-то туманъ, я самъ, выходя изъ дому, запираю подъ влючъ свои чувства, мало по малу начинаю разсуждать такъ же, какъ всѣ прочіе. А когда пытаюсь стряхнуть предразсудки и видѣть вещи такими, какъ онѣ есть въ дѣйствительности, то меня тотчасъ побѣждаютъ доводомъ, имѣющимъ за себя какъ будто нѣчто дѣльное, а именно, что только полу-философъ заботится о существѣ вещей, истинный мудрецъ обращаетъ вниманіе лишь на наружный ихъ видъ, долженъ брать предразсудки за принципы, приличіе за законъ, и что величайшая мудрость—въ томъ, чтобы жить какъ сумасшедшіе (I. 17)».

Самъ по себѣ, раціонализмъ не только не былъ въ состояніи уничтожить прежній порядокъ вещей, но не смогъ даже и подсѣчь древа религіозныхъ вѣрованій, а только лишь обдиралъ съ него верхнюю кору, обманывая самъ себя, будто справился съ религіею тѣмъ, что представлялъ ее съ одной стороны предразсудкомъ, а съ другой фокусничествомъ. Съ теченіемъ времени, съ по-

вымъ поворотомъ въ умахъ, въ силу унаслѣдованныхъ вѣками впечатлѣній и усвоеннаго издавна привычнаго чувства, прежняя вѣра воцарилась бы снова, а съ нею вмѣстѣ возстановился бы и весь старый порядокъ, на ней основанный.

### III.

Геніальный чудакъ, чьи слова мы только что приводили, шелъ во главѣ второй колонны разрушителей, предпринявъ дѣло еще болѣе трудное, а именно—преобразовать не пошатнувшіяся уже и слабѣвшія понятія, но нѣчто крѣпкое какъ гранитъ, а именно—старыя привычки, исконные обычаи.

Чтоже представлялъ собою въ сущности тотъ новый элементъ, который Ж. Ж. Руссо внесъ въ литературу XVIII столѣтія? Вещь совсѣмъ особенную, которая являлась какъ будто нѣчто неизвѣстное — чувствительное сердце, подлинную и горячую страстность. Посредствомъ именно ея, онъ сразу измѣнилъ всю современную психологію и какъ бы начинилъ порохомъ всѣ тѣ подкопы и мины, какіе уже были подведены подъ существующій порядокъ. Психологія та еще была далека отъ той опытной, которую мы знаемъ, которая выходитъ изъ данныхъ физиологическихъ. Для Руссо чувство было основаніемъ всей душевной жизни, ея альфой и омегой. Здѣсь мы позволимъ себѣ сдѣлать еще нѣсколько выписокъ изъ сочиненій этого мыслителя. «Быть—говоритъ онъ—это значить чувствовать, чувствительность идетъ впереди познанія, мы ощущаемъ прежде, чѣмъ составляемъ себѣ понятія. Чувства и идеи, это—двѣ тождественныя вещи, и различіе между ними лежитъ лишь въ томъ, какимъ образомъ мы ихъ сознаемъ. Когда мы заняты какимъ-нибудь вѣшнимъ предметомъ и о себѣ думаемъ при этомъ лишь по рефлексіи, то это будетъ идея; когда же насъ занимаетъ самое впечатлѣніе, произведенное на насъ

предметомъ, а о немъ думаемъ только по рефлексіи, то это и есть чувство («Эмиль», IV. 326)».

«Жизнь не что иное, какъ рядъ ощущеній, обозначающихъ собою ходъ (succession) существованія («Признанія», VII. 243)». — «Чувству не предшествуетъ ничто, кромѣ натуры, то есть темперамента и того характера, какой изъ него истекаетъ («Нов. Элоиза» V. 521)». Если чувство, на взглядъ Руссо, не можетъ быть разложено на составные элементы, то это означало бы, что чувство есть нѣчто первобытное и цѣльное, и Руссо, дѣйствительно, допускаетъ что чувство у человѣка — врожденное. «Примѣ мамка ударила пласиваго ребенка, который и замолчалъ; вотъ будетъ низкая душа, подумалъ я, но ошибся. Несчастный ребенокъ только задохнулся отъ злости, посинѣлъ, но потомъ началъ пронзительно кричать, выказывая всѣ признаки гнѣва и отчаянія. И вотъ, если бы я еще сомнѣвался въ томъ, что чувства справедливости и несправедливости прирождены человѣческому сердцу, то уже одинъ этотъ примѣръ убѣдилъ бы меня въ томъ («Эмиль» I. 43)».

Когда столь сложный, почти конечный продуктъ жизни, какъ справедливость, признанъ свойствомъ врожденнымъ, чѣмъ-то непосредственно очевиднымъ, а не требующимъ доводовъ, то тѣмъ уже открытъ путь для доказательства и самого бытія Божія — исключительно чувствомъ, посредствомъ ряда такихъ соображеній, которыя идутъ не изъ Декартова *cogito ergo sum*, но изъ принципа *éxister c'est sentir*, а заходятъ впослѣдствіи — до религиозныхъ восторговъ Юліи, до исповѣданія вѣры савойскаго викарія, до естественной религіи, почерпаемой въ чистомъ источникѣ совѣсти, въ сердцѣ, очищенномъ отъ предразсудковъ и не признающемъ ни внѣшняго авторитета, ни откровенія. Словомъ, это было полное ослѣпленіе теоріи. Руссо, стало быть, только вынималъ изъ теологической формы изгоняемую имъ въ дверь, но возвращающуюся въ окно — ту же традиціонную вѣру, хотя отрѣзанную отъ исторіи, очищенную отъ примѣсей

второстепенныхъ и оспариваемыхъ, но всетаки собранную въ нѣсколько догматическихъ пунктовъ, съ признаніемъ верховнаго Существа и безсмертія души, а впрочемъ основанную уже только на соображеніяхъ свойствъ этического и эстетическаго <sup>1)</sup>). Вотъ этотъ-то инстинктъ сердца, повелѣвающій вѣровать въ Бога, и былъ тѣмъ непрочнымъ кораблемъ, въ которомъ хранилась традиціонная религія, подъ именемъ религіи естественной, и носилась по разлившимся водамъ философскаго раціонализма и атеизма въ концѣ прошлаго столѣтія. Когда воды потопа опали, то всѣ предводители новаго поворота—въ смыслѣ традиціонной вѣры—и вышли изъ этого ковчега, опираясь на Руссо и черпая въ его взглядахъ (начиная съ Шатобріана и нѣмецкихъ романтиковъ и оканчивая на Мицкевичѣ). Инстинктъ не былъ въ этомъ случаѣ обманчивъ, такъ какъ никакое вѣрованіе, хотя бы наименѣе естественное, не можетъ быть искоренено однимъ умствованіемъ, а продолжаетъ держаться тысячею корней, проникшихъ въ ту глубину души, которая недоступна никакой аргументаціи. Но самъ путь разсужденія былъ вполне ошибоченъ и обманчивъ, такъ какъ указанъ онъ былъ безусловно—слѣпымъ проводникомъ. Чувствительность была демономъ Руссо, продѣлывала съ нимъ разныя штуки въ продолженіи всей его жизни и была похожа на мифологическаго Эроса, изображавшагося крылатымъ, но съ повязкой на глазахъ. Остановимся нѣсколько на свойствахъ этой, крайне оригинальной, но по природѣ своей болѣзненной организаціи.

---

<sup>1)</sup> «Если душа переживаетъ тѣло, то это уже свидѣтельствуетъ о Провидѣніи. Еслибы безсмертіе души удостовѣрялось только торжествомъ въ этомъ мірѣ злого и утѣсненіемъ добраго, то уже и одинъ этотъ фактъ не позволялъ бы мнѣ сомнѣваться. Столь разительный диссонансъ въ міровой гармоніи побуждалъ бы меня пріискать для него разрѣшеніе».

IV.

Сильнѣйшая и слишкомъ рано пробужденная впечатлительность, неудержимая чувственность, горячій и сладострастный, но не увлекающійся темпераментъ, очень медленное и никогда не приходящее въ пору мышленіе, наконецъ, слабость воли—вотъ черты, какимъ обрисовалъ себя самъ Жанъ-Жакъ въ своихъ «Признаніяхъ» (III. 98). Родившись въ мѣстности сельской, гористой, въ области, гдѣ снѣжныя вершины Альпъ отражаются въ свѣтло-голубыхъ водахъ Леманскаго озера, Руссо, болѣе чѣмъ кто-либо въ XVIII в. былъ посвященъ въ тайну чувствованія красотъ природы. Онъ былъ счастливъ лишь въ уединеніи и въ непосредственномъ общеніи съ природою, которою упивался до экстаза. Безграничный этотъ натурализмъ и это индійское поклоненіе жизни природы, во всѣхъ, безъ всякаго исключенія, проявленіяхъ ея, окрашивались весьма сильнымъ у Руссо половымъ стремленіемъ. Его упоеніе природою имѣло характеръ эротическій. Руссо всегда былъ однако болѣе любострастенъ въ воображеніи, нежели въ поступкахъ <sup>1)</sup>).

Когда онъ въ своемъ Эрмитажѣ, имѣя уже 44 года отъ роду, писалъ «Новую Элоизу», то сознается что его по цѣлымъ днямъ въ мысли постоянно окружалъ цѣлый сераль знакомыхъ гурій <sup>2)</sup>). Среди подобнаго «упоенія безпредметной любовью», сблизился онъ съ m-me д'Удето. Она повѣряла ему свою страсть къ Сен-Ламберу, а ему показалось, что передъ нимъ явилась живою та Юлія, о которой онъ мечталъ, и онъ воспламенился страстью.

---

<sup>1)</sup> «Я весьма мало обладалъ, но наслаждался много по своему, т. е. въ воображеніи («Призн.» I. 13)».

<sup>2)</sup> «Во мнѣ кровь загорается и дрожитъ какъ пламя; голова кружится, несмотря на сѣдющіе уже волосы (IX. 377)».

Острое впечатлѣніе послѣдней любви и послѣдняго поцѣлуя осталось въ немъ на всю жизнь <sup>1)</sup>.

Слабые отголоски этой страсти отразились въ письмахъ четвертой части «Новой Элоизы». «Кто при чтеніи тѣхъ писемъ — говоритъ Руссо — не смягчится, чье сердце не будетъ тронуто и не растаетъ въ томъ волненіи, которое ихъ продиктовало, тотъ пусть закроетъ книгу, такъ какъ онъ неспособенъ быть судьей въ дѣлѣ чувства (388)». Авторъ могъ сказать и о самомъ себѣ, въ извѣстномъ смыслѣ, то, что написалъ въ одномъ изъ посланій Юліи (I. 92): «любовь—вотъ главное дѣло моей жизни, поглощающее всѣ остальные» <sup>2)</sup>. Есть разные роды любви. Пламенная и разнузданная чувственность нашла наиболѣе сильное для себя выраженіе въ изыщномъ и аристократическомъ типѣ Донъ-Жуана. Влюбчивость Руссо сопровождалась особыми условіями: крайней застѣнчивостью, недостаткомъ предприимчивости и затѣмъ, сильно развитымъ эстетическимъ чувствомъ, которое очищало и самыя похоти, пережигало все грязное и изъ амальгамы высшихъ и низшихъ инстинктовъ выдѣляло частицы чистаго золота. Въ интимныя отношенія съ женщиной онъ былъ посвященъ поздно, а именно на 20-мъ году <sup>3)</sup>, искусству любви онъ учился у женщинъ, но имѣя уже 31 годъ и будучи секретаремъ французскаго посла въ Венеціи, Руссо слышалъ отъ куртизанки Джуліетты такой обидный отзывъ: *lascia le donne e studia la matematica* <sup>4)</sup>. Въ любви Руссо былъ поэтомъ, съ чувствомъ этимъ у него всегда соединялись элементы нравственности. «Я всегда вѣрилъ—говоритъ онъ—что добро, это

---

<sup>1)</sup> «Одинъ этотъ пагубный поцѣлуй разжигалъ мнѣ кровь, голова моя путалась, дрожавшія колѣни едва меня поддерживали; весь мой механизмъ былъ въ непостижимомъ разстройствѣ; я былъ близокъ къ обмороку («Призн.» IX 394).

<sup>2)</sup> «Мы не можемъ жить долго, переставъ любить».

<sup>3)</sup> Г-жа Варенсъ; «въ первый разъ я былъ въ объятіяхъ женщины («Призн.» V. 174).

<sup>4)</sup> Брось женщинъ и займись математикой.

красота въ дѣйстви, что добро и красота свойственны хорошо устроенной натурѣ, что душа, чувствительная къ прелестямъ добродѣтели, въ равной степени способна чувствовать и всѣ иные роды красоты («Нов. Эл». I. 47). Страсть облагораживается чрезъ возвышенное чувство <sup>1)</sup>: любящіе перестаютъ быть одинъ для другаго обыкновенными людьми, чувствуютъ къ себѣ не похоть, но именно любовь. Не сердце идетъ за чувственностью, оно наоборотъ управляетъ послѣднею, самый моментъ самозабвенія прикрываетъ чудесными покровами. Безнравственъ только развратъ съ его грубостью («Н. Эл». I. 120).

Какъ предъ истиннымъ, живымъ чувствомъ исчезаетъ чувство поддѣльное, то, что обыкновенно называется чувствомъ на разговорѣ свѣтскихъ людей, чувство облеченное въ общія мѣста морали и перегнанное сквозь аппаратъ тончайшей метафизики («Н. Эл». II. 223),—такъ точно съ появленіемъ «Новой Элоизы» (1761 г.), важнѣйшаго изъ произведеній Руссо, нанесенъ былъ ударъ приторной «галантности», которая показалась смѣшной и ничтожной, а вмѣсто нея вдругъ получилъ господство страстный, экзальтированный сентиментализмъ, правда нѣсколько декламаторскій, но тѣмъ не менѣе могучій, потрясавшій нервы, какъ нѣкій электрическій ударъ. Въ періодѣ крайней испорченности и среди общества, состоявшаго по наружности изъ людей совершенно эгоистичныхъ, которымъ каждый маленкій отзывъ или признакъ сильнаго впечатлѣнія казались примѣтами низкаго происхожденія и дурнаго воспитанія, среди холодныхъ развратниковъ и гастрономовъ, появился вдругъ пришлецъ, который сталъ нарушать условныя формы, попираетъ свѣтскія приличія, открыто прославлять такія понятія и свойства, которыя заботливо укрывались и тѣми, кто ихъ имѣлъ, какъ-то: святость брака, привязанность къ семьѣ и семейныя добродѣтели, и самое даже

---

<sup>1)</sup> «Для чувствительнаго сердца все превращается въ чувство («Н. Э». V. 544)».



цѣломудріе, столь трудное для людей здоровыхъ и страстныхъ, притомъ же—цѣломудріе не по заповѣди или закону, но просто по голосу высшей природы, по чувству достоинства, по страсти къ «добродѣтели», то есть по стремленію къ нравственной красотѣ. Намъ нѣкоторыя изъ сценъ въ «Новой Элоизѣ» могутъ казаться слишкомъ чувственными, но это была одна изъ наиболѣе нравственныхъ книгъ безнравственнаго XVIII вѣка; она начинала собой реакцію противъ испорченности, посредствомъ возвышенія наиболѣе охранительныхъ элементовъ жизни.

Можно еще сказать, что многое въ этомъ произведеніи неестественно, что на свѣтѣ не бываетъ людей столь совершенныхъ какъ Юлія, лордъ Бомстонъ и мужъ Юліи Вольмаръ, который, зная, что она до брака «любила Сен-Прё и что любовь ихъ не угасла, беретъ однако Сен-Прё къ себѣ и поручаетъ ему воспитаніе своихъ дѣтей, въ увѣренности, что Юлія не нарушитъ супружескаго долга. Но тѣмъ болѣе великъ талантъ автора, если, выводя на сцену людей, несогласныхъ съ дѣйствительностью, онъ тѣмъ не менѣе заставляетъ насъ полюбить ихъ, какъ будто бы они были живыми и увлекаетъ насъ къ нравственному имъ подражанію. Искусство у Руссо въ самомъ дѣлѣ не реально, но затѣмъ только силой таланта автора и можно объяснить то очарованіе и то огромное вліяніе, какія онъ производилъ на современниковъ. Руссо въ своихъ «Признаніяхъ» самъ объясняетъ тайны своего творчества, обусловленные его умственной организаціею, къ особенностямъ которой мы и должны присмотрѣться поближе.

## V.

«Страсти у меня были живыя — говоритъ Руссо — а мышленіе дѣйствовало медленно, какъ будто бы умъ мой и сердце принадлежали двумъ разнымъ людямъ. Чувство, какъ молнія, пронизываетъ меня и ослѣпляетъ.

Чувствую сперва и не вижу, мнѣ нужно время, чтобы нѣсколько остыть, прежде чѣмъ буду въ состояніи думать. Отсюда — необычайная трудность въ сочиненіи. Держа перо въ рукѣ, я не въ состояніи ничего придумать и мысли я раскапываю въ мозгу только во время уединенныхъ прогулокъ или въ постелѣ, въ безсонныя ночи. Случалось мнѣ иной періодъ переворачивать въ головѣ пять или шесть ночей, прежде чѣмъ онъ могъ быть написанъ» («Признанія». III. 98), Руссо не дѣлалъ себѣ никакихъ письменныхъ помѣтокъ, убѣдившись, что память его дѣйствуетъ лишь настолько, насколько онъ полагается на нее; какъ только онъ что-нибудь записалъ, то тотчасъ и забывалъ (VIII. 309). Память онъ имѣлъ превосходную, но мыслительный снарядъ дѣйствовалъ крайне вяло. «Я — хорошій наблюдатель — говоритъ онъ — но въ первую минуту не сознаю явственно, не проникаю въ смыслъ того, что при мнѣ говорится или дѣлается и дѣлаюсь умненъ только по воспоминанію. Сперва на меня дѣйствуетъ лишь внѣшняя форма. Только впоследствии все упорядочивается, я припоминаю себѣ мѣсто, время, тонъ, взглядъ, жесты и обстановку. Вотъ тогда только изъ того, что людьми говорилось или дѣлалось, я дохожу до того, что они въ дѣйствительности думали и рѣдко ошибаюсь» («Призн.» 99) — «Когда я началъ читать (философовъ), то взялъ себѣ за правило усваивать ихъ идеи, не примѣшивая своихъ и не обсуждая. Такимъ образомъ, у меня составилъ цѣлый запасъ идей, вѣрныхъ или ошибочныхъ, но ясныхъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ накопился капиталъ изъ такихъ приобрѣтеній, достаточный для того, чтобы я уже могъ обходиться своимъ умомъ и мыслить безъ чужой помощи» («Пр.» VI. 210).

На Руссо нисколько не оправдалось правило, что каковъ человекъ съ колыбели, такимъ и останется на всю жизнь, что юность навсегда отчеканиваетъ типъ человека. Умственное созрѣваніе его шло крайне медленно. Та искра, которая однажды только въ юности

скверкнеть—блеснула передъ нимъ въ 1749 году, когда ему было 37 лѣтъ и когда онъ предпринялъ писать на тему, заданную дижонскою академіею для конкурса: содѣйствовали-ли успѣхи въ наукахъ и искусствахъ улучшенію или порчѣ нравовъ <sup>1)</sup>. За лучшее свое произведеніе — «Новую Элоизу», онъ принялся въ 1761 г., когда ему было уже 49 лѣтъ, и передъ тѣмъ имъ не было еще написано ничего, что заслуживало бы прочной славы. Трудно даже понять ту безпримѣрную медленность процесса мышленія, тѣмъ болѣе, что во всѣхъ произведеніяхъ Руссо ходъ мыслей прозраченъ, логиченъ, ясенъ, свободенъ отъ всякой запутанности, какъ впрочемъ у всѣхъ великихъ французскихъ писателей XVIII столѣтія.

Руссо вовсе не былъ философомъ, а только—несравненнымъ популяризаторомъ; его мышленіе не было ни философствованіемъ, т. е. выработкою сухихъ отвлеченностей, ни научнымъ изслѣдованіемъ, т. е. систематизированіемъ большаго запаса свѣдѣній. «Читать мало, но хорошо усваивать, дѣлать малыя извлеченія изъ большихъ библіотекъ» — вотъ правила Руссо для ученія («Н. Э.» I. 45). Историческаго смысла онъ былъ совершенно лишенъ, какъ вообще всѣ люди XVIII в., которые выводили ходъ и законы человѣческаго развитія геометрическимъ приемомъ, изъ произвольныхъ и ошибочныхъ предположеній, не заботясь о согласіи съ фактами и нерѣдко принимая слова за факты. Вотъ, напр. одинъ изъ взглядовъ Руссо на исторію («Н. Э.» I. 48): «есть страны, которыхъ исторію могутъ читать только дипломаты или глупцы. Есть народы, лишенные физіономіи, которые, стало быть, не нуждаются въ живописцахъ, и правленія, лишенные характера, которымъ не нужны историки». Конечно, можно сказать, что у Руссо была философія — его деизмъ, и что политическимъ филосо-

---

<sup>1)</sup> «Эта минута рѣшила мою гибель. Вся остальная моя жизнь и мои несчастія были неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этой минуты заблужденія».

фомъ онъ является въ «Общественномъ договорѣ». Но ни деизмъ Руссо не представлялъ собой ничего новаго, ни основанія «Общественнаго договора», заимствованныя частью у Гоббса, частью у Локка.

Мышленіе Руссо не было ни философскимъ, ни научнымъ, но—артистическимъ. Идеи въ его сочиненіи, это—образы, притомъ образы, не только выдающіеся рельефно, но и согрѣтые чувствомъ. Поэтому, ему и нужно было продолжительное время, чтобы взятую имъ блѣдную идею онъ могъ разогрѣть, преобразить въ плодъ своего воображенія, положить на нее его собственныя краски, словомъ, сдѣлать ее художественною и вылить въ соотвѣтствующей формѣ. «Идеи движутся у меня въ головѣ—говорить онъ—приходятъ въ броженіе, волнуютъ и воспаляютъ меня, вызываютъ сердцебіеніе» («Призн. III. 98) — «мое сердце погружается съ необыкновенной силою въ представленіе себѣ предмета, который его привлекаетъ» (87)—«Въ дурноустроенной головѣ моей, вещи отражаются такими, каковы онѣ есть, но украшать я могу лишь тѣ, которыя самъ творю, то есть только то, что мною выдуманно. Я повторялъ сто разъ, что былъ бы въ состояніи изобразить типъ свободы, если-бы меня засадили въ Бастилью» («Призн.» IV. 151). Съ предшествующимъ согласно и то, что Жанъ-Жакъ сдѣлался филантропомъ только тогда, когда перессорился почти со всѣми и бѣжалъ изъ Парижа въ Монморанси. «Когда я уже не видалъ людей, то пересталъ презирать ихъ, когда злые уже не были предо мной, я пересталъ ненавидѣть, а только оплакивалъ ихъ несчастіе, забывая о ихъ злости, («Пр.» IX. 308)». «Не будучи способенъ обнимать существа реальныя, я бросился въ среду химеръ. Не видя въ дѣйствительности ничего такого, что бы было достойно безграничнаго моего увлеченія (délire), я питалъ его въ мірѣ идеальномъ, къ торый населилъ существами, бывшими мнѣ по-душѣ. Я позабылъ о человѣчествѣ и составилъ общество изъ созданій совершенныхъ, какихъ никогда не было. Мнѣ было

такъ привольно въ этомъ эмпиреѣ, что я проводилъ тамъ часы и дни безъ счета; не помня объ остальномъ, я отрывался отъ этого міра развѣ чтобы наскоро съѣсть чего нибудь и тотчасъ убѣгалъ снова въ мои рощи» («Призн». IX. 378).

Въ польской литературѣ есть произведеніе, которое чрезвычайно сильно запечатлѣно поэтическимъ духомъ Руссо, воспроизводитъ тотъ же типъ человѣка, живущаго чувствомъ и мечтою. Это—IV-я часть «Дзядовъ» Мицкевича, гдѣ являются самоубійца Густавъ и отшельникъ. Густавъ влюбленъ въ образы, явившіеся ему въ сновидѣніи, онъ не выноситъ скучнаго исхода дѣлъ земныхъ, пренебрегаетъ существами обыденными, ищетъ чего-то такого, что вовсе не существовало подъ солнцемъ, а создавалось лишь изъ пѣны воображенія, воспринимая мимолетный образъ подъ дуновеніемъ горячей мечты. Различіе между Руссо и Мицкевичемъ здѣсь—въ томъ, что состояніе души Густава самъ поэтъ представляетъ болѣзненнымъ, психопатическимъ, какъ будто у души его вывихнулись крылья и уже не могутъ нести ее внизъ, между тѣмъ, какъ Руссо, когда лишь мечталъ о нравственной красотѣ, то полагалъ, что тѣмъ самымъ достигалъ самого высокаго нравственнаго совершенства, что становился добродѣтельнымъ уже въ силу одного своего идеальнаго наслажденія идею добродѣтели. «Чувства мои—говоритъ онъ—быстро настроились на тонъ моихъ мыслей; мелкія страсти были подавлены увлеченіемъ истиной, добродѣтелью, свободой. Все это воспламененіе длилось лѣтъ четыре или пять («Призн.» XIII. 309)». «Дотолѣ я былъ только добрымъ, съ тѣхъ же поръ сталъ добродѣтельнымъ или, по меньшей мѣрѣ, упоеннымъ добродѣтелью. Это упоеніе, начавшееся въ головѣ, перешло потомъ въ сердце; не было того великаго и прекраснаго въ чувствахъ человѣческихъ, къ чему я не былъ бы способенъ. Отсюда тотъ небесный огонь въ первыхъ моихъ сочиненіяхъ, котораго до 40 лѣтъ не было малѣйшей искры, такъ какъ до того вре-

мѣни онъ еще не былъ зазженъ. Я истинно такъ измѣнился, что меня нельзя было узнать. Пренебреженіе, внушенное мнѣ продолжительнымъ размышленіемъ о правахъ, принципахъ и предразсудкахъ моего времени, дѣлало меня нечувствительнымъ къ насмѣшкамъ людей, и остроты ихъ я раздавливалъ своими приговорами, какъ бы давилъ пальцами насѣкомыхъ (IX. 369). Нельзя однако не замѣтить, что подобныя перемѣны происходятъ лишь по наружности, и что дѣйствительные подвиги такимъ путемъ не совершаются, такъ какъ, при отсутствіи сильной воли, нѣтъ того сосуда, въ которомъ они бы могли возникнуть. И добродѣтель не можетъ существовать въ одномъ воображеніи, не проявляется однѣми краснорѣчивыми сентенціями.

Въ жизни человѣкъ этотъ отличался неумѣлостью, порою уступалъ движеніямъ низкимъ, за которыя его потомъ грызла совѣсть, поддавался нерѣдко всѣмъ побужденіямъ страсти, неразъ, можно сказать, валялся въ грязи. Поразительныя его признанія въ такихъ грѣхахъ, обнаженіе язвъ души напоказъ людямъ—представляли собой, быть можетъ, скорѣе цинизмъ и кичливость, нежели истинное смиреніе <sup>1)</sup>). Единственными несомнѣнно хорошими качествами, какими Руссо отличался отъ начала до конца, были отвращеніе къ обману и щепетильная авторская независимость, доходившая до странности, до рѣшенія не извлекать изъ писательства никакихъ средствъ для жизни <sup>2)</sup> и до оскорбленія тѣхъ, которые искренно хотѣли оказать ему услугу. Но рядомъ съ этими качествами обнаруживались въ немъ нравственныя язвы, даже нравственныя преступленія, которыхъ нельзя было изгладить,

---

<sup>1)</sup> «Съ этой книгой въ рукѣ я предстану предъ всевышнимъ судьей. Скажу громко: вотъ что я дѣлалъ, что думалъ, чѣмъ былъ... пусть кто другой скажетъ если посмѣетъ: я былъ лучше этого человѣка («Приван.» I. 2).

<sup>2)</sup> «Еслибы я сталъ писать, чтобы кормиться, то это погасило бы мой духъ и убило бы мой талантъ, родившійся единственно отъ возвышеннаго и гордаго образа мыслей».

которые, по показанію самого Руссо, оставались не искупленными, такъ какъ являлись и послѣ того момента, когда онъ воспламенился любовью къ добродѣтели и будто бы сталъ добродѣтельнымъ, послѣ того, какъ произошло его мнимое преображеніе <sup>1)</sup>), которое было столь неглубоко, такъ поверхностно, что по мнѣнію этого человѣка, стоило ему лишь покаяться открыто въ тѣхъ винахъ, чтобы очиститься отъ нихъ въ глазахъ людей и онъ удивлялся, что его же попрекають тѣмъ, въ чемъ онъ самъ признался.

Психологія Руссо, выведенная имъ изъ наблюдений надъ собой, носила въ себѣ тѣже пробѣлы и недостатки, какими отличался онъ самъ. За основной принципъ она принимала главенство чувства надъ разумомъ, но вовсе не принимала въ расчетъ воли и продукта воли—характера, въ смыслѣ какихъ-либо признанныхъ правилъ для дѣйствія. Такая психологія не предчувствовала того принципа, который выше всего поставили послѣдующія поколѣнія, явившіяся въ XIX столѣтіи, а именно, что и небо, и земля свидѣтельствуютъ о правдѣ словъ человѣческихъ, такъ — говоря словами польскаго поэта Гоцинскаго — «какъ о сердцѣ — летъ высокій, какъ о мысли—подвигъ смѣлый, о пророка пѣсняхъ—время, какъ объ истинѣ—вся вѣчность». «Возьмемъ еще одно сравненіе изъ «Дядювъ» Мицкевича. Его Конрадъ знаетъ, что чувство можетъ сжечь то, чего мысль не сломить, и вотъ, Конрадъ видитъ въ этомъ чувствѣ оружіе, но чувство свое онъ накапливаетъ, сосредоточиваетъ, замыкаетъ его желѣзными обручами воли, чтобы, когда придетъ

---

<sup>1)</sup> «Обдумывая мой трактатъ о «Воспитаніи», я долженъ былъ сознать, что неисполнилъ обязанностей, отъ которыхъ ничто не могло меня разрѣшить. Мое раскаяніе было столь сильно, что почти вызвало у меня публичное признаніе моей вины въ началѣ «Эмиля». Послѣ того, какъ я самъ высказалъ это, удивительно, что люди рѣшились упрекать меня въ томъ же («Призн.» XII. 328)». «Третьяго моего ребенка я помѣстилъ въ воспитательный домъ, какъ и первыхъ двухъ, также и двухъ слѣдующихъ, такъ какъ дѣтей у меня было пятеро».

время, оно вспыхнуло какъ зарядъ и ударило въ цѣль. У Руссо, наоборотъ, нѣтъ ничего похожаго на желѣзную волю и динамитъ, представляемый чувствомъ, онъ держалъ въ красивой бумажной оберткѣ, какъ бы не опасаясь взрыва, но и не заботясь о цѣли, для какой онъ нуженъ.

А взрывъ, въ самомъ дѣлѣ, послѣдовалъ, и былъ тѣмъ болѣе силенъ и опустошителенъ, что послѣдствія эти не были преднамѣрены. Взрывъ этотъ разносилъ все кругомъ, сильнѣе всякой артиллеріи, производя такое же бѣдствіе, какое наносятъ разнузданныя стихіи природы. Столь разрушительное дѣйствіе вліянія Руссо на умы объяснялось уже не какими либо особенностями въ процессѣ его творчества, но самымъ содержаніемъ его идеаловъ, тѣми соками, какіе его чувственная организація извлекала изъ своего времени и своего общества. Идеалы Руссо потому пріобрѣли славу, успѣхъ, вліяніе, потому произвели послѣдствія, что въ нихъ отразились главные стремленія того времени, получили выраженіе непреодолимыхъ его потребности. Выше мы указали на тѣ элементы въ произведеніяхъ Руссо, которые представлялись консервативными и реакціонными по отношенію къ философическому XVIII вѣку; теперь намъ остается указать у него же такіе элементы, которые вызывали движеніе впередъ и революцію.

## VI.

Дѣла во Франціи шли прямо къ страшному перевороту. Застой длился столько, что уже дѣло не могло обойдись безъ общаго потрясенія. Преданіе стало ненавистно все цѣликомъ и съ нимъ хотѣли порвать всякую связь, люди пытались отрубить свое время отъ исторіи. Сливались въ одну колоссальную волну, которая должна была смести съ лица земли дворянско-католическую монархію Бурбоновъ, три великихъ движенія, которыя обыкновенно



происходили отдѣльно и дѣйствовали даже взаимно-враждебно. Здѣсь подавали себѣ руки: конституціонализм на англійскій образецъ, демократизмъ и соціализмъ. А жизнь Руссо была такова, что онъ могъ быть орудіемъ всѣхъ этихъ трехъ движеній. Служа отчасти конституціонализму («Общественный договоръ», 1751 г.), отчасти соціализму («Разсужденіе о причинахъ неравенства между людьми», 1754 г.), Руссо однако, главнымъ образомъ, явился знаменосцемъ демократіи; для нея онъ послужилъ истиннымъ выраженіемъ и сосудомъ; онъ разпространялъ не только демократическія идеи, но самый инстинктъ и духъ демократизма, стремленіе къ демократическому равенству, страстный порывъ къ оборонѣ всего низшаго и слабаго, и вмѣстѣ—сплоченіе во едино съ другими, влеченіе къ массѣ, борьбу во имя ея противъ всякаго преимущества, даже противъ преобладанія ума и таланта <sup>1)</sup>).

Плебей, почти сирота, съ дѣтства не имѣвшій чѣмъ жить, пролетарій, хватавшійся за всякія занятія, бывшій лакеемъ и бродягою, гражданинъ малой, экономной республики и протестантъ, хотя довольно равнодушный, такъ какъ въ 16 лѣтъ онъ принялъ католицизмъ, чтобы получить работу, а въ 42 года снова сдѣлался протестантомъ изъ соображеній политическихъ <sup>2)</sup>—вотъ чѣмъ былъ Руссо, по своему состоянію и званію. Онъ извѣдалъ всякую нужду и униженіе, но нисколько не приобрѣлъ охоты выбраться изъ среды людей темныхъ, неразвитыхъ, бѣдныхъ и усѣсться среди аристократовъ, философовъ и богачей. Онъ и романы свои кончилъ—Терезою

---

<sup>1)</sup> «Неразъ я потѣлъ, преслѣдуя бѣгомъ или камнями какого-нибудь пѣтуха, корову, собаку, словомъ животное, которое дѣлало зло другому животному, потому только что было слабѣе послѣдняго. Когда читаю о жестокостяхъ тирана, о тонкихъ злодѣяніяхъ духовнаго лица, то охотно поѣхалъ бы, чтобы пырнуть ихъ кинжаломъ, хотя бы мнѣ грозили сто смертей» («Призн». I. 15).

<sup>2)</sup> «Желая быть женеvскимъ гражданиномъ, я долженъ былъ возвратиться къ вѣроисповѣданію господствующему въ моей странѣ» («Призн.». VIII. 346).

Левассеръ, героинею, которая никакъ не могла запомнить сколько мѣсяцевъ въ году («Призн.» VII. 291). Принимая иногда даровой кусокъ хлѣба отъ бѣдныхъ, Руссо узналъ и такую ихъ черту («Призн.» IV. 144): «онъ далъ мнѣ понять, что скрывалъ свой хлѣбъ, чтобы избѣгнуть общественнаго сбора, пряталъ свое вино, чтобы не платить съ него налога, и что онъ бы совсѣмъ пропалъ, если бы перестали думать, что онъ умираетъ съ голоду. Таково было — прибавляетъ Руссо — сѣмя развившейся въ моемъ сердцѣ неугасимой ненависти къ притѣсненію бѣднаго люда и къ его притѣснителямъ». Къ этому присоединились: потребность дѣйствія, разжигательное вліяніе литературы XVIII ст., великія воспоминанія о временахъ древнихъ республикъ, переданные Плутархомъ отголоски дѣлъ возвышенной доблести и самопожертвованія — та закваска геройства и добродѣтели, которую, по отзыву Руссо, ему привили «отецъ, родина и — Плутархъ» («Призн.» VIII. 313). Древностью онъ восхищался до такой степени, что изгналъ бы деньги, какъ Ликурзь, искусства и театръ, какъ Платонъ, ибо «не для того сотворена земля, чтобы давать какой-нибудь горсти расточителей возможно-большія выгоды, но для того, чтобы прокармливать возможно большее число скромныхъ и умѣренныхъ людей («Нов. Эл.» IV. 404)». Въ концѣ концовъ, доброе сердце имѣетъ безконечно большую цѣнность, чѣмъ самый проникательный умъ. Эта глубокая мысль получила огромное распространеніе; она же отражается у польскаго поэта, въ 3-й части «Дзядовъ» въ жалобѣ, съ которой Конрадъ обращается къ Богу: «Ты мыслямъ отдалъ пользованіе міромъ, а сердце держишь въ вѣчномъ покаяннѣ».

Изъ всей этой тлѣвшей массы мыслей, которыя бродили въ умѣ и сердцѣ Руссо, выдѣлилась искра столь яркая, что онъ положительно ослѣпился ею и вотъ, онъ сталъ фанатическимъ глашатаемъ идеи, казавшейся ему новою: идеи возвращенія назадъ отъ цивилизаціи, возвращенія человѣка къ состоянію первобытному, на лоно

природы <sup>1)</sup>. Изъ рукъ Творца выходитъ только благое, но это благое вырождается въ рукахъ человѣка, которыя все извращаютъ, искажаютъ, дѣлаютъ чудовищнымъ. «О, еслибы возможно было предоставить человѣка самому себѣ отъ самаго его рожденія; среди-же общества—предразсудки, авторитетъ, необходимость, примѣръ, учрежденія заглушать въ немъ природу и будетъ онъ какъ кустикъ на дорогѣ, растаптываемый ногами прохожихъ» («Эмилъ» I. 5). Отсюда истекаетъ основное для человѣка правило: живи согласно съ природою (II. 61), а для всего человѣчества такое поученіе: воспитывайте людей въ согласіи съ природою, такими, какими ихъ сотворилъ Богъ, а не такими, какими ихъ дѣлаетъ общество. Правда, есть одно, значительное препятствіе, о которое можетъ разбиться все это разсужденіе, а именно: собственная семья, свой домъ, свой край, примѣры великихъ людей, великихъ самопожертвованій на пользу своего народа, хотя бы по тому же Плутарху, ускоренное бѣненіе сердца и подъемъ духа при произнесеніи однихъ именъ Рима, Аѳинъ, Термопилъ, всосанная самимъ Руссо съ молокомъ матери привязанность къ учрежденіямъ города Женевы. Вотъ какъ онъ передаетъ въ «Признаніяхъ» подъ 1757 годомъ свое впечатлѣніе при осмотрѣ славнаго римскаго акведука Пон-дю-Гаръ, близъ Нима: «я терялся среди этого колосса какъ мелкое насекомое, чувствовалъ нѣчто возвышавшее мой духъ и повторялъ про себя, вздыхая: зачѣмъ я не родился римляниномъ!»

Люди XVIII в. придавали меньшее значеніе положительнымъ фактамъ, чѣмъ мы нынѣ; разсуждали они прямолинейно, а если поперекъ линіи ихъ мысли становился фактъ, то они или просто перескакивали чрезъ этотъ фактъ, или разрѣзывали его бритвой. «Это было ужъ давно — говоритъ Руссо — это не имѣетъ ника-

---

<sup>1)</sup> «Все въ человѣческихъ учрежденіяхъ есть сумасбродство и самопротиворѣчіе» («Эмилъ», II. 61).

кого отношенія къ людямъ, каковы они теперь («Эмиль» I. 9). Римскій гражданинъ—то не былъ Кай или Луцій, а только римлянинъ; самое отечество его было чѣмъ-то особеннымъ, а онъ—какъ бы вещью къ этому отечеству принадлежавшею. «Но мы должны имѣть въ виду чело-вѣка отвлеченнаго, подлежащаго всѣмъ случайностямъ человѣческой жизни». Большая, но всетаки частная (отечественная) связь отчуждаетъ отъ связи общей (все-человѣческой). Чѣмъ общественныя учрежденія совершеннѣе, тѣмъ болѣе они чело-вѣка искажаютъ, сообщая ему существованіе относительное, вмѣсто безотносительнаго и перенося его я—въ данную связь общественную. Тотъ, кто врожденное чувство хочетъ довести до высшаго развитія — въ строѣ гражданскомъ, тотъ самъ не знаетъ что ему желательно и не годится ни на что, не сдѣлается ни чело-вѣкомъ, ни гражданиномъ, а будетъ только нѣчто такое, какъ вообще современные люди — французъ, англичанинъ, буржуа, словомъ—ничтожество. Общественныя учрежденія уже не существуютъ и существовать не могутъ, потому что уже нѣтъ болѣе отечества и не можетъ быть гражданъ. Оба эти слова: отечество и гражданинъ должны быть выкинуты изъ словарей (I. 8—10). Надо сдѣлать выборъ между гражданиномъ или чело-вѣкомъ, слѣдуетъ готовить личность съ дѣтства не къ какой-либо профессіи, но къ чело-вѣческому состоянію (I. 11), въ условіяхъ полнаго равенства.

Но предположенное возвращеніе къ природѣ встрѣчалось и съ препятствіями свойства логическаго. Въ силу соображеній чисто-эстетическихъ, деистъ Руссо былъ убѣжденъ, что въ природномъ состояніи все было и есть совершенно, какъ оно вышло изъ рукъ Творца, что испорчено все только чело-вѣкомъ, вслѣдствіе роковаго для него дара того же Творца, а именно — привитой его нравственному существу свободной воли, которая есть начало и источникъ нравственнаго зла («Нов. Эл.» V. 549). Отсюда — неутѣшительный выводъ, что для

человѣка свобода вредна, отсюда близко къ теологическому воззрѣнію, что человѣкъ, по крайней мѣрѣ послѣ изгнанія изъ рая—нравственно искаженъ и золь и что добрымъ онъ можетъ дѣлаться лишь дѣйствіемъ благодати, которая или ему сообщается чрезъ церковь, по ученію католическому, или же изливается отъ Бога непосредственно и необъяснимымъ образомъ, на избранниковъ, согласно ученію кальвинистовъ.

Ни того, ни другого изъ этихъ воззрѣній не могъ раздѣлять Руссо, во-первыхъ, потому, что онъ былъ не богословъ, а только эстетикъ, во-вторыхъ и по той еще причинѣ, что подъ именемъ Бога онъ разумѣлъ и обожалъ собственно природу, какъ совершенство, что за исходную точку нравственности онъ принималъ наивысшую степень сочувствія, любви къ ближнему, словомъ то, что мы нынѣ называемъ чувствомъ альтруистическимъ въ первобытномъ состояніи, и наоборотъ — наивысшее развитіе эгоизма предполагалъ въ состояніи цивилизаціи. Руссо принужденъ былъ выпутаться искусственнымъ образомъ изъ этихъ логическихъ сѣтей, поставивъ такія положенія, что въ состояніи природы проявляется и наибольшая степень свободы, и безвредность такой свободы. Такой фокусъ умственной эквилибристики Руссо совершилъ съ легкимъ сердцемъ литератора XVIII вѣка, для котораго слово было равнозначуще съ фактомъ, такъ что при игрѣ словами, казалось, что предметами дѣйствія служатъ самыя вещи и понятія о вещахъ. «Величайшее благо — говорить нашъ философъ — есть свобода, а не господство, но воленъ только тотъ, кто для исполненія своей воли не имѣетъ нужды представлять къ своимъ рукамъ чужія руки. Этотъ вольный человѣкъ хочетъ лишь того, что можетъ, а дѣлаетъ только то, что ему нравится» («Эмилъ» II. 64). И такъ, сводъ власти разрушится, общественный механизмъ распадется среди наступающей анархіи, скристаллизованная, твердая масса общественнаго тѣла разсыплется на атомы, лишенные связи и взаимодѣйствія.

Подобная цѣль всего человѣческаго развитія, указанная Руссо, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ нашимъ нынѣшнимъ идеаламъ счастья и свободы. Наоборотъ, степень прогресса и усовершенствованія нынѣ измѣряются степенью возрастанія той зависимости, въ какой каждый находится отъ всѣхъ, условіемъ, чтобы каждая личность извлекала возможно болѣе средствъ изъ окружающей ее среды и, въ свою очередь, приносила наиболѣе услугъ другимъ частицамъ той же среды, однимъ словомъ—возможно бѣльшимъ количествомъ услугъ взаимныхъ. Въ предположеніи обратномъ, не могли бы быть достаточно обезпечиваемы и физическія потребности человѣка, не говоря уже объ удовлетвореніи потребностей умственныхъ. Для того, чтобы поддерживать то природное, непривлекательное состояніе, которое Руссо выдавалъ за наилучшее, для того, чтобы послѣ разрушенія всей цивилизаціи, не допустить повторенія факта возникновенія цивилизаціи новой, какъ двѣ капли воды похожей на прежнюю, недостаточно было бы человѣчеству стряхнуть съ себя всѣ приобрѣтенія цивилизаціи, учрежденія и такъ называемые предразсудки, но еще требовалось бы измѣнить и самую природу человѣка, нѣсколько обрубить ее и выстругать, словомъ подправить. Вотъ съ этого пункта и начинается для философа-реформатора совершенно новая работа—перевоспитаніе человѣчества, призваніе педагогическое.

## VII.

Счастливое состояніе человѣка, оцѣнка имъ своей доли зависятъ, сверхъ немногихъ данныхъ (здоровье и довольство собою), главнымъ образомъ отъ того отношенія, въ какомъ находятся между собою его желанія и его сила. Уменьшить его желанія—все равно, что увеличить его силу (III. 169). Если устранимъ тотъ излишекъ желаній, который является выше размѣра силъ,

если уравниваемъ волю и мощь, то достигнемъ того, что у человѣка всѣ силы будутъ въ движеніи, но душа останется спокойной, и значитъ, человѣкъ окажется тогда благоустроеннымъ («Эмилъ» II. 58). Желанія зависятъ отъ потребностей, а потребности, по мѣрѣ умственнаго развитія человѣка, разрастаются до безконечности, которую трудно даже опредѣлить, а стало быть невозможно, казалось бы, и сдержатъ искусственно эти потребности. Но, по мнѣнію Руссо, выходитъ, наоборотъ, что такъ какъ дѣйствительный міръ имѣетъ границы, а воображеніе ихъ не имѣетъ, то мы, не будучи въ состояніи раздвинуть границы перваго, должны стѣснять второе («Э.» II. 59). Откажемся отъ чрезмѣрнаго знанія и ограничимся небольшимъ запасомъ такихъ свѣдѣній, которыя въ самомъ дѣлѣ пригодны для того, чтобы насъ сдѣлать болѣе счастливыми, станемъ учиться не всему, что существуетъ, а только тому, что полезно (II. 171). Подобное преобразованіе человѣка можетъ совершить государство посредствомъ воспитанія. Каждый человѣкъ является тѣмъ, чѣмъ его сдѣлало свойство существующаго въ его странѣ правленія, все въ основаніи зависитъ отъ системы политики («Призн.» IX. 357). Всякій изъ насъ состоитъ въ зависимости, прежде всего, отъ природы, то есть, отъ свойства своей личной натуры, затѣмъ — отъ вещей, то есть отъ законовъ той же природы, управляющихъ нашей средой, и, наконецъ, отъ другихъ людей, въ смыслѣ единичномъ и собирательномъ, то есть, отъ общества, нравовъ и учреждений («Эмилъ». I. 7; II. 65). Первые два вида нашей зависимости не имѣютъ ничего общаго съ нравственностью и не производятъ развращенія; только послѣдній видъ зависимости порождаетъ всѣ недостатки и служитъ источникомъ всякой испорченности. Единственнымъ средствомъ къ исправленію могло бы быть установленіе надъ всѣми умами такого безличнаго и отвлеченнаго устава, который былъ бы такъ же силенъ и непреодолимъ, какъ законы природы физической, вслѣдствіе чего, наша за-

висимость отъ людей превратилась бы въ одну зависимость отъ вещей.

Для осуществленія такого идеала, людей во всемъ государствѣ слѣдуетъ воспитывать согласно со взглядами философа и посредствомъ этого воспитанія, перечеканить ихъ наново, какъ то дѣлается съ монетой, подрѣзывая имъ крылья и развитіе ума, упрощая ихъ желанія, однимъ словомъ, механически принижая человѣческую душу до извѣстнаго, невысокаго уровня. Въ 1757 г. Руссб, которому было уже 45 лѣтъ, началъ, въ промежуткѣ между своимъ трактатомъ для дижонской академіи и «Новою Элоизой», писать разсужденіе о «Матерьялизмѣ мудреца» или о «Нравственности по чувству». Разсужденія этого онъ не окончилъ, но крайне-любопытная основная его мысль послужила автору канвой для «Эмиля». Умственный складъ нашъ въ высшей степени зависимъ отъ первыхъ впечатлѣній извнѣ; климатъ, свѣтъ, краски, движеніе, спокойствіе, пища вліяютъ на нашъ организмъ, а чрезъ него на душу, на выработку чувствъ и понятій, стало быть и на наши дѣйствія. Отсюда слѣдуетъ, что и сообщеніе намъ соотвѣтствующихъ впечатлѣній могло бы быть заключено въ цѣлой системѣ внѣшнихъ пріемовъ, направленныхъ къ удержанію души въ такомъ состояніи, которое ее наиболѣе располагало бы къ добродѣтели. При помощи такихъ пріемовъ, можно производить въ душахъ чувства, которыя впослѣдствіи будутъ управлять людьми («Призн.» IX. 361).

Таково нездоровое, болотистое устье быстрого теченья философіи Руссб. Къ несчастію, именно эта-то психологическая доктрина, этотъ психологическій матеріялизмъ, это понятіе о душѣ, какъ о мягкомъ воскѣ, который, въ рукахъ мудреца - политика, можетъ быть вытѣпливаемъ въ любую форму, пріобрѣла наибольшее вліяніе, сдѣлавшись сперва стѣнбобитной машиной въ рукахъ революціонеровъ, а потомъ — главнымъ орудіемъ реакціи противъ революціонныхъ идей, наступившей въ XIX в. Какъ французскіе якобинцы, такъ и доктринеры позднѣй-



шихъ, правительственныхъ реакцій, согласно укладывали человека на желѣзное Прокрустово ложе своихъ собственныхъ мечтаній, не хотѣли допустить, чтобы онъ остался какимъ его сдѣлала природа и исторія, но намѣревались пересоздать его по-своему и притомъ—такъ, чтобы онъ позволилъ управлять собою безъ сопротивленія. Идеи Руссо, какъ справедливо замѣтилъ Джонъ Морли, въ цѣнномъ своемъ трудѣ о Жанѣ-Жакѣ (2-е изд. 1878 г.),—таковы, что или не производятъ на читателя никакого впечатлѣнія, или порождаютъ фанатиковъ, такъ какъ имѣютъ по наружности точность—почти математическую, которая ослѣпляетъ людей, неспособныхъ дѣлать различія между словами и дѣйствительностью. Идеи эти запали въ умы столь глубоко, что даже до настоящаго времени мы еще не можемъ разстаться съ вытекшими изъ нихъ послѣдствіями—съ якобинской традиціей въ политикѣ, съ усиліями, направленными къ обрѣзыванію, къ перекройкѣ человѣческаго ума для прививки ему нѣкоторыхъ убѣжденій, той или другой вѣры, хотя бы и не откровенной, а философской. На этомъ мы покончимъ съ Руссо, такъ какъ его «Общественный договоръ» не входитъ въ рамки нашей задачи. Замѣтимъ лишь, мимоходомъ, что «Contrat social»—вещь наименѣе оригинальная, представляющая собой лишь плохую передѣлку теорій Гоббса («Leviathan») и Локка («On civil government»).

## VIII.

Приходимъ къ выводу и общей характеристикѣ. Тѣмъ, что Тэнъ называетъ «преобладающимъ свойствомъ» (*faculté maîtresse*), было у Руссо господство чувства, которое ярко окрашивало всѣ продукты его мышленія, всѣ даже отвлеченныя сужденія этой головы, работавшей быстро, умѣло и логично. Вотъ, на этой-то его необузданной и невлаждующей собою чувствительности, ко-

торая однако не дѣйствовала на него такъ, чтобы мысли свои онъ переводилъ въ дѣйствіе, на этой чрезмерной чувствительности играли, какъ на золотой арфѣ, всѣ исторіею выработанныя вожделѣнія, всѣ пламенные потребности, порывы впередъ и стремленія той бурной эпохи, которая боролась какъ Титанъ съ давившимъ ее, вѣками нагроможденнымъ бременемъ.

Этотъ опьяненный чувствомъ пророкъ демократіи могъ разсуждать тѣмъ отважнѣе, что XVIII вѣкъ былъ еще бѣденъ дѣйствительно-научными методами и средствами, а литературная отдѣлка и ловкость въ діалектикѣ принимались за знаніе, вообще же господствовала дедукція прямо изъ головы, а не изслѣдованіе истины чрезъ наблюденіе фактовъ. Съ самоувѣренностью лунатиковъ, мыслители прохаживались по самымъ возвышеннымъ верхамъ, шагали чрезъ пропасти—простымъ переходомъ отъ одной гипотезы къ другой, не заботясь о критикѣ, объ обоснованіи выводовъ, довольствуясь символами и словами, вмѣсто вещей. Ж. Ж. Руссо и представляется величайшимъ изъ этихъ лунатиковъ XVIII столѣтія; онъ велъ людей за собою къ перекресткамъ дорогъ и къ пропастямъ, отъ которыхъ путниковъ предостерегли бы, въ вѣкъ болѣе научно и критически образованномъ, уже противорѣчія въ понятіяхъ самого путеводителя. Ихъ предостерегло бы отъ слѣпаго увлеченія уже хотя бы одно то обстоятельство, что Руссо, принявъ за точку отправленія—личное чувство, то есть нѣчто наиболѣе свободное и неподдающееся правиламъ, пройдя затѣмъ сквозь анархію мнимаго «природнаго состоянія», заканчивалъ свою теорію величайшимъ деспотизмомъ, какой только возможно было придумать, хотя деспотизмъ этотъ онъ и окрашивалъ предположеніемъ о волѣ большинства, о самодержавіи народной массы.

Руссо былъ воплощеніемъ демократіи, не только по своимъ инстинктамъ, идеямъ и чувствамъ, но по и поразительнымъ контрастамъ и непоследовательности въ понятіяхъ. Надо однако прибавить, что онъ воплощалъ въ

себѣ не идеальный образъ истинной демократіи, такой, который бы соотвѣтствовалъ ея основному принципу, но ту фizioномію, какую демократія имѣла при своемъ исходѣ изъ средневѣковаго Египта, земли плѣненія, когда демократія не особенно думала о свободѣ, но очень много о приведеніи всего къ одному уровню, когда она уже сознавала свою силу, но еще сохраняла привычку подчиненія и готова была подчиниться всякому вождю, готова была дать ему осѣдлать себя и нести его на своей спинѣ. Вотъ эту-то демократію Руссо и представляетъ собой, выражая ея инстинкты и потребности, какъ въ томъ, чѣмъ онъ содѣйствовалъ революціи, такъ и въ томъ, что онъ подготовилъ для реакціи, а наконецъ и въ томъ еще, что онъ охранилъ религіозное вѣрованіе и не позволилъ современнымъ ему прогрессистамъ искоренить изъ сердца народа не только господствовавшую вѣру, но и самое чувство религіозное, которое они уже осудили и собирались упразднить. Въ ковчегѣ его «врожденной религіи», чувство это переплыло чрезъ волны новаго потопа и затѣмъ, въ XIX вѣкѣ, ступило вновь на сушь твердою ногой; однимъ словомъ,—что идеалы не сдѣлались полной добычею поверхностнаго философскаго нигилизма.

## IX.

Заканчивая нашъ этюдъ о Руссо, какъ объ одномъ изъ главнѣйшихъ писателей XVIII столѣтія, прибавимъ еще нѣсколько словъ, посвященныхъ уже не содержанію его произведеній, но ихъ внѣшней формѣ, особенностямъ и качествамъ его слога. «Писатель живетъ только своимъ слогомъ» — сказалъ знавшій толкъ въ этомъ дѣлѣ Шатобріанъ <sup>1)</sup>. Въ отношеніи формы, Руссо принадле-

<sup>1)</sup> «Произведеніе, составленное наилучшимъ образомъ, исполненное совершенствъ будетъ мертворожденнымъ, если не имѣетъ стиля. Стиль приобрѣсти нельзя, это — даръ свыше, это — талантъ.» («Посмертн. Зап.» II. 177).

жалъ къ такъ называемой классической французской школѣ XVIII вѣка, въ которомъ писали болѣе прозою, чѣмъ стихами, писали много, занимались популяризирова­ніемъ знанія. По литературному роду, къ кото­рому относится главное произведеніе Руссо, «Новая Элоиза», онъ принадлежитъ къ категоріи тѣхъ романи­стовъ, у которыхъ самая фабула разсказа и ходъ при­ключеній занимаютъ мѣсто второстепенное, а главное содержаніе состоитъ въ изложеніи и оттушевкѣ чувствъ дѣйствующихъ лицъ. На этомъ полѣ Руссо имѣлъ уже предшественника, конечно, уступавшаго ему много по таланту, а именно англійскаго романиста Ричардсона («Памела». 1740 г. «Кларисса Гарлоу» 1749 г.).

Въ этомъ родѣ—чувствительнаго романа безъ при­ключеній, безъ всякаго драматизма, состоящемъ изъ пи­семъ, страстно разбирающихъ разные социальные вопросы или анализирующихъ одни только чувства дѣйствующихъ лицъ, сообразно съ перемѣнами въ ихъ положеніи, Руссо явился новаторомъ не по отношенію къ формѣ, но именно по содержанію тѣхъ понятій и чувствъ, которыя онъ изложилъ съ такимъ жаромъ и такой мощью, что са­мое появленіе его произведенія въ свѣтъ обозначило собой начало новой эпохи. Новыя понятія, выраженные въ литературной формѣ, въ горячихъ словахъ, непре­мѣнно разрушаютъ и старыя формы, замѣняютъ ихъ новыми, хотя не вдругъ и даже не скоро. Проходитъ иногда долгое время прежде, чѣмъ въ литературѣ, хотя уже и проникнутой новымъ духомъ, старыя формы от­жившей школы уступятъ мѣсто новой школѣ, которая представляетъ собой разцвѣтъ растенія, давно уже по­крывшагося листьями и почками. По отношенію ко вре­мени, о которомъ здѣсь рѣчь, такой новый разцвѣтъ литературы произошелъ уже гораздо позднѣе, въ эпохѣ такъ называемаго романтизма. Но тотъ, кто хочетъ из­слѣдовать новую школу не только въ окончательномъ моментѣ ея развитія, когда она уже господствовала без­раздѣльно, но въ самомъ ея началѣ, тотъ долженъ изу­

читать именно ея почки. Въ такомъ смыслѣ можно говорить и о романтизмѣ у классиковъ, какъ Эмиль Дешанель («О романтизмѣ классиковъ». Парижъ, 1883 г.). И вотъ, съ этой точки зрѣнія, Руссо является, несомнѣнно, первымъ изъ романтиковъ, внесшимъ смѣтеніе въ подстриженные сады и размѣренные на циркуль формы классицизма, внесшимъ туда элементъ субъективный, разрушительное броженіе, личную раздражительность, которая безпрестанно проявляется, то въ чувствительности, доходящей до слезъ, то въ патетическихъ порывахъ. Руссо внесъ въ тотъ міръ борьбу противъ условности, рѣшительное намѣреніе не быть «какъ всѣ» («Н. Э.» 226).

Руссо создалъ, во второй половинѣ XVIII столѣтія, идеальный типъ чловѣка съ сердцемъ. Хотя позднѣйшія поколѣнія должны были настроеніе его назвать преувеличеннымъ сентиментализмомъ, а его самого—экальтивированнымъ энтузіастомъ, но не подлежитъ сомнѣнію, что имъ были выражены съ наибольшей рельефностью нравственное состояніе и темпераментъ его времени, и что на этомъ образцѣ воспитались всѣ великіе поэты послѣдующаго вѣка, всѣ главные представители романтизма. Изъ нихъ каждый прочувствовалъ «Новую Элоизу», испыталъ на себѣ возбужденный ею электрическій токъ, потрясшій всю его нервную систему, а нѣкоторые изъ нихъ и повторили вынесенныя изъ нея впечатлѣнія, видоизмѣнивъ ихъ, согласно съ собственнымъ темпераментомъ. Такимъ образомъ, Руссо стоитъ въ тѣсной связи съ самой исторіей романтизма и вліяніе этого писателя простирается далѣе 1820 года, доказательствомъ чему могутъ служить, между прочимъ, приведенныя уже мѣста изъ «Дядювъ» Мицкевича. Прослѣдимъ же непосредственное и заразителное дѣйствіе того духа, какимъ запечатлѣно главное произведеніе Руссо—на исполинахъ мысли и искусства въ Европѣ, стоящихъ на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій.

## Х.

Аккуратный, какъ часы, доцентъ философіи въ кенигсбергскомъ университетѣ, Иммануиль Кантъ, однажды отказался отъ обычной послѣобѣденной прогулки. Причиной такого безпримѣрнаго случая неаккуратности было то обстоятельство, что Кантъ зачитался «Новой Элоизой» и не могъ отъ нея оторваться. «Эмиль» и «Общественный договоръ» оказали вліяніе на философію Канта, который втеченіи всей жизни былъ горячимъ поклонникомъ Руссо<sup>1)</sup>. Въ философіи Канта, какъ въ фокусѣ оптического стекла, сходились всѣ разбросанные лучи XVIII вѣка, идея государства, построеннаго на чемъ-то въ родѣ общественнаго договора, вѣрованіе въ три нумены не могущіе быть доказанными: въ душу, міръ и Бога, категорическія, безусловныя велѣнія воли: ты обязанъ поступать такъ, а не иначе. Все это—элементы, довольно близкіе къ врожденной религіи Руссо, только понятыя глубже, обоснованные и развитые при помощи такихъ методовъ умозаключенія, которыхъ Руссо и не предугадывалъ.

По общему мнѣнію всѣхъ критиковъ и историковъ литературы, въ прямой линіи отъ «Новой Элоизы» происходятъ «Страданія юнаго Вертера» Иог. Вольф. Гёте. Въ это, какъ и въ другія, значительнѣйшія свои произведенія, Гёте вставилъ отрывки изъ автобіографіи и личныхъ воспоминаній. Находясь на службѣ въ Ветцларѣ (1772), Гёте влюбился въ Шарлотту Буффъ, которая могла платить ему только дружбою, такъ какъ была невѣстой его пріятеля Кестнера. Не безъ чувства боли вырвался Гёте изъ Ветцлара, гдѣ пребываніе стало ему однако не по силамъ, вслѣдствіе неудовлетворенной любви и раздражавшаго его вида обрученныхъ. Въ концѣ того же 1772 года, въ Ветцларѣ застрѣлился товарищъ Гёте,

---

<sup>1)</sup> Windelband. Die Geschichte der neuen Philosophie (1880. 11, 26).

молодой Ерузалемъ, изъ пистолета, которымъ его ссудилъ Кестнеръ. Причинами этой смерти были униженія, какимъ молодой человекъ подвергся въ дипломатической карьерѣ и безнадежная любовь. Изъ этихъ двухъ образовъ, т. е. изъ себя и Ерузалема, Гёте составилъ, въ 1774 году, когда уже совсѣмъ излѣчился отъ любви къ Лоттѣ—одно лицо, Вертера. Лотта Буффъ, возвышенная до идеала женской красоты, сдѣлалась Лоттою Вертера, а на долю Кестнера выпала несовсѣмъ благодарная роль мужа Лотты—Альбрехта. Конецъ романа взять цѣликомъ и буквально изъ описанія Кестнера о катастрофѣ съ Ерузалемомъ. Такова была довольно обыкновенная, неказистая, сѣрая канва, на которой гениальная рука Гёте расписала цѣлую трагедію, трогательную, полную слезъ, которая была переведена на всѣ языки и обошла весь свѣтъ.

Герой разсказа, Вертеръ, есть нѣсколько видоизмѣненное воспроизведеніе типа, изобрѣтеннаго Руссо. Сен-Прё, это—старшій братъ Вертера, а юнѣйшимъ братомъ послѣдняго является Густавъ Мицкевича, въ IV части «Дядювъ». Отъ С.-Прё до Вертера, отношеніе между средой и дѣствующей въ ней личностью еще ухудшилось; несчастный мечтатель, созданный для возвышенныхъ порывовъ, ежеминутно бьется головой объ стѣну и является истымъ узникомъ тѣхъ тѣсныхъ рамокъ, въ какія онъ заключенъ нестерпимыми общественными условіями. «Что за монотонная вещь родъ людской—пишетъ Вертеръ. Большинство почти все свое время посвящаетъ на приобрѣтеніе средствъ къ жизни, а тѣ крохи свободы, какія имъ еще остаются, такъ ихъ пугаютъ, что люди употребляютъ всѣ средства дабы отъ нихъ избавиться»... «Когда смотрю на препоны, въ которыхъ стѣснены дѣятельныя и созерцательныя силы человека, то убѣждаюсь, что силы эти поглощаются удовлетвореніемъ потребностей, немѣющихся иной цѣли, кромѣ продленія этого жалкаго существованія, а затѣмъ вижу, что по всѣмъ вопросамъ, какіе открыты для человѣческой пытливости, всякое

успокоеніе возможно только какъ отреченіе отъ мечты, что человѣкъ просто рисуеъ себѣ яркіе образы и свѣтлые виды на стѣнахъ, среди которыхъ онъ сидитъ въ заключеніи»... «Боже, сущій въ небѣсахъ! Тобою судьба людей такъ устроена, что человѣкъ бываетъ счастливъ лишь пока не наберется разума или когда его уже потерялъ»...

Болѣзнь вѣка, Гёте, какъ и Руссо, видятъ въ чрезмерномъ развитіи цивилизаціи и какъ единственное лекарство предлагаютъ возвращеніе къ природному состоянію: «Мы—образованные, скорѣе же—вовсе обезображенные <sup>1)</sup>»... «Любовь, вѣрность, страсть живутъ въ словіи людей, которыхъ мы называемъ необтесанными простяками»...—«Меня это утверждаетъ—говоритъ такъ же Вертеръ—въ рѣшеніи моемъ держаться только природы»... «Многое можно сказать въ пользу правилъ, почти столько же, какъ въ пользу утонченнаго общества. Человѣкъ, воспитанный въ правилахъ, не дѣлаетъ ничего злаго или пошлаго, но пусть говорятъ, что хотятъ, а всякое правило убиваетъ настоящее чувствованіе природы и ея выраженіе... О друзья мои! Отчего потокъ генія столь рѣдко устремляется, столь рѣдко возвышаетъ свой уровень и потрясаетъ душу, пораженную удивленіемъ? Оттого, что на берегахъ его поставили свои строенія разные господа, у которыхъ потокъ этотъ могъ бы попортить устроенные ими садики, грядки тюльпановъ и овощей; и вотъ они заблаговременно стараются отвратить эту опасность сооруженіемъ преградъ и каналовъ»... Вертеръ похожъ на птицу, которая трепещетъ и постоянно пытается взлетѣть, сидя въ желѣзной клѣткѣ.

У Гёте точно такая же, какъ у Руссо, можетъ быть и прямо у него заимствованная чуткость и любовь къ природѣ живой, какъ въ великихъ, такъ и въ мель-

---

<sup>1)</sup> «Wir gebildeten—zu nichts Verbildeten».



чайшихъ ея созданіяхъ, столь же глубокое религіозное чувство: «Когда вокругъ меня долина дымитъ паромъ, а солнце стоитъ высоко, но лишь рѣдкіе лучи его проникаютъ въ темный лѣсъ..., когда въ сердцѣ моемъ находятъ откликъ жужжанье цѣлаго мірка, снующаго среди стеблей и безчисленное разнообразіе мушекъ и червячковъ; когда я чувствую присутствіе Всемогущаго, дыханіе Вселюбющаго, когда весь міръ кругомъ и небо все покоятся въ моихъ глазахъ, какъ образъ любимой женщины..,—тогда, о тогда мнѣ думается: еслибъ я былъ въ состояніи передать, выразить, что съ такой теплотою живешь во мнѣ, то было бы зеркаломъ моей души, какъ душа моя есть зеркало безпредѣльнаго Бога»...

Вертеръ это—человѣкъ, который потому только, что его тяготитъ міръ, а обыкновенные люди ему кажутся низменными, потому только, что онъ одержимъ новой, модной болѣзнью, отъ какой страдалъ еще Гамлетъ, но которая съ конца XVIII вѣка начинаетъ уже свирѣпствовать среди людей эпидемически и получаетъ названіе «міровой скорби (Weltschmerz) или меланхоліи», уже признаетъ за собой непонятое и не признанное величіе «судьба такихъ людей, какъ мы—быть непонятыми» <sup>1)</sup>), самъ однако же пальца не пошевеливаетъ, чтобы разломать рѣшетку въ своей клѣткѣ съ мужественной рѣшимостью и выдержанностью, и вырваться на волю или по меньшей мѣрѣ приготовить освобожденіе для будущихъ поколѣній и вѣковъ. Всѣ свои умственные средства онъ обращаетъ лишь на то, чтобы критиковать существующее, чтобы упиваться чувствомъ своего несчастія и безсилія, чтобы мучить ими и себя, и другихъ. Въ извиненіе такого человѣка можно сказать лишь то, что за тою же рѣшеткой, въ то время, были замкнуты всѣ, всѣ ею тяготились, а между тѣмъ, на взглядъ даже наиболѣе проницательныхъ умовъ, преграды казались непоколебимыми. Такъ было передъ приближавшеюся уже революціей.

---

<sup>1)</sup> «Missverstanden zu werden ist das Schicksal von uns Einem».

Однако и послѣ революціи, которая цѣли своей не достигла, хотя и сокрушила прежнюю среду, превративъ ее въ грудѣ обломковъ, не исчезъ типъ и не прекратились жалобы чувствительнаго человѣка, но съ той поры ихъ можно было относить уже не къ средѣ, а только къ личному болѣзненному, психопатическому состоянію, такого болѣе или менѣе рода, какъ состояніе Густава въ IV части «Дядювъ». Гёте отлично понималъ условія болѣзненной раздражительности: «воображеніе наше—говорить онъ—по природѣ своей принужденное напрягаться и питаемое поэтическими образами, само создаетъ рядъ такихъ существъ, посреди которыхъ мы сами занимаемъ послѣднее мѣсто, такъ что все, живущее въ нашемъ представленіи, кажется намъ прекраснѣе и совершеннѣе насъ самихъ»... Но во времена Вертера самое стуканье лбомъ о непреодолимую стѣну считалось признакомъ высшаго ума, неизбежнымъ рокомъ, тяготѣвшимъ надъ головой идеальнаго героя той эпохи <sup>1)</sup>).

Въ этой меланхолической душѣ, отъ юности уже предназначенной къ самоубійству, неожиданно блеснула волшебница—любовь. «Что для сердца—міръ безъ любви? Это—волшебный фонарь безъ свѣта. Вставъ въ фонарь лампочку и внезапно появятся на бѣлой стѣнѣ яркіе образы, и хотя бы они были только проходящими призраками, всеже они составляли бы наше счастье»... Въ ходѣ самого развитія этой любви и въ развязкѣ, къ какой она приводитъ, выдается огромное различіе между Руссо и Гёте. Руссо—хотя и эстетикъ въ самомъ своемъ мышленіи, но въ творчествѣ своемъ является болѣе реформаторомъ, чѣмъ художникомъ, у него постоянно на умѣ извѣстные соціальные идеалы и утопіи,

---

<sup>1)</sup> «Когда мы, со всей нашей слабостью и трудностью дѣла, только какъ нибудь да пробиваемся дальше, то часто видимъ, что при всей нашей медлительности и нашемъ лавированіи, намъ всетаки удается выйти дальше, чѣмъ куда достигаютъ другіе на своихъ парусахъ и веслахъ».—пишетъ Вертеръ.

онъ вѣчно — дидактикъ и мечтатель. Излишкомъ резонерства Руссо испортилъ типъ своей Юліи, сдѣлалъ изъ нея философа въ юбкѣ. У него Сен-Прё ограничивается одними только разсужденіями о самоубійствѣ, которое онъ разбираетъ со всѣхъ сторонъ въ письмахъ своихъ къ лорду Бомстону, какъ общественный вопросъ; а въ концѣ задача разрѣшается практично—въ видѣ осуществленія нѣкоторой утопіи, въ такомъ устройствѣ отношеній, что понятіе о бракѣ поднято ступенью выше и сдѣлалось возможнымъ сожитіе трехъ лицъ, изъ коихъ любовники, покоряясь необходимости, довольствуется дружбою своей возлюбленной. Гёте принадлежалъ къ иной расѣ и иному обществу. Хотя и ему общественныя условія—въ тягость, но онъ наименѣе заботится о перестройкѣ общества и объ исправленіи гражданскихъ отношеній.

Въ XVII книгѣ «Поэзіи и Дѣйствительности<sup>1)</sup>», есть нѣсколько словъ, которыя бросаютъ яркій свѣтъ на личность Гёте, какимъ онъ былъ отъ юности до преклоннаго возраста, во всю жизнь, а именно—равнодушнымъ къ политикѣ, покорнымъ Наполеону, нечувствительнымъ и впослѣдствіи къ тому патріотическому увлеченію, которое подняло германскій народъ противъ чужеземнаго притѣснителя. «Я и мой кружокъ—говоритъ Гёте—не интересовались газетами и новостями; мы были заняты только тѣмъ, чтобы познать человѣка, а о людяхъ мы не заботились вовсе». Вотъ почему и за разработку романической темы Гёте взялся какъ психологъ и какъ несравненно высшій чѣмъ Руссо художникъ, относившійся къ своей темѣ объективно, безъ всякой тенденціи, не подвергавшій своего героя суду, не высказавшійся ни за, ни противъ самоубійства. Гёте просто представилъ, съ полнымъ реализмомъ и во всемъ ужасѣ, кровавую драму, трагическій конецъ человѣка, налагающаго на себя руку по винѣ собственнаго своего настроенія

---

<sup>1)</sup> «Dichtung und Wahrheit».

и характера; человѣкъ этотъ замѣнился въ себѣ, а между тѣмъ не былъ для себя достаточенъ; онъ упалъ, никѣмъ не поддержанный и, падая, восклицалъ, изъ глубины своихъ тщетно напряженныхъ силъ: «Боже, Боже, за что ты меня оставилъ!»

## XI.

Природа Гёте, сильная здоровьемъ, любившая жизнь и умѣвшая располагать жизнью, не могла остановиться навсегда на безнадежной и безконечной меланхоліи. Гёте создалъ Вертера, но самъ Вертеромъ не былъ или, точнѣе, былъ имъ только мысленно и лишь на одинъ моментъ. Въ запискахъ своихъ, Гёте рассказываетъ, что еще смолodu, живя въ Страсбургѣ и Франкфуртѣ, «онъ и его друзья мало сочувствовали духу и направленію господствовавшей въ то время французской литературы, съ богомъ—Вольтеромъ во главѣ; имъ она казалось старой и барской («bejahrt und vornehm.» XI). Свободомысліе, доходившее до матеріализма и атеизма, устрашало ихъ, какъ призракъ смерти; заниматься соціальными утопіями они не имѣли охоты, такъ какъ старались прежде всего вникнуть въ безотносительную суть самого человѣка. Религіозное чувство Гёте не удовлетворялось паутинною основой естественной религіи, оно шло далѣе и удовлетворилось только послѣ ознакомленія его со Спинозой, успокоилось въ пристани пантеизма, въ поклоненіи богу—природѣ. Еще въ Веймарѣ (1776 — 1780 г.г.). Гёте сталъ равнодушенъ къ современнымъ ему литературнымъ направленіямъ, сдѣлался классикомъ, полюбилъ древность за ея мраморное спокойствіе и величіе, уединился отъ современниковъ, не заботясь о популярности. Вліяніе его и удивленіе къ нему установились уже гораздо позже, а именно когда вышелъ «Фаустъ», въ которомъ отразилась въ сокращеніи вся артистическая жизнь поэта и отозвалось даже отдаленное эхо мечтаній и бреда юности.

Отъ вліянія же Руссо Гёте освободился собственной силой, потому что переросъ это вліяніе, еще ранѣе того времени, когда разочарованіе, произведенное кровавою развязкой французской революціи, набросило сомнѣніе на мудрость ея пророковъ и вождей и на провозглашенныя ими начала.

Шиллеръ испыталъ на себѣ въ сильной степени вліяніе Руссо, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ стихи, относящіеся къ первой эпохѣ развитія поэта: «Была такая мрачная пора, когда всѣмъ мудрецамъ грозила смерть. Теперь свѣтлѣй, и гибнетъ лишь одинъ. Изъ рукъ софистовъ смерть пріялъ Сократъ; Руссо страдаетъ отъ руки христіанъ, зато, что въ ихъ средѣ искалъ людей». Все содержаніе «Разбойниковъ» Шиллера основано на возмущеніи противъ общества во имя природы, а самый слогъ представляетъ парафразу Руссо на крѣпкомъ и вульгарномъ жаргонѣ нѣмецкихъ буршей <sup>1)</sup>. Но это были юношескія увлеченія, Шиллеръ возмужалъ, и сталъ спокойнѣе. Отъ автора напечатанной въ 1782 г. пьесы «Разбойники», съ девизомъ «in tirannos <sup>2)</sup>», до автора «Донъ-Карлоса» (1787), мечтающаго объ осуществленіи прекрасныхъ идеаловъ гуманизма властью монархической—столь же большое разстояніе, какъ-то, какое отдѣляетъ автора «Донъ-Карлоса» отъ сочинителя «Пѣсни о колоколѣ»: «гдѣ силы дикія безсмысленно бушуютъ, не можетъ тамъ создаться образъ цѣльный... Но изъ всѣхъ ужасовъ ужаснѣй самъ человѣкъ, когда онъ сталъ шальной». Когда онъ писалъ «Пѣснь о колоколѣ», Шиллеръ уже ничего не ожидалъ отъ политики и при началѣ XIX вѣка думалъ, что «свобода

---

<sup>1)</sup> «Противенъ мнѣ этотъ чернильный вѣкъ, когда читаю у своего Плутарха о великихъ людяхъ. Тѣфу, на это дряблѣе, скопческое столѣтіе. Всѣ они запираются противъ здравой природы пошлыми условностями и не смѣютъ выпить стакана вина, потому что его пришлось бы пить за здоровье».

<sup>2)</sup> «Противъ тирановъ».

лишь въ мечтахъ живетъ, прекрасное цвѣтетъ лишь въ пѣснѣ»; надежду человѣческаго прогресса онъ возлагалъ уже на дальнѣйшій путь эстетическаго воспитанія. Но между тѣмъ, такое смиреніе предъ жалкой современностью, то исканіе спасенія—въ наукѣ, философіи и поэзіи, въ выработкѣ самой человѣческой личности, въ культурѣ, сдѣлались главной причиной нынѣшняго величія и преобладанія Германіи.

## XII.

Не всякому народу дано отвлечься такимъ образомъ отъ вопросовъ практическихъ. Теоріи, выработанныя въ лабораторіи французскихъ философовъ, не выдержали огненной пробы опыта, упали въ лужу крови и грязи. Вызывавшійся ими первобытный человѣкъ выступилъ на сцену, но оказался звѣремъ. Поломанные кумиры, предразсудки сброшенные со своихъ основаній, похороненныя будто бы старыя понятія, вновь ожили, и среди развалинъ возобновилась борьба между учрежденіями двоякихъ порядковъ, испедшими, одни изъ права божественнаго, другія—изъ общественнаго договора. Потерялось довѣріе къ разуму зодчихъ революціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ человѣческому разуму вообще. Вопросъ былъ въ томъ, возстанетъ ли вновь старый, только подклеенный и подмалеванный хламъ, на всѣхъ прежнихъ своихъ пьедесталикахъ, прикроетъ ли крышка ветхаго гроба все общество, или же пусть ужъ новое строеніе останется лучше безъ покрытія, неоконченное, недостроенное, какъ оно стояло, окруженное обломками, лишь бы не реставрировать его на старый ладъ. Вѣдь подведенъ уже былъ фундаментъ новый, новые кирпичи не годились для стараго фасада; короче, духъ человѣчества, пережившій XVIII вѣкъ, революцію и Наполеона, уже не давалъ заковать себя въ устарѣлыя средневѣковые путы.

Оба направленія должны были проявиться и столк-

нуться и въ литературѣ. Каждое изъ нихъ было запечатлѣно тенденціозностью и проникнуто политикой, оба они выросли изъ самой сердцевины XVIII вѣка, извлекали въ свою пользу разносоставные соки, какими изобиловалъ тотъ вѣкъ, оба вышли изъ тѣхъ сѣмянъ, которыя были посѣяны наиболѣе вліятельнымъ, но исполненнымъ самыхъ странныхъ и взаимно-противорѣчивыхъ выводовъ писателями XVIII столѣтія—Ж. Ж. Руссо.

Одно изъ этихъ двухъ направленій представляетъ собою первый французскій романтикъ, втеченіи полувѣка стоявшій на возвышеніи, сперва дѣйствительно господствовавшій, а затѣмъ уже только предсѣдательствовавшій на французскомъ Парнассѣ. Это — Шатобрианъ. Онъ — большой руки живописецъ, преимущественно колористъ, посредственный философъ, обращенный безбожникъ, сладострастный и вмѣстѣ—аскетъ, творецъ школы серафической, занимавшійся реставраціею католицизма при помощи одной эстетики. Въ другомъ направленіи просіялъ какъ метеоръ, взвился высоко и разорвался какъ ракета блестящій поэтъ, вождь умовъ мятежныхъ, страстей разнузданныхъ и мрачныхъ, душъ запечатлѣнныхъ преступленіемъ, но и величіемъ, творецъ школы сатанической, считавшійся столь же почти страшнымъ, какъ самъ Люциферъ. Это — Байронъ. Человѣкъ этотъ, исполненный безпримѣрной гордыни, не преклонявшійся ни предъ кѣмъ и ни предъ чѣмъ, дышавшій презрѣніемъ, втеченіи не очень продолжительнаго времени самовластно господствовалъ надъ покоренными имъ сердца, надъ ослѣпленнымъ имъ воображеніемъ тысячъ людей, разсѣянныхъ по всему европейскому міру. Онъ передѣлалъ ихъ на свой образецъ, такъ что они на него молились и слѣпо ему подражали, и хотя не совершилъ великаго дѣла, такъ какъ поэзія его была только отрицательная, разрушительная, но все-таки послужилъ какъ бы тормазомъ противъ надвигавшейся, съ бречаньемъ и скрипомъ, старой колесницы реакціи. Бѣдая, насмѣшливая его иронія раздалась какъ бы то пѣніе, которымъ будящій природу

пѣтухъ заставляетъ исчезнуть вышедшія изъ могилъ привидѣнія, духовъ той продолжительной ночи, какая наступила послѣ потрясеній французской революціи и ея преемника — Наполеона. Былъ такой моментъ, когда все сопротивленіе возвѣщенному возврату вспять, въ средніе вѣка, сосредоточивалось въ одной только этой, богатырской поэзіи, которая, несмотря на свою неглубокость и, повидимому, отрицательный только характеръ, вмѣщала однако въ себѣ болѣе плодотворныхъ сѣмянъ, чѣмъ сколько ихъ было во всемъ лагерѣ противниковъ. И въ самомъ дѣлѣ, она въ болѣе чистомъ видѣ сохранила преданія гуманизма, свободомысліе XVIII вѣка, инстинктъ человечества и горячую къ нему любовь.

Но прежде, чѣмъ перейдемъ къ оцѣнкѣ содержанія поэзіи Байрона и его вліянія на современниковъ, мы должны опредѣлить отношеніе между нимъ и ближайшимъ, наиболѣе мощнымъ изъ его предшественниковъ; самое вліяніе, какое пріобрѣлъ Байронъ уяснится лучше, когда мы сопоставимъ великаго британскаго поэта съ роднымъ братомъ его по духу, по этой сторонѣ Ламанша—съ Шатобріаномъ. Сходство между ними такъ ярко такъ поразительно, что хотя каждый пошелъ въ иномъ направленіи, но представляются они иногда какъ бы близнецами. Та нервная раздражительность человѣка чувствительнаго, которая у Вертера перешла въ горячку и кончилась самоубійствомъ, привилась однако, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, рѣшительно всѣмъ, сдѣлалась общою хроническою болѣзью, такъ, что каждый юноша, по опредѣленію Словацкаго, «въ окнѣ души зеленыя напелъ лишь стекла, мечтатель каждый молніей изъ сжатыхъ тучъ игралъ, пѣлъ вихрямъ адскій гимнъ, въ глазахъ дрожали слезы, а стиснутая рука держала пистолетъ». Тотъ же Словацкій спрашивалъ въ «Беніовскомъ»: «о меланхолія, откуда родомъ ты? не эпидемія ли ты, и гдѣ причина, что даже шляхта деревенская, и та тобою нынче, кажется, заражена». Да, меланхолія, недовольство всѣмъ, пресыщеніе при первомъ вкушеніи



жизни и скука—такова была атмосфера цѣлаго полувѣка, горе нѣсколькихъ, слѣдовавшихъ одно за другимъ поколѣній.

Нѣкогда личность человѣческая порывалась передѣлать міръ и предавалась золотымъ утопіямъ, не признавая надъ собою ни закона, ни авторитета, ни обязанностей, устремляясь, единственно по голосу своихъ вождѣлѣній, къ мнимому раю, гдѣ предполагалось счастливое состояніе, какъ личное, такъ и общественное. Но башни и стѣны стараго порядка, какъ нѣкогда въ Іерихонѣ, разрушились при одномъ звукѣ трубъ, которыя возвѣщали революцію. И однакожъ никакого рая не оказалось позади взятыхъ штурмомъ окрестностей. Произошло разочарованіе, потерялось вѣрованіе въ какія-либо утопіи, у всѣхъ впалъ въ немилость принципъ человѣчности, да и самъ идеальный человѣкъ, бѣдное, неумѣлое и несправедливое существо, опротивѣлъ и упалъ въ мнѣніи человѣчества. Однимъ словомъ утрачены были всѣ идеалы, и въ душѣ стало пусто, мрачно. Человѣкъ уже не вѣдалъ, что надо дѣлать, куда идти, чувствовалъ себя придавленнымъ, преждевременно состарѣвшимся. Между тѣмъ, въ сердцѣ его были живы молодыя, неудовлетворенныя желанія, возбуждаемыя подвижнымъ, вѣчно дѣятельнымъ воображеніемъ. Руссо какъ бы предвидѣлъ это состояніе, когда совѣтовалъ сократить желанія по мѣрѣ силъ и обезпечить такимъ образомъ спокойствіе души въ благоустроенномъ человѣкѣ. Но совѣтомъ этимъ никто не воспользовался, не хватило силъ для разрѣшенія великихъ общественныхъ задачъ, напротивъ, въ людяхъ, которыхъ Руссо научилъ быть чувствительными, желанія росли превыше всякой мѣры, поднимали человѣка на воздухъ, какъ водородъ поднимаетъ аэростатъ; почва терялась подъ ногами, люди одновременно какъ бы выросли и вмѣстѣ окидывали взглядомъ презрѣнія низость своей доли, измѣряя свое величіе самымъ напряженіемъ желаній и силою страстей.

И Шатобрианъ, и Байронъ, оба подверглись эпидеми-

ческой болѣзни своего времени — скукѣ, мизантропіи, пресыщенію; оба любили путешествовать, восхищались горными высотами, глубиной морскою и таинственностью лѣсовъ. Природу они любили неменѣе, чѣмъ ее любилъ Руссо, но нѣсколько иначе; любовались не столько стебельками травы и радужной росинкой, сколько колоссальными видами природы, притомъ освященными печатью историческихъ воспоминаній. Такіе виды и производимыя ими впечатлѣнія они мастерски умѣли передавать, загравиrowывали ихъ навсегда въ воображеніи читателей. Къ обоимъ отчасти приложимо то, что Сент-Бёвъ («Шатобріанъ» и пр. 1877 г. I. 129) замѣтилъ собственно о Шатобріанѣ, а именно, что захватывая природу въ сильномъ своемъ объятіи, умѣя царственно изображать ея величіе, они однако съ нею не сливаются, остаются собою — идеалистами и деистами, никогда не превращаясь въ пантеистовъ (какъ, напримѣръ, Гёте) и посреди поклоненія природѣ, сохраняютъ весьма рельефно свою личность. Оба они — аристократы до самаго мозга костей, ставятъ себя недосыгаемо выше черни, презираютъ ее, относятся съ презрѣніемъ къ популярности. У обоихъ также — большой эгоизмъ въ глубинѣ души, но эгоизмъ этотъ у Шатобріана облагораживается крайне чувствительнымъ понятіемъ о чести, а у Байрона — глубокимъ сознаніемъ чужихъ страданій и рыцарской готовностью вступить въ борьбу со всякою несправедливостью.

Крайне-развитое сознаніе своего «я», свойственное темпераментамъ повелительнымъ, деспотическимъ, вообще ознаменовываетъ эпохи большихъ переворотовъ, великихъ историческихъ событій, во время которыхъ, подъ огнемъ народныхъ столѣновеній и вулканическихъ взрывовъ, закаляются характеры необычайные, а великіе люди, съ быстротою молніи исполняющіе то, что подготовлено работою вѣковъ, являются какъ бы творцами и совершителями этихъ событій. Когда изъ водоворота революціи возстала, на рубежѣ вѣковъ, мраморная фигура

новѣйшаго Цезаря, то необыкновенный этотъ человѣкъ, истый кумиръ своихъ удивленныхъ современниковъ, несмотря на послѣдовавшее паденіе свое, долго еще господствовалъ надъ воображеніемъ потомковъ, и до такой степени въ немъ запечатлѣлся, что сама поэзія стала наполеоновскою. Она или создавала народную легенду о Цезарѣ, или занималась воспроизведеніемъ его типа, его деспотическаго характера, орлиной природы, уединявшаго его отъ людей величія и ни предъ чѣмъ не отступавшаго эгоизма. Шатобріанъ сперва является союзникомъ Бонапарта и своимъ «Геніемъ христіанства» подпираетъ, какъ контрфорсомъ непопулярный конкордатъ съ Римомъ, а впослѣдствіи дѣлается отъявленнымъ врагомъ Цезаря, причемъ, самой страстностью своихъ упрековъ, невольно выражаетъ свое удивленіе къ нему, и во всю жизнь ведетъ неравный, даже нѣсколько смѣшной бой съ давящимъ его, какъ кошмаръ, исполиномъ. Байронъ, наоборотъ — рѣшительный наполеонистъ, поклонникъ побѣжденнаго героя; онъ первый пытался слить воедино взаимно-противорѣчивые элементы — наполеоновской идеи и свободы народовъ, и за нимъ пошли многіе, вплоть до Мицкевича, относившагося съ мистическимъ почитаніемъ къ духу Наполеона, до Красинскаго — въ его предисловіи къ поэмѣ «Przedświt» и до Словацкаго, идеализировавшаго грозныхъ правителей въ своей поэмѣ «Król Duch».

Напомнимъ о томъ разговорѣ съ Мицкевичемъ, на Лидо, въ Венеціи, который передаетъ Одынецъ въ своихъ «Письмахъ съ дороги», и гдѣ Мицкевичъ указывалъ на близкое духовное сродство между Наполеономъ и Байрономъ <sup>1)</sup>. И не одинъ Мицкевичъ думалъ такъ. По-

---

<sup>1)</sup> «Каждый имѣлъ свою миссію и соответствующую ей силу, а не исполнили они своего призванія потому, что сравнивая свою силу только съ силою людей, оба они заразились гордостью, которая въ нихъ убила любовь, то есть, главное средство для побѣды надъ зломъ. Наполеонъ, умный и холодный, не довѣрялъ уму другихъ людей, видѣлъ въ нихъ

эзія Байрона и его подражателей, современныхъ ему и позднѣйшихъ, сама была отчасти отраженіемъ въ поэтической области духа—того богатыря дѣйствія, а такое отраженіе являлось тѣмъ болѣе естественнымъ, что, въ прямую противоположность съ XVIII вѣкомъ, люди перестали поклоняться идеаламъ общественнымъ, а вмѣсто того, стали идеализировать единичную, исключительную личность, стоявшую высоко надъ толпою, такъ что они отъ самаго поэта стали требовать не столько мастерскихъ произведеній, сколько поэтической жизни, поэтическаго образа дѣйствій, захотѣли, чтобы поэтъ свою жизнь располагалъ какъ поэму, приискивая себѣ соотвѣтствующія среду и впечатлѣнія. Но между тѣмъ, этотъ-то культъ павшаго повелителя и эта героическая поэзія тѣснымъ союзомъ своимъ поставили сильную преграду воздымавшимся все выше волнамъ реакціи. Впослѣдствіи ниспалъ уровень этихъ волнъ реакціи, слившейся возстановить вещи отжившія, измѣнилось затѣмъ и самое содержаніе поэзіи, осмѣяны были и аффектированная поэтичность, надутость, игра въ героизмъ; къ поэту стали примѣнять ту же мѣрку, какъ и къ обыкновеннымъ смертнымъ, значеніе единичной личности умалилось до размѣровъ муравья, но зато въ общемъ сознаніи возросло въ великой степени — значеніе самаго муравейника.

Отважные полеты въ небеса, несоразмѣренные съ силою крыльевъ, потеряли свое господство надъ умами; оно перешло къ знанію, которое оказалось вооруженнымъ, невиданными дотолѣ, могущественными орудіями для изысканія истины. Лучемъ поэзіи можетъ освѣ-

---

только свои орудія, самъ хотѣлъ сдѣлать все за всѣхъ. Байронъ же, впечатлительный и страстный, свое презрѣніе ко злу распространилъ на людей вообще. Вслѣдствіе такого презрѣнія онъ усомнился въ возможности исправленія и, издѣваясь надъ самыми попытками къ нему, кончилъ осмѣяніемъ нравственнаго мнѣнія человечества, полагая, что осмѣиваетъ лишь притворство» (II. 174).

щаться каждая, хотя бы самая обыкновенная работа, лишь бы она относилась къ великому цѣлому, была частичкой великаго дѣла. Взгляды на призваніе поэта совершенно измѣнились. Прежде на него смотрѣли какъ на великаго человѣка, который случайно слагаетъ стихи. Впослѣдствіи же поэтъ сдѣлался обыкновеннымъ чело-вѣкомъ, который достигъ значительной степени совершенства въ своемъ призваніи, и посредствомъ такого мастерства въ своемъ дѣлѣ, производитъ извѣстное влия-ніе на общество. Вотъ тѣ единственныя, но прочныя ступени, по какимъ современный поэтъ восходитъ въ на-родный пантеонъ, наравнѣ со всѣми, которые пониманіемъ общаго блага и согласною съ нимъ дѣятельностью, зас-лужили себѣ вѣнки, сплетенные, всеравно — изъ лавро-выхъ ли, или изъ дубовыхъ листьевъ. Еслибы мы хо-тѣли избрать того поэта, на умственномъ лицѣ котораго всего вѣрнѣе отразилось—употребляя выраженіе Словац-каго <sup>1)</sup>—обличіе XIX вѣка, но не въ молодости только этого вѣка, а въ средней стадіи всего его теченія, то намъ пришлось бы остановиться не на Байронѣ, а ско-рѣе же—на старикѣ Гёте, съ его олимпійскимъ спокой-ствиемъ и всестороннимъ, глубокимъ знаніемъ.

Измѣнился современемъ также и взглядъ на чело-вѣческое счастье. Въ XVIII столѣтіи Руссо вѣрилъ, что счастье находится въ первобытномъ состояніи чело-вѣчества и счастье это хотѣлъ онъ дать людямъ, механически изглаживая цивилизацію, обтесывая и подстругивая личность, умѣряя въ ней желанія до мѣры возможнаго, впередъ опредѣленной законодателемъ. Требовалось при-нудить человѣка, чтобы онъ сталъ счастливъ. Наоборотъ, при началѣ XIX в. всѣ истинные поэты предавались полной безнадежности; это были люди ни откуда не ждавшіе счастья и не цѣнившіе жизни ни въ грошъ, но между тѣмъ, выпивавшіе полную чашу ея разомъ, въ

---

<sup>1)</sup> Предисловіе къ поэмѣ «Ламбро».

одинъ пріемъ, не заботясь о дальнѣйшей своей, а тѣмъ болѣе чужой судьбѣ. Впослѣдствіи, установился уже совсѣмъ иной взглядъ. Счастье, по новому опредѣленію, заключается не въ фактическомъ обладаніи и пользованіи, но скорѣе въ проникновеніи въ тайны вселенной, въ сочувствіи каждому горю и въ наслажденіи каждымъ общимъ приобрѣтеніемъ, въ умственномъ обладаніи цѣлымъ міромъ, въ томъ свойствѣ, которое такъ прекрасно опредѣлилъ Шекспиръ въ Гамлетѣ (II. 2. «я могъ бы быть замкнутъ въ орѣховой скорлупѣ и между тѣмъ считать себя владыкою пространствъ неизмѣримыхъ»).

Въ предшествующемъ мы старались показать главные, коренныя различія въ поэзіи трехъ эпохъ: во второй половинѣ XVIII вѣка, въ первой половинѣ XIX-го и въ современной. Но есть и нѣкоторыя общія черты въ поэзіи всѣхъ трехъ періодовъ, такъ какъ каждый періодъ вырастаетъ изъ предшествующаго, является какъ бы надстройкою надъ нимъ и дополненіемъ къ нему. Посмотримъ же теперь, каковы были связи между поэзіею начала нашего столѣтія, несправедливо называемою байронизмомъ — такъ какъ Байронъ былъ не единственнымъ и не первымъ, а лишь наиболѣе выдающимся ея представителемъ — и поэзіею XVIII вѣка, въ особенности же — творчествомъ Руссо. Мы начнемъ съ Шатобріана.

### XIII.

У Шатобріана, сверхъ горячаго, чувственного темперамента, столь свойственнаго французской расѣ, есть еще двѣ такія черты, которыя связываютъ его съ Руссо, а именно: убѣжденіе, что естественное состояніе — выше цивилизаціи и религіозность. Эти оба свойства совокуплялись у бретонскаго дворянина, путешественника, а вслѣдъ затѣмъ эмигранта, довольно оригинальнымъ образомъ. Шатобріанъ шелъ далѣе Руссо въ своемъ пристрастіи къ химерѣ «естественнаго состоянія»; онъ готовъ бѣжать

въ лѣсъ, къ дикимъ. На послѣднихъ страницахъ сочиненія его «Опытъ о революціяхъ» (1794 — 1797 гг.), мы находимъ слѣдующія выраженія: «станемъ людьми, то есть будемъ свободны, научимся пренебрегать предразсудками происхожденія и богатства, стоятъ выше вельможъ и царей, уважать бѣдность и добродѣтель. Будемъ во все вносить достоинство нашего собственнаго характера, но прежде всего, перестанемъ относиться страстно къ человѣческимъ законамъ, какого бы то ни было рода <sup>1)</sup>). Простой, природный человѣкъ, скажу тебѣ, что только благодаря тебѣ, я горжусь званіемъ человѣка. Въ твоёмъ сердцѣ нѣтъ зависимости, ты не знаешь, что значить пресмыкаться при дворѣ или ласкать народнаго тигра. Что для тебя наши искусства, наша роскошь, города наши? Ты, если пожелаешь зрѣлицъ, то пойдешь въ храмъ природы, въ дебри лѣсовъ» и т. д.

Шатобріанъ самъ ознакомился съ естественнымъ состояніемъ не изъ а-пріористическаго разсужденія, не изъ идиллій или сновидѣній, но чрезъ непосредственное соприкосновеніе, наблюдая краснокожихъ въ саваннахъ Америки. И несмотря на то, дикіе у него такъ ненатуральны, натянуты, идеализированы, прикрашены, что невольно припоминаются слова самого автора о поэтическомъ творчествѣ, внушенныя ему, конечно, и наблюденіемъ надъ собою: «мы почти никогда не схватываемъ сущности вещей, а только лишь подобія ихъ, невѣрно отражающіяся въ нашихъ собственныхъ желаніяхъ». Если автору, одаренному въ высокой степени наблюдательностью, такъ мало удалось проникнуть въ душу дикаго человѣка, что поэтъ совершенно не понималъ предмета, который осязательно находился передъ нимъ, то при-

---

<sup>1)</sup> «Едва я убѣжалъ изъ Бастиллы и бросился въ демократію, какъ вдругъ нѣкій людоедъ ждетъ меня у гильотины. Республиканецъ, которому угрожаетъ вѣроятность быть ограбленнымъ и растерзаннымъ чернью, наслаждается своимъ счастіемъ; а подданный, рабъ восхваляетъ пиры и ласки своего владѣльца».

чиной тому могло быть лишь обстоятельство, что действительность для него заслонялась вынянченной XVIII вѣкомъ химерой о естественномъ состояніи. Химеру эту Шатобріанъ, какъ уже замѣчено, доводилъ еще одной ступенью выше, чѣмъ самъ Руссо, а именно до ненависти ко всякой формѣ правленія въ цивилизованномъ обществѣ, начиная отъ деспотизма и оканчивая красной демократіею, которая расчищаетъ почву для «народнаго тигра». Другимъ препятствіемъ къ точному пониманію действительности являлась въ Шатобріанѣ самая необузданность его темперамента, чудовищная раздутость сознанія своей личности, что впрочемъ, какъ мы уже замѣтили, представлялось общимъ и главнымъ свойствомъ всей поэзіи въ первой четверти XIX в., которая была преимущественно—субъективная. Весь интересъ у Шатобріана, какъ у другихъ тогдашнихъ поэтовъ, лежитъ въ самомъ писателѣ, въ Ренѣ, странномъ типѣ, который предвѣщаетъ собой Чайльдъ-Гарольда и хотя является гораздо раньше, но уже заключаетъ въ себѣ преувеличенный, доходящій почти до карикатуры первообразъ всѣхъ позднѣйшихъ байроновскихъ героев.

Ренѣ не въ состояніи принизить свою жизнь до уровня общества. Въ сердцѣ у него огонь, котораго ничто не могло бы насытить, хотябы онъ пожралъ и все существующее. «Скучно жить—говоритъ Ренѣ—меня постоянно заѣдала скука и я равнодушенъ ко всему, что другихъ занимаетъ. Пастухомъ ли родился бы я, или королемъ, все равно не зналъ бы, что мнѣ дѣлать съ пастушескимъ посохомъ или съ короной? Меня всетаки одинаково бы мучили: слава и геній, законъ и бездѣятельность, счастье и горе. Я добродѣтеленъ, но безъ удовольствія, а еслибы былъ преступникомъ, то не могъ бы чувствовать угрызеній совѣсти. Лучше всего мнѣ было бы не родиться или быть всѣми забытымъ» («Продолженіе Начезовъ», письмо къ Селютѣ). Человѣкъ этотъ, который ничѣмъ еще не ознаменовалъ себя, но желаетъ быть забытымъ, носить



на себѣ какую-то роковую печать <sup>1)</sup>). Онъ чувствуетъ въ себѣ чрезмѣрную жизненную силу, ему казалось, что въ жилахъ у него течетъ горячая лава. «О Боже—воскликаетъ онъ—еслибъ ты далъ мнѣ такую женщину, какой я желаю!»—«Я сходилъ въ долины и подымался въ горы, призывая изъ глубины души ту Еву, идеальный предметъ будущей моей страсти». Но, носясь съ такимъ идеаломъ, Ренѣ собственно влюбленъ въ самого себя, онъ одного себя возвышаетъ и обожаетъ. Къ тому существу, которое онъ удостоилъ осчастливить на время своимъ пламенемъ, Ренѣ относится истинно по султански: «Всевышній, ты сотворилъ меня такимъ, каковъ я есть, Ты лишь одинъ и понять меня можешь. О зачѣмъ я не бросился въ пѣнистыя волны водопада! Тогда я возвратился бы на лоно природы со всей своею энергіей. Селюта! потерявъ меня, ты навсегда останешься вдовой, ибо ктоже могъ бы окружить тебя тѣмъ пламенемъ, какое я ношу въ себѣ, даже не любя. Степи эти тебѣ, согрѣтой моимъ огнемъ, казались жаркими, ты бы нашла ихъ ледяными при иномъ супругѣ. Ты уже не имѣла бы очарованій, упоенія, изступленія; всего этого я впередъ лишилъ тебя, давъ тебѣ все это, а вѣрнѣе—не давъ тебѣ ничего, такъ какъ въ сердцѣ моемъ была неизлѣчимая рана».

О Ренѣ съ полнымъ правомъ можно сказать то самое, что Сент-Бёвъ замѣтилъ о «Посмертныхъ Запискахъ»: что это—мастерское произведеніе, въ которомъ авторъ проявляется во всей наготѣ своего эгоизма. Все тутъ разсчитано чтобы его выказать въ лучшемъ свѣтѣ; но замѣчательно, что впечатлѣніе получается не-только непріятное, но и невыгодное, какъ для того, кто писалъ свой портретъ, такъ и для самого портрета. Автору, можетъ быть, эгоизмъ его и извѣстенъ, но тщеславія

---

<sup>1)</sup> «Ренѣ всѣхъ приводилъ въ смущеніе своимъ присутствіемъ и не могъ войти въ себя; онъ тяготѣлъ на той почвѣ, которую попиралъ нетерпѣливо и которая неохотно носила его на себѣ».

своего авторъ положительно не сознаетъ. Одно, что искушаетъ всѣ недостатки и искаженія, это—необыкновенно вѣрно выраженное, ненасытное возжеланіе счастья высшаго, чѣмъ то, какое можетъ быть доставлено не только чувственными наслажденіями, но и всякими, какія только доступны въ условіяхъ земнаго быта, не исключая и восторженныхъ порывовъ къ чему-то неизвѣстному, какъ бы это послѣднее ни называлось—Богомъ ли, согласно съ религіею, первоначальной ли причиной, согласно съ метафизикой или просто непознаваемымъ, однако существующимъ, согласно съ опредѣленіемъ Герберта Спенсера. «Доброе, добродѣтельное, чувствительное, все проходить. Человѣкъ, ты—мимолетный сонъ, скорбная мечта, ты существуешь для несчастія и дѣлаешься чѣмъ-нибудь лишь благодаря томленію твоей души и вѣчной меланхоліи твоей мысли». Этими словами заканчивается повѣсть Шатобріана «Атала». «Ищу неизвѣстнаго блага, о которомъ мнѣ говоритъ инстинктъ. Но моя ли вина, что повсюду я натыкаюсь на предѣлъ, а все то, что гдѣ-нибудь прекращается, уже не имѣетъ для меня никакой цѣны». Такъ разсуждаетъ Ренѣ и прибавляетъ: «еслибы я еще, по безумію, вѣрилъ въ счастье, то продолжалъ бы искать его въ привычкѣ». Естественнымъ убѣжищемъ для душъ, отыскивающихъ благо неизвѣстное, была во всѣ времена религіозность. И вотъ, на этой точкѣ Шатобріанъ встрѣчается со своимъ предшественникомъ Руссо. Но насколько впечатлительная чувствительность Руссо отличается отъ капризнаго и необузданнаго индивидуализма Шатобріана, настолько же различно и отношеніе каждаго изъ нихъ къ религіозности.

Сент-Бёвъ, въ своемъ интересномъ этюдѣ о Шатобріанѣ, замѣчаетъ, что жизнь этого писателя можно бы раздѣлить на двѣ части—до 1798 и послѣ 1798 года, когда невѣрующій дотолѣ—вдругъ увѣровалъ, подъ вліяніемъ письма, полученнаго имъ отъ сестры его г. Фарси, которая, описывая смерть своей матери, прибавила: «о еслибы вы знали сколько слезъ стоили матушкѣ ваши

заблужденія!» Въ своемъ предисловіи къ «Генію христіанства» Шатобріанъ упоминаетъ, какъ по призыву этого замогильнаго голоса онъ внезапно сдѣлался христіаниномъ <sup>1)</sup> Въ этомъ обращеніи не слѣдуетъ, однакожъ, видѣть какую-либо рѣшительную и коренную перемѣну въ цѣломъ человѣкѣ. Шатобріанъ не разсуждалъ съ такой логичностью, какъ Руссо, а будучи поэтомъ, человѣкомъ воображенія, онъ шелъ скорѣе за инстинктомъ сердца и увлекался картинами. Его «Опытъ о революціяхъ» служитъ прямымъ доказательствомъ, что втеченіи долгаго времени онъ раздѣлялъ вполне исповѣданіе «савойскаго викарія». Но убѣдившись, что принципы такого вѣроученія, то есть врожденнаго деизма, содѣйствовали полному сокрушенію старой, предреволюціонной Франціи, Шатобріанъ колебался въ прежнемъ взглядѣ и писалъ тогда: «еслибы я жилъ въ дни Жана-Жака, то посовѣтовалъ бы учителю, чтобы онъ эту вещь хранилъ въ тайнѣ. Въ системѣ таинственности, выработанной Пиеагоромъ и жрецами Востока есть глубокая философія». Но особенно любопытны собственноручныя замѣтки Шатобріана на поляхъ экземпляра, который имѣлъ въ рукахъ Сент-Бёвъ. Тамъ написано напр.: «нельзя назвать предрасудкомъ то, что клонится къ уменьшенію нашихъ страданій; какой-нибудь неизвѣстный пенатъ, служащій къ утѣшенію несчастнаго, приноситъ болѣе пользы, чѣмъ книга философа, которая не осушитъ ни одной слезы». Всѣ, заключающіяся въ этихъ замѣткахъ выходки противъ религіи, дышашія матеріализмомъ и фатализмомъ, слѣдуетъ понимать какъ дань, принесенную духу того времени, въ которомъ преобладалъ именно атеизмъ, а вѣрующихъ, хотя бы деистовъ на подобіе Руссо, было немного.

Замѣтки эти такъ же мало свидѣтельствуютъ о какой-либо радикальной перемѣнѣ въ мышленіи писавшаго ихъ,

---

<sup>1)</sup> «Меня не ослѣпилъ какой-либо сверхъестественный свѣтъ, убѣжденіе мое вышло прямо изъ сердца: я заплакалъ и увѣровалъ».

какъ и тотъ, отмѣченный въ мемуарахъ женщины (г-жи де-Саманъ) фактъ, что 60-ти лѣтній Шатобріанъ, въ 1829 году, восхищался пѣснями Беранже и въ особенности тою, которая называется «Богъ простяковъ» («Le Dieu des bonnes gens»). Дѣло въ томъ, что чистый деизмъ, иначе говоря — естественная религія, какую добывали протестанты изъ глубины единичной совѣсти, оказался понятнымъ и доступнымъ лишь для немногихъ людей, а подъ вліяніемъ хода событій, восстанавлилась, вмѣсто него, религія прежняя, какъ выступаетъ вновь на стѣнѣ старая живопись, когда опала позднѣйшая штукатурка. Вотъ такой возвратъ, безъ разсужденія, къ вѣрѣ дѣтства и произошелъ въ Шатобріанѣ въ 1798 году, тѣмъ легче, что онъ заботился болѣе о формѣ, нежели о содержаніи, о внѣшней торжественности и красотѣ, а не о голой правдѣ и ея критеріѣ. Добавимъ еще объясненіе, основанное на самомъ темпераментѣ Шатобріана: капризная его личность не переносила легкаго трензеля, но отлично ходила на строгомъ мундштукѣ, совершенно такъ, какъ тотъ кровный конь, который, почти отъ рожденія уже расположенъ къ тренировкѣ и какъ бы созданъ подъ сѣдло. Здѣсь именно явился поразительный примѣръ такъ называемаго атавизма, то есть, дѣйствія свойствъ унаслѣдованныхъ, вѣками привившихся прежнимъ поколѣніямъ, которыя ихъ въ свою очередь постепенно еще развивали. То, что въ польской литературѣ, Винцентій Поль восхвалялъ, какъ свойство стараго дворянства, сказалось и въ бретонскомъ дворянинѣ: горячій и необузданный темпераментъ требуетъ обузданія внѣшнимъ, неподлежащимъ спору авторитетомъ. Обѣ эти черты связываются и взаимно дополняются, такимъ образомъ, у Шатобріана, какъ въ его этикѣ, такъ и въ самомъ родѣ его поэзіи—въ его идеалахъ любви половой.

Элементъ эротическій—какъ справедливо замѣчаетъ Брандесъ («Главныя стремленія европ. лит.» III. 7)—можетъ служить самымъ тонкимъ орудіемъ для измѣренія силы, свойства и температуры чувствительности, прису-

щей данному времени. Въ идеальномъ представленіи Шатобріана, на раскаленное половое влеченіе дѣйствуетъ, какъ прикосновеніе льда, неумолимый законъ церковный, а затѣмъ, страданіе неудовлетворенной страсти превращается въ то успокоеніе и нравственно-аскетическое наслажденіе, какое ощущалъ монахъ, бичевавшій свое грѣшное тѣло въ кельѣ передъ распятіемъ. «Религія—говорить Ренѣ—замѣщаетъ бурную любовь нѣкоей пламенной чистотою, умѣющей совмѣстить любовь и неприкосновенность любимой; религія превращаетъ страсть временную въ страсть вѣчную, чудеснымъ образомъ вносить свое спокойствіе и свою невинность въ душу, гдѣ еще тлѣютъ остатки страстного волненія; религія за это вознаграждаетъ своимъ наслажденіемъ сердце, которое ищетъ спокойствія, и жизнь, которая уже угасаетъ». Подобная любовь представляетъ своего рода фанатизмъ. Такъ, Атала отравляется, чтобы не нарушить церковнаго обѣта чистоты, а сестра Ренѣ хоронитъ себя заживо въ монастырь, чтобы преодолѣть въ себѣ кровосмѣсительную страсть къ брату. Наоборотъ, въ «Мученикахъ», Евдоръ даетъ себя соблазнить Велледѣ и адъ торжествуетъ, но оба любящіе представляются похожими на преступниковъ, которымъ объявленъ смертный приговоръ.

Прибавимъ, что самая та картинность, при помощи которой Шатобріанъ возвращаетъ людей, въ силу чувства эстетическаго, къ оставленной ими старой вѣрѣ, не отличается большимъ вкусомъ и нѣсколько смахиваетъ на изображенія въ рождественскомъ «вертепѣ». — «Тишина и небесное благоуханіе разлились надъ молящимися; казалось, какъ будто надъ ними распростерла крылья свои таинственная голубица, будто бы въ облакахъ кадила нисходили ангелы и вновь улетали въ небо съ дымомъ еписіама, съ вѣнками въ рукахъ («Ренѣ». Сцена постриженія Авреліи)». У Шатобріана, много картинъ въ этомъ родѣ: литургія въ «Аталѣ», мученичество Евдора, вообще въ «Мученикахъ» подобная обстановка выво-

дится и въ небѣ и въ аду. Дѣло было въ томъ, что міръ уже и самъ по себѣ возвращался къ оставленной передъ тѣмъ религіи; поэтъ, предугадавшій такой поворотъ, оказывалъ ему содѣйствіе, а при этомъ годились всякія картины, каково бы ни было ихъ достоинство, шли въ дѣло всякая мишура, проволока и цвѣтныя бумажки. Изъ уваженія къ цѣли, не разсматривали точки отправленія, по вниманію къ дѣйствию, не заботились о томъ, что подобными приемами материализировалась, облекалась язычествомъ самая идея христіанства; наконецъ, довольствуясь благонамѣренностью надѣтой авторомъ маски, не хотѣли знать, что подъ нею укрываются черты вовсе на нее непохожія. Этого мало: все общество какъ бы согласилось соблюдать тайну, несмотря на то, что самъ авторъ безпрестанно выдавалъ ее, нисколько не смущаясь тѣмъ, что избранной имъ роли апостола христіанства въ XIX вѣкѣ мало соотвѣтствовали рѣзкія черты личной его, высшей и благородной, но мятежной и одичавшей природы, нѣсколько уже сухой, но во всякомъ случаѣ мало имѣвшей общаго съ тѣмъ, что называется христіанскимъ настроеніемъ души.

Какъ бы то ни было, но именно указанное взаимое противорѣчіе наружнаго и внутренняго, натуры автора, запальчивой, страстной, и принятой имъ роли возстановителя вѣры, произвело тотъ результатъ, что Шатобріану не удалось занять въ исторіи литературы XIX вѣка того перворазряднаго мѣста, на какое ему давалъ право огромный его литературный талантъ. Его бы можно сравнить съ птицей, которая взлетала такъ высоко, какъ орелъ, но гнѣзда себѣ не свила на недоступныхъ вершинахъ, а опустилась на землю и помѣстилась въ самомъ обыкновенномъ голубятникѣ. Демократія, которая уже пріобрѣтала господство, не могла удовлетворяться этимъ холоднымъ подражаніемъ Данту—безъ Дантовой силы вѣрованія, и послѣ выслушанія цѣлаго курса атеизма въ XVIII столѣтіи. Субъективная поэзія нашла себѣ болѣе выдающагося, болѣе блестящаго представителя—

въ Байронѣ. Прежде, чѣмъ приступить къ разбору его произведеній, намъ нужно только опредѣлить его отношеніе къ XVIII вѣку и, въ особенности—къ Руссо.

#### XIV.

Французская революція имѣла и за границею горячихъ приверженцевъ. Къ ихъ числу принадлежала госпожа Байронъ, рожденная Гордонъ, бѣдная вдова, жившая въ Эбердинѣ, въ Шотландіи, съ малолѣтнимъ сыномъ Джорджемъ, которому предстояло сдѣлаться лордомъ и стать великимъ поэтомъ. Покамѣстъ, его воспитывала мать, а сказать вѣрнѣе—баловала его. Госпожа Байронъ не принадлежала ни къ вигамъ, ни къ торіямъ, а исповѣдывала чисто-демократическія убѣжденія, въ Людовикѣ XVI видѣла тирана и питала надежду, что настанетъ часъ расчета съ угнетателями и мести на нихъ (Джиффресонъ, «Истинный лордъ Байронъ», I, гл. 5). Съ сочувствіемъ къ народной массѣ г-жа Байронъ соединяла величайшее удивленіе къ Руссо, и какъ только Джорджъ подросъ, она начала находить въ немъ большое сходство съ славнымъ женевцомъ. Тщетно сынъ писалъ ей впослѣдствіи (письмо къ матери въ 1808 г. см. «Жизнь Байрона» Мура, гл. VIII): «нисколько не забочусь о томъ, чтобы быть похожимъ на столь знаменитаго безумца», напрасно вносилъ онъ въ 1808 г. въ свой дневникъ сравнительныя отмѣтки въ такомъ родѣ, что у него отличная память, а у Руссо была слабая, что онъ (Байронъ) пишетъ быстро, а Руссо писалъ съ затрудненіемъ, что онъ обладаетъ глазами, которыя видятъ далеко и отчетливо, между тѣмъ, какъ Руссо былъ близорукъ, что онъ самъ отлично плаваетъ, ѣздитъ верхомъ и фехтуетъ недурно, тогда какъ Руссо ничего этого не умѣлъ; далѣе, что въ то время, какъ Руссо подозревалъ, будто весь міръ находится въ заговорѣ противъ него, весь мірокъ, окружавшій Байрона, наоборотъ, по-

дозрѣвалъ, что Байронъ ведетъ противъ этого мірка какіе-то ковы; что Руссо женился на своей хозяйкѣ, а Байронъ и съ женой не сѣмѣлъ вести хозяйства. Несмотря на всѣ такіа возраженія со стороны Байрона, сходство постоянно приходило на умъ всѣмъ и г-жа Сталь высказала это Байрону въ 1813 году, въ 1818 же году, тоже сходство подробно описывалось въ «Edinburgh Review».

Впрочемъ, самъ Байронъ, въ третьей пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», въ строфахъ 75—84, посвященныхъ памяти Руссо, высказываетъ глубокое впечатлѣніе, какое въ немъ произвела поэзія Руссо и ставитъ столь высоко историческое значеніе этой поэзіи, что является здѣсь передъ Руссо почти ученикомъ по отношеніи къ учителю. «Онъ былъ весь—огонь, этотъ апостолъ страданія, онъ страсть облекъ очарованіемъ и изъ мукъ своихъ черпалъ увлекательное краснорѣчіе. Руссо сѣмѣлъ сдѣлать безуміе прекраснымъ, на соблазнительныя дѣла и мысли онъ бросалъ покровъ чудеснаго блеска, его слова были ослѣпительны, какъ лучи солнца и вызывали горячія, обильныя слезы. Онъ сошелъ съ ума — кто знаетъ отчего? Не всегда можно розыскать причину. Но всеравно, болѣзнь ли, или нравственное страданіе свели его съ ума, хуже всего то, что самое безуміе его имѣло видъ разума. О, такъ было въ силу его вдохновенія, изъ коего, какъ изъ пещеры Пиеи, истекали слова вѣщія, объявшія міръ пламенемъ, слова, которыя продолжали горѣть пока отъ нихъ не пали государства».

Міръ однако не возродился отъ пламени тѣхъ словъ, подобно сказочному фениксу. Причину этого обстоятельства Байронъ видитъ не въ содержаніи ученій Руссо, но — въ недостаткахъ самой человѣческой природы. «Люди воздвигли ему страшный памятникъ, въ одну груду развалинъ они свалили и разбитыя въ щепки вѣковыя убѣжденія, и благо, и зло. А затѣмъ—на этомъ же фундаментѣ отстроились вновь и мигомъ наполнились и престолы, и тюрьмы. Ослѣпшіе среди рабства,



они не могли быть орлами, которые купаются въ лучахъ солнца. Придетъ однако часъ, не слѣдуетъ отчаяваться, уже близится и въ будущемъ грядетъ мощь воздаянія и мощь прощенья; въ одной изъ нихъ мы станемъ осторожнѣй». Таково философское воззрѣніе Байрона на французскую революцію; правда, оно не глубоко, но за то ставитъ вопросъ весьма ясно, въ такомъ, примѣрно, смыслѣ, что худо направленное, испорченное дѣло удастся въ будущемъ исправить, что все это движеніе вызвано пророкомъ Руссо, что этотъ «мучившій самого себя софистъ» былъ «ясновидящимъ безумцемъ», а могущество его заключалось въ очарованіи всѣхъ тѣмъ огнемъ, отъ котораго горѣлъ онъ самъ, «какъ дерево зажженное молніей», очарованіе же его происходило отъ страсти («онъ страсть облекъ очарованьемъ»).

И вотъ, все, за что Байронъ превозносилъ Руссо—современники видѣли въ самомъ Байронѣ. Статья Вильсона въ «Edinburgh Review», написанная въ 1808 году, была бы умѣстна и теперь, она заслуживаетъ чтобы ее упомянуть. «Когда мы говоримъ или думаемъ о Руссо или Байронѣ—говорится тамъ—то дѣлаемъ это, какъ бы забывая, что говоримъ и мыслимъ—о писателяхъ. Они представляются намъ, нѣсколько неопредѣленно, какъ люди съ необыкновеннымъ гениемъ, краснорѣчіемъ и силой, одаренные въ необычайной степени способностью чувствовать горе и счастье. Намъ кажется, будто мы встрѣчали подобныя существа въ жизни, или были къ нимъ близки во снѣ. Каждое ихъ произведеніе даетъ живое понятіе о нихъ самихъ. Произведенія другихъ великихъ людей отдѣляются отъ ихъ личности и представляются намъ дѣлами ихъ рукъ; но во всемъ, что написали Руссо и Байронъ мы видимъ образы, картины, бюсты, снятые съ нихъ самихъ, при ихъ жизни, только убранные каждый разъ въ иную драпировку, выступающіе постоянно на новомъ фонѣ, но сохраняющіе все ту же форму; ихъ чертъ и выраженія мы не можемъ смѣшивать съ подобіями кого-

либо изъ иныхъ сыновъ человѣческихъ». Эта статья Вильсона въ «Ed. R.» замѣчательна тѣмъ, что, не входя въ причины развитія и преобладанія въ то время поэзій субъективной, уясняетъ однако особенность ея содержания и характера, заключающуюся въ томъ, что писатель подноситъ намъ на литературномъ блюдѣ—не виѣшній міръ, какъ онъ отразился рефлексомъ въ умѣ автора, но — куски собственнаго своего сердца, свою живую и притомъ необыкновенную личность, то, что у насъ Мицкевичъ называлъ «правдой чувствъ своихъ» <sup>1)</sup>).

Слѣдуетъ однакоже замѣтить, что между Руссо и Байрономъ есть значительная разница въ степени развитія личнаго чувства: Руссо былъ впечатлителенъ и чувствителенъ, Байронъ—запальчивъ и страстенъ. Руссо болѣзненно ощущалъ соприкосновеніе со свѣтомъ, сжимался какъ растеніе, называемое «не тронь меня», прятался какъ черепаха подъ свой щитъ, избѣгалъ людей; Байронъ, наоборотъ, имѣлъ темпераментъ боксѣра, атлета, и поэзія была изъ него именно послѣ столкновенія съ какой либо превратностью, какъ брызжутъ искры изъ кремня подъ ударами молота. Въ своемъ уединеніи, Руссо предавался сновидѣніямъ о золотой будущности для человѣчества, сочинялъ естественную религію и съ такимъ фанатизмомъ проникся самъ своими теоріями, что вѣру эту былъ готовъ насильно навязывать другимъ, вбивать ее въ нихъ. Байронъ же не имѣлъ никакихъ общественныхъ идеаловъ, а политическій его идеалъ былъ весьма одностороненъ; это былъ безусловный, ни съ чѣмъ не соображающійся либерализмъ, идеалъ свободы, смѣшанной съ своеволіемъ. Онъ былъ природный мятежникъ, какъ въ религіи, такъ и въ политикѣ. Возмущался онъ притомъ не разумомъ, но сердцемъ, и частые

---

<sup>1)</sup> «Шекспиръ, болѣе чѣмъ кто-либо, проникъ въ правду сердецъ и дѣлъ человѣческихъ. Байронъ, теперь, также вѣренъ правдѣ, но только—правдѣ чувствъ своихъ» («Письма съ дороги». Одыньца I. 139. Веймаръ. 1829 г.).

его бунты и злорѣчія не выходили за предѣлы нѣкоторыхъ положеній свойства богословскаго, такъ что Шелли, который былъ атеистъ, былъ по своему правъ, когда по прочтеніи «Каина» такъ отозвался о Байронѣ: «не многимъ лучше христіанина» (разумѣется съ точки зрѣнія атеистической). Сердце Байронъ имѣлъ воинственное, склонное къ борьбѣ, къ защитѣ всего, что слабо и угнетено. Почти вынужденный покинуть свою родину, этотъ странствующій рыцарь XIX вѣка ѣздитъ по всей Европѣ, повсюду бросая перчатку правленіямъ и вступаая въ заговоры съ мятежниками всякаго рода. Оба они, впрочемъ, Байронъ и Руссо, сходятся въ томъ, что и тотъ и другой—безусловные космополиты и совершенно равнодушны къ движеніямъ національнымъ, отъ которыхъ, однако, со времени Наполеона начинается все сильнѣе рябиться и колебаться поверхность европейскаго общества. Оба они также и гуманисты, только разныхъ направленій: Руссо хотѣлъ сплотить весь міръ винтами своей сомнительной и несовсѣмъ послѣдовательной доктрины, а Байронъ весь шаръ земной разбилъ бы на разлетающіеся атомы.

•

## XV.

Съ впечатлительностью и сильно развитой чувствительностью обыкновенно соединяется оригинальность. Въ обществѣ мы всѣ покрыты одинаковымъ лакомъ, но даже изъ подъ гладкой поверхности этого лака, у людей особенно чувствительныхъ и страстныхъ, проглядываютъ шероховатость и рѣзкость, словомъ нѣкоторыя черты, свойственныя прошлымъ поколѣніямъ, болѣе дикимъ, менѣе отполированнымъ цивилизаціею; такимъ свойствомъ является и склонность къ дѣйствію безъ оглядки, по первому порыву. Допустимъ, что человѣкъ такого порядка, одаренъ большими способностями и, между прочимъ, сильно развитымъ эстетическимъ чув-

ствомъ, что сверхъ того, онъ имѣетъ прекрасныя, благородныя инстинкты свойства альтруистическаго, не можетъ перенести, чтобы на его глазахъ мучили животное, а тѣмъ болѣе существо человѣческое. Предположимъ, вдобавокъ, что человѣкъ этотъ имѣетъ сильныя страсти, притомъ не низкія, а наоборотъ, такія, въ которыхъ обнаруживается возвышенность сердца и ума: любовь, гордость, крайнее славолубіе; что не всегда будучи въ состояніи совладать съ этими страстями, человѣкъ этотъ иногда погрѣшаетъ, совершаетъ что нибудь некрасивое, недоброе, даже жестокое, а потомъ и сокрушается по этому поводу и терзаетъ себя. Умъ такого человѣка не можетъ мыслить и разсуждать о какихъ-либо отношеніяхъ объективно, безъ примѣненія ихъ къ себѣ; напротивъ, всегда и во всемъ, у него на первомъ планѣ будетъ его личность, все же остальное онъ будетъ невольно подчинять ей и видѣть лишь въ томъ освѣщеніи и съ той окраской, какія ему подскажетъ личное его расположеніе.

Подобный человѣкъ, если онъ одаренъ творческимъ, поэтическимъ воображеніемъ, можетъ сдѣлаться великимъ поэтомъ, но въ поэзіи своей онъ будетъ воспроизводить собственно самого же себя и ничего болѣе; какъ бы онъ ни разнообразилъ свое творчество, рисуя себя попеременно — то прямо съ лица, то въ профиль, во весь-ли ростъ, или только по грудь, и хотя бы въ миниатюрѣ, но все-таки во всемъ выйдетъ у него его собственный портретъ. Такой художникъ будетъ создавать однимъ почеркомъ пера или взмахомъ кисти, чисто по вдохновенію, подъ вліяніемъ только впечатлѣнія, а не рефлексіи, и даже ради того, что чтобы онъ могъ творить, ему необходимо сперва испытать лично сильныя, потрясающія впечатлѣнія; значитъ, онъ долженъ искать такихъ условій, которыя даютъ возможность впечатлѣній этого рода. Положимъ, слишкомъ сильныя впечатлѣнія не бываютъ пріятны, но къ нимъ можно, однако, пристраститься. Будь у этого человѣка воображеніе мрач-

ное, и темпераментъ безпокойный, вызывающій, боевой,— онъ станетъ гоняться за приключеніями, лишь бы устроить себѣ жизнь поэтическую, и этой поэтичности своей жизни будетъ придавать гораздо больше цѣны, чѣмъ той поэзіи, которая выльется въ его произведеніяхъ.

Въ искусствѣ первостепенномъ и творческомъ, первымъ правиломъ является живописаніе — съ натуры, а не по книжкамъ или образцамъ; каждый великій поэтъ въ этомъ смыслѣ непремѣнно—реалистъ. Бываютъ поэты ясновидящіе, подобно Шекспиру, которые, въ силу непостижимаго дара прозрѣнія, изображаютъ объективно такія бури страстей, которыхъ сами они не испытали, или переломы, происходящіе въ характерахъ, разбиваемыхъ ударами рока среди трагическихъ столкновеній, хотя сами они, авторы, никогда не находились въ сходныхъ положеніяхъ, а лишь угадали, прозрѣли—какъ все это должно было происходить въ дѣйствительности. Съ другой стороны представимъ себѣ поэта, который этимъ гениальнымъ свойствомъ не обладаетъ, но имѣетъ передъ собою живую «натуру» — въ себѣ самомъ, и пишетъ этюды съ этой натуры, этюды, конечно, ограниченные этой рамкой. Это—этюды надъ одной только личностью, надъ собственной душой; но и тогда, если онъ чувствовалъ сильно, если сохранилъ въ памяти всѣ разныя состоянія души, если раны ея остались передъ нимъ открыты, какъ будто никогда не заживали, такъ что кажутся свѣжими и поражаютъ своей реальностью, то вѣдь и такой поэтъ — реалистъ въ своемъ родѣ. Онъ производитъ вивисекцію, то есть нѣчто во всякомъ случаѣ любопытное, особенно если подлежащій опыту субъектъ представляется душой недюжинною, кипѣвшею могучими страстями. Поэзія эта будетъ характера преимущественно—лирическаго, однообразнаго, будетъ воспроизводить лишь тѣ тоны, которымъ соотвѣтствуютъ наличныя въ душѣ поэта струны, передастъ, напримѣръ, бѣшеную энергію и иронію или же — чувствительность

и меланхолю, въ крайне же рѣдкихъ случаяхъ—отразить чувства и того и другого порядка.

Сдѣлаемъ еще одинъ шагъ впередъ въ нашихъ предположеніяхъ. Въ душѣ, отличающейся необыкновенной раздражительностью, способной приходить въ возбужденное состояніе отъ такихъ причинъ, которыя на другихъ людей не оказываютъ равнаго дѣйствія, въ такой душѣ, говоримъ мы, почти по необходимости, является нѣкоторая утрировка въ самомъ сознаніи впечатлѣній. Будучи, въ самомъ дѣлѣ, гораздо болѣе впечатлительны и раздражительны, чѣмъ обыкновенные люди, организаціи этого рода вправѣ считать себя исключительными, а затѣмъ онѣ уже и не имѣютъ общей мѣрки, чтобы провѣрять свои впечатлѣнія разсудкомъ; онѣ, наоборотъ, склонны къ преувеличенію ихъ силы и своей исключительности, т.-е. имъ присуща черта отрицательная—расположеніе къ позировкѣ, къ представленію себя въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ; онѣ любятъ своими недостатками и охотно выдаютъ себя за натуры демоническія, имъ лестно прослыть преступными.

Положимъ, и обыкновенный человѣкъ можетъ испытать бурю страстей, совершить злодѣяніе и переносить угрызенія совѣсти. Но для обыкновенныхъ людей это—исключительный случай, созданный обстоятельствами, ставящими иногда человѣка въ драматическое положеніе, съ которымъ характеръ его не можетъ справиться и выходить изъ своей колеи; таковы психологическія данныя, которыя можно извлечь изъ наблюденія уголовныхъ процессовъ. Но субъективный поэтъ, въ родѣ Байрона, тѣмъ отличается отъ такихъ обыкновенныхъ людей, что для него драматическое положеніе представляется не исключительнымъ случаемъ, а напротивъ—положеніемъ обычнымъ, атмосферой, которою этотъ поэтъ старается себя окружать. Такой поэтъ долженъ идеализировать природу, «усиливать» случаи жизни, онъ беретъ тѣ или другія черты и особенно ихъ подчеркиваетъ, преувеличиваетъ, окрашиваетъ возможно ярче. Но такъ

какъ чрезмѣрно-страстное его отношеніе къ чертамъ природы или случаямъ жизни не соответствуетъ дѣйствительности, а такое несоответствіе между дѣйствіемъ и поводами могло бы, на обыкновенный взглядъ, казаться страннымъ, иногда, пожалуй, и комичнымъ, то отсюда является у поэта новая потребность — выставить себя существомъ загадочнымъ. Онъ окружаетъ себя таинственностью, носить на челѣ печать отверженія, позволяетъ возникать легендѣ о кровавыхъ своихъ дѣлахъ, объ ужасныхъ мщеніяхъ—въ родѣ тѣхъ, какія тяготѣли надъ Ларой или Корсаромъ. Однимъ словомъ, ему приходится проводить чрезъ всю свою жизнь мистификацію, на которую, дѣйствительно, и ловились даже опытные люди, которой поддался и самъ Гёте. Гёте допускалъ, что была во Флоренці нѣкая дама, которую Байронъ любилъ и которую умертвилъ мужъ, увѣдомленный о ея невѣрности, и что затѣмъ, въ ночь послѣ этого преступленія, самъ мужъ погибъ на улицѣ отъ неизвестной руки, а послѣдствіемъ всего этого будто бы и было, что Байрона преслѣдовалъ далѣе во всю жизнь цѣлый рой привидѣній <sup>1)</sup>).

При субъективномъ характерѣ поэзіи Байрона, очевидно, что для пониманія ея совершенно необходимъ элементъ біографическій. Шекспира можно изучать, совершенно не зная его жизни, точно также и Шиллера, менѣе уже—Гёте. Но проникнуть смыслъ произведеній Байрона нельзя безъ изученія его жизни, очеркъ которой мы и обязаны теперь представить. Источниковъ и обработанныхъ матеріаловъ для этого есть много. Два лучшія сочиненія слѣдующія: «Лордъ Байронъ»—Карла Эльзе, 2-е изд. Берлинъ. 1881 г. и «Истинный лордъ Байронъ, новыя изслѣдованія о жизни поэта» <sup>2)</sup> Джиффрсона. 1882 г.

---

<sup>1)</sup> «Это сказочное приключеніе, вслѣдствіе безчисленныхъ намековъ въ его стихотвореніяхъ, становится вполне вѣроятнымъ».

<sup>2)</sup> «The real lord Byron, new views of the poet's life». Jeaffreson.

XVI.

Въ своей характеристикѣ Байрона. Тэнъ («Истор. англ. лит.» III, кн. 4 гл. 2) указываетъ въ особенности на его племенные черты: нормандскую кровь, мрачную дикость, надменность, потребность борьбы, страсть къ разрушенію — свойства, одушевлявшія «морскихъ королей» и витязей скандинавскихъ. Дѣйствительно, не подлежитъ сомнѣнію, что родъ Байроновъ — норманскій, древній, хотя не выдававшійся. Основатели этого рода въ Англіи, рыцари Эрнейсъ и Ральфъ де-Бюренъ (Buirin), прибыли съ Вильгельмомъ Завоевателемъ, получили лены, которыхъ пожалованіе занесено въ Doomsday book; одинъ изъ ихъ потомковъ, сэръ-Джонъ малый, по прозванію Длинная Борода (sir John the little with the Great Beard), получилъ отъ короля Генриха VIII, по отпаденіи Англіи отъ католической церкви, большое по-духовное имѣніе, принадлежавшее прежде богатому Ньюстедскому монастырю (де-Ново-Лосо), а сверхъ того имѣлъ еще владѣніе Рочдэль. Байроны крѣпко держались Стюартовъ, въ ихъ борьбѣ съ парламентомъ; за заслуги въ этой борьбѣ, Джонъ Байронъ въ 1643 г. былъ возвышенъ въ санъ пэра, съ титуломъ барона Рочдэля. Но возвышаясь въ своемъ положеніи, домъ Байроновъ обѣднѣлъ. Ихъ родъ не отличался ни особыми умственными способностями, ни предпріимчивостью; они были только землевладѣльцы, сельскіе хозяева. Склонность къ исканію приключеній и крутость нрава, какъ кажется, перешли къ поэту, хотя и наслѣдственно, но не въ мужскомъ, а въ женскомъ колѣнѣ — отъ Бёрклеевъ, чистыхъ саксовъ, изъ дома которыхъ происходила жена Вилльяма, четвертаго лорда Байрона. У обоихъ его сыновей проявились совсѣмъ новыя, въ ихъ родѣ, черты характера: неровность, запальчивость, рѣзкость.

Старшій сынъ, Вилльямъ, по смерти отца — пятый лордъ Байронъ (1722—1798 г.г.), человѣкъ съ дурной



репутаціей и всѣми ненавидимый, убилъ своего двоюроднаго брата, Чаурота (1865 г.), въ поединкѣ на шпагахъ. Поединокъ этотъ происходилъ въ тавернѣ, при свѣтѣ, подъ пьяную руку и безъ свидѣтелей, оба противника были искусные фехтовальщики. Въ прошломъ вѣкѣ нерѣдки бывали подобные поединки. Байронъ былъ заключенъ въ замокъ Тоуэръ и судомъ пэровъ былъ признанъ виновнымъ въ непредумышленномъ убійствѣ (manslaughter), а отъ понесенія наказанія его освободило званіе пэра. Онъ былъ жестокимъ мужемъ и отцомъ, несноснымъ сосѣдомъ, чуждался людей и по смерти единственнаго сына остался бездѣтнымъ. Такъ какъ имѣнія должны были, такимъ образомъ, перейти къ Джорджу Байрону, поэту, дальнему родственнику лорда Вилльяма, который не называлъ своего наслѣдника иначе, какъ «мальчикомъ въ Эбердинѣ», то Вилльямъ немилосердно разорялъ имѣніе, противозаконно продалъ Рочдэль, а въ Ньюстедѣ лучшіе лѣса.

Братъ этого самодура, дѣдъ поэта, адмиралъ Джонъ Байронъ приобрѣлъ извѣстность, какъ морякъ, своими приключеніями и предпріимчивостью, былъ и писателемъ. Его описаніе кораблекрушенія на западномъ берегу Америки и возвращенія въ Европу чрезъ Магелланскій проливъ воспламенило дѣтское воображеніе внука, который, будучи мальчикомъ, мечталъ о далекихъ плаваніяхъ. Тетка адмирала, сестра его матери, Варвара Бёркли была замужемъ за Треваньономъ, въ Корнуэльзѣ, и имѣла дочь Софью; на этой племянницѣ адмиралъ женился, и такимъ образомъ, въ кровь ихъ потомства вошла примѣсь кельтской крови Треваньоновъ. Отъ адмирала пошли двѣ линіи: одна представлялась капитаномъ Джономъ и затѣмъ — сыномъ его, Джорджемъ Байрономъ, поэтомъ; другая, та, въ которую перешло званіе пэра, по смерти поэта, идетъ отъ Ансона Байрона, брата капитана, женатаго на дѣвицѣ Далласъ.

Отецъ поэта, капитанъ Джонъ, славился какъ повѣса, вѣтренникъ, франтъ и мотъ, а въ военныхъ кругахъ

былъ извѣстенъ подѣ именемъ «шальнаго Джека» (mad Jack). Воспитывался онъ во Франціи, служилъ въ гвардіи, прельщалъ женщинъ красотою и веселымъ нравомъ, соблазнилъ маркизу Кэрмартенъ, дочь англійскаго посланника въ Гаагѣ, графа Гольдернесса, которая была старше своего возлюбленнаго, увезъ ее во Францію, развелъ съ мужемъ и женился на ней, а потомъ самымъ скандальнымъ образомъ спустилъ, во Франціи же, большое ея состояніе. Отъ этого брака родилась Августа Байронъ (1783 г.), въ замужествѣ г-жа Лей (Leigh), а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (въ январѣ 1784 г.) послѣ рожденія ея умерла ея мать. Потерявъ жену, капитанъ Байронъ возвратился въ Англію и началъ искать другой богатой невѣсты, чтобы поправить свои разстроенныя дѣла. Человѣкъ легкомысленный и нуждавшійся въ деньгахъ, онъ не могъ долго выбирать и остановился на партіи не блестящей, которая однако же могла вывести его, на нѣкоторое время, изъ затруднительныхъ обстоятельствъ.

Приданое составляло всего 23 тысячи фунтовъ. Правда, родъ миссъ Катерины Гордонъ, изъ Гейта, въ Эбердинскомъ графствѣ, былъ знатный, такъ какъ происходилъ по женской линіи отъ королевскаго дома Стюартовъ (отъ Аннабеллы Стюартъ, дочери Якова II). Но это не мѣшало второй женѣ капитана Байрона быть женщиной безъ всякаго образованія и съ манерами рыночной торговки; никогда она не научилась писать безъ самыхъ грубыхъ ошибокъ. Сейчасъ послѣ свадьбы молодые отправились въ Парижъ, гдѣ капитанъ Джонъ, въ очень короткое время, прокутилъ и приданое второй жены, а затѣмъ, съ кое-какими остатками, супруги возвратились въ Лондонъ. Здѣсь-то, на Голльзстритѣ, улицѣ, идущей отъ Кэвендиш-Сквера, въ домѣ подѣ № 24, родился 22 января 1788 года Джорджъ Гордонъ Байронъ, ребенокъ хромой отъ рожденія, по винѣ-ли матери, какъ утверждалъ впослѣдствіи онъ самъ—или по винѣ акушера, неизвѣстно. Для насъ остается загадкою и то,

въ чемъ собственно заключалась неправильность ноги или обѣихъ ногъ Байрона. Поэтъ, сколько могъ, скрывалъ этотъ недостатокъ; Трилоуни, который изъ любопытства дѣлалъ наблюденія надъ трупомъ Байрона, утверждаетъ, что искалѣчены были обѣ ступни, а преимущественно—правая, которая была нѣсколько короче лѣвой, и которую въ дѣтствѣ пытались исправить, втискивая ее въ колоду съ винтомъ, чѣмъ ее еще больше испортили; на обѣихъ ногахъ икры были слабы, и обѣ ступни были сильно атрофированы. Джиффрсонъ говорить, что недостатокъ въ обѣихъ ногахъ заключался въ сокращеніи ахиллесовыхъ связокъ (*tendo Achillis*) обѣихъ ступней, такъ что Байронъ не могъ ступать по землѣ всею подошвой и становиться на пятки, а долженъ былъ всею тяжестью опираться на однихъ пальцахъ; вслѣдствіе того, онъ не могъ сдѣлать подъ рядъ болѣе нѣсколькихъ сотъ шаговъ безъ усталости и не могъ сѣсть на-земь, такъ какъ не былъ бы въ состояніи подняться; когда же онъ боксировалъ или фехтовалъ, то сразу бѣшено нападалъ на противника, чтобы побѣдить его первымъ же ударомъ, такъ какъ при болѣе продолжительной борьбѣ, ему отказывалась служить правая нога, въ которой онъ чувствовалъ спазмы и боль.

Надъ семейю Байроновъ тяготѣла нужда, пришлось отправиться въ Шотландію, въ Эбердинъ, гдѣ, благодаря стараніямъ юристовъ, г-жа Байронъ получила хоть нѣкоторое обезпеченіе, въ видѣ неприкосновеннаго капитала въ 3 тысячи фунтовъ, приносившаго годоваго дохода 150 фунтовъ, которые и составляли, съ этого времени, всѣ средства къ жизни цѣлой семьи, состоявшей изъ мужа, жены и сына (дочь Августу взяла къ себѣ на воспитаніе бабка ея, богатая голландка, вдова графа Гольдернесса). Капитанъ Байронъ отнималъ у жены что только могъ, а она устроила ему адскую жизнь въ домѣ. Споры между супругами доходили до дракъ, и капитанъ, наконецъ, убѣжалъ въ свою любимую Францію, гдѣ

вскорѣ потомъ (1791 г.) и умеръ, имѣя всего 36 лѣтъ. Вдова горько его оплакивала по смерти; не взирая на то, что онъ довелъ ее до нужды, она наполняла домъ воплями отчаянія.

Госпожа Байронъ, мать поэта, была низкаго роста, толстая и запальчивая особа, апоплектического склада; сына она то едва не зацаловывала до смерти, то готова была его бить, швыряла въ него тарелкой или щипцами, какими бросаютъ уголь въ каминъ, а то ругала его «отродьемъ хромоногимъ (lame brat)». На словахъ настоящая демократка, госпожа Байронъ была въ тоже время глубоко убѣждена въ неизмѣримомъ превосходствѣ рода Гордоновъ надъ родомъ Байроновъ, а въ самомъ родѣ Гордоновъ—той, старшей линіи, отъ которой она сама происходила, надъ линіею Гордоновъ-Ситоновъ. Ни правильно писать, ни одѣваться со вкусомъ, ни вести себя прилично въ обществѣ, госпожа Байронъ не научилась никогда. Первые религіозныя понятія были сообщены ребенку нянькой его, Марьей Грэй, которая была усердная кальвинистка. На пятомъ году мальчикъ началъ ходить въ школу, а на осьмомъ году перенесъ скарлатину и былъ потомъ посланъ, для возстановленія силъ, въ горы, налѣченіе козьимъ молокомъ. Маленькій Джорджъ провелъ это время въ Баллотерѣ, надъ горнымъ потокомъ Ди, въ виду черной вершины Локна-гар'а.

Слѣды того глубокаго впечатлѣнія, какое произвели на мальчика Гейленды, т. е. гористыя мѣстности Шотландіи, остались на всю жизнь. Въ 18-й пѣснѣ «Дон-Жуана», поэтъ славить голубыя вершины и прозрачныя потоки Ди-Дона, черныя устои Бальгунскаго моста, шотландскіе пледы и ленты, и юношескіе сны и мечтанія, пронесшіеся въ своихъ воздушныхъ одеждахъ, какъ будто потомство призрака Банко. И въ гораздо позднѣйшихъ путешествіяхъ Байрона проявлялось въ немъ чувство, испытанное польскимъ поэтомъ Богданомъ Залѣскимъ, который на Капитоліѣ и среди римской Кампаньи, мечталъ объ Украинѣ. Въ стихахъ, написанныхъ въ Генуѣ,

за годъ до смерти (Джиффрсонъ, 1107), чувство это вылилось такъ: «Я долго бродилъ среди краевъ чужихъ, обожалъ Альпы и любилъ Аппенины, почиталъ Парнассъ, смотрѣлъ на склоны юпитеровой Иды и на вѣнецъ крутаго Олимпа. Но мысль мою они держали въ неволѣ не воспоминаніемъ вѣковъ минувшихъ и не своей природой. Восторгъ ребенка сохранился въ юношѣ и въ моихъ глазахъ взиралъ на Трою, вмѣстѣ съ Идой — Локна-гаръ. Кельскія воспоминанія приплетались къ видамъ горъ Фригійскихъ и водопады Гейлендовъ сливались съ свѣтымъ ручьемъ кастальскимъ. Прости мнѣ, тѣнь великая Гомера и ты, Фебъ, прости этотъ обманъ воображенія. Меня учили сѣверъ и природа поклоняться вашимъ возвышеннымъ видамъ, во имя видовъ иныхъ, которые любилъ я прежде».

Родственники г-жи Байронъ и свойственники ея со стороны мужа такъ мало обращали на нее вниманія, что она очень поздно, и то изъ случайнаго разговора, узнала о послѣдовавшей 19 мая 1798 года смерти стараго лорда Байрона (Вилльяма), по которомъ 10-лѣтній Джорджъ унаслѣдовалъ имѣнія и званіе пэра. Канцлерскій судъ поручилъ опеку надъ нимъ дальнему его родственнику, графу Карлейль. Когда мать съ сыномъ пріѣхали въ свои имѣнія, то это наслѣдство оказалось въ страшномъ разореніи. Рочдэльское имѣніе, незаконно проданное, надо было возвращать путемъ процесса; низкой ренты, платившейся арендаторомъ, не было достаточно даже на содержаніе мальчика въ одномъ изъ аристократическихъ закрытыхъ заведеній, каковы Итонъ или Гарроу. Помѣщичій домъ, передѣланный изъ аббатства, съ великолѣпной готической аркой, соединяющей оба флигеля, паркъ, въ которомъ находился дубъ, выдавшій еще времена друидовъ, съ чистымъ озеромъ и фонтаномъ, — пришлось отдать внаймы постороннимъ людямъ, чтобы охранить все устройство отъ окончательнаго упадка. Джорджа помѣстили, покамѣстъ, въ приготовительную школу пастора Гленни, въ Дэльвичѣ. Но мать безпрестанно отрывала

отъ занятій мальчика, котораго ученіе и такъ было запущено, а сверхъ того, постоянно ссорилась съ педагогомъ, такъ что о спорахъ своихъ они, наконецъ, представили на усмотрѣніе опекуна. Но лордъ Карлейль вскорѣ уклонился отъ роли посредника, не желая имѣть сношеній съ истерической и злой женщиной. Даже мальчики, товарищи Джорджа, говорили ему: «твоя мать сумасшедшая», на что онъ отвѣчалъ, смотря изъ подлѣбья: «самъ знаю».

Четыре года, проведенные въ училищѣ Гарроу (1801—1805), произвели на юношу большое вліяніе, такъ что въ университетъ, въ Кэмбриджъ, онъ поступилъ съ довольно уже сложившимся характеромъ и даже съ задатками литературной отшлифовки. Этимъ онъ былъ отчасти обязанъ проницательности своего тьютора въ училищѣ, д-ра Друри, который въ этомъ толстомъ и грубоватомъ мальчуганѣ, говорившемъ съ шотландскимъ акцентомъ, сумѣлъ разгадать необыкновенныя способности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и такія особенности характера, что его слѣдовало водить не на цѣпи, а на шелковомъ пояскѣ. Услышавъ объ этомъ, опекунъ очень удивился и недовѣрчиво процѣдилъ: «въ самомъ дѣлѣ?»—когда мистеръ Друри сообщилъ ему, что родственники его имѣютъ такія дарованія, которыя могутъ его возвысить даже и въ томъ положеніи, какое ему уже принадлежитъ въ обществѣ.

И такъ, мы довели Байрона до Тринити-колледжа въ Кэмбриджѣ, гдѣ онъ окончательно эмансипировался отъ власти матери, сталъ жить по-аристократически, нѣсколько кутить, а понемногу и стихотворствовать. Изъ этихъ раннихъ стихотвореній составилъ уже въ Кэмбриджѣ цѣлый томикъ: «Часы Праздности», въ которомъ вовсе еще не проглядывали ни природа, ни когти льва. Это былъ пучекъ школьныхъ воспоминаній, любовныхъ строфъ, во вкусѣ Попа, съ весьма немногочисленными порывами къ болѣе высокому полету. Теперь, изложивъ вкратцѣ голые историческіе факты, относящіеся къ личности поэта, указавъ на всѣ внѣшнія

условія и вліянія среды, присмотримся нѣсколько поближе, какое среди этихъ условій развивалось любопытное и своеобразное растеніе.

## XVII.

Самъ Байронъ много разъ портретировалъ себя и обыкновенно темными красками. Во всякомъ случаѣ, тѣ свѣдѣнія, какія онъ даетъ о себѣ, представляютъ перво-степенный источникъ для объясненія его душевнаго склада и характера. Въ стихотвореніи, обращенномъ къ Т. Гвиччоли, поэтъ говоритъ: «во мнѣ кровь южная течетъ; уже-ль иначе оставилъ бы я край родной и покорился-бъ,—прежнія забывъ мученья—любви, ужели полюбилъ бы я васъ»? Байронъ, въ самомъ дѣлѣ, считалъ себя истиннымъ южаниномъ, былъ дѣйствительнымъ поклонникомъ солнца: «въ солнечный день я болѣе религіозенъ»; не можемъ не вспомнить при этомъ о Красинскомъ, который видѣлъ въ зимѣ какъ будто богоотступничество природы. Южаниномъ Байрона надо признать не только потому, что его вѣчно влекло къ теплему воздуху и темной лазури неба Греціи или Азіи, а среди тумановъ, при огонькѣ каменнаго угля, отказывались у него дѣйствовать и арфа, и сердце, и голосъ (Т. Муръ. 136, годъ 1811). Онъ былъ южанинъ по самому темпераменту, легко воспламенявшемуся и склонному къ насилію, неровному, заглушавшему въ первую минуту голосъ разсудка, такъ что ему приходилось впоследствии жалѣть о случившемся. «Я родился — писалъ онъ—съ серебряной ложкой во рту, какъ говорится у насъ, такъ какъ ни въ чемъ не нахожу вкуса, развѣ только въ кайенскомъ перцѣ. Не могу и представить себѣ такого существованія, которое бы мнѣ не надоѣло» (Муръ, 208).—«Я запальчивъ, но не золъ—писалъ онъ къ женѣ — только въ первую минуту, когда меня затронуть, я злюсь» (1828 г. Муръ, 582) — «Не понимаю

уступчивой чувствительности; мною овладѣваетъ страшное бѣшенство—на 48 часовъ»—«Однажды въ Англіи, 5 лѣтъ тому (около 1816 г.), я почувствовалъ столь неутолимую жажду, что въ теченіи ночи выпилъ 15 бутылокъ соды, отбивая шейки бутылокъ, такое во мнѣ было нетерпѣніе. Теперь же на меня напали какое-то отяжелѣніе и потеря охоты ко всему, пробуждаюсь со злостью, должно быть кончу тѣмъ, что замру сверху, какъ Свифтъ» <sup>1)</sup> (Муръ. 485). — «Мнѣ предъявили къ уплатѣ счетъ изъ Венеціи, который я считалъ уплоченнымъ уже нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Я пришелъ въ такой пароксизмъ бѣшенства, что со мной сдѣлался обморокъ; между тѣмъ, счетъ былъ всего на 25 фунтовъ» (Равенна 1821. Муръ. 479). — «Во мнѣ всегда были: такая âme, которая мучила сама себя и тѣхъ, кто имѣлъ съ ней соприкосновеніе, затѣмъ, такой *esprit violent*, который въ концѣ концовъ, лишалъ меня всякаго *esprit*» (М. 485). — «Люблю энергію вообще, даже животную энергію всякаго рода и энергія мнѣ необходима, какъ умственная, такъ и физическая». Когда ему было 20 лѣтъ, Байронъ такъ писалъ о себѣ, къ пріятелю своему Гарнессу (М. 24): «На будущій годъ, я выйду въ свѣтъ, и пуцусь въ своей сумасбродной карьерѣ, вмѣстѣ съ другими; ты не знаешь моего неустойчиваго, мятежнаго настроенія, которое вовлекло меня въ разнузданность всякаго рода». Черезъ три года послѣ того, будучи уже совершеннолѣтнимъ и находясь въ траурѣ по матери, Байронъ, который успѣлъ посѣтить Востокъ и приготавливалъ къ печати первыя пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», писалъ Годжсону: «Смѣйся надо мною — я становлюсь нервнѣе, но въ самомъ дѣлѣ, бѣдственно, смѣшно, по-дамски нервнѣе. Климатъ вашъ убиваетъ меня, дни мои пусты, ночи безъ сна, гостей имѣю рѣдко, а когда они приходятъ, то я убѣгаю. У меня недостаетъ метода, чтобы справляться съ мыслями и это

---

<sup>1)</sup> Намекъ на сумасшествіе.



меня мучаетъ. Можетъ быть, это кончится сумасшествіемъ, но Дэвисъ говоритъ, что это скорѣе — дурость; ничѣмъ не могу излѣчиться отъ спрязженія проклятаго глагола *ennuier*» (Ньюстедъ. 13 Октября 1811 г. Муръ. 141).

Къ самоубійству Байронъ, однако, никогда не имѣлъ влеченія. «Мнѣ лѣнь — писалъ онъ — прострѣлить себѣ голову, да это огорчило бы Августу (сестру) и еще кое-кого и осчастливило бы Джорджа (двоюроднаго брата—наслѣдника), впрочемъ и для меня было бы недурно, но не хочу этого искушенія» (М. 213). Но мысль о сумасшествіи преслѣдовала его постоянно, такъ какъ мозгъ его вѣчно находился въ работѣ и въ кипѣніи, и въ этомъ состояніи представлялся самому поэту въ видѣ кружащагося огненнаго моря («Чайльдъ-Гарольдъ» III. а7): «утишься мысль моя, я думалъ слишкомъ долго, и слишкомъ мрачно; въ кипѣньи и въ усиліяхъ мой мозгъ сталъ моремъ огненнымъ, — которое кружить воображеніе».

Всякое сильное сопротивленіе вызывало въ этой пылкой натурѣ или изступленіе, или еще худшее, затаенное бѣшенство, котораго опасалась даже мать Джорджа, видя какъ ребенокъ блѣднѣлъ и стискивалъ зубы; каждое же желаніе или влеченіе превращались въ неудержимую и совершенно поглощавшую его страсть. Уже въ раннемъ дѣтствѣ, онъ «пожиралъ» книги: «я читалъ когда ѣлъ, лежалъ въ постелѣ, словомъ когда никто бы не сталъ читать, и такъ было съ пяти лѣтъ» (М. 20).— «Всѣ дружбы мои въ школѣ были страстями (я всегда былъ горячъ)».— «До сихъ поръ не могу слышать безъ біенія сердца имени Клера (лордъ Клеръ, товарищъ Байрона въ Гарроу'скомъ училищѣ). Увлеченіе мое (любовь къ миссъ М. Паркеръ) произвело на меня обычное дѣйствіе: я не могъ ни ѣсть, ни спать, и хотя имѣлъ поводъ думать, что и она меня любитъ, я жилъ только мыслію о времени, какое пройдетъ до новаго свиданія, перерывы же между нашими свиданіями продолжались

обыкновенно часовъ 12». Байронъ ничего не чувствовалъ слабо, а все, что чувствовалъ особенно сильно, хотя бы оно соединялось съ наслажденіемъ или удовольствіемъ, переходило для него въ страданіе и кончалось припадкомъ. Въ 1814 году, игра Кина въ роли сэра-Гайльса Оверрича, вызвала у Байрона конвульсіи (М. 252). Въ 1819 г., другой сходный припадокъ случился съ поэтомъ въ Болоньѣ, на представленіи «Мирры» — трагедіи Альфіери: «Это была не дамская истерика, а потокъ невольныхъ слезъ и дрожь, отъ которой я весь трясся; въ такое состояніе меня рѣдко приводитъ фикція» (М. 404).

Эту столь необычайно впечатлительную душу, въ которой каждое ощущеніе было слишкомъ сильно и потому дѣлалось болѣзненнымъ, отъ страданія спасало одно только средство — поэтическое творчество, какъ бы облегченіе себя посредствомъ родовъ. «Всѣ мои конвульсіи оканчиваются стихами», говоритъ Байронъ (1813 г. М. 197). Совершенно такъ, какъ у всякаго истиннаго поэта, напр. у Гёте или Мицкевича, страданіе исчезало, отлившись въ поэтическое произведеніе. «Со мной это случается — пишетъ Байронъ (1821 г. Равенна. М. 492) — находить по временамъ пароксизмъ изступленія, отъ котораго я лишился бы разсудка, еслибы не писалъ, чтобы занять свой умъ. Не понимаю, какъ можно любить регулярное, непрерывное сочинительство. Для меня оно — родъ пытки, сквозь которую я долженъ пройти, а вовсе не удовольствія. Творчество я считаю большимъ трудомъ». Въ томъ, что писателей ставятъ выше, чѣмъ людей дѣйствія, Байронъ видитъ «признакъ изнѣженности и вырожденія. Дѣла, дѣла, твержу я, а не писаніе, въ особенности — не писаніе стиховъ»... — «Единственнымъ и искреннимъ побужденіемъ писать, у меня является необходимость отвлекать себя отъ себя же: что за проклятое дѣло эгоистическое самочувствіе» — «Печатаніе написаннаго представляетъ продолженіе той же заботы, чтобы какъ нибудь занять свой умъ, который

иначе уходилъ бы въ самосозерцаніе» (М. 206 — 208) — «Писалъ я отъ полноты сердца, подъ вліяніемъ порыва или страсти, но не для сладкихъ голосковъ (этихъ дамъ)». Самый процессъ творчества былъ для Байрона кипѣніемъ, и пока это кипѣніе продолжалось, на корректурахъ прибавлялись строфы, даже цѣлыя страницы, но передѣлки не удавались никогда (объ этомъ свидѣлствуютъ письма о вымученномъ такимъ образомъ 3-мъ актѣ «Манфреда») — «Я уже говорилъ — пишетъ авторъ — что ничего не могу поправить. Со мной — какъ съ тигромъ: если не схвачу съ перваго скока, то возвращаюсь въ свое логовище; но зато, когда схвачу, то сокрушаю».

Поэтическое творчество всегда состоитъ изъ двухъ элементовъ: идеализаціи или игры фантазіи и реального основанія. Байронъ отлично сознавалъ процессъ идеализаціи впечатлѣній: «первыя впечатлѣнія мои сильны, но перемѣшаны; память дѣлаетъ между ними выборъ и нѣкоторый порядокъ, будто перспективу въ ландшафтѣ, она же отбѣняетъ ихъ, хотя они уже и дѣлаются менѣе отчетливы. Должно быть, есть еще инныя внѣшнія чувства, сверхъ тѣхъ, какими обладаемъ мы, смертныя, такъ какъ велико то, что надо обнять, и изъ этого нѣчто всегда утрачивается, при чемъ мы сознаемъ, что намъ слѣдовало бы обладать болѣе возвышеннымъ и шире охватывающимъ пониманіемъ (Римъ 1817 г. М. 355)». И однакоже, Байронъ считалъ себя преимущественно реалистомъ въ поэзіи и былъ въ этомъ отношеніи антиподомъ Руссо. «Ни о чемъ не могу писать — замѣчаетъ онъ — безъ личнаго наблюденія и основанія (фактическаго)... Ненавижу вещи, представляющія одинъ лишь вымыселъ. Въ наиболѣе эфирномъ произведеніи должно, все-таки, быть фактическое основаніе, а чистый вымыселъ — это талантъ лгуна» (М. 348). Отсюда истекали та заботливая откровенность и любовь къ правдѣ, какія онъ вносилъ въ свои произведенія: «не могу и не хочу укрывать моихъ мыслей и сомнѣній, чтобы, во что бы ни стало, угодить господствующему

мнѣнію (М. 208)». У такого реалистическаго процесса творчества находилась въ распоряженіи удивительная, феноменальная память, притомъ — память сердца, которая съ необыкновенной цѣльностью и въ полной свѣжести хранила не одни голые факты, но и чувства, вызванныя впечатлѣніями. Мы приведемъ сейчасъ примѣры этого свойства Байрона — перечувствовать вновь и передавать во всей ихъ свѣжести чувства, испытанныя давно.

Необычайная впечатлительность поэта должна была, конечно, проявиться и въ отношеніяхъ его къ женщинамъ. Уже на 9-мъ году отъ роду онъ влюбился въ маленькую дѣвочку, Марію Дэффъ, и любовь эта была сильная, хотя, разумѣется, дѣтская, чуждая полового инстинкта. Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1800 г., еще передъ поступленіемъ въ училище Гарроу, Байронъ во второй разъ влюбился въ кузину свою Маргариту Паркеръ, очень красивую дѣвушку съ черными глазами, длинными рѣсницами, съ греческимъ профилемъ и необыкновенно нѣжной, прозрачной кожей; миссъ Паркеръ, по словамъ поэта, была похожа на воздушное существо, созданное изъ радужныхъ лучей. Она умерла; ей были посвящены первые стихи Байрона, она, въ знакъ взаимности, дала ему свой локонъ, который Байронъ носилъ на груди втеченіи всей своей жизни. Затѣмъ, третья его любовь, разумѣется, уже болѣе глубокая, относится къ 16-ти лѣтнему возрасту поэта, когда онъ учился въ Гарроу (1803 г). Предметомъ ея была богатая родственница, жившая въ сосѣдствѣ, въ Энсли, Марія Чауртъ, внучка того Чаурта, котораго убилъ дядя поэта, «злой лордъ Байронъ», предшественникъ поэта въ пэрствѣ. Она была двумя годами старше Джорджа, отличалась вызывающей веселостью и забавлялась разговаривавшимся въ юношѣ чувствомъ. Но случилось, что Джорджъ услышалъ ея откровенный о немъ отзывъ въ разговорѣ съ подругой: «неужели ты думаешь, что я въ самомъ дѣлѣ занята этимъ хромымъ мальчишкою?»

Эти слова подѣйствовали на него какъ раскаленное желѣзо. Онъ сгоралъ отъ стыда, что былъ поставленъ въ смѣшное положеніе, что ему могли приписать корыстные виды—поправить свое положеніе бѣднаго лорда при помощи состоянія богатой наслѣдницы, а наконецъ и отъ того еще, что онъ профанировалъ воспоминаніе о Маргаритѣ Паркеръ, похваставшись ея локономъ передъ миссъ Чауртъ, чтобы сдѣлать себя болѣе интереснымъ, какъ будто бы это были волосы живой женщины. Не будучи въ состояніи перенести всего этого, Байронъ уѣхалъ въ Ньюстедъ, не простясь ни съ кѣмъ, а послѣ каникулъ, старался найти утѣшеніе въ страстной дружбѣ съ товарищами, которыхъ обожалъ, какъ пансіонерка. Въ послѣдующія каникулы онъ находился опять въ Эннсли; рана еще не зажила, но поэтъ старался скрывать ее подъ ледянымъ равнодушіемъ. Украдкой, онъ написалъ карандашомъ на одной изъ книжекъ миссъ Чауртъ стихи, не свои (леди Туитъ), но изображавшіе состояніе его души: «воспоминаніе, о не томи меня... напрасно все—надежда, сожалѣнны, ищущи лишь одного—забыть». Затѣмъ между ними произошла сцена, болѣе или менѣе похожая на ту, какая описана въ превосходномъ стихотвореніи «Сонъ».

Осѣдланная лошадь землю била...  
Мой юноша съ лицомъ печально блѣднымъ  
Вздвѣ и впередъ ходилъ; по временамъ  
Садился онъ и схватывалъ перо  
И вдругъ писалъ загадочное что-то.  
Потомъ опять лицо онъ закрывалъ  
Обѣими руками, и все тѣло  
Какъ въ судорогахъ дрожало... Вдругъ опять  
Онъ вскакивалъ, руками и зубами  
Свое письмо на части рвалъ: но слезъ  
Не проливалъ. Но вотъ онъ сталъ спокойнѣй...  
Нежданно дверь молельни отворилась.  
Вошла она—предметъ его любви,  
Съ спокойною и милою улыбкой,  
Хоть хорошо извѣстно было ей,  
Что въ ней пылалъ онъ горькою любовью,

Что тѣнь ея, какъ мрачный столбъ, лежала  
 На душу всю несчастнаго: страданье  
 И скорбь несчастнаго—все видѣла она...  
 Но нѣтъ, не все! Онъ всталъ и руку милой  
 Пожалъ, какъ другъ,—и на лицѣ его  
 Я въ этотъ мигъ увидѣлъ начертанье  
 Какихъ-то думъ, невыразимыхъ думъ.  
 Но вскорѣ все изгладилось. Руку  
 Онъ выпустилъ и медленно пошелъ  
 Изъ комнаты. Казалось, что разлуки  
 Тутъ не было: такъ весело они,  
 Спокойно такъ другъ другу улыбались.  
 И вышелъ онъ въ высокія ворота,  
 Сѣлъ на коня и поскакалъ впередъ—  
 И сѣраго стариннаго порога  
 Уже никогда не видѣлъ съ той поры.

(Переводъ П. Вейнберга).

Прощаясь съ Мэри, Байронъ сказалъ ей: «когда уви-  
 димся опять, вы будете уже не миссъ, а миссизъ».  
 —«Надѣюсь»—отвѣчала она. И дѣйствительно, въ слѣ-  
 дующемъ же, 1805 году, миссъ Чауртъ вышла за счаст-  
 ливаго соперника Байрона — Мѣстерса, молодца по сло-  
 женію и славнаго стрѣлка. Но мужъ такъ худо обхо-  
 дился съ нею, что она сошла съ ума и умерла въ 1832 г.,  
 т. е. черезъ 8 лѣтъ послѣ Байрона. Уже и третья эта  
 любовь начинала проходить, когда однажды, мать Бай-  
 рона, читая полученное письмо, сказала ему: «а зна-  
 ешь-ли, твоя когда-то возлюбленная Мэри Дэффъ вышла  
 за богатаго купца Кокбёрна». Извѣстіе это поразило  
 поэта какъ молнія; онъ поблѣднѣлъ и съ нимъ едва не  
 произошелъ судорожный припадокъ, такъ что мать пере-  
 пугалась. Байронъ самъ не умѣлъ объяснить себѣ этого  
 впечатлѣнія. «Въ то время (т. е. то, къ которому отно-  
 силась первая его любовь), я не имѣлъ понятія о по-  
 ловыхъ влеченіяхъ, въ послѣдствіи имѣлъ, можетъ быть,  
 пятьдесятъ иныхъ привязанностей, а между тѣмъ, помню  
 самыя незначительныя наши слова, ласки, черты ея,  
 мою бессонницу» (М. 9). Стало быть, память о М. Дэффъ  
 ожила въ поэтѣ съ такой силою, что на минуту взяла

верхъ надъ образомъ миссъ Паркеръ и образомъ М. Чауртъ.

Поэма «Сонъ», на которую мы уже ссылались, представляетъ другой, удивительный примѣръ воспроизведенія въ воспоминаніи самыхъ отдаленныхъ впечатлѣній. Она написана въ 1816 году, при обстоятельствахъ, которыя придаютъ ей особенное значеніе, въ ней есть, какъ воспоминаніе о М. Чауртъ, такъ и стрѣла, направленная противъ леди Байронъ, жены поэта, такъ что поэма отмѣчена особымъ намѣреніемъ. Въ началѣ того года, Байронъ разошелся съ женой, разстался окончательно съ Англіею, поселился въ Швейцаріи, и въ іюлѣ 1816 г., въ Женевѣ, находясь въ состояніи крайняго раздраженія, быть можетъ вслѣдствіе отказа жены на старанія госпожи Сталь о примиреніи супруговъ, — захотѣлъ бросить леди Байронъ въ лицо увѣреніе, что онъ никогда ея не любилъ, такъ какъ постоянно носилъ въ сердцѣ другую, прежнюю любовь:

Вотъ онъ стоитъ предъ алтаремъ съ невѣстой...  
Обѣтъ проговорилъ спокойно, но не слышалъ  
Самъ словъ своихъ, все шло кругомъ въ глазахъ;  
Передъ собой онъ ничего не видѣлъ  
И ничего не понималъ. Въ умѣ  
Воскресли вновь старинный домъ, ворота  
И комнаты знакомыя, и мѣсто,  
И день, и часъ, и солнца свѣтъ, и тѣнь  
И ахъ! она, судьба его всей жизни!

Въ этой части поэмы сказывается именно намѣренность; но самая любовь его къ Мэри Чауртъ, которая была его «духомъ, голосомъ и зрѣніемъ», въ которую онъ «влилъ всю свою жизнь, какъ источники изливаются въ океанъ и теряются въ немъ», и вся обстановка сценъ, одушевленныхъ той любовью — «зеленый холмикъ тотъ, что въ сторону склонился, какъ будто мысъ, стоитъ среди луговъ, деревъ кружкомъ увѣнчанъ какъ короной» — всѣ эти впечатлѣнія проявляются съ такой полнотой и

свѣжестью, какъ будто были записаны тогда же, въ 1804 году, а не черезъ 12 лѣтъ.

Мы вполне раздѣляемъ мнѣніе Джиффрсона (I, 155), что три главные силы—память, чувствительность и воображеніе—давали поэту возможность извлекать изъ пріятныхъ впечатлѣній прошлаго большую сумму удовольствія, чѣмъ какую ему принесла, въ свое время, дѣйствительность, и заставляли его чувствовать еще сильнѣе — въ воспоминаніи—тѣ печали, какимъ онъ подвергался; рефлексія чувства еще усиливала въ немъ впечатлѣнія, данныя опытомъ. Это именно были главные силы, дѣйствовавшія на организмъ поэта, и хотя въ движеніе онъ приводился обыкновенно вліяніемъ какихъ-либо обстоятельствъ, но иногда ихъ пускала въ ходъ и личная его воля. Справедливо также замѣчаніе Вашингтона Эрвинга, который, рассматривая, какъ много Байронъ могъ извлекать изъ своей памяти, сравнилъ его съ земледѣльцемъ, работающимъ на плодородномъ чернозѣмѣ. Понятно однако, что, возобновляя такимъ образомъ прошлое, а въ немъ всѣ радости и страданія, во всей ихъ силѣ, Байронъ долженъ былъ стараться, чтобы онѣ были поэтичны, связывалъ ихъ при помощи эпизодовъ вымышленныхъ.

## XVIII.

Пылкій темпераментъ часто соединяется съ добротою сердца. У Байрона сердце было не только доброе, но можно сказать—золотое, готовое къ сочувствію, чрезвычайно сострадательное. «На берегу Лепантскаго залива, близъ Востицы (1810 г.) я подстрѣлилъ орленка, который черезъ нѣсколько дней потомъ околѣлъ — говорить поэтъ—Никогда съ тѣхъ поръ я не убивалъ и не буду убивать молодой птицы» (М. 100). Въ дѣтствѣ, онъ всегда защищалъ младшихъ и слабѣйшихъ товарищей отъ преслѣдованія болѣе сильныхъ; о прислугѣ своей онъ всегда заботился, какъ истый лордъ; лите-



раторамъ и вообще нуждающимся онъ много помогалъ, даже въ такія времена, когда самъ имѣлъ не много средствъ и былъ въ долгахъ. Въ 1821 г., когда Байронъ собирался выѣхать изъ Равенны, городскіе бѣдные подали кардиналу-легату просьбу, чтобы онъ уговорилъ ихъ благодѣтеля остаться въ Равеннѣ.

Пылкость темперамента, соединенная съ мягкосердечіемъ, не давала сложиться выдержанному характеру. Байронъ сознавалъ это и винилъ себя (3 пѣснь Ч. Гарольда, VII), признаваясь, что, не научившись смолоду господствовать надъ сердцемъ, онъ отравилъ тѣмъ теченіе своей жизни. Образованіе характера тѣмъ труднѣе, чѣмъ горячѣе темпераментъ человѣка. Для умственного организма Байрона была бы нужна разсудительная заботливость о немъ съ самаго дѣтства, требовалась сильная рука, которая направляла бы его, держа мальчика, какъ это впослѣдствіи дѣлалъ Друри, на шелковомъ шнуркѣ, не давая ему воли, но и не раздражая его. Случилось же наоборотъ: мать его была дурно воспитанная и смѣшная женщина, которой онъ стыдился передъ чужими и надъ которой онъ насмѣхался, убѣгая, когда она кидала въ него чѣмъ попало — тарелкой или палкой, всеравно. Отъ матери онъ рѣшительно освободился, находясь уже въ Кэмбриджѣ, чему предшествовала бурная сцена въ Соутвеллѣ. Дѣло дошло до драки, причемъ сперва сынъ, а потомъ и мать прибѣгли къ аптекарю, предостерегая, чтобы онъ не выдавалъ матери или сыну яда. Очень можетъ быть, что однимъ изъ побужденій къ путешествію за границу было желаніе быть какъ можно дальше отъ матери. Онъ помѣстилъ ее въ Ньюстедѣ, но даже не простился съ ней. Возвратясь въ Лондонъ, онъ не спѣшилъ къ ней, какъ вдругъ пришло извѣстіе, что она умерла отъ апоплектического удара, разсердившись на кого-то изъ прислуги. Тогда въ умѣ Байрона произошелъ поворотъ, и на короткое время онъ искренно жалѣлъ о своей потерѣ; провелъ въ слезахъ ночь, не отходя отъ ея тѣла, а служанкѣ, которая старалась его

характерѣ. Надъ этой пьесой, посвященной «величайшему» изъ жившихъ въ то время поэтовъ — Гёте — «его литературнымъ вассаломъ», стоитъ нѣсколько остановиться. Канва для нея взята совершенно произвольная, лишенная всякаго мѣстнаго и историческаго колорита, и на такомъ фонѣ выписана одна, господствующая надъ всѣмъ (какъ обыкновенно у Байрона) фигура — молодого человѣка, котораго губить не деспотическій, а наоборотъ добрый и человѣчный нравъ; избавься онъ отъ такого расположенія, начини онъ править съ жестокостью, проливать кровь, и онъ былъ бы спасенъ, сталъ бы даже могущественъ, какъ Нимродъ или Семирамида, былъ бы еще при жизни причтенъ къ сонму боговъ. «Родясь въ избѣ—онъ могъ бы государство себѣ добыть; рожденный для вѣнца — онъ по себѣ оставилъ только имя... Его бы слѣдовало заставить предводительствовать войскомъ, а не гаремомъ». Сарданапаль не годится въ цари, потому что настроеніе его такое: «Мнѣ ненавистны всѣ страданія—въ другихъ-ли ихъ вселяю, терплю-ли самъ, вѣдь всѣ мы отъ раба послѣдняго до перваго монарха, достаточно страдаемъ для того, чтобъ бѣдствія земнаго гнетъ природный не умножать, но роковой удѣлъ, намъ посланный судьбою, стараться только услугами другъ-другу облегчать.... Клянусь звѣздами неба, открытыми халдеянамъ—клянусь, безумные рабы вполне достойны, чтобъ въ собственныхъ желаніяхъ они нашли себѣ проклятіе и чтобъ къ славѣ я ихъ повелъ». Рабы, которые на его счетъ разжирѣли и обогатились, которыхъ онъ поставилъ такъ, что каждый изъ нихъ живетъ царемъ у себя въ домѣ, злоумышляютъ на его жизнь (актъ IV). Сарданапаль объ этомъ знаетъ, но не раскаивается: жизнь его слагается изъ любви. «Если меня ненавидятъ, то вѣдь потому, что я ихъ не ненавижу, если возстаютъ противъ меня, то вѣдь за то, что я не притѣсняю ихъ». Неустрашимый, но по своему, Сарданапаль выступаетъ на битву съ мятежниками — съ от-

былъ уже въ шляпѣ, перчаткахъ и съ тросточкой въ рукѣ. Но вотъ, онъ медлитъ, выискиваетъ предлогъ и объявляетъ, что если пробьетъ часъ передъ окончаніемъ сборовъ (а все уже было готово), то онъ въ этотъ день не поѣдетъ. Часъ пробилъ, поэтъ остался и, чрезъ нѣсколько дней, выѣхалъ, но не въ Англію, а—въ Равенну. Такія колебанія являлись у него именно въ тѣхъ случаяхъ, когда слѣдовало обдумать что-нибудь хладнокровно, старательно, и помужски принять положительное рѣшеніе. Зато, у него, какъ у всѣхъ людей нервныхъ, а чаще всего у женщинъ, принятіе рѣшенія являлось чрезвычайно быстро, даже стремительно, когда онъ былъ чѣмъ-нибудь возбужденъ, затронутъ, когда задѣта была его гордость, а въ особенности его тщеславіе. Изъ этой необходимости особыхъ возбужденій, для того чтобы совершился процессъ развитія идей, и истекала та его эгоистичность, на которую такъ часто указывали и въ которой онъ самъ признавался. Это былъ эгоизмъ особаго рода: щедрый, великодушный, готовый на самыя большія пожертвованія, и имуществомъ и самимъ собою, Байронъ не могъ однако ни для кого отказаться отъ минутнаго желанія, пожертвовать хотя бы мелкой своей прихотью. Его чрезвычайное самолюбіе представлялось такой чертой, которая болѣе свойственна женскому умственному складу; въ самолюбіи его было много тщеславія, дэндизма, кокетничанья, желанія прельщать, привлекать къ себѣ, окружать себя поклонниками. Человѣкъ этотъ, хотѣвшій прежде всего быть свѣтскимъ, хваставшійся, что заботится болѣе о приличіи своего костюма, чѣмъ о своей поэзіи, выказывалъ тѣмъ не менѣе вкусы выходца изъ низшихъ сферъ, имѣлъ слабость къ яркости и пестротѣ, къ ношенію мундировъ.

Въ одномъ изъ своихъ произведеній, въ трагедіи «Сарданапалъ», написанной въ 1821 г., въ Равеннѣ, Байронъ изобразилъ себя преимущественно со стороны мягкости своей натуры и отсутствія всякаго закала въ

XIX.

Обстоятельство это—физическій недостатокъ Байрона, его хромота. Бывали люди, которые, несмотря на какой-либо физическій недостатокъ, сохраняли веселость духа. Таковъ былъ напр. Вальтеръ Скоттъ. Правда, хромота Вальтера Скотта не мѣшала ему ходить шибко и много и не составляла особеннаго контраста съ его фигурою, такъ какъ онъ не принадлежалъ къ числу красавцевъ. Впрочемъ, можетъ быть, и В. Скоттъ переносилъ бы свой недостатокъ менѣе терпѣливо, еслибы хромота препятствовала ему напр. спастись скорыми шагами отъ дождя или отъ передразниванья уличныхъ мальчишекъ, или еще, еслибы голова его, бюстъ и руки были идеально-красивы, годились бы для статуи Аполлона, а ноги бы напоминали о Вулканѣ. Непріятное состояніе хромого, осужденнаго на неподвижность, для Байрона усиливалось еще тѣмъ, что онъ былъ полнокровенъ, какъ мать, и до 20-ти лѣтняго возраста былъ толстъ, такъ что ему неизбежно угрожали тучность, отяжелѣніе и всѣ послѣдствія подобной комплексіи. Всѣ извѣстія о Байронѣ въ юномъ возрастѣ изображаютъ его мѣшковатымъ толстякомъ, несколько не отличавшимся красотою. Некрасивая гусеница превратилась въ прекрасную бабочку—въ Кэмбриджъ, не безъ особыхъ усилій. Чтобы похудѣть, онъ занимался самой насильственной гимнастикой, верховой ѣздой, боксированіемъ, плаваніемъ, но кромѣ того, систематически морилъ себя голодомъ, начиная именно съ 20-го года жизни. Онъ прибѣгалъ еще, для той же цѣли, къ теплымъ ваннамъ и сильнодѣйствующимъ внутреннимъ средствамъ. Когда онъ избавился отъ жира, черты его стали нѣжнѣе, кожа пріобрѣла замѣчательную прозрачность, густые, курчавые, темнорусые волосы сдѣлались мягкими какъ шелкъ. Темноголубые глаза его ежеминутно мѣняли свое выраженіе, то въ нихъ отражалось спокойствіе какой-то глубины неизмѣримой, то сверкалъ огонь, а голосъ онъ имѣлъ чудной, непередаваемой красоты,

музыкальности въ высшей степени привлекательной. Но очаровательная эта наружность была пріобрѣтена посредствомъ такого насилія надъ аппетитомъ и такого разстройства здоровья, что въ результатъ, Байронъ сократилъ свою жизнь, быть можетъ, на цѣлую половину, а нервная раздражительность сдѣлалась нормальнымъ его состояніемъ.

Джиффрсонъ приписываетъ этой убійственной діетѣ даже усиленіе таланта Байрона, который, самъ увлекшись этимъ талантомъ, окончательно усвоилъ себѣ свои особыя гигиеническія правила, почти совсѣмъ отказался отъ мяса, рѣдко ѣлъ даже рыбу, и питался такими вещами, какъ напр. бисквиты съ содовой водой и картофель съ уксусомъ (М. 145), избѣгалъ напитковъ, содержащихъ алкоголь и даже бордосскаго вина (claret), но зато часто употреблялъ опій, а въ особенности—много соли. «Доза соли—говоритъ онъ—опьяняла меня на минуту, какъ шампанское» (М. 145). Чтобы одолѣть голодь, онъ жевалъ табакъ, къ опию же и къ коньяку онъ обращался собственно въ минуты сильныхъ потрясеній и нравственныхъ страданій (М. 214).

Преувеличенное развитіе нервной системы осуществлялось насчетъ образованія мускуловъ и жира; Байронъ испортилъ себѣ печень, а желудокъ его, ослабленный голоданіемъ и безпрестаннымъ раздраженіемъ, сталъ наконецъ отказываться отъ пріема пищи. Ко всему этому надо еще прибавить привычку работать только по ночамъ. «Я, даже въ обществѣ любимой женщины не могу оставаться долго, не стосковавшись по моей лампѣ, моей переполненной и перемѣшанной библіотекѣ» (М. 235). Не подлежитъ сомнѣнію, что физическій недостатокъ долженъ былъ сильно отзываться на настроеніи существа столь впечатлительнаго и самолюбиваго; долженъ былъ располагать Байрона къ такому взгляду на самого себя, что онъ —человѣкъ обиженный природою, долженъ былъ внушать ему злость и нареканіе на эту несправедливость, которая не допускала обжалованія и

отмѣны. Очень вѣроятно, что и это обстоятельство, при сознаніи большаго дарованія, повело молодого Байрона къ стремленію стать великимъ человѣкомъ, приобрести славу.

Положеніе мальчика, конечно, измѣнилось въ разныхъ отношеніяхъ съ 1798 года, когда онъ сдѣлался лордомъ; на него стали смотрѣть иначе чѣмъ прежде, особенно въ кружкахъ мелкой *gentry*, сосѣдней съ Ньюстедомъ и Соутвеллемъ, среди которой онъ обращался до поступленія въ университетъ. Хромота должна была уже менѣе тяготить его впослѣдствіи, когда, послѣ выхода въ свѣтъ первыхъ пѣсенъ «Чайльдъ-Гарольда», Байронъ, по собственному выраженію, въ одну ночь сталъ славенъ, когда онъ сдѣлался львомъ салоновъ, когда его носили на рукахъ, когда на балахъ, къ нему были устремлены всѣ взоры, вокругъ него толпились хорошенькія женщины (байрономанки), ловя каждый его взглядъ и каждое слово. Впрочемъ, и съ дѣтства недостатокъ въ сложении не давалъ еще права Байрону быть недовольнымъ своей судьбой и своимъ положеніемъ, и, дѣйствительно, не препятствовалъ ему быть исполненнымъ аристократическаго честолюбія, стремиться высоко. Были, конечно, и другія еще причины, кромѣ тѣлеснаго недостатка, вызывавшія въ немъ мизантропическое настроеніе. Презрѣніе къ людямъ сформулировалось имъ уже въ 20-ти лѣтнемъ возрастѣ, въ эпитафіи, вырѣзанной на памятникѣ, подъ которымъ онъ торжественно похоронилъ въ Ньюстедѣ, въ 1808 г. свою собаку, Ботсвена, изъ породы водолазовъ: «Красивъ былъ безъ тщеславія, силенъ безъ нахальства, отваженъ безъ жестокости, всѣ добродѣтели имѣлъ онъ человѣка, а слабостей его не зналъ. Еслибы такую эпитафію посвятить и человѣку, то она показалась бы неприличной лестью». Въ другой, написанной Байрономъ эпитафіи находятся выраженія еще болѣе сильныя и болѣе оскорбительныя для человѣческаго рода: «О человѣкъ, бѣдный арендаторъ минутной жизни, опозоренный рабствомъ или испорченный властью, тотъ кто близко тебя знаетъ,

съ омерзениемъ отвращается отъ тебя, грязный слѣпокъ оживленнаго праха».

Три года спустя, 11 октября 1811 года, отѣзжавшій изъ Ньюстеда въ первое свое заграничное путешествіе юноша, не имѣя еще ни достаточнаго знанія жизни, ни славы, отвѣчалъ на совѣтъ пріятеля—отгонять отъ себя заботы—стихами, въ которыхъ уже рисуется героемъ и хвастается какими-то тайнами. «Когда-нибудь услышишь, можетъ быть, о нѣкомъ человѣкѣ, чьи злодѣянья, мрачныя вѣка напомнятъ, кто чуждъ вліянію любви и милосердія, не ждетъ ни славы, ни похвалъ людскихъ, но въ честолюбіи и гордости своей, не содрогается предъ преступленьемъ и въ лѣтопись страшнѣйшихъ анархистовъ внесъ имя новое... Тогда его узнаешь и разгадавъ послѣдствія, ты взвѣсишь, не забывши, что было первой ихъ причиной»... Причины весьма неясны, но первую, конечно, надо признать — досаду на миссъ Чауртъ. Ясно, что такое возстаніе на весь родъ людской и показываніе ему кулака безбородымъ подросткомъ, только что сошедшимъ со школьной скамейки, лишено достаточныхъ поводовъ. Но въ то время, это было чѣмъ-то всеобщимъ, повторялось на всѣхъ, отъ ребятъ до старцевъ. Такъ и славнѣйшій изъ русскихъ байронистовъ, молодой Лермонтовъ, писалъ въ 1840 году (I. 192, изд. 1882 г.): «И жизнь, какъ посмотришь съ холднымъ вниманьемъ вокругъ, такая пустая и глупая шутка».

Остается только признать, что мизантропія совпала съ духомъ вѣка, покрывая нѣсколько поколѣній какимъ-то умственнымъ трауромъ и создавая особую атмосферу, состоявшую въ близкомъ сродствѣ съ сатирою и человекобоязнью Руссѣ.

Жанъ-Жакъ ненавидѣлъ созданныя цивилизаціею учрежденія и презиралъ цивилизованнаго человѣка, превозносилъ до небесъ природное состояніе; но стараясь возвратить къ нему человѣчество, хотѣлъ однако переделать людей на свой образецъ и ограничить ихъ сво-

боду. Пессимизмъ Байрона относится уже не къ учрежденіямъ, но къ самому человѣчеству; обыкновенный, средній человѣкъ для него — существо низкое и достойное презрѣнія. Онъ признаетъ даже, что Наполеонъ былъ правъ въ своемъ деспотизмѣ. (извлеченіе изъ записной книжки 1814 г.): «неудивительно, что тотъ, кто знаетъ людей, не можетъ не почувствовать къ нимъ отвращенія, не можетъ ихъ не презирать...» Отсюда является такое пессимистическое и оригинальное оправданіе республики: «чѣмъ болѣе равенства, тѣмъ зло распространено безпристрастнѣе, тѣмъ оно становится легче, такъ какъ распространено между многими; въ этомъ удобство республики» (М. 227). Изъ такихъ пессимистическихъ положеній — даже для умовъ избранныхъ, стоящихъ выше общаго уровня и не стѣсняющихся одними существующими правилами — могутъ логически истекать только заключенія свойства общеприцательнаго. У Байрона, однако, въ силу страннаго и неожиданнаго оборота, заключеніе выходитъ съ совершенно-инымъ смысломъ, а именно ведетъ къ дѣятельной борьбѣ со зломъ, къ борьбѣ за освобожденіе, къ принесенію себя въ жертву великимъ, отдаленнымъ цѣлямъ, даже безъ надежды одержать побѣду. «Впередъ! — писалъ поэтъ, въ Италіи, въ своемъ дневникѣ подъ цифрой 1821 года (М. 476): — теперь время дѣйствовать. Что значитъ мое «я», если хоть малая искра чего-либо цѣннаго, сохранившагося доселѣ изъ прошедшаго, можетъ быть передана будущности еще не погасшею. Дѣло не въ одномъ человѣкѣ и не въ миллионѣ людей, но въ самомъ духѣ свободы, который должно распространять. Каждая изъ ударяющихъ о берегъ волнъ разбивается, однако такимъ-то образомъ океанъ расширяетъ свои владѣнія, такъ онъ уничтожилъ армаду, подтачиваетъ скалы и, если принять теорію нептунистовъ, то не только поглощалъ, но и создавалъ цѣлые міры». Эта очевидная непостѣдовательность въ соединеніи горькаго пессимизма съ геройской склонностью къ борьбѣ съ существующимъ на свѣтѣ зломъ,



представляла собою—только въ большемъ размѣрѣ и въ примѣненіи къ цѣлому человѣчеству — то, что мы нерѣдко встрѣчаемъ въ жизни, а именно, что подъ ненавистью можетъ скрываться горячая любовь къ возненавидѣнному предмету. Пушкинъ, который ранѣе Лермонтова представлялъ въ Россіи байроновское направленіе, нашелъ особое выраженіе, чтобы обозначить такое умственное состояніе—сердитой вражды къ чему-либо сочувственному и нареканій на него, вслѣдствіе разочарованія любви; выраженіе это—«озлобленный умъ», то есть такой, который издѣвается и хулитъ отъ избытка любви, и только потому, что представляетъ себѣ возможность лучшей дѣйствительности.

Такая внутренняя разорванность на недоувѣріе и вмѣстѣ привязанность, составляющая содержаніе и основную привлекательную черту поэзіи Байрона, отражается еще яснѣе въ его религіозности. Мицкевичъ, который, въ извѣстной порѣ жизни былъ сильно проникнутъ Байрономъ и стало быть хорошо зналъ духъ его поэзіи, считалъ его глубоко-вѣрующимъ и религіознымъ человѣкомъ («Письма» Одынца, Разговоры на Лидо въ 1829 г.). Между тѣмъ, общее осужденіе, съ какимъ отнеслось къ Байрону англійское общество, было вызвано именно его безвѣріемъ, его вольтерьянствомъ; согласно съ этимъ взглядомъ, и Пушкинъ въ байроновскомъ періодѣ своего развитія, во время пребыванія въ Одессѣ, признавалъ и себя, и своего учителя совершенными атеистами. Не можетъ быть сомнѣнія, что Байроновская поэзія не имѣла бы успѣха, если бы не вторила возрожденію въ обществѣ религіознаго чувства послѣ французской революціи. Замѣтимъ, что самъ Байронъ отрицалъ приписываемый ему атеизмъ (М. 246) и считалъ себя, по своему, хорошимъ христианиномъ, выражалъ даже свою склонность къ религіи осязательной (tangible), т. е. чувственной (письмо къ Муру, по поводу «Каина», 555). Согласно съ этимъ, онъ неоднократно выказывалъ, особенно во время пребыванія въ Италіи, нѣкоторую наклонность къ католи-

цизму, не доходившую однако до признанія какого-либо установленнаго, скрѣпленнаго авторитетомъ символа вѣры, «Я вовсе—не ханжа, невѣрія—говорилъ онъ—и зато, что мнѣ приходили сомнѣнія относительно безсмертія души, не думаю чтобы меня можно было упрекать въ отрицаніи бытія Божія. Только малость обитаемаго нами мірка побуждала меня вообразить себѣ, что притязанія наши на безсмертіе, быть можетъ, преувеличены» (М. письмо 1813 г. 187).

Изъ такихъ условій истекалъ скептицизмъ, колебавшійся на остріѣ того вопроса, котораго основательнымъ изслѣдованіемъ и разрѣшеніемъ Байронъ вовсе не задавался. «Удивляюсь — пишетъ онъ — какъ можно было сотворить подобный міръ. Для какой же цѣли сотворены напр. короли, дэнди, и члены университетскихъ коллегій, и женщины извѣстныхъ лѣтъ, да и разные люди всякаго возраста, хотя бы я самъ? Есть ли что либо за предѣлами нашего міра—кто это знаетъ? Тотъ, кто не скажетъ. А кто говоритъ, что есть? Тотъ, кто не знаетъ» (М. 228). Этотъ капризный скептицизмъ представлялъ только одну игру, а не убѣжденіе. Въ помѣщенныхъ у Мура (228) позднѣйшихъ извлеченіяхъ изъ бумагъ Байрона находятся нѣкоторые, не совсѣмъ однако удачные опыты поэта доказать безсмертіе души, такимъ соображеніемъ, что душа наша остается постоянно дѣятельною, даже при бездѣйствіи тѣла и во время сна, стало быть возможна отдѣльная ея дѣятельность. Но Байронъ не пришелъ ни къ положительному, ни къ отрицательному отвѣту на такіе вопросы, потому что онъ не рассуждалъ, а только руководился инстинктомъ сердца. Въ 1814 г. онъ писалъ Мёррею (Муръ 218) о Джиффордѣ: «можетъ быть, онъ и правъ въ политикѣ, но у меня политика—чувство, и я не могу превозмочь своей природы». Тоже самое можно примѣнить и къ возрѣніямъ поэта на вопросы религіозные. Его религія исходила единственно изъ чувства и притомъ чувства, дѣйствовавшаго на основаніи впечатлѣній, пріобрѣтенныхъ

въ дѣтствѣ и соотвѣтствовавшихъ врожденной наклонности.

Эти первыя впечатлѣнія вынесены были изъ строгаго кальвинизма, съ его предвзятымъ убѣжденіемъ въ неисправимости человѣчества, съ его ученіемъ о предназначеніи однихъ людей къ спасенію, другихъ къ вѣчному осужденію и съ его особенной привязанностью къ Ветхому Завету (1821 г. обращеніе Байрона къ д-ру Кеннеди. М. 600). «Мнѣ очень рано—говоритъ Байронъ—опротивѣла шотландская кальвинская школа, въ которой меня приколачивали къ церкви, въ первые десять лѣтъ моей жизни». Затѣмъ, онъ, конечно, долженъ былъ испытать на себѣ вліяніе духа вѣка, который велъ къ одновременному упраздненію и духовенства, и церкви, и самой религіи. Рѣзкихъ выходовъ, въ которыхъ цѣликомъ отражается антирелигіозный XVIII вѣкъ, встрѣчается у Байрона множество. «Подлое духовенство — писалъ онъ въ 1822 году (М. 550)—причинило религіи болѣе вреда, чѣмъ всѣ безбожники, забывшіе катехизисъ». Самыя сильныя мѣста въ «Молитвѣ Природы» посвящены духовенству: «Пусть ханжи потрясаютъ зажеженнымъ факеломъ, пусть суевѣріе восхваляетъ костѣрь, пусть попы, для поддержанія своей мрачной власти, дурачатъ сказками таинственныхъ обрядовъ»... Изъ соединенія основъ христіанскаго катехизиса съ толкованіями кальвинизма произошло своеобразное растеніе: глубокая, но не церковная религіозность, анти-обрядовая, анти-вѣроисповѣдная, вѣротерпимость столь-же сознательная и возвышенная, какъ у Лессинга. Эта анти-вѣроисповѣдная религіозность и сдѣлалась однимъ изъ главныхъ догматовъ того либерализма, котораго Байронъ являлся знаменосцемъ для всей Европы. Въ записной книжкѣ, веденной въ Кэмбриджѣ въ 1807 году, находимъ слѣдующія слова (М. 47): «ненавижу религіозныя книги; люблю Бога, но безъ богохульственныхъ сектантскихъ понятій и безъ 39 статей». — «Не знаю, кто для меня ненавистнѣе (1822 г. М. 554): нахальный ханжа, всегда готовый

къ осужденію, или дерзкій, все отрицающій безбожникъ. *Furiosa res est in tenebris impetus*» (М. 652 <sup>1</sup>). — «Напрасно бы мнѣ велѣли вѣровать, а не разсуждать; это— всеравно, что приказывать человѣку не бодостровать, а спать. Еще хуже—угроза муками; не могу освободиться отъ мысли, что устрашеніе адомъ порождаетъ столько же дьявольскихъ характеровъ, сколько всякіе уголовные кодексы производятъ преступниковъ». Въ «Часахъ праздности» помѣщена прелестная, уже упомянутая «Молитва Природы», написанная въ 1807 году. Она сильно отмѣчена той особенной религіозностью, которой свойства были опредѣлены въ предшествующемъ, но стихотвореніе это основано еще, почти вполнѣ, на догматахъ кальвинизма. Отъ этихъ религіозныхъ воззрѣній, высказанныхъ 19-ти лѣтнимъ юношей, значительно уже удаляется та религіозность, какая выражается въ «Чайльдъ-Гарольдѣ», а еще болѣе—та, которая проглядываетъ въ «Каинѣ» или «Дон-Жуанѣ». Но различіе здѣсь собственно—въ отгѣнкахъ, почва же одна и таже. Байронъ не былъ никогда тѣмъ, что французы называютъ *esprit fort*. Въ его умѣ постоянно боролись между собою два непримиримыхъ принципа: кальвинистское — *«въпрямую въ развращенность человеческой природы вообще, а моей собственной въ особенности»* и высказанное самимъ Байрономъ (М. 665), вполнѣ Жан-Жаковское—*«человѣкъ страстенъ по тѣлесной своей природѣ но у него есть врожденная въ первоначальномъ источникѣ разума, хотя и скрытая склонность любить добро»*. Между этими, взаимно-противоположными воззрѣніями постоянно колебалось то великое, благородное и отважное сердце поэта, которое само было выше ихъ. Мрачный догматъ, который внушался ему въ юные годы, угрожалъ, какъ Дамокловъ мечъ, висѣвшій надъ умомъ, заботившемся о своемъ спасеніи. Благородное сердце возмущалось противъ этого

---

<sup>1</sup>) «Ужасная вещь—стремительность во мракѣ».

узкого догмата съ его безчеловѣчными послѣдствіями, отрицало адъ и муки. Но послѣ каждаго такого мятежнаго взрыва, проявлялось у поэта опасеніе — не ошибается ли онъ, угадалъ ли онъ истину? Среди этихъ сомнѣній и колебаній прошла вся его жизнь.

## XX.

Представимъ теперь вкратцѣ начало поэтической дѣятельности Байрона. Молодой лордъ былъ, относительно говоря, весьма не богатъ, такъ что, уже по полученіи званія пэра, король назначилъ его матери ежегодное пособіе въ 300 фунтовъ изъ собственныхъ доходовъ. Ньюстедъ пришлось отдать въ аренду. Среди знати не оказалось такихъ родственниковъ, которые пожелали бы заявить о своемъ родствѣ съ Байрономъ. Извѣстно, что когда по достиженіи совершеннолѣтія ему предстояло занять свое мѣсто въ палатѣ лордовъ, то опекунъ его, графъ Карлейль устранился отъ услуги ввести его въ палату и Байронъ не нашелъ въ числѣ пэровъ ни одного, котораго бы онъ могъ просить объ оказаніи ему этого одолженія, такъ что, вопреки обычаю, онъ долженъ былъ войти въ залъ засѣданій одинъ. Но тѣмъ надменнѣе онъ сталъ держать себя; послѣ принесенія присяги, лордъ-канцлеръ, предсѣдательствующій въ палатѣ (Эльдонъ), подалъ ему, по обычаю, свою руку, но Байронъ едва коснулся ея пальцами и затѣмъ объяснялъ это такъ: «если-бы я пожалъ ему руку, онъ бы счелъ меня приверженцомъ своей партіи (виговъ), а я не хотѣлъ, чтобы меня причисляли ни къ той, ни къ другой партіи». Между тѣмъ, Байронъ, всетаки, былъ вигомъ, какъ по родовой традиціи и по вліянію матери, такъ и подъ дѣйствіемъ той среды, въ которой онъ жилъ до своего вступленія въ Кэмбриджъ. Тогдашніе его знакомые были изъ самаго скромнаго дворянства, и обращеніе въ ихъ средѣ, а также въ средѣ простыхъ людей, принесло

ему ту пользу, что сблизило его съ народомъ. Политическимъ героемъ Байрона былъ Фоксъ: молодой лордъ мечталъ о политической и парламентской дѣятельности, о лаврахъ славнаго оратора. Въ политикѣ Байронъ былъ крайнимъ радикаломъ, убѣжденія его, по отношенію къ тому времени, были самыя передовыя. Выше всѣхъ людей онъ ставилъ Вашингтона («Чайльдъ-Гарольдъ» IV. 96), питалъ удивленіе къ Кромвеллю (тамъ-же, IV. 85), этому «безсмертному мятежнику и мудрѣйшему изъ узурпаторовъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ еще въ Гарроу дрался съ товарищами, защищая отъ нихъ бюстъ Наполеона, любимаго своего героя, который они хотѣли разбить». Въ Кэмбриджѣ Байронъ жилъ на большую ногу: держалъ псарню, лошадей, прирученнаго медвѣдя, надѣлалъ долговъ на 10.000 фунтовъ втеченіи двухъ лѣтъ, занимался стрѣльбой въ цѣль изъ пистолета, игралъ въ азартныя игры на немалыя суммы, и писалъ стихи, которые печатались—для друзей («Ранніе часы», январь 1807 г.), а затѣмъ издалъ ихъ въ свѣтъ въ мартѣ 1807 г. подъ заглавіемъ: «Часы Праздности».

Спустя 9 мѣсяцевъ, въ мартѣ 1808 г. появилась въ издававшейся въ то время Джеффрейемъ «Edinburgh Review» статья безъ подписи, которая немилосердно и несправедливо отдѣлывала новаго стихотворца, какъ недоучившагося мальчика—барича. Критика эта, по всей вѣроятности, исходила не отъ Джеффрея и не отъ лорда Брума (которому ее приписалъ Байронъ), но отъ сонма старшинъ университетскихъ, отъ нѣсколькихъ тьюторовъ Кэмбриджскихъ коллегій, которымъ не понравились сатирическія выходки автора стихотвореній—противъ метода преподаванія, экзаменовъ и разныхъ университетскихъ обычаевъ. Байрона критика эта задѣла до глубины души и она то пробудила въ молодомъ лирикѣ—сатирическаго поэта, снабженнаго львиными когтями. Бѣшенство свое онъ скрывалъ, не сообщилъ никому, какъ оскорбила его упомянутая статья, но рѣшился хорошенько за нее отплатить; перемѣнилъ образъ жизни, съ Кэмбриджемъ пре-

кратилъ почти всѣ сношенія, чувствуя, что большинство воспитателей и даже товарищей стояли на сторонѣ замаскированныхъ его противниковъ. Онъ пріѣхалъ въ Кэмбриджъ только для полученія академической степени и писалъ Гарнессу: «*alma mater* была мнѣ *injusta poverca*<sup>1)</sup>), этотъ старый Бедламъ<sup>2)</sup> предоставилъ мнѣ академическую степень, потому что не могъ отказать въ ней; тебѣ извѣстно, какіе фарсы долженъ разыгрывать *nobilis* Кантабъ (М. 79)».

По наружности, жизнь онъ велъ разгульную и развратную, особенно если принимать буквально, строфы 2 и 7 пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», гдѣ фигурируютъ на-ойскія дѣвы и кутила: «предавшись грязнымъ грѣхамъ и шумнымъ пирушкамъ, онъ не искалъ товарищей иныхъ профессій, какъ только женщины подозрительной репутаціи и льстецы, благо-и не благородные». Окончательно освободившись отъ власти матери, Байронъ жилъ въ Лондонѣ или въ Соутвеллѣ, посѣщалъ съ товарищами танцевальныя вечера и театры, подружился съ первымъ фехтовальщикомъ въ Лондонѣ Джэксономъ, и возилъ съ собою въ Брайтонъ хорошенькую дѣвушку, переодѣтую мальчикомъ, которую онъ и представлялъ своимъ знакомымъ за своего кузена Гордона. Поселившись у себя въ имѣніи, въ Ньюстедѣ, незадолго до наступленія своего совершеннолѣтія, Байронъ велъ себя здѣсь очень эксцентрично: у воротъ держалъ на цѣпи медвѣдя и волка, въ залѣ забавлялся съ гостями стрѣльбой изъ пистолетовъ. Вставали у него очень поздно, при концѣ обѣда бордѣ подавалось не въ круговомъ кубкѣ, по обычаю того времени, но въ отполированномъ и оправленномъ въ серебро человѣческомъ черепѣ. Иногда хозяинъ съ гостями одѣвались монахами, при чемъ хозяинъ представлялъ собою игумена, веселыя пирушки длились до поздней ночи. Во всѣхъ этихъ чудачествахъ было, впрочемъ, болѣе

---

<sup>1)</sup> злою мачихой.

<sup>2)</sup> домъ умалишенныхъ.

эксцентричности, чѣмъ разврата, паеіскими дѣвами были просто-напросто двѣ-три горничныя съ кухаркой, мнимыми льстецами—Матьюзъ, Дэвисъ, Геджсонъ и Гобгоузь, хорошіе и почтенные кэмбриджскіе товарищи, нѣсколько соутвелльскихъ знакомыхъ и преподобныхъ пасторовъ изъ сосѣдства. Пиръ былъ не особенно частъ, такъ какъ пировать было не на что: хлѣбъ, вино, уголь—все было въ кредитъ. Подговаривая другихъ ѣсть и пить, Байронъ самъ энергично продолжалъ то лѣчение себя голодомъ, которое имъ было предпринято въ 1807 г., чаще чѣмъ когда-либо уединялся, запирался въ кабинетъ и приготовлялъ отмѣстку своимъ критикамъ. Это была извѣстная сатира «Англійскіе барды и шотландскіе обозрѣватели», на сочиненіе которой онъ посвятилъ весь 1808 годъ.

Въ январѣ 1809 г. состоялось въ Ньюстедѣ торжество во вкусѣ феодальномъ, въ честь совершеннолѣтія молодого владѣльца; изжаренъ былъ цѣльный быкъ, устроены танцы для фермеровъ и слугъ, выпито изрядное количество виски и элю,—на большее великолѣпіе не хватало средствъ. Послѣ этого пиршества, Байронъ отправился въ Лондонъ, чтобы занять свое мѣсто въ верхней палатѣ и напечатать свою рукопись. Обиженный лордомъ Карлейлемъ, который не захотѣлъ быть его ассистентомъ при вступленіи въ палату, Байронъ и для него вставилъ рѣзкую выходку въ своей сатирѣ. Черезъ нѣсколько дней по совершеніи церемоніи, происходившей 15 марта 1809 г., сатира вышла въ свѣтъ и имѣла успѣхъ, который вознаградила автора съ лихвою за перенесенное имъ униженіе, такъ какъ смѣхъ былъ теперь на сторонѣ Байрона. Произведеніе это имѣло однако только временное значеніе, а теперь не представляетъ цѣнности. Отъ сатирическаго бича поэта досталось всѣмъ, кто фигурировалъ въ то время на англійскомъ Парнассѣ и пользовался расположеніемъ шотландскихъ рецензентовъ. Но большинство тѣхъ писателей нынѣ забыты, а нѣкоторые, хотя и памятливы, но только по имени, а не по своимъ



произведеніямъ, какъ напр. Вордсуёртъ и Кольриджъ, такъ называемые «озёрники» или «лакисты» <sup>1)</sup>. Относительно формы, сатирикъ является ученикомъ Попа, такъ какъ форма изящна, вполне классична; онъ отъазывалъ въ признаніи тогдашнимъ новымъ поэтамъ, а восхвалялъ старыхъ—Попа, Дрейдена, Отвэя—украшенныхъ пудренными париками мастеровъ старой школы. Передъ большей частью тѣхъ, кого онъ въ то время отдѣлалъ, Байронъ въ послѣдствіи извинился и подружился съ ними (В. Скоттъ, Муръ, лордъ Голлендъ т. е. Фоксъ, лордъ Мельборнъ и мн. др.). Боецъ былъ очень молодъ и неопытенъ, а кровь въ немъ билась горячо, и вотъ этотъ боецъ, пустивъ свой мечъ кругомъ, по одному изъ приемовъ фехтовальнаго искусства, задѣлъ имъ множество людей, причемъ доказалъ, что умѣетъ попадать и обладаетъ достаточнымъ запасомъ злости.

По совершеніи задуманной давно экзекуціи, ничто уже не удерживало Байрона отъ путешествія на востокъ, которое также было давнишней его мечтою. Это путешествіе заняло два года съ тремя недѣлями (съ іюня 1809 по іюль 1811 г.). Совершилъ онъ эту поѣздку на деньги, занятые за высокіе проценты у ростовщиковъ, въ надеждѣ на успѣшный исходъ начатаго имъ процесса о вознагражденіи за незаконно проданный прежнимъ владѣльцемъ Рочдэлъ. Лиссабонъ, Севилля, Кадисъ, Мальта, берегъ Албаніи, Миссолунги, Аѣины, Смирна и Константинополь—таковы были главные этапы путешествія, при которомъ онъ познакомился съ природой почти еще дикой, испыталъ много сильныхъ впечатлѣній, ночевалъ то въ дворцахъ, то въ хлѣвахъ или подъ открытымъ небомъ, бесѣдовалъ то съ пашей, то съ пастухомъ (М. 24), обогатилъ свое воображеніе всѣмъ блескомъ горячего южнаго колорита и вмѣстѣ щеголялъ, иногда среди людей полудикихъ (напр. у телепенскаго Али - паши въ Албаніи) въ перскомъ,

---

<sup>1)</sup> lake—озеро

шитомъ золотомъ, красномъ мундирѣ и повсемѣстно требоваль отданія себѣ, какъ пэру Англіи, чуть-ли не царскихъ почестей. Отъ продолженія путешествія въ края болѣе отдаленные его удержалъ недостатокъ средствъ, и Байронъ неохотно возвратился въ Лондонъ въ іюль 1809 г., зная впередъ, что первый, кого онъ встрѣтитъ, будетъ—стряпчій, второй—кредиторъ, а что за ними, его окружить цѣлая орда поставщиковъ угля, фермеровъ, судебныхъ приставовъ (М. 115).

Въ началѣ августа того же года Байронъ лишился матери и ближайшаго своего кэмбриджскаго пріятели С. Матьюза, о которомъ онъ отзывается такъ: «всѣ люди, какихъ я знавалъ, передъ нимъ — пигмеи; на всемъ, что имъ сдѣлано или сказано, лежитъ печать безсмертія» (М. 135 — 137). Поэтъ сильно упалъ духомъ, чувствовалъ себя лишеннымъ руководства и пріязни, мучился мыслью, которая преслѣдовала его и позднѣе (Муръ 401), что все любимое имъ гибнетъ, что онъ всѣмъ приносить несчастье, что не можетъ сохранить при себѣ даже собаку, которая къ нему привязалась. Къ этому времени относится завѣщаніе (М. 131), въ которомъ онъ проситъ, чтобы его похоронили рядомъ съ его собакой Ботсвеномъ и безъ всякаго церковнаго обряда. Но это мрачное настроеніе было непродолжительно. Въ началѣ 1812 года (29 февраля и 2 марта) ему улыбнулось счастье: онъ встрѣтился съ двойнымъ успѣхомъ — въ парламентѣ и въ литературномъ мірѣ. Послѣдній успѣхъ, явившійся черезъ два дня послѣ перваго, имѣлъ, разумѣется, еще несравненно болѣе значеніе. Парламентскимъ успѣхомъ была первая произнесенная имъ въ палатѣ лордовъ рѣчь, изъ которой вывели предположеніе (лордъ Голлендъ и Шериданъ), что онъ будетъ великимъ ораторомъ. Пренія происходили по вопросу о мѣрахъ къ усмиренію волненія лишенныхъ работы фабричныхъ, предпринимающихъ массовой разгромъ мастерскихъ въ промышленныхъ графствахъ Англіи. Какъ истинный вигъ, Байронъ горячо защищалъ ту,

«такъ пазываемую чернь, которая насъ кормить, защищаетъ и даетъ намъ возможность относиться съ пренебреженіемъ къ остальному міру, но которая и сама станетъ пренебрегать вами, если вы не будете о ней заботиться». Онъ показывалъ, въ качествѣ очевидца, что въ Англіи рабочимъ хуже, чѣмъ въ Турціи и въ Португаліи. Въ рѣчи его было много декламации: сопоставлялись Драконъ и лордъ Джефрисъ, судья съ 12-ю присяжными мясниками, фигурировали висѣлицы и драгонады, были насмѣшки надъ методомъ лѣченья посредствомъ полицейской отварной воды и военныхъ ланцетовъ. Этотъ легкій успѣхъ, можно сказать, убилъ въ Байронѣ оратора; онъ говорилъ потомъ еще два раза въ палатѣ, но его уже слушали менѣе внимательно, онъ охладѣлъ къ парламентской дѣятельности и совершенно отдался поэзіи. Другимъ успѣхомъ Байронъ былъ обязанъ двумъ первымъ пѣснямъ «Чайльдъ-Гарольда», послѣ изданія которыхъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «I awoke one morning and found myself famous <sup>1)</sup>». Надъ этимъ произведеніемъ, которое уже обѣщало такъ много, мы нѣсколько остановимся.

## XXI.

Мы рассмотримъ здѣсь только первыя двѣ пѣсни изъ поэмы «Паломничество Чайльдъ-Гарольда», такъ какъ двѣ послѣднія относятся уже къ иному періоду. Двѣ первыя и представляли собой только обѣщаніе, не болѣе. Самое возникновеніе ихъ было случайное. Въ свое пребываніе на югѣ, Байронъ, бывшій тогда классикомъ, занимался продолженіемъ своей сатиры на лордовъ и рецензентовъ, въ острыхъ стихахъ, по формѣ напоминавшихъ Пѣпа, а сверхъ того—парафразою Горациева письма о «поэтическомъ искусствѣ (Ad Pisones de arte poetica)» —

---

<sup>1)</sup> «Однажды, утромъ я проснулся и увидалъ, что сталъ славенъ».

«Hints of Hogase». Но рядомъ съ этимъ лишеннымъ цѣны, классическимъ балластомъ, у поэта было начатое въ Албаніи собраніе путевыхъ впечатлѣній, въ строфахъ на манеръ Спенсера («Fairv Queen», въ XVI стол.). Когда родственникъ Байрона Далласъ, которому поэтъ, гнушавшійся въ то время продажей своего авторскаго труда, отдавалъ весь свой гонораръ, просмотрѣлъ эти строфы, то призналъ ихъ имѣющими большую цѣнность. При дальнѣйшей ихъ обработкѣ, Байронъ выкинулъ разныя мѣста характера сатирическаго, съ оттѣнкомъ комизма, въ силу которыхъ первоначальное очертаніе этого произведенія, по характеру своему, приближалось къ «Беппо» и «Донъ-Жуану». Переработка эта сообщила «Чайльдъ-Гарольду» болѣе цѣльности въ духѣ возвышеннаго лиризма. Несмотря на такія передѣлки, пѣснямъ этимъ недостаетъ склейки, внутренней связи, и скитанія Чайльдъ-Гарольда не составляютъ собственно поэмы. Перо автора набрасываетъ на быстро смѣняющихся листкахъ бумаги—эскизы природы, бытовыхъ сценъ и полученныхъ впечатлѣній. вмѣстѣ съ тѣмъ, по этимъ листкамъ съ одного на другой передвигается послѣдовательно фигура въ черномъ одѣяніи пилигрима, сопровождаемая оруженосцемъ, въ роли котораго является Флетчеръ, и пажемъ, то есть слугой-подросткомъ Рештономъ. Фигура эта—молчаливая; странникъ не вдается въ разговоры, онъ только извлекаетъ порою меланхолическіе звуки изъ своей лютни. Нѣтъ ничего общаго между канвой пѣсенъ, похожей на панораму, и этимъ героемъ въ траурѣ, котораго намъ авторъ хочетъ выдать за лицо вымышленное. Это—молодой мотъ, знатнаго рода, съ горькой усмѣшкою на устахъ, пускающійся въ путь—не ко святой землѣ и обѣтованному граду, а такъ, куда глаза глядятъ, изъ края въ край, гонимый какъ Ахасверъ, но только—скукою, которая никогда его не оставляетъ, что бы онъ ни видѣлъ, кого бы ни встрѣтилъ, тоскою, которая отравляетъ ему радость молодыхъ лѣтъ, той ржавчиной жизни, какую создаетъ демонъ мысли (строфы къ Инесѣ, въ 1 пѣсни «Ч. Гар.»). Его

паломническая одежда авторомъ выдумана; это—простое домино, да и маска не пристала плотно къ лицу; Чайльдъ-Бурёнъ (Child Burin—такъ первоначально долженъ былъ называться пилигримъ) напрасно назвался Чайльдъ-Гарольдомъ, въ немъ всякъ узналъ самого пѣвца; онъ слишкомъ знакомъ, да впрочемъ, вотъ онъ уже упомянулъ и о матери, и о сестрѣ, объ умершихъ друзьяхъ и умершей своей возлюбленной (Мэри Паркеръ.—П. 96). Пѣвецъ этотъ, хотя нѣсколько и позируетъ, сравнивая себя съ отверженнымъ Каиномъ («какъ Каина печать, на немъ клеймо чернѣетъ пресыщенья» «Ч. Г.» 183), тѣмъ неменѣе дѣйствительно страдаетъ тѣмъ, на что жалуется, а потому и читателя заставляетъ страдать съ нимъ. И все-таки—онъ такъ еще молодъ, горечь не успѣла еще проникнуть насквозь его природу, а лишь омѣтила его пятнышкомъ отчаянія. Испытанныя разочарованія еще не превратили его въ циника, въ немъ осталось еще столько энтузіазма, онъ такъ быстро воспламеняется поочередно—идеями боя и славы, свободы, рыцарства, безсмертной красотой мраморныхъ боговъ древней Эллады, его повергаютъ въ восторгъ самыя имена Олимпа и Додоны, Дельфы, Саламины и Марафона...

Впрочемъ, такая стремительная восторженность, внезапно вырывающаяся изъ тумана меланхоліи, являлась въ то время (но тогда только) теченіемъ преобладавшимъ въ общей совокупности національныхъ чувствъ и стремленій всего англійскаго общества. Но были еще и нѣкоторыя второстепенныя причины огромнаго успѣха первыхъ же пѣсень Байроновской поэмы. Поэтъ прославлялъ борьбу испанцевъ и португальцевъ противъ французскаго господства, но вѣдь вмѣстѣ съ первыми сражались со славой англійскія вспомогательныя войска. Народу, наиболѣе пристрастному къ приключеніямъ и къ географическимъ открытіямъ, поэтъ описывалъ, какъ съ опасностью жизни, онъ знакомился съ албанскими разбойниками и пировалъ съ ними при кострѣ, почти совсѣмъ такъ, какъ во времена Гомера. Англійскій народъ весьма

религіозенъ и притомъ религіозность свою носить на-показъ; поэтъ употреблялъ такіа апострофы, какъ напр.: «O Christ!» (I. 15); онъ вѣруетъ въ Провидѣніе, предъ которымъ человѣкъ колѣнопреклоняется (I. 55) и мечтаетъ соединиться съ душами умершихъ друзей своихъ (II. 9). Но, и независимо отъ такихъ второстепенныхъ условій, въ первыхъ пѣсняхъ «Чайльдъ-Гарольда» было то, что главнымъ образомъ рѣшаетъ о судьбѣ поэтического произведенія: была красота, было чарующее мастерство римины. Внезапно появился лирический поэтъ, не имѣвшій себѣ подобнаго въ Англіи, и произвелъ такое впечатлѣніе, что В. Скоттъ по выходѣ поэмы Байрона совсѣмъ отказался отъ стиховъ. Проявился лирический поэтъ, которому не было равнаго въ то время и въ остальной Европѣ, быть можетъ, величайшій во всемъ XIX вѣкѣ, поэтъ изъ категоріи могучихъ «колористовъ», любящихъ теплыя, яркія краски, блескъ золота, роскошь драгоценныхъ камней и тканей. Трудно вообразить себѣ большій контрастъ, чѣмъ тотъ, какой представился—въ Байронѣ, по сравненію его съ Вордсвортъ и первыми «лакистами». Но и это свойство еще увеличивало впечатлѣніе произведенное Байрономъ, такъ какъ большинство увлекается яркостью и роскошью.

Поэма имѣла огромный, безпримѣрный успѣхъ и поставила на первый планъ, передъ глазами всѣхъ, самую личность автора, котораго подхватила мода, котораго признала своимъ кумиромъ золотая молодежь. Увлеченіе личностью было тѣмъ сильнѣе, что ему соотвѣтствовала самая наружность поэта. Небольшая, красиво моделированная голова, надъ стройной, всегда открытой шеей, бѣлые зубы, чувственная, коралловая окраска губъ, необыкновенная нѣжность кожи, мелодическій голосъ—вотъ тѣ физическія черты, которыхъ обаяніе еще возвышалось остроуміемъ и прихотливой фантазією, полной неожиданныхъ оборотовъ. Короче—онъ очаровывалъ. Удивлялись ему во всемъ, даже и въ томъ, что этотъ загадочный, прошедшій различнѣйшія приключенія человѣкъ заботится

о своемъ туалетѣ чисто по женски, ѣстъ какъ канарейка, а порою смѣется и дурачится, какъ ребенокъ, вырвавшійся изъ школы. Знатныя дамы старались приблизить его къ себѣ, ставили къ себѣ его сразу въ отношенія фамиллярныя, довѣряли ему свои секреты. Всѣ съ нимъ носились и его ласкали, а вмѣстѣ со всѣми и самъ регентъ (впослѣдствіи король Георгъ IV). Отъ Байрона зависѣло напудриться, надѣть бѣлые шелковые чулки, и со шпагой при бедрѣ, присутствовать въ Карльтонъ-Гоузѣ при вставаніи (выходѣ) регента, въ толпѣ придворныхъ. Онъ однакожъ, спохватился въ пору, что тамъ ему было не мѣсто.

Послѣ баловъ, пользуясь остатками ночей, поэтъ уединялся и писалъ съ лихорадочностью. Слава пристращаетъ къ себѣ какъ вино. Раздѣляя себя между безплодными свѣтскими удовольствіями и часами творческой лихорадки, Байронъ, съ конца 1812 года до развода съ женой и отъѣзда изъ Англіи, такъ и сыпалъ поэтическими рассказами, которые мы перечислимъ въ хронологическомъ порядкѣ ихъ изданія: «Гяуръ» (май 1812 г.), «Абидосская Невѣста» (декабрь 1813 г.), «Корсаръ» (январь 1814 г.), «Лара» (іюль 1814 г.), «Паризина» и «Осада Коринѳа» (январь 1816 г.). Если къ нимъ прибавимъ «Мазепу», написаннаго въ Равеннѣ, осенью 1818 г. «Островъ» — въ Генуѣ, въ 1823 году, то будемъ имѣть предъ собою цѣлый рядъ меньшихъ произведеній поэта, составляющихъ совсѣмъ особый родъ, закругленныхъ и какъ бы эпическихъ, но уснащенныхъ многочисленными лирическими отступленіями. Этотъ родъ произведеній не былъ уже новъ для Англіи; и ранѣе имѣлись превосходные его образцы: достаточно указать на Вальтеръ-Скотта.

Всѣ эти малыя поэмы или рассказы являются какъ бы продолженіемъ «Чайльдъ-Гарольда», но съ дальнѣйшимъ развитіемъ и высшимъ показателемъ, какъ качествъ, такъ и недостатковъ перваго. Каждое произведеніе выливалось у Байрона цѣликомъ; но затѣмъ, въ

корректурѣ, онѣ додѣлывалъ и дополнялъ написанное; такъ, напр. изъ 400 стиховъ въ первоначальномъ текстѣ «Гяура» написалъ ихъ 1400. «Корсара» онѣ написалъ въ 10 ночей, а «Абидосскую Невѣсту» — въ 4. Во всемъ этомъ есть чистые алмазы и жемчужины, но, какъ замѣчаетъ Тэнъ, немало тамъ и — стеклянныхъ бусъ. Морскіе разбойники у Байрона столь же далеки отъ правды, какъ индійцы у Шатобриана. Встрѣчаются и заимствованія. Такъ въ «Чайльдъ-Гарольдѣ» (I, 6) есть подражаніе словамъ Гамлета, въ сценѣ съ могильщиками: «Дворецъ здѣсь мысли былъ, былъ храмъ души; взгляни теперь въ безглазое отверстіе» и проч. Начало «Абидосской Невѣсты» представляетъ прямое подражаніе пѣснѣ Миньоны «Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n»:

«Ты знаешь-ли, скажи, тотъ край далекій,  
Гдѣ славы лавръ и мертвый кипарисъ,  
Живой стоятъ эмблемой передъ нами  
Дней нынѣшнихъ и минувшихъ вѣковъ».

У Байрона есть излишество аллегорій, онѣ приводитъ или группируетъ, на классическій манеръ, цѣлые ряды олицетвореній разныхъ состояній души и чувствъ, какъ напр. Вѣра, Любовь, Отчаяніе, Дружба. Встрѣчаются у него и затверженные, чисто-реторическіе обороты, какъ напр.: «чей конь стучитъ копытомъ по скалистому пути»... или: «встань, подлый рабъ, встань на минуту, и скажи — не Термопилы-ли, это ущелье («Гяуръ»)?». Женскія фигуры у него тщедушны, блѣдны, слишкомъ ангелоподобны, нереальны, точно гравюры изъ моднаго кипсэка. Въ каждомъ рассказѣ есть романическая завязка съ трагическимъ окончаніемъ, и герой съ чертами Чайльдъ-Гарольда, но нѣсколько огрубѣвшими, подмалеванными черной краской, съ печатью меланхоли и презрѣнія ко всему человѣчеству, съ душой, на днѣ которой многія злодѣянія оставили мутный осадокъ. «Душа, чреватая тяжестью своихъ преступленій подобно скорпіону въ огнѣ, который жаломъ ядовитымъ убиваетъ



самъ себя» («Гяуръ»).— «Мудрецъ въ словахъ онъ, но въ дѣлахъ безумецъ, зато, что добрымъ быть хотѣлъ, онъ цѣлью сталъ насмѣшекъ иль презрѣнія. И самъ, вмѣсто того, чтобы презирать низкую толпу, онъ добродѣтель проклалялъ, какъ источникъ своихъ страданій... Сердце его порвало связь съ человѣчествомъ, и цѣлью избралъ онъ себя — за вины нѣсколькихъ людей мстить всѣмъ»... «Холодный, дикій и гордый онъ не искалъ любви и не боялся ненависти» («Корсаръ»). Такой же примѣръ представляетъ Лара, владѣтель феодальнаго замка, гордый, но милостивый. Этотъ надменный властитель готовъ предводительствовать крѣпостной черни, взбунтовавшейся противъ своихъ господъ, но склоняютъ его къ этому не жалость и не честолюбіе, а особенныя свойства его характера. «Слишкомъ высокій духомъ, чтобы подчиняться обыкновенному разсчету, онъ могъ иногда жертвовать своимъ интересомъ для кого-нибудь другого, но вовсе не изъ чувства состраданія или долга, а только по особой извращенности мышленія, которое побуждало его совершать то, чего не можетъ сдѣлать никто или чтó доступно лишь немногимъ. Это же самое побужденіе могло, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ толкнуть его даже на преступленіе... То было изступленіе не ума, а сердца» (*His madness was not of the head, but heart*).

Этотъ графъ Лара еще болѣе неодолимъ душою, чѣмъ «Непреклонный Князь» Кальдерона. Когда уже онъ побѣжденъ, смертельно раненъ и окруженъ непріятелями, кто-то изъ нихъ, по чувству милосердія, подноситъ къ его устамъ крестъ и чѣтки; но Лара язвительно засмѣялся и умеръ такъ, пренебрегая святыней, какъ будто не вѣровалъ въ возможность для себя безсмертія, обѣщаннаго лишь тѣмъ, кто твердо вѣруетъ въ Христа («Лара» II. 19). Этотъ героизмъ злой или доброй воли презираетъ страданіе; въ поэзіи этой—постоянной темой служить взятіе человѣка на пытку, мученіе его физическое и нравственное, превосходящее мѣру силъ чело-

вѣческихъ, леденящее кровь своимъ ужасомъ. «Молитвъ не надо мнѣ» — говоритъ Гяуръ монаху — «не вѣрю въ ихъ дѣйствіе. Отчаяніе сильнѣе твоихъ молитвъ. Спасенія я не достоинъ и не жду его; не рая я хочу, а лишь покоя».

Царство поэзіи велико какъ самъ міръ, а въ мірѣ есть душа человѣческая, и всѣ человѣческія чувства, неисключая самыхъ непріятныхъ: ужасъ, отвращеніе, боль разныхъ степеней — до агоніи въ мученіяхъ. И есть такіе люди, такіе народы, которыхъ эти ужасы какъ то особенно влекутъ къ себѣ, которымъ искусство безъ этихъ горькихъ пряностей кажется невкуснымъ. Что англичане положительно принадлежатъ къ числу такихъ народовъ, это доказывается появленіемъ у нихъ великихъ мастеровъ въ изображеніи ужаснаго — Шекспира и Байрона. За образецъ человѣческаго страданія, доведеннаго до наивысшаго предѣла всегда будетъ служить «Шилльонскій узникъ» (1816 г. іюль. Женева). Только одаренный самымъ мрачнымъ воображеніемъ поэтъ могъ, почти одновременно съ «Узникомъ», написать такую вещь какъ «Мракъ» — въ которой изображается, что произойдетъ когда погаснетъ солнце. Последние, уцѣлѣвшіе два жителя большого города, встрѣчаются у алтаря, добываютъ нѣсколько искръ изъ дотлѣвающаго пепла, бросаютъ взглядъ другъ на друга и — умираютъ: «ужасомъ своего вида они взаимно нанесли себѣ смерть; въ лицо другъ друга не узнали, но на челѣ обоихъ голодъ начерталъ — враги».

Здѣсь мы заключимъ обзоръ творчества Байрона въ его первомъ періодѣ, который оканчивается 1816 годомъ. Въ эту пору поэтъ уже достигъ верха славы въ своемъ отечествѣ. Въ тоже время совершилась великая перемѣна въ Европѣ — паденіе Наполеона. «Мой храмъ (пагода) Наполеонъ — писалъ Байронъ въ апрѣлѣ 1814 г. — рухнулъ до основанія. Въ сравненіи съ нимъ, я — червячекъ, но поставилъ бы жизнь свою на карту. А впрочемъ, быть можетъ, корона и не стоитъ, чтобы

изъ за нея умирать. О, если-бъ воскресли Ювеналь или Джонстонъ. *Expende quot libras in duce summo invenies*. Однако, несмотря на свое недовольство актомъ отреченія, Байронъ сталъ еще болѣе горячимъ приверженцомъ Наполеона, такъ какъ сохраняя свое удивленіе къ генію и могучей волѣ, онъ уже освободился отъ того чувства возмущенія, какое ему внушалъ Наполеоновскій деспотизмъ. Съ минуты паденія послѣдняго, поэтъ уже рѣшительно сталъ на сторону льва, противъ тѣхъ, кого онъ сравнивалъ съ шакалами. Въ жизни самого Байрона также произошли важныя перемѣны: онъ женился, а потомъ разошелся съ женой, что сопровождалось скандаломъ, который вдругъ лишилъ его всей популярности и принудилъ бѣжать изъ Англіи. Обстоятельства этого семейнаго дѣла любопытны и стоятъ изученія, по тому влиянію, какое они оказали на самый талантъ поэта. Вступивъ въ борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ своей страны, Байронъ выросъ духомъ, великое дарованіе его приобрѣло еще болѣе силы и создало мастерскія произведенія, превышающія прежнія, тѣ именно произведенія, которыя въ совокупности его творчества (*son oeuvre*, какъ говорятъ французы) составляютъ вѣнецъ всего дѣла.

## XXII

Разсмотримъ обстоятельства или, такъ сказать, акты судебного дѣла о разводѣ Байрона съ женой и степень основательности того приговора, какой произнесло надъ мужемъ современное ему общественное мнѣніе въ Англіи. Байронъ не только легко влюблялся, но и жаждалъ общества женщинъ. «Не нравится мнѣ чловѣкъ<sup>1)</sup>»—писалъ онъ въ 1814 г., пародируя Гамлета

---

<sup>1)</sup> Слово *man* означаетъ какъ чловѣка вообще, такъ и въ частности—мужчину.

(Муръ. 229)—а нравится женщина, и притомъ—только одна, въ каждое данное время. Для меня есть нѣчто смягчающее въ присутствіи женщины, даже когда я не влюбленъ и объяснить себѣ этого я не могу, такъ какъ я вовсе не высокаго понятія о ихъ полѣ <sup>1)</sup>). Когда онъ думалъ о женитьбѣ, то колебался, зная свой крутой нравъ, сознавалъ, что былъ-бы ревнивъ и нетерпчивъ, а потому, приходилъ къ такому заключенію: «нѣтъ, не женюсь, останусь одинокъ, хотя и хорошо бы было для меня еслибы мнѣ можно было по временамъ позѣвать съ кѣмъ-нибудь. (Муръ. 217)». Въ дневникѣ того времени, у него записано: «жена была бы для меня спасеніемъ (Муръ 225)». Лондонское великосвѣтское общество, въ котораго омутѣ поэтъ вращался, было въ высшей степени испорченное, распущенное, безнравственное. Знатныя барыни льнули къ поэту, нѣкоторые почти бросались ему на шею, а болѣе смѣлыя кокетничали съ нимъ взапуски, одна передъ другой, стараясь привлечь его и сдѣлать своимъ рабомъ.

Такою цѣлью задалась одна изъ самыхъ эксцентричныхъ женщинъ своего времени, госпожа Каролина Лэмбъ, жена Вилльяма Лэмба, впоследствии лорда Мельборна, имѣвшая уже трое дѣтей и тремя годами старше Байрона. Эта интересная чудачка, съ бѣлыми какъ ленъ волосами и черными глазами, позволяла себѣ говорить съ наивнѣйшимъ безстыдствомъ самыя невозможныя въ устахъ женщины вещи и компрометировать себя. При представленіи ей Байрона въ обществѣ, она только смѣрила его взглядомъ и отвернулась, а потомъ такъ опредѣлила поэта: «*mad, bad and dangerous to know* <sup>2)</sup>». Однакоже она привлекла его въ число своихъ обожателей и стала мучать своими капризами и ревностью, разными сценами, открытымъ заявленіемъ своей надъ нимъ власти,

---

<sup>1)</sup> The sex въ общемъ значеніи—«полъ», въ частномъ—«женщины»

<sup>2)</sup> «Безумецъ, злодѣй и знать его опасно».

наконецъ, такимъ пристаиваньемъ къ нему, что проникала къ нему въ квартиру, переодѣтая мужчиной. Мать госпожи Лэмбъ, леди Бессборо, чтобы прекратить скандалъ, рѣшила увезти дочь въ Ирландію, а та предложила Байрону, чтобы онъ ее увѣзъ. Поэтъ очутился въ затруднительномъ положеніи, и даже не по своей винѣ, такъ какъ не любилъ своей дамы и не притворялся любящимъ, а между тѣмъ, былъ вовлеченъ въ эту любовную исторію. Имѣя дѣло съ такой женщиной, которая не разъ угрожала самоубійствомъ, Байронъ написалъ ей письмо проникнутое чувствомъ и вполне дружеское, въ которомъ, съ деликатностью стараясь пощадить самолюбіе женщины, напоминалъ ей однако объ обязанностяхъ по отношенію къ ея матери и мужу и необходимость хорошенько подумать, прежде чѣмъ сдѣлать рѣшительный шагъ. Въ подписи на этомъ письмѣ, поставленное имъ сперва передъ своимъ именемъ слово «преданный» (*devoted*), Байронъ зачеркнулъ и замѣнилъ словомъ «привязанный» (*attached*), что уже можетъ служить какъ бы термометрическимъ показаніемъ степени чувства. Въ припискѣ же, высказывая просьбу, чтобы пишущаго не заподозрѣли въ побужденіяхъ эгоистическихъ, Байронъ употребилъ выраженія болѣе чувствительныя, но имѣвшія собственно цѣлью — смягчить отказъ и дать нѣкоторое удовлетвореніе самолюбію женщины. «Я—вашъ и останусь вашимъ, по своей волѣ и безусловно, я готовъ васъ слушаться, уважать, любить васъ и уѣхать съ вами когда, куда и какъ вы сами захотите и изволите назначить» (Джиффрсонъ II. 36). Сердечныя отношенія не могли держаться долго въ видѣ одной переписки. Письма становились постепенно все холоднѣе, наконецъ, дѣло дошло до открытаго разрыва — со стороны Байрона, въ письмѣ, которое г-жа Лэмбъ получила въ Дублинѣ. «Я уже васъ не люблю и, будучи принуждаемъ къ признанію, признаюсь, что принадлежу другой; позвольте мнѣ остаться для васъ другомъ и въ доводъ дружбы, примите мой совѣтъ: исправьтесь отъ смѣшнаго тщеславія,

пробуйте ваши капризы на другихъ, а меня оставьте въ покоѣ». Отвѣтъ на это письмо не скоро дошелъ до Байрона. Уже послѣ развода съ женой и выѣзда изъ Англіи, а именно, проживая въ Швейцаріи, Байронъ получилъ написанный со злобой, но глупый романъ «Гленарвонъ», въ которомъ поэтъ изображался какъ чудовище, какъ демонъ, какъ существо безъ вѣры и сердца.

Обратимся теперь къ той особѣ, къ которой Байронъ, какъ онъ писалъ г-жѣ Лэмбъ, искренно привязался. Въ фамиліи Мельборновъ было нѣсколько тетокъ и другихъ родственницъ, которымъ не давала покоя мысль о томъ, что поведеніе г-жи Лэмбъ компрометировало честь ихъ дома. Старшая леди Мельборнъ озабочивалась пріисканіемъ подходящей особы, которую бы можно было сосватать поэту и тѣмъ прекратить скандалъ, какимъ представлялся его романъ съ г-жею Лэмбъ. Подходящая особа нашлась въ средѣ того же дома: это была дѣвица Анна-Изабелла (въ сокращеніи—Анна-белла) Мильбэнкъ, единственная дочь сэра Ральфа Мильбэнка, роднаго брата леди Мельборнъ. Партія эта не представлялась въ то время богатою. Сэръ Ральфъ могъ дать за дочерью не болѣе 10 тысячъ фунтовъ. Правда, мать дѣвушки могла получить наслѣдство отъ богатаго дяди, лорда Уэнтворта, но въ 1814 году никто не предвидѣлъ, что этотъ дядя долженъ былъ умереть на слѣдующій же годъ, и что наслѣдство такъ скоро достанется леди Мильбэнкъ, отъ которой, по ея смерти, оно перешло и къ ея дочери. Что касалось самого Байрона, то онъ думалъ устроить свои имущественныя дѣла слѣдующимъ образомъ: имѣніе Ньюстэдъ онъ запродавъ въ суммѣ 140 т. фунтовъ, въ счетъ которыхъ получилъ 25 т. фунтовъ задатку; по уплатѣ долговъ, у него остались бы: капиталъ, приносившій около 5 т. фунтовъ ежегоднаго дохода, и другое имѣніе — Рочдэль. Продажа Ньюстэда, однако, не состоялась; покушникъ отказался отъ задатка, а задатокъ этотъ Байронъ издержалъ въ короткое время, но зато получилъ возможность жить въ

то время на большую ногу, сообразно съ своимъ положеніемъ въ обществѣ.

Дѣвица Мильбэнкъ была еще очень молода (ей было четырьмя годами менѣе, чѣмъ Байрону), роста небольшого, характера простаго, держала себя естественно, была немного пуританка, имѣла понятія и о математикѣ, и о метафизикѣ и о древнихъ языкахъ, писала стихи, много читала, имѣла даже нѣкоторый оттѣнокъ «ученой» дамы, и сверхъ того была «добра, любезна и безъ всякихъ претензій». — «У другой — писалъ Байронъ въ то время — закружилась бы голова отъ половины ея знанія и отъ десятой части ея хорошихъ качествъ». Въ позднѣйшее время Байронъ издѣвался надъ женскими претензіями по части учености («Беппо». 78. «Донъ-Жуанъ» I. 12): «Любимой ея наукой была математика, изъ добродѣтелей, она предпочитала великодушіе; остроуміемъ она обладала чисто аттическимъ, а слогъ ея разговора былъ мистически туманенъ». Но въ 1814 году, Байронъ смотрѣлъ на миссъ Мильбэнкъ иными глазами, и ему нравилась въ ней именно та простота, соединенная съ серьезностью, которыми она рѣзко выдѣлялась изъ среды свѣтскихъ дамъ.

Онъ нисколько не думалъ о томъ, что миссъ Мильбэнкъ питала надежду современемъ обратить его на церковный (англиканскій) путь спасенія. Доселѣ не многіе знаютъ, что у леди Байронъ былъ серьезный, аналитическій умъ и что она не только восхищалась поэзіею своего мужа, но и относилась къ ней критически, проникая ея содержаніе вѣрно и глубоко, какъ бы вскрывая ее анатомическимъ ножомъ (Письмо ея въ 1818 г. къ леди Барнардъ): «Жизненнымъ элементомъ въ его воображеніи является эготизмъ, такъ что ему трудно обрабатывать предметъ, не отождествляя его съ своимъ характеромъ и своимъ интересомъ, но помощью вымысленныхъ дополненій, онъ свои собственныя поэтическія признанія возвелъ въ систему, доступную лишь весьма немногимъ, а постоянное его стремленіе поразить чита-

теля побудило его выставять самого себя какъ предметъ удивительный и возбуждающій любопытство, хотя бы цѣною нѣкоторыхъ темныхъ и неопредѣленныхъ подозрѣній».

Лордъ Байронъ просилъ руки миссъ Мильбэнкъ и получилъ отказъ, но выраженный съ такой деликатностью и любезностью, что между нимъ и ею завязались дружескія отношенія, «безъ малѣйшей искры любви, какъ съ одной, такъ и съ другой стороны» (Муръ. 209). Въ мартѣ 1814 г. онъ пишетъ въ дневникѣ: «влюблюсь въ нее опять, если не буду на-сторожѣ». Въ сентябрѣ того-же года, Байронъ повторилъ свое предложеніе и на этотъ разъ получилъ согласіе. Впослѣдствіи, обвиняя свою жену, онъ выдумывалъ, будто никогда ея не любилъ, но переписка краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, что чувство съ обѣихъ сторонъ было сильное; въ то время Байронъ искренно находилъ, что «мать (будущихъ) Граховъ имѣетъ лишь тотъ недостатокъ, что слишкомъ совершенна въ сравненіи съ нимъ», и признавалъ даже ошибочнымъ первоначальное свое впечатлѣніе, будто бы она—существо холодное. «Мы удивительно какъ идемъ другъ къ другу». Отходя отъ алтаря, она сказала Гобгоузу: «если я не буду счастлива, то сама буду въ томъ виновата» (Джиффрсонъ. II. 57, 60). Бракъ состоялся 2 января 1815 г., въ имѣніи родителей невесты, Сихемѣ. Отсюда молодые поѣхали въ Сиксъ-Майль-Боттомъ, чтобы посѣтить полковника Лей, и жену его, сестру Байрона, Августу (она была старше брата), отношенія между которой и поэтомъ доселѣ были отрывочны и рѣдки. Жена Байрона сошлась съ его сестрой и всѣ они зажили дружно, въ сердечной интимности. Придумались ласкательныя прозвища, какими они себя взаимно называли: Байрона прозвали duck, жену его—pippin, сестру—goose <sup>1)</sup>).

Любовь супруговъ вышла побѣдоносно даже изъ труд-

---

<sup>1)</sup> «Уточка», «свернышко» и «гусыня».



наго опыта финансовыхъ передрагъ, послѣ того, какъ прожиты были и приданое и наличныя средства, какими располагалъ самъ Байронъ, а въ квартиру ихъ въ Лондонѣ, на Пикадилли, стали являться кредиторы, потомъ судебныя пристава, которые нѣсколько разъ описывали ихъ имущество. Супруги ожидали, что родители выведутъ ихъ изъ бѣды, тѣмъ болѣе, что дядя умеръ, мать жены Байрона получила титулъ леди Ноэль, съ 7 тысячами фунтовъ дохода, такъ что поэту съ его женой предложено было поселиться въ Сихемѣ, т. е. въ имѣніи родителей молодой леди Байронъ. Несогласія между супругами начались только въ сентябрѣ 1815 года и безъ какого-либо опредѣленнаго повода, кромѣ одного несходства характеровъ. Женщинѣ, выросшей въ условіяхъ правильно устроенной жизни трудно было примириться съ эксцентричными и порядочно-цыганскими привычками поэта, который ночь обращалъ въ день, себя морилъ голодомъ, жуя мастику или табакъ, чтобы обмануть желудокъ, употреблялъ опій, никогда не садился къ столу — обѣдать и завтракать, вѣчно мечталъ, какъ бы убѣжать изъ Англіи куда-нибудь подальше, на Востокъ и впадалъ въ бѣшенство, когда ему мѣшали во время находившихъ на него пароксизмовъ работы. Грустно было положеніе женщины, ожидавшей родовъ, въ то время какъ къ мужу являлись судебныя пристава, а онъ самъ упражнялся въ стрѣльбѣ изъ пистолета въ ея комнатѣ и разъ, въ припадкѣ гнѣва, хватилъ свои часы объ полъ. Леди Байронъ почти была убѣждена, что у мужа ея есть зачатокъ душевной болѣзни, и подъ вліяніемъ этой мысли, она по разрѣшеніи отъ бремени, 10 октября 1815 года, уѣхала, съ новорожденной дочкой Адой, къ своимъ родителямъ, въ Кёркби-Маллори, въ началѣ января.

Заботы о мнимо душевно-больномъ мужѣ, она поручила раздѣлявшему ея мнѣніе родственнику Джорджу Энсону — Байрону и ближайшей повѣренной своихъ опасеній, сестрѣ поэта, Августѣ Лей, которую она упростила

остаться съ этой цѣлью въ Лондонѣ. Лондонскіе врачи, къ которымъ обратились за совѣтомъ, отвѣтили, что Байронъ психически совершенно здоровъ, а разстроена у него только печень. До тѣхъ поръ, пока леди Байронъ считала мужа душевно-больнымъ, письма ея къ нему были исполнены чувства и въ нихъ повторялась просьба, чтобы онъ пріѣхалъ въ Кёркби-Маллори. Но когда дѣло объяснилось иначе и опасенія болѣзни разсѣялись, то настроеніе жены по отношенію къ мужу измѣнилось къ худшему. О больномъ она обязана была заботиться, но здоровому она ни въ чемъ не хотѣла уступить и тотчасъ стала помышлять о разводѣ. Коса нашла на камень; въ женщинѣ этой проявился узкій умъ, видѣвшій только чужую вину и осуждавшій безусловно все, что не подходило къ признаваемымъ ею правиламъ; высказались и сухость, злопамятство сердца, упрямство, поддерживаемое убѣжденіемъ, что она ясно видитъ, что угодно и что негодно Богу.

Выше упомянуто было, мимоходомъ, объ отзывѣ Байронова камердинера Флетчера, что каждая женщина могла дѣлать съ его господиномъ, что хотѣла; но нельзя однако не признать, что жить съ Байрономъ было трудно. Любимая женщина, дѣйствительно, могла бы сохранить надъ нимъ господство, но только подъ условіемъ, чтобы она падила того демона, который въ немъ иногда проявлялся, была крайне снисходительной, склонной прощать и даже смотрѣть сквозь пальцы на мимолетные грѣшки, въ которые его вовлекала неукротимость темперамента. Въ такомъ случаѣ, и онъ могъ десятокъ разъ возвратиться къ ней подъ очарованіемъ воспоминаній, могъ соперничать съ ней въ великодушіи. Но совсѣмъ не такова была натура жены поэта. Въ ней онъ нашелъ никакъ не существо склонное къ всепрощенію, а скорѣе—юриста въ юбкѣ, который вносилъ въ спальню тяжбу о межѣ взаимныхъ правъ и обязанностей, требуя прежде всего, чтобы мужъ-отвѣтчикъ признавалъ себя виновнымъ, смирялся духомъ, обѣщалъ вступить на

правый путь, просилъ прощенія, однимъ словомъ—всего того, къ чему Байронъ во всю свою жизнь былъ на-именѣе склоненъ.

Послѣ врачей, обратились къ адвокатамъ. Тѣ сперва нашли, что не было достаточныхъ причинъ для развода; затѣмъ однако, когда леди Байронъ, нарочно съ этой цѣлью прибывшая въ Лондонъ, сообщила имъ нѣкоторыя новыя данныя, державшіяся въ тайнѣ отъ родителей и не обнаруженныя до настоящаго времени, адвокаты обѣихъ сторонъ, т. е. жены и мужа, согласно признали, что имѣются достаточные поводы къ разлученію супруговъ. Это обстоятельство, въ связи съ содержаніемъ написаннаго позднѣе «Манфреда» и обнародованными по смерти леди Байронъ, въ 1869 г., американской писательницею, миссизъ Бичеръ-Стоу, признаніями, сдѣланными ей въ 1856 году самою леди Байронъ, привело къ догадкѣ, будто дѣйствительной причиной развода была кровосмѣсительная связь Байрона, еще до брака, съ сестрой его, Августой Лей. Можно утвердительно сказать, что обвиненіе это было клеветой, а со стороны миссизъ Бичеръ-Стоу — сплетней. Августа Лей была некрасива и 5-ю годами старше брата, была уже матерью семейства, когда поэтъ возвратился съ Востока, наконецъ и видѣлись они рѣдко. Послѣ того, какъ братъ женился, г-жа Лей была единственной подругой, къ которой леди Байронъ относилась съ безусловнымъ довѣріемъ, сестра постоянно держала сторону своей подруги противъ брата и до самой смерти поэта думала о томъ, какъ бы ихъ примирить. Сохранились («Quarterly Review» 1869 г.) 7 писемъ леди Байронъ къ г-жѣ Лей, написанныхъ уже по разлученіи супруговъ, но исполненныхъ самаго дружескаго чувства, а такія письма были бы невозможны со стороны леди Байронъ, въ ея двоякомъ качествѣ оскорбленной жены и возмущенной пуританки, въ томъ случаѣ, еслибы она вѣрила въ кровосмѣшеніе мужа. Отношенія между обѣими женщинами оставались весьма хорошія до самой смерти

поэта; затѣмъ отношенія эти испортились, но лишь послѣ смерти г-жи Лей, леди Байронъ стала дѣлать свои признанія, которыми такъ тяжело оскорбляла память умершей.

Тайна, сообщенная юристамъ, какова бы она не была, сохранена была ими столь безусловно, что самъ Байронъ никогда не узналъ ея; разъясниться она можетъ, какъ позволительно предполагать, только изъ записокъ Гобгоуза, доселѣ необнародованныхъ и хранящихся подъ печатью въ Британскомъ музеѣ до наступленія опредѣленнаго срока. Джиффрсонъ, съ своей стороны, выказываетъ довольно правдоподобную догадку, что сообщенный юристамъ секретъ заключалъ въ себѣ не противоестественный порокъ, но для жены, тѣмъ неменѣе, непріятное обстоятельство. Байронъ былъ вліятельнымъ членомъ комитета, управлявшаго Друриленскимъ театромъ, и вотъ къ его покровительству обратилась, для поступленія на сцену, хорошенькая, очень смуглая брюнетка съ неправильными чертами лица, напоминавшими итальянскій или цыганскій типъ. То была Джэнъ Клермонтъ, падчерица литератора—бѣдняка Годвина. Леди Байронъ въ то время уѣхала, а быть можетъ заявила уже и о намѣреніи своемъ разводиться. На сцену миссъ Клермонтъ не поступила, но влюбилась въ Байрона и не заботилась, что о ней скажетъ свѣтъ. Въ ея объятіяхъ поэтъ искалъ утѣшенія въ своей ссорѣ съ женою. Леди Байронъ могла узнать объ этой связи отъ прежней своей гувернантки, которая пересматривала переписку Байрона и которую онъ впоследствии заклеилъ въ сатирѣ «Эскизъ» (мартъ 1816 г.). Съ дѣломъ о разводѣ Байронъ однакожь медлилъ и только 22 апрѣля 1816 г. подписалъ актъ по тому предмету; черезъ три дня послѣ того, онъ навсегда уѣхалъ изъ Англіи, почти вынужденный къ отъѣзду обстоятельствами.

Между тѣмъ, самый этотъ отъѣздъ его, давно рѣшенный, еще усилилъ въ англійскомъ обществѣ раздраженіе противъ поэта и раздраженіе это было столь

чрезвычайно, почти безпримѣрно, что положительно не соответствовало вызвавшимъ его поводамъ, особенно съ той, общепринятой въ томъ же обществѣ точки зрѣнія, что жизнь частная не должна быть предметомъ общественнаго вниманія. Дѣйствительность, однако, порою противорѣчитъ этому правилу. «Каждая лѣтъ 6 или 7 — замѣчаетъ Маколей — добродѣтель наша вдругъ возмущается противъ попиранія основъ религіи и приличія, при чемъ всегда какой-либо 'несчастливецъ, котораго вина вовсе не превосходитъ винъ сотенъ другихъ лицъ, перенесенныхъ обществомъ терпѣливо, обращается въ искупительную жертву». Въ настоящее время можно прослѣдить, какимъ образомъ подготовлялся этотъ взрывъ общественнаго мнѣнія противъ поэта, взрывъ, который понятенъ, хотя онъ и явился неожиданно. Дѣло было въ томъ, что поэтъ самую славу свою пріобрѣлъ слишкомъ внезапно, слишкомъ многихъ затронулъ какъ сатирикъ, и къ тому же имѣлъ слишкомъ большой успѣхъ какъ свѣтскій человѣкъ, какъ дэнди. Байронъ смертельно оскорбилъ регента своими эпиграммами («Строки къ плачущей дамѣ», т. е. къ дочери регента Шарлотѣ) и устройствомъ обѣда въ тюрьмѣ въ честь памфлетиста Лей-Хѣнта, осужденнаго за пасквиль на регента. Противъ Байрона былъ весь дворъ, но и самихъ виговъ онъ вооружилъ своимъ анти-патріотическимъ поклоненіемъ Вашингтону, Наполеону и Кромвеллю, а еще болѣе своими выходками противъ церковныхъ обрядностей и духовенства и сомнѣніемъ относительно церковныхъ представленій о Богѣ, вслѣдствіе чего заслужилъ даже названіе англійскаго Вольтера (въ современной сатирѣ, названной «Анти-Байронъ»). Въ высшемъ обществѣ была въ модѣ крайняя распущенность, но и тамъ — лишь подъ условіемъ, чтобы никто не носился съ ней открыто. Въ среднихъ же классахъ господствовала не только строгость наружнаго поведенія, но и заботливость о полной «правильности» въ самомъ образѣ мыслей; тамъ нетерпѣли вольнодумства и должны были почувствовать отвращеніе къ

человѣку, который смѣялся надъ освященными предметами, дурно обходился съ женой, вводилъ къ себѣ въ домъ «блудницу», отличался въ средѣ модныхъ повѣсь, велъ знакомства за кулисами и еще притворялся, будто у него тяжкое бремя на совѣсти, и еще косвенно признавался своими стихами въ какихъ-то ужасныхъ преступленіяхъ.

Въ Друриленскомъ театрѣ была освистана и прогнана криками со сцены одна артистка (миссъ Мардинъ), которую несправедливо заподозрили въ связи съ Байрономъ. Онъ самъ могъ подвергнуться на улицѣ какому-нибудь нападеніямъ черни. Но и въ гостинныхъ его стали принимать холодно. На вечерѣ, который леди Джёрси имѣла мужество устроить на прощанье съ уѣзжавшимъ поэтомъ, всякъ сторонился его, и тотъ, кто рѣшался къ нему подойти и обмѣняться нѣсколькими словами, считалъ себя совершающимъ великодушное дѣло. Немногіе, оставшіеся у поэта друзья сами совѣтовали ему уѣхать изъ Англіи. И дѣйствительно, Байронъ, 25 апрѣля 1816 г., отплылъ изъ Дувра въ Остенде, а возвратился на родину уже только трупъ его, который и похороненъ былъ не въ Уэстминстерскомъ аббатствѣ, а въ сельской церкви въ Хёвналъ-Торквуордѣ, въ Ноттингэмскомъ графствѣ. Прежде, чѣмъ обратиться къ исторіи этого продолжительнаго, а именно восьмилѣтняго (1816—1824 г.) скитанія на чужбинѣ, втеченіи котораго геній Байрона, въ борьбѣ его съ препятствіями и страданіемъ, вполне созрѣлъ и развилъ всю мощь своихъ крыльевъ, dokonчимъ рассказъ о его отношеніяхъ семейныхъ и сердечныхъ, словомъ о его отношеніяхъ къ женщинамъ, такъ какъ связи эти имѣли въ его жизни большое значеніе.

### XXIII.

Въ дѣлѣ развода Байронъ сперва поступилъ съ достоинствомъ и благородствомъ—всю вину онъ принялъ на себя. «Никакого противъ нея обвиненія—писалъ онъ

Муру 8 марта 1816 г. (М. 294)—я не имѣлъ и не могъ имѣть. Если на кого можетъ пасть упрекъ, то на меня, и если нельзя его загладить, то надо его переносить». Но это, хорошее настроеніе постепенно замѣнилось инымъ. Человѣкъ страстный, не владѣвшій собой, возмущенный твердымъ и холоднымъ сопротивленіемъ, поэтъ не сдержалъ даннаго себѣ обѣщанія и внесъ въ свои стихи сперва огорченіе, а потомъ и мщеніе. Супружескую свою ссору онъ перенесъ на публичную арену и судъ общественный, повелъ съ женой адвокатскую тяжбу—въ поэзіи, вступилъ въ борьбу несочувственную уже по тому соображенію, что противная сторона не владѣла его оружіемъ. Первое нападеніе было сдѣлано въ стихахъ, вышедшихъ въ началѣ апрѣля 1816 г. (т. е. еще до отъѣзда), подъ заглавіемъ «Эскизъ», представлявшихъ сатиру за личное оскорбленіе и «Прощай»—обращеніе къ женѣ, въ которомъ было такъ много трогательнаго чувства, что г-жѣ Сталь приписывали такой отзывъ (Эльзе. 195): «я бы желала быть на мѣстѣ госпожи Байронъ». Въ самомъ дѣлѣ, поэтъ здѣсь плакалъ надъ своимъ несчастьемъ, а женѣ предвѣщалъ, что она не будетъ въ состояніи позабыть его; но при этомъ онъ уже пустилъ слегка отравленную и вѣрную стрѣлу, назвавъ эту женщину—«непрощающею (unforgiving)». Насколько горьки были въ моментъ отъѣзда его сѣтованія на жену, настолько чисты и задушевные его признанія сестрѣ. Уѣзжая, Байронъ еще не терялъ надежды, что современемъ возвратится и примирится съ женой. Доказательствомъ тому могутъ служить предпринятые г-жею Сталь изъ Женевы попытки къ примиренію супруговъ. Но обстоятельства примиренію неблагопріятствовали; предложенія эти были отвергнуты и даже сочтены зановое оскорбленіе.

Въ то самое время, когда Байронъ, не спѣша, направлялся къ Женевѣ, черезъ Бельгію, гдѣ осмотрѣлъ поле битвы при Ватерло, выѣхала, изъ Лондона, съ намѣреніемъ встрѣтиться съ поэтомъ, компанія, состоявшая изъ мужчины и двухъ женщинъ и, прибывъ ранѣе его въ

Женеву, остановилась въ отелѣ Сешеронъ, гдѣ долженъ былъ поселиться Байронъ. Принадлежавшій къ этому обществу мужчина еще не былъ знакомъ съ Байрономъ. Это былъ молодой, высокоталантливый поэтъ, скорѣе пантеистъ, чѣмъ атеистъ, филантропъ, человѣкъ необыкновенной доброты (на гробницѣ его въ Римѣ сдѣлана надпись: *cor cordium*)—Пэрсъ Бейшъ Шелли (1792 1822 гг.). Съ Шелли находились подруга его Марія Годвинъ и падчерица ея отца Дженъ Клермонтъ. Шелли, какъ и Байронъ, былъ отвергнутъ англійскимъ обществомъ, но онъ самъ провозгласилъ открыто этотъ разрывъ, явно выступалъ въ качествѣ атеиста, былъ весьма смѣлымъ, но непрактичнымъ политическимъ агитаторомъ и возбудилъ противъ себя въ такой степени ненависть и отвращеніе въ Англіи, въ качествѣ опаснаго новатора, что по жалобѣ отца первой его жены, Генріетты Вестбрукъ, лордъ-канцлеръ Эльдонъ лишилъ его власти надъ дѣтьми и сдѣлалъ распоряженіе объ отдачѣ ихъ на воспитаніе нѣкому духовному лицу, согласно съ волею ихъ дѣда Вестбрука.

Цѣль поѣздки Шелли и М. Годвинъ въ Женеву было та, чтобы доставить Дженъ Клермонтъ случай повидаться съ Байрономъ, котораго она продолжала любить. Шелли познакомился съ Байрономъ и ему понравился, и вотъ, все это общество изъ четырехъ лицъ отправлялось на прогулки по Женевскому озеру, съ «Новой Элоизой» въ рукахъ. Когда Байронъ, уже подозрѣваемый въ безбожіи, сошелся съ такимъ отъявленнымъ, въ протестантскомъ мнѣніи, атеистомъ, какъ Шелли, къ тому же попиравшимъ божественное и гражданское учрежденіе брака, то женевскіе кальвинисты и толпа туристовъ-англичанъ, которыхъ вездѣ много, стали выслѣживать каждый шагъ двухъ нравственныхъ чудовищъ, а набожныя англичанки (напр. миссизъ Гервей) падали въ обморокъ въ гостинной г-жи Сталь при видѣ Байрона, котораго онѣ принимали чуть ли не за «его сатанинское величество» въ собственной особѣ.



Байронъ, въ силу того своего свойства, которое его друзья называли «лицемѣріемъ на-выворотъ», находилъ злобное удовольствіе въ томъ, чтобы поддерживать самыя мрачныя о себѣ представленія. Когда оба пріятеля съ своими дамами показывались изъ дому, отправляясь на прогулки въ горы или на озеро, то на эту компанію наведены были бинокли и зрительныя трубы набожныхъ протестантовъ, такъ что друзья принуждены были уѣзжать подальше отъ этихъ любителей шпионства. Легко себѣ представить, какого рода молва объ обоихъ поэтахъ распространялась изъ Швейцаріи по Англіи. Одинъ изъ туристовъ, поэтъ также, принадлежавшій къ школѣ «озѣрниковъ», Р. Соути, по возвращеніи своемъ въ Англію, по словамъ Байрона (Джиффрсонъ II. 173), рассказывалъ публично, что Байронъ и Шелли съ двумя мнимо-родными сестрами (между тѣмъ М. Годвинъ и Дж. Клермонтъ вовсе сестрами не были) основали кровосмѣсительную общину (*league of incest*), т. е. что жили въ одновременной плотской связи каждый съ обѣими сестрами. Надежда Дженъ Клермонтъ не сбылась; привязанность, какую имѣлъ къ ней Байронъ въ Англіи, когда дѣвушка ему отдалась, была лишь мимолетною, а вступить въ постоянную съ нею связь, въ какой жилъ Шелли съ М. Годвинъ, Байронъ и не помышлялъ. Передъ выѣздомъ всего этого маленькаго кружка изъ Женевы, Дженъ призналась Байрону, что она беременна, не приняла его предложенія отослать ребенка на воспитаніе къ госпожѣ Лей, но взяла съ него слово, что если сама отдастъ ему свое дитя, то Байронъ будетъ воспитывать его при себѣ.

Напрасно онъ однако полагалъ, что присутствіе въ Женевѣ Дженъ Клермонтъ, въ обществѣ Шелли и М. Годвинъ, могло остаться неизвѣстнымъ леди Байронъ и ея роднѣ; грязныя сплетни дошли до жены поэта и примирительныя предложенія, сдѣланныя женѣ отъ его имени, были отвергнуты ею съ полнѣйшей холодностью. Тогда оскорбленный и униженный поэтъ далъ волю своей

природной страстности и забывая болѣе и болѣе о справедливости, мстилъ женѣ. Такъ, онъ написалъ «Сонъ» (1816 г.), и полное упрековъ стихотвореніе на тему: «При слухѣ о болѣзни леди Байронъ», сочиненное въ сентябрѣ 1816 г., но изданное послѣ его смерти), въ которомъ есть такое мѣсто: «на томъ, что было и чего вовсе не было воздвигла ты памятникъ, связавъ его виною какъ цементомъ, о ты, Клитемнестра твоего господина» (Джиффрсонъ П. 186). Идя постепенно все далѣе, Байронъ, послѣ своего пребыванія въ Венеціи, гдѣ онъ предался самому пошлomu разврату и сдѣлался циникомъ, унизился наконецъ до гадости по отношенію къ женѣ (строфы 10—33 «Донъ-Жуана». 1818), представилъ ее въ карикатурномъ видѣ — въ лицѣ доньи Инесъ, матери Донъ-Жуана, ригористки и педантки. Леди Байронъ писала мужу непосредственно только одинъ разъ когда, подаривъ Муру и отдавъ въ руки свои «Записки», которые Муръ и продалъ немедленно книгопродавцу Муррею за 2000 гиней, Байронъ обратился къ женѣ съ предложеніемъ просмотрѣть эти записки и исправить въ нихъ то, что оказалось бы ошибочнымъ. Леди Байронъ не приняла этого предложенія (20 марта 1820 г.). Извѣстія о ней и о дочери своей Адѣ онъ получалъ отъ сестры. Однако, съ теченіемъ времени, чувство обиды ослабѣло въ сердцѣ жены поэта, чему служить доказательствомъ локоны волосъ дочери, присланный ему въ Пизу и силуэтъ, полученный имъ въ Миссолунги.

До конца жизни, въ тайникѣ души Байрона жила и даже возростала надежда, что когда-нибудь онъ примирится и соединится съ женой. Въ связи съ этой надеждой было совершено дополнительное соглашеніе Мура съ Мурреемъ, по которому «Записки» поэта, предназначенныя къ обнародованію только послѣ его смерти, могли быть взяты авторомъ обратно, съ возвращеніемъ издателю 2 тысячъ гиней. Байронъ, дѣйствительно, пожелалъ выкупить свои записки, но экспедиція въ Грецію пог-

лотила всѣ его денежные средства. Когда же — въ маѣ 1824 г. — въ Лондонѣ получено было извѣстіе о его смерти, то другъ его и душеприказчикъ Гобгоузъ, имѣя въ виду исключительно — личное содержаніе записокъ, предложилъ мысль объ уничтоженіи ихъ. Его мнѣніе было поддержано Августой Лей, которая при этомъ, конечно, руководилась заботливостью какъ о памяти своего брата, такъ объ интересахъ леди Байронъ и дочери поэта Ады. Соединенныя ихъ усилія одержали верхъ надъ сопротивленіемъ книгопродавца Муррея, котораго интересъ являлся прямо противоположнымъ предложенію. «Записки» были сожжены въ гостиной Муррея, въ присутствіи друзей поэта, при чемъ Муррей выказалъ несомнѣнное безкорыстіе, хотя и получилъ обратно свои 2 тысячи гиней. Такой суммы не могли дать ни Гобгоузъ, ни Муръ, самъ вѣчно нуждавшійся, а залочена она была, по всей вѣроятности, г-жей Лей и леди Байронъ, которая въ это время владѣла уже большимъ состояніемъ, унаслѣдованнымъ отъ матери (1822 г.), а также имѣла пэрство по личному своему праву, какъ леди Ноэль.

А впрочемъ, леди Байронъ испытала на себѣ мечь мужа, но уже послѣ его смерти. Непреклонная эта женщина, которая не хотѣла сдѣлать ни одного шага къ нему навстрѣчу, не пожелала дать ему знакъ рукой, по которому онъ бы несомнѣнно вернулся, дождалась, что мнѣніе всего свѣта относительно ихъ супружескихъ отношеній измѣнилось. Мужъ, котораго нѣкогда осудилъ за нее общій голосъ, теперь сдѣлался героемъ, Европа была исполнена великой его славы; на жену же его общество теперь стало смотрѣть съ осужденіемъ, какъ на бездушное существо, вовсе не соответствовавшее великому покойнику. Чѣмъ выше росла слава умершаго поэта, тѣмъ чувствительнѣе становилось для вдовы его ея униженіе, тѣмъ болѣе она завидовала тѣмъ, кого онъ любилъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, сама она становилась злѣе и нравственно хуже. Характеръ этой женщины въ иныхъ обстоятельствахъ могъ бы показаться образцовымъ, но

при томъ положеніи, въ какое она была поставлена, онъ оказался недостойнымъ вдовы Байрона. Изъ за мелочей, изъ жалкихъ побужденій, она въ 1829 г. по поводу одного денежнаго вопроса, истекавшаго изъ завѣщанія поэта, поссорилась съ той, которая была ея ангеломъ-хранителемъ въ горѣ, ея вѣрной союзницей, искренней подругой и посредницей между нею и мужемъ. Эта ссора произошла почти одновременно съ очень непріятнымъ для леди Байронъ фактомъ, а именно — съ выпускомъ въ свѣтъ изданныхъ въ 1830 г. Муромъ «Жизни Байрона, его писемъ и дневниковъ».

Оказалось, что для вдовы Байрона, собственно и не стоило жечь его «Записокъ», такъ какъ все, что въ нихъ могло быть для нея непріятнаго — вошло въ его біографію. Насколько здѣсь унижена была жена, настолько же сестра поставлена была высоко. Напечатаны были притомъ же неизданныя дотолѣ вещи, какъ напр. «Посланіе къ Августѣ», которыхъ сестра прежде не оглашала изъ деликатности, чтобы не сдѣлать невѣсткѣ непріятности, такъ въ нихъ много было чувства и недосказаннаго сердечнаго горя. Леди Байронъ возненавидѣла Августу и, озлобленная своимъ неисправимо-несчастливымъ положеніемъ, утратила способность здраво судить о людяхъ. Постоянно вчитываясь въ произведенія своего мужа, она сама повѣрила тѣмъ «мрачнымъ подозрѣніямъ», которыми мужъ ея, какъ ей было извѣстно, окружалъ себя (письмо ея къ леди Барнардъ), стала выдавать за дѣйствительность, все, что поэтъ когда-либо наклепалъ на себя, все, что про него распустили досужіе языки, а наконецъ то, до чего сама она додумалась въ своемъ постоянномъ, желчномъ настроеніи. Изъ женевскихъ сплетенъ о «кровосмѣшеніи», выдуманыхъ про связь поэтовъ съ двумя сестрами на берегахъ Лемана, выросло чудовищное и лишнее всякаго фактическаго подтвержденія обвиненіе Байрона въ кровосмѣсительной связи съ собственной его сестрой, будто бы еще до его знакомства съ леди Байронъ. Обвиненіе

это было пущено уже послѣ смерти г-жи Лей (она умерла въ 1851 г.), въ признаніи подѣ секретомъ г-жѣ Бичеръ-Стоу, которая и протрубила о немъ всему міру, по смерти леди Байронъ, (скончавшейся 16 мая 1860 г). выдавая эту клевету за разъясненіе заgrabной тайны. Конечъ своей жизни вдова поэта провела въ набожныхъ упражненіяхъ и благотворительности. Дочь свою она воспитала въ полномъ незнаніи объ отцѣ и его произведеніяхъ; Ада вышла замужъ за виконта Окхема и оставила потомство, которое, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, пренебрегаетъ памятью о своемъ предкѣ по матери (Эльзе 324).

У Байрона была еще одна дочь—незаконное дитя отъ Дженъ Клермонтъ, родившееся въ Англіи 20 января 1817 г., и названное матерью—Аллегра. Дженъ прислала ребенка Байрону въ Венецію, въ половинѣ 1818 года, въ напрасной надеждѣ, что даръ этотъ воскреситъ его привязанность къ ней и прежнюю связь. Но Байронъ велъ въ Венеціи жизнь грубо развратную и надежда Дженъ не оправдалась. Дѣвочка росла при немъ, приучаясь къ капризамъ и вообще приобрѣтая дурныя привычки. По совѣту г-жи Гвиччоли, которая опасалась дѣвицы Клермонтъ, дѣвочка была отдана въ католическую школу въ Банья-Кавалло, что вызвало негодованіе Дженъ Клермонтъ, которая потребовала возвращенія ребенка себѣ, упрекая Байрона въ измѣнѣ данному ей обѣщанію. Байронъ, однако, не возвратилъ дѣвочки и оставилъ ее въ той же школѣ, гдѣ въ 1822 г. она умерла. Для дополненія разсказа объ отношеніяхъ поэта къ женщинамъ, оставалось бы упомянуть здѣсь же о его гаремѣ въ Венеціи и затѣмъ о нравственномъ его исправленіи въ періодѣ господства надъ нимъ графини Гвиччоли. Мы отложимъ однако этотъ предметъ, какъ находящійся въ тѣсной связи со всѣми условіями жизни поэта въ Венеціи и Равеннѣ, и возвратимся теперь къ самому творчеству Байрона, почерпнувшему новую силу въ его нравственныхъ страданіяхъ и жизненной борьбѣ; въ творествѣ

этомъ обнаружились необычайныя, можно сказать, почти сверхъ человѣческія мужество и упругость гордой души его.

## XXIV

Начнемъ съ матеріальныхъ условій литературной дѣятельности Байрона въ этомъ періодѣ. Выдержавъ немалую борьбу съ самимъ собою, поэтъ сдѣлалъ наконецъ то самое, что осмѣялъ нѣкогда у В. Скотта, въ юношеской своей сатирѣ, а именно—сталъ писать для денежнаго заработка, сталъ продавать свои произведенія въ свою пользу, а не такъ, какъ дѣлалъ прежде—для помощи нуждавшимся знакомымъ или литераторамъ вообще. Издатели, между тѣмъ, уже привыкли платить за его стихи высокій гонораръ, который онъ доселѣ раздавалъ другимъ; за каждый стихъ послѣднихъ пѣсень «Чайльдъ-Гарольда» платили отъ 25 до 28 шиллинговъ. По выѣздѣ изъ Англіи, Байронъ втеченіи пяти лѣтъ 1816—1821, получалъ отъ своего издателя Муррея, въ средней цифрѣ, по 2500 фунтовъ ежегодно, что, при тогдашнемъ курсѣ золота и при дешевизнѣ жизни въ Италіи, было достаточно для покрытія всѣхъ издержекъ, тѣмъ болѣе, что поэтъ узналъ счетъ деньгамъ и начиналъ даже скупиться. «Прежде я писалъ—эти слова его относятся къ 1818 году—отъ полноты мысли и для славы (не какъ цѣли, но какъ средства вліянія на умы), теперь же пишу по привычкѣ и изъ жадности. Во мнѣ осталась прежняя легкость, и даже потребность творчества, чтобы избѣгнуть праздности, но я сталъ гораздо уже равнодушнѣе къ тому, что отсюда произтечетъ потомъ, когда непосредственная моя цѣль достигнута» (Муръ, 387).

Въ 1818 году, Байронъ продалъ свое имѣніе Ньюстедъ, вслѣдствіе чего наличныя его средства усилились. Затѣмъ, въ 1822 г., когда умерла мать его жены и

къ послѣдней перешли все состояніе Уэнтвортовъ, съ 7.000 фунтовъ доходу и титулъ лордовъ Ноэль, Байронъ и самъ принялъ эту фамилію (Джорджъ Гордонъ-Ноэль-Байронъ), а также сталъ пользоваться половиною дохода съ наслѣдованнаго его женою состоянія. Такое обиліе средствъ и сдѣлало впослѣдствіи возможной его экспедицію въ Грецію. Подъ вліяніемъ свойственнаго ему лицемѣрія «на-выворотъ», т. е. представленія себя въ дурномъ свѣтѣ, Байронъ вступалъ въ споры съ издателями, торговался насчетъ условій и игралъ роль корыстолюбца, эксплуатирующаго своихъ издателей (Муръ 549. «Высказываю твердое мое убѣжденіе, что деньги—добродѣтель» <sup>1)</sup>).

Въ этой мнимой жадности было много притворства. Не писать Байронъ не могъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ, мозгъ его просто не выдержалъ бы напора необузданныхъ чувствъ и мыслей. Изъ кипѣвшаго воображенія поэта вылилась прежде всего драматическая поэма «Манфредъ», начатая въ Швейцаріи, лѣтомъ 1816 года, а оконченная въ мартѣ 1817 г. — произведеніе «странное, метафизическое и необъяснимое» (Муръ. 340); самъ не знаю—писалъ Байронъ издателю—хорошо оно, или дурно» (Муръ. 342); это—«драма безумная, трагедія изъ Бедлема» (Муръ 345) лучшая изъ всѣхъ моихъ плохо родившихся, пусть говорятъ чтó хотятъ» (Муръ. 361). «Одни говорятъ, что я взялъ Манфреда изъ «Фауста» Марлоу, другіе, что—изъ Гётева «Фауста» же. Чортъ побори всѣхъ Фаустовъ, нѣмецкихъ и англійскихъ—ничего я изъ нихъ не бралъ». Иначе однакожъ судить Гёте (ХП.559 изд. Курца): «Байронъ взялъ моего «Фауста» и гипохондрически извлекъ изъ него самую странную пищу, оригинально обработалъ отвѣчавшіе его цѣлямъ мотивы, такъ что ни одинъ изъ нихъ не остался тѣмъ, чтó былъ прежде, и вотъ почему нельзя достаточно удивляться его духу». Спрашивается, кто тутъ правъ—и

---

<sup>1)</sup> I pronounce my firm belief that Cash is Virtue.

вопросъ этотъ тѣмъ труднѣе разрѣшить, что Байронъ говоритъ еще слѣдующее: «что касается «Фауста» Марлоу, то я не слыхалъ даже о существованіи его; но лѣтомъ (въ Швейцаріи) Люкисъ переводилъ при мнѣ устно нѣсколько сценъ изъ «Фауста» Гёте.» Изъ тѣхъ сценъ Байронъ только и узналъ объ исторіи этого волшебника. Подлинный зародышъ «Манфреда» находится въ дневникѣ, написанномъ для сестры, о посѣщеніи горъ Венгеральпъ, Шейдекъ, Юнгфрау и Шрекгорнъ. «Вся сцена Манфреда—писалъ Байронъ—находится у меня передъ глазами, какъ будто я былъ тамъ вчера, и я могъ бы указать каждый шагъ, каждый потокъ» (Муръ. 368).

Чтобы ближе присмотрѣться къ дѣлу, устранимъ сперва всѣ посторонніе элементы, всѣ вставки и даже наружную форму произведенія. Уже Гете замѣтилъ, что Манфреда преслѣдуютъ два женскихъ призрака: духъ сестры его, Астарты, и затѣмъ—другой, фигурирующий только какъ «голосъ», провозглашающій заклинаніе въ концѣ первой сцены. Этотъ отрывокъ, написанный въ Швейцаріи, передъ «Манфредомъ» и «дьявольски-жестокій», какъ его называетъ Джиффрсонъ (II. 184), обращенъ къ женѣ поэта и представляетъ ея призракъ, преслѣдующій его какъ привидѣніе, не дающій ему покоя днемъ и ночью. «Бываютъ тѣни не исчезающія, бываютъ мысли, которыхъ отогнать невозможно... Хотя ты не увидишь меня проходящею, но ощутишь меня собственными глазами, подобно тому что, хотя и остается невидимымъ, но есть, и должно быть возлѣ тебя; и когда внезапно почувствуешь дрожь и оглянешься—то ты удивишься, что я не лежу за тобой, какъ твоя же тѣнь на полу; а ту силу, которую будешь сознать, ты принужденъ будешь скрывать»... Устранимъ изъ нашей мысли и превосходную апострофу къ солнцу (актъ III сцена I), которая напоминаетъ арійскіе гимны въ «Ригъ-Ведѣ», а также устранимъ воспоминаніе о ночи, проведенной въ Колизеѣ (актъ III сц. IV), а затѣмъ и



всю альпійскую сценировку, которая придаетъ поэмы особенную прелесть и изображена съ правдивостью, памятной только для тѣхъ, кто самъ сгибался надъ пропастью, самъ видѣлъ лавины, каскады, красный поцѣлуй заходящаго солнца на вѣнцахъ снѣжныхъ горъ и бурю, бурю, застывшую въ ледяномъ образѣ—какъ ее представляютъ наибольшіе изъ швейцарскихъ глетчеровъ.

Разгонимъ, наконецъ, и всю эту, ненужную намъ теперь, стаю духовъ, альпійскихъ фей, Аримана, Немезиду, и многоразличныхъ судебъ (*destinies*), пустыхъ и бездушныхъ аллегорій. Элементъ фантастическій не давался въ руки поэта столь субъективнаго, столь переполненнаго самимъ собою; этотъ элементъ бываетъ послушенъ только поэтамъ, которые своей проникательностью, воображеніемъ и любовью, такъ сказать, всасывались въ великую жизнь природы или расплавились бытіемъ своимъ въ бытіи міровомъ; такъ дѣлали Шекспиръ и Гете. Если устранимъ все упомянутое выше, всѣ приставки и дополненія, и дойдемъ до самаго остова произведенія, то найдемъ въ немъ вовсе не драму, а лишь постоянный монологъ, безъ драматической завязки и безъ дѣйствія. Въ первомъ актѣ, герой, тщетно ищущій забвенія прошлаго, хочетъ броситься въ пропасть, но отъ самоубійства его спасаетъ альпійскій стрѣлокъ. Во второмъ актѣ, герой, дойдя до огненного престола Аримана, узнаетъ отъ духовъ, что завтра же умретъ. И наконецъ, въ третьемъ дѣйствіи, герой умираетъ, отстраняя религіозную помощь, которую ему предлагаетъ игуменъ, словами: «о старецъ! умирать вовсе не такъ трудно»—что какъ двѣ капли воды похоже на «Лару».

Да Манфредъ и есть все тоже лицо, которое въ молодости носило имя Чайльдъ-Гарольда, а въ возмужаломъ возрастѣ называлось Корсаромъ а Ларой; требовалось очень мало перемѣнъ, чтобы изъ нихъ создать Манфреда. Въ прежнее время, лицо это было объектомъ разсказа, теперь оно само ведетъ разсказъ, лично производить анатомическое вскрытіе болящей и гордой души

своей, которая удучается «присутствіемъ мысли неотступной, непреодолимой» (I. 1). Душа эта доходитъ до крайности и въ добрѣ и въ злѣ, она сама несчастна и страданіемъ своимъ приноситъ несчастье другимъ (II. 2.: *«extreme in both, fatal and fated in thy sufferings»*). Она не нуждается въ другихъ, остается одинокой: «терпѣніе! о это слово создано для упряжныхъ животныхъ, а не для хищныхъ звѣрей» (II. 1). «Не хочу жить въ стадѣ, хотя бы вождемъ стаи волковъ; левъ всегда одинокъ и я такимъ останусь» (III. 1). Манфредъ однако управляетъ собой и самое бѣдствіе свое ставитъ въ зависимость отъ своей воли (II. 4). «Какимъ я могъ быть и каковъ я есть — останется между небомъ и мной; никого изъ смертныхъ я не возьму въ посредники» (III. 1). Все это — типическія черты Лары и Корсара; къ тѣмъ же чертамъ относится и Каинова печать преступленія, прибавленная въ художественныхъ видахъ, такъ какъ, благодаря ей, отчаянное состояніе души становится понятнѣе для толпы, а кромѣ того, этотъ оттѣнокъ преступности истекъ и изъ столь свойственнаго Байрону разгадыванія чувствъ преступника. Однажды возвращаясь въ Англію съ Востока, Байронъ сказалъ пріятелямъ своимъ на палубѣ корабля, играя въ рукахъ небольшимъ ятаганомъ: «хотѣлось бы мнѣ знать, что чело-вѣкъ чувствуетъ по совершеніи убійства» (Муръ, 110). Убійство и ренегатство были уже употреблены въ дѣло въ «Ларѣ», поэтому въ «Манфредѣ» пришлось совокупить убійство съ кровосмѣшеніемъ, тѣмъ болѣе, что кровосмѣсительная любовь составляла одинъ изъ любимыхъ мотивовъ въ литературѣ начала XIX вѣка (она является у Шатобріана, Меримэ; см. Брандеса: «Главные теченія лит. XIX в.» т. IV—литература французскихъ эмигрантовъ. 4), да наконецъ, тому же способствовала и сплетня о «кровосмѣсительной связи», Байрона и Шелли съ сестрами, которая изъ Швейцаріи проникла въ Англію, а оттуда дошла и до свѣдѣнія Байрона.

Но, указавъ на сходство между Манфредомъ и его

предшественниками, обратимся теперь къ различіямъ. Познакомившись съ Шелли, Байронъ заразился пантеизмомъ отъ блестящаго, похожаго на сонное видѣніе воображенія своего пріятели, и это вліяніе отразилось въ 72 и 75 строфахъ III пѣсни «Чайльдъ-Гарольда»: «Въ себѣ самомъ я не живу, но той природы, что вокругъ живетъ, я лишь частица... Тѣ горы, облака, и бездны водяныя—развѣ не часть они души моей, какъ я—звенѣ ихъ...» Изъ новаго взгляда возникала въ немъ потребность нѣсколько глубже вдуматься въ психологію и опереться на какихъ-либо метафизическихъ основахъ. «Не думаю—писалъ Байронъ—что настоящее мое призваніе литература. Мнѣ бы хотѣлось создать нѣчто въ родѣ космогоніи или картины сотворенія міра, что дало бы матерьялъ для работы философамъ всѣхъ вѣковъ» (Муръ, 341). Точно такъ, услыхавъ нѣчто о Фаустѣ и восхитясь нѣкоторыми сценами, Байронъ и Манфреда своего сдѣлалъ ученымъ чародѣемъ, который повелѣваетъ духамъ и съ самимъ Ариманомъ бесѣдуетъ какъ равный съ равнымъ. Но впрочемъ, дѣло все и окончилось этими позаимствованіями: голова Байрона не была устроена на философскій ладъ, онъ не умѣлъ, и никогда не научился изслѣдовать что собственно находится подъ внѣшностью, позади символа, догмата и олицетворенія. Его философія никогда не возвысилась до разсужденій, выходящихъ за узкія рамки Моисеевой «Книги Бытія». Даже когда онъ изъ знанія своего извлекалъ «наиболѣе запрещенныя заключенія (II. 2), то собственно приготовлялъ матерьялъ только для будущихъ Каиновыхъ роцота и богохуленія, и упрековъ Творцу за то, что самое бытіе есть несчастье; но далѣе онъ не шелъ. Когда Байронъ парафразируетъ знаменитое двустипіе Мефистофеля» (1684 и 1685 стихи, ч. I. «Фауста», изд. Лёпера):

«Grau, theurer Freund, ist jede Theorie,  
Und grün des Lebens gold'ner Baum '1)».

---

1) Сѣра, другъ мой, теорія всегда, а зелено лишь жизни древо золотое».

то дѣлаетъ онъ это слѣдующимъ образомъ: «знаніе наше есть скорбь, кто больше знаетъ, тотъ сильнѣй скорбитъ надъ роковою правдой, что древо знанія не есть древо жизни» (I. 1). Байронъ здѣсь не проникъ до глубины мысли о томъ, въ чемъ для человѣка представляется горечь его знанія: въ недостатокъ увѣренности, въ сомнѣніи, въ томъ, что чего ни коснется пытливый умъ, все распадается, оказывается призракомъ, изъ котораго дѣйствительность улетучивается, такъ что ее ухватить невозможно, а въ рукахъ остается лишь пустота; что, наконецъ, когда мысль углубляется въ самой себя и подвергается своему анализу микрокосмъ души, то и тамъ теряетъ подъ собой почву, сознаетъ вскорѣ, что и этотъ мірокъ раздвоится, раскалывается на утвержденіе и оспариваніе—въ результатъ чего передъ мыслителемъ и возникаетъ, протягивая ему свой роковой договоръ, олицетворенное въ обзорѣ Мефистофеля—полное отрицаніе.

Въ «Манфредѣ», вопросъ о знаніи является лишь второстепеннымъ и случайнымъ. Манфредъ уже искуссился въ тайнахъ чернокнижія прежде, чѣмъ совершилъ преступленіе, а стало быть не вопросъ о знаніи, но память о преступленіи мучить его, и притомъ тѣмъ ужаснѣе, что надъ нимъ тяготѣетъ «проклятіе то, что нѣтъ въ немъ страха ни предъ чѣмъ (I. 1); прошлаго ничто не изгладить, а до будущаго ему самому дѣла нѣтъ, если нельзя вернуть прошлаго (I. 2)». Знаніе это ограничено именно только душевнымъ міромъ, но и въ этомъ мелкомъ мірѣ раздвоенія нѣтъ, а есть одна только увѣренность—страданія, притомъ—такого, что «еслибъ муки тѣ приснились другому человѣку, то этотъ сонъ его убилъ бы (II. 1)». Съ полнымъ сознаніемъ душа эта страстно желаетъ смерти, желаетъ жаждой неутолимою (II. 1) и лишь съ этой минуты чувствуетъ облегченіе, странное успокоеніе и какъ бы новую способность чувствовать, когда узнаетъ, что до смерти остается всего часъ времени (III. 1). Манфредова душа тверда какъ камень, она нисколько не раздваивается, не имѣетъ дѣла ни съ какимъ

Мефистофелемъ отрицанія и никакого договора не заключаетъ. Когда онъ видитъ въ свой смертный часъ духа, который своимъ взоромъ сулитъ ему вѣчность осужденія, то Манфредъ восклицаетъ: «Прочь! Тебѣ бросаю вызовъ! Исчезни ты въ свой адъ! Нѣтъ тебѣ власти надо мной, я чувствую—не завладѣешь мной, я это сознаю». Душа эта не свободна отъ предразсудковъ, она допускаетъ адъ, и однакоже, въ своемъ мятежномъ изступленіи, она открываетъ нѣчто совершенно новое, достигаетъ уразумѣнія и обоснованія нравственности—небогословской, независимой отъ вѣры, той именно нравственности, которая составляетъ краеугольный камень этики намъ современной. «То, что я сдѣлалъ—совершилось. Я самъ въ себѣ ношу мученіе, къ которому ты не прибавишь ничего. Безсмертный духъ расплачивается самъ за добрые и злые помыслы свои. Ему врожденное сознаніе не заимствуетъ красокъ отъ волнующихся вокругъ внѣшнихъ вещей, но углубляется въ страданіе или наслажденіе, истекающее изъ сознанія собственной его пустыни (III. 4).»

Этотъ герой, которому достаточно одного себя, имѣетъ лишь то общее съ Фаустомъ, что—смертенъ, какъ и тотъ; но все-таки онъ—полубогъ, болѣе близкій къ Прометею Эсхила, родившемуся въ тѣ туманно-отдаленные вѣка, когда боги спускались на землю и ходили среди людей, потому что человѣкъ въ ту эпоху давалъ свое обличіе и природѣ, и ея силамъ, и божеству: «Я въ дѣтствѣ страстно любилъ Эсхилова Прометея—писалъ Байронъ (Муръ. 368)—мы читали его по три раза въ годъ въ Гарроу. Прометея, собственно, въ моемъ планѣ не было, но въ головѣ у меня онъ былъ всегда». И такъ, хотя «Манфредъ», въ цѣломъ, представляетъ нѣчто неудавшееся, но въ немъ много привлекательнаго, уже по той причинѣ, что онъ—зеркало состоянія души Байрона въ извѣстномъ періодѣ жизни: «Я былъ полусумасшедшимъ все время, когда писалъ эту вещь; я блуждалъ среди метафизики, горъ, озеръ, съ непогасшей любовью, съ мыслями, которыхъ нельзя выразить, и съ кошмаромъ собственныхъ виновныхъ дѣлъ моихъ».

XXV.

Горькая чаша этихъ виновныхъ дѣлъ, уже почти полная, перелилась въ Венеціи черезъ край (1817 и 1818 гг.). Это самые худшіе, но и самые горькіе годы, какіе переживалъ поэтъ. Раненый въ сердце, оскорбленный въ своей супружеской связи, онъ сверхъ того, разошелся съ своимъ народомъ до такой степени, что въ 1817 году писалъ (Муръ. 345): «ненавижу свой народъ, а народъ—меня (*Jabhor the nation and the nation me*)». Отвергнутый своимъ обществомъ и принявшій на себя, изъ чувства обиды и по тщеславію, характеръ космополита, среди общества итальянскаго, совершенно ему чуждаго и стоявшаго умственно—ниже той сферы, къ какой онъ привыкъ съ дѣтства,—Байронъ бросился въ самый омутъ чувственнаго кутежа, которымъ всегда славилась, даже и подъ властью австрійцевъ, свергнутая съ своего престола царица Адриатики. Поэтъ не разбиралъ: сперва онъ связался съ женой торговца Маріанной Сегати, и сталъ жить съ нею въ Венеціи, въ виллѣ надъ Brentой въ Ла-Мира; потомъ сошелся съ простой крестьянкой изъ окрестности Brentы Маргаритой Коньи, которая перебралась къ нему почти насильно, смѣшила его своими глупостями, ругала его «*san della Madonna*», когда онъ называлъ ее «коровой», но изъ ревности хваталась за ножъ, такъ что ее должны были силой унести изъ дворца Мочениго, причемъ она упиралась и хотѣла броситься въ каналъ (Муръ. 383). Но это еще не были худшіе экземпляры того гарема или, вѣрнѣе, звѣринца, изъ-за котораго дворецъ Мочениго на Большомъ каналѣ пріобрѣлъ дурную репутацію даже въ такомъ развратномъ городѣ, какимъ была Венеція. Байронъ забавлялся этими, слишкомъ обыкновенными звѣрьками, но неразъ, наскучивъ ими, убѣгалъ и остатокъ ночи проводилъ въ гондолѣ.

Онъ бросилъ свою воздержность въ пищѣ, сталъ

употреблять крѣпкіе спиртные напитки, сильно измѣнился по наружности, огрубѣлъ, отпустилъ бороду, отяжелѣлъ, а кожа его приняла блѣдно-желтый отливъ — признакъ страданія печени. Однако, желудокъ, давно отвыкшій отъ обильнаго питанія, возсталъ противъ такого образа жизни и въ 1819 году Байронъ впалъ въ болѣзнь, которая его снова истощила и покрыла красивые его волосы преждевременной сѣдиною. Выздоровливая, онъ писалъ Муррею 6 апрѣля 1819 г. (М. 392): «мнѣ уже лучше, и въ здоровьи, и нравственно». Между тѣмъ, это физическое самоистощеніе оставалось почти безъ вліянія на поэтическое творчество, а лишь сдерживало его, и то — только въ припадкахъ болѣзни. Въ это именно время оканчивались поэтомъ двѣ послѣднія пѣсни «Чайльдъ-Гарольда» и обдумывались венеціянскія драмы, написанныя затѣмъ въ Равеннѣ и наконецъ, созрѣвала мысль о сатирическомъ эпосѣ, котораго первымъ опытомъ былъ «Беппо», а вѣнцомъ долженъ быть явиться «Донъ-Жуанъ».

И такъ, возвратимся къ «Чайльдъ-Гарольду», о которомъ самъ авторъ, въ томъ же письмѣ къ Муррею говорить: «божественныхъ поэмъ у васъ уже много, неужели же ничего не стоить поэма *человѣческая*, въ которой нѣтъ ни частички вашей обвѣтшавшей механики». Въ послѣднихъ пѣсняхъ, пилигримъ совсѣмъ исчезаетъ; онъ уже — не фигурка, служащая къ оживленію ландшафта, ни даже тѣнь этой фигурки, онъ тутъ уже просто одно только имя. Вмѣсто него выступаетъ и выручаетъ его самъ рассказчикъ впечатлѣній собранныхъ по большимъ всемірнымъ путямъ, которыми раньше его прошли сотни тысячъ путниковъ. Отъ классическаго Ватерлоо — по Рейну, черезъ Швейцарію — въ Италію, изъ Венеціи, черезъ Флоренцію, въ Римъ — вотъ эти дороги. Разсказъ лишенъ дѣйствія и похожъ на цѣпь выкованную изъ разнородныхъ, случайно ухvatившихся, одно за другое, звеньевъ, изъ картинъ природы, историческихъ воспоминаній, отзывовъ о произведеніяхъ искусства и

изъ идей политическихъ. Нуженъ былъ громадный талантъ, чтобы такой рассказъ вышелъ не утомительнымъ, чтобы въ читателѣ возбудить хоть сколько-нибудь интереса къ перебираемымъ постепенно бусамъ этихъ чѣтокъ. И дѣйствительно интересъ возбуждается и поддерживается только субъективностью рассказчика, его поэтическимъ темпераментомъ, хватающимъ за сердце очарованіемъ тѣхъ возвышенныхъ чувствъ, какія отзываются въ поэтѣ на полученныя имъ впечатлѣнія, и наконецъ — лирическимъ элементомъ, весьма обильнымъ во всей поэмѣ. Въ душевномъ настроеніи поэта преобладаетъ печаль, но болѣе, чѣмъ прежде, спокойная и болѣе глубокая; она подкрѣпилась и оправдалась жизненнымъ опытомъ, она ведетъ гѣвца прочь отъ людей, въ уединеніе, гдѣ хочеть сосредоточиться въ себѣ и о себѣ подумать. Вотъ нѣсколько мыслей въ такомъ направленіи: «Цвѣтъ мудрости лежитъ въ ея собственныхъ твореніяхъ или въ твоихъ объятіяхъ всерождающая природа (III. 46). — «Высокія горы для меня, воодушевлены чувствомъ, но города меня утомляютъ своимъ шумомъ пошлымъ (III. 72); — гдѣ снуетъ столько людей, я не могу сообразить той красоты, къ которой стремлюсь (III. 68) — Душа моя природѣ мысль свою ввѣряетъ, не въ галлерейхъ, посвященныхъ искусствамъ, но въ открытомъ полѣ (IV. 61) — «Не даромъ персы древніе лишь на вершинахъ горъ богамъ престолы воздвигали; приди ты и сравни колонны греческія, готическія постройки — съ землей и воздухомъ, съ природы царствомъ свѣтлымъ; молитвъ своихъ не замыкай въ пространствѣ тѣсномъ (III. 91)».

Характернымъ признакомъ бѣльшей зрѣлости является здѣсь свобода и даже прямой отказъ отъ той странной и ни на чемъ не основанной мизантропіи, съ которою Байронъ первоначально выступилъ въ свѣтъ, не дойдя еще до совершеннотѣи, какъ въ смыслѣ гражданскомъ, такъ и въ смыслѣ поэтическомъ. «Тотъ еще не презираетъ людей, кто бѣжитъ отъ нихъ, и ненависти нѣтъ, когда умъ человѣка углубляется въ



свой источникъ... чтобы потомъ вылиться изъ него кипяткомъ (III. 69)». Въ IV пѣсни «Чайльдъ-Гарольда» содержится знаменитый, великолѣпный гимнъ океану, и въ пѣснѣ этой, дѣйствительно, наиболѣе рельефно проявляется сходство его природы съ природой океана (еще въ 1814 г. онъ писалъ Муру: «я возобновилъ знакомство со старымъ моимъ другомъ—океаномъ». Муръ 25): «людей не люблю я менѣе, но больше люблю природу, ибо когда общаюсь съ ней, то во мнѣ исчезаетъ мысль—чѣмъ я могу быть, чѣмъ буду и я стремлюсь смѣшаться со вселенной и чувствовать... то, чего не могу выразить, но не могу и скрыть (IV. 178)». Великая его любовь къ природѣ, взятой отдѣльно отъ человѣка, равняется восторгамъ Руссо, но причину страданій и горя онъ видитъ не въ заблужденіяхъ цивилизаціи, а въ самомъ источникѣ ума, гдѣ образуется тотъ кипятокъ, который потомъ выливается отравленной иногда струей. «Жизнь наша, это — фальшь въ природѣ, дисгармонія въ мірѣ, строгій приговоръ съ неизгладимымъ клеймомъ грѣховности, исполинскій убійственный анчаръ—дерево смерти, котораго корень—земля, а листва въ небѣ, откуда и спускаются росой все бѣды: болѣзни, смерть и рабство (IV. 126)». Изъ этой индійской философіи жизни, истекаетъ у Байрона, однако, не Нирвана, впоследствии подогрѣтая Шопенгауэромъ и Гартманномъ, но стремленіе къ исцѣленію души свойственнымъ ей самой средствами—свободою человѣческой мысли, вѣрою въ торжество правды и разума (IV. 127). «Станемъ, однако, съ достоинствомъ разсматривать свою судьбу; тотъ подлымъ образомъ отрекается отъ своего разума, кто не хочетъ пользоваться свободно своимъ правомъ мыслить. Таково единое, послѣднее убѣжище человѣка, и нынѣ оно стало моею пристанью. Хотя священный этотъ даръ въ насъ, отъ самой колыбели, скованъ, искалѣченъ, стиснутъ, содержится во мракѣ, для того, чтобы какъ нибудь внезапно ума нашего не охватила свѣтлая истина, однако время и знаніе возвратятъ слѣпымъ зрѣ-

ніе». За то, что онъ распространялъ такую вѣру, поэтъ надѣется, что еслибы имя его и было исключено изъ того храма, въ коемъ народы чтутъ умершихъ (IV. 10), однако онъ всетаки имѣетъ право на безсмертіе. «Я жилъ, однакоже и жилъ не понапрасну... за мной осталось нѣчто, какъ воспоминаніе о звукѣ лиры онѣмѣвшей, что какъ эхо, въ душѣ тихонько отзовется и въ сердцахъ окаменѣлыхъ любви пробудитъ угрызеніе (IV. 137)».

Поэтъ отдаетъ себѣ отчетъ въ великомъ вліяніи искусства на человека, въ большемъ, ведущемъ къ счастью значеніи гениальныхъ произведеній мысли. «Творенія генія вылѣплены не изъ глины, по существу они безсмертны, свѣтлые лучи изъ нихъ въ грудь нашу льются... (IV. 5). Искусство имѣетъ назначеніемъ... «создавать и въ жизни создаваемыхъ имъ образовъ расширять нашу собственную жизнь: воображенія мысли мы воплощаемъ, приобретаая тѣмъ, что сохранится жизнь наша, которую мы отлили въ нашихъ созданіяхъ (III. 6)». У Байрона было врожденное художественное чувство, но знатокъ онъ вовсе не былъ, ставилъ Канову наравнѣ съ художниками древности (IV. 55). Онъ не почтилъ ни одной строкой Микеля-Анджело, котораго геній былъ ему близокъ, такъ какъ оба они были въ высокой степени субъективны; Байронъ не любилъ готическаго стиля, не зналъ толка въ живописи, такъ что питалъ отвращеніе къ Рубенсу и относился съ пренебреженіемъ къ Мурилльо и Веласкесу. До какой степени отсталымъ онъ былъ въ литературныхъ своихъ вкусахъ, въ своемъ классицизмѣ, объ этомъ мы еще упомянемъ ниже. Здѣсь же поставимъ еще замѣчаніе, что вникая въ вопросъ о религіи или, сказать вѣрнѣе — запуская въ нее буравъ анализа, Байронъ лишь вызывалъ сомнѣніе, но даже и не пытался склеить какой-нибудь догматъ, послѣ такого или иного разрѣшенія сомнѣнія, совсѣмъ такъ, какъ и въ искусствѣ онъ только будилъ любовь къ прекрасному, нисколько не вникая, въ чемъ заключается су-

щество его, не указывая на образцы или типы прекраснаго — до такой степени произведеніямъ его, даже наиболѣе сильно дѣйствующимъ, присущъ недостатокъ сосредоточенія, единства и пластичности. Точно такъ, и въ политикѣ, которой онъ касался безпрестанно, проявлялось у него лишь стремленіе къ какой-то отвлеченной, неопредѣленной свободѣ, страстная влюбленность въ понятіе, внутренне пустое, лишенное всякаго содержанія и сознанія о томъ, что свободѣ предстоитъ осуществиться не въ воздухѣ, но въ отношеніяхъ между людьми, отношеніяхъ, регулируемыхъ такими условіями, которыя каждое общество вырабатываетъ себѣ потѣмъ и кровью въ ежедневномъ направленномъ къ тому трудѣ, и что условія эти, въ каждое, данное время, бываютъ настолько хорошія, насколько того достойно самое общество, ни болѣе, ни менѣе.

Этотъ органическій недостатокъ въ поэзіи Байрона тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что «Чайльдъ-Гарольдъ» являлся выраженіемъ извѣстнаго политическаго направленія и какъ бы программой радикальнаго либерализма, каковъ онъ былъ въ послѣдніе годы первой четверти XIX вѣка. Въ этомъ отношеніи Байронъ вполне былъ сыномъ своего вѣка, такъ какъ не отдѣлялъ государства отъ общества и безусловно вѣрилъ, что великое общественное зло и великая бѣда происходятъ отъ дурнаго управленія. Въ 1813 году онъ писалъ: «I have simplified my politics into an utter detestation of all existing governments» <sup>1)</sup>). Мятѣжнымъ своимъ отношеніемъ къ существовавшему положенію дѣлъ Байронъ значительно повліялъ на самый ходъ событій: онъ поддержалъ возстаніе грековъ и несомнѣнно принадлежитъ къ числу воскресителей народности итальянской — этой Ніобы, среди угасшихъ народовъ, которой судьба дала на по-

---

<sup>1)</sup> «Я упростилъ свою политику въ полную ненависть ко всѣмъ существующимъ правительствамъ».

гибель роковой даръ красоты (IV. 42). <sup>1)</sup>. Онъ являлся какъ бы Тиртеемъ въ тогдашней Европѣ, призывая къ дѣйствию въ эпоху страшнаго истощенія силъ и общей усталости, но въ тоже время онъ приучалъ европейское общество къ невѣрнымъ, отчасти, сужденіямъ, къ усматриванію геройства въ каждомъ покушеніи противъ власти, къ безплоднымъ революціоннымъ попыткамъ, и содѣйствовалъ дискредитированію самаго либерализма въ политикѣ.

## XXVI.

Послѣ разбора «Манфреда», который представлялъ собой переходъ отъ лирики къ драмѣ, умѣстно будетъ обратиться непосредственно къ обзору главныхъ драматическихъ произведеній Байрона, написанныхъ въ Равеннѣ. («Марино Фаліеро» 1820 г., «Сарданапалъ», «Двое Фоскари» и «Каинъ» 1821 г.). Это была новая фаза развитія Байронова творчества, тѣмъ болѣе любопытная, что здѣсь ему пришлось бороться съ такимъ родомъ искусства, къ которому онъ по природѣ, казалось, не былъ способенъ. Прежде всего, въ области драматической ему, шедшему уже среди полного разцвѣта романтизма, долженъ былъ мѣшать классическій его вкусъ, его странное на первый взглядъ удивленіе къ Пѣпу, которое можно бы было даже принять просто за аффектацію, если бы мы не имѣли собственныхъ его признаній о томъ, какъ онъ смотрѣлъ на этого поэта, признаній довольно забавныхъ и нелѣпыхъ— до такой степени въ нихъ мало критики и вѣрности

---

<sup>1)</sup> Известно, что въ этихъ словахъ Байронъ заимствуетъ мысль изъ первыхъ стиховъ известнаго сонета Филикаки «Италія»:

«Italia, Italia, tu cui feo la sorte  
Dono infelice di bellezza, ond'hai  
Dote funesta d'infiniti guai  
Che in fronte scritti per gran doglia porte»..

взгляда. Вотъ, что онъ писалъ Муррею въ 1817 г. изъ Венеціи: «перечитываль я поэмы свои, Мура и иныхъ, сравнилъ ихъ съ произведеніями Попа, и во истину былъ пораженъ и огорченъ, вслѣдствіе неописуемаго превосходства послѣднихъ во всемъ, что относится до вкуса, гармоніи, эффектности, а даже *воображенія, страсти и изобрѣтательности*. Какая разница между этимъ малымъ человѣчкомъ временъ королевы Анны и нами, принадлежащими къ Нижней имперіи (Муръ. 367)» <sup>1)</sup> «Всегда—пишетъ онъ въ иномъ мѣстѣ—признавалъ я Попа величайшимъ изъ англійскихъ поэтовъ; остальные—варвары. Его поэзія, это—греческій храмъ, стоящій между готическимъ соборомъ и мечетью. Называйте Шекспира и Мильтона пирамидами, пусть такъ: но я предпочитаю храмъ Тезея или Партенонъ — горамъ изъ жженого кирпича».

Сравненіе тутъ во всякомъ случаѣ, невѣрное: Поппъ — не болѣе, чѣмъ деревянная бесѣдка во вкусѣ греческаго храма, такая, какихъ бывало множество въ подстриженныхъ садахъ прошлаго столѣтія. Правда только та, что у Попа былъ вкусъ, была извѣстная техника, выработка ловкой, красивой формы—рядомъ съ большою бѣдностью содержанія. На этой technikѣ, самъ Байронъ въ молодости отшлифовалъ свой стихъ, усвоилъ ее себѣ, но отличался тѣмъ отъ напудренныхъ тѣхъ, старосвѣтскихъ мастеровъ, что они въ своихъ рѣзныхъ стаканахъ, вмѣсто вина, предлагали едва окрашенную розовую воду, а у него въ классическій хрустальный бокалъ лился kloкочущій кипятокъ изъ укрытаго въ душѣ источника, лилась кровь въ настоящей своей теплотѣ. Въ томъ и заключалось мастерство Байрона, что это свое, кипучее содержаніе онъ умѣлъ вливать въ узкіе сосуды классической техники, сжималъ мысль, а форму умѣлъ растягивать какъ перчатку. Онъ любилъ симметрію, рассуждалъ, ораторствовалъ, гравировалъ

---

<sup>1)</sup> Lower Empire, Bas Empire—имперія византійская.

остріємъ ножа, канализировалъ чувство и заставлялъ его стекать самымъ узкимъ русломъ. Справедливо замѣчаетъ Трейтшке («Истор. и политич. соч.» 1865 г.— «Лордъ Байронъ и радикализмъ»), что «классическому своему воспитанію въ дѣлѣ поэзіи Байронъ обязанъ трезвой силой и правдой благороднаго выраженія, которое такъ могущественно дѣйствуетъ самыми простыми средствами». Другой писатель, французъ Филонъ въ своей «Исторіи англ. литер.» (1883 г. стр. 526) говоритъ такъ: «Байронъ схватываетъ какое-нибудь положеніе (*une attitude*). моментъ ужаса или восторга и отчезаниваетъ его впечатлѣніе въ своемъ сильномъ и гибкомъ стихѣ. Впечатлѣніе это дѣйствительно и пронзаетъ насъ внезапно, а далѣе уже ничего нѣтъ».

Истоцивъ, постояннымъ повтореніемъ единого своего мрачно-необузданнаго типа, формы лирическаго и эпическаго, а быть можетъ, желая, кромѣ того, спастись куда-нибудь отъ устремившейся за нимъ толпы послѣдователей, Байронъ бросился въ область драмы. Здѣсь передъ нимъ стоялъ какъ великанъ поперѣкъ дороги—Шекспиръ, котораго уже вся романтическая школа успѣла вознести и провозгласить праотцемъ новѣйшаго драматизма. Шекспира Байронъ зналъ отлично, безпрестанно приводилъ его въ своихъ письмахъ, но съ нимъ уже подѣлать ничего не могъ, а потому почти что обошелъ его, подъ такимъ предлогомъ, что «зеленъ виноградъ». — «Признаю—писалъ онъ (Муръ, 517)—что Шекспиръ—необычайнѣйшій изъ всѣхъ писателей, но считаю его худшимъ изъ образцовъ». И вотъ, путеводителемъ своимъ въ драматической области онъ избралъ умершаго въ 1803 году Виктора Альфіери, горячаго, великаго патріота и вслѣдствіе того — революціонернаго ритора, который доказывалъ политическія тезы, посредствомъ маннекеновъ. Эти куклы Альфіери обувалъ въ котурны, а облакалъ онъ лишь одеждами греческихъ статуй, то есть оставлялъ почти нагими—и къ этимъ куздамъ приклеивалъ великія историческія имена. Съ Альфіери сближали Байрона и

страсть къ отвлеченной, безусловной свободѣ, и классическая рутина. Подъ вліяніемъ Альфіери сложилось въ Байронѣ и пристрастіе къ куцой теоріи классической драматургіи, какая и высказана имъ въ предисловіи къ «Сарданапалу»: «всякое произведеніе, которое отступаетъ отъ трехъ единствъ можетъ быть поэзіей, но не будетъ драмой; таковъ былъ законъ, господствовавшій во всемирной литературѣ и онъ же доселѣ господствуетъ въ наиболѣе цивилизованныхъ ея частяхъ. Но *nous avons changé tout cela* <sup>1)</sup> и теперь собираемъ плоды такой перемѣны. Что касается меня, то я предпочитаю болѣе правильный видъ хотя бы слабаго строенія—отрицанію всякихъ рѣшительныхъ правилъ. Если мнѣ неудалось, то вина въ томъ — архитектора, а не самого искусства».

Успѣшности драматическихъ произведеній Байрона мѣшали не только упорство его въ формѣ классической, но еще и сама природа его творчества. Драма требуетъ дѣйствія, которое истекаетъ изъ столкновенія психологически — вѣрныхъ характеровъ, къ тому же видоизмѣняющихся подъ вліяніемъ своего взаимодѣйствія. Здѣсь недостаточна наличность страстности или драматическаго положенія; надо еще, чтобы мы сами увлеклись судьбами лица, которое борется и, проходя чрезъ рядъ все болѣе и болѣе затрогивающихъ насъ положеній, само или возвышается духомъ или, наоборотъ, нравственно падаетъ. Между тѣмъ, у Байрона, и въ драмѣ, дѣйствующее лицо собственно говоря одно, все тотъ же — онъ самъ; страсть не разыгрывается вслѣдствіе происходящаго на сценѣ, но является заготовленною впередъ и остается неизмѣнною; наконецъ, отдѣльные событія въ дѣйствіи не вытекаютъ одно изъ другаго въ силу логической необходимости. Такъ, весь «Марино Фаліеро»

---

<sup>1)</sup> Самозванный врачъ у Мольера, помѣстивъ сердце направо а печень нѣлѣво, отвѣчаетъ на возраженія, что иначе было по старой снестемѣ, но «мы все это измѣнили».

погрѣшаетъ противъ психологической правды. Дождь, оскорбленный своевольнымъ патриціемъ и стремящійся къ самовластію, а рядомъ съ нимъ—плебей Бертуччіо, получившій пощечины отъ другаго патриція, соединяются въ заговорѣ, который долженъ дать Венеціи свободу. Заговоръ истекшій изъ такихъ мутныхъ, личныхъ побужденій заявляется въ своей программѣ, какъ исправленное изданіе такъ называемыхъ «принциповъ 1789 года»: «Возобновимъ времена правды и справедливости, отливъ въ единой, прекрасной республикѣ не безразсудное равенство, но равные для всѣхъ законы, поставленные въ такомъ согласованіи какъ колонны храма, взаимно подпирающіяся, такъ что никакая часть не могла-бы быть вынута безъ нарушенія общаго строя (III. 2)». Заговорщики ораторствуютъ, какъ герои Плутарха или члены Конвента. Дождь сознаетъ, что онъ попалъ не въ свою стихію, когда требуютъ, чтобы онъ согласился на поголовное истребленіе всѣхъ патриціевъ онъ чувствуетъ себя какъ бы въ аду, видитъ что лишился собственной воли (III. 1). Но заговоръ открывается, и Марино Фаліеро готовяся сложить голову на колодѣ палача, сравниваетъ себя, безъ всякаго права, съ Агисомъ Спартанскимъ и призываетъ месть неба на «геэнну водъ», на «Содомъ моря» и змѣиное его племя.

Хотя въ «Фаліеро» есть дѣйствіе, но нѣтъ выдержанности въ характерахъ. Зато въ «Фоскари» драматическій талантъ Байрона сдѣлалъ уже значительный успѣхъ: здѣсь есть тонкая обрисовка характеровъ; съ мастерствомъ скульптора отдѣлана голова стараго Фоскари, напоминающая собой голову Христа, трогательная своимъ выраженіемъ мученической покорности. Это доказываетъ, что Байронъ могъ переступать и за предѣлы своего дарованія, помощью особаго усилія. Но за то въ этой пьесѣ дѣйствіе отсутствуетъ и мы видимъ лишь страданія двухъ, подвергаемыхъ мученію и смерти невинныхъ людей. Рамка, въ которую вставлены событія въ обѣихъ трагедіяхъ—Венеція, но не настоящая, исто-



рическая, а условная, мелодраматическая Венеція — съ государственной инквизиціею, сбиррами и совѣтомъ Десяти. Допустимъ, что Байронъ былъ, въ этомъ случаѣ, подъ вліяніемъ свойственныхъ XVIII вѣку предубѣжденій противъ всякаго господства аристократіи. Удивительно однакоже, какъ его не остановила логическая невѣроятность, что столь дьявольскому строю старшій Фоскари жертвуетъ собою до такой степени, что соглашается участвовать въ судѣ надъ собственнымъ своимъ сыномъ, а Фоскари сынъ возвращается изъ изгнанія на неизбѣжную пытку — лишь бы увидѣть снова любимые имъ каналы царицы Адриатическаго моря.

«Каинъ» (названный «мистеріею») занимаетъ среди произведеній Байрона, особое и выдающееся мѣсто, какъ на то указываетъ самъ авторъ. «Каинъ» — чудесенъ, страшенъ — говоритъ Байронъ — его нельзя забыть. Думается мнѣ, что онъ западетъ міру глубоко въ сердце, и что хотя многіе содрогнутся отъ его богохуленій, но всѣ падутъ ницъ передъ его величіемъ». Изъ новѣйшихъ историковъ литературы, Р. Готшалкъ (Новый Плутархъ. IV; лордъ Байронъ. 1876 г.) и Брандесъ («Нов. теченія» и т. д. IV) ставятъ «Каина» чрезвычайно высоко и сравниваютъ проломъ, сдѣланный этимъ произведеніемъ въ англиканскомъ богословіи съ послѣдствіями сочиненія Д. Штраусса — «Жизнь Иисуса». Вальтеръ Скоттъ, которому «Каинъ» былъ посвященъ, отзывался о немъ съ удивленіемъ, а богословы съ крайнимъ раздраженіемъ. Извѣстенъ фактъ, что лордъ-канцлеръ Эльдонъ отказалъ издателю Муррею въ принятіи его иска о самовольной перепечаткѣ этого произведенія, на томъ основаніи, что англійскіе законы, будучи христіанскими, не могутъ давать покровительство сочиненію, направленному противъ св. писанія. Намъ однако всѣ эти права «Каина» на первостепенное значеніе кажутся недостаточными.

То волненіе, какое выходъ его въ свѣтъ, въ 1821 году, произвелъ въ Англіи составляетъ нынѣ уже только

историческій фактъ, въ литературномъ смыслѣ неважный. Важно развѣ для исторіи литературы англійской, но не европейской, то обстоятельство, что «Каинъ» явился какъ продолженіе національнаго эпоса — «Потеряннаго рая» Мильтона. Что касается далѣе, сенсаци въ кружкѣ клерикаловъ, то она можетъ быть лишена значенія для общаго состава интеллигенціи, можетъ не сказаться ни на площади, на улицѣ. Совсѣмъ иную силу, распространенность и популярность могъ получить «Каинъ», еслибы авторъ его, вовлеченный поэтомъ Шелли въ метафизику, находился въ другомъ отношеніи къ религіи. Между тѣмъ, Байронъ брался за философскіе вопросы, не выходя самъ на вольный воздухъ, и продолжая биться головой о тѣсную стѣну буквально понимаемаго богословскаго догмата. Въ этомъ смыслѣ удивителенъ самый хронологическій фактъ, что «Каинъ» появился послѣ «Фауста», потому что авторъ относится къ разсказу первыхъ главъ «Книги бытія» не какъ зрѣлый мыслитель, знающій что имѣетъ дѣло съ иносказаніемъ, но какъ ребенокъ, который принимаетъ факты на-вѣру, но забрасываетъ учителя стѣснительными вопросами, въ родѣ тѣхъ, что недобрый Боженька, неужели же онъ изгналъ изъ рая изъ-за яблока, и потому-ли, что самое яблоко было дурно, или потому, что неразрѣшено было ѣсть его?

Намъ уже невозможно снизойдти на уровень столь первоначально — наивнаго вѣрованія, и вотъ почему, тѣ сомнѣнія, какія выказываетъ Каинъ для насъ какъ бы чужды, такъ что войти въ смыслъ ихъ мы можемъ развѣ особымъ усиленіемъ мышленія. За то, надо признать, что «Каинъ» имѣетъ большое значеніе для изученія самыхъ взглядовъ Байрона въ спекулятивной области; съ этой точки зрѣнія, это произведеніе заслуживаетъ удивленія, такъ какъ оно представляетъ — и въ философскомъ, и въ художественномъ отношеніи — огромный шагъ впередъ, по сравненію съ «Манфредомъ», съ котораго собственно началась у Байрона метафизика. Онъ гово-

рить, что писалъ «Каина» въ своемъ весело-метафизическомъ стилѣ (in my gay metaphysical style (Мур. 528)), въ «веселомъ», то есть — въ болѣе спокойномъ духѣ, уже безъ прежнихъ вулканическихъ взрывовъ и безъ искусственной слишкомъ мрачной тушевки своего героя.

«Каинъ», это—нормальный, способный, мыслящій и чистый человѣкъ, прибавимъ, это—олицетвореніе чело-вѣчества. Каинъ не могъ покорно бить челомъ божеству, наравнѣ съ дальнѣйшимъ потомствомъ Адама, по той причинѣ, что не имѣлъ о чемъ просить и за что благодарить; на вопросъ же—а развѣ не живешь ты?—онъ отвѣчалъ—не долженъ ли я умереть? Смущало его и то, что познаніе есть благо, и жизнь есть благо, а взятые вмѣстѣ, они составляютъ зло. Почему онъ, сынъ, долженъ отвѣтствовать за грѣхъ отца? И изъ того, что Богъ—всемогущъ слѣдуетъ ли—спрашивалъ онъ—что Богъ всеблагъ? Во время этого душевнаго его мученія передъ нимъ является мрачный херувимъ, исполненный однако очаровательной силы, Люциферъ, князь тьмы, то есть — логика мысли, втягивающая человѣка въ свою неизмѣримую бездну. На вопросъ—кто онъ? — Люциферъ отвѣчаетъ: «я тотъ, кто быть твоимъ творцомъ хотѣлъ и создалъ бы тебя инымъ». Онъ отрицаетъ приписываемое ему искушеніе людей: «Змій былъ зміемъ, былъ прахомъ онъ, подобно тѣмъ, кого онъ искушалъ. Ужель ты думаешь, что я приму обличіе твореній смертныхъ, которыми гнушаюсь—и могъ ли тѣсныхъ огородовъ рая вамъ позавидовать, кто самъ, чрезъ всѣ проносятся пространства міра?» Люциферъ не требуетъ, чтобы Каинъ предъ нимъ преклонился. На отказъ, въ словахъ Каина: «не преклонюсь ни предъ тобой, ни передъ нимъ», онъ поясняетъ: «не поклоняешься ему, ты, значить, мой поклонникъ». Онъ не требуетъ никакого вознагражденія, хотя бы даже увѣ-рованія въ себя, но уносить Каина въ эфирное про-странство, въ сферу солнцъ, и за предѣлы солнцъ, а за-тѣмъ—въ глубь Гада, гдѣ мелькаютъ и призраки чудо-

вищъ, населявшихъ міръ въ первоначальномъ періодѣ. Ничего не требуя и ничѣмъ не искушая, Люциферъ усиливаетъ въ Каинѣ сознаніе его убожества—самымъ обнаруженіемъ ему образовъ громадности и убѣжденіемъ, что знаніе есть только раскрытіе ничтожества всей смертной природы.

Въ Каинѣ видѣнъ очень большой шагъ впередъ въ основномъ взлѣдѣ на душу, сравнительно съ возрѣніями всѣхъ прежнихъ героев Байрона, даже Манфреда. Дѣло въ томъ, что то страданіе, тотъ по словамъ Люцифера, переполненный адъ, зародышъ котораго носить въ себѣ Каинъ, происходитъ не отъ эгоизма и не отъ угрызений совѣсти за совершенное преступленіе, но отъ побужденій вполне альтруистическихъ, истекаетъ изъ любви. «О духъ — восклицаетъ Каинъ — пусть я умру теперь, чтобы не умножать существъ, призванныхъ къ страданію и смерти, ибо это значило бы распространять смерть, мнѣ кажется, это было бы расширять царство смерти». На вопросъ Люцифера: «а любишь ты себя». Каинъ отвѣчаетъ: «Ты рекъ; но болѣе люблю я ту, которая своей любовью жизнь помогаетъ мнѣ переносить». Возбужденный и глубоко раздраженный своимъ посѣщеніемъ надвздошнаго міра, Каинъ однако приступаетъ къ обрядовому жертвоприношенію, еще не имѣя по отношенію къ Авелю ни зависти ни какого либо злаго чувства. Вотъ содержаніе молитвы Каина при жертвоприношеніи: «Я есмь таковъ, какимъ тобою созданъ; того, что только на колѣняхъ испрошено быть можетъ—не прошу. Если я золъ—убей меня, а если я добръ—убей иль пощади, какъ хочешь. Вѣдь, мнится мнѣ, добро и зло, въ самихъ себѣ значенія не имѣютъ и суть лишь въ твоей волѣ»... Небесный огонь зажигаетъ кровавую жертву на алтарѣ Авеля, а вихрь разбрасываетъ земные плоды принесенные Каиномъ. Тогда послѣдній, возмущаясь противъ Создателя, хочетъ разрушить алтарь своего брата, но Авель защищаетъ свой алтарь и говоритъ: «люблю я Бога больше, чѣмъ тебя». Услышавъ это, изступленный Каинъ,

не зная самъ, что дѣлаетъ, наноситъ брату головню ударъ по головѣ и убиваетъ его. Послѣдствія этой катастрофы развиваются печально и естественно, съ необыкновенной, нагой простотою, безъ какихъ-либо прикрасъ или внѣшнихъ средствъ эффектности: слѣдуютъ проклятіе Каина родителями, положеніе на него клейма отверженія рукою ангела и выходъ изгнанника съ семьею на скитаніе. Въ цѣломъ, произведеніе это вызываетъ два сильныя впечатлѣнія: одно, свойственное вообще трагедіи — сожалѣніе надъ судьбой братоубійцы; другое философское — поразительное чувство горя всякой жизни.

## XXVII.

Намъ осталось теперь упомянуть о двухъ предметахъ, изъ которыхъ одинъ имѣетъ значеніе біографическое, другой — великое, литературное. Мы должны упомянуть о послѣдней возлюбленной Байрона, той, съ которой связь его была наиболѣе продолжительная, именно о графинѣ Терезѣ Гвиччоли, рожденной Гамба, а затѣмъ, мы лишь слегка коснемся величайшаго, наиболѣе геніальнаго и нынѣ всѣмъ наиболѣе памятнаго изъ произведеній Байрона — «Донъ-Жуана», отъ полной оцѣнки котораго мы, по разнымъ причинамъ, должны теперь отказаться.

Тереза Гамба была бѣдная дворянка, родившаяся въ окрестностяхъ Равенны въ 1803 г. и 16-ти лѣтъ выданная или вѣрнѣе, проданная замужъ за 60-ти лѣтняго вдовца, графа Гвиччоли. (Guiccioli) Съ Байрономъ она познакомилась въ Венеціи, въ апрѣлѣ 1819 г., въ домѣ графини Теотоки-Альбрицци, подружилась съ нимъ, и еще передъ отъѣздомъ графа и графини въ Равенну, между нею и Байрономъ завязались сердечныя отношенія. По отзыву Мура, за которымъ пошли и другіе біографы, вплоть до Джиффрсона, графиня Тереза была предметомъ единственной, истинной любви Байрона (если не считать миссъ Чауртъ), была его ангеломъ храните-

лемъ, вывела его на лучший путь, послѣ тѣхъ оргій, среди которыхъ онъ жилъ въ Венеціи. Но представляется болѣе правдоподобнымъ мнѣніе Джиффрсона. Знакомство началось уже послѣ болѣзненного кризиса, происшедшаго съ Байрономъ, началось оно въ то время, когда онъ сталъ себя чувствовать лучше и физически, и нравственно. Г-жа Гвиччоли не была музой, которая вдохновляла бы Байрона; по англійски она не знала, поэзіи его цѣнить не могла, а просто полюбила славнаго и красиваго поэта и полюбила его съ такой преданностью, что онъ уже оказался не въ состояніи порвать ту тонкую нить, которая держала его крѣпко; и быть можетъ, воспрепятствовала ему возвратиться въ Англію, гдѣ было для него настоящее мѣсто, возвратиться къ женѣ, къ вліятельному положенію на родинѣ, гдѣ мнѣніе о поэтѣ, окруженномъ громкой, европейской славой, начинало уже значительно измѣняться.

Г-жа Гвиччоли не была ни необыкновенно умная, ни очень свѣтская женщина, она не была даже красива: маленькая, полная, она привлекала только свѣжестью молодости, круглостью формъ и чудной косою цвѣта возможно—близко подводившаго къ золотому. Байрону льстило то, что она засматривалась на него какъ на солнечное свѣтило. Когда она ѣхала изъ Венеціи въ Равенну, потомъ и изъ Равенны, приходили отъ нея полныя чувства письма о тяжелой болѣзни, обморокахъ, едва не о чахоткѣ, при чемъ только приѣздъ Байрона могъ, какъ слѣдовало изъ тѣхъ писемъ, спасти его возлюбленную. Байронъ собрался въ путь, не безъ колебаній и нѣсколько разъ останавливался, но наконецъ-таки доѣхалъ до прежней столицы Цезарей, при чемъ достаточнымъ для поэта предлогомъ служило самое посѣщеніе могилы Данта. Въ Равеннѣ, графъ самъ розыскалъ его въ отелѣ и привезъ къ своей, мнимо умиравшей женѣ, и такъ какъ этотъ визитъ подѣйствовалъ хорошо на ея здоровье, то, по просьбѣ мужа, Байронъ уже видѣлся съ ней съ той поры ежедневно. Отношенія между ними были особен-

ныя, даже забавныя. Графиня играла роль больной съ большимъ искусствомъ; мужъ докучалъ своему пріятелю, возя его въ коляскѣ шестерней, и разсыпаясь въ учтивостяхъ. Осенью 1819 г. Байронъ вмѣстѣ съ супругами жилъ въ Болоньѣ. При краткихъ разъѣздахъ графа и графини по ихъ многочисленнымъ помѣстьямъ, Байронъ сиживалъ по цѣлымъ часамъ одинъ въ городскомъ бу-дуарѣ графини и вотъ, въ одинъ изъ такихъ часовъ, онъ на послѣдней страницѣ «Коринны» г-жи Сталь написалъ письмо Терезѣ—по англійски, довольно странное и обнаруживавшее неувѣренность, какую-то особенную нерѣшительность и даже желаніе возвратиться въ Англію... «Вы не поймете этихъ англійскихъ словъ, и другіе не поймутъ, и потому нарочно я царапаю ихъ не по-итальянски. Но вы узнаете руку того, кто васъ *любилъ* страстно и угадаете, что надъ вашей книжкой я и могъ думать только о любви... Судьба моя соединена съ вашею, а вы—17-ти лѣтняя женщина. Желалъ бы чтобы я былъ тутъ съ цѣлымъ моимъ сердцемъ или чтобы никогда васъ не встрѣтилъ замужнею. Но слишкомъ поздно; люблю васъ, вы меня любите или, по меньшей мѣрѣ, *говорите*, что любите, и *оплаете*, какъ будто любите, что, во всякомъ случаѣ, великое утѣшеніе. Но я—болѣе, чѣмъ люблю, и не могу перестать любить. Думайте обо мнѣ порою, когда насъ раздѣляютъ *Алпы и океанъ*; но они насъ и не раздѣлятъ, если ты *не захочешь*. Байронъ (Джиффрсонъ. II. 266)».

Тереза возвратилась въ Болонью, а мужъ ея уѣхалъ, по дѣламъ, въ Равенну. Этимъ случаемъ Байронъ воспользовался, увезъ молодую женщину въ Венецію для консультаціи съ докторами, а затѣмъ помѣстилъ ее у себя, въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, которыя еще такъ недавно украшались присутствіемъ Маріанны Сегати. Тогда даже столь снисходительное общество, какъ итальянское, нашло поведеніе ихъ ужъ слишкомъ безцеремоннымъ. Между тѣмъ, графъ Гвѣччоли, человекъ очень богатый, гораздо болѣе богатый, чѣмъ Байронъ, попро-

силъ жену письмомъ, чтобы она достала ему у лорда Байрона займы тысячу фунтовъ стерлинговъ. Друзья (Алекс. Скоттъ и Муръ) уговаривали Байрона, чтобы онъ такимъ образомъ откупился, но Байронъ былъ какъ разъ въ одномъ изъ пароксизмовъ скупости и отвѣчалъ отказомъ. Затѣмъ, мужъ убѣдился, что жена пребываетъ слишкомъ долго внѣ супружескаго дома, пріѣхалъ въ Венецію, вступилъ во владѣніе женой, безъ всякаго сопротивленія ея любовника, взялъ даже съ нихъ слово, что они не будутъ переписываться и уѣхалъ съ Терезою въ Равенну, въ то время, какъ Байронъ серьезно сталъ собираться къ возвращенію въ Англію. Но вдругъ изъ Равенны пришли вѣсти, что г-жа Гвиччоли подверглась возврату своей болѣзни, только въ болѣе страшномъ и еще болѣе смертельномъ видѣ. Тутъ уже не только мужъ, но и отецъ больной и вся ея семья стали умолять поэта, чтобы онъ умилился надъ умирающей и вошелъ въ домъ Гвиччоли, въ качествѣ признаннаго *cicisbeo*. Мы описали уже въ срединѣ нашего разсказа, сцену, въ которой проявилось нерѣшительное настроеніе Байрона въ моментъ выѣзда его изъ Венеціи. Въ концѣ концовъ, Равенна одержала вверхъ; тамъ онъ встрѣтилъ радужный пріемъ и помѣщеніе въ самомъ дворцѣ Гвиччоли, за приличную квартирную плату (въ концѣ декабря 1819 г.).

Сначала всѣ домашнія отношенія были превосходны, но Байронъ подружился съ Гамбами, а черезъ нихъ сблизился съ партією патріотовъ и бросился въ сѣть заговора, имѣвшаго цѣлью освобожденіе Италіи отъ власти австрійцевъ, сдѣлался даже однимъ изъ вождей карбонаровъ, чѣмъ крайне компрометировалъ графа Гвиччоли передъ папскимъ правительствомъ, котораго Равенна со всей Романьей была владѣніемъ (легатства). Опасаясь за самого себя, Гвиччоли сталъ мучить жену за ея любовника, а тотъ совѣтовалъ ей покорность и терпѣніе. Тереза не послушалась его и подала въ судъ искъ о разлученіи, на которое мужъ не соглашался,



не желая платить женѣ денегъ на содержаніе. Духовная власть рѣшила дѣло (15 іюля 1820 г.) въ пользу жены, присудила ей и разлученіе отъ стола и ложа, и деньги на содержаніе, но подъ условіемъ, чтобы она жила при отцѣ или же пошла въ монастырь. Г-жа Гвиччоли и поселилась у отца, въ деревнѣ, куда Байронъ и ѣздилъ къ ней раза по два въ мѣсяцъ. Въ дневникѣ его, подъ 1820 г., есть замѣтка, ярко обрисовывающая его эгоизмъ, въ отношеніи къ той женщинѣ, которая пожертвовала ему своимъ богатствомъ, положеніемъ въ свѣтѣ и репутаціею: «графиня Т. Г. рожденная Г.—вопреки всему, что я говорилъ и дѣлалъ, чтобы этому воспрепятствовать, разлучается съ мужемъ». (Джиффронъ III. 34).

Теперь у поэта было болѣе времени для литературной работы; развлеченіемъ ему служили частыя прогулки верхомъ по дорогамъ пересѣкавшимъ чудесный сосновый лѣсъ подъ Равенною (pinetta), причемъ онъ бралъ съ собою пистолеты, такъ какъ его предупредили, чтобы онъ остерегался какого-нибудь *bravo*, подосланнаго графомъ Гвиччоли. Но кромѣ стиховъ, Байронъ въ это время былъ еще занятъ дѣятельнымъ участіемъ въ движеніи, приготавлившемъ вооруженное возстаніе на весну 1821 г. Жить же онъ продолжалъ въ дворцѣ Гвиччоли, гдѣ завелъ себѣ цѣлый арсеналъ. Но планъ возстанія не удался; начались арестованія. Папское правительство поступило довольно мягко и осторожно: изъ семейства Гамба отецъ и одинъ изъ братьевъ подверглись только изгнанію изъ папской области. Другіе сообщники были также арестованы или изгнаны, за Байрономъ былъ учрежденъ бдительный надзоръ, такъ что ему болѣе нѣчего было дѣлать въ Равеннѣ. Онъ соединился съ Гамбами и Терезой въ Пизѣ, а потомъ поселился вмѣстѣ съ ними въ предмѣстьѣ Ливорно, гдѣ нашелъ и пріятное для себя общество англичанъ, среди которыхъ былъ и Шелли. Тутъ Байронъ отъ нѣчего дѣлать вдался въ исторію, которая принесла ему много непріятностей. Дѣло со-

стояло въ основаніи, на его деньги (Байронъ, со смерти леди Ноэль, получалъ до 6 тысячъ фунтовъ ежегоднаго дохода), еженедѣльной газеты въ Лондонѣ, характера дерзко-сатирическаго, рассчитанной на то, чтобы надѣлать шуму. Требовалось найти редактора. Шелли самъ отказался отъ этой роли, но приискалъ для нея—Лей-Хѣнта, того самого, котораго Байронъ посѣщалъ въ тюрьмѣ, гдѣ тотъ сидѣлъ за пасквиль на регента. Этотъ, весьма посредственный и голодный литераторъ, воображавшій о себѣ, однако, очень много, помнилъ, какъ Байронъ, бывало, бросалъ золото горстями, и поспѣшилъ въ Ливорно, по приглашенію поэта, но приѣхалъ не одинъ, а съ женой и шестью ребятами, и сѣлъ Байрону на шею, въ полной увѣренности, что нашелъ себѣ обезпеченное содержаніе.

Пока Шелли былъ живъ, предпріятіе это, кое-какъ устраивалось и первый номеръ изданія «Liberal» уже появился въ свѣтъ. Но въ 1822 г. Шелли утонулъ среди бури на морѣ, вблизи Спецціи, и найденный трупъ его былъ торжественно сожженъ Байрономъ на берегу моря, по обычаю древнихъ. Послѣ этого происшествія, Байронъ не только охладѣлъ къ предпринятому изданію, но и сталъ относиться къ Хѣнту съ нетерпѣніемъ и грубостью, желая отъ него отдѣлаться. Къ этимъ непріятнымъ отношеніямъ присоединилось еще столкновеніе съ правительствомъ Тосканы. Слуги Байрона вели себя своевольно, да и самъ онъ имѣлъ нѣсколько приключеній съ офицерами и полиціей. Ему и Гамбамъ предписано было выѣхать изъ Тосканы и всѣ они вмѣстѣ перебрались въ Геную, гдѣ Байронъ впервые открыто сталъ жить вмѣстѣ съ Терезой. Здѣсь-то въ умѣ его созрѣла мысль о предпріятіи, которое и было послѣднимъ въ его жизни. Обративъ все свое состояніе въ деньги, Байронъ, какъ свои средства, такъ и самого себя принесъ въ жертву дѣлу освобожденія Греціи: 15 іюля 1823 г. онъ сѣлъ въ генуэзскомъ портѣ на корабль «Геркулесъ», шедшій въ Грецію, а 19 апрѣля слѣдующаго, 1824 года

его уже не было на свѣтѣ. Онъ умеръ въ Миссолунги отъ горячки и кровоупусканій, произведенныхъ неучасти-  
лекарями. Смерть его была для Европы крупнымъ и  
громкимъ событіемъ, самая же экспедиція его въ Грецію  
относится скорѣе къ области исторіи политической, чѣмъ  
къ исторіи литературы.

Но и въ область послѣдней входить, во всякомъ слу-  
чаѣ, разрѣшеніе важнаго психологическаго вопроса: что  
побудило поэта принять участіе въ борьбѣ грековъ за  
независимость, что приготовило ему такой величавый,  
геройскій, навѣки памятный конецъ? Надо признать  
правду—побужденія эти вовсе не соотвѣтствовали сла-  
вѣ его кончины, такъ они были личны и эгоистичны.  
Однимъ изъ главныхъ было желаніе его отдѣлаться отъ  
г-жи Гвиччоли. Послѣ его смерти, графиня возвратилась  
къ мужу, пережила его, затѣмъ еще разъ вышла за-  
мужъ—за маркиза де-Буасси (въ 1831 г.) и никогда  
не переставала рассказывать о своемъ возлюбленномъ,  
украшая себя отблескомъ его славы. Но всѣ свидѣтели  
послѣднихъ дней пребыванія Байрона въ Италіи пока-  
зываютъ, что онъ обходился съ нею рѣзко и что она,  
покрайней мѣрѣ когда онъ бывалъ въ дурномъ настрое-  
ніи, не имѣла уже на него никакого вліянія. Тѣ письма,  
какія ей посылалъ Байронъ съ Ионическихъ острововъ  
дышали ледяной холодностью (Муръ. 601). Ясно, что  
чувство къ ней въ немъ погасло и вотъ онъ прибѣгъ для  
того, чтобы отъ нея отдѣлаться, къ тому простому пред-  
логу, что нельзя подвергать женщину опасностямъ воен-  
наго времени, особенно въ такомъ дикомъ краѣ. Дру-  
гимъ побужденіемъ къ отъѣзду въ Грецію было то, что  
послѣ неудачи заговора карбонаровъ, Байрону опротивѣла  
Италія. Уже сидя на кораблѣ, онъ признался одному зна-  
комому, Трилоуни: «греки возвратились къ варварству, я  
самъ не знаю зачѣмъ ѣду; но Италія меня давитъ». Это  
отвращеніе, почувствованное имъ къ Италіи вызывалось раз-  
ными обстоятельствами: воспоминаніемъ о томъ, какъ  
онъ жилъ въ Венеціи, и смертью Аллегры, и смертью

Шелли, и докучливыми препирательствами съ Лей-Хёнтомъ, который потомъ его «отдѣлалъ», въ книжкѣ изданной послѣ смерти Байрона. Къ этимъ побужденіямъ слѣдуетъ прибавить его страстную жажду славы, которую онъ хотѣлъ непрерывно поддерживать чѣмъ-нибудь новымъ въ постоянномъ, хотя напрасномъ опасеніи, что слава его (даже литературная) уже начинаетъ гаснуть, и наконецъ,—вообще огромное его честолюбіе, прихоть принятія на себя политической роли, быть можетъ желаніе предводительствовать вооруженнымъ, хотя и полудикимъ народомъ, организовать его, а пожалуй даже сдѣлаться королемъ освобожденной Греціи.

А впрочемъ, есть нѣкоторые указанія и на то, что Байронъ предчувствовалъ близость своего конца и имѣлъ достойное художника желаніе окружить этотъ конецъ блескомъ, придать ему поэтичность. Прощаясь съ леди Блессингтонъ въ Генуѣ, 1 іюня, онъ почти-истерически расплакался, высказывая убѣжденіе, что изъ Греціи ему уже не возвратиться. Таже мысль о концѣ сказалась и въ послѣднихъ двухъ строфахъ знаменитаго стихотворенія, которое онъ написалъ на 36-ти лѣтнюю годовщину своего рожденія. Здѣсь видѣнъ человекъ, уже пережившій себя, умъ, который лишился своихъ идеаловъ и думаетъ уже, гдѣ-бы приличнѣе раздѣлаться съ истертой жизнью: «Жалѣешь юности... Къ чему же жить? Смотри—вотъ край, гдѣ умереть со славой можно. Брось на поле битвы здѣсь—и духъ освободи. Могила воина, которую находить не всякъ, кто ищетъ, для тебя—не лучшій ли конецъ? Ты мѣсто выбери... и тамъ — ложись на отдыхъ».

## XXVIII.

Но есть еще и иной, великій литературный памятникъ, въ которомъ отразилось, какъ въ зеркалѣ истасканное и искаженное уже жизнью лицо Байрона въ послѣдніе его годы, памятникъ достойный удивленія,

такъ какъ изъ него видно, что авторъ испортился и по собственному его выраженію заржавѣлъ (*blighted*) душою и въ характерѣ, что онъ уже менѣе заслуживалъ уваженія—какъ человѣкъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ художникъ онъ возвысился въ ту пору до наибольшаго совершенства. Онъ превзошелъ самаго себя и создалъ величайшее свое произведеніе, необыкновенно-своеобразное и почти несравненное. Памятникъ этотъ, конечно, у всѣхъ въ мысли, это—«Донъ-Жуанъ».

Въ «Донъ-Жуанѣ» поэтъ кончилъ тѣмъ, съ чего началъ—сатирою. Самъ и отчасти по своей винѣ, будучи выброшенъ изъ своей среды, сбить съ дороги, Байронъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи бросаетъ перчатку въ лицо всему обществу и, такъ сказать, боксируетъ со всякими установленными въ обществѣ нравственными правилами, со всѣмъ, что принято свято соблюдать и уважать, срываетъ со всего маску и открываетъ, что подъ ней нѣтъ ничего, кромѣ горя, подлости и обмана. Это громадный обвинительный актъ противъ самой природы людей, въ какихъ бы они не жили странахъ и климатахъ. Гёте сказалъ, что «Донъ-Жуанъ» есть «самое безнравственное произведеніе поэзіи (*das Unsittlichste was jemals die Dichtkunst vorgebracht*)», но онъ же билъ челомъ передъ мастерствомъ этого произведенія. «Донъ-Жуанъ»—говоритъ онъ еще—произведеніе безпредѣльно-геніальное, въ которомъ ненависть къ людямъ доведена до крайней жестокости, а вмѣстѣ съ тѣмъ и любовь къ человѣчеству доходитъ до глубины сладостнаго сочувствія. И вотъ, мы съ пріятностью принимаемъ то, что авторъ осмѣливается подавать намъ, безъ всякаго стѣсненія и даже съ нахальствомъ».

Такое явленіе, какъ «Донъ-Жуанъ» не можетъ быть охарактеризовано въ нѣсколькихъ строкахъ. Нельзя не предвидѣть возраженія, что въ этомъ очеркѣ мы не представили Байрона въ его цѣлости, такъ какъ исключили «Донъ-Жуана». На это мы и можемъ представить объясненіе только личнаго свойства: не хватило времени

на полное исполненіе бывшей въ мысли программы... Современемъ, намъ, быть можетъ, удастся закончить предпринятое—въ связи съ указаніемъ вліянія, какое байронизмъ произвелъ на востокъ Европы, и тѣхъ колосевъ, какіе изъ руки этого сѣятеля возшли на литературныхъ нивахъ русской и польской: въ польской — въ произведеніяхъ Мальческаго, Мицкевича, Словацкаго, въ литературѣ русской—въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова.

Полагаемъ, что послѣ обзора жизни его и сочиненій, Байронъ не оказывается ни тѣмъ демономъ, какимъ его представляла консервативная часть интеллигенціи во второй половинѣ XIX вѣка, ни, съ другой стороны, тѣмъ безупречнымъ героемъ, какимъ его признавали увлеченные имъ романтики, которые, подражая ему, пробовали байронизировать не только въ поэзіи, но и въ жизни. Самъ Байронъ предвидѣлъ, что должно было случиться съ его подражателями, и не ошибся (1818 г. Муръ. 372): «слѣдующее поколѣніе, писалъ онъ, будетъ ломать себѣ шею, падая съ нашего пегаса, но мы удержимся въ сѣдлѣ, ибо мы выѣздили этого бездѣльника и сидимъ крѣпко. Подняться на него легко, но чертовски трудно управлять имъ; ближайшимъ преемникамъ придется начинать съ манежа, чтобы научиться ѣздить на большомъ конѣ». Замѣтимъ въ заключеніе, что отъ тогдашнихъ людей и отъ самого того времени ничего уже не осталось, слѣдовательно теперь никому и въ голову не придетъ взлѣзть на великаго коня.

---

# Мицкевичъ

ВЪ РАННЕМЪ ПЕРІОДѢ ЕГО ЖИЗНИ (ДО 1830 г.)

КАКЪ БАЙРОНИСТЪ.





## Мицкевичъ

ВЪ РАННЕМЪ ПЕРІОДѢ ЕГО ЖИЗНИ (ДО 1830 Г.) КАКЪ БАЙРОНИСТЪ.

### I.

«Измѣнчивы времена и мы мѣняемся въ нихъ» — эти слова римскаго поэта вспоминаются невольно, когда приходится нынѣ бесѣдовать съ русскою публикою о перво-классномъ польскомъ поэтѣ, съ которымъ очень хорошо была она знакома въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, но о которомъ сложилось преобладающее нынѣ въ большинствѣ сужденій о немъ весьма неправильное понятіе, что онъ былъ отъявленный врагъ Россіи и русскаго народа. Это предубѣжденіе плодъ послѣдняго времени. Съ дѣдами настоящаго современнаго поколѣнія Мицкевичъ дружился и братался, они принимали его въ Петербургѣ и Москвѣ хлѣбомъ и солью, наслаждались его стихами, переводили ихъ, подражали. Нѣкоторые струи его поэзіи влились въ русло русской литературы. Русскіе люди не чуждались Мицкевича и относились къ нему съ любовью и уваженіемъ, даже и послѣ того какъ политическія событія раздѣлили обѣ національности неизмѣримою и бездонною, по понятіямъ того времени, пропастью. Теперь настроеніе до того измѣнилось, что ставится невольно

вопросъ: можетъ-ли общество вдругъ и безъ достаточной причины отрѣшиться отъ лучшихъ своихъ качествъ и воспоминаній? Какимъ образомъ пропала и куда дѣвалась прославляемая нѣкогда русскими же людьми ихъ отзывчивость на все гуманное, эта общечеловѣчность и способность перевоплощаться въ духъ другихъ народовъ, которую провозглашалъ среди рукоплесканій Достоевскій на Пушкинскомъ празднествѣ въ 1880 году? Можетъ ли быть чтобъ само это чувство было поверхностное и напускное, между тѣмъ какъ именно вслѣдствіе усматриваемыхъ въ ней качествъ общечеловѣчности русская литература празднуетъ нынѣ свое первое великое торжество въ русскомъ романѣ, обходящемъ нынѣ всѣ литературы западной Европы?—Идя по прежнему пути общество русское достигло успѣховъ, которыми можетъ гордиться. Слѣдуя противоположному, выдѣляя русскую литературу изъ рамокъ всемірно-европейской, противоудѣствуя попыткамъ сравнивать русскихъ геніевъ съ иностранскими общество несомнѣнно понизило бы свой умственный уровень и раззнакомило бы въ концѣ концовъ съ Дантомъ и Гёте, съ Руссо и Шекспиромъ. Не подлежитъ сомнѣнію что современный видъ Европы печаленъ, что преобладающія чувства международныя въ концѣ XIX в., въ рѣзкой противоположности съ концомъ XVIII, вражда и антагонизмъ, но отъ насъ образованныхъ людей до извѣстной степени зависитъ, чтобы ни дѣлалось въ низовьяхъ жизни практической, чтобы проповѣдь мира, взаимнаго пониманія другъ друга и общеніе продолжались на высотахъ, въ областяхъ литературы, науки и искусства, чтобы въ этихъ областяхъ продолжалась жизнь по старинѣ. Пушкинскій переводъ введенія къ Валленроду кончается слѣдующими стихами относящимися къ Нѣману, который сталъ для враждующихъ племенъ порогомъ вѣчности... «лишь хмѣль литовскихъ береговъ Нѣмецкой тополью плѣненный Черезъ рѣку межъ тростниковъ Переправлялся дерзновенный, Бреговъ противныхъ достигалъ И друга нѣжно обни-

малъ». — На этихъ словахъ обрывался переводъ у Пушкина, но въ переводѣ П. П. Семенова имѣются еще стихи: «Что золотая цѣпь сочувственной природы Связала, разорвутъ враждой своей народы, Народы разорвутъ, но любящихъ сердца Вновь сочетаетъ пѣснь народнаго пѣвца»... Присовокупимъ: не одна только пѣснь пѣвца; каждый изъ насъ можетъ изображать собою вѣтки хмѣля перескакивающаго съ одного берега на другой.

Когда Мицкевичъ писалъ Валленрода, онъ несомнѣнно сознавалъ въ себѣ способность служить связью соединяющею обѣ литературы, онъ и былъ съ этой стороны привѣтствуемъ русскими поклонниками его могучаго дарованія. Это дарованіе было многостороннее и совмѣщало въ себѣ феноменальнымъ образомъ рѣдко согласуемыя противоположности. Если возьмемъ за основаніе школьное дѣленіе поэзіи на роды и виды, онъ былъ и перво-классный эпикъ и мощный лирикъ, обладающій титаническою силою, притомъ, что всего замѣчательнѣе, онъ бывалъ и тѣмъ и другимъ попеременно, такъ что оба настроенія чередовались въ немъ въ различные періоды жизни и дѣятельности. Порою бывалъ онъ *божественно объективнымъ* пѣвцомъ природы и людей, причемъ его *я* почти безслѣдно пропадало въ изображаемомъ предметѣ, становилось неуловимымъ, какъ по понятіямъ религиознымъ неуловимъ Богъ вездѣсущій въ природѣ, но не зримый воочию нигдѣ. Я употребилъ слово: «почти», потому что до полной гомеровской и шекспировской объективности, составляющей верхъ классическаго, а можетъ быть и всякаго искусства, Мицкевичъ не дошелъ, во всякомъ случаѣ онъ обладалъ этимъ качествомъ въ весьма высокой степени. Но еще чаще являлся Мицкевичъ изстрадавшимся, недовольнымъ и бунтующимъ противъ существующаго порядка мятежникомъ, относящимся къ существующему не съ жалкою ироніею пессимиста Байрона и не съ охлажденнымъ вслѣдствіе сомнѣнія и озлобленнымъ умомъ Пушкина, но съ чувствомъ слѣпаго Самсона, поставленнаго въ храмъ Газскомъ: «Потрасти

какъ Самсонъ столпъ храма у враговъ Разрушить здание и пасть подъ этимъ прахомъ» (К. Валленродъ). Эпическая сторона дарованія Мицкевича проявилась въ полномъ блескѣ только въ лебединой его пѣснѣ, въ «Панѣ Тадеушѣ», заканчивающемъ въ 1834 г. оборотъ его поэпического творчества. Это произведение не было по достоинству оцѣнено современниками, только теперь оно признается самымъ крупнымъ и самымъ красивымъ листомъ въ вѣнкѣ его поэтической славы.— Не подлежитъ сомнѣнію, что нельзя изучить Мицкевича не познавъ обѣихъ стихій его дарованія, но несомнѣнно также, что по темпераменту не могло быть большаго сходства между настоящимъ эпикомъ, какимъ былъ Мицкевичъ и неизлечимо субъективнымъ, одностороннимъ поэтомъ, какимъ былъ Байронъ, который и въ своихъ поэтическихъ разсказахъ, только по внѣшней формѣ подходящихъ подъ эпосъ и въ своихъ драмахъ воспроизводилъ только самаго себя. Даже въ наибольшемъ своемъ произведеніи эпическомъ—«Донъ Жуанъ», идя по стопамъ игривыхъ италіанцевъ Пульчи, Аріоста, Байронъ не настоящій эпикъ, онъ ставитъ только куколки на проволокахъ, приводитъ ихъ въ движеніе, потѣшаетъ ими и самъ сатирически хохочетъ. Притомъ замѣчу что главное эпическое произведение Мицкевича «Панъ Тадеушъ» написано въ то время, когда порвались живыя связи, соединявшія Мицкевича съ лучшими дѣятелями русской литературы, на которыя онъ повліялъ преимущественно не этимъ эпосомъ, а своими сонетами, своими Фарисомъ и Валленродомъ. Онъ пришелся по сердцу самому Пушкину какъ байронистъ и какъ романтикъ. Эти соображенія достаточны для объясненія почему изучая Мицкевича преимущественно какъ байрониста и притомъ только въ первомъ періодѣ его творческой дѣятельности (до 1830 г.) слегка лишь коснусь его произведений, не скажу: чисто эпическихъ (напр. Гражина), а правильнѣе сказать: объективныхъ и безличныхъ и продолжительнѣе остановлюсь на тѣхъ произведеніяхъ, на кото-

рыхъ по сознанію всѣхъ и даже самаго Мицкевича лежить байроновская печать. Предупреждаю что я не намѣренъ дать жизнеописаніе Мицкевича, но не могу не указать на главные моменты его развитія въ ихъ взаимодѣйствіи.

## II.

Маленькій уголокъ въ Нѣманскомъ рѣчномъ бассейнѣ Новогрудокъ, гдѣ родился Мицкевичъ на Рождество 1798 г. и Вильно, гдѣ онъ получилъ съ 1815 по 1819 высшее университетское образованіе имѣютъ двойную историческую подкладку. Одно прошлое этого края языческое до 1386 года теряется въ доисторической дали. Оно не славянское, но несомнѣнно арійское. Нынѣ и этотъ пласть зашевелился. Начавшееся возрожденіе литературное эстовъ и латышей сообщилося литвинамъ. Но въ эпоху Мицкевича полякъ и литвинъ значили одно и тоже, спаянные запоздавшимъ до конца XIV вѣка крещеніемъ Литвы, люблинскою унією 1569 г. и общео съ поляками побѣдою 1410 г. подъ Грюнвальдомъ надъ тевтонскимъ орденомъ. Другое прошлое польское продолжалось для Мицкевича въ настоящемъ, потому что старая Польша поступила во власть Россіи такая была, съ особымъ устройствомъ семьи, гражданскими правовыми отношеніями и самоуправленіемъ. За Бугомъ на Вислѣ создано по идеѣ Александра I такъ называемое конгресовое королевство съ конституціею и гражданскимъ кодексомъ французскимъ, а по другой сторонѣ Буга и вплоть до Кіева продолжалъ свое существованіе мало измѣненный прежній ладъ и языкъ, конечно безъ сеймованія, но съ блистательными расадниками польскаго просвѣщенія—Виленскимъ университетомъ и Кременецкимъ лицеемъ. Такова была среда въ которой Мицкевичъ выросъ, среда мелкошляхетская, но разрыхленная просвѣтительными усиліями послѣдняго польскаго короля, демократическими реформами послѣд-

нихъ дней Польши, вліяніемъ философскихъ идей XVIII вѣка. Во главѣ университетскаго преподаванія стояли европейски образованные люди, раціоналисты, какъ Янъ Снядецкій или скептики равнодушные къ религіознымъ вопросамъ. Они вообще были строгіе классики, честные граждане, сторонники метода точнаго изслѣдованія въ наукѣ и умѣренного прогресса въ практикѣ.—Студенты жили корпоративно кружками, страстно любили литературу и хранили чистоту нравовъ, подобно нѣмецкимъ буршамъ обыкновенно чуждающимся женщинъ пока они студенты. Насталъ однако моментъ когда въ этихъ спокойныхъ умахъ проявилось сильное броженіе. Ферментомъ былъ романтизмъ, занесенный въ Вильно съ запада, онъ возродилъ литературу, сталъ живою національною силою и толкнулъ національность на новые весьма рискованные пути. Замѣчательно что этотъ романтизмъ былъ привить раньше къ русской, нежели къ польской литературѣ, что *Ленора* Бюргера (1771 г.) перенаряженная еще въ 1808 г. Жуковскимъ въ «Людмилу» пріохотила виленскихъ студентовъ писать первыя ихъ баллады. Только въ 1820 г. Мицкевичъ воспроизвелъ по своему ту же Ленору Бюргера (*Uscieszka*). Романтизмъ былъ кризисомъ обошедшимъ и оздоровившимъ всѣ литературы европейскія, но преобразовательное его вліяніе было весьма разновременное и разностепенное. Наиболѣе запоздалъ онъ своимъ появленіемъ во Франціи, которая отстала въ этомъ отношеніи даже отъ славянскаго востока, такъ какъ онъ торжествовалъ свои крупныя побѣды только при первомъ представленіи *Hernani* 1839 г. при изданіи *Notre Dame de Paris* 1831. Лучшія произведенія Мюссе появились только отъ 1834 до 1839 годовъ. У славянскихъ народовъ романтизмъ былъ отчасти отраженіемъ англійскаго и велъ свое начало въ особенности отъ Вальтеръ Скота въ котораго поэмахъ (*The lay of the last Minstrel* 1805; *The lady of the lake* 1810) и въ романахъ (*Waverley* 1814; *Old Mortality* 1817) воскресала воспроизведенная любящею рукою живопис-

ная средневѣковая старина, но еще въ большей степени и по прямой линіи происходилъ онъ отъ нѣмецкаго, съ тою однако разницею во времени, что нѣмецкій романтизмъ кончалъ свою эволюцію, когда польскій только начиналъ свой оборотъ. Весьма интересно сопоставленіе въ этомъ отношеніи Мицкевича съ распущеннымъ, но талантливымъ чертенкомъ, который считалъ себя въ Германіи послѣднимъ романтикомъ и такъ зло трунилъ надъ волшебнымъ синимъ цвѣткомъ романтизма (*die blaue Blume*): я разумѣю Гейне. Оба они почти ровесники. Мицкевичъ родился 24 Декабря 1798 а Гейне 18 Декабря 1799. Оба прославились съ перваго же раза; обоихъ произведенія появились почти одновременно въ печати (1 томъ поэзій М. 1822, 2-ой въ 1823—*Gedichte* Гейне изд. 1822 или собственно въ концѣ 1821 въ Берлинѣ; *Tragödien mit einem lyrischen Intermezzo* въ 1823). Оба почти одновременно очутились выходцами въ Парижѣ: Гейне съ лѣта 1831, Мицкевичъ съ лѣта 1832 г.—Трудно себѣ представить болѣе полный контрастъ; ни въ чемъ они не прикасались ни физически ни умственно, ни въ чемъ не могли симпатизировать другъ съ другомъ. Нѣмецкій романтизмъ подъ конецъ своего оборота былъ либо реакціонный, лицемѣрный, кидаящійся въ католицизмъ и въ средніе вѣка, либо чудачилъ и кошунствовалъ. Нѣмецкій романтизмъ вліялъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ на зарождающійся польскій не своимъ сомнительнымъ концомъ, но блистательнымъ началомъ, могучими потугами *der Drang und Sturmperiode*, тою вспыльчивостью и страстностью, которою отличались люди XVIII вѣка, ученики Руссо. Теченіе романтизма приносило на своихъ волнахъ много предметовъ, которые не были съ нимъ связаны органически, классическія произведенія успокоившагося послѣ *Drang und Sturm* нѣмецкаго ренессанса, созданія Гёте и Шиллера; Байрона, который собственно не былъ романтикомъ, а вполне принадлежалъ по духу XVIII вѣку, наконецъ Шекспира. Романтизмъ замѣчателенъ прежде всего какъ коренное

измѣненіе формы произведеній, упраздненіе всего условнаго, изгнаніе изъ литературы, по выраженію Пушкина, «чопорности и жеманства», называніе вещей по имени а не иносказательно, употребленіе простаго а не высокаго слога. Его несомнѣнная заслуга, большая степень реализма въ искусствѣ, больше истины и непосредственности. Но романтизмъ былъ движеніемъ несравненно больше глубокимъ и богатымъ послѣдствіями. Происходила въ этой формѣ творчества ликвидація всего просвѣтительнаго вѣка, литературы псевдо-классической, теоріи общественнаго договора, сухой логики рационализма разрѣшающей по дедуктивному методу всѣ задачи жизни и бытія. Совершая поворотъ къ таинственному, къ инстинкту, къ порывамъ сердца, которое «вѣрнѣ глаза и стеклышка мудреца», романтическое движеніе получило въ Вильнѣ еще особую національную окраску. Воспоминанія свѣжаго и не забытаго прошлаго сочетались въ неопредѣленной поэтической дали съ мечтами и надеждами будущаго и съ сознаніемъ непрекратившагося національнаго бытія, основанными между прочимъ и на возстановленіи имени Польши въ одной изъ ея бывшихъ частицъ по волѣ Александра I и по вѣнскимъ трактатамъ. Обрисовавъ этими немногими штрихами обстановку начинающагося дѣйствія, приступаю къ изображенію самаго дѣйствующаго лица.

### III.

Адамъ Мицкевичъ учился филологіи въ виленскомъ университетѣ (1815—1819), потомъ опредѣленъ учителемъ словесности и исторіи въ ковенское уѣздное училище. Душа у него была нѣжная, добрая, привязывающаяся къ людямъ, любящая и горячо всѣми товарищами любимая. Онъ былъ весьма отзывчивъ на впечатлѣнія извнѣ, но это чувство требовало времени, чтобы раскататься, послѣ чего оно вибрировало размахомъ богатѣйшей эмоціи или мощной страсти. Преобладающее душевное настроеніе было веселое и жизнерадостное, но



въ кризисахъ душевной борьбы и нравственныхъ страданій сердце его способно было печалиться до отчаянія, до безумія. Господствующею чертою и отличительнымъ признакомъ этого темперамента была бодрая мужественность, самосознающая сила. Мицкевичъ во всю свою жизнь остался такимъ, какимъ онъ себя изобразилъ едва достигнувъ совершеннолѣтія (1821) въ стихотвореніи «Пловецъ»: «И вмѣстѣ со мною вы будьте въ огнѣ.—Всѣхъ молній: прочувствованъ иначе будетъ—Огонь этотъ вами. Пусть Богъ меня судить—Судья долженъ быть не со мной, а во мнѣ.—Пути наши разны: пойдете вы къ дому,—Я-жъ дальше на встрѣчу и вѣтру и грому».—При всемъ своемъ художественномъ реализмѣ, при необычайной пластичности своего живописанія Мицкевичъ, вслѣдствіе преобладанія въ немъ этой активной и мужественной чувствительности, не умѣлъ изображать въ поэзіи стихіи, которую Гёте называлъ *das ewig Weibliche*. Женщины въ его произведеніяхъ являлись вообще созданіями блѣдными и какъ бы недописанными. Мицкевичъ былъ весьма любознателенъ, имѣлъ громадную по своему времени начитанность, умъ быстрый, но только синтетическій, прохаживающійся по верхамъ предметовъ, сообразительность дающую ему возможность дѣятельно участвовать въ бесѣдахъ и преніяхъ философскихъ, политическихъ, общественныхъ, причемъ воображеніе внушало ему предсказанія, которыя неразъ оправдывались. Въ 1830 г. въ Неаполѣ онъ предсказывалъ возвращеніе на французскій престолъ Наполеонидовъ; онъ предсказывалъ также вліяніе на видоизмѣненіе жизни общественной желѣзныхъ дорогъ и изобрѣтеніе телефоновъ. Сверхъ того какъ поэтъ въ своей специальной области онъ былъ необычайно гениаленъ. Поэтическое творчество не есть созиданіе всего что угодно изъ ничего. Оно есть способность гармоническаго сочетанія образовъ и эмоцій внезапно и безъ посредства рефлексіи, по одному только вдохновенію, которое есть, было и будетъ одною изъ самыхъ непроницаемыхъ тайнъ человѣческой природы. Не

всякому поэту дана такая *непосредственность* вдохновенія, этотъ огонь принесенный съ неба уворовавшимъ его у завистливыхъ боговъ Прометеемъ. Огонь этотъ весьма цѣненъ. Малѣйшая искорка его, при содѣйствіи подливающаго къ нему масла ума и раздувающей его умѣлымъ образомъ въ пламень воли, способна создать великія и безсмертныя произведенія. Можемъ какъ на примѣръ указать на Шиллера, котораго всѣ драмы тѣмъ а не инымъ способомъ смастерены; онъ оставался полнымъ владыкою своего таланта и располагалъ имъ какъ рабочею силою. Но можетъ быть и обратное отношеніе воли и вдохновенія, когда оно не брызжетъ искрами а возгорается сразу большимъ пламенемъ, когда одержимый вдохновеніемъ поэтъ мчится Богъ вѣсть куда на дикомъ конѣ, къ которому онъ прикрѣпленъ какъ байроновскій Мазепа, когда онъ приходитъ въ экстазъ, бываетъ внѣ себя, не помнитъ себя, когда извѣстный образъ соотвѣтствующій въ жизни души тому, что мы называемъ клѣточкой живаго организма, растетъ въ сознаніи, заполняетъ его, заставляетъ забыть что онъ иллюзія, становится видѣніемъ, галлюцинаціею. Роковою для Мицкевича чертою въ его творчествѣ поэтическомъ было это предрасположеніе къ экстазу, въ которомъ содержались зачатки его позднѣйшаго мистицизма. Въ раннее время его молодости быстрота овладѣвающей поэтомъ вдохновенія обнаруживалась въ томъ, что онъ былъ импровизаторомъ, что въ товарищескомъ кружку онъ сочинялъ стихи подъ звуки музыки на какую нибудь мелодію простонародной пѣсни или на излюбленный имъ менуэтъ изъ Донъ-Жуана. Въ Петербургѣ онъ сочинялъ на заданныя темы эпическіе рассказы или драматическія сцены (24 декабря 1828 г. сцены изъ ненаписанной потомъ и пропавшей вслѣдствіе того драмы Самуилъ Зборовскій); тоже повторялось въ Берлинѣ и въ Парижѣ. Въ такія минуты лицо поэта было блѣдное, глаза горѣли устремленные неподвижно въ одну сторону. Добавимъ для полноты картины что поэтъ имѣлъ привлека-

тельную наружность, легкій румянецъ на щекахъ, черные какъ смоль волосы, голосъ звучный и необыкновенно пріятный. При крайней простотѣ и скромности въ обращеніи и безъ байроновскаго позированія и самоувѣренности, Мицкевичъ вовсе о томъ не стараясь, становился уважаемымъ и любимымъ человѣкомъ. Что касается до его отношенія къ польскому обществу, то съ той минуты, какъ его подняли на своихъ плечахъ на щитъ юные поборники зарождающагося въ Вильнѣ романтизма, онъ сталъ всѣми признанымъ первымъ поэтомъ своего народа и сохранилъ за собою до конца жизни это главенство, такъ что когда онъ умеръ, то Красинскій выразилъ вполне точнымъ образомъ чувства всего польскаго общества въ слѣдующихъ словахъ, относящихся къ Мицкевичу: «онъ былъ для моего поколѣнія молоко и медъ, желчь и кровь; мы отъ него всѣ происходимъ. Онъ насъ поднималъ на высокой волнѣ вдохновенія и бросилъ въ свѣтъ». Каждый великій писатель знаетъ міръ не такимъ какимъ есть этотъ міръ, но лишь такимъ, какимъ онъ міръ этотъ въ умѣ себѣ сочинилъ. Мопассанъ говоритъ (предисловіе къ *Pierre et Jean*): *chacun de nous se fait une illusion du monde suivant sa nature. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière*. Иными словами великій художникъ есть настройщикъ умовъ и чувствъ современныхъ людей по своему камертону, онъ навязываетъ другимъ свои образы и иллюзіи и опредѣляетъ или судьбы своего народа иногда болѣе рѣшительно, нежели то дѣлаютъ законодатель или правительство. Намъ необходимо теперь прослѣдить за Мицкевичемъ съ этой точки зрѣнія въ разные эпохи, подраздѣливъ его творчество на періоды. Мало найдется писателей, которые бы больше Мицкевича измѣнялись въ послѣдовательномъ своемъ развитіи въ теченіи не очень продолжительной жизни (57 лѣтъ), въ которой на поэтическое творчество приходится со включеніемъ раннихъ опытовъ не болѣе 14 лѣтъ (1820—1834).

IV.

Молодые романисты начинали вездѣ съ подражанія классикамъ. Такъ дѣйствовали Пушкинъ, Лермонтовъ. Этой судьбы не избѣгъ Мицкевичъ, писалъ гекзаметрами или 13 стопными силлабическими стихами, прославлялъ Феба, харить и ставилъ себѣ за образецъ одного изъ напудренныхъ объѣдалъ и паразитовъ XVIII в., шамбеляна Короля Понятовскаго-Трэмбецкаго, стихотворца отличавшагося мастерскимъ слогомъ и пластичностью формъ—качествами, которыя у него позаимствовалъ Мицкевичъ. Даже и въ послѣдствіи осталось у Мицкевича расположеніе къ роду поэзіи описательному, къ дидактическому, а нѣкоторые слабые впрочемъ слѣды классическаго стиля замѣтны даже въ такихъ образцовыхъ созданіяхъ романтической эпохи, какъ Валленродъ (Вилія въ ковенской милой долинѣ межъ тюлипановъ (?) бѣжить по равнинѣ..... Какъ войны наши въ бояхъ безмятежны.—Въ любви какъ пастухъ съ пастушкою нѣжны). Чему учился Мицкевичъ въ Вильнѣ отъ профессоровъ то могло только укрѣпить его въ классической ортодоксіи, но онъ обязанъ весьма многимъ въ своемъ развитіи студенчеству, виленскому *филаретству*, этому своего рода *тугендбунду*, который былъ тогда въ полномъ своемъ цвѣтѣ. Студенчество въ хорошія эпохи способно внушить даже людямъ на видъ сухимъ и довольно черствымъ альтруистическія чувства, возродить человѣка нравственно, возростить въ немъ гражданственность, патріотизмъ, саможертвованіе, любовь полнѣйшей умственной свободы и безкорыстное обожаніе добра. Душою филаретскаго союза былъ Ёома Занъ. Мицкевичъ сплотился съ кружкомъ столь тѣсно, что продолжалъ свое съ нимъ общеніе даже и послѣ выхода изъ университета, когда онъ поселился въ Ковнѣ. Манжируя по службѣ, онъ дѣлалъ частыя поѣздки въ Вильно къ друзьямъ читать имъ сработанное въ своемъ

ковенскомъ уединеніи. Каждый его прїѣздъ былъ для филаретовъ праздникомъ и торжествомъ. Плодами такого общенія были *филаретскія* пѣсни Мицкевича, ходившія по рукамъ за долго до ихъ напечатанія и извѣстная его «Ода на молодость» (1822), боевая пѣсня молодого поколѣнія, характерно опредѣлившая моментъ, среду и могучую личность самаго ея сочинителя. Она такое же изліяніе чувства товарищеской дружбы, какъ и «лицейская годовщина» 1825 г. Пушкина или «An die Freude» Шиллера 1785 г. Кто не знаетъ Пушкинскихъ стиховъ: «Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ, Онъ какъ душа нераздѣлимъ и вѣченъ, Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ, Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ»..... Изстрадавшійся въ изгнаніи, «какъ сирота бездомный» поэтъ ищетъ отрады и очищенія отъ скверны житейской въ воспоминаніяхъ идеальнаго, школьнаго братства, когда еще служили товарищи музамъ, когда «духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ И дивное волненіе мы познали». Пушкинъ тоскуетъ вспоминая друзей, но дружба не всегда приводитъ въ печальное настроеніе. Она способна внушать и радость и веселіе. Такія жизнерадостныя чувства одушевляли Шиллера, когда страшно нуждающійся и безпріютный онъ выплакался на груди своего друга Кернера въ Лейпцигѣ, успокоившаго его и оказавшаго ему и матеріальную поддержку. Отъ Бога царящаго за звѣзднымъ шатромъ расходится непрерывный союзъ по всему свѣту добрыхъ людей сочувствующихъ и радующихся всякому добру. Къ нему принадлежит всякій *Wem der grosse Wurf gelungen Eines Freundes Freund zu seyn. Этотъ союзъ любви и всепрощенія (Seid unschlungen Millionen, Diesen Kuss der ganzen Welt.... Groll und Rache sey vergessen—Unserm Todfeind sey verziehen)*, служащій также и союзомъ дружбы основанъ не на одномъ служеніи музамъ, какъ у Пушкина; онъ имѣетъ гораздо болѣе прочныя и глубочайшія основы: онъ есть собственно культъ добродѣтели. (*Festen Muth im schwerem Leiden, Hülfe wo die Unschuld weint, Ewigkeit*

*geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Koenigsthronen*).... Сплотимся же по-крѣпче, призываетъ поэтъ и присягнемъ на вѣрность обѣту *bei diesem goldnen Wein*: такова эта пѣсня о которой говоритъ *Palleske* (*Schillers Leben und Werke* II, 30), что несмотря на свою туманную мистику она наэлектризовала общество (*markerschüttend durch die Gebeine der Zeit fuhr*) и получила безсмертное выраженіе въ другомъ великомъ художественномъ произведеніи, въ 9 симфоніи Бетховена.

Ода Мицкевича славить и дружбу и радость, но съ иной еще болѣе юношеской точки зрѣнія. Она—восторженный диоирамбъ новой идеѣ, пѣснь выражающая притомъ такой восторгъ, который свойственъ только первой молодости, не ставящей ни во что личное счастье, пренебрегающей препятствіями и самою смертью и жизнь не цѣнящая ни въ грошъ, лишь бы идея побѣдила, идея же не побѣдить не можетъ, когда за нее стоитъ союзъ молодыхъ, неустрашимыхъ Алкидовъ. Шаръ земной подернуть туманомъ, на мертвенную поверхность его водъ всплываютъ гады—себялюбцы. «Друзья, восклицаетъ поэтъ, столпимся въ общемъ дѣлѣ—Въ счастья всеобщаго наши цѣли.... Счастливы кто тѣломъ легъ своимъ Воздвигъ ступень ко славы граду Великодушно онъ другимъ. Нектаръ вѣдь жизни тогда лишь сладость Когда его могу съ другими я дѣлить. Небесную тогда сердца вкушаютъ радость Когда соединить ихъ золотая нить. Итакъ плечо къ плечу и шаръ земной Мы цѣпью обовьемъ живою.... Миръ! съ своего содвинься основанія. На новый путь тебя мы поведемъ И плесень снявъ съ себя, во всей красѣ природы Зеленые ты вспомнишь годы!....» Вся ода дышетъ бодростью, сіяетъ выраженіями, превратившимися въ пословицы, въ боевые оклики, молодого поколѣнія, напримѣръ: *Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, Tam czego rozum nie głamie* (Стремись куда и взоръ не идетъ, ломай чего разсудку не сломать). Въ другихъ филаретскихъ пѣсняхъ Мицкевича

есть равносильныя выраженія увлекавшія его поколѣнїе, а нынѣ оспариваемыя, напримѣръ: *Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił* (Пригоняй силы къ замысламъ, не бери замысловъ лишь по силамъ). Изъ приведенныхъ отрывковъ ясно, что у молодаго поколѣнїя, водружавшаго стягъ романтизма были широкія затѣи, пока—до времени только въ области мысли, на почвѣ общечеловѣчности безнаціональной и лишь въ предѣлахъ одной литературы, но разсматриваемой какъ главный рычагъ для подъема всей жизни общественной. Какъ бы презрительно ни относились юные романтики къ пренебрегаемымъ ими «мудрецовымъ глазу и стеклышку», сколько бы разъ они не повторяли: «имѣй сердце и гляди въ сердце», превознося это сердце по сравненію съ холоднымъ умомъ, эти нападки не пошатнули бы классиковъ и не изгнали бы ихъ изъ позицій укрѣпленныхъ по правиламъ піитикъ Горація и Буало, еслибы романтики не могли показать произведеній покрупиѣе нежели подражательныя баллады и романсы, еслибы они не увлекли современниковъ поэмами, которыя бы заставили публику волноваться и плакать, несмотря на то что были написаны вопреки всѣмъ установленнымъ правиламъ тогдашняго піитическаго искусства. Такимъ потрясающимъ и жгучимъ произведеніемъ явилась изданная въ 1823 г. во второмъ томѣ поэзій Мицкевича четвертая часть его Поминокъ или Дѣдовъ. Прежде чѣмъ написать онъ долженъ былъ выстрадать всю эту исторію первой неудавшейся любви, разстроившей его нервную систему. Прошедшая по немъ буря страсти воспламенила его чувство и окрылила воображеніе, точно ударъ электричества. Я долженъ остановиться на этомъ романическомъ эпизодѣ въ жизни поэта.

V.

Романъ Мицкевича имѣетъ нѣкоторое отдаленное сходство съ любовью Байрона (въ 1803 г.) къ его кузинѣ Мэри Чауортъ, увѣковѣченной въ его гораздо позд-

нѣйшемъ стихотвореніи «Сонъ» (Dream). Мэри позволила ухаживать за собою 16 лѣтнему младшему ея по возрасту мальчику-хромоножку, потомъ оттолкнула его грубо и оскорбительно и вышла замужъ за стройнаго и хорошо сложеннаго красавца. Перенеся адскія муки Байронъ разстался съ Мэри хладнокровно и не пророня ни слезинки. Въ 1818 г. Занъ представилъ привезеннаго имъ съ собою въ село Тугановичи товарища-студента Мицкевича знатной и богатой семьѣ помѣщиковъ Верещаконъ. Мицкевичъ тутъ же влюбился въ свою ровесницу дочь домохозяевъ Марію или *Марылю*, которая расположилась тоже къ нему и предугадала въ немъ человѣка съ великимъ будущимъ. Родители дѣвушки рѣшили иначе и сосватали дочь съ отставнымъ офицеромъ бывшей наполеоновской арміи Путкаммеромъ. Самъ Путкаммеръ былъ романтикъ и почитатель Мицкевича, какъ восходящаго свѣтила поэзіи, онъ объяснился откровенно съ Мицкевичемъ, который ему добровольно съ дороги уступилъ. Марыля исполнила волю родителей. Свадьба состоялась поспѣшно 2 февраля 1821 г. Марыля разсталась съ Мицкевичемъ въ Тугановичахъ въ бесѣдкѣ, причемъ передала на память кипарисовую вѣтку, нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы была по отношенію къ мужу точно чужая, всю жизнь потомъ слѣдила съ величайшимъ участіемъ за поэтомъ. Путкаммеръ дѣйствовалъ съ большимъ тактомъ, не ревновалъ, выжидалъ, приглашалъ къ себѣ въ домъ Мицкевича, относясь къ нему крайне дружески и любезно. Можно было думать что сердечная рана уже зажила когда въ 1823 г. Мицкевичъ написалъ слѣдующее посвященіе Марылѣ на посылаемомъ ей томикѣ своихъ произведеній: «Взгляни ты иначе на годы безъ возврата, И память милаго прими изъ рукъ ты брата».... Но милый образъ воскресъ въ душѣ опять въ 1829 г. при переѣздѣ черезъ Альпы изъ Германіи въ Италію въ Сплугентъ: «Нѣтъ, вѣрно суждено всегда намъ быть вдвоемъ, Я моремъ ли плыву, идуль сухимъ путемъ—Ты тутъ же. Здѣсь гдѣ льдовъ воздвигнута гро-



мада На нихъ блестящій слѣдъ твой вижу я порой....  
И голосъ твой я въ шумъ слышу здѣсь Альпійскаго  
каскада—Власы поднимаются когда я оглянусь И чаю  
образъ твой увидѣть и—боюсь»....

На первыхъ порахъ было не то, а не сравненно хуже.  
Хотя Мицкевичъ и согласился уступить Марылю Пут-  
каммеру, но онъ не ожидалъ, что свадьба такъ быстро  
состоится, извѣстіемъ о ней онъ былъ пораженъ какъ  
громомъ, страдалъ до безумія, перенесъ нервную горячку,  
словомъ, по свидѣтельству Зана, душа его была какъ  
лѣсъ, по которому прошелся пожаръ.—Въ умѣ блеснула  
мысль о самоубійствѣ, которая сказала въ цитирован-  
номъ мною «Пловцѣ» (Zeglarz, 17 апр. 1821 года): «Бо-  
реніе такъ тяжело и разомъ-бы я—Могъ кончить... по-  
томъ ужъ и спи подъ волною». Обращаясь къ людямъ  
пловецъ продолжаетъ: «Вамъ вихры чуть слышны что  
рвутъ мнѣ канаты;—Громъ бьетъ здѣсь а къ вамъ  
лишь доходятъ раскаты». — Другой товарищъ Чечотъ  
писалъ, что Мицкевичъ находится сплошь въ ненормаль-  
номъ состояніи, что онъ боленъ и себя убиваетъ, но  
не выходитъ изъ оцѣпененія и не охлаждаетъ воображенія,  
потому что съ тѣмъ ему любо.—Онъ страхнулъ болѣзнъ  
и освободился отъ горя, какъ освобождаются всякіе ху-  
дожники, то есть претворяя выстраданное въ поэзію;  
онъ вылѣчился написавъ 4-ую часть Дѣдовъ. — Это  
странное названіе невыражаетъ сюжета. 1-я часть ни-  
когда не была отдѣлана. Въ 3-ю Мицкевичъ отнесъ  
въ послѣдствіи свои тюремныя воспоминанія 1824 г.—  
часть 2-я есть родъ идилліи, изображающей 2 Ноября  
или такъ называемыя «Задушній» день поминовенія  
умершихъ на кладбищѣ по простонародному языческому  
неискорененному церковью обряду, чествованіе ихъ па-  
мяти на могилахъ ѣдою и питьемъ.—*Четвертая* часть  
Дѣдовъ должна была изобразить муки самоубійцы, душа  
котораго осуждена на то, чтобы разъ въ годъ, въ по-  
минальный день посвященный памяти предковъ переис-  
пытывать вновь все то, что довело эту душу до само-

убійства.—Что герой поэмы Густавъ не живой чело-  
вѣкъ, а только этого рода привидѣніе—то открывается  
только въ концѣ драмы. Въ началѣ ея онъ только мо-  
лодой челоѣкъ странно одѣтый и помѣшанный, кото-  
раго приютилъ и угостилъ сердобольный сельскій свя-  
щенникъ, сажающійся съ воспитанниками дѣтьми за свою  
убогую вечернюю трапезу. Дѣти хохочутъ потѣшаясь  
надъ чудачкомъ. Въ его исхудаломъ лицѣ священникъ  
узнаетъ черты своего нѣкогда любимаго и даровитаго  
ученика Густава. Густавъ чувствительный челоѣкъ и  
мечтатель, какими изобиловалъ XVIII вѣкъ, челоѣкъ по-  
мѣшавшійся на чтеніи романовъ: «Руссо и Гѣте ты загля-  
дывалъ въ созданія?—Ксендзъ, Элоизу ты читалъ?—Ты  
знаешь Вертера страданія? Эхъ, ксендзъ, разбойническія  
книги, мучительные вымыслы. Не вы ли Меня къ заоб-  
лачнымъ предѣламъ унесли, И крылья думъ моихъ такъ  
къ верху заломили, Что я уже не могъ спустить ихъ  
до земли».... «Одна могуществомъ природы—Талантомъ  
искра намъ дана, Но только разъ въ молодые годы Въ  
насъ загорается она»... Если на него дунетъ дыханіе Ми-  
нервы, тогда звѣзда безсмертнаго Платона блеснетъ на  
дальніе вѣка. Если ее раздуетъ въ пламя гордость тог-  
да является герой превращающій пастушескій посохъ  
въ скипетръ и будетъ онъ по мановенію сокрушать старые  
престолы. Если ее зажжетъ взоръ ангела женщины,  
тогда эта искра себѣ лишь свѣтитъ и одна горитъ какъ  
лампада среди римской гробницы не озаряя никого. Все  
существо души Густава сгораетъ до тла и безъ остат-  
ка въ такомъ пламени любви.—Ту воображаемую кра-  
савицу, какую творять «изъ радугъ и сіянія однѣ бе-  
зумныя мечты», онъ вдругъ нашель вблизи, тутъ-же,  
возлѣ себя. Изъ за нея онъ забылъ что ему была по-  
слушна вѣщая риема, что ему во снѣ неразъ грезилась  
побѣда Мильціада. Въ немъ умерли Готфредъ Бульон-  
скій и Янъ Собѣскій.—Счастіе было полное но минутное,  
произошло прощаніе въ бесѣдѣ, слова: прощай, неза-  
будь, протянутая кипарисовая вѣтка, да звонкія фразы:

отечество, наука, и слава и друзья. Сначала онъ думалъ что помирится съ тѣмъ, что Марія чужая жена и что вышедши замужъ она заживо похоронена. Онъ будетъ обходиться съ нею какъ съ постороннею, какъ съ другомъ, ему столь мало нужно, быть близъ нея, слышать отъ нея ласковое слово, но бѣшеная ревность взяла въ концѣ концовъ верхъ и вскипѣла. Съ кинжаломъ въ рукахъ онъ отправляется на брачный пиръ нацѣдить багрянаго вина или удавить ее своими руками. Но у кого достанетъ духу убить ее, такую добрую и нѣжную.—Я лишь пойду, думаетъ онъ и стану на этомъ пиру въ лохмотьяхъ, да съ кипарисовою вѣткою, да поражу ее взоромъ. О это будетъ взглядъ змѣиный, который «пронизетъ голову и въ мозгъ ея вопьется»... Но и этотъ молчаливый укоръ будетъ по отношенію къ ней несправедливъ: «старалась-ли она меня завлечь, Со мною заводя кокетливую рѣчь? — Иль мой дразнила жаръ надеждою лукавой?—Нѣтъ, виноватъ во всемъ онъ одинъ, создавшій для себя адъ и опойвшій себя отравой. Онъ готовъ молить ее о томъ, чтобы она вспомнила о немъ изрѣдка, проронила слезку, черной лентой отгѣнила свой нарядъ. — Но тутъ то и подымается въ душѣ страдальца иное чувство, глубокое, сильное, выдѣляющее его изъ сонма сантиментальныхъ, но плаксивыхъ Сень-При и Вертеровъ, чувство гордости мужской (я не унижусь до моленія чтобъ пожалѣли мертвеца). Послушай, ксендзъ, говоритъ онъ, не сказывай что умеръ я въ отчаяннѣ....«Нѣтъ, ты скажи что я веселый и румяный о томъ Кого любилъ совсѣмъ не вспоминалъ, Съ друзьями бражничалъ, игралъ, Любилъ разгулъ, вино, тревогу. И какъ то разъ хмѣльной среди развратныхъ дѣлъ Переломилъ себѣ въ безумной пляскѣ ногу, И тутъ-же пьяный околѣлъ!»....

Есть въ польской литературѣ эротическія произведенія болѣе изящныя, болѣе эфирныя, съ болѣе блестящими образами и красками, но и во всемірной литературѣ мало такихъ, въ которыхъ бы страданія неудовлетворен-

ной любви изображены были искреннѣе и задушевнѣе и проведены по всей клавиатурѣ чувства, начиная съ дѣтской рѣзвости и плача до сардоническаго смѣха, ледянаго напускнаго хладнокровія и ироніи неуступающей по силѣ байроновской. Сходство тоновъ, одинаковые намѣренные диссонансы объясняются сродствомъ темпераментовъ, а не какимъ либо прямымъ подражаніемъ Байрону.—Въ 4 части Дѣдовъ можно найти отголоски Руссо, Гётевскаго Вертера, подчеркнутыя заимствованія изъ Шиллера, нѣчто изъ Жанъ Поля и даже изъ «Валеріи» Госпожи Крюднеръ, но не изъ Байрона, который и неупоминается. — Есть несомнѣнные доказательства что въ это именно время, въ этомъ угнетенномъ состояніи духа, въ которое его погрузило замужество Марыли и въ которое онъ писалъ 4 часть Дѣдовъ, онъ только начиналъ заниматься Байрономъ и лишь потомъ войдя во вкусъ онъ сдѣлался горячимъ его обожателемъ. Болѣзнь заставила Мицкевича взять отпускъ осенью 1821 и поселиться въ Вильнѣ на лѣто 1822 г. Здѣсь онъ сталъ переводить Гяура Байрона и писалъ: «послѣ германоманіи наступила британоманія. Я протискивался со словаремъ сквозъ Шекспира, какъ богачъ сквозъ игольное ушко, зато теперь Байронъ дается мнѣ легче, однако этотъ можетъ быть величайшій изъ поэтовъ не вытѣсняетъ Шиллера»....Съ лѣта 1822 Мицкевичъ опять въ Ковнѣ, онъ пересталъ работать, живетъ совершеннымъ нелюдиномъ, почти мизантропомъ, страдаетъ молча и стиснувъ зубы и пишетъ: «читаю одного только Байрона, книгу въ иномъ духѣ писанную бросаю, потому что не выношу лжи. Описаніе семейнаго счастья возмущаетъ меня, равно какъ и видъ супруговъ, дѣтей—это моя антипатія, вотъ я и описалъ себя съ головы до пятокъ». Мицкевичъ не только зачитывался Байрономъ, но и переводилъ изъ него многое. Любопытно изучать въ этихъ переводахъ прибавки къ подлиннику и отступленія, въ которыхъ сказывается различіе темперамента менѣе вспыльчиваго и болѣе нѣжнаго. Въ Байроновомъ «Снѣ»

дѣва чувствуетъ что она омрачила поэта черною тѣнью заставила его страдать, но не увидѣла всего (that his hearts was darkened by his shadow, and she saw That he was wretched but she saw not all). Дѣва у Мицкевича отгадала что онъ понесетъ муки долгія, страшныя, не угадала что эти муки будутъ *вѣчныя*.—Въ *Euthanasia* есть характерное двухстишіе презрительно относящееся къ слезамъ женщины вообще (And woman's tears produced at will—Deceive in life unman in death). У Мицкевича нѣтъ ни слѣда этого гордаго отношенія къ предмету: «слеза Марилина такова, что предъ нею *слабъ былъ поэтъ живя, слабъ былъ и умретъ*». То чувство острой тоски отъ одиночества, которымъ пропитано «прощай Чайльдъ-Гарольда» (And now I am in the world alone—Upon the wide wide sea...) превратилось въ довольно банальную фразу: «теперь блуждаю я по міру широкому и жизнь скитальца веду». Это тотъ самый переводъ при чтеніи котораго въ Ковнѣ въ маѣ 1823 Мицкевичъ отъ эмоціи впалъ въ обморокъ въ присутствіи Одынца.—Виленскіе друзья сильно тужили о томъ, что Мицкевичъ убиваетъ себя въ Ковнѣ, что онъ изнываетъ отъ послѣдствій овладѣвшей имъ страсти. Они порицали его что онъ некстати роняетъ себя, оглашая свои любовныя чувства (письмо Зана 12 мая 1823), собирали въ складчину деньги на отправление его за границу. Между тѣмъ время оказало свое цѣлительное дѣйствіе. По необычайной гибкости своего темперамента, въ чемъ онъ могъ сравняться съ Пушкинымъ, Мицкевичъ въ то самое время когда друзья думали что онъ бредитъ Марылею издалъ во второмъ томикѣ стихотвореній (1823) вмѣстѣ съ 4 частью Дѣдовъ эпосъ извлеченный изъ хроникъ средне-вѣковыхъ латинскихъ изъ быта языческой Литвы. Вѣроятно эта поэма задумана была еще когда Мицкевичъ былъ студентомъ, шелъ по стопамъ классиковъ, читалъ *Виргилія*, слушалъ освобожденный *Іерусалимъ Тасса*. Поэма весьма проста, задумана въ классическомъ духѣ, хотя безъ примѣси *чудеснаго*, какъ двигающей силы. Въ ней

изображенъ патриотическій подвигъ литовской княгини, которая, когда мужъ ея зазвалъ къ себѣ въ помощь враговъ нѣмцевъ противъ В. Князя Витовта, отказала нѣмцамъ на свой рискъ, взяла команду надъ войскомъ мужа и была въ бою съ нѣмцами убита, но и отомщена потому что литовцы одолѣли на этотъ разъ нѣмцевъ. — Поэма красива, но и какъ мраморъ холодна. Трудно воскрешать языческую Литву XIV вѣка въ ея бытовой обстановкѣ. Притомъ къ прошлому поэтъ подходит незапросто а съ поклономъ, и воспѣваетъ его слишкомъ торжественно. Эпосу недостаетъ наивности. — Классики не поняли что это поэма классическая, они находили ее скучноватою; романтики же были ею озадачены въ такой же мѣрѣ, какъ молодые нѣмцы, когда возвратившись изъ Рима творецъ Гёца приподнесъ имъ Ифигенію и Тасса. — Прежде чѣмъ товарищи Мицкевича собрали деньги и исходатайствовали ему заграничный паспортъ, надъ цѣлымъ кружкомъ стряслась бѣда, наряжена была слѣдственная коммисія о виленскихъ студенческихъ кружкахъ подъ предсѣдательствомъ сенатора Новосильцева, Мицкевичъ арестованъ 23 Октября 1823, потомъ освобожденъ 21 апрѣля 1824, потомъ 14 августа 1824 вслѣдствіе Высочайшей конфирмаціи опредѣленъ на службу въ званіи учителя въ одну изъ отдаленныхъ отъ Польши губерній, однимъ словомъ онъ подвергся административной ссылкѣ на довольно льготныхъ впрочемъ условіяхъ, но съ удаленіемъ отъ горячо любимой родины. — Хотя эта ссылка на казенный счетъ и на службу была принята имъ какъ страданіе, но она открыла Мицкевичу новые горизонты, познакомила его съ ближайшимъ къ его родинѣ востокомъ, съ новыми людьми и отношеніями, отшлифовала неуклюжаго провинціала и сдѣлала изъ него свѣтскаго человека, дала ему сразу извѣстность въ Россіи и даже за границею. Начинается новый періодъ въ жизни поэта, длившійся 7 лѣтъ, который можно бы назвать *des Poeten Wanderjahren*.

VI.

Слѣдствіе Новосильцева было однимъ изъ характерныхъ эпизодовъ тяжелой эпохи — конца царствованія Александра I. Атмосфера была душная, чувствовалась буря, разразившаяся 14 декабря 1825 года. Аресты по подозрѣніямъ въ политической неблагонадежности были часты. Взяты были въ Вильнѣ и посажены подъ арестъ у базилианъ у Острыхъ Воротъ люди филаретскаго кружка. мечтатели и энтузіасты, занятые главнымъ образомъ литературою, преобразованіемъ слога и формъ поэтическаго творчества. Въ тюрьмѣ они съежились, въ общемъ страданіи закалились и стали, и на своихъ глазахъ, и въ мнѣніи общества политическими людьми. Особенно сильно сказалась эта перемѣна въ Мицкевичѣ, который ее и изобразилъ въ 3-й позднѣйшей части Дѣдовъ; страдалецъ отъ любви умеръ, родился мрачный страдалецъ за родину, который пишетъ на стѣнѣ своей тюремной келіи: «calendis novembris MDCCCXXXIII obiit Gustavus, natus est Conradus». — Въ дѣйствительный моментъ изображаемый позднѣйшею 3 частью Дѣдовъ еще въ умѣ Мицкевича не обрѣтался замыселъ Конрада, то есть Конрада Валленрода. Въ перепискѣ Мицкевича есть указанія на то, что Валленродъ былъ сочиняемъ въ 1827 году въ Москвѣ и что сочиняя его, Мицкевичъ зачитывался драмою Шиллера «Фіеско» и книгою Макиавелли «il Principe». — Не подлежитъ однако сомнѣнію, что уже въ Вильнѣ, во время заключенія, возникло въ поэтѣ то направленіе, которое по имени героя позже сочиненной поэмы можно назвать валленродовскимъ и которое какъ нельзя лучше характеризуется эпиграфомъ къ Валленроду, заимствованнымъ якобы отъ Макиавелли, но собственно передѣланнымъ весьма существенно: *dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere... bisogna essere volpe e leone*. Въ главѣ XVIII своего трактата о Государѣ, озаглавленной: *In che modo i principi debbiano osservare la fede*, великій фло-

рентійскій политикъ разсуждаетъ такимъ образомъ: есть два способа сражаться, одинъ законами (борьба легальная), другой силою, первый человѣческій, другой звѣринный, но такъ какъ первый недостаточенъ, то надо прибѣгать ко второму, второй же состоитъ въ томъ, чтобы подражать (*pigliare*) либо лисицѣ, либо льву. — Хитрый флорентіецъ вполне сочувствуетъ лисьиимъ приѣмамъ; онъ думаетъ, что не силенъ въ политикѣ тотъ, кто подражаетъ одному только льву: *e sono tanto semplici li uomini e tanto obeiscono alla necessita presenti che colui che inganna trovera sempre chi si lascera ingannare*. — Тотъ клинокъ, который флорентіецъ подавалъ въ руки правительству, обращенъ Мицкевичемъ въ противоположномъ направленіи, средства легальной или гуманной борьбы обойдены молчаніемъ и ставится вопросъ лишь о борьбѣ нелегальной, революціонной съ явнымъ предпочтеніемъ нравящихся особенно и Макиавелли лисьихъ приѣмовъ, то есть съ преимуществомъ, отдаваемымъ изворотливости ума передъ силою, которой недостаетъ особи, когда она замышляетъ страшно неравный бой съ государствомъ и въ особенности съ современнымъ громаднымъ по размѣрамъ государствомъ. Т. Вержбовскій («Вѣстникъ Европы», 1888, № 9) извлекъ изъ слѣдственнаго дѣла о филаретахъ обстоятельства, которыя не могли не раздражить Мицкевича, унижая его въ собственныхъ его глазахъ. Его заставили дать показаніе о томъ, что онъ кается что былъ филаретомъ, а также подписку о непринятіи участія ни въ какомъ обществѣ, образованномъ безъ разрѣшенія правительства и обѣщаніе сообщать кому слѣдуетъ, коль скоро онъ узнаетъ о существованіи такого общества. — Онъ и сдержалъ обѣщаніе въ томъ смыслѣ, что не сдѣлался заговорщикомъ, но въ немъ родилась иная мысль борьбы и сопротивленія, болѣе глубокая, которая стала ходить по головамъ наиболѣе горячихъ людей молодаго поколѣнія. — Чтобы вполне безпристрастно оцѣнить политическую стихію, приведшую съ 1824 года въ поэтическую дѣятельность



Мицкевича, слѣдуетъ замѣтить, что его враждебныя намѣренія относились только къ правительству и его системѣ, но не къ народу русскому и его интеллигенціи, которыхъ солидарности съ русскою правительственною системою онъ не признавалъ. Въ позднѣйшемъ своемъ стихѣ «къ друзьямъ Москалямъ» Мицкевичъ откровенно сознается, что онъ скрываетъ передъ правительствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ вполне искренно утверждаетъ, что по отношенію къ друзьямъ своимъ русскимъ онъ всегда хранилъ голубиную чистоту. — Тогдашнія отношенія никакъ не могутъ быть судимы въ свѣтѣ позднѣйшихъ событій. — Вспомнимъ, какая въ этихъ двадцатыхъ годахъ существовала тьма невыясненныхъ вопросовъ, которые нынѣ уже рѣшены въ этомъ дарвиновскомъ *struggle for life* между двумя національностями. — Вспомнимъ, что Александръ I возстановилъ на Вислѣ Польшу и возился съ мыслью о присоединеніи къ ней западныхъ губерній, что только впервые Пушкинымъ, и то только послѣ разгара патріотическихъ чувствъ въ 1831 году, поставлена была ребромъ программа спорныхъ вопросовъ: «Куда отдвинемъ строй твердынь? За Бугъ, за Ворсклу, до Лимана? За кѣмъ останется Волинь? За кѣмъ наслѣдіе Богдана?... Отъ насъ отторгнется-ль Литва?» И нынѣ національности отталкиваются взаимно, непонимая другъ друга; шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ непониманіе было стократно сильнѣе. — Будучи потомкомъ людей, имѣвшихъ совсѣмъ иное политическое прошлое, Мицкевичъ не могъ любить строй жизни общественной совсѣмъ противоположный, но подобно всѣмъ своимъ землякамъ за лѣсомъ не видѣлъ деревъ, за русскимъ правительствомъ — народа. Раздѣлая ихъ мысленно, онъ не постигалъ, что народъ въ моментъ борьбы станетъ крѣпко за свое правительство, которое этотъ народъ создалъ вѣковыми усиліями и вынесъ на своихъ плечахъ. — Однимъ словомъ, Мицкевичъ находился въ заблужденіи, за которое раздѣлявшій это заблужденіе польскій народъ поплатился вы-

званными имъ же и безусловно неизбежными послѣдствіями двухъ такъ называемыхъ «повстаній» 1830 и 1863 годовъ. Чѣмъ сильнѣе воцарялась въ душѣ поэта идея общественнаго блага, къ которой съ тѣхъ поръ стремились всѣ его помыслы, какъ къ цѣли окончательной, тѣмъ на видъ онъ становился свободнѣе, подвижнѣе, развязнѣе. Повидимому, онъ только однимъ былъ занятъ — чтобы знакомиться съ людьми всевозможныхъ народностей и оттѣнковъ, блистать остроуміемъ въ большомъ обществѣ, любезничать съ дамами и наслаждаться. На себя онъ тратилъ весьма немного, средства къ жизни получалъ, сверхъ казеннаго жалованія, отъ издателей быстро расходившихся его произведеній. Сопровождавшая его поэтическая слава открывала ему доступъ въ гостиныя. Поглощенный новыми знакомствами, Мицкевичъ меньше работалъ и возбуждалъ опасенія между товарищами, сѣтовавшими на то, что онъ превращается въ эпикурейца и въ космополита. Мицкевичъ долженъ былъ оправдываться и писалъ къ Зану и Чечоту изъ Москвы (январь 1827), въ то самое время, когда сочинялъ Валленрода: «можно плясать, играть, пѣть и любезничать, не становясь паразитомъ. Возвратясь въ Литву, я можетъ быть, какъ отпущенная пружина, упавшая на прежнее мѣсто, найду себѣ какое-нибудь горе и буду печалиться по прежнему. Я сталъ веселѣе у отцовъ базилианъ и успокоился и чуть ли не безумствовалъ въ Москвѣ.—Всѣ мы горячо любимъ нашу любовницу (родину). Она ревнива, но мы не должны заявлять нашу любовь какъ Донъ-Кихоть. Мы не должны подражать хлопцамъ въ Столовичахъ, трепавшимъ всѣхъ жидовъ въ отместку за распятіе Христа. Признаюсь, я готовъ ѣсть не только трѣфный бифштексъ Моабитовъ, но даже мясо отъ алтарей Дагона и Ваала, не переставая быть добрымъ христіаниномъ». Не вдаваясь въ описаніе странствованій Мицкевича по Россіи, укажу на главные этапы этого пути въ связи съ народившимися на этихъ мѣстахъ произведеніями.

●

тамъ гдѣ и орламъ дороги нѣтъ, гдѣ мерзнетъ паръ ды-  
ханія». Гдѣ тѣ бездонныя пропасти, тѣ «щели міра, въ  
которыя страшно заглянуть». Гнѣздо полудикихъ ногой-  
цевъ-разбойниковъ воспѣто въ выраженіяхъ, достойныхъ  
изящнѣйшаго остатка высокаго искусства, вполне под-  
ходящихъ развѣ къ одной Альгамбрѣ Гренадской. Про-  
водники—татары произведенные въ мурзы философствуютъ  
точно имамы и носятъ по волѣ поэта на бараньихъ  
шапкахъ своихъ заткнутыя орлиныя перья, которыхъ  
совсѣмъ не бываетъ у крымскихъ татаръ (XVI. Кикинейсъ:  
Увидишь—мелькнетъ тамъ перо—то будетъ верхъ шапки  
моей). Описанія прелестны но они далеко превосходятъ  
болѣе скромную дѣйствительность. Всѣ эти сонеты опи-  
сательныя крымскіе, или сантиментальныя или эроти-  
ческіе запечатлѣны субъективностью поэта и поэтъ этотъ  
носить на своихъ плечахъ тотъ-же небрежно накиннутый  
Гарольдовъ плащъ, которымъ пользовался и Пушкинъ  
когда писалъ Онѣгина. Начиная съ послѣдняго года  
своего пребыванія въ Ковнѣ Мицкевичъ былъ подъ  
вліяніемъ Байрона, подъ которымъ находился и Пуш-  
кинъ, что и способствовало ихъ сближенію, такъ къ  
нему примѣнимы его-же слова о Пушкинѣ: Il était un  
byroniaque; il tomba dans la sphère d'attraction de Byron,  
il était possédé de l'esprit de son auteur favori». Онъ вполне  
себѣ усвоилъ внѣшнія черты темперамента Байрона,  
сильную страстность, затаенную подъ кажущимся ледя-  
нымъ равнодушіемъ и сопровождаемую горькимъ сарказ-  
момъ. Вотъ примѣръ прощаніе его съ дорогимъ ему Виль-  
номъ (Монте-Кастелло): «Видѣлъ я доблесть мужскую въ тис-  
кахъ,—тиски въ головахъ у народа, въ умникахъ алч-  
ность, а въ сердцахъ—одну лишь пустоту»...  
(1824). Въ 1825 г. Х Стрѣлокъ тѣмъ же отъ вол-  
ненія, съ своимъ ружьемъ, съ горь-  
кою усмѣшкой, взглядомъ Карла своего въ  
обви. Въ 1826 г. сонетъ Г. о вѣнчѣннѣй стран-  
дѣ думаетъ, что тѣмъ кто о вѣнчѣннѣй стран-  
могилѣ или есте... прощаться.

Байроновскіе звуки раздаются во всѣхъ сонетахъ относящихся прямо или косвенно къ Одесскимъ Данаидамъ. Всего сильнѣе запечатлѣно байронизмомъ окончаніе известнаго сонета XII (Rezugnasya), въ которомъ онъ такимъ образомъ опредѣляетъ свое окаменѣлое сердце: «И какъ разоренный храмъ оно въ пустынь—Рушится и гибнетъ: жить въ его святынѣ—Божество не хочетъ, человекъ не смѣетъ». Приведемъ еще одно мѣсто того-же рода въ сонетѣ XIV: «Я наслаждаться радъ, но оболящать не стану—изъ гордости. Дитя! я пересохшій злакъ—ты только разцвѣла а я давно ужъ вяну—твоя обитель—свѣтъ, моя-жъ кладбище, тьма—Такъ вейся-жъ юный плющъ вокругъ тополей зеленыхъ Давъ мѣсто терніямъ при гробовыхъ колоннахъ». Если-бы оставалось еще какое-либо сомнѣніе относительно байронизма Мицкевича, то оно должно-бы разсѣяться въ виду новаго весьма крупнаго произведенія «Конрада Валленрода» до того проникнутаго духомъ Байрона, что Ев. Баратынскій при поднесеніи Мицкевичу прощальнаго подарка отъ его почитателей въ Москвѣ выразился такъ: «Когда тебя Мицкевичъ вдохновенный—я застою у байроновскихъ ногъ»... Валленродъ переноситъ насъ въ Москву. Мы слѣдуетъ уяснить какъ созрѣвало и слагалось это дивное произведеніе навѣянное Байрономъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ высокой степени оригинальное.

## VIII.

Въ Москвѣ Мицкевичъ на первыхъ порахъ сосредоточился, уединился и готовилъ историческую поэму, о которой ничего никому не сообщалъ, сильно побаиваясь пройдетъ-ли она чрезъ цензуру (Kortesp. 1,15). Опасность грозила-бы поэмѣ если-бы догадались что въ ней изображены энергическія чувства современнаго человека, но поэтъ предваряетъ читателя въ самомъ введеніи, что онъ будетъ повѣствовать только о томъ какъ любящія сердца, расторгнутыя враждою народовъ вновь

соединяетъ пѣснь народнаго пѣвца. Замѣтимъ мимоходомъ что сама эта маска фальшивая, потому что и Альфъ и Альдона оба литовцы и сердца ихъ не были никогда разрываемы враждою народовъ. Другою ширмою маскирующею замыселъ служило прозаическое предисловіе къ первому изданію поэмы. Въ этомъ предисловіи обязательно поясняется, что и Литва и Орденъ тевтонскій уже померли, что они, какъ умершіе сдѣлались достояніемъ одной только поэзіи по правилу Шиллера: *Was unsterblich im Gesang soll leben—Muss im Leben untergehn*. Предисловіе кончается словами признательности «Монарху, въ котораго державѣ наиболѣе племенъ и языковъ и который оставляя за каждымъ подданнымъ исповѣдуемую имъ вѣру, обычай и языкъ, повелѣваетъ оберегать и розыскивать памятники былыхъ вѣковъ, какъ наслѣдіе грядущихъ поколѣній». Намъ извѣстно что къ выбору историческаго сюжета Мицкевича располагали не только внѣшнія удобства, напримѣръ обходъ цензуры, но и литературныя убѣжденія, высказываемыя многократно въ письмахъ (1828 Когг. IV, 101, 103). Онъ полагалъ что вѣкъ XIX нуждается въ исторической драмѣ, которая однако еще не создана, потому что Шиллеръ только подражаетъ Шекспиру, а Гёте лишь въ Гёцѣ чутьемъ угадывалъ какова должна быть историческая драма, къ другимъ-же своимъ драмамъ примѣняетъ старыя формы, освѣжая ихъ. Мицкевичъ признаетъ что жегъ много своихъ драмъ и что не чувствуетъ себя въ силахъ написать трагедію, а потому слѣдуетъ Байрону, который понялъ духъ новой поэзіи и нашелъ для нея эпическія формы, но не драматическія, которыя всегда запаздываютъ. «Я отчаянный (*zabity*) шекспиристъ, говоритъ Мицкевичъ, я допускаю измѣненія формы и экономіи драмы, но всегда ищу поэтическаго духа и исторической правды. Чувствую жестокое отвращеніе къ островамъ и странамъ, которыхъ нѣтъ на картѣ и къ царямъ, которыхъ нѣтъ въ исторіи. Всѣ фабулы основанныя на переодѣваніяхъ, сюрпризахъ, оракулахъ для

меня нестерпимы». Посмотримъ въ какой мѣрѣ соблюдены въ Валленродѣ эти правила и наставленія.

Еще будучи въ Ковнѣ Мицкевичъ ради Гражины изучалъ лѣтописи, латинскія и нѣмецкія и сочиненіе Коцебу (убитаго Зандомъ 1818) *Preussens ältere Geschichte* 1808. Изъ этихъ источниковъ взяты всѣ до одного дѣйствующія въ Валленродѣ лица. Нѣмецкій рыцарь Вальтеръ Стадіонъ попалъ въ плѣнъ къ Кейстуту, женился на его дочери и увезъ ее съ собою. Была и отшельница замуравленная въ башнѣ—блаженная Дорота изъ Монтовы, подвизавшаяся не въ Маріенбургѣ, но въ Маріенвердерѣ, изъ которой легко было сдѣлать Альдону Кейстутовну. Конрадъ Валленродъ лицо вполне историческое, гротмейстеръ ордена, пьяница и дурной правитель, притомъ весьма жестокій человѣкъ. Онъ совершилъ два крестовые походы на Вильно, но осаждалъ столицу Литвы столь лѣниво и оплошно, что извелъ даромъ многіе десятки тысячъ войска и истощилъ орденскую казну, а потомъ постыдно бѣжалъ, когда Витовтъ измѣнивъ ордену сошелся, такъ сказать за спиною его, съ Ягеллою. Хотя самъ монахъ, этотъ Валленродъ еще болѣе того былъ солдатъ, онъ терпѣть не могъ вообще поповъ и слылъ по сей причинѣ безбожникомъ. Ему по преданію всегда сопутствовалъ нѣкто *Leander Albanus* монахъ, должно быть колдунъ и несомнѣнный еретикъ. Взявъ эти лица живьемъ изъ хроники Мицкевичъ имѣлъ полное право дать волю фантазіи, отождествивъ Вальтера съ Конрадомъ. Онъ сдѣлалъ предположеніе во стократъ болѣе смѣлое, ни начеиъ не основанное и исторически не вѣроятное, что настоящій человѣкъ, носившій оба эти названія былъ литовецъ Альфъ, заповененный нѣмцами и воспитанный ими, но вернувшійся къ своимъ, женившійся потомъ на дочери Кейстута Альдонѣ и затѣиъ покинувшій и родину и жену чтобы стать рыцаремъ ордена, достигнуть званія гротмейстера и имѣя власть самую державу орденскую разшатать и подорвать. Не только затаенный литовецъ

Валленродъ не похожъ на настоящаго историческаго, но и моментъ его дѣятельности избранъ Мицкевичемъ фантастическій. Война въ которой будто-бы измѣнникъ grosмейстеръ извелъ свою армію въ лѣсахъ и снѣгахъ Литвы ведется съ языческою Литвою, между тѣмъ какъ походы Валленрода происходили въ 1390 и 1391 годахъ противъ Ягелла уже бракосочетавшагося съ Ядвигаю въ 1386 г. и противъ Литвы уже крещеной. Орденъ существовалъ лишь ради обращенія въ христіанство язычниковъ. Разъ Литва крестилась сама, принявъ вѣру отъ Польши и крестясь полячилась, паденіе ордена становилось неизбѣжнымъ, но съ другой стороны спасеніе Литвы не обуславливалось истощеніемъ силъ ордена, которыя онъ заимствовалъ извнѣ посредствомъ крестовыхъ походовъ и которыя были не истощимы, пока Литва оставалась языческою. Литва была спасена вслѣдствіе усвоенія себѣ той-же вѣры, какая была у ордена, но вмѣстѣ съ тѣмъ и культуры, не нѣмецкой, а польской, словомъ она для своего спасенія повторила то, что сдѣлалъ Альфъ, когда онъ бѣжавъ на родину остался христіаниномъ и обратилъ жену въ христіанство. Подобная постановка вопроса не только совѣмъ-бы разстроила планъ поэта, заключавшійся въ перенесеніи дѣйствія въ исчезнувшую языческую Литву, но она сдѣлала-бы безцѣльнымъ самъ подвигъ Валленрода. Наконецъ эта постановка сдѣлала-бы вполне невозможнымъ одно дѣйствующее лицо уже весьма неправдоподобное въ томъ даже видѣ, въ какомъ его задумалъ поэтъ, а именно лицо вайделота Гальбана. Этотъ нѣмецкій плѣнникъ, оставаясь языческимъ жрецомъ, вдохнулъ въ душу Альфа ненависть къ нѣмцамъ, онъ и бѣжалъ съ Альфомъ къ Кейстуту, онъ и участникъ подвига Альфа заключающагося въ томъ чтобы достигнуть власти въ орденѣ. Самъ онъ сдѣлался монахомъ и духовникомъ grosмейстера. По замыслу Мицкевича Гальбанъ—хранитель литовской старины, слѣдовательно прежде всего вѣры предковъ. Только представляя Литву въ видѣ сплошнаго цѣлаго,

Мицкевичъ могъ оставить насъ въ неизвѣстности дѣйстви-тельно-ли Гальбанъ притворный монахъ, а въ сущности жрецъ Перкунаса, язычникъ онъ или христіанинъ, во всемъ-ли онъ или не во всемъ единомышленникъ и сподвижникъ Валленрода. Какъ только-бы Литва представилась въ движеніи развитія, съ отдѣляющимися отъ старины прогрессивными элементами, проникающимися иноземною культурою, Гальбанъ потерялъ-бы значеніе воплощеннаго народнаго преданія, которое онъ олицетворяетъ собою въ поэмѣ. И такъ историческая правда не стѣснила поэта и не обрѣзала крыльевъ у его фантазіи. Теперь я докажу что онъ умѣлъ изображать страны, которыхъ нѣтъ на картѣ и царей которыхъ нѣтъ въ исторіи. Такова вся баллада *Альпухара*, которую Мицкевичъ влагаетъ въ уста Валленроду.

На первый взглядъ сюжетъ поэмы — мсть побѣжденнаго народа къ народу побѣдителю: «хотите знать какъ мстятъ литовцы нѣмцамъ»? До развязки поэмы, въ то время когда она еще неуяснилась возбужденному его вниманію слушателей, самъ герой, чтобы сбить съ толку недоумѣвающихъ нѣмцевъ предлагаетъ дублиру того же искомаго сюжета но въ формѣ гораздо болѣе грубой и первичной (Арабы нѣкогда отмщали столь сурово) уже невозможной въ XIV вѣкѣ, при большой обширности государствъ и при большей усложненности бытовыхъ отношеній, мсть по правилу: погибай я, но погибнешь и ты. Одинъ изъ послѣднихъ царей мавровъ въ Испаніи, городъ котораго Альпухара, завоеванъ испанцами бѣжить въ Гренаду—гдѣ чума, нарочно зачумляется, возвращается къ испанцамъ, просится въ ренегаты, а затѣмъ братаясь съ испанцами лобызаетъ ихъ и зачумляетъ своихъ враговъ: «Синъ я и блѣденъ, Гяуры, смотрите—Чей угадайте посоль?—Васъ обманулъ я, въ чумѣ пропадете: Я изъ Гренады пришелъ. Пролили въ душу мои вамъ лобзанія—Ядъ что васъ долженъ пожрать. Вы на мои поглядите страданія—Такъ вѣдь и вамъ умирать»! Картина поразительная, совсѣмъ романтическая, скажу



болѣе: байроновская. Далѣе того неидетъ энергія мести облагороженной любовью къ родинѣ. Она почти столь-же великая, и потрясающая какъ сожженіе русскими Москвы въ 1812 году. Все дѣйствіе этой мести совершается въ небываломъ, ни во времени, ни въ пространствѣ. Нѣтъ города ни крѣпости *Alpujarras*, а есть того имени горный отрогъ крутой и мало обитаемый между Сіеррою Нэвадою, у подножья коей расположена Гренада и моремъ. Исторія не знаетъ ни царя ни эмира маврскаго Альманзора. Само слово Альманзоръ или вѣрнѣе El-Mansour есть прозвище: «побѣдоносный». Этотъ титулъ присвоилъ себѣ великій человекъ Ибнъ-Абу-Амиръ (умершій 1002 г.) визирь ничтожнаго по уму и характеру Кордовскаго калифа Гишама II. Этотъ Эль—Мансуръ довелъ до апогея могущество мавровъ въ Испаніи, въ 997 г. взявъ Сантъ—Яго въ Галиціи, забралъ оттуда и повѣсилъ въ Кордуанской мечети, какъ трофеи, колокола великой святыни христіанской. Послѣ него калифатъ палъ, рассыпался на отдѣльные города и эмирства, христіане отняли у мавровъ въ 1085 году Толедо, въ 1236 Кордову, въ 1251 Севилью. На югѣ держались еще крошечныя маврскія государства, несамостоятельныя, иногда даже состоящія вассальными владѣніями по отношенію къ Кастиліи. Они держались не матеріальною силою, но тѣмъ что дипломатизировали, держали балансъ между христіанскими государствами и между волною ислама приливающей порою изъ Африки (наѣзники берберы). Они точно вели шахматную игру и озадачивали болѣе грубыхъ сѣверныхъ варваровъ — испанцевъ, чудесами своей оригинальной культуры. Притомъ эти эпигоны маврской цивилизаціи были толерантны, наконецъ извѣстно, что исламъ есть ученіе несовмѣстимое съ любовью къ родинѣ локализованною, прикрѣпленною къ извѣстной землѣ, къ гробамъ отцовъ, къ извѣстной природѣ. Это религія кочеваго племени разливающаяся по лицу земли какъ морская волна и притомъ религія фаталистовъ, безропотно поддающихся совершив-

пемуся факту, какъ повелѣнію Аллаха. Типическимъ выраженіемъ этой покорности судьбѣ можетъ служить увѣковѣченный преданіемъ «вздохъ Мавра» (*Sospiro del Mogo*), то есть плачь сдавшаго Гренаду въ сто лѣтъ послѣ Валленрода (2 Января 1492 г.) маленькаго царька *el rey Chico* Абу-Абдаллы-Магомета или Боабдила. Прекрасна баллада Альпухара, но она столь мало исторична, какъ польскій король Василій и московскій князь Астольфъ въ знаменитой драмѣ Кальдерона *La vida es sueño* (Жизнь есть сонъ).

Небудемъ оспаривать у фантазіи права создавать произведенія изъ чего бы то ни было, изъ воздуха, изъ песку, изъ чистѣйшихъ вымысловъ, но совсѣмъ устранивъ вопросъ о матеріалѣ, мы не можемъ не требовать чтобы эта фантазія была послѣдовательна, строила правильно и симметрично и соблюдала смыслъ въ постройкѣ. Самъ Мицкевичъ не былъ съ этой стороны доволенъ Валленродомъ, онъ признавалъ его произведеніемъ несовершеннымъ и даже неудавшимся. Въ письмѣ, писанномъ въ началѣ 1828 г. (IV, 102) онъ заявляетъ, что первоначально намѣревался написать двѣ отдѣльныя повѣсти, одна должна была начинаться съ описанія заразы, то есть съ того дивнаго апофеоза народной были, которая озаглавлена «пѣснь Вайделота» (О была народная! Ковчегъ завѣта ты—Давно минувшаго съ живымъ ты единеніе. Въ тебя кладетъ народъ бойца вооруженіе — И пряди думъ своихъ и чувствъ своихъ цвѣты...), а слѣдовательно и повѣсть того же Вайделота о томъ, какъ воспитывался юный Вальтеръ у нѣмцевъ, какъ вайделотъ внушалъ ему: «ты не невольникъ: одно у рабовъ есть оружіе — измѣна», какъ Вальтеръ прислушивался на берегу морскомъ какъ ежеминутно «Новая гидра съ пескомъ несется—Бѣлые плѣсы разширить живой материкъ уничтожить», какъ потомъ Вальтеръ вернувшись на родину «Счастія въ домѣ не встрѣтилъ, потому что его не нашлось въ отчизнѣ»; какъ наконецъ онъ бѣжитъ изъ Литвы невѣдомо куда съ адскимъ, тай-

нымъ, но патріотическимъ замысломъ. Если бы весь рассказъ развертывался такимъ образомъ хронологически и прямолинейно, то въ первую часть поэмы попало бы все относящееся до Вальтера, а вторую бы заняли исключительно судьбы Конрада, его предательскій подвигъ, причемъ Конрадъ, какъ ни замаскированъ по отношенію къ нѣмцамъ, былъ бы въ глазахъ читателя со-всѣмъ понятенъ и насквозь прозраченъ... Всякая сильная страсть, воцарившаяся въ душѣ, наполняетъ ее собою нераздѣльно, дѣлаетъ человѣка равнодушнымъ ко всему остальному. Представимъ что это воцарившееся въ душѣ чувство—мечь, и притомъ не личная а національная, имѣющая въ глазахъ увлекающагося ею человѣка всѣ признаки священнаго долга; она несомнѣнно притупляетъ у него и приводитъ въ безчувственное состояніе самую совѣсть. Есть въ poemѣ прелестные стихи вложенные въ уста Вальтеру — Альфу: «Сердца великія ульямъ великимъ подобны, Альдона, Медь ихъ наполнить не можемъ, гнѣздомъ они ящерицъ стануть». Если Альфъ пожертвовалъ идеѣ мести всѣмъ своимъ существомъ, то улей уже наполненъ по самые края и нѣтъ въ немъ больше пустаго пространства. Такой умъ идейный, устремленный въ одну только точку—страшная сила способная произвести ужасающія опустошенія. То что совершить эта сила можетъ быть предметомъ поэзіи, но сама дѣйствующая личность героя не поэтична. Нѣтъ въ мірѣ ничего болѣе отталкивающаго и жестокаго, какъ изувѣрство, будь оно религіозное или національное или политическое. Выродившемуся въ такого фанатика Конраду была бы сущю помѣхою любовь Альдоны, онъ бы ее оттолкнулъ. Ему не нуженъ былъ бы и подстрекатель въ лицѣ Гальбана. Даже въ предсмертный часъ Конраду не пришлось бы сказать: «какой я одинокій!.. Кому же гдѣ и что предъ смертью въ часъ жестокой—Васъ исключая двухъ я могъ бы передать»!.. Между тѣмъ разбиравшіе поэму критики наталкиваются въ poemѣ на исполненные нѣжности сцены ночныхъ

бесѣдъ Конрада съ отшельницею, они видятъ какъ онъ терзается, какъ колеблется передъ подвигомъ, какъ отдаляетъ и этотъ подвигъ и развязку. Еще въ 1830 г. Маврикій Мохнацкій обвинялъ Мицкевича въ непослѣдовательности, призналъ все построение поэмы неудачнымъ не смотря на чудесныя подробности, строго осудилъ богатырскій эпосъ за любовную, романическую часть, за нѣжничаніе сѣдаго Альфа съ сѣдою Альдоною, которое приличествовало бы развѣ Густаву и Марыли. Этотъ взглядъ до того укоренился, что его одинъ за другимъ воспроизводятъ позднѣйшіе критики вплоть до Петра Хмѣлёвскаго (А. М. 1885 г. 1,412). Въ виду колебаній Конрада въ моментъ наступившаго дѣйствія Іосифъ Третьякъ (Pamiętnik Mickiewiczowski, I, Lwów 1887), находитъ что въ видоизмѣненной противъ первоначальнаго замысла поэмѣ герой собственно не Конрадъ впечатлительный и нервный, а Гальбанъ — укротитель его въ припадкахъ пьянства и руководитель или подстрекатель въ дѣлѣ мести, Гальбанъ же есть ничто иное, какъ олицетвореніе новой романтической поэзіи, которая рождаетъ подвиги, а эти подвиги въ свою очередь вдохновляютъ поэзію, чѣмъ и устанавливаются связь и круговращеніе поэзіи съ жизнью и жизни съ поэзіей. Еще болѣе разногласія существуетъ относительно нравственной оцѣнки личности Конрада. Одни гнушались идеею мести, какъ не христіанскою и безнравственною (берлинскій профессоръ Цыбульскій), другіе видѣли въ ней отраженіе пережитой поэтомъ эпохи заговоровъ (Бѣлциковскій). Третьи (Третьякъ) считаютъ предательство случайнымъ и второстепеннымъ обстоятельствомъ и восторгаются въ поэмѣ любовью къ родинѣ безпредѣльною, доведенною до наивысшаго своего выраженія. Если въ шестьдесятъ лѣтъ по написаніи поэмы господствуетъ еще такое разномысліе въ критикѣ, то это доказываетъ необычайную глубину содержанія поэмы, неисчерпаемость замысла. Сколько бы не писали о Гамлетѣ—еще останется многое недосказанное. Почти то же можно сказать

и о Валленродѣ. Одно только несомнѣнно явствуетъ изъ выводовъ, до сихъ поръ сдѣланныхъ критикою, что совсѣмъ наперекоръ заключенію Мохнацкаго въ поэмѣ есть подробности, не подходящія къ цѣлому, есть лоскуты сентиментальности, напоминающіе первую манеру Мицкевича, Сень-При, Вертера, на примѣръ грезы сѣдыхъ любовниковъ о цвѣточкахъ ковенской долины, отказъ отшельницы бѣжать съ Конрадомъ, чтобы не потерять иллюзій молодости, увидавъ себя старыми и завядшими, но эти подробности забываются, потому что общее впечатлѣніе весьма сильно, а это общее впечатлѣніе заключается въ томъ, что Конрадъ высѣченъ изъ одного куска гранита, что возможно только при предположеніи, что онъ съ такою цѣльностью и задуманъ съ начала поэтомъ. Тѣ измѣненія которыя по разнымъ причинамъ испортили строй поэмы (*zepsuły układ*), касались только строя и сдѣланы по соображеніямъ внѣшнимъ, можетъ быть только цензурнымъ, и имѣли можетъ быть ту цѣль, чтобы наложить болѣе густое покрывало на мысль основную. По сей причинѣ, можетъ быть, поэтъ заставилъ Гальбана переодѣваться и разыгралъ съ Гальбаномъ неправдоподобную штуку на пиру, которая была способна раскрыть затѣи обоихъ предателей всякому слушателю, не только хитроумной орденской братіи. Самъ пиръ непомѣрно удлинился и изъ отдѣльнаго эпизода превратился въ главную часть, почти что въ половину поэмы, между тѣмъ какъ самъ подвигъ Конрада изображенъ тонкими, тощими, почти ничтожными штрихами. Поэма явно не симметричная, начата медленнымъ, плавнымъ гексаметромъ, вполне подходящимъ къ дѣйствію, развивающемуся медленно и эпически. Затѣмъ рѣзкое движеніе ускоряется, эпосъ превращается въ почти порывистую драму, которую поэтъ переводитъ на одиннадцатислоговый силлабическій стихъ. Не только рѣзкое становится быстрѣе, но и самъ интерес незамѣтно и съ удивительнымъ искусствомъ перенесенъ съ подвига Конрада на его лицо. Походъ на Литву совершается за-

глазно, за кулисами. Для людей, созерцавшихъ во-очію бѣгство наполеоновской арміи изъ Россіи, никакая поэма не могла бы изобразить болѣе картинно другое подобное же бѣдствіе, случившееся когда-то въ прошедшемъ. Самому Мицкевичу для изображенія гибели орденской арміи приходилось прибѣгать къ личнымъ впечатлѣніямъ 1812 года и картина, достойная кисти Верещагина, была сразу готова, такъ что и прибавлять къ ней было нечего. «Вы видѣли-ль, когда съ приволья тѣхъ полей— Затѣмъ погромомъ вслѣдъ велъ войско упырей... Въ сугробахъ тащатся нестройною гурьбой— Тѣсняются, падаютъ, какъ насѣкомыхъ рой; По трупамъ вновь ползутъ, доколѣ снова груди, Валяясь, увлечетъ на дно ихъ за собой. Одни еще влачатъ хладѣющія ноги, Другіе на ходу застыли у дороги, И мертвецы съ рукой, приподнятой стоять, Какъ тѣ столбы, что путь указываютъ въ градъ». Картина набросана, остальное должно дополнить воображеніе, но вниманіе наше устремлено въ другую сторону. Мы забываемъ погибнувшихъ нѣмцевъ и съ замираніемъ сердца слѣдимъ за перипетіями неизбежно трагической судьбы героя, котораго поэтъ успѣлъ сдѣлать лицомъ, болѣе насъ интересующимъ, нежели его подвигъ, весьма привлекательнымъ и достойнымъ полного ему сочувствія. Спрашивается: какими средствами достигнуть этотъ чудесный общій результатъ?

Мицкевичъ изобразилъ своего героя по типу весьма распространенному въ то время и модному, воцарившемуся послѣ чувствительныхъ людей по темпераменту Руссо, то есть по образу байроновскихъ героевъ энергическихъ, мрачныхъ, не только недобродѣтельныхъ, но вообще болѣе похожихъ на отъявленныхъ злодѣевъ. Конрадъ съ перваго взгляда удивительно похожъ на Корсара или Лару. — Онъ неровный человѣкъ, надломленъ или ударомъ судьбы или волненіемъ страсти, «хоть молодъ заклеименъ печатью онъ страданій, морщинами чела и ранней сѣдиной.» Изрѣдка любитъ онъ кутить съ молодежью, бросать дамамъ съ улыбкою холодной слова

учливой лести, но по малѣйшему намеку становится безчувственъ нѣмъ и глухъ и погружается въ таинственныя думы. Есть въ немъ черты просто порочныя: онъ наединѣ любитъ напиваться. Тогда онъ преображается, лицо горитъ яркимъ румянцемъ, синіе глаза мечутъ молніи, струятся слезы. Онъ поетъ но не на радостяхъ, всѣ струны перебираетъ онъ кромѣ веселыхъ и всѣ выражаетъ чувства кромѣ одного: надежды.— «Невѣрной мыслью онъ гонится опять—въ волнахъ минувшаго за днями упованій—А гдѣ душа его? въ странѣ воспоминаній.» Даже въ моментъ возложенія на него гротескскихъ знаковъ ордена на лицѣ Валленрода промелькнула только слабая улыбка, мгновенно же исчезнувшая: «Такъ блескъ что на зарѣ мракъ тучи разсѣкаетъ — И солнечный восходъ и тучи предрекаетъ.»— Зато послѣ предательскаго его похода на Литву хоть тѣню у него лазурь очей одѣта, сатанинскимъ однако взоръ свѣтился выраженіемъ.— Воспроизведеніе байроновскаго типа было у Мицкевича вполне сознательное, онъ до конца жизни былъ поклонникомъ лорда Байрона и какъ поэта и какъ человѣка, за его искренность, за правду. Онъ объяснялъ въ 1829 г. Одынцу въ Веймарѣ слѣдующее: наиболѣе правды открылъ Шекспиръ въ сердцахъ людей; Байронъ тоже обрѣтается въ правдѣ, но въ правдѣ собственныхъ чувствъ». Въ критической статьѣ: Гёте и Байронъ, набросанной повидимому въ Москвѣ въ тоже время, когда писалъ Валленрода, Мицкевичъ считаетъ Байрона поэтомъ настоящаго, наилучшимъ выразителемъ чувствъ «нашего» вѣка (т. е. первой четверти XIX), отличающагося сильными и бурными страстями, которыя встрѣчая болѣе и болѣе сопротивленія въ законахъ, въ житейскихъ расчетахъ и въ приличіяхъ, приняли характеръ сумрачной тоски совершенно отличный и отъ набожной покорности средневѣковыхъ любовниковъ и отъ веледѣрчивой мечтательности героевъ французскихъ и нѣмецкихъ романовъ. Таковъ поэтический характеръ эпохи въ частной жизни, а въ

общественной явился человекъ собственною силою генія возносящійся и подчиняющій своему уму многіе народы— зрѣлище внушающее самыя печальныя мысли о чело- вѣчествѣ и власти надъ нимъ одного смѣлаго и геніаль- наго лица. Такова по словамъ Мицкевича главная идея эпическихъ произведеній Байрона, списавшаго нѣкото- рымъ образомъ своего Корсара съ Наполеона.— Сопоста- вимъ съ этимъ отрывкомъ другой относящійся къ концу жизни Мицкевича (1842 г. письмо къ Александру Ходзькѣ, Kłosy 1887 № 1159): «развѣ ты думаешь что Байронъ написалъ бы столько великихъ строфъ, еслибы не былъ готовъ покинуть Лондонъ и перство для гре- ковъ? Въ этой готовности кроется секретъ его писатель- ской силы, которую многіе хотѣли бы похитить изъ книгъ его, не изъ его души. Предъ нами дѣло (поль- ское) покрупище греческаго и міръ пошире байронов- скаго; пора, братъ Олесь, дѣлать поэзію»... Извѣстно, что Байронъ, посвящая своего Сарданапала Гёте писалъ что это приношеніе of a literary vassal to his liege lord the first of existing writers. Хотя Мицкевичъ невыразилъ ничего подобнаго, но я полагаю что и онъ питалъ къ Байрону почти такія же чувства, какъ Байронъ къ Гёте.

Каково бы однако не было увлеченіе Байрономъ, еслибы Валленродъ былъ только списанъ съ байронов- скихъ героевъ, мѣсто его въ литературѣ не могло бы быть особенно высокое. Эпохи начинаются не съ копій, а съ творческихъ произведеній, съ оригиналовъ. Не смотря на свою байроновскую внѣшность Валленродъ въ сущности весьма оригиналенъ. Никогда Байронъ не могъ бы поставить задачу поэмы, какъ Мицкевичъ, ни- когда по своему темпераменту онъ не могъ бы ее такимъ образомъ рѣшить. — Байронъ принадлежалъ къ числу неутомонныхъ людей, не созданныхъ для счастья, орга- нически не способныхъ къ нему, потому что ихъ жела- нія безпредѣльны и завѣдомо для нихъ же самихъ не сбыточны, а между тѣмъ они всю жизнь только то и



дѣлають, что пробиваютъ эту стѣну головою (Lara: His madness was not of the head but heart... Онъ не любилъ блаженной середины. — И лишь въ страстяхъ забытія искалъ — Исполненъ бурь съ презрѣніемъ онъ взиралъ На бури тѣ что бороздятъ пучины — Свой-жъ восторги слалъ онъ къ небесамъ Увѣренный что большихъ нѣтъ и тамъ). Независимо отъ сего Байронъ былъ вполне космополитъ, членъ націи гордой, свободной, обезпеченной, покрытой славою и торжествующей тѣмъ что она была душою коалиціи, низвергнувшей Наполеона. Байронъ любилъ горячо свою родину, но любилъ ее любовью еще болѣе странною, чѣмъ лермонтовская. Любя ее онъ постоянно поносилъ ее за то, что она не такова, какая должна бы быть по его понятіямъ; онъ бранилъ ее за *sant*, за чопорность и лицемеріе, за эгоизмъ, за восстановление порядковъ, разрушенныхъ великою революціею, которой восторженнымъ пѣвцомъ былъ Байронъ, всю жизнь свою гонявшійся за призракомъ небывалой и въ сущности невозможной свободы. Не вынося пошлой порядочности Байронъ чернилъ самъ себя и представлялъ себя отъявленнымъ злодѣемъ, какимъ онъ не былъ никогда.

Трудно себѣ представить болѣе противоположныя внѣшнія условія какъ тѣ, въ которыхъ были поставлены Байронъ и Мицкевичъ. Польскій поэтъ принадлежалъ націи, которая по собственной ли винѣ, какъ полагають новѣйшіе ея историки, или по стеченію неблагоприятныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, была въ злополучномъ состояніи и обречена на то, чтобы вести войну за существованіе, войну неровную и такую, въ которой то и дѣло что уходила почва изъ подъ ея ногъ. Нашъ поэтъ былъ по натурѣ, не смотря на свою энергію, человѣкъ добрый, малымъ-довольствующійся и покладистый, какъ бы созданный для счастья. — На первыхъ же его шагахъ въ жизни его личное счастье, во всѣхъ отношеніяхъ возможное, разстроилось отъ житейскихъ расчетовъ и приличій, вслѣдствіе которыхъ любимую жен-

щину у него отняли и выдали за болѣе состоятельнаго человѣка. Вслѣдъ за тѣмъ онъ подвергся новому испытанію, тюрьмѣ и ссылкѣ за свои филаретскія убѣжденія, за тѣ восторги, за тѣ радости, которые ему доставило пребываніе въ чистой, непорочной средѣ школьных товарищей, настроенныхъ на одинъ ладъ и одушевленныхъ любовью къ добру и къ родинѣ.—Тогда то онъ могъ о себѣ сказать «счастія въ домѣ не встрѣтилъ, его не нашелъ и въ отчизнѣ».—Тогда то въ его душѣ установилась твердая рѣшимость, проявившаяся въ свободномъ и на видъ даже веселомъ настроеніи. Онъ рѣшился отъ счастія личнаго отказаться и даже его не искать, жить только для другихъ, добиваться счастія только коллективнаго, бороться за него всѣми средствами до послѣдняго издыханія, *per fas et nefas*, лечь за родину костью и даже больше: положить за нее душу свою, пожертвовать ей даже своею совѣстью. Эту мысль и воплощаетъ Конрадъ. Такую рѣшимость вполне бы одобрилъ древній римлянинъ по извѣстному языческому правилу: *in hostem omnia licita*. Ей бы вѣроятно сочувствовалъ и италіанецъ XIX вѣка, слѣдуя совѣту Макиавелли (*facei un principe conto di mantenere lo stato: i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e di ciascuno laudati*) и подсмѣиваясь что люди вообще просты и легко даютъ себя обманывать. Но у Конрада есть и лучшіе задатки, есть прямота, честность, благородство, естественное отвращеніе къ звѣринымъ приемамъ борьбы, вообще къ лисей хитрости, къ обманамъ, и злоупотребленію довѣріемъ.—Душа героя возмущалась всѣмъ, такъ сказать, своимъ нутромъ противъ адскаго замысла, не смотря на его безспорную необходимость.—Совѣсть Конрада обременяетъ не невысказанное какое-то злодѣяніе, подобное тому, которое омрачаетъ Лару или Манфреда. Ей не даетъ покоя только этотъ острый конфликтъ между замысломъ и совѣстью. Отъ него-то Валленродъ преждевременно состарѣлся и завяль, сталъ напиваться и проклинать само чувство патріотизма, вы-

швырнувшее его изъ обычной колеи: «Закравшись въ колыбель такая пѣснь лукаво—Еще ребенка грудь змѣю обовѣсть, И яды въ духъ ему жестокіе вольетъ Любви къ отечеству и глупой жажды славы!»—Конрадъ знаетъ, что ему нѣтъ отпущенія ни въ сей жизни, ни въ будущей: «хочу я знать впередъ, что ждетъ меня въ аду». Онъ самъ себѣ гадокъ и чувствуетъ свою противную человѣческой природѣ смертоносность. Съ омерзѣніемъ вспоминаетъ онъ, что плакалъ лишь затѣмъ, чтобы умерщвлять. Съ омерзѣніемъ водворяется онъ у враговъ «въ краю обмана и разбоя».—Хотя онъ почти что дошелъ до цѣли, но само дѣло до того противно его натурѣ, что онъ не въ состояніи оторваться отъ башни - отшельницы и что необходимо вмѣшательство Гальбана, чтобы раздуть тухнущее пламя мести. Вернувшись изъ роковаго похода, Валленродъ тѣшится какъ юноша и радъ не тому, что насладился мщеніемъ, но что уже не приходится убивать: «Не выдумаетъ адъ ужаснѣйшаго мщенія, Но человѣкъ я — мнѣ довольно этихъ бѣдъ! Среди лицемѣрія я росъ почти съ рожденія—Среди грабительства... въ преклонныхъ же годахъ Измѣна мнѣ тошна. Негоденъ я въ бояхъ. — Довольно мщенія, вѣдь нѣмцы люди тоже!» — Такимъ образомъ эпосъ незамѣтно превратился въ настоящую трагедію и обрисовалась какъ нельзя рельефнѣе вина героя, ради которой онъ неизбежно долженъ пасть нами же извиняемый и оплакиваемый. — Мы вполне сочувствуемъ его гордымъ словамъ, когда, отравившись, онъ передъ тевтонскими орденскими рыцарями топчетъ гросмейстерскіе знаки, восклицая: «Вотъ жизни всей моей предъ вами прегрѣшенія! — Готовъ я умереть — чего же больше вамъ? — Отчетъ правленія вы выслушать хотите?... Все это сдѣлалъ я! такъ многоснести головъ — однимъ у гидры взмахомъ!»... Онъ не былъ бы конечно великъ, еслибы не запечатлѣлъ своего трагическаго подвига смертью, но и въ моментъ самой смерти онъ человѣченъ и не оправдалъ предска-

заній вайделота: «Пламя мщенія наконецъ охватило и сердце—Всякое чувство въ немъ выжгло и даже сильнѣйшее чувство — Даже и чувство любви услаждене досель его жизни. У бѣловежскаго дуба такъ точно когда звѣроловы Тайный огонь разведутъ, сердцевины глубоко въ немъ выжгутъ — Скоро царь лѣса утратитъ листы, разносимые вѣтромъ, Съ вѣтромъ слетятъ и его вѣтки и даже послѣдняя зелень, Дубъ украшавшая прежде, засохнетъ корона омѣлы». — Огонь не выжегъ сердцевины, уцѣлѣла омѣла и зелени столько, что произведеніе не въ отдѣльныхъ подробностяхъ, а въ цѣломъ составѣ великолѣпно и безсмертно. Оно изображаетъ одно изъ благороднѣйшихъ чувствъ человѣка — любовь къ отечеству, доведенную до наивысшей интензивности, дѣйствующее почти вулканически, но неосновательно было бы усматривать въ Валленродѣ апоѳеозъ мести, возведеніе мести въ идеалъ. Поставленъ только вопросъ о мести, рѣшаемый скорѣе отрицательно. Послѣдующіе писатели разрабатывали ту же предложенную Мицкевичемъ тему и Иридіонъ Красинскаго заканчиваетъ эту валленродовскую литературу осужденіемъ мести и установленіемъ правила, что чистыя цѣли должны быть достигаемы лишь безусловно чистыми средствами.

## IX.

Пятилѣтнія странствованія Мицкевича по Россіи (1824—1829 Одесса, Москва, Петербургъ) и затѣмъ двухлѣтнія (1829—1831) по западной Европѣ (Веймаръ, Римъ) даютъ богатѣйшій матеріалъ для жизнеописанія Мицкевича, но въ количественномъ отношеніи его творчество какъ будто убыло и истощилось, стало давать лишь изрѣдка, хотя и отборные и ароматическіе цвѣточки. Весь поглощенный обществомъ, изучаемымъ имъ съ любопытствомъ, вращаясь среди тончайшихъ умовъ своего вѣка, импровизируя, расточая свой талантъ на альбомныя записи, рѣшая въ салонныхъ диспутахъ

смѣло, быстро и авторитетно всевозможные вопросы искусства, политики и международных отношеній, Мицкевичъ несомнѣнно изощрялъ свой умъ и накоплялъ громадное количество впечатлѣній, послужившихъ ему въ видѣ запаса въ будущемъ, но по натурѣ онъ былъ прежде всего поэтъ сердца, а сердцу давала мало пищи та жизнь разсѣянная, вся въ вихрѣ свѣтскихъ удовольствій, которую онъ велъ теперь.—Постороннему поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что онъ видитъ человѣка, отрывающагося отъ почвы, которая его вдохновляла и отъ которой онъ получалъ новый приливъ силы всякій разъ, когда онъ къ ней обращался, что Мицкевичъ превратился въ эстетика-эпикурейца, ищущаго однихъ пріятныхъ ощущеній.—Мицкевичъ читалъ много, слѣдилъ за русскою журналистикою въ органахъ ея московскихъ и петербургскихъ, находилъ, что литературное движеніе здѣсь бойчѣе и отзывчивѣе на заграничныя явленія, чѣмъ варшавское, переиздавалъ свои произведенія, полемизировалъ съ варшавскими классиками и пустилъ въ нихъ громовый ударъ, хлесткую статью «о варшавскихъ критикахъ и рецензентахъ» 1828 г. — Онъ сообщалъ друзьямъ: еслибы я хотѣлъ посылать вамъ всѣ русскіе переводы моихъ поэзій, то вышелъ бы тюкъ большой. Во всѣхъ почти альманахахъ (а ихъ много) помѣщаются мои сонеты, бываетъ по нѣсколько переводовъ одного и того же. Есть и русскіе сонеты въ родѣ моихъ. Русскіе простираютъ свое хлѣбосольство до самой поэзіи и переводятъ меня; толпа слѣдуетъ за писателями, стоящими въ ея главѣ. Хотя эта слава исходитъ часто отъ стола, за которымъ мы ѣли и пили съ русскими литераторами, но я счастливъ, что снискалъ ихъ расположеніе. Не смотря на разныя убѣжденія и партіи, я со всѣми въ дружбѣ и согласіи (мартъ 1827 г. IV, 99). Съ успѣхами въ обществѣ росла и увѣренность поэта въ себя, а также навыкъ рѣшать труднѣйшіе вопросы съ высоты орлинаго полета, интуитивно, метафизически, посредствомъ того инстинкта

сердца, который и составлялъ самъ корень польскаго романтизма. По темпераменту своему вполне и исключительно поэтическому, Мицкевичъ не былъ способенъ къ индуктивному мышленію, но самъ ходъ жизни его располагалъ его къ тому, чтобы пренебрегать методомъ точнаго изслѣдованія, отождествлять чистый разумъ съ черствымъ эгоизмомъ и ужасаться успѣхами матеріальной стороны цивилизаціи, которая знаменуетъ наше время и которая сопровождается, по мнѣнію Мицкевича, соотвѣтствующею убылью вѣры и любви въ сердцахъ. Эти мрачныя предчувствія высказались въ писанной въ С.-Петербургѣ (1828) и затерявшейся потомъ «исторіи будущаго». Исторія эта начиналась съ XXI столѣтія и изображала окончательную побѣду надъ Европою Китая, подавляющаго западъ численностью населенія и всѣми усвоенными отъ Европы хитрыми изобрѣтеніями и открытіями въ области физической природы. Кромѣ Сонетовъ и Валленрода Мицкевичъ написалъ въ Россіи изъ болѣе крупныхъ вещей одного только «Фариса», то есть всадника-араба, вихремъ несущагося по пескамъ пустыни отъ оазиса къ оазису — прелестную кассиду въ чисто восточномъ вкусѣ, исполненную такой удали, такого молодечества, что современные критики доискиваются въ ней иного содержанія и считаютъ ее усовершенствованнымъ двойникомъ «Оды на молодость», воодушевлявшей филаретовъ. Къ пребыванію въ С.-Петербургѣ слѣдуетъ приурочить собственный идеализированный портретъ поэта, начертанный въ позднѣйшемъ отрывкѣ «Петербургъ», приложенномъ къ 3-й части Дѣдовъ, но уже сложившійся въ воображеніи поэта во время пребыванія его въ сѣверной столицѣ. Этотъ портретъ написанъ въ байроновскомъ стилѣ и представляетъ Мицкевича въ видѣ Валленрода. Поэтъ чувствуетъ себя чужакомъ въ этомъ мірѣ, онъ предвкушаетъ мысленно то будущее, которое сулятъ всему западу въ XXI вѣкѣ, чудеса цивилизаціи на азіатской подкладкѣ. Онъ относится враждебно къ окружающему, не къ людямъ—они

добры и любезны, но къ самому государству. Идутъ по улицамъ странники, у нихъ отъ отчаянія опускаются руки и думаютъ они: человѣку этихъ стѣнъ не опрокинуть. Остался пилигриммъ, онъ злобно засмѣялся, поднялъ руку и ударилъ ею камень, точно грозя этому каменному граду и вперивъ взоры, точно два ножа, въ дворецъ. Онъ былъ въ то время похожъ на Самсона, скованнаго и стоящаго межъ столбовъ у филистимлянъ, и омрачилось его блѣдное лицо какъ будто близящаяся ночь прежде всего покрыла его лицо и затѣмъ уже распространялась далѣе.

Мицкевичъ разстался съ Петербургомъ 15 мая 1829 г. и отправился чрезъ Кронштадтъ моремъ по заграничному паспорту не безъ труда исходатайствованному. Въ С.-Петербургѣ онъ писалъ мало, за границую въ первые два года онъ почти ничего не писалъ, муза его какъ будто бы уснула, но умъ несомнѣнно обогащался громаднымъ количествомъ новыхъ впечатлѣній. Въ Берлинѣ онъ выслушалъ двѣ лекціи Гегеля, послѣ чего смутилъ земляковъ восторгавшихся гениемъ Берлинскаго философа замѣчаніемъ, что философъ, который мучить слушателей цѣлый часъ надъ разграниченіемъ двухъ понятій *Verstand* и *Vernunft* должно быть самъ себя не понимаетъ. Во всю жизнь Мицкевича нѣмецкая философія была для него книгою за семью печатями. Мицкевичъ ѣздилъ на поклоненіе къ старику Гёте, исколесилъ всю Италію, по бывалъ даже въ Сициліи, изучилъ Римъ и его музеи и вращался въ трехъ разнородныхъ обществахъ: у княгини Зенеиды Волконской, знакомой ему еще съ Москвы, у блистательной, остроумной Анастасіи Хлюстиной, вышедшей потомъ за мужъ за французскаго дипломата Сиркура (такъ называемой Коринны Дѣпровской) и у графа Анквича. Онъ влюбился въ дочь Анквича Генріетту, но гордый магнатъ далъ ему почувствовать неравенство общественныхъ положеній его семейства и поэта. Трудно опредѣлить сколько бы времени продолжалось усыпленіе поэтическаго творчества у Мицкевича, если бы не по-

слѣдовалъ внѣшній толчекъ, который превратилъ это творчество, бывшее въ скрытномъ состояніи, въ громадную активную силу (въ жизни Мицкевича мы усматриваемъ нѣсколько такихъ толчковъ, имѣвшихъ рѣшающее значеніе). Такимъ толчкомъ было польское возстаніе 1830—1831 годовъ. Мицкевичъ вдругъ преобразился, приобщился всѣми силами души къ національному движенію, сталъ національнымъ Тиртеемъ. Новая любовь была имъ подавлена въ душѣ, вопросы чистаго искусства были забыты, на первомъ планѣ стали этическія задачи. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало обращеніе свободномыслящаго, хотя и доступнаго религіозному чувству человѣка на лоно римско-католической церкви 2 февраля 1831 г., когда онъ исповѣдался и причастился. Блистательный свѣтскій человѣкъ исчезъ, остался необращающій никакого вниманія на внѣшность суровый аскетъ, почти неряха, обрекшій себя добровольно на изгнаніе и на бѣдность, сдѣлавшійся пѣвцомъ такихъ же голодныхъ, какъ онъ самъ, выходцевъ-пролетаріевъ, не получающимъ за свои произведенія даже и грошей.—Новый періодъ въ жизни Мицкевича ознаменовался двумя величайшими его произведеніями: 3-я часть Дѣдовъ и Панъ Тадеушъ, послѣ которыхъ наступилъ послѣдній періодъ мутнаго мистицизма, когда поэтъ пересталъ писать поэзію и предлагалъ ее «дѣлать», когда онъ превратился въ проповѣдника и пророка, когда въ немъ произошла такая же перемѣна, какую мы нынѣ наблюдаемъ въ графѣ Львѣ Толстомъ, въ которомъ точно также пропалъ художникъ, а проявился только учитель-моралистъ. Мицкевича и Толстаго надлежало бы изучать совмѣстно; они родственныя натуры.—Каждый изъ нихъ необыкновенно симпатиченъ и привлекаетъ еще болѣе, можетъ быть, среди своихъ заблужденій, чѣмъ тогда, когда занималъ первое мѣсто, какъ создатель величайшихъ поэтическихъ произведеній своего народа. Когда Мицкевича хоронили 21 января 1856 на кладбищѣ въ Montmorancy, то другъ его, тоже поэтъ Богданъ



Залѣскій, произнесъ на его могилѣ слѣдующія превосходно его характеризующія слова: *Quelque chose de davidéen rayonnait dans son visage, car il portait au front son étoile poétique. Les infortunes et les angoisses dantesques affligèrent et ballotèrent son âme nuit et jour, voila pourquoi il s'irrita interieurement, eut des emportemens passionés, pecha beaucoup, mais aima beaucoup. Il mariait à la simplicité de la pensée la simplicité de l'âme.* — Первымъ по величинѣ поэтомъ своей націи онъ былъ при жизни, такимъ и остался: великій, сильный, удивительно пластичный и удобопонятный. — И онъ и Пушкинъ идя слѣдомъ Горация мечтали о памятникахъ для себя нерукотворныхъ. Мицкевичъ сдѣлалъ слѣдующую парафразу Гораціяева стиха «*exegi monumentum*»: ни съ чѣмъ мой памятникъ по блеску не сравнится — Костюшки славу онъ въ вѣкахъ переживетъ... Ко мнѣ благоволятъ всѣ дочки эконома—Да и помѣщикъ самъ подчасъ благоволитъ, И не боясь таможни и погрома Мои творенія въ Литву привозитъ жидъ»... «О Боже, писалъ онъ въ вступленіи къ Тадеушу, доживуль до тѣхъ временъ счастливыхъ, Когда собраніе сихъ словъ неприхотливыхъ Достигнетъ до Литвы до нашихъ сельскихъ дѣвъ, И дѣвы юныя за прялками присѣвъ» начнутъ пѣть и «дойдутъ и до моихъ простыхъ и бѣдныхъ пѣсенъ, «и будетъ имъ разсказъ мой также интересенъ».—До этой минуты поэтъ не дожилъ, но его желаніе въ послѣдніе годы осуществилось. Съ легкой руки издателей Пушкина пустившихъ въ ходъ его творенія по дешевой цѣнѣ, появились и дешевыя изданія Мицкевича быстро разошедшіяся и въ Россіи и за границую. Можно сказать что извѣстность его, любовь къ нему и изученіе его произведеній найдутся еще въ періодѣ непрерывнаго возрастанія.



# Пушкинъ и Мицкевичъ

У

ПАМЯТНИКА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.



# Пушкинъ и Мицкевичъ

У

## ПАМЯТНИКА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

I.

Весною 1832 г., въ Дрезденѣ написаны А. Мицкевичемъ третья часть «Дѣдовъ» и состоящій съ этою частью поэмы въ связи эпизодъ «Петербургъ»; онъ посвященъ «друзьямъ-москалямъ» и подраздѣленъ на шесть картинокъ-отрывковъ. Въ одномъ изъ этихъ отрывковъ, озаглавленномъ: «Памятникъ Петра Великаго», имѣются два стиха, опредѣляющіе отношеніе Мицкевича къ «поэту русскаго народа, прославившемуся пѣснопѣніями по всему сѣверу»:

Znali się z sobą nie długo, lecz wiele,  
I od dni kilku już są przyjaciele...

— «они знакомы были не долго, но много, и стали друзьями тому назадъ нѣсколько дней». Тонъ яснаго спокойствія, господствующій въ отрывкѣ, теплота чувства и полное довѣріе къ Пушкину тѣмъ болѣе заслуживаютъ вниманія, что въ промежуткѣ между моментомъ, когда началось знакомство поэтовъ, и тѣмъ, когда писался отрывокъ, пронеслись бурнымъ шкваломъ полити-

ческія событія, вслѣдствіе которыхъ «двѣ горныя вершины» уже были раздѣлены не одною «малою струею горнаго потока», но, можно сказать, цѣлою глубиною океана; онѣ не клонились по прежнему одна къ другой, но отвернулись и приняли противоположныя направленія. Въ письмѣ, писанномъ въ іюлѣ 1831 г. къ графу А. Х. Бенкендорфу, Пушкинъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи ему издавать политическій и литературный журналъ, который бы приблизилъ къ правительству людей, ему полезныхъ, еще дичащихся по напрасному предположенію, что оно непріязненно къ просвѣщенію.<sup>1)</sup> Еще въ концѣ 1831 года В. А. Жуковскій и А. С. Пушкинъ издали сообще: «На взятіе Варшавы, три стихотворенія», изъ которыхъ два принадлежатъ Пушкину: «Клеветникамъ Россіи», отъ 2-го августа, и «Бородинская годовщина», отъ 5-го сентября 1831 г. Этотъ сборникъ пользовался съ самаго его появленія громкимъ и всеобщимъ успѣхомъ, котораго отголоски не могли не доходить до Мицкевича во время его пребыванія въ Познани и въ Дрезденѣ. Сборникъ былъ искреннимъ выраженіемъ тогдашняго настроенія чувствъ обоихъ авторовъ. Подвинули ихъ на то самыя разнообразныя мотивы: патріотизмъ, пробужденный польскимъ мятежемъ; волненіе, распространившееся по всему русскому обществу; полная общность и самихъ поэтовъ, и всего народа, въ этомъ направленіи, съ правительствомъ; наконецъ, могла быть тутъ и извѣстная увѣренность въ томъ, что въ этомъ направленіи легче возвратить извѣстную свободу литературѣ, которою она не пользовалась бы при всякомъ другомъ направленіи. Всѣ три стихотворенія написаны уже послѣ одержанной побѣды, въ первые дни скитанія за границей ушедшихъ туда побѣжденныхъ, которые это скитаніе величали именемъ

---

<sup>1)</sup> См. «Сочиненія А. С. Пушкина», т. VII, № 296 (Спб. 1887) въ изданіи Литературнаго Фонда, на которое мы будемъ ссылаться и впослѣдствіи.

«польскаго пилигримства». Надобно, однако, отдать полную справедливость Пушкину, что онъ весьма бережливо и осторожно касался ранъ, наболѣвшихъ у поляковъ:

Въ бореише падшій невредимъ;  
Враговъ мы въ прахъ не топтали...  
Мы не сождемъ Варшавы ихъ;  
Они народной Немезиды  
Не узрятъ гнѣвнаго лица,  
И не услышатъ пѣснь обиды  
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Одна только особенность невѣрно звучить въ этихъ стихахъ, какъ очевидная несообразность въ сравненіи— это намекъ по поводу Варшавы на сожженіе Москвы въ 1812 году. Мы готовы признать ее за простой *lapsus calami*. Вѣдь пожаръ Москвы приписывается не побѣдителямъ, и считался всегда чѣмъ-то въ родѣ баллады «Альпухара» въ поэмѣ «Валленродъ»; пожаръ приписывается самимъ жителямъ Москвы, а не взявшимъ ее французамъ. Самъ Пушкинъ прославлялъ не разъ этотъ пожаръ, какъ великій подвигъ со стороны русскихъ («Наполеонъ», «Рославлевъ»).

Мы сказали, какимъ образомъ сборникъ «На взятіе Варшавы», былъ въ свое время принятъ въ русскомъ обществѣ всѣми, за исключеніемъ, впрочемъ, близкаго друга обоихъ поэтовъ, князя П. А. Вяземскаго отнесшагося, какъ извѣстно, къ тому сборнику весьма строго (см. Полн. собр. сочин., т. IX, 1884, стр. 156—159). въ слѣдующихъ словахъ: «Смѣшно когда Пушкинъ хвастается: мы не сождемъ Варшавы ихъ. И вѣстимо, и вѣстимо потому что потомъ пришлось бы намъ застроить ее. Вы такъ уже сбились съ пахвей въ патріотическомъ восторгѣ что не знаете на чемъ рѣшиться, что у васъ Варшава, то непріятельскій городъ, то нашъ посадъ... Что за святотатство сочетать Бородино съ Варшавой? Какъ можно въ наше время видѣть поэзію въ бомбахъ, въ палисадахъ?.. Какая тутъ чертъ поэзія въ томъ что

насъ выгнали изъ Варшавы, за то что мы не умѣли владѣть ею... Вотъ воспѣвайте правительство за такія мѣры, если у васъ колѣна чешутся и непременно надобно вамъ ползать съ лирою въ рукахъ». — Но въ защиту Пушкина слѣдуетъ, однако, привести то обстоятельство, что гораздо раньше польскаго мятежа 1830 г. онъ сознавалъ рознь и антагонизмъ двухъ главныхъ сѣверно-славянскихъ національностей, изъ коихъ ни одна другой не уступала. Въ новомъ изданіи Пушкина (I, 334) появился отрывокъ, помѣченный 1824 г. и посвященный неизвѣстному намъ графу О., поляку и поэту, котораго начальные стихи перепли почти цѣликомъ въ стихотвореніе «Клеветникамъ Россіи».

Пѣвецъ! издревле межъ собою  
Враждуютъ наши племена,  
То наша стонетъ сторона,  
То гибнетъ ваша подъ грозою.

Антагонизмъ въ глазахъ поэта — явленіе вполне естественное и вѣковѣчное, допускающее одно лишь исключеніе:

Но огонь поэзіи чудесной  
Сердца враждебныя мирить.

Несомнѣнно, въ душѣ Пушкина задолго до 1830 года хранились зародыши тѣхъ чувствъ, которыя потомъ высказались въ стихахъ: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». Далѣе, въ защиту Пушкина противъ кн. П. А. Вяземскаго нельзя не привести также и того обстоятельства, что даже послѣ мятежа 1830 года, послѣ борьбы и побѣды, онъ никогда не переставалъ признавать въ побѣжденныхъ близкихъ людей и единоплеменниковъ; онъ скорбѣлъ о борьбѣ, онъ считалъ ее однимъ изъ эпизодовъ той вѣковой семейной вражды, которая кончится когда нибудь въ будущемъ исцѣленіемъ ранъ, примиреніемъ. Ему противно только то, что вступаются въ это дѣло чужіе люди, въ особенности французы. Въ письмѣ къ кн. П. В. Голицыну (XII, №



412) Пушкинъ поясняетъ (ноябрь, 1836), что онъ хотѣлъ «donner sur le nez à toutes les vociferations de la chambre des députés». Извѣстно обращеніе, въ «Бородинской годовщинѣ», къ иностраннымъ писателямъ и ораторамъ:

Но вы, мучители палатъ,  
Легкоязычные витія,  
Вы—черни бѣдственный набатъ,  
Клеветники, враги Россіи!

При подобныхъ условіяхъ задачи трудно однако оставаться вполне безпристрастнымъ, особенно по отношенію къ врагамъ. Воспѣвая побѣду, нельзя было, наконецъ, воздержаться отъ хулы, несмотря на всѣ свои дружественныя отношенія къ Мицкевичу.

Мицкевичъ зналъ о перемѣнахъ, происшедшихъ въ расположеніи къ польскому вопросу бывшихъ его знакомыхъ, петербургскихъ и московскихъ. Ихъ голоса, теперь для него прямо враждебныя, и вызвали съ его стороны краткое, но ѣдкое посвященіе эпизода «Петербургъ» въ 3 части «Дѣдовъ» «друзьямъ-москалямъ»; оно обращено не къ какому-нибудь опредѣленному лицу или лицамъ, а ко всѣмъ тѣмъ, которые, бывъ его пріятелями, обрушились теперь на него. Нѣтъ ни малѣйшихъ указаній на то, чтобы это посвященіе мѣтило, между прочимъ, и въ Пушкина. Ни въ писанномъ Мицкевичемъ некрологѣ Пушкина, въ «Globe», 25-го мая 1837 г., ни въ лекціяхъ о славянскихъ литературахъ, читанныхъ въ «Collège de France», Мицкевичъ не коснулся ни разу дѣятельности Пушкина, какъ поэта-бойца въ національной и политической русско-польской борьбѣ. Въ памяти Мицкевича Пушкинъ навсегда остался такимъ, какимъ онъ былъ въ 1828 г., безъ малѣйшаго измѣненія. Очевидно, что Мицкевичъ всегда созерцалъ Пушкина съ точки зрѣнія тѣхъ «душъ, возвышающихся надъ земными препятствіями», которыя парятъ въ эфирной вышинѣ и не ниспускаются на землю безъ крайней къ тому необходимости, вытекающей изъ понятія долга—народнаго или общественнаго. Съ политикомъ-Пушкинымъ

Мицкевичъ не хотѣлъ примиряться, но онъ не хотѣлъ Пушкина судить, и дѣйствовалъ, какъ будто бы совсѣмъ не зналъ, что Пушкинъ писалъ что-либо когда-нибудь какъ политикъ.

Была ли между поэтами взаимность по отношенію къ ихъ политическимъ убѣжденіямъ? Относился ли Пушкинъ къ Мицкевичу съ такою же уступчивостью, съ такимъ же снисхожденіемъ? Взаимность была, но не столь полная, не столь совершенная. Мицкевичъ принадлежалъ къ весьма небольшому числу людей, которые внушали Пушкину уваженіе. Пушкинъ занимался произведеніями Мицкевича не только послѣ отъѣзда Мицкевича изъ Россіи (1829), но и послѣ мятежа 1830 г. Въ «Сонетѣ» (1830) Пушкинъ писалъ: «Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной, — Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный Свои мечты мгновенно заключалъ». Въ «Отрывкахъ изъ путешествія Онѣгина», среди воспоминаній объ Атридахъ и Митридатѣ, помѣщены стихи: «Тамъ пѣлъ Мицкевичъ вдохновенный, — И посреди прибрежныхъ скалъ — Свою Литву воспоминалъ» (III, 407). Еще въ 1828 г. Пушкинъ перевелъ введеніе къ «Валленроду»; въ 1833 г. въ Болдинѣ онъ перевелъ «Будрыса» и «Воеводу» (III, 151, 153). Въ XV главѣ повѣсти «Дубровский» (IV, 197) Пушкинъ изображаетъ такимъ образомъ работы на пяльцахъ героини Марьи Кириловны: «она не путалась шелками подобно любовницѣ Конрада, которая, въ любовной разсѣянности, вышила розу зеленымъ шелкомъ». Въ 1833 г., Пушкинъ имѣлъ уже въ рукахъ третью часть «Дѣдовъ», потому что въ припискахъ къ оконченному и перебѣленному въ Болдинѣ 31-го октября 1833 г. «Мѣдному Всаднику» онъ похваляетъ яркость красокъ въ изображеніи петербургскаго наводненія въ отрывкѣ «Oleszkiewicz», входящемъ въ составъ эпизода «Петербургъ» (III, 564). Числомъ «10-го сентября 1834 г. Спб.», помѣченъ найденный въ бумагахъ Пушкина отрывокъ въ 20 стиховъ безъ всякаго заглавія, изображающій

несомнѣнно Мицкевича и характеризующій его чертами, исполненными глубокаго уваженія и сердечнаго сочувствія: «Злобы въ душѣ своей къ намъ не питаль онъ... Мирный, благосклонный, онъ вдохновенъ былъ свыше и съ высоты взираль на жизнь... Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ, когда народы, распри позабывъ, въ великую семью соединятся»... Въ этомъ художественномъ изображеніи замѣчается, однако, и доля непріязненной критики:

Нашъ мирный гость сталъ намъ врагомъ; и нынѣ,  
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной,  
Поетъ онъ *ненависть*... О, Боже, возврати  
Твой миръ въ его озлобленную душу!..

До того числа (10-го авг. 1834), которымъ помѣченъ отрывокъ Пушкина изъ сочиненій Мицкевича, были распространены только третья часть «Дѣдовъ» съ «Петербургомъ» и «Книги польскаго народа и паломничества». Печатаніе «Пана Тадеуша» кончено только въ іюлѣ 1834, слѣдовательно этотъ эпосъ никакъ не могъ быть въ Петербургѣ извѣстенъ. Слова: «поетъ онъ ненависть», очевидно, относятся къ стихамъ—не къ прозѣ, и притомъ не къ такому дидактическому произведенію, какъ «Книги польскаго народа и паломничества», которымъ подражалъ потомъ по формѣ Лямнэ въ «Paroles d'un Croyant». Изъ совокупности такихъ данныхъ слѣдуетъ выводъ, что обвиненіе въ воспѣваніи ненависти направлено противъ Мицкевича за третью часть «Дѣдовъ» и, вѣроятно, за посвященіе «Петербурга». Собственно, у Мицкевича нельзя найти ни возбужденія къ международной ненависти, ни подстрекательства соотечественниковъ къ возстанію 1830 г. Онъ не принималъ въ мятежъ участія и избѣгалъ всякихъ клубовъ и сборищъ съ политическимъ оттѣнкомъ. Не только буйной, но и никакой вообще черни не было между заграничными выходцами. Послѣ побѣдъ, послѣ подавленія мятежа, онъ сдѣлался, по доброй волѣ, эмигрантомъ. Событія 1830 г. вырыли между обоими поэтами бездонную про-

пасть и поставили ихъ на двухъ противоположныхъ полюсахъ въ жгучемъ вопросѣ. Они скорѣе повліяли на Пушкина, нежели на Мицкевича. На Пушкина подѣйствовало очнувшееся въ массахъ патріотическое чувство, всегда увлекающее отдѣльныхъ людей всею силою инстинкта. Пушкинъ измѣнился, но не хотѣлъ признать въ себѣ этой перемѣны, и укорялъ Мицкевича въ непоследовательности, въ безпричинной ненависти, вмѣсто прежней любви. Впрочемъ, такъ какъ перемѣна въ Мицкевичѣ, о которой сожалѣлъ Пушкинъ, касалась только политики, во всемъ же остальномъ Пушкинъ не пересталъ цѣнить и высоко уважать въ Мицкевичѣ человека и великаго поэта, то въ исторіи сохранится навсегда красивый слѣдъ ихъ кратковременнаго сближенія, фиксированный въ картинѣ, съ которой начинается «Памятникъ Петра Великаго» у Мицкевича <sup>1)</sup>:—«вече-

---

<sup>1)</sup> Считаю нелишнимъ привести здѣсь сужденія польскаго поэта о произведеніяхъ русскаго пѣвца, высказанныя Мицкевичемъ, какъ въ некрологѣ Пушкина, такъ и въ курсѣ славянскихъ литературъ.

Къ числу произведеній Пушкина въ чисто Байроновскомъ духѣ Мицкевичъ относитъ «Кавказскаго Плѣнника» и «Бахчисарайскій Фонтанъ». Въ нихъ Пушкинъ не столько байронистъ, то-есть подражатель Байрону, сколько байронствующій (*bytoniaque*), то-есть вдохновляющійся Байрономъ. Поэмы «Цыгане» и «Мазепа» (? т.-е. Полтава) знаменуютъ явный успѣхъ, характеры сильнѣе обрисованы, слогъ свободнѣе отъ романтической утрировки, только форма остается байроновская и мѣшаетъ свободѣ творчества. Въ выборѣ историческихъ сюжетовъ, въ заботливости о мѣстномъ колоритѣ, сквозитъ несознаваемое, можетъ быть, самымъ Пушкинымъ вліяніе Вальтеръ-Скотта. Красивѣйшимъ, оригинальнѣйшимъ и народнѣйшимъ созданіемъ Пушкина Мицкевичъ считаетъ «Онѣгина», которое будетъ читаемо во всѣхъ славянскихъ земляхъ и навсегда останется памятникомъ той эпохи. Началось оно съ подражанія байроновскому «Донъ-Жуану», но затѣмъ Пушкинъ сумѣлъ создать его самостоятельно, и сдѣлалъ вполне своеобразнѣе. Сюжетъ и лица взяты изъ дѣйствительности, изъ частной жизни. Произведеніе содержитъ въ себѣ множество трагическихъ мотивовъ и сценъ изъ высшей комедіи. Содержаніе поэмы весьма простое—исторія двухъ влюбленныхъ паръ: одинъ герой гибнетъ на дуэли, другой герой сходитъ со сцены и появляется только въ концѣ романа. Это содержаніе слишкомъ скромное, недостаточное для большой поэмы, но въ сценахъ жизни домашней, въ пейза-

ромъ на дождѣ стояли оба юноши, взявшіеся за руки и подъ однимъ плащемъ» <sup>1)</sup>).

Они были ровесники: Мицкевичъ родился 24-го декабря 1798 г., въ Новогрудкѣ; Пушкинъ — 26-го мая 1799 г., въ Москвѣ. Роковая пуля Дантеса похитила Пушкина 29-го января 1837 г., въ самомъ цвѣтѣ художественнаго развитія. Мицкевичъ скончался 26-го но-

жахъ, Пушкинъ нашелъ много мотивовъ, частью комическихъ, частью трагическихъ и романтическихъ. Пушкинъ не столь плодovitъ, какъ Байронъ, не столь богатъ, онъ не подымается столь высоко въ своемъ пареніи, не погружается столь глубоко въ сердце человѣческое, но онъ правильнѣе Байрона, и отдѣлка формы у него старательнѣе. Дивный слогъ его мѣняетъ ежеминутно видъ и цвѣтъ, отъ оды нисходитъ до эпиграммы; попадаются часто сцены грандіозныя, почти эпическія. Поэма проникнута болѣе жгучею тоскою, чѣмъ въ произведеніяхъ Байрона. Вскормленный романами, раздѣлявшій чувства своихъ друзей, молодыхъ и порывистыхъ либераловъ, Пушкинъ испыталъ жестокое разочарованіе, вслѣдствіе чего онъ охладѣлъ ко всему высокому и прекрасному на землѣ. Начавъ писать свой романъ, вѣроятно, Пушкинъ не уяснилъ еще себѣ его развязки, потому что онъ не былъ бы въ состояніи изобразить любовь молодыхъ людей съ такою чувствительностью, непосредственностью и силою, если бы тогда же предполагалъ заключить романъ столь печально и прозаично. Въ Онѣгинѣ Пушкинъ изобразилъ самого себя:

Мечтамъ невольная преданность,  
Неподражаемая странность,  
И рѣзкій охлажденный умъ...

Преобладающее въ Онѣгинѣ чувство есть ненависть къ тому, что считается модою, общественнымъ приличіемъ (*le ton de la société*).

Что касается до «Бориса Годунова», то Мицкевичъ не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, которые ставятъ это произведеніе на ряду съ Шекспировскими, но онъ уклоняется отъ объяснительной мотивировки своего сужденія. Ему кажется, что Пушкинъ былъ слишкомъ еще молодъ для созданія историческихъ личностей. Эта попытка показала только, чѣмъ онъ могъ стать со временемъ: «*Et tu Shakespeare eris, si fata sinant*!» По этой драмѣ нельзя вполнѣ оцѣнить талантъ Пушкина, хотя и въ ней есть много превосходныхъ деталей, дивныхъ сценъ. Въ особенности прологъ ея (Пименъ и Григорій—Келья въ Чудовомъ монастырѣ) столь своеобразенъ и грандіозенъ, что Мицкевичъ называетъ его единственнымъ въ своемъ родѣ.

<sup>1)</sup> Z wieczora na dżdzu stali dwaj młodzieńce  
Pod jednym płaszczem wzięwszy się za ręce...

ября 1855 г. на Іени-Шэри, въ Перѣ, въ Константинополѣ, но его поэтическое творчество довольно рано погасло. Последнимъ изъ большихъ его произведеній былъ «Панъ Тадеушъ», котораго послѣдніе стихи дописаны были въ февралѣ 1834 г. Общенье поэтовъ, прерываемое частыми отъѣздами Пушкина въ деревню, продолжалось около двухъ лѣтъ, съ начала 1827 г. до марта 1829 г., когда Пушкинъ, зная, что ему не разрѣшать ѣхать въ армію Паскевича на Кавказъ, отправился туда, не предупредивъ ни друзей, ни властей, и добрался до Эрзерума, крайне обезпокоивъ тѣмъ графа Бенкендорфа и чиновъ корпуса жандармовъ. Въ томъ же году, 15-го мая, Мицкевичъ, успѣвшій получить заграничный паспортъ, въ выдачѣ котораго легко могли произойти затрудненія, вслѣдствіе появленія въ печати его поэмы «Валленродъ», отправился изъ Кронштадта на кораблѣ за границу. Съ тѣхъ поръ поэты никогда не встрѣчались и не переписывались, но помнили другъ друга и вліяли на себя взаимно. Имѣется драгоцѣннѣйшій поэтический матеріалъ, оправдывающій это предположеніе: сохранился одинъ художественный замыселъ, который былъ каждымъ изъ нихъ на свой ладъ обработанъ, но который обязанъ, повидимому, происхожденіемъ дружеской между ними бесѣды. Предметъ бесѣды былъ громаднѣйшій и существеннѣйшій изъ всѣхъ тѣхъ, какіе могли интересовать и русскихъ, и поляковъ, въ условіяхъ не только 1828 года, но и современныхъ, а именно: критическій взглядъ на личность и дѣятельность Петра Великаго, какъ создателя современной Россіи, сообщившаго ей мощнымъ толчкомъ движеніе, продолжающееся до настоящей минуты. Въ 68-ми стихахъ отрывка: «Памятникъ Петра Великаго», этотъ критическій взглядъ приписанъ Мицкевичемъ Пушкину, который представлялся разсуждающимъ о памятникѣ лицомъ (*Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem, — A wieszcz rossyjski tak rzekł cichym głosem*). Подобная же критика дѣятельности Петра составляетъ основу поэмы, не пропущенной при

жизни Пушкина цензурою и вошедшей только въ посмертныя изданія его произведеній подъ заглавіемъ: «Мѣдный Всадникъ». Нѣтъ никакихъ болѣе точныхъ указаній о томъ, какъ родились оба произведенія, кромѣ одной только фразы въ стихотвореніи Мицкевича, влагающей въ уста Пушкину извѣстныя мысли, пробуждаемыя въ немъ созерцаніемъ памятника. Въ каждомъ поэтическомъ произведеніи совмѣщаются и «Dichtung», и «Wahrheit», правда и вымыселъ. Порою не трудно выдѣлить и устранить вымыселъ, послѣ чего можно, хотя бы по теоріи вѣроятностей, заключать о настоящей правдѣ въ произведеніи, которая одна интересуетъ насъ при научномъ изслѣдованіи предмета.

Никто до сихъ поръ не изучалъ обоихъ поэтическихъ произведеній совмѣстно, никто ихъ не сопоставлялъ. Попробуемъ произвести этотъ анализъ, который поможетъ намъ опредѣлить и происхожденіе обѣихъ поэмъ, и взаимное другъ на друга вліяніе двухъ главныхъ, непревзойденныхъ и гениальнѣйшихъ поэтовъ, принадлежащихъ къ двумъ самымъ крупнымъ отрядамъ племени славянскаго.

## II.

Не подлежитъ сомнѣнію, что изъ произведеній поэта можно заимствовать матеріалы для его жизнеописанія, но при этомъ заимствованіи слѣдуетъ дѣйствовать крайне осмотрительно, вооружась самою строгою критикою. Всякое умственное творчество есть произвольное сочетаніе данныхъ, либо достовѣрно извѣстныхъ, либо такихъ, которыя можно логически допустить. Всякое поэтическое творчество состоитъ въ сочетаніи данныхъ, рассчитанномъ на произведеніе наибольшаго эстетическаго впечатлѣнія, то-есть поражающемъ не столько реальною правдою изображаемаго, о которой поэтъ мало заботится, сколько красотою и правдоподобіемъ изображенія, опредѣленіемъ изображаемаго сюжета—событія или образа—

такими характерными чертами и особенностями, которыя по самой природѣ вещей должны быть присущи этому событію или образу. Лучшимъ доказательствомъ того, что изъ поэтическаго описанія никакъ нельзя заключать о томъ, что дѣйствительно случилось то именно, что описано, могутъ служить отдѣльныя подробности эпизода «Петербургъ». Лучшій жизнеописатель Мицкевича, Петръ Хмѣлёвскій (Adam Mickiewicz, *zarys biograficzno-literacki*. 2 tomu. Warszawa. 1886) сопоставляетъ заглавіе одного изъ отрывковъ эпизода: «Олешкевичъ — канунъ петербургскаго наводненія 1824 г.», съ описанною въ этомъ отрывкѣ встрѣчею на берегу Невы Олешкевича съ молодыми путешественниками, въ числѣ которыхъ имѣется и таинственный пилигримъ—двойникъ автора поэмы. Хмѣлёвскій заключаетъ затѣмъ категорически (I, 317), что, выѣхавши изъ Вильна 24-го октября 1824 г., Мицкевичъ прибылъ въ Петербургъ 6-го ноября и былъ очевидцемъ великаго наводненія 7-го ноября 1824 года. Легко доказать, что основу всего отрывка «Олешкевичъ» составляетъ чистѣйшій вымыселъ. Пржецлавскій (Ципринусъ, «Калейдоскопъ воспоминаній». Москва, 1874) утверждаетъ, что онъ встрѣтилъ Мицкевича въ самый день его пріѣзда въ Петербургъ, 8-го ноября, слѣдующій за наводненіемъ, и что затѣмъ 9-го ноября они осматривали наиболѣе опустошенныя части города. Первой встрѣчѣ Мицкевича съ Олешкевичемъ, описанной въ эпизодѣ «Петербургъ», дана въ поэмѣ слѣдующая обстановка:—царить въ Петербургѣ морозная зима; одинъ изъ одиннадцати странниковъ, пилигримъ (лицо байроновскаго типа), остался на Дворцовой площади; «онъ стоялъ задумавшись и вперилъ въ дворецъ быстрый взоръ, точно два ножа»—за нимъ слѣдилъ незнакомецъ, который обратился къ нему съ слѣдующими словами:—«я христіанинъ и полякъ; привѣтствую тебя знаменемъ креста и погони» (рогою—бывшій государственный гербъ вел. кн. литовскаго).

Другой отрывокъ, посвященный Олешкевичу и отне-



сенный къ кануну наводненія, написанъ, очевидно, позднѣе. Тутъ оказались тѣ же одинадцать странниковъ; предъ ними спускается по гранитнымъ ступенямъ на замерзшую рѣку мистикъ «гусларь», съ фонаремъ и книгою въ рукахъ, и возвращается потомъ съ грозными предсказаніями на устахъ. Одинъ изъ странниковъ слѣдуетъ за Олешкевичемъ, потому что его поразили «голосовой звукъ, таинственныя слова... онъ тотчасъ вспомнилъ, что уже слышалъ этотъ звукъ; онъ бѣжалъ опрометью по неизвѣстнымъ путямъ ночью и въ ненастье»... Прибавимъ еще одну любопытную подробность. Самъ Пушкинъ замѣтилъ въ припискѣ къ «Мѣдному Всаднику»: «жаль только, что описаніе это (наводненія у Мицкевича) — не точно: снѣгу не было; Нева не была покрыта льдомъ» (III, 564). Описаніе, дѣйствительно, не соотвѣствуетъ ни природѣ вещей, ни климатическимъ условіямъ Петербурга. Наводненія бывають здѣсь только осенью, пока Нева не замерзла — и только при сильномъ западномъ вѣтрѣ, вгоняющемъ воду рѣки въ русло ея по направленію вспять и останавливающимъ такимъ образомъ ея теченіе. Это простое обстоятельство, которсе Мицкевичу не было извѣстно, вполне достаточно для объясненія неправильности многихъ подробностей въ описаніи, либо лишннихъ, либо очевидно, но безъ всякой видимой причины, невѣрныхъ. Ясно, что Мицкевичъ фантазировалъ и возсоздавалъ воображеніемъ страшное бѣдствіе, которое зналъ только по разсказамъ («Небо горитъ сильнѣйшимъ морозомъ — вдругъ потускнѣло... снѣгъ сталъ таять... вѣтры подняли головы съ полярныхъ льдовъ, точно морскія чудовища, сѣли верхомъ на волнахъ, сняли съ нихъ оковы. Слышу—морская бездна разнуздана, она мечется и грызетъ ледяныя удила»). Въ этомъ неудачномъ описаніи всего курьезнѣе похожденія самага «гуслара», который изучаетъ приближающееся наводненіе, спускаясь на замерзшую рѣку, опускающая въ прорубь веревку съ лотомъ и считая на ней узлы. Всему Петербургу извѣстны неизбежныя предвоз-

вѣстники наводненія: гранитныя ступени спусковъ покрыты водою, вода поднимается до уровня мостовыхъ, бьетъ фонтанами на улицахъ чрезъ отверстія водосточныхъ трубъ, между тѣмъ какъ барки на каналахъ подняты до высоты нижнихъ ярусовъ домовъ. То же событіе изображено Пушкинымъ несравненно реальнѣе и съ полнымъ знаніемъ мѣстныхъ условій, хотя и Пушкинъ изображалъ его только по наслышкѣ, такъ какъ во время наводненія онъ находился въ Михайловскомъ.

Нева всю ночь  
Рвалась къ морю противъ бури...  
. . . . .  
Но силой вѣтра отъ залива  
Перегражденная Нева  
Обратно шла—гнѣвна, бурлива,  
И затопляла острова;..  
. . . . .  
Котломъ хлопоча и клубясь—  
И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,  
На городъ кинулась—  
. . . . .  
. . . . . Воды вдругъ  
Втекли въ подземные подвалы;  
Къ рѣшеткамъ хлынули каналы—  
И вспыхъ Петрополь, какъ Тритонъ.  
По поясъ въ воду погружень <sup>1)</sup>.

Этимъ мы заканчиваемъ пока разборъ наводненія какъ сюжета, затронутого Мицкевичемъ. Оказывается, что въ умѣ поэта произошло сочетаніе въ одну группу двухъ фигуръ: пилигрима, то-есть собственно Конрада Валленрода, перенесеннаго въ XIX вѣкъ, и мистика-пророка Олешкевича; что этой группѣ дана обстановка не реальная, но такая, которая бы лучше всего подходила

---

<sup>1)</sup> Великолѣпный по своей пластичности образъ Тритона Петербурга навѣявъ, можетъ быть, слѣдующими стихами эпизода «Петербургъ»:

Wenecka stolica  
Co wpół na ziemi a do pasa w wodzie  
Pływa jak piękna syrena-dziewica.

къ лицу новаго Іезекиіля, петербурца-поляка Олешкевича. Обстановкою служитъ день наканунѣ катастрофы, иными словами, сама природа, свидѣтельствующая о возможности пророческаго предсказанія (*Pan wstrząśnie szczeble assurskiego tronu—Pan wstrząśnie grunty miasta Babilonu*) въ ту самую минуту, когда у странниковъ опускаются въ отчаяніи и головы, и руки, потому что они думаютъ, созерцая эти громады камней: «человѣку ихъ не одолѣть» (*człowiek ich nie zwali*).

### III.

Оставимъ наводненіе и вернемся къ поименованнымъ нами произведеніямъ обоихъ поэтовъ, которыя наматывались точно нити на одинъ и тотъ же предметъ — на бронзовый колоссъ самодержца-реформатора, причемъ не будемъ терять изъ виду задачи, нельзя ли изъ самихъ произведеній извлечь какія-нибудь жизнеописательныя данныя? Если бы мы сдѣлали предположеніе, весьма правдоподобное, что двустипіе: «вечеромъ на дождѣ стояли оба юноши, взявшись за руки и подъ однимъ плащемъ» — воспроизводитъ дѣйствительное событіе, то мы должны, по необходимости, отнести это событіе къ 1828 году, послѣ того, какъ Мицкевичъ — уже извѣстный въ Россіи авторъ «Сонетовъ» и «Конрада Валленрода» (изданнаго въ февралѣ, 1828) — распростился съ Москвою, которая ознаменовала отъѣздъ его обѣдомъ и поднесеніемъ ему на память серебряной чаши отъ восьми <sup>1)</sup> русскихъ литераторовъ (конецъ апрѣля, 1828). Бесѣда происходила, по всей вѣроятности, въ одинъ изъ тѣхъ безконечно длящихся на сѣверѣ вечеровъ, когда господствуютъ, по выраженію Пушкина, «прозрачный сумракъ, блескъ безлунный», и когда всякій предметъ виденъ превосходно, даже издали, въ малѣйшихъ своихъ подроб-

---

<sup>1)</sup> Оба Кирѣевскіе, Баратынскій, Шевыревъ, Елагинъ, С. Соболевскій, Н. Полевой и Рожалинъ.

ностяхъ. Мы не рѣшаемся утверждать, подобно П. Хмѣлёвскому (I, 440), что поэты прикрылись отъ дождя коричневымъ плащомъ, который былъ купленъ Мицкевичемъ въ Одессѣ, потомъ былъ подаренъ поэтомъ товарищу его, А. Э. Одынцу, потомъ былъ симъ послѣднимъ пожертвованъ въ виленскій музей и неизвѣстно куда послѣ дѣвался. Очень можетъ быть, что плащъ принадлежалъ Пушкину и былъ въ родѣ тѣхъ, которые тогда носились и назывались альмавивами, весьма широкій, весь въ складкахъ, съ откиднымъ воротникомъ и коротенькою пелеринкою. Нынѣ памятникъ совсѣмъ иначе обставленъ: громадная и пустая площадь отъ набережной Невы до Исакиевскаго собора превращена въ садъ; надъ гущей зелени высится лишь верхъ скалы, служащей пьедесталомъ, и на ней всадникъ, вслѣдствіе чего памятникъ производитъ гораздо меньшее впечатлѣніе; къ нему несравненно лучше шла прежняя ширь. Несмотря на эту невыгодную перемѣну, великое твореніе Фальконета поражаетъ могучею энергіею замысла, символическимъ воплощеніемъ въ созданіи искусства глубокой идеи. Пріятель Дидро, человекъ, достигшій высокаго образованія въ лучшей того времени идейной лабораторіи—Парижѣ, литераторъ и философъ, Фальконетъ пытался представить идеальный образъ самовластнаго цивилизатора, безъ удержу несущагося впередъ и одолюющаго всѣ препятствія, противодѣйствующія его державной волѣ. Извѣстно, что такой идеаль господствовалъ въ Европѣ въ половинѣ XVIII столѣтія, когда всѣ надежды возлагаемы были на просвѣщенныхъ монарховъ, и когда всѣ думали, что общество можно лѣпить, какъ мягкую глину, что его могутъ преобразовывать по произволу ловкіе пальцы изобрѣтательнаго законодателя. Человекъ независимый и не обладавшій качествами придворнаго, Фальконетъ вскорѣ надоѣлъ двору и навлекъ на себя неудовольствіе императрицы, вслѣдствіе чего ему не удалось довести послѣ двѣнадцати-лѣтнихъ работъ (1767—1779) свое произведеніе до конца, до отливки статуи. Скульпторъ долженъ былъ

боротся съ безчисленными трудностями, проистекавшими отъ людей, которые портили ему его замыселъ, которые настаивали на томъ, чтобы Петру дана была такая же посадка, какая у Марка-Аврелія на памятникѣ послѣдняго на Капитоліѣ, близъ церкви *Ara Coeli*, или требовали устраненія бесполезно, по ихъ мнѣнію, извивающагося подъ конскими копытами змѣя, или осуждали длиннополую одежду царя, въ которой они усматривали старорусскій кафтанъ, не подходящій къ реформатору, заставившему русскихъ надѣть иностранную форму и всегда носившаго ботфорты, обтянутый мундиръ и треугольную шляпу. Въ письмѣ къ Дидро Фальконетъ объяснялъ (1770), что онъ не надѣлъ на Петра ни историческое его платье, ни римскую тогу, потому что избранная имъ туника и плащъ суть, по его мнѣнію, идеальное одѣяніе героевъ всѣхъ вѣковъ въ скульптурныхъ произведеніяхъ: такъ одѣвались римскіе полководцы и старинные русскіе князья; такъ одѣваются крестьяне на берегахъ Тибра и бурлаки на берегахъ Волги (см. 17-й томъ Сборника Историческаго Общества и 2-ю статью Рамбô въ *Revue des deux Mondes*, 1877 г.). Фигура Петра посажена свободно, въ самой естественной и непринужденной позѣ, безъ сѣдла и стремянъ на скачущемъ конѣ; на нее накинута нарядъ неопредѣленнаго времени, но только не римская тога, какъ показалось Мицкевичу (*Car . . . . w todze rzućianina*), незнакомому съ исторіею отдѣлки памятника. Ни въ одномъ изъ произведеній нашихъ поэтовъ, посвященныхъ памятнику, нѣтъ и помину о скульпторѣ и о задачѣ, которую онъ себѣ поставилъ. Вѣроятно, они столь мало о немъ думали, какъ мало помышляютъ о Гомерѣ люди, восхищающіеся *Иліадой*. Можетъ быть, они и знали очень немногое о Фальконетѣ, такъ какъ съ момента открытія памятника прошло тогда уже почти полвѣка (1782). Ихъ интересовало гораздо въ большей степени, какъ отразился памятникъ въ русской поэзіи. Всего вѣроятнѣе, что Пушкинъ былъ руководителемъ

Мицкевича на этомъ поприщѣ и сообщилъ ему четверостишіе современнаго открытію памятника мелкаго стихотворца и журналиста Рубана, вошедшее потомъ во всевозможныя риторикѣ,—стихотвореніе довольно грубое, неуклюжее, отчасти въ стилѣ церковно-славянскихъ виршей, отчасти въ державинскомъ:

Нерукотворная адѣсь русская гора,  
Внявъ гласу Божію изъ устъ Екатерины,  
Препшла чрезъ Невскія пучины  
И пала подъ стопы Великаго Петра.

Отсюда Мицкевичъ выкинулъ слова лести по адресу императрицы, но усвоилъ себѣ представленіе о ея матеріальномъ могуществѣ и создалъ образъ, весьма красивый, характеризующій и самаго Петра: «Царю Петру не пригодно стоять на собственной землѣ; въ отечествѣ ему не такъ, какъ слѣдуетъ, просторно, почву для него рѣшено добыть заморскую. Велѣно вырвать изъ финскихъ береговъ гранитный холмъ, который по слову владычицы плыветъ по морю и бѣжитъ по сушѣ и падаетъ навзничъ въ городѣ передъ царицей». Въ центральномъ мѣстѣ произведенія Мицкевича сопоставлены имъ, какъ контрасты, и статуи, и идеальныя личности Марка-Аврелія и Петра Великаго. Самъ Фальконетъ сознавалъ, что эти два героя крайне другъ на друга непохожи, когда, опровергая предложенія Бецкаго, онъ объяснялъ въ 1768 году императрицѣ, что статуя Марка-Аврелія прилична Марку-Аврелію, а статуя другаго лица должна быть прилична другому.

Настоящій западникъ и истый латинянинъ, Мицкевичъ рѣшительно преклоняется предъ Маркомъ-Авреліемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представленъ въ статуѣ,—то-есть, предъ кроткимъ правителемъ и миротворцемъ, возвращающимся на Капитолій по усмирении внѣшнихъ враговъ:

«Прекрасенъ ликъ его, кроткій и благородный, на лицѣ сіяетъ мысль о благѣ государства. Руку одну онъ тихо поднялъ, какъ будто бы хотѣлъ благословить толпы

своихъ подданныхъ. Другою рукою, опущенною на бразды, онъ укрощаетъ порывъ своего коня. Чувствуешь, что много народу стояло на пути, и что народъ кричалъ: возвращается отецъ нашъ, Кесарь.—Кесарь желаетъ тихо проѣхать между толпящимися и всѣхъ пожаловать отеческимъ поклономъ. Конь оцетинилъ гриву, мечетъ огонь изъ глазъ, но сознаётъ, что везетъ любимѣйшаго гостя— что везетъ отца миллионовъ дѣтей—и самъ сдерживаетъ свою прыть и живость. Дѣтямъ дано подойти къ отцу, глядѣть на него. Конь идетъ мѣрно, шагомъ, по ровному пути—угадывается, что онъ идетъ въ безсмертіе».

Вся прелесть стиховъ пропадаетъ, конечно, въ этой прозаической передачѣ; тѣмъ не менѣе описаніе статуи даже и въ прозѣ столь живо, столь пластично, что мы должны перенести моментъ возникновенія стиховъ съ 1828 г. въ другую, позднѣйшую эпоху; они могли быть написаны только послѣ того, какъ Мицкевичъ наслаждался самъ лично красотою подлинника, то-есть когда побывалъ самъ въ Римѣ—въ 1830 и 1831 годахъ. Замѣтимъ, что и Пушкинъ, которому приписано приведенное выше описаніе памятника М.-Аврелія, никогда не былъ въ Римѣ и, слѣдовательно, не видалъ подлинника.

Характеристика Петра Великаго гораздо короче; она вся въ шести стихахъ:

«Царь Петръ попустилъ бразды лошади. Видно, летѣлъ онъ, топча все на пути. Сразу вскочилъ онъ на самый край скалы. Бѣшеный конь уже приподнялъ копыта,—царемъ не удерживаемый, конь скрежещетъ, кусая удила. Чувствуешь, что онъ полетитъ и разобьется въ дребезги»...

Что касается до этой характеристики, приписываемой тоже Пушкину, то надобно обратить вниманіе, что Пушкинъ читалъ третью часть «Дѣдовъ» и «Петербургъ» уже послѣ того, какъ произошла значительная перемѣна и въ его политическихъ взглядахъ, и въ его народныхъ чувствахъ; что онъ подвергъ критикѣ однѣ только мелкія подробности наводненія, но не отрицалъ

прямо приписанныхъ ему Мицкевичемъ взглядовъ (пословица говоритъ: *qui tacet, consentire videtur*); что главную мысль Мицкевича онъ, съ своей стороны, воспроизвелъ, изобразивъ ее въ еще болѣе богатой формѣ, одушевленной чувствомъ болѣе сердечнымъ, чувствомъ русскаго, воспитаннаго въ благоговѣйномъ поклоненіи своему народному герою. Пушкинъ выбралъ для своей повѣсти время позднѣе катастрофы, а именно осень года, слѣдовавшаго за наводненіемъ. Уже нѣтъ болѣе тѣхъ «хищныхъ волнъ», которыя «толпились, бунтуя грозно вокругъ его». Остался неподвиженъ, на своей скалѣ, только тотъ, «чьей волей роковой—надъ моремъ городъ основался»:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!  
Какая дума на челѣ!  
Какая сила въ немъ сокрыта!  
А въ сѣмъ конѣ какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И гдѣ опустишь ты копыта?  
О, мощный властелинъ судьбы!  
Не такъ ли ты надъ самой бездною,  
На высотѣ, уздой желѣзной  
Россію вадернулъ на дыбы?

Намъ приходится теперь отыскать общія черты, присущія обоимъ произведеніямъ, сходные въ обоихъ сужденія и взгляды, и отыскать, кому изъ двухъ поэтовъ принадлежитъ починъ въ этихъ взглядахъ на Петра Великаго. Мы должны теперь поближе изучить основу и содержаніе обоихъ произведеній.

#### IV.

Мицкевичъ жилъ въ такомъ вѣкѣ и принадлежалъ къ такой народности, что онъ могъ только удивляться Петру В., но не могъ никакъ его любить и имъ восхищаться. Существовалъ многовѣковый антагонизмъ между римско-католическою Польшею и отдаленною отъ моря и Европы византійскою Москвою. Побѣдивъ шведовъ,



Петръ склонилъ сразу въ свою сторону вѣсы и сталъ вдругъ преобладающимъ на Востокѣ государемъ, располагающимъ почти по произволу будущю судьбою Польши. Было замѣчено Европою, что послѣ полтавскаго сраженія Петръ—*war considerabel in Europa geworden* (Brückner, «Peter der Grosse», во Всеобщей Исторіи изд. Oncken'a, S. 416). Уже въ 1709 король прусскій былъ занятъ мыслью о раздѣлѣ Польши, которую внушалъ Петру въ Мариенвердерѣ. Въ то время, какъ Польша опускалась въ бездну по наклонной плоскости безначалія, тѣмъ временемъ повышалась Россія и дошла до самой вершины могущества и славы. Она возвысилась, главнымъ образомъ, потому, что Петръ двинулъ ее впередъ и далъ ей европейское образованіе (Mick.: Pierwszy on odkrył tę ścieżkę, Piotr wskazał carom do wielkości drogę—I rzekł: Rosyję zeuropejszyc mogą). Очень естественно, что, по понятіямъ Мицкевича, то не была цивилизація, а только призракъ цивилизаціи, внѣшній лоскъ на сыромъ корню, на степной, полувосточной подкладкѣ. Такія сужденія о тогдашней Россіи сочетались въ умѣ Мицкевича съ его коренными убѣжденіями, красною нитью проходившими по всѣмъ его произведеніямъ, объ отрицательномъ и демоническомъ элементѣ въ исторіи, о легкости сочетаній—по химическому, такъ сказать, сродству—безпредѣльнаго и не знающаго препонъ деспотизма со всѣми жадно усвоиваемыми имъ изобрѣтеніями въ области научнаго знанія и техники, съ тончайшимъ аналитическимъ умомъ. Ученѣйшіе въ своихъ отрасляхъ знанія люди содѣйствуютъ сенатору Новосильцеву въ третьей части «Дѣдовъ»; при генералѣ, командующемъ въ Краковѣ,—въ драмѣ «Барскіе Конфедераты»,—состоить на службѣ политическій агентъ, докторъ-философъ. Извѣстно, что на этой канвѣ была вышита фантастическая «Исторія будущаго», писанная Мицкевичемъ въ Петербургѣ, въ которой были восходящія до 1828 г. предсказанія объ измѣненіи европейскихъ политическихъ отношеній вслѣдствіе развитія же-

лѣзно-дорожной сѣти и изобрѣтенія телефоновъ. Кончался этотъ фантастическій разсказъ полнымъ торжествомъ Азіи и китайцевъ надъ европейцами. Въ лекціяхъ Мицкевича о славянскихъ литературахъ взглядъ на реформу Петра остался тотъ же, но къ характеристикѣ реформатора прибавилась еще одна черта—усмотренное сходство его съ монтаньярами французскаго конвента: и тотъ, и другіе были философы, рационалисты, но по темпераменту вполне революціонеры. Привожу слова 48-й лекціи: «Pierre le Grand, bien supérieur à ces deux monarques (Louis XIV et Charles XII), plus froid que Gengis Chan, n'avait qu'une seule idée: celle de dominer. Il représentait l'orgueil du siècle, il précédait et devansait la Convention... La réforme russe et la révolution terroriste de la France s'expliquent mutuellement». Кромѣ такого сравненія, едва ли есть въ характеристикѣ Петра, сдѣланной Мицкевичемъ, хотя бы одна черта, которая могла бы быть заимствована у Пушкина; напротивъ того, послѣдніе стихи отрывка таковы, что едва ли бы могъ Пушкинъ произнести нѣчто подобное. Мицкевичъ сравнилъ скачущаго, но не падающаго со скалы всадника—съ замершимъ горнымъ водопадомъ, повисшимъ надъ бездною, заключилъ стихотвореніе такимъ образомъ:

Lecz skoro słońce swobody zabyśnie,  
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa—  
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?..

Бѣшеный конь, кусающій удила, застывшій водопадъ, повисшій надъ пропастью—это вѣдь сама Россія. Не могъ допустить русскій патріотъ, что этотъ конь разлетится въ дребезги; что весь каскадъ растаетъ; что весь періодъ реформъ Петра долженъ быть признанъ недѣйствительнымъ, не бывшимъ, долженъ быть вычеркнуть изъ исторіи; что вся реформа была, такъ сказать, навыворотъ; что, начинаясь съ бороды и платья, она нисколько не вліяла на улучшеніе нравственности человѣка; что отъ нея останутся однѣ лишь развалины.

Здѣсь-то именно и было то горное ущелье, изъ котораго вырывалась струя воды, на-вѣки раздѣлившая двѣ скалы,—разсѣлина, столь глубокая, что по инстинкту чувствовали ея непроходимость оба поэта; они такъ и не видали никогда дна раздѣлившей ихъ пропасти. Такимъ образомъ, слова, будто бы пушкинскія, въ произведеніи Мицкевича суть только выраженіе собственныхъ убѣжденій Мицкевича, и только вслѣдствіе *licentia poetica* вложены въ уста Пушкину. Отношеніе ихъ къ Пушкину увеличивало вѣсъ и значеніе сужденій о преобразователѣ, потому что они якобы шли отъ потомка тѣхъ русскихъ, посредствомъ которыхъ царь Петръ и «сотворилъ свои чудеса». Замѣтимъ еще, что Мицкевичъ поступалъ въ этомъ случаѣ добросовѣстно, будучи убѣжденъ, что Пушкинъ не можетъ не раздѣлять взглядовъ на Петра В., разсматриваемаго съ общеевропейской и, какъ Мицкевичу казалось, общечеловѣческой точки зрѣнія.

Теперь мы можемъ перейти къ изученію происхожденія поэмы Пушкина. П. Бартеневъ передаетъ (Русскій Архивъ, 1877, № 8, стр. 424) рассказъ, слышанный имъ отъ С. Соболевскаго и переданный Пушкину графомъ М. Ю. Віельгорскимъ, слѣдующаго содержанія. Въ 1812 году существовало опасеніе, что Наполеонъ пойдетъ на Петербургъ, вслѣдствіе чего изъ сѣверной столицы вывозимы были, по распоряженію правительства, всякія драгоцѣнности; были даже ассигнованы суммы на снятіе и вывозку статуи Петра. Нѣкто, маіоръ Батуринъ, явившись къ статсъ-секретарю и обер-прокурору правительствующаго синода А. Н. Голицыну, рассказалъ ему свой нѣсколько разъ повторившійся сонъ. Снилось Батурину, что онъ стоитъ на сенатской площади, что статуя державнаго всадника поворачивается, съѣзжаетъ со скалы и скачетъ, звеня по мостовой копытами, по направленію къ Каменному острову, гдѣ жилъ тогда государь Александръ Павловичъ. «Молодой человѣкъ!—сказалъ великанъ вышедшему на встрѣчу государю,—до чего довелъ ты Россію? Но, покамѣстъ

я на мѣстѣ, городу нечего опасаться». Съ этими словами всадникъ опять повернулся и поскакалъ на свой обычный постъ на скалѣ. Мистикъ Голицынъ постигъ съ докладомъ о сновидѣніи Батурина къ императору, который приказалъ Петра съ его скалы не трогать. Очень вѣроятно, что изъ этого-то разсказа Пушкинъ заимствовалъ самыя сильныя и наиболѣе образныя черты своей повѣсти (...«какъ будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой... За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный съ тяжелымъ топотомъ скакалъ»). Эти характерныя черты сочетались у Пушкина не съ патріотическими воспоминаніями 1812, но съ народнымъ бѣдствіемъ наводненія 1824 года. По замыслу Пушкина, однимъ изъ лицъ, наиболѣе пострадавшихъ отъ бѣдствія, былъ мелкій чиновникъ, самый обыкновенный человѣкъ. Мимоходомъ Пушкинъ, не называя этого канцеляриста изъ захудалыхъ дворянъ даже по фамиліи, обронилъ слѣдующія слова о его прозваніи: оно, быть можетъ, «въ минувшія времена блистало, И подъ перомъ Карамзина Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало»... а теперь, однако, забыто. Безфамильный приказный живетъ въ Коломенской части, исправно ходитъ на службу въ канцелярію и постоянно мечтаетъ объ убогой дѣвушкѣ, съ которою онъ помолвленъ и которая живетъ въ дальнѣйшихъ мѣстахъ Васильевскаго Острова, гдѣ-то близъ Галерной Гавани, въ старомъ домикѣ подъ ивою. Пришло наводненіе: канцеляристъ метался во всѣ стороны, какъ бѣшеный, въ смертельномъ безпокойствѣ о судьбѣ невѣсты, взбирался на одного изъ тѣхъ мраморныхъ львовъ сторожевыхъ, которыми украшено крыльцо бывшаго дома Лобанова, нынѣ военнаго министерства, глядѣлъ съ отчаяніемъ на разливъ, между тѣмъ какъ дождь хлесталъ ему въ лицо, а вѣтеръ сорвалъ шляпу. На слѣдующій день нашъ канцеляристъ переѣзжаетъ въ лодкѣ Неву, направляется къ домику невѣсты, но, увы! тамъ стоитъ только ива, а домикъ и строенія снесены волнами безслѣдно. Бѣд-

някъ сошелъ съ ума, пересталъ бывать въ канцеляріи, спать на пристани, питался подаяніемъ, ходилъ въ лохмотьяхъ. Осенью слѣдующаго года онъ забрелъ на Сенатскую площадь къ гиганту на бронзовомъ конѣ. Вскипѣла въ немъ кровь, помутились глаза, стиснулись зубы, и, поднявъ кулакъ, помѣшанный сталъ хулить грознаго царя: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужѣ тебѣ»!.. Въ ту самую минуту у мѣднаго гиганта возгорѣлись гнѣвомъ очи, и всадникъ поскакалъ, простерши руку, въ вышинѣ, преслѣдуя убѣгающаго хулителя. Трупъ безумца отысканъ былъ на взморѣ, на безлюдномъ острову, возлѣ отысканныхъ имъ остатковъ домика невѣсты. Такова въ своей теперешней редакціи, отличающейся необыкновенною простотою, эта—не то идиллія канцелярская, не то элегія, въ которую попалъ грозный царь совершенно случайно и даже напрасно, такъ какъ мало ли что можетъ взбрести на умъ помѣшанному. Имѣются, однако, свѣденія, что цѣнный камень имѣлъ совсѣмъ иной видъ, прежде нежели былъ окончательно отшлифованъ, и что достоинство его было гораздо выше. Князь Петръ Петровичъ Вяземскій, сынъ близкаго друга обоихъ поэтовъ, пишетъ слѣдующее (Р. Арх. 1884, № 4, стр. 430: «Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива, 1826—1837»): «неизгладимое впечатлѣніе произвелъ монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Всадникомъ, содержащій около тридцати стиховъ. Не вѣрится, что онъ не сохранился въ цѣлости. Въ бумагахъ моего отца монолога не сохранилось, весьма можетъ быть, потому, что въ немъ слишкомъ энергически звучала *ненависть къ европейской цивилизации*. Мнѣ все кажется, что великолѣпный монологъ таится вслѣдствіе какихъ-либо тенденціозныхъ соображеній, ибо трудно допустить, чтобы изъ всѣхъ людей, слышавшихъ проклятіе, никто не попросилъ Пушкина дать списать эти тридцать-сорокъ стиховъ». Не подлежитъ сомнѣнію, что длинный монологъ съ проклятіями никакъ не шелъ къ безродному и ничтожнѣйшему приказному, къ этому

homme de rien. Самъ канцеляристъ имѣлъ иной видъ передъ окончательною отдѣлкою поэмы, видъ непохожій на истертую монету. Его звали Езерскимъ; онъ былъ потомокъ людей, бывшихъ «и въ войскѣ, и въ совѣтѣ, на воеводствѣ и въ отвѣтѣ». Пушкинъ занимался сочиненіемъ «Родословной моего героя». Это сатирическое стихотвореніе начиналось съ генеалогіи героя и пересыпано было колкими упреками по адресу настоящаго времени:

Кто бъ ни былъ вашъ родоначальникъ,—  
Мстиславъ, князь Курбскій иль Ермакъ,  
Или Митюшка цѣловальникъ,—  
Вамъ все равно. Конечно, такъ:  
Вы презираете отцами,  
Ихъ славой, честію, правами—  
Великодушно и умно;  
Вы отреклись отъ нихъ давно,  
Прямого просвѣщенія ради,  
Гордясь (какъ общей пользы другъ)  
Красою собственныхъ заслугъ,  
Звѣздой двоюроднаго дяди,  
Иль приглашеніемъ на балъ  
Туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ. (III, 550.)

Дѣдъ Езерскаго имѣлъ 12,000 душъ, отецъ разорился, вслѣдствіе чего Езерскій «жалованьемъ жилъ и регистраторомъ служилъ». Въ драмѣ Сигизмунда Красинскаго: «Иридіонъ» есть одно дѣйствіе, въ которомъ герой драмы, заклятый врагъ Рима, завербовалъ въ свою дружину, на погибель «вѣчному городу», гладіатора, кроющаго подъ неказистымъ именемъ Спора свое настоящее происхожденіе отъ древнихъ Сципіоновъ. Хотя подобныхъ чувствъ и не питаетъ Езерскій, захудалый потомокъ московскихъ бояръ, однако и онъ, какъ озлобленный червякъ, способенъ роптать на судьбу и доискиваться виновника несчастнаго его положенія. Весьма справедливо замѣчаетъ П. В. Анненковъ («Идеалы Пушкина», въ «Вѣстникѣ Европы», 1880, № 6, стр. 613): «коломенскій чиновникъ осмѣливается укорять великаго императора во всѣхъ своихъ несчастіяхъ и даже пося-

гаетъ на угрозу передъ бронзовымъ ликомъ его, въ которомъ онъ внезапно открываетъ того человѣка, который лишилъ его фамилію гражданскаго значенія, низвелъ его самого въ бездольные служаки и косвенно настигъ, даже послѣ своей смерти въ послѣднемъ его убѣжищѣ—сердечномъ счастіи, унесенномъ наводненіемъ въ основанномъ имъ Петербургѣ... Въ этомъ неслѣпомъ: «ужо тебѣ!» безумецъ выразилъ промелькнувшую въ его головѣ мысль о возможности найти еще судъ въ потомствѣ и передѣлать приговоръ, давшій такую славу и значеніе имени грознаго реформатора. Мѣдный Всадникъ, погнавшійся за нимъ, точно угадалъ его тайную мысль! Первоначальный замыселъ повѣсти не могъ бы помѣститься въ тѣсныхъ рамкахъ идилліи, онъ былъ крупнѣе и смахивалъ на эпопею. Первоначальный замыселъ тѣмъ болѣе имѣетъ для насъ значеніе, что коломенскій чиновникъ и Езерскій—это одно лицо; мало того: и чиновникъ и, Езерскій суть двойники самого Пушкина, который признается самъ (въ вариантахъ къ IV строфѣ «Родословной моего героя»: III, 548):

«Могучихъ предковъ правнукъ бѣдный,  
Люблю встрѣчать ихъ имена  
Въ двухъ-трехъ строкахъ Карамзина:  
Отъ этой слабости безвредной  
Какъ ни старался, видитъ Богъ,  
Отвыкнуть я никакъ не могъ».

Въ теченіе всей своей жизни Пушкинъ искалъ предковъ по лѣтописямъ и старымъ документамъ, поэтизировалъ всякими средствами предка по матери — негра Ганнибала. Это стремленіе обозначилось подъ конецъ жизни до того сильно и рельефно, что впоследствии времени поставленъ былъ вопросъ: точно ли онъ народный поэтъ? не есть ли онъ только представитель одного лишь русскаго дворянства въ періодъ исторіи, начавшійся съ Петра, періодъ, въ теченіе котораго интеллигенція была исключительно дворянская, лишенная настоящей любви къ народу, лишенная способности

ощущать его потребности, не сознающая того, что кроется подъ верхнимъ слоемъ общества, разрыхленнымъ посредствомъ цивилизации? На зло новому, свѣжеиспеченному дворянству по чину, ордену, новой аристократіи, образовавшейся изъ случайныхъ временщиковъ, Пушкинъ, самъ себя называющій («Моя родословная», II, 107): «родовъ униженныхъ обломковъ... бояръ старинныхъ и потомковъ», иронически демонстративно отрекается отъ своего дворянскаго происхожденія, лишь бы не стать на одной доскѣ съ вновь возведенными въ дворянское достоинство, предпочитаетъ приобщиться къ *tiers-état*, предпочитаетъ записаться въ совсѣмъ неподходящее и несуществующее въ Россіи званіе «я мѣщанинъ», то-есть «bourgeois» въ французскомъ смыслѣ этого слова. «Древнерусское дворянство, — пишутъ онъ въ 1829 г. (Разговоръ вечеромъ на раутѣ, IV, 367), — у насъ въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу считаетъ своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда». «Моя родословная», Пушкина, якобы «вольное подражаніе Байрону», писанная 6-го сентября въ Болдинѣ, повторяетъ на всѣ лады одно: куда-жъ мнѣ быть аристократомъ! — Я, славу Богу, мѣщанинъ. — Эта «Моя родословная» 1830 г. составляетъ первоначальный набросокъ того, что потомъ, въ передѣлкѣ 1836 года, въ недоконченномъ отрывкѣ сатирической поэмы озаглавлено: «Родословная моего героя», т.-е. Езерскаго. «Родословная» же Езерскаго должна была составлять основаніе поэмы «Мѣдный Всадникъ», а нынѣ она является покинутымъ и забракованнымъ его началомъ, такъ какъ въ переписанной для цензуры рукописи поэмы, помѣченной 31-го октября 1833 г., Езерскій уже исчезъ, и вмѣсто него поставленъ какой-то малохарактерный и почти безличный, безфамильный канцеляристъ. Послѣдовало, значить, весьма большое сокращеніе, если не самой темы, то первоначальнаго замысла ея, сопровож-



даемое пониженіемъ и сильнымъ утоненіемъ общественнаго элемента въ произведеніи, вслѣдствіе чего самый сюжетъ сталъ неясенъ, загадоченъ, какъ будто бы что-то въ поэмѣ не досказано. Послѣ прочтенія произведенія читатель поставленъ въ недоумѣніе, какова основная мысль автора: прославленіе памяти Петра или осужденіе, апофеозъ или хула? Вникая въ причины такого сокращенія въ самомъ первичномъ замыслѣ поэмы, мы приходимъ къ цѣлому ряду любопытныхъ выводовъ и предположеній, которые во всякомъ случаѣ заслуживаютъ того, чтобы на нихъ остановиться.

V.

П. В. Анненковъ полагалъ (Матеріалы для біографіи Пушкина, 2 изд. 1873, стр. 375), что сведеніе до мінімума первоначальной идеи поэта произошло по побужденіямъ, имѣющимъ свой источникъ только въ эстетическомъ чутьѣ Пушкина. Образные элементы поэмы — наводненіе и скачущій колоссъ — измелъчали бы и ступевались, сдѣлались бы мало эффектны, если бы на первый планъ выдвинулось поношеніе Петра, резонированіе. Всякое возвеличеніе Езерскаго, всякое подробное изображеніе родовыхъ характерныхъ линій его фізіономіи умалило бы размѣры мѣднаго гиганта. Надо было, по началамъ эстетики, сдѣлать дѣйствующее лицо неважнымъ человѣкомъ, поставить его въ туманѣ, окружить его сѣрымъ полусвѣтомъ. Предметъ поэмы — собственно не люди, а сама катастрофа, которая одна и должна занимать неразвлекаемаго ничѣмъ читателя.

Рядомъ съ этою до извѣстной степени правдоподобною причиною можно бы еще съ большимъ основаніемъ поставить другую, совершенно внѣшнюю, а именно, современиныя созданію поэмы тогдашнія *условія печати*. Съ того самаго, весьма памятнаго для Пушкина, числа 8-го сентября 1826 г., когда бывъ привезенъ съ

фельдъегеремъ въ Москву, Пушкинъ предсталъ, безъ перемѣны костюма, въ дорожномъ платьѣ, передъ императоромъ Николаемъ; когда сей послѣдній милостиво разрѣшилъ ему жить гдѣ угодно и писать и изъявилъ свою волю быть его цензоромъ, положеніе Пушкина, какъ поэта, стало несравненно труднѣе, нравственно отвѣтственнѣе и несвободнѣе; то было положеніе птички, заключенной въ просторной золоченой клѣткѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что условія того времени становились съ каждымъ годомъ неблагопріятнѣе для писателей. Жизнь общественная въ Россіи отличалась крайне своеобразнымъ ритмомъ; она совершалась внезапными скачками, которые отдѣляются длинными промежутками застоя. Если бы хотѣли изобразить графически волны этого движенія, то оказалось бы, что каждая волна подымается почти перпендикулярно, но опускается потомъ по длинной наклонной линіи. Тотчасъ послѣ вѣнскаго конгресса 1815 г. обрисовалась реакція, когда колеблющійся духъ російскаго Агамемнона сильно обезпокоенъ былъ распространеніемъ либеральныхъ идей, точно заразною болѣзною, проникающею къ намъ изъ западной Европы, и зарожденіемъ тайныхъ обществъ. Реакція, которую круто повели сначала обскуранты и мистики, стала, послѣ вступленія на престолъ императора Николая, хладнокровнѣе, осмотрительнѣе, систематичнѣе, получила характеръ болѣе правительственный и полицейскій. Правительство во все вмѣшивалось, обязывало преподавать предметы на кафедрахъ въ извѣстномъ духѣ, покровительствовало извѣстнымъ направленіямъ въ литературѣ и искусствѣ, или преслѣдовало ихъ, или приказывало замолчать расходившимся и полемизирующимъ противникамъ. Оно требовало, чтобы самый патріотизмъ соблюдалъ мѣру и не выходилъ изъ надлежащихъ, по усмотрѣнію власти, границъ. Дѣйствіе правительства не вызывало, въ теченіе весьма долгаго, времени, никакого противодѣйствія со стороны народной интеллигенціи. Среди дремоты и всеобщаго мертвеннаго застоя выси-

лись авторитеты, окруженные почти что боготворением со стороны публики. Ихъ нельзя было даже и разбирать, потому что всякаго смѣльчака, который бы попробовалъ критически къ нимъ отнестись, преслѣдовала бы сама періодическая печать и указала бы на него правительству какъ на вольнодумца. Такимъ колоссальнымъ авторитетомъ, въ области исторіи и политики, былъ, въ то время, Карамзинъ (ум. 1826), нѣкогда страстный поклонникъ западной Европы, а позже сильно измѣнившійся въ убѣжденіяхъ, врагъ новизны, противникъ реформъ. Какимъ тяжелымъ бременемъ ложился на современниковъ каждый авторитетъ и какъ стѣснялъ онъ свободу историческаго изслѣдованія, это можетъ объяснить курьезный документъ во 2-мъ томѣ полного изданія сочиненій кн. П. А. Вяземскаго (Спб., 1879, стр. 214), а именно: письмо его писанное въ 1836 г. къ министру народнаго просвѣщенія С. С. Уварову, какъ главному начальнику цензуры. Князь Вяземскій, чловѣкъ несомнѣнно просвѣщенный и считавшій себя либеральнымъ, жалуется министру на то, что онъ допускаетъ съ учебныхъ кафедръ и въ пропускаемыхъ цензорами журналахъ статьи, критикующія «твореніе Карамзина, эту единственную въ Россіи книгу, истинно государственную, и народную и монархическую, и чрезъ то самое поощряетъ *черную шайку* разрушителей или *ломщиковъ*, которые только того и добиваются, чтобы можно было провозгласить: *у насъ нѣтъ исторіи*». Князь Вяземскій обличаетъ, такимъ образомъ, два журнала, оба московскіе: «Телеграфъ» и «Телескопъ», изъ которыхъ первый, издаваемый Н. Полевымъ, за то, что помѣстилъ критику исторіи Карамзина, написанную Лелевелемъ, котораго мнѣнія и духъ, по словамъ самаго Вяземскаго, раскрылись много лѣтъ потомъ, въ дни польскаго мятежа, а второй журналъ обвиняемъ былъ за помѣщеніе извѣстнаго *Философическаго письма* Чаадаева. — Независимо отъ журналовъ, Вяземскій указывалъ еще на профессора петербургскаго университета,

Устрялова, который позволилъ себѣ, «вывести на одну доску—Карамзина и Полевого, стройное твореніе одного и недоносокъ другого» (Исторія русскаго народа, Н. Полевого) и притомъ изложилъ ихъ взгляды «столь двумысленно или просто сбивчиво, что по истинѣ не знаешь, кому изъ двухъ онъ даетъ преимущество». Князь Вяземскій убѣжденъ, что правительство должно покровительствовать одной *зиждательной* силѣ, а ничего зиждительнаго нѣтъ въ историческомъ протестантизмѣ, который осушаетъ источники вѣрованій и преданій и, увлекаясь нелѣпою фразеологіею *высшихъ взглядовъ, потребностей и духа времени*, создаетъ какую-то *подвижную исторію*, по измѣненіямъ образа мыслей и страстей, и переходитъ къ современному *нигилизму* <sup>1)</sup>). Для полноты оцѣнки взглядовъ кн. Вяземскаго слѣдуетъ замѣтить, что Карамзинъ былъ не только историкъ, но и публицистъ, былъ лицо, занимавшее до смерти своей положеніе, похожее на то, какое занималъ въ недавнія времена М. Катковъ. Извѣстно, что Карамзинъ въ свое время былъ поборникомъ принципа самодержавія болѣе рѣшительнымъ, чѣмъ само правительство и самъ монархъ. Увлеченіе князя Вяземскаго было столь велико, что, по его словамъ, «самое 14-е декабря» было не что иное, какъ «критика вооруженною рукою мнѣнія, исповѣдуемаго Карамзинымъ, то-есть исторіи Государства Россійскаго».— До конца своей жизни кн. Вяземскій, однако, сочувствовалъ полякамъ, языкъ и литературу ихъ онъ основательно зналъ, такъ какъ нѣсколько лѣтъ прожилъ въ средѣ польскаго общества, въ Варшавѣ, при цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ. Онъ самъ себя считалъ, не безъ основанія, европейцемъ и прогрессистомъ. Никакой злой умыселъ не руководилъ имъ при написаніи письма

---

<sup>1)</sup> Кличку изобрѣлъ, какъ извѣстно, Надеждинъ; Вяземскій ее только повторилъ.

къ Уварову, никакой личной цѣли не достигалъ онъ посредствомъ этого письма. Наконецъ, замѣтимъ, что само письмо показано было Пушкину авторомъ до отсылки его по назначенію, и Пушкинъ одобрилъ его, за исключеніемъ фразы о 14-мъ декабря, противъ которой онъ поставилъ замѣтку: «не лишнее ли?» — Легко понять, что, при тогдашнемъ всеобщемъ умственномъ застоѣ, при полной политической незрѣлости, при хаотическомъ броженіи и невыработкѣ простѣйшихъ понятій о лучшихъ порядкахъ, обстоятельства не благопріятствовали трезвому изслѣдованію исторіи, не только новѣйшей, но даже и древне-московской. Документъ въ родѣ вышеприведеннаго, и притомъ исходящій отъ столь хорошаго вообще и передоваго человѣка, какимъ былъ кн. Вяземскій, болѣе поучителенъ, нежели цѣлые томы, и превосходно освѣщаетъ и духъ тогдашняго времени, и настроеніе общества. Что касается до новѣйшей исторіи русской послѣ Петра, то великаго царя и великую царицу позволяемо было только прославлять, но порицать никакъ и никому не подобало. Къ числу строго запрещенныхъ сочиненій принадлежала, въ то время, даже и извѣстная записка Карамзина: «О древней и новой Россіи», въ которой историкъ, относясь съ глубочайшимъ благоговѣніемъ къ Петру В., упрекалъ его только слегка за пренебреженіе своей собственной народности, за пристрастіе къ иноземному. Отъ Пушкина, которому съ іюня 1831 г. открыты были, для собранія матеріаловъ по исторіи царствованія Петра, государственные архивы, и правительство, и публика ожидали одного только апофеоза. Не только указанное пятно на памяти царя, но даже малѣйшая тѣнь, брошенная на него историкомъ, была бы признана за оскверненіе и вызвала бы полное и общее негодованіе. Какъ ни охорашивалъ Петра Пушкинъ въ «Мѣдномъ Всадникѣ», какъ ни занавѣшивалъ онъ основную мысль поэмы, несмотря на то, цензура не разрѣшила ему при жизни его поэмы къ напечатанію.

VI.

Вполнѣ признавая всю вѣскость двухъ разобранныхъ нами причинъ, повліявшихъ на то, что основная идея «Мѣднаго Всадника» не была вполнѣ ясно и достаточно прозрачно высказана, а именно: *эстетическаго чувства и внѣшнихъ препятствій*, между которыми на первомъ планѣ стояла тогдашняя цензура, мы должны отмѣтить еще и третью причину, можетъ быть, самую крупную, обусловившую загадочность произведенія, подобнаго вопросительному знаку. Только въ самые послѣдніе годы своей жизни,—слѣдовательно, гораздо позже своего знакомства съ Мицкевичемъ, Пушкинъ сильно поколебался въ своихъ политическихъ и общественныхъ убѣжденіяхъ, въ своихъ взглядахъ на совершенство петровскихъ реформъ, въ своихъ съ дѣтства взлелѣянныхъ идеалахъ, но не дошелъ, однако, до кореннаго пересозданія этихъ идеаловъ. Въ немъ зародились только нѣкоторыя сомнѣнія относительно обожяемаго имъ съ молодости реформатора, усмотрѣны только сильныя противорѣчія въ этой натурѣ, удивительная смѣсь добра и зла. Противорѣчій этихъ онъ не согласовалъ, не одолѣлъ; онъ съ мощною личностью не совладалъ; въ концѣ концовъ, это лицо такъ и осталось для него неразгаданнымъ сфинксомъ. Это обстоятельство было весьма подробно и толково разобрано П. В. Анненковымъ въ его трудѣ объ «Общественныхъ идеалахъ Пушкина» («Вѣстникъ Европы», 1880, № 8). Броженіе въ области политическихъ понятій у Пушкина и перерожденіе идеаловъ Анненковъ относитъ къ двумъ главнымъ причинамъ: во-первыхъ, къ тому, что подъ конецъ жизни Пушкинъ сталъ болѣе, чѣмъ смолоду, аристократомъ, что такой аристократизмъ во вкусѣ и привычкахъ повелъ и къ усиленному развитію аристократизма въ идеяхъ; и, во-вторыхъ, тому, что, вступивъ въ архивы, Пушкинъ дотронулся собственноручно до источниковъ, свидѣтель-

ствующихъ о величіи реформатора, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ужасающихъ, такъ какъ изъ этихъ документовъ струилась и капала кровь почти на каждомъ ихъ листѣ. Извѣстно, что съ лѣтами стираются воспоминанія тяжелыя и мучительныя, а если смотрѣть издали, лѣтъ сто послѣ событій, то остаются въ виду только окончательные и общіе результаты крупной дѣятельности политика. Все, что предшествовало Петру, почти всѣмъ было уже позабыто въ началѣ XIX вѣка; оно было закрыто сказочною и полумифическою фигурою великана, обладающаго сверхъестественною силою; казалось, какъ будто бы съ него только и начинается русская исторія. Пушкинъ записалъ въ отрывкахъ своей «автобіографіи» (V, 40), что когда онъ познакомился въ 1818 г. съ первыми восемью томами появившейся тогда «Исторіи» Карамзина, то ему показалась она откровеніемъ: «древняя Россія найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ». Пушкинъ не только былъ воспитанъ въ чувствахъ полного уваженія къ памяти Петра, но онъ не могъ еще не дорожить, какъ поэтъ, тѣмъ, что въ сказаніяхъ о Петрѣ содержался богатый и готовый матеріалъ для эпоса, который могъ быть прямо переносимъ изъ сказаній въ поэзію крупными чертами. Самъ предметъ былъ въ высшей степени благодарный для артиста, потому что чѣмъ симпатичнѣе былъ бы представленъ герой, тѣмъ съ большимъ энтузіазмомъ было бы принято произведеніе всѣми классами и направленіями общества. Народъ гордится своимъ героемъ и видитъ въ немъ свое собственное олицетвореніе. Только двѣ историческія личности дѣйствовали столь магически и обаятельно на Пушкина: Петръ В. и Наполеонъ. Подъ этимъ чарующимъ вліяніемъ Петра, осенью памятнаго по общенію Пушкина съ Мицкевичемъ 1828 года, написано было быстро и въ пылу непрерывавшагося вдохновенія одно изъ главныхъ произведеній Пушкина: «Полтава». Въ такомъ же настроеніи высокаго и сильнаго энтузіазма сочинено и вступленіе къ «Мѣд-

ному Всаднику», не вполне соответствующее основной мысли поэмы и содержащее не сатирическое, какъ у Мицкевича, но сильно идеализированное изображеніе Петербурга, каковъ онъ есть, сравнительно съ моментомъ, когда на «мшистыхъ, топкихъ берегахъ» Петръ думалъ о будущемъ и рѣшался «въ Европу прорубить окно». Такъ какъ всякая поэзія есть, до известной степени, вымыселъ, созданный съ цѣлью произвести возможно болѣе пріятное впечатлѣніе, то не всегда можно навѣрняка сказать, что авторъ именно такъ понималъ дѣйствительность, какъ онъ ее и изобразилъ. Но по этому вопросу мы обладаемъ весьма любопытнымъ объяснительнымъ документомъ, а именно: «историческими замѣчаніями» Пушкина, писанными въ 1822 году въ Кишиневѣ и заключающими въ себѣ сужденія о новѣйшей русской исторіи (V, 10). Авторъ строго осуждаетъ все царствованіе Екатерины II; въ заслугу ей зачтены только униженная Швеція и уничтоженная Польша; въ укоръ ей поставлены: жестокая дѣятельность ея деспотизма подъ личиною кротости и терпимости; угнетеніе народа намѣстниками; расхищеніе казны любимцами; ничтожность законодательства; комедія въ сношеніяхъ съ философами; наконецъ и то, что, возвышая любимцевъ, она унизила русское дворянство. Сужденія автора о Петрѣ не отличаются своеобразиемъ, онѣ довольно шаблонны и почти совпадаютъ со взглядами, до-нынѣ господствующими въ средѣ русской интеллигенціи. «Движеніе, переданное сильнымъ человекомъ, продолжалось въ огромныхъ составахъ государства преобразованнаго; наслѣдники сѣвернаго исполина съ суевѣрною точностью подражали ему во всемъ, что не требовало новаго вдохновенія; дѣйствія правительства были выше его образованности, и добро производилось не нарочно, между тѣмъ какъ азіатское невѣжество обитало при дворѣ... Петръ не страшился народной свободы, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ челоуѣчество, можетъ быть, больше, чѣмъ Наполеонъ»



(въ черновыхъ бумагахъ эта послѣдняя фраза изложена такъ: «Петръ не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія. Геній его скрывался за предѣлами вѣка, ибо, довѣряя своему могуществу, онъ почиталъ его неприкосновеннымъ. Всеобщее рабство и безмолвное повиновеніе. Всѣ состоянія были равны предъ его палкою»). Пушкинъ радуется, что не удались попытки русскихъ аристократовъ ограничить самодержавіе. «Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ... Владѣльцы душъ, сильные своими правами, затруднили бы или даже уничтожили бы способы освобожденія людей крѣпостнаго состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынче, политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ. Желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противъ общаго зла, и мирное, твердое единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы».

Эти оптимистическіе взгляды, эти красивыя мечты намъ знакомы. Эти идеалы одушевляли все молодое поколѣніе тогдашнее, цвѣтъ котораго составляли «друзья-москали» Мицкевича, иными словами,—декабристы. Во главѣ подавленнаго 14-го декабря движенія стояли русскіе дворяне, получившіе французское воспитаніе; люди, которые, несмотря на жестокій урокъ, данный кровавымъ исходомъ великой революціи 1789 г., легкомысленно и не угадывая препятствій, пустились впередъ, вѣруя, что можно однимъ скачкомъ и одновременно дойти до двухъ колоссальнѣйшихъ и неимоვნно трудныхъ результатовъ: и до освобожденія крестьянъ, и до парламентаризма. Ради достиженія общей политической свободы они отрѣшались отъ своей касты и жертвовали всѣми правами и преимуществами своего привилегиро-

ваннаго состоянія. За рубежомъ, который они пытались перейти, уже не было, по ихъ понятіямъ, мѣста для русско-польскаго спора; тайныя общества обѣихъ національностей подавали, какъ оказалось, другъ другу руки и дѣйствовали за-одно. Не принадлежа къ тайнымъ обществамъ тогдашнимъ, Пушкинъ былъ съ ними умственно и нравственно солидаренъ; сама его ссылка на югъ Россіи была слѣдствіемъ того, что по рукамъ ходили его возбуждающіе къ энергическому дѣйствию, политическому или соціальному, стихи. Въ извѣстной своей «Деревнѣ», 1819 г. (I, 205), клеймя «дикое барство», которое «присвоило себѣ насильственной лозой и трудъ, и собственность, и время земледѣльца», авторъ заключаетъ произведеніе стихами, исполненными тоски какого-то ожиданія:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный  
И рабство падшее по манію царя,  
И падъ отечествомъ свободы просвѣщенной  
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Всѣ эти золотыя грезы молодости были разрушены событіями 14-го декабря 1825 г., какъ падаютъ карточные домики дѣтей отъ дуновенія вѣтра. Провалилась цѣликомъ вся незрѣлая программа партіи со всѣми ея положеніями общественной и политической, и международной реформы. Пути дальнѣйшаго слѣдованія обѣихъ національностей, русской и польской, соединявшіеся идеально въ умахъ передовыхъ людей движенія, разошлись уже въ то время, когда началось знакомство Мицкевича съ Пушкинымъ. Оба поэта даже и не подозревали, какое огромное пространство стало теперь между этими разошедшимися путями. Въ глазахъ Мицкевича императоръ Николай еще не переставалъ быть царемъ конституціоннымъ польскимъ. Въ 1829 г., 12-го іюня, онъ писалъ письмо къ Ѳ. Булгарину, въ которомъ, по поводу коронаціи августѣйшей четы въ Варшавѣ, изображалъ онъ свой восторгъ и счастье, и энтузіазмъ, и радость своихъ земляковъ по поводу этого торже-

ственного акта (Хмѣлёвскій, Ад. М., II, 467). Что касается Пушкина, то катастрофа 14-го декабря не измѣнила собственно его сердечныхъ отношеній къ наказанному за бунтъ декабристамъ, но видоизмѣнила во всемъ и значительно его программу будущаго. Въ своихъ лекціяхъ въ Collège de France Мицкевичъ выражается, говоря о Пушкинѣ (69-я лекція), что, послѣ 14-го декабря 1825 г., онъ потерялъ бодрость и энтузіазмъ политическій, что онъ сталъ падать (*commença à déchoir*), что отразилось и на его поэтическихъ произведеніяхъ. Онъ не сознавалъ еще, что ошибался, но въ близкомъ кругу онъ уже говорилъ о своихъ бывшихъ друзьяхъ и объ ихъ идеяхъ съ горечью и пренебреженіемъ.—Эти сужденія несправедливы, пристрастны и не сходятся ни съ дѣйствительностью, ни съ тѣмъ, что самъ Мицкевичъ писалъ въ некрологѣ Пушкина въ 1837 г., будто въ то время, когда они познакомились, Пушкинъ достигалъ зрѣлости, развивался, изъ байрониста превращался въ народнаго русскаго поэта, изучающаго народныя пѣсни, сказки, народную исторію, пускающаго корни въ народную почву, такъ что Мицкевичъ ожидалъ отъ него чего-нибудь колоссальнаго (*Mélanges posthumes d'A. Mickiewicz, 1-re série, Paris, 1872, p. 298—305*). Прибавимъ, что однимъ изъ характернѣйшихъ хорошихъ качествъ Пушкина было его постоянство въ дружбѣ, чувство нѣжнѣйшей, почти дѣтской, привязанности къ любимцамъ юности. Пушкинъ никогда не отрекался отъ своихъ опальныхъ друзей. Несмотря на свое весьма шаткое положеніе, онъ писалъ, въ лицейскую годовщину 19-го октября 1827 г.:

Богъ помощь вамъ, друзья мои,  
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,  
Въ краю чужомъ (Тургеневы А. и Н.), въ пустынномъ морѣ  
(Матюшкинъ),

*И въ мрачныхъ пропасть земли!*

Еще раньше того (вѣроятно, въ началѣ 1827 г.) отправлены въ Сибирь (само собою разумѣется, тайно)

горячія строфы «Послання» (II, 11), предвозвѣщающія узникамъ, правда, не революцію, но амнистію, въ воспоминаніе которой Пушкинъ твердо вѣровалъ до конца своей жизни:

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ  
Храните гордое терпѣнье:  
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ  
И думъ высокое стремленье.  
Несчастью вѣрная сестра,  
Надежда, въ мрачномъ подземельѣ  
Пробудитъ бодрость и веселье  
Придетъ желанная пора:  
Любовь и дружество до васъ  
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,  
Какъ въ ваши каторжныя норы  
Доходитъ мой свободный гласъ;  
Оковы тяжкія падутъ,  
Темницы рухнутъ—и свобода  
Васъ приметъ радостно у входа,  
И братья мечъ вамъ отдадутъ.

Не подлежить сомнѣнію, что и послѣ паденія декабристовъ Пушкинъ считалъ себя ихъ товарищемъ, случайно спасшимся послѣ крушенія ихъ корабля. Такой смыслъ имѣетъ помѣченный 16-мъ іюля 1827 г. отрывокъ «Аріонъ» (II, 15):

Погибъ и кормчій и пловецъ!  
Лишь я, таинственный пѣвецъ,  
На берегъ выброшенъ грозною.  
Я гимны прежніе пою  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнцѣ, подъ скалою.

Что касается до программы практическихъ задачъ и затѣй декабристовъ, то онѣ оказались безусловно неисполнимыми, несостоятельными. Будучи одаренъ необыкновенно упругимъ темпераментомъ, весьма трезвымъ взглядомъ и большою сообразительностью, Пушкинъ послѣ событія, которое смело его друзей, — тогдашнихъ либераловъ, — не хандрилъ, не опустилъ рукъ, не отчаялся и не сдѣлался нелюдимомъ или заговорщикомъ, но сталъ

бодро и не унывая созидать, въ своей всегда работающей и богатой идеями головѣ, идеаль иного будущаго, непохожаго на то, которое онъ себѣ до того времени воображалъ. Въ періодъ своего знакомства съ Мицкевичемъ еще основныя положенія и задачи будущаго оставались у Пушкина прежнія, только онѣ отодвигались въ неизмѣримую почти даль. Несоотвѣтствующими задачамъ оказывались средства, и эту слабую сторону въ неудавшемся предпріятіи подвергалъ Пушкинъ безпощадной критикѣ; рѣзкость которая огорчала Мицкевича. Вопросы политическіе не переставали занимать по прежнему Пушкина; на этой-то почвѣ, а не въ области чистаго искусства, нашлись точки соприкосновенія его съ Мицкевичемъ, Мицкевичъ не считалъ также никогда поэзію единственнымъ дѣломъ и главною задачею своей жизни; на первомъ планѣ стояли у него мораль, чело-вѣческое благо, счастье людей, осуществляемые политическими средствами (такова и основная мысль третьей части «Дѣдовъ»). Мицкевичъ сообщаетъ (въ некрологѣ Пушкина), что и Пушкину противно было артистическое равнодушіе Гёте ко всему, вокругъ него происходящему, что онъ презиралъ писателей, не имѣющихъ цѣли, направленія. Мицкевичъ опредѣлилъ довольно точно, о чемъ онъ бесѣдовалъ съ русскимъ поэтомъ: «Пушкинъ удивлялъ слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума, обладалъ громадною памятью, вѣрнымъ сужденіемъ, изящнѣйшимъ вкусомъ. Когда онъ разсуждалъ о политикѣ иностранной и внутренней, казалось, что говорить по-сѣдѣлый дѣловой человѣкъ, питающійся ежедневно чтеніемъ парламентскихъ преній... Рѣчь его, въ которой можно было замѣтить зародыши будущихъ его произведеній, становилась болѣе и болѣе серьезною. Онъ любилъ разбирать великіе, религіозные и общественные вопросы, само существованіе которыхъ было, повидимому, неизвѣстно его соотечественникамъ». Мицкевичъ признавалъ начинавшееся охлажденіе русской публики по отношенію къ Пушкину: «публика оставляла Пушкина

потому, что не находила въ немъ прежней точки опоры. Она хотѣла бы обрѣсти въ своемъ любимомъ поэтѣ руководителя совѣсти или, по крайней мѣрѣ, руководителя общественнаго мнѣнія, который бы сказалъ: что намъ дѣлать? чего ждать?» (69-ème leçon). Между тѣмъ Пушкинъ не зналъ что сказать. Самому Мицкевичу будущее направленіе русскаго поэта представлялось неяснымъ и загадочнымъ. Вотъ что сказано въ некрологѣ Пушкина: «что происходило въ его душѣ? проникалась ли она втихомолку вліяніемъ того духа, который одушевляетъ произведенія Манцони и Сильвіо Пеллико, (т.-е. поэтовъ терпѣливой, страдальческой оппозиціи)? Или же его воображеніе работало надъ воплощеніемъ идей въ родѣ тѣхъ, какія возвѣстили Сень-Симонъ или Фурье? Этого я не знаю; въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и бесѣдахъ появлялись признаки обоихъ этихъ направленій».

Намъ трудно указать, въ какихъ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина открылъ Мицкевичъ зародыши отвлеченныхъ общечеловѣческихъ утопій. Кажется что умъ Пушкина не былъ вовсе къ нимъ склоненъ. Въ общихъ чертахъ дилемма, которую ставитъ Мицкевичъ, примѣнима была вполне къ цѣлому обществу русскому тогдашнему, и по этой причинѣ приложена Мицкевичемъ и къ Пушкину.

Оба предположенія Мицкевича основывались на томъ, что Пушкинъ останется вѣренъ началамъ русскаго либерализма, побѣжденнаго въ декабрѣ 1825 года, и обреченъ на роль бойца оппозиціи, протестующаго въ предѣлахъ возможности противъ водворившагося послѣ катастрофы режима. Ни та, ни другая изъ предугадываемыхъ Мицкевичемъ ролей не были у Пушкина ни въ его натурѣ, ни въ его характерѣ. Никакіе удары судьбы не могли сломить Пушкина; къ нему, мгновенно послѣ удара, возвращались и бодрость, и надежды, но онъ не былъ созданъ для упорной, не имѣющей никакихъ видовъ на успѣхъ, борьбы; онъ не любилъ плыть

противъ теченія и въ душѣ былъ, по крайней мѣрѣ послѣ катастрофы, искреннимъ сторонникомъ правительства и власти. Еще находясь въ ссылкѣ въ Михайловскомъ, въ январѣ 1826 г., онъ писалъ къ Дельвигу (VII, № 162): «я бы желалъ вполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости съ моей стороны». По совершенно вѣрному замѣчанію Мицкевича, императоръ Николай обнаружилъ рѣдкую проницательность (*sagacité rare*), отпуская Пушкина на свободу и взявъ только съ него честное слово, что онъ не употребитъ ея во зло. Пушкинъ былъ до глубины души тронутъ этимъ доказательствомъ довѣрія, а такъ какъ онъ былъ притомъ величайшій оптимистъ и весьма дѣятельный человѣкъ, то ему показалось, что ему открывается въ новыхъ, хотя и трудныхъ условіяхъ извѣстное поприще для полезной дѣятельности. Не хлопоча для себя ни о чемъ и храня, какъ зѣницу ока, свою нравственную независимость, Пушкинъ пытался принести пользу другимъ, наиболѣе въ томъ нуждающимся. Въ декабрѣ 1826 г. (II, 7, Стансы), поднося императору Николаю значительно польщенный насчетъ незлобія портретъ Петра В., Пушкинъ кончалъ стихи такимъ обращеніемъ къ государю:

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,  
Во всемъ будь пращуру подобенъ:  
Какъ онъ, неутомимъ и твердъ,  
*И памятью, какъ онъ незлобенъ(?)*.

Въ 1828 году, выражая свою искреннюю благодарность за дарованную ему свободу, Пушкинъ защищаетъ себя передъ друзьями:

Я—льстецъ?—Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ  
Онъ горе на царя накличетъ,  
Онъ изъ его державныхъ правъ  
Одну лишь милость ограничить...  
Вѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ  
Одни приближены къ престолу,  
А Богомъ избранный пѣвецъ  
Молчитъ, потупя очи долу!

Еще въ ноябрѣ 1830 (письмо къ Вяземскому, VII, № 253) Пушкинъ былъ въ полномъ упованіи амнистіи. «Каковъ государь? Молодецъ! того и гляди, что нашихъ каторжниковъ простить». Этому благоговѣйному поклоненію особѣ государя Пушкинъ остался вѣренъ до послѣдняго издыханія, какъ то видно изъ словъ, сказанныхъ Жуковскому (8-е изданіе, Ефремова, 1882, VII, 430, 441): «скажи, что мнѣ жаль умереть; *былъ бы весь его*». Хотя эти слова были, въ моментъ ихъ произнесенія, вполнѣ искренни, но сильно бы ошибся тотъ, кто полагалъ бы, что поэта можно всегда держать на цѣпочкѣ, хотя бы то была стальная цѣпочка чувства благодарности. Эпиграммы срывались съ языка невольно: несмотря на нѣжныѣйшія чувства уваженія и любви, не могъ пощадить онъ ни Карамзина, ни Жуковского, не могъ онъ отъ времени до времени не съострить ни «насчетъ небеснаго отца», ни «насчетъ царя земного» (I, 198). Подъ самый конецъ жизни, 5-го іюля 1836 г., вѣчный шутникъ, забавлявшійся озадачиваніемъ литераторовъ насчетъ иностранныхъ поэтовъ которыхъ якобы онъ переводилъ, писалъ онъ дивные, по красотѣ и по юмору, стихи, которые озаглавилъ сначала: «изъ Alfred de Musset», а потомъ: «Изъ VI Пиндемонте», въ которыхъ изобразилъ самаго себя и изъ которыхъ позаимствуемъ конецъ (II, 187):

...никому

Отчета не давать; себѣ лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливрей  
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шен;  
По прихоти своей скитаться ядѣсь и тамъ,  
Дивясь божественнымъ природы красотамъ.  
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья  
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—  
Вотъ счастье! вотъ права!

## VII.

Чѣмъ больше мужалъ и входилъ въ лѣта Пушкинъ, тѣмъ болѣе онъ степенился, становился положительнымъ,



консервативнымъ челоѡкомъ въ политикѣ, чуждающимся фрондерства. По своему собственному признанію (письмо къ Жуковскому, начала 1826 г., VII, № 160), онъ подсвистывалъ Александру I-му до самаго гроба, но императору Николаю онъ былъ вполнѣ и душевно преданъ. На это подсвистываніе онъ смотрѣлъ теперь какъ на ребячество, на увлеченія молодости, отъ которыхъ онъ постепенно началъ отрекаться еще въ Одессѣ въ 1823 г. («это мой послѣдній либеральный бредъ»: письмо къ А. Тургеневу, VII, № 49). Ему вполнѣ уяснился общій смыслъ русской исторіи, ея неизмѣнная формула: всякое крупное политическое дѣйствіе—только по почину правительства; оно есть движущее и образующее начало въ русской исторіи; консервативные элементы являются только задерживающими тормазами; всѣ великіе государи въ Россіи были своего рода революціонеры; Петръ Великій—больше всего (*Pierre I est à la fois Robespierre et Napoléon I—la révolution incarnée... V, 87*, изданія 8-го, Ефремова, черновыя замѣтки въ тетрадахъ). Замѣтимъ мимоходомъ, что у Мицкевича, въ его лекціяхъ (48 I.), приводится та же мысль о поразительномъ сходствѣ Петра съ монтаньярами—въ мельчайшихъ подробностяхъ, въ нервномъ безпокойствѣ, точно у тигра, въ судорожныхъ искаженіяхъ лица, и Мицкевичъ указываетъ на эту мысль, какъ на раздѣляемую русскими <sup>1)</sup>), изъ чего мы, повидимому, въ правѣ заключить о томъ, что, можетъ быть, сама мысль заимствована Мицкевичемъ отъ Пушкина и передана ему въ памятной бесѣдѣ у памятника.

Общій смыслъ русской исторіи несомнѣнно таковъ, какимъ представлялъ его себѣ Пушкинъ, но крайне ошибочно было бы предположеніе, что само движеніе совер-

---

<sup>1)</sup> On peut regarder l'empire de Pierre le Grand comme une Convention en permanence; les Français se recrient que la Convention travaillait pour la liberté et la Russie pour le despotisme; *les Russes répondent* que Pierre le Grand organisait, tandis que la Convention ne faisait que détruire.

шается непрерывно, что въ каждый моментъ общество движется одинаково быстро, увлекается впередъ правительственными реформаторами. Государственная политика каждаго отдѣльнаго момента есть весьма сложное произведение всѣхъ современныхъ вѣяній и настроеній, силы вещей, того, что въ прежнія времена называли духомъ вѣка. Слѣдуетъ признать, что условія новаго періода, въ которомъ пришлось жить Пушкину послѣ 1825 г., клонились вообще не къ ускоренію, а къ задержкѣ общественнаго движенія, и были крайне неблагопріятны для литературы. Въ крайне утомленной послѣ французской революціи и Наполеонскихъ войнъ Европѣ преобладала реакція. Императоръ Николай былъ общепризнаннымъ рыцаремъ европейской контръ-революціи. Россія являлась твердынею легитимизма и охранительныхъ началъ. Сама она представлялась весьма стройною на видъ громадою, почти неподвигною,—такъ тихо и почти автоматически совершались въ ней всѣ жизненныя отправленія, точно въ часовомъ механизмѣ. По своимъ формамъ она являлась старинною патріархальною монархіею, опирающеюся на дворянствѣ; дворянство, какъ сословіе, покоилось даже не на землевладѣніи, а на душевладѣніи, слѣдовательно на крѣпостномъ правѣ. При такихъ условіяхъ крѣпостное право становилось одною изъ бытовыхъ основъ общества, къ которой даже и мысленно нельзя было прикасаться. При такой солидарности, въ теченіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, правительства и душевладѣльческаго дворянства въ вопросѣ о крѣпостныхъ, побѣжденному въ декабристахъ русскому либерализму приходилось надѣяться на неопредѣленное по времени будущее, ждать, пока обнаружатся силою вещей слабыя стороны системы управленія съ дворянскимъ оттѣнкомъ, пока измѣнится точка зрѣнія правительства на вопросъ, и, ожидая, сосредоточивать всѣ усилія на одинъ пунктъ, на отмѣну крѣпостничества, и готовить къ этой реформѣ умы лучшихъ и даровитѣйшихъ представителей самаго дворянства. Извѣстно,

что оппозиція исполнила по мѣрѣ возможности свою трудную работу, на которую косо смотрѣли въ свое время и крайне подозрительно — и современные правительственные люди, и дворянское сословіе, и что усилія ея вознаграждены были въ послѣдствіи прекрасными плодами, какіе принесла эта работа въ слѣдующее за тѣмъ царствованіе. Пушкина нѣтъ въ рядахъ этихъ людей, которыхъ предугадывалъ Мицкевичъ, произнося имена Манцони и Сильвіо Пеллико. Публика стала дѣйствительно къ нему охлаждать, потому что, по замѣчанію Мицкевича, она не находила уже въ немъ «son directeur de conscience, son directeur d'opinion», общественный дѣятель въ немъ какъ будто бы и не высказывался, а оставался только великій и неподражаемый жрецъ чистаго искусства. Не изъ изданныхъ при жизни произведеній, а изъ оставшагося послѣ Пушкина литературнаго наслѣдства, изъ черняковъ и отрывковъ, видно, что онъ не то, чтобы сдѣлался равнодушнымъ къ политикѣ и общественнымъ вопросамъ, но радикальнѣйшимъ образомъ, самъ, можетъ быть, того не замѣчая, измѣнился, что онъ оставилъ убѣжденія, которыя вдохновляли его въ годы молодости, что онъ перешелъ уже къ консерваторамъ, раздѣлялъ узко-дворянскіе взгляды и сталъ критически относиться къ реформѣ петровской, и даже не прочь былъ проводить эти взгляды и дѣйствовать какъ публицистъ въ этомъ направленіи. Обязательства помѣшали ему осуществить эти намѣренія, по той только очень простой причинѣ, что до конца своей жизни онъ не имѣлъ въ литературной дѣятельности полной своей воли. Этому перерожденію содѣйствовало множество причинъ: непокидавшая Пушкина до конца его жизни жажда общественной дѣятельности, прямой и непосредственной, рѣдкая способность приносившаяся оппортунистически ко всякому твердо установившемуся порядку вещей, живость воображенія, заставляющая его усматривать въ дѣйствіяхъ правительства осуществленіе того что было совершенно чуждо

видамъ правительства, но чего онъ самъ надѣялся и страстно желалъ; наконецъ, впечатленія ранняго дѣтства, дворянское воспитаніе, атмосфера, среди которой онъ выросъ, растлѣвающія привычки барства и крѣпостничества, которыя становились сильнѣе послѣ крушенія идеаловъ либерализма, развѣянныхъ событіями декабря 1825 года. Крайне любопытно прослѣдить по письмамъ и черновымъ наброскамъ, какъ возникаютъ въ артистически-творческой, гениальной головѣ Пушкина паутинныя сѣти публицистическихъ мечтаній, и въ какіе сплетаются онѣ причудливые узлы.

Первый признакъ поворота въ анти-петровскомъ дворянскомъ направленіи содержится въ курьезномъ письмѣ къ кн. Вяземскому (VII, № 218), изъ Москвы, 16-го марта 1830 г. «Государь оставилъ въ Москвѣ, — пишетъ Пушкинъ, — проектъ новой организаціи, *контръ-революціи Петра*. Вотъ случай написать политическій памфлетъ, ибо правительство дѣйствуетъ или намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія. Огражденіе дворянства, подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и *крѣпостныхъ* — вотъ великіе предметы. Какъ ты? я думаю, пуститься въ политическую прозу». Все сообщаемое извѣстіе состоитъ изъ призраковъ и иллюзій. Не было предполагаемо дарованіе правъ мѣщанамъ и крѣпостнымъ. Ограждать дворянство не приходилось, съ нимъ однимъ считалось правительство, ему предоставляло оно власть надъ крѣпостными, множество должностей для замѣщенія посредствомъ выборовъ и разныя преимущества при восхожденіи по ступенямъ табели о рангахъ. Если бы предполагаемо было дѣйствительно подавить чиновничество, то такая реформа заслуживала бы вполнѣ названія контръ-петровской, потому что Петръ былъ настоящимъ создателемъ новѣйшей бюрократіи, и Пушкинъ былъ правъ, когда, осуждая — хотя и съ чисто дворянской точки зрѣнія — его созданія, писалъ въ замѣткахъ къ исторіи Петра Великаго (VI, 326): вотъ уже 150 лѣтъ, какъ «табель о рангахъ сме-

таетъ дворянство въ одну кучу, а затѣмъ уничтоженіе майоратства *плутовскимъ* образомъ довершило паденіе передоваго класса. Что изъ сего слѣдуетъ? восшествіе Екатерины II, 14-е декабря и т. д.». Но именно въ то время менѣе чѣмъ когда-либо можно было помышлять о подавленіи чиновничества. Развѣтвленная до безконечности, какъ исполинскій поликъ, бюрократическая машина изолировала вполне народъ отъ правительства. Та политическая проза, о которой Пушкинъ писалъ къ Вяземскому, предназначалась для «Литературной Газеты» барона Дельвига, въ которой Пушкинъ велъ ожесточенную литературную войну съ двумя весьма опасными по своему положенію журнальными, какъ ихъ называли тогда, «братьями-разбойниками», Н. Гречемъ и Ѳ. Булгаринымъ. Осенью 1830 г. въ Болдинѣ набросаны были на бумагу теоретическія замѣтки и проекты критическихъ и теоретическихъ статей для газеты, которыя, вѣроятно, потому только не были потомъ отдѣланы, что сама газета была приостановлена изданіемъ, а затѣмъ скончался потрясенный ея судьбою самъ Дельвигъ, 14-го января 1831 года. Исходною точкою зарождавшейся у Пушкина цѣлой теоріи русской аристократіи послужила критика «Исторіи русскаго народа», Н. Полевого, который, какъ извѣстно, придерживаясь изслѣдованій Гизо, усматривалъ и на Руси феодализмъ. Пушкинъ, какъ и слѣдовало, опровергалъ это мнѣніе, какъ исторически невѣрное; но въ противность тому, что онъ проповѣдывалъ въ молодости, онъ уже сожалѣетъ, что въ Россіи не водворился феодализмъ,—система простая и сильная, основанная на правѣ завоеванія. Если бы феодализмъ установился, то могла бы выработаться верхняя палата, какъ первый опытъ такъ-называемыхъ Пушкинымъ учрежденій независимости, къ которому бы потомъ примкнуло собраніе общественныхъ представителей. Мѣсто феодализма заступило боярство, крѣпнувшее посредствомъ мѣстничества и со временемъ могущее сдѣлаться наслѣдственнымъ, что составляло бы его хорошую

сторону, потому что «l'hérédité de la haute noblesse (въ совокупности съ майоратами) est une garantie de son indépendance». Цари Ѳеодоръ и Петръ, дѣйствуя за-одно съ низшими слоями служилаго сословія, сокрушили боярство и отмѣнили мѣстничество. Высшая аристократія не сдѣлалась наслѣдственною, а только пожизненною (moyen d'entourer le despotisme des stipendiaires dévoués et d'étouffer toute indépendance). Съ Ѳеодора и Петра начался переворотъ, произведшій новое дворянство, богатое, властное, дробящееся чрезъ раздѣлы наслѣдства. Старое боярство рушилось и образуетъ родъ средняго состоянія, къ которому принадлежатъ большею частію и русскіе литераторы. Полагалъ ли вѣроятнымъ Пушкинъ возстановить павшее боярство и предоставить ему вліяніе въ государствѣ, того нельзя себѣ ясно представить по уцѣлѣвшимъ отрывкамъ; но изъ программъ для «Литературной Газеты» (V, 79) оказывается, что онъ понималъ необходимость существованія потомственного дворянства, какъ высшаго сословія, награжденнаго большими (нежели другіе классы) преимуществами относительно собственности и личной свободы, состоящаго изъ лицъ, отмѣненныхъ по своему богатству или образу жизни и имѣющихъ время заниматься чужими дѣлами, слѣдовательно не трудящихся ремесломъ или земледѣліемъ и готовыхъ являться по первому призыву «du souverain». Пушкинъ имѣетъ самыя высокія понятія о цѣли института и объ обязанностяхъ привилегированнаго состоянія: быть живымъ воплощеніемъ независимости, храбрости, благородства, чести вообще, — качествамъ, которыя нужны вообще и всему народу, но они таковы, что независимый образъ жизни способенъ ихъ усилить или развить. Съ этой точки зрѣнія дворянство, по мнѣнію Пушкина, есть «la sauvegarde» трудолюбиваго класса, которому нѣкогда развивать эти качества. Пушкинъ различаетъ дворянство въ республикѣ и въ монархіи (государствѣ): въ первой оно состоитъ изъ богатыхъ людей, которыми кормится народъ (!), а въ монархіи — изъ военныхъ,

составляющихъ войско государево. Затѣмъ онъ ставитъ вопросъ: чѣмъ кончается (т.-е., по мнѣнію Анненкова, «погибаетъ») дворянство?—Въ республикѣ, — отвѣчаетъ онъ,—аристократіей правъ, а въ монархіи рабствомъ народа. П. В. Анненковъ признаетъ все это за доказательство того, что дворянское направленіе Пушкина происходило не изъ кровной привязанности къ боярскимъ привилегіямъ, а изъ сожалѣнія о потерѣ передовымъ словомъ орудій и средствъ сослужить великую службу отечеству; что подъ теоріей Пушкина текла горячая политическая струя; что, строя свою теорію, которая теперь оказывается и несостоятельною, и утопическою, Пушкинъ никогда не переставалъ быть типомъ гуманнаго развитія; что онъ всю жизнь желалъ для родины умноженія правъ и свободы въ предѣлахъ законности и политическаго быта, утвержденнаго всѣмъ прошлымъ и настоящимъ бытомъ Россіи... Въ защиту Пушкина Анненковъ ставитъ, такъ сказать, въ свидѣтели Мицкевича и заключаетъ слѣдующее: «мы убѣждены, что извѣстный глубоко-сочувственный, почти восторженный отзывъ Мицкевича о *политическомъ смыслѣ* Пушкина возникъ преимущественно изъ знакомства съ основными чертами этой самой теоріи (Пушкина), которая уже давно (слѣдовательно, до 1829 г.) народилась и созрѣвала въ головѣ ея автора. Но Анненковъ, очевидно, смѣшиваетъ два разные предмета: аристократическія преданія, свойственныя вообще народамъ, имѣвшимъ, какъ, напримѣръ, Польша, аристократическую формулу развитія въ прошломъ, и аристократическія стремленія, — и полагаетъ, что кто имѣлъ аристократическое, личное или національное, прошлое, тотъ, естественно, долженъ имѣть и аристократическія тенденціи для практической дѣятельности въ будущемъ. Подобный выводъ опровергается опытомъ вѣковъ, противъ него свидѣтельствуютъ и аристократы древнихъ Греціи и Рима, становившіеся во главѣ демократическихъ движеній, и знать французская, кинувшаяся въ революцію, и Байронъ, никогда не

измѣнявшій своему политическому радикализму, и всякая вообще жизне-способная аристократія, которая только тѣмъ и обнаруживаетъ свою живучесть, что стремится къ постепенному отрѣшенію отъ личныхъ и имущественныхъ привилегій, и что практически осуществляетъ она не аристократію правъ, но аристократію обязанностей и освобожденія народа. При всей красотѣ идеала дворянства, какимъ оно должно быть у Пушкина, теорія его несогласна въ практическихъ своихъ результатахъ съ этимъ идеаломъ; она, притомъ, такого рода, что Мицкевичъ никакъ не могъ бы ей сочувствовать и не одобрилъ бы ея, еслибы она ему стала извѣстна изъ бесѣдъ съ Пушкинымъ въ 1828 году.

### VIII.

Ближайшимъ ко времени знакомства Мицкевича съ Пушкинымъ выраженіемъ общественныхъ и политическихъ понятій самого Мицкевича слѣдуетъ признать его «Книги польскаго народа и паломничества», 1833 г. Въ этихъ книгахъ, конечно, господствуетъ уже, не существовавшая въ 1828 г., и въ этомъ видѣ весьма ошибочная и односторонняя, идея *мессіанизма*—плодъ горькихъ неудачъ и страданій послѣ событій 1830 года; но въ главныхъ чертахъ основы философско-историческихъ воззрѣній и тамъ остались тѣ же, какія подготовило въ поэтѣ все его прошлое. Въ этихъ книгахъ Мицкевичъ утверждаетъ, что, по ученію Христа, тотъ—большій между людьми, кто имъ служитъ, что христіанство вело народъ постепенно къ свободѣ, что свобода распространялась въ Европѣ постоянно и постепенно, отъ королей исходя, перешла на вельможъ; а эти послѣдніе, ставъ свободными, распространяли ее на города, что она должна была вскорѣ снизойти на весь народъ такъ что 3-го мая король и рыцарство рѣшили всѣхъ поляковъ обратить въ братьевъ, сначала мѣщанъ, а по-



томъ и крестьянъ. Мы вовсе не намѣрены отстаивать эту исторію польскаго народа, исторію сильно фантастическую, но она доказываетъ, что Мицкевичъ отличалъ самый институтъ—и духъ, оживляющій этотъ институтъ, то есть цвѣтъ увядающій—и сѣмя отъ этого цвѣта. Неудивительно, что онъ имѣлъ высокое понятіе объ институтѣ, такъ какъ у него были постоянно передъ глазами и его многовѣковое и великое прошлое, и громадная литература, прославлявшая шляхетство, начинающаяся съ классическаго изображенія у Н. Рейя въ періодъ возрожденія идеала шляхтича, какимъ онъ долженъ быть (*Zwierciadło albo żywot poczcivego człowieka*, 1567). Когда Мицкевичъ мечтаетъ о рыбацкомъ разбившемся суднѣ, которое будетъ за-ново выстроено и пойдетъ при помощи спасенной отъ кораблекрушенія магнитной иглы компаса,—компасомъ этимъ Мицкевичъ считаетъ не дворянство, которое окончательно растаяло въ народѣ, которому оно сообщило свое шляхетство, но одинаково присущую съ тѣхъ поръ и мужику, и еврею, любовь къ общему отечеству. Польское шляхетство было растеніе, конечно, далеко менѣе красивое, менѣе развѣсистое и прочное, нежели западно-европейскій феодализмъ, оно менѣе располагало дворянъ отстаивать противъ всѣхъ и каждого свою личность въ твердынѣ своего личнаго права, но въ сравненіи съ польскимъ шляхетствомъ русское боярство представлялось лишь верхнимъ слоемъ служилаго сословія, обязаннаго службою въ должностяхъ земскихъ и придворныхъ или на войнѣ, безусловно зависимыхъ отъ монарха, сильно похожимъ на литовское боярство, какимъ оно было до вступленія на польскій престолъ Ягеллоновой династіи. Пушкинъ также долженъ былъ признать, что институтъ боярства былъ разбитъ въ дребезги и выметенъ совсѣмъ петровскою табелью о рангахъ. Пушкинъ нисколько не заботился, каковъ былъ специально духъ этого упраздненнаго древне-московскаго института. Поэтъ заимствуетъ извнѣ западно-европейскія и феодальныя преданія, чувства независимости и чести,

сдѣлавшіяся нынѣ общимъ достояніемъ всѣхъ классовъ, отъ монарха до простого рабочаго, и наполняетъ этимъ содержаніемъ старый сосудъ, въ явно ошибочномъ предположеніи, что огражденное новыми привилегіями сословіе сдѣлается оплотомъ (*sauegarde*) общенародной свободы противъ правительства и бюрократіи. Всякое укрѣпленіе сословныхъ дворянскихъ преимуществъ вело бы не къ расширенію общегражданскихъ свободъ, а къ затрудненію освобожденія крестьянъ, котораго, въ сущности, правительство желало, но къ которому опасалось прикасаться и о которомъ оно запретило печатно разсуждать, только въ виду того, чтобы освобожденіемъ крестьянъ не умалять правъ дворянъ и не поколебать тѣмъ самымъ одного изъ устоевъ общественнаго быта.

Стремленіе къ усиленію дворянскихъ преимуществъ по логической связи вещей производило въ одержимомъ имъ лицѣ охлажденіе къ крупному вопросу, служившему въ то время пробнымъ камнемъ либерализма, то-есть къ освобожденію крестьянъ. На эту особенность настроенія Пушкина въ послѣдніе годы его жизни бросаетъ яркій, хотя и перемежающійся свѣтъ его полемическая статья 1834 г.: «Мысли на дорогѣ», заключающая въ себѣ систематическое опроверженіе знаменитаго въ свое время, изданнаго въ 1790 г. и строго запрещеннаго «Путешествія изъ Петербурга въ Москву», Александра Радищева. Сочиненіе Радищева обращалось въ рукописяхъ; оно произвело въ юности большое впечатлѣніе на Пушкина и вдохновило его къ написанію извѣстнаго стихотворенія его «Деревня», 1819 г. (I, 206):

Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ  
Неумолимаго владѣльца.  
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ.  
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ  
Для прихоти развратнаго злодѣя, и пр.

Что свое увлеченіе проповѣдникомъ освобожденія крестьянъ Пушкинъ сохранилъ до конца жизни, тому неопровержимымъ доказательствомъ служить 6-я строфа

его «Памятника», писаннаго въ 1836 году, которая имѣла слѣдующій видъ въ первоначальной своей редакціи:

И долго буду тѣмъ любовенъ я народу,  
Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,  
Что вслѣдъ Радищеву восславилъ я свободу  
И милосердіе воспѣлъ (II, 89).

Не мало должны были удивиться критики, когда въ посмертныхъ бумагахъ Пушкина найдено было такое же, какъ радищевское, путешествіе только въ обратномъ направленіи—изъ Москвы въ Петербургъ, передающее въ сокращеніи его рассказы, но оспаривающее его образы и выводы шагъ за шагомъ. Съ самимъ Радищевымъ Пушкинъ обращается тутъ довольно пренебрежительно и свысока, называетъ слогъ его надутымъ и напыщеннымъ, его самага—истиннымъ представителемъ полупросвѣщенія, вѣчно кому-нибудь подражающимъ и отражающимъ криво, какъ въ кривомъ зеркалѣ, всю французскую философію XVIII вѣка (V, 349—356), писателемъ дерзкимъ, съ которымъ приходится соглашаться только изрѣдка и по-неволѣ. По поводу статей Пушкина о Радищевѣ мнѣнія раздѣлились: писатели консервативнаго лагеря считали ихъ доказательствомъ полной зрѣлости и отрезвленія, искушившаго прежнія несбыточные мечтанія поэта; а въ прогрессивномъ и либеральномъ лагерѣ «Мысли на дорогѣ» рассматривались какъ перемѣна убѣжденій и отступничество отъ прежнихъ началъ. Недавно В. Якушкинъ («Радищевъ и Пушкинъ», Москва, 1886) попытался возстановить славу и доброе имя Пушкина посредствомъ согласованія обоихъ мнѣній <sup>1)</sup>. Онъ утверждаетъ, что Пушкинъ прибѣгалъ къ средству, часто употреблявшемуся писателями XVIII вѣка, которые хитрили съ цензурою и рѣзко порицали тѣ самыя мысли, которыя хотѣли распространять, что таковой «рабій», эзоповскій языкъ былъ неизбѣжною необ-

---

<sup>1)</sup> Сравни. «Вѣстникъ Европы». февраль, 1887 г.: Литерат. Обзор., стр. 870.

ходимостью того времени; что оппортунистъ-Пушкинъ рѣшился, хотя бы и прибѣгая къ такому способу, воскресить память о великомъ писателѣ и его замѣчательномъ произведеніи. Въ этомъ можетъ быть доля правды; но остается невыясненнымъ то, не замаскировалъ ли себя Пушкинъ до того, что ввелъ въ заблужденіе всѣхъ своихъ читателей и достигнулъ цѣли, прямо противной предполагаемымъ его намѣреніямъ. Въ «Мысляхъ на дорогѣ» Пушкинъ почти помирился съ крѣпостнымъ состояніемъ, потому что повинности мужика не тягостны, подушная подать платится міромъ, барщина опредѣлена закономъ, оброкъ незарочителенъ. Въ разговорѣ съ англичаниномъ (V, 241) Пушкинъ убѣждается англичаниномъ, что состояніе русскаго крестьянина во сто кратъ лучше состоянія англійскаго рабочаго. Нашъ крестьянинъ опрятнѣе англійскаго; въ его поступи и рѣчи нѣтъ и тѣни рабскаго униженія по отношенію къ помѣщику. Власть помѣщиковъ необходима для рекрутскаго набора и т. д. Такое резонирующее укрѣпленіе крѣпостничества снискивало ему сторонниковъ, конечно, помимо вѣдома его и воли, между столбами консерватизма и рабовладѣльчества, но точно холодною водою окачивало прогрессистовъ, у которыхъ оно отнимало всякую надежду на измѣненіе правоотношенія. Такою цѣною едва ли стоило оплачивать даже и распространеніе въ публикѣ свѣдѣній о Радищевѣ. Всякія возможныя попытки истолковать загадочную рукопись въ смыслъ благопріятномъ Пушкину, въ концѣ концовъ, требуютъ новыхъ объясненій. Либо приходится признать, что онъ въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ въ меньшей уже степени представлялъ собою типъ гуманнаго развитія; что въ теоріяхъ его уже замѣчалось меньше горячей политической струи; что, по мѣрѣ того, какъ улетучивалась юность, ослаблялось и то, что было только внушеніемъ духа времени, зато, съ другой стороны, усиливались и оплотнялись прежнія наклонности и привычки самаго ранняго дѣтства. Его увлеченіе идеею освобожденія

крестьянъ, быть можетъ, было отвлеченное, теоретическое; къ тому же онъ, по природѣ, былъ неизмѣнно добрымъ для всѣхъ, даже для тѣхъ, кого называлъ «хамами» (VII, № 173). Либо наоборотъ придется допустить, что опроверженіе Радищева было только преувеличеннымъ «оппортунизмомъ», доведеннымъ до того, что надѣтая маска могла плотно пристать къ лицу, и въ сознаніи и совѣсти начали совершаться трудно объясняемые сдѣлки между добрыми пожеланіями и невольнымъ преклоненіемъ предъ признаваемымъ непреодолимымъ господствомъ зла.

## IX.

Разборъ элементовъ, изъ которыхъ составила художественная характеристика Петра В. въ «Мѣдномъ Всадникѣ», былъ бы лишенъ надлежащей полноты, если бы мы обошли одинъ важный вопросъ, послѣдній изъ тѣхъ, которые подлежатъ разсмотрѣнію въ настоящемъ очеркѣ: о вліяніи на эту характеристику архивныхъ изысканій Пушкина и изученія Петра по подлиннымъ документамъ его царствованія. Пушкинъ предугадалъ анти-петровское направленіе въ политикѣ, котораго теоретиками были московскіе славянофилы, котораго практическія попытки стали возможны только позднѣе, послѣ освобожденія крестьянъ, послѣ введенія въ жизнь общественную множества мало-культурныхъ, не отполированныхъ цивилизаціею петровскаго періода элементовъ. Противъ Петра В. возстановляло Пушкина, прежде всего воспоминаніе о томъ, что самъ онъ, Пушкинъ—потомокъ древнихъ и знатныхъ бояръ, которые были всѣ сметены въ одну со многими другими классами кучу. Едва ли, однако, всѣ нареканія этого потомка бояръ могли бы подѣйствовать такимъ образомъ на колосса, чтобы онъ спустился съ своего гранитнаго подножія и чтобы сверкнули гнѣвомъ его очи. Въ 1831 году, по запискѣ Пушкина, ему разрѣшено рыться въ государ-

ственныхъ архивахъ для собранія матеріаловъ къ исторіи Петра В. и его ближайшихъ наслѣдниковъ,—первый шагъ къ занятію въ будущемъ почетной, вакантной послѣ Карамзина, должности російскаго исторіографа. Послѣ четырехъ лѣтъ постоянныхъ работъ оказалось (15 декабря 1835 г.), что собрана только большая масса историческихъ сырыхъ матеріаловъ, не провѣренныхъ критикою и расположенныхъ безъ плана, только по порядку лѣтъ. Пушкинъ пытался строить изъ этихъ данныхъ цѣлое, но тотчасъ бросилъ эту работу и ограничился одними бѣглыми замѣтками и вопросительными знаками, которые обнаруживаютъ, что онъ замѣтилъ нѣкоторую двойственность въ личности Петра, крупныя и разительныя противорѣчія въ ней, которыхъ онъ объяснить не могъ; что для разгадки этого историческаго лица у него не доставало подходящаго ключа. О характерѣ этихъ замѣтокъ можетъ дать понятіе слѣдующая (VI, 327): «Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра и временными его указами. Первые суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первые были для вѣчности или по крайней мѣрѣ для будущаго; вторые вырывались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика. Это внести въ исторію Петра, *обдумавъ*». Такимъ-то образомъ формулировалъ Пушкинъ свою задачу, которая была для него совсѣмъ неразрѣшима. Проживи онъ еще десять лѣтъ, онъ бы не написалъ, вѣроятно, исторіи Петра В. Сто лѣтъ едва прошло отъ смерти Петра до момента, когда Пушкинъ принялся писать его исторію; времени этого едва ли хватило бы на то, чтобы, по словамъ Мицкевича, воздвигнуть «эти пышные чертоги, вымыть шампанскимъ паркетъ буфетовъ и натереть ихъ менуэтными пѣ» (Petersburg),—періодъ, похожій на непрестанный маскарадъ, періодъ обезьяничанья и слѣпаго подражанія иностранному. Однако, вслѣдствіе только того, что въ народной исклю-

чительности проломаны многія бреши, что чрезъ эти проломы повѣялъ духъ XVIII вѣка и установилось свободное движеніе воздуха,—уже утончились формы общезжитія у вчерашнихъ скивовъ, уже ихъ ощущенія и иллюзіи сдѣлались нѣжнѣе и благороднѣе. Невольно улыбнешься, когда услышишь, что одинъ такой юный офранцузившійся скивъ, потомокъ древнихъ московскихъ бояръ, писалъ въ 1817 году на портретѣ друга своего, такого же юнаго скива: «Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесь, У насъ онъ—офицеръ гусарскій» (I, 180). Конечно, ни одинъ, ни другой, не были похожи на древнихъ грековъ и римлянъ, но несомнѣнно, что нѣкоторые чувства общечеловѣческія и гражданскія, одушевлявшія древнихъ грековъ и римлянъ, бывъ потомъ процѣжены сквозъ французскій классицизмъ XVIII вѣка, вошли въ плоть и кровь этихъ «скивовъ». Человѣченіе ихъ сказывалось въ особенности въ томъ, что пробуждалось въ нихъ непреодолимое, почти физическое отвращеніе отъ грубой силы, попирающей всѣхъ не только безъ милосердія, но даже и безъ соображенія, есть ли какое-нибудь соотвѣтствіе между пользою цѣли и вредомъ средствъ,—отвращеніе, которое во сто кратъ сильнѣе, когда созерцаешь извѣстное историческое дѣйствіе не издали, не сквозъ легендарную призму, но находясь въ самой, такъ сказать, исторической бойнѣ. Ипполитъ Тэнъ (*Origines de la France contemporaine*, III, 152 и 154), описывая, между прочимъ, Петра В., какъ онъ съ хлыстомъ въ рукахъ училъ своихъ «московскихъ медвѣжатъ» танцовать европейскій менуэтъ, остается при томъ, облегчающемъ въ его глазахъ задачу Петра, убѣжденіи, что Петръ не вмѣшивался въ крестьянскій міръ, не трогалъ его и имѣлъ въ числѣ своихъ помощниковъ всѣхъ просвѣщенныхъ людей своей страны. Изъ всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій (С. Соловьевъ, Костомаровъ, Брикнеръ) слѣдуетъ, что условія реформы Петра В. были гораздо труднѣе, нежели Тэнъ предполагаетъ, что Петръ В. не пощадилъ въ обреченномъ на сломку строеніи даже

крестьянского міра, что онъ отвергъ всѣ общинныя учрежденія, что онъ имѣлъ крайне малое число помощниковъ, и то болѣе изъ иностранцевъ, что у него мало было собственныхъ организаціонныхъ идей, а бралъ онъ живьемъ все чужое и заимствованное, что отличительная его черта была не глубина замысловъ, но страшное напряжение воли и неимоверная поспѣшность, съ которою онъ несся впередъ, одержимый одною только идеею, притомъ, идеею весьма простою—соорудить скорѣйшимъ путемъ громаднѣйшую державу, употребивъ на это дѣло всякіе безъ разбору матеріалы, всякія, какія нашлись подъ руками, средства. Историческая наука, которая чуждается всѣхъ субъективныхъ влеченій и отвращеній, и которая ищетъ въ событіяхъ только подлежащихъ разрѣшенію загадокъ и задачъ, затрудняется до-нынѣ, при изученіи Петра, встрѣчаемыми въ немъ замѣчательнѣйшими въ психологическомъ отношеніи противорѣчіями, которыя будутъ, по всей вѣроятности, когда-нибудь согласованы посредствомъ обслѣдованія центральнаго узлового пункта въ этомъ вопросѣ, а именно: свойства его основныхъ идей, раздѣленія мотивовъ, заставлявшихъ его дѣйствовать, на эгоистическіе и альтруистическіе, и сопоставленія, наконецъ, его идей съ завѣтнѣйшими и древнѣйшими надеждами и вождедѣніями народа, который только такимъ образомъ могъ освободиться отъ монголовъ и построить независимое государство, что отрекаясь отъ личнаго счастья отдѣльныхъ лицъ, возлагалъ все свое добро, не разсуждая, на жертвенникъ общественнаго блага (Тэнъ говоритъ: «à l'idée vague du salut public», р. 152); слѣдовательно, и въ данномъ случаѣ народъ этотъ слѣдовалъ за реформаторомъ, хотя и упираясь и сопротивляясь, по магическому какъ бы заклинанію волшебника. Пушкинъ не обладалъ способностью критическаго, методическаго анализа событій; онъ и въ исторіи былъ только поэтъ, угадывающій рѣшеніе по вдохновенію. Если бы въ немъ были малѣйшіе задатки мистицизма, то и рѣшеніе было бы, вѣроятно, туманное, таинственное, основанное на



чемъ-то недоступномъ пониманію человѣческому. Имѣется въ польской литературѣ у Юлія Словацкаго нѣчто подобное въ одномъ изъ его капитальнѣйшихъ, но и самыхъ загадочныхъ произведеній подъ заглавіемъ: «Царь-Духъ». Въ этой поэмѣ опозитизированы жестокіе дѣятели въ исторіи, тамъ нашлось бы мѣсто и для Петра Великаго. Необычайно ясный умъ Пушкина не могъ играть въ эту игру, не могъ ставить предположеній о предопредѣленіяхъ свыше. Новый его взглядъ на народнаго героя явился въ формѣ простаго отрицанія: Пушкинъ усомнился только въ томъ, было ли все то добро, что создано Петромъ. Поэтъ всмотрѣлся пристально въ лицо реформатора и содрогнулся—до того вдругъ показалось ему это лицо зловѣщимъ, обрызганнымъ кровью, смертоноснымъ. Лицо было какъ будто знакомое, но оно получило неожиданно совсѣмъ новое выраженіе, оно явилось воспроизведеніемъ «восточнаго типа *бича божія*—Аттилы». Такимъ-то образомъ объясняетъ происхожденіе крупнаго произведенія Пушкина, остающагося и до-нынѣ, несмотря на это объясненіе, загадочнымъ, лучшій до сихъ поръ знатокъ и комментаторъ Пушкина, собиратель и издатель его произведеній—П. В. Анненковъ. Когда поэтъ приступилъ къ осуществленію своего замысла, то онъ долженъ уже былъ считаться и съ цензурою и съ публикою, онъ почти вычеркнулъ всю хулу и злословіе, умалилъ по возможности хулителя, превратилъ его въ маленькаго, ничтожнаго человѣчка, представилъ его сошедшимъ съ ума, превратилъ движеніе судорожно сжатой, грозящей «кумиру» руки въ пароксизмъ бѣшенства. Даже мрачный образъ наводненія очень ловко спрятанъ, поставленъ на второмъ планѣ, а на первомъ, во вступленіи, воздвигнуто нѣчто въ родѣ триумфальныхъ воротъ, слышится нѣчто въ родѣ побѣднаго марша, воспѣты гранить, морозы сѣверной столицы, ночныя пирушки, военные парады и стрѣльба изъ пушекъ корабельныхъ и крѣпостныхъ по Невѣ. Эти громкіе бубны и литавры не спасли, однако, поэму отъ цензуры, но они же, появившись въ посмертныхъ изданіяхъ со-

чиненій Пушкина, сбили съ толку публику. Въ публикѣ поэма считается до-нынѣ апофеозомъ реформатора. Ослѣпленные красотою картины, изображающей галлюцинаціи помѣшаннаго канцеляриста, читатели не идутъ дальше и не вникаютъ въ основу, въ содержаніе, въ нравоученіе поэмы.

## Х.

Перейдемъ къ окончательнымъ выводамъ, къ заключенію.

Сообщаясь другъ съ другомъ въ 1828 г., въ Петербургѣ, Мицкевичъ и Пушкинъ сблизились. Они бесѣдовали не только о предметахъ искусства, но и объ общественныхъ, религіозныхъ и политическихъ вопросахъ. Они разсуждали однажды и о Петрѣ Великомъ, осматривая памятникъ его, и этотъ разговоръ занесенъ былъ въ ихъ воспоминанія. Разговоръ этотъ переданъ былъ въ поэтической формѣ Мицкевичемъ, который заимствовалъ, можетъ быть, нѣсколько мѣткихъ замѣчаній, для характеристики героя, отъ Пушкина, но вложилъ эту характеристику только посредствомъ поэтическаго вымысла въ уста Пушкину, полагаясь на то, что его собственный взглядъ на Петра совпадаетъ со взглядомъ Пушкина или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчитъ рѣзкимъ образомъ взгляду Пушкина, хотя въ то самое время существовала уже глубокая рознь въ обоихъ взглядахъ, еще не примѣчаемая самимъ Мицкевичемъ. Произведеніе Мицкевича сдѣлалось извѣстно Пушкину только въ такое время, когда политическія событія уже совсѣмъ разобили его съ Мицкевичемъ, но также когда и взглядъ его самаго на Петра сталъ болѣе прежняго критическій, ближе подходящій ко взгляду Мицкевича на Петра, нежели въ 1828 г., когда они о Петрѣ бесѣдовали. Пушкинъ не опротестовалъ приписываемыхъ ему въ стихахъ Мицкевича сужденій о Петрѣ; можетъ быть, знакомство съ произведеніемъ Мицкевича вошло въ число мотивовъ,

побудившихъ его создать произведение весьма своеобразное, гораздо крупнѣе по размѣрамъ, нежели произведение Мицкевича, — произведение, въ которомъ коренная его идея не была вполнѣ высказана, по тогдашнимъ условіямъ. Третья четверть вѣка истекаетъ съ того момента, когда оба поэта встрѣтились; Европа значительно видоизмѣнилась, одинъ только колоссъ остался невредимъ и недвижимъ. Если бы предположить, что встрѣча двухъ гениальнѣйшихъ, не превзойденныхъ до-нынѣ, поэтовъ славянскаго міра произошла теперь, то и взгляды ихъ на державнаго властелина сѣвера были бы совсѣмъ иные. Вопросъ о Петрѣ В. подвигается въ исторіи какъ паукъ, — это одинъ изъ вопросовъ наиболѣе жизненныхъ, наиболѣе привлекающихъ и благодарныхъ. Царь Петръ давно пересталъ быть, въ глазахъ изслѣдователей, чѣмъ-то въ родѣ библейскаго Нимрода, государя, дѣйствующаго наперекоръ законамъ природы, лишь съ тою цѣлью, чтобы, какъ выразился Мицкевичъ, «показать свое всемогущество». Теперь извѣстно, что вся его умственная дѣятельность наполнена была одною идеею, не личною его, но великорусскою, далеко выходящею за предѣлы его личнаго бытія, его вѣка, и увлекавшею его съ силою, съ какою увлекаетъ религіозная идея своего фанатика, или артистическая идея — художника въ пылу творчества. Идеѣ этой онъ принесъ въ жертву своего сына, не виновнаго, какъ надобно думать, ни въ политическомъ, ни въ уголовномъ смыслѣ; онъ ею былъ такъ занятъ, что не подумалъ, кому ее завѣщать, до того самаго момента, когда цѣпенѣющая рука и застывшій языкъ отказались указать преемника, такъ что вся будущность монархіи повисла на волоскѣ, предана была на произволъ судьбы, представлена самому случаю. Мицкевичъ отлично постигъ Петра, какъ воплощеніе исполинской силы; мало того: возвысившись надъ своими національными чувствами до болѣе общей точки зрѣнія, онъ отлично понялъ столь чуждый вообще поляку героизмъ слѣпаго, почти невольническаго

послушанія (Ach! żal mi ciebie, biedny Sławianinie! Biedny narodzie, żal mi twojej doli:—Jeden znasz tylko heroizm—niewoli!). Но для Мицкевича осталось навсегда неразгаданною тайною обаяніе властелина, чарующее его вліяніе на народъ: какимъ образомъ укрощалъ онъ и дѣлалъ себѣ безусловно послушнымъ этого нетерпѣливаго и становящагося на дыбы коня? Какимъ образомъ могла эта масса быть увлечена однимъ представленіемъ о почти необъятной, въ матеріальномъ отношеніи, громадѣ, не наполненной еще содержаніемъ, въ которой не отведено мѣста для личнаго счастья единицъ, которая держится безграничною преданностью, а иногда и страданіемъ этихъ покорныхъ единицъ? Неизмѣримое пространство отдѣляло Мицкевича отъ такого почти античнаго и языческаго понятія о государствѣ; оно отдѣляетъ и насъ,—намъ чрезвычайно трудно усвоить себѣ теперь петровскія идеи. Это отсутствіе въ созданіи петровомъ мѣста для чувствительнаго сердца, уголка для оскорбленнаго чувства эта пробуждающаяся въ единицѣ жажда счастья для себя взята Пушкинымъ какъ точка отправленія; она и составляетъ центральный пунктъ въ поэмѣ, она-то и придаетъ произведенію высокую цѣну и значеніе: червякъ злословитъ; безконечно малое существо грозитъ поднятымъ кулакомъ колоссу. Пробуждающіяся требованія единицы свидѣтельствуютъ о томъ, что перемѣнились времена,—а перемѣнились они отъ успѣховъ цивилизаціи, но самъ-то плодъ зеленъ еще и незрѣлъ, мало еще въ немъ сознанія существа зла и средствъ его леченія. Многіе десятки лѣтъ потрачены будутъ на исканіе чего-то оцупью. Ни къ чему не приведутъ ни скорбь о сметенномъ имъ съ лица земли старомъ порядкѣ вещей, ни жалобы на излюбленный невскій «парадизъ» Петра, съ его ненастьемъ, слякотью и наводненіями, ни мечты о древнемъ строѣ, ни плачъ объ отступленіи отъ чистоты патріархальнаго быта, о порчѣ нравовъ и о культурной денационализаціи высшихъ интеллигентныхъ слоевъ общества. Задача освобожденія отъ умственного подра-

жанія иноземному и пріобрѣтенія умственной самобытности разрѣшается только поступательнымъ движеніемъ впередъ, при содѣйствіи не однѣхъ внѣшнихъ, механически усвояемыхъ, формъ европейской цивилизаціи, но самаго содержанія этой цивилизаціи, развитіемъ чувствъ справедливости и гуманности. Немыслимо возвращаться не только къ до-петровскимъ порядкамъ, но и къ до-петровской племенной и вѣроисповѣдной исключительности. Всякая исключительность ведетъ къ сокращенію и разрушенію зданія, воздвигнутаго великимъ строителемъ, который сплотилъ его торопясь, правда, и наскоро, изъ столькихъ разновидностей рода человѣческаго, изъ столькихъ племенъ, языковъ и вѣрованій. Соединенныя почти насильственно части держатся нынѣ сами собою крѣпко, не видно въ зданіи ни осѣданія, ни трещинъ, простоятъ оно можетъ многіе вѣка,—но желательно не исключеніе изъ него, а согласованіе частей, сообщеніе общему жилью большей массы движущагося воздуха, большаго количества солнечныхъ лучей, доставленіе всѣмъ большихъ удобствъ отъ сожитія, насколько такія удобства совмѣстимы съ цѣлымъ, вмѣщающимъ въ себѣ всѣ эти разновидности, съ цѣлью и назначеніемъ государства. Какъ бы ни были велики и разнообразны ремонтныя и детальныя работы, едва ли придется ломать капитальныя стѣны, или класть новые фундаменты: они столь же годятся для будущаго времени, какъ и въ минуту, когда были возведены великимъ зодчимъ.

Мы старались воспроизвести, по мѣрѣ возможности, обстоятельства, сопровождавшія кратковременное, почти моментальное, сближеніе двухъ великихъ поэтовъ славянскаго міра, которыхъ пути случайно пересѣлись почти подъ прямыми углами. Поразительно противоположны были ихъ темпераменты, двѣ разныя стихіи, столь же мало похожія, какъ, напримѣръ, гранитная скала (поэтъ Красинскій любитъ сравнивать Мицкевича со скалою) и зыбкая, на глазахъ моментально измѣняющаяся волна морская, играющая всѣми цвѣтами радуги.

Каждый изъ нихъ былъ превосходнымъ представителемъ самыхъ характерныхъ свойствъ своего племени и народа, оба они были поэты-романтики, оба оказали громадное, до-нынѣ продолжающееся вліяніе на потомство, оба считали себя людьми дѣла и политиками, хотя не были вовсе таковыми, а только, и исключительно, художниками. Если мы были поставлены въ необходимость указать на различныя противорѣчія въ политикѣ-Пушкинѣ, на происшедшія въ немъ, безъ достаточныхъ, по нашему мнѣнію, причинъ, перемѣны въ убѣжденіяхъ, то мы это сдѣлали вовсе не по желанію отыскивать пятна на солнцѣ, но потому, что того требовалъ самъ предметъ нашего изслѣдованія. Несмотря на свою неустойчивость въ коренныхъ убѣжденіяхъ политическихъ и общественныхъ, Пушкинъ всегда былъ человѣкъ симпатичный, и особенно замѣчателенъ онъ былъ именно тѣмъ, что послѣ каждой разразившейся надъ нимъ бури къ нему возвращались спокойствіе духа и веселость; онъ опять восстанавливалъ свою, ревниво оберегаемую, независимость, вслѣдствіе необыкновенной упругости своей живой натуры. Подчиняясь невольно, и почти безсознательно, всѣмъ вѣяніямъ, всѣмъ измѣненіямъ въ окружающей его средѣ, Пушкинъ не терялъ никогда бодрости и способности работать при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. Нельзя мѣрять всѣхъ людей всѣхъ временъ однимъ, и въ особенностяхъ своимъ собственнымъ, аршиномъ. При оцѣнкѣ дѣятельности Пушкина, надобно, прежде всего, соображаться съ внѣшними условіями его дѣятельности въ переживаемыя имъ трудныя времена. Примѣромъ и образцомъ правильныхъ и справедливыхъ оцѣнокъ будутъ служить хорошія отношенія, которыя сохранили другъ къ другу Пушкинъ и Мицкевичъ, даже и послѣ того, какъ они другъ съ другомъ — по политическимъ убѣжденіямъ — разошлись навсегда.

---

# БАЙРОНИЗМЪ

у

П у ш к и н а.





# Байронизмъ у Пушкина.

(Изъ эпохи романтизма).

## I.

Недавно, 10-го (22) января 1888 года, исполнилось сто лѣтъ со дня рожденія Джорджа Гордона Байрона. Громкую извѣстность приобрѣлъ онъ только въ 24 года отъ роду, когда, послѣ изданія первыхъ двухъ пѣсенъ «Чайльдъ-Гарольда», отмѣтилъ, въ мартѣ 1812 г., въ своей записной книжкѣ: «Я проснулся разъ утромъ и узналъ, что я знаменитость» (I awake one morning and found myself famous). Съ тѣхъ поръ, въ теченіе цѣлыхъ двѣнадцати лѣтъ, слава его возрастала и достигла своего апогея въ минуту его кончины 19-го апрѣля 1824 г. въ Миссолунги. Современники не обратили вниманія на то, что погасъ человѣкъ уже изжившійся, искавшій только одной «могилы воина» и писавшій въ стихѣ на 36-ю годовщину своего рожденія: «огонь, пожирающій мою грудь, какъ одинокій вулканическій островъ, не свѣточемъ онъ горитъ, но погребальнымъ костромъ» <sup>1)</sup>.—

---

<sup>1)</sup> The fire that on my bosom fires  
Is lone as some volcanic isle  
No torch is kindled at its blaze  
A funeral pile.

Всѣхъ поразилъ героизмъ этой смерти, умѣніе дѣйствующаго лица устроить и обставить и жизнь, и кончину свою, поэтически. По смерти Байронъ былъ еще славнѣе, чѣмъ при жизни. Имя его раздавалось во всей Европѣ; онъ казался какимъ-то Наполеономъ въ области поэзіи; поэзія его возбуждала умы, иныхъ выводила изъ себя и раздражала, иныхъ покоряла и увлекала, никого не оставляла равнодушнымъ. Талантливѣйшіе люди на материкѣ Европы, гдѣ вообще его чествовали больше, чѣмъ въ его отечествѣ, открыто признавали себя его поклонниками и послѣдователями. Начиная въ Франціи свое поприще, плодовитый поэтъ Ламартинъ обращался къ нему (*Méditations poétiques*, 1820) такимъ образомъ: *Toi, dont le monde ignore le vrai nom—Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon!*—Почти въ томъ же духѣ выразился Пушкинъ въ «Онѣгинѣ»: «Созданье ада, иль небесъ—Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ—Кто жъ онъ?»...—Нынѣ, когда почти совершенно забыто политическое значеніе Байрона, какъ противника вѣнскихъ трактатовъ 1815 г. и религіозно-монархической реставраціи, какъ знаменосца либерализма, остается неоспоримымъ фактъ его колоссальнаго литературнаго вліянія на современниковъ и ближайшее за ними поколѣніе. Въ исторіи литературы ставится не вполнѣ еще разработанный вопросъ объ отраженіяхъ поэзіи Байрона въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, о сдѣланныхъ ими заимствованіяхъ и о воспроизведеніяхъ его художественныхъ идей, хотя бы и въ иныхъ формахъ. Байронизмъ нашелъ многочисленные отголоски въ восточно-европейскихъ литературахъ, русской и польской. Исслѣдованія о байронизмѣ въ Россіи производились систематически, начиная съ Бѣлинскаго; сырой матеріалъ собранъ почти весь, но предметъ далеко не исчерпанъ. Исслѣдованія не выходили большею частью изъ узкихъ рамокъ самой литературы. Сопоставляемъ былъ только поэтъ съ другимъ какимъ-либо поэтомъ въ ихъ произведеніяхъ, между тѣмъ какъ сила Байрона и его вліяніе заключались

столько же въ его поэтическомъ дарованіи, сколько и въ самой его личности, и только потому байронизмъ, по вѣрному замѣчанію Аполлона Григорьева (Соч. I, 151), былъ своего рода «повѣтріемъ» и пожиралъ страстные натуры, такъ что, по словамъ того же критика, самъ Пушкинъ поддавался ему скорѣе не какъ художественному образцу, а какъ великому историческому явленію, какъ «властителю думъ вѣка», и видѣлъ въ немъ прежде всего стихійную, слѣпую силу, когда, уподобляя его морю, писалъ: «Онъ былъ, о, море! твой пѣвецъ... Твой образъ былъ на немъ означенъ,—Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,—Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,—Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ»...

Другой недостатокъ изслѣдованій о байронизмѣ заключается въ томъ, что служащая точкою отправленія поэзія Байрона обыкновенно разсматривается какъ нѣчто цѣльное, вполне законченное и неразлагающееся на свои составные элементы. Конечно, эта поэзія однообразна; виртуозность ея односторонняя. Поэтъ одаренъ пламеннымъ чувствомъ, но воображеніе его ограничено. Ему недоставало того, что Тэнъ называетъ *l'esprit sympathique* — способности чувствовать за другихъ, или, по выраженію Достоевскаго, перевоплощаться въ другихъ. Всегда и неизмѣнно онъ носится только со своимъ могучимъ я, болѣзненно чувствительнымъ, адски горделивымъ, бунтующимъ и неугомоннымъ. Послѣ своего перехода отъ Байрона къ Шекспиру, Пушкинъ, по свойственной ему мѣткости взгляда, сознавалъ эту ограниченность дарованія своего прежняго кумира—Байрона, по крайней мѣрѣ, въ области драмы (письмо къ Раевскому, сентябрь 1825, VII, 158): *Ce Byron n'a jamais conçu qu'un seul caractère (et c'est le sien). Ce Byron a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère; son orgueil à l'un, sa haine à l'autre, sa mélancolie au troisième, et c'est ainsi que d'un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants*). Какъ ни цѣльна эта поэзія и какъ сильно ни запечатлѣна

она въ каждомъ стихѣ индивидуальностью поэта, какъ ни рѣзки ея основныя черты,—все-таки этихъ чертъ было нѣсколько, и дѣйствіе ихъ было весьма разнообразное, смотря по темпераментамъ, которые оно увлекало. Въ поэзіи Байрона выразился прежде всего духъ вѣка и его преобладающее чувство, лучше сказать—его болѣзнь, міровая скорбь о бытіи,—то, что теперь обыкновенно называютъ *пессимизмомъ*, т. е. пониманіе жизни какъ страданіе и бытія—какъ зло. Кромѣ того, эта поэзія содержала въ себѣ и борьбу съ этимъ зломъ; пріемъ противодѣйствованія ему—прометеевскій, титаническій, а отношеніе къ нему—высокомѣрное, презрительное. Наконецъ, что касается до технической стороны, то форма въ этой поэзіи была восхитительная. Поэтъ изображалъ въ совершенствѣ всѣ чувства необычайно воспріимчивой души, отъ самыхъ нѣжныхъ до сильнѣйшихъ и мрачныхъ; образы его были пластичные, лишенные всякихъ недосказовъ и туманности; изображать онъ больше всего любилъ величавое, колоссальное, и писалъ онъ густыми красками и весьма ярко; въ живописаніи онъ былъ неподобный колористъ. Идеи, чувство, техника—таковы были средства дѣйствія Байрона, которыми онъ вліялъ весьма разнообразно на другихъ поэтовъ, такъ что натуры совсѣмъ несходныя, люди направленій самыхъ противоположныхъ, могли одновременно очутиться въ лагерь байронизма и стоять подъ однимъ знаменемъ.—Движеніе, извѣстное подъ именемъ байронизма, можно себѣ представить какъ полевой смерчъ, собирающій съ разныхъ полей кучу пылинокъ и заставляющій ихъ нѣкоторое время двигаться спирально снизу вверхъ. По быстротѣ движенія и направленію пылинокъ можно до извѣстной степени заключать о качествѣ и силѣ вѣтра, приводящаго въ движеніе пылинки. Подобное ретроспективное заключеніе по адептамъ о самомъ Байронѣ могло бы пролить новый свѣтъ на само творчество Байрона и его эпоху. Задача слишкомъ обширна для одного лица, она предполагаетъ изученіе нѣсколь-

кихъ десятковъ, а можетъ быть и болѣе писателей, но она заманчива и къ ней можно подходить исподоволь, дѣлая хотя бы нѣсколько шаговъ. Меня съ давнихъ поръ сильно увлекало желаніе начать сравнительное изученіе послѣдователей Байрона съ сопоставленія первоклассныхъ поэтовъ, принадлежащихъ къ двумъ родственнымъ, по племенному происхожденію, литературамъ—польской и русской, писателей одной и той же великой поэтической эпохи романтизма: Мицкевича и Пушкина, Словацкаго и Лермонтова. Задачу я исполнилъ только наполовину—у меня готовъ только русскій отдѣлъ, я могу передать только результаты моихъ наблюденій, извлеченные изъ произведеній Пушкина, котораго мы поминали столь недавно, почти годъ тому назадъ, и Лермонтова, котораго, если доживемъ, то, безъ сомнѣнія, помянемъ 15 іюля 1891 года. Перехожу прямо къ дѣлу—и начинаю съ Пушкина.

## II.

Начало знакомства Пушкина съ поэзіею Байрона относятся къ 1820 году, къ горамъ Кавказскимъ, Юрзуфу, Каменкѣ, къ бытности его въ средѣ Раевскихъ, въ семьѣ которыхъ онъ нашелъ нѣкоторое успокоеніе, послѣ испытанныхъ имъ въ то время огорченій. Постигшія его въ то время непріятности сильно предрасполагали его къ воспріятію чувствъ Байрона, общаго ихъ настроенія, протестующаго и гнѣвнаго, свойственнаго темпераменту Байрона. Но Пушкинъ меньше всего былъ похожъ на идеаль, начертанный его другомъ, княземъ П. А. Вяземскимъ, въ слѣдующихъ стихахъ, которые онъ хотѣлъ поставить эпиграфомъ къ «Кавказскому Плѣннику» (II, 300): «Подъ бурей рока—твердый камень;—въ волненьяхъ страсти—легкій листъ».—Много разъ его спасало то, что и подъ «бурей рока» онъ былъ легокъ и упругъ, что ко всякому положенію онъ успѣ-

валь приспособляться.—Но въ данномъ случаѣ Пушкинъ былъ на долгое время пришибленъ и выше мѣры раздраженъ—до озлобленія, до бѣшенства, не столько ссылкой на югъ, довольно льготною въ сравненіи съ предполагавшеюся первоначально отправкою его въ Соловецкій монастырь, сколько весьма распространившимися и упорно державшимися ложными слухами, что за его литературныя «проказы», за вольнолюбивыя мечты и эпиграммы онъ дѣйствительно лишился «нѣсколькихъ клочковъ шкуры», какъ выразился въ официальномъ письмѣ 17 января 1824 г., по отношенію къ нему, генералъ-полицеймейстеръ 1-й арміи, Скобелевъ («Русская Старина», 1871, № 12, л. 673). Много времени спустя, въ 1825 г., въ Михайловскомъ, Пушкинъ писалъ: *Je délibérais, si je ne ferais pas bien de me suicider ou d'assassiner... Je résolu de mettre tant d'indignation et de jactance dans mes discours et mes écrits, qu'enfin l'autorité soit obligée de me traiter en criminel: j'aspirais la Sibérie ou la forteresse comme réhabilitation* (VII, 132). Въ письмѣ 1822 г., къ брату Льву (VII, 85), Пушкинъ говоритъ о *douloureuse expérience* и о *jours d'angoisse et de rage* <sup>1)</sup>.—Этимъ ненормальнымъ и слишкомъ продолжительнымъ состояніемъ раздраженія объясняются многія черты въ жизни Пушкина во время его пребыванія въ Кишиневѣ и Одессѣ: картёжъ, скандальное волокитство, безобразія надъ молдаванскими боярами, дуэли, скитанія по степямъ съ цыганскимъ таборомъ.—Безобразія Байрона были совсѣмъ иного рода; онъ не проявлялъ себя ни картежникомъ, ни бреттеромъ.—Нѣтъ надобности объяснять безобразія Пушкина въ ту эпоху, какъ объясняетъ ихъ П. В. Анненковъ («Пушкинъ въ Александровскую эпоху», 1874, с. 149), тѣмъ, что то было байрониче-

---

<sup>1)</sup> Въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкина (описаніе Якушкина, «Русская Старина», 1884, № 12, с. 526, № 2384) сохранился слѣдующій отрывокъ: «И бурныя кипѣли въ сердцѣ чувства—И венавистъ и грезы мести блѣдной,—Но здѣсь меня таинственнымъ щитомъ,—Святымъ прощеньемъ осынила—Поззія, какъ ангелъ утѣшитель,—Спасла меня».

ское настроеніе, которое выродилось, бывъ перенесено на русскую почву, и отѣнилось своеобразными, свирѣпыми и анти-гуманными подробностями. Извѣстно, что эти припадки разгула, нѣсколько разъ повторявшіеся въ жизни Пушкина, не имѣли вреднаго вліянія на его дарованіе; что въ то самое время, когда всѣмъ казалось, что онъ погрязъ въ распутствѣ и чувственности, израсходовался на пустяки,—поэтъ взлеталъ опять на недосягаемую высоту, не загрязнивъ своихъ крыльевъ; что, отрѣшившись отъ «безстыднаго бѣшенства желаній», онъ сыпалъ изъ своего рога изобилія произведенія красивѣе и глубже предыдущихъ.—Чувственность сильна у каждаго художника; притомъ великіе поэты—странный народъ, къ которому только съ большими исключеніями приложимы правила обыденной культурной морали. Культура приучаетъ людей быть всегда равными, жить не волнуясь, творить добро безъ напряженія, естественно, просто, почти автоматически; между тѣмъ какъ для поэта такая проза—смерть; онъ живетъ только волненіемъ и страстью, для него страсть—то же, что огонь для миеологической саламандры, то-есть—его настоящая стихія, потому что его творчество воспроизводитъ правдиво только то, что имъ прочувствовано и выстрадано. Исторія можетъ пересчитать по пальцамъ подобныхъ Шекспиру и составляющихъ рѣдчайшее исключеніе творцовъ по отгадкѣ. По большей части настоящій поэтъ изображаетъ собою «Парусъ» Лермонтова (1832): «Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури—Надъ нимъ лучъ солнца золотой;—А онъ, мятежный, проситъ бури,—Какъ будто въ буряхъ есть покой».

Знакомство съ Байрономъ едва ли прибавило что-нибудь къ внѣшней бытовой сторонѣ жизни Пушкина въ его періодъ бунтованія (*Sturm und Drangperiode*); оно могло только усилить до извѣстной степени его одичалость, его пренебреженіе къ свѣтскимъ условіямъ и приличіямъ. Извѣстно, что впоследствии онъ остепенился, сдѣлался порядочнѣе и сталъ, женившись, твердить, въ

началъ тридцатыхъ годовъ, слова Шатобріана (Hélas! il n'y a du bonheur que dans les vies communes). Но на само творчество Пушкина вліяніе Байрона было громадное. Пушкинъ нашелъ въ Байронѣ натуру себѣ, какъ ему показалось, родственную, поэзію по душѣ, а главное, онъ обрѣлъ въ Байронѣ опору для своего новаго, рѣзко отрицательнаго направленія, новую исходную точку и и подходящую теоретическую основу для систематическаго отрицанія. Онъ вкусилъ отъ пессимизма Байрона, составляющаго самый корень байроновской поэзіи. Постигъ ли Пушкинъ Байрона въ этомъ отношеніи вполне, усвоилъ ли онъ себѣ этотъ мозгъ костей байроновскаго творчества? Таковы вопросы, которые прежде всего подлежатъ нашему разсмотрѣнію.

### III.

*Пессимизмъ* есть недовольство жизнью, доведенное до злословія, до заключенія о тягости всякаго бытія вообще. Пессимизмъ можетъ быть источникомъ поэзіи или системою философіи. Онъ появляется только изрѣдка, въ самыя мрачныя эпохи исторіи, и окрашенъ всегда особенностями того критическаго момента, въ которомъ онъ созрѣлъ и распространился въ видѣ повальной болѣзни. Въ чемъ состояли особенности пессимизма Байрона? Всѣ согласны, что, по своему міросозерцанію, Байронъ принадлежитъ цѣликомъ къ XVIII вѣку. Онъ—гуманистъ; онъ считаетъ, что человѣкъ безобразно изуродованъ нелѣпыми предрасудками и общественными формами; онъ вѣруетъ въ силу разума, въ необходимость возвращенія къ природѣ, въ свободу столь безусловную, что она теряетъ всякую границу, въ возможность устроить всеобщее счастье, законодательствуя и управляя людьми рationally. Опытъ былъ произведенъ и кончился полнѣйшею неудачею, кровавою трагикомедіею великой французской революціи. Старое разбито



на-поваль и растоптано, но освобожденные люди бродили дикими звѣрями по колѣно въ грязи, въ лужахъ крови, среди развалинъ. Многіе извѣрились въ самую революцію затѣянную во имя разума. Главное теченіе вѣка измѣнилось и пошло обратнымъ путемъ, возстановляя упраздненные алтари и престолы. Что предстояло теперь дѣлать людямъ, не соглашающимся подставлять шею подъ старое ярмо? Конечно, отстаивать по возможности свои прежнія убѣжденія при измѣнившихся обстоятельствахъ. Сторонникамъ гуманизма, держащимся задачъ революціи, приходилось, вникая въ причины провала, признать, что сами революціонеры шли ненадлежащими путями, и даже что цѣли движенія поставлены были фальшиво, что за велѣнія разума выдаваемы были невѣрные расчеты, запечатлѣнные явнымъ непониманіемъ природы человѣка и общества; иными словами, имъ приходилось стать почти на ту самую точку зрѣнія, на которой, стоитъ нынѣ историческая наука по отношенію къ міровому событію конца прошлаго столѣтія. Впрочемъ, былъ еще и другой выходъ изъ затрудненія, который и былъ совершенъ Байрономъ. Аполлонъ Григорьевъ (Соч., I, 155: «О правдѣ и искренности въ искусствѣ») утверждалъ, что поэзія Байрона характеризуется отсутствіемъ всякаго нравственнаго начала; что она—протестъ противъ неправды, но безъ сознанія правды; что такъ какъ эта поэзія открытаго эгоизма безъ маски не могла быть принята спокойно поэтическою натурою Байрона, то она и выразилась тоской и сатанинскимъ смѣхомъ, окружившими поэтическимъ ореоломъ это обоготвореніе эгоизма. Такое опредѣленіе поэзіи Байрона считаю я неправильнымъ отъ начала до конца и діаметрально противоположнымъ истинѣ. Вѣрный сынъ XVIII вѣка, Байронъ не пожертвовалъ ни однимъ изъ идеаловъ этого вѣка, несмотря на измѣнившіяся обстоятельства; но такъ какъ они еще до него были втоптаны въ грязь и опоплены, то Байронъ вымещаетъ свое негодованіе за это оскверненіе

идеаловъ на всемъ родѣ человѣческомъ, изъемя, конечно, себя и нѣсколько высшихъ натуръ, близкихъ ему по сердцу людей, которыхъ онъ умѣлъ любить глубоко и нѣжно. По темпераменту гордый и стойкій боецъ, Байронъ довелъ до виртуозности свое горделивое презрѣніе ко всему роду человѣческому. Эта нота звучитъ весьма сильно во всѣхъ его произведеніяхъ, начиная съ надгробной надписи ньюфаундлэндской собакѣ (1817, въ переводѣ Миллера: «О, слабый человѣкъ, минутный гость земли. — Отъ рабства и властей затоптанный въ пыли, — Кто знаетъ, тотъ тебя съ презрѣніемъ покидаетъ... Предъ каждымъ звѣремъ ты поймешь стыда сознанье» <sup>1)</sup>) — до послѣдней его сатиры *Донъ Жуанъ*, направленной противъ всего рода человѣческаго. Тысячу разъ изображалъ онъ выходящія изъ ряда вонъ природы, которыя высятся надъ ненавистью стоящихъ подъ ними созданій (must look on the hate of those below. «Ch. H.», III, 45). Идеалъ люди опошлили, онъ уже не общечеловѣческій, а только личный, свойственный высокимъ, избраннымъ натурамъ. Байронъ до того ему преданъ, что дѣйствительную, настоящую жизнь людскую, жизнь общества, съ его нравами и законами, считаетъ поддѣльнымъ творчествомъ (Of its own beauty is the mind diseased — And fevers into false creation.. «Ch. H.», IV, 122), фальшью въ природѣ, дисгармоніею («Жизнь наша — то же дерево анчаръ съ его смертоносною отравой и ядовитою росой». «Ch. H.», IV, 126). Въ этихъ положеніяхъ сквозитъ невѣрный, конечно, взглядъ, заимствованный отъ Жанъ Жака Руссо о необходимости возвратиться къ состоянію природы, о необходимости стряхнуть съ себя искусственную цивилизацію. Ошибка эта, впрочемъ, несущественна. Мы имѣемъ дѣло не столько съ мечтателемъ, вѣрующимъ въ блаженство людей въ

---

<sup>1)</sup> Oh man! Thou feeble tenant of one hour — Debased by slavery or corrupt by power, — Who knows thee well must quit thee with disgust — Degraded mass of animated dust.

состояніи природы, сколько съ идеалистомъ, для котораго весь смыслъ и вся цѣнность жизни—не въ наслажденіяхъ, доставляемыхъ благами сего міра, и не въ ожиданіи чего-то за гробомъ, а только въ метафизическихъ созданіяхъ, витающихъ въ сознаніи человѣка, выдѣляемыхъ душою изъ самой себя, въ добрѣ и красотѣ, въ произведеніяхъ ума и искусства, болѣе живыхъ, болѣе реальныхъ, нежели грубая и пошлая дѣйствительность («Ch. Н.», III, 6; IV, 5). Эти порывы къ идеальному составляютъ и муку жизни, и ея красу. Въ 1-й пѣснѣ «Чайльдъ-Гарольда», въ стихахъ къ Инесѣ, Байронъ, будучи еще весьма молодымъ человѣкомъ, жаловался на эту муку, на «ржавчину жизни», на «демона мысли» (The bligh of life — the demon Thought). Много лѣтъ спустя, въ 3-ей и 4-ой пѣсняхъ того же «Чайльдъ-Гарольда» онъ себя называлъ «скитающеюся жертвою своего мрачнаго ума (The wandering outlaw of his own dark mind. III, 3.—I have thought too long and darkly. III, 7). Въ «Онѣгинѣ» Пушкинъ говоритъ: «И Байронъ, мученикъ суровый»... — опредѣленіе невѣрное, неполное; къ Байрону примѣнимы были бы развѣ его же слова о Руссо: «самъ себя мучащій человѣкъ» (III, 7: self torturing... но только не sophist). Тѣмъ не менѣе этотъ самомучитель идетъ на муки и терзанія добровольно, по долгу совѣсти, отвергая даже то средство, которое допускали употреблять древніе стойки — самоубійство («Ch. Н.», V, 21: «Надо переносить бытіе. Глубоко водружены корнями жизнь и страданіе въ наше печальное нутро. Верблюды несутъ молча тяжелѣйшую ношу, волкъ издыхаетъ молча, животное выноситъ, а мы, высшія существа, не снесли бы того, что длится только какой-нибудь день»). Въ Байронѣ самымъ энергическимъ образомъ проявляется то чувство, которое выразилъ, вдохновленный духомъ этой мужественной поэзіи, Пушкинъ въ словахъ: «Но не хочу, о, други! умирать, — Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать». Въ этихъ стихахъ слышится какъ бы отголосокъ дивной

127-й строфы IV-й пѣсни «Ч.-Гарольда»: «Давайте сильнѣе разсуждать; мы бы постыдно отступились отъ разума, еслибы отказались отъ права мыслить—послѣдняго и единственнаго убѣжища. Чтó бы тамъ ни было—это убѣжище мое!» И такъ, у Байрона есть несомнѣнно идеаль; этотъ идеаль пересталъ, въ нашъ жестокий вѣкъ, быть общественнымъ и сдѣлался личнымъ идеаломъ поэта, но, какъ у всякаго человѣка, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ—и идеаль его вѣка. Имъ увлекаются только немногія избранныя натуры. Байронъ изображаетъ все по собственному опыту, по какому-то роковому непреодолимому порыву; эти сильныя натуры совершаютъ свое теченіе, попирая все на своемъ пути. «Вихрь—ихъ дыханіе, а жизнь ихъ — штормъ»... «покой имъ страшнѣе ада» (III, 42). Изображая огонь въ крови, пожирающій ихъ, горячку дѣйствія, которою они одержимы, Байронъ замѣчаетъ: «Это-то и дѣлаетъ сумасшедшими людей, которые и другихъ сводили съ ума, заражая ихъ собою, завоевателей и царей, учредителей сектъ и системъ, да вдобавокъ софистовъ, бардовъ, государственныхъ людей... Имъ завидуютъ, но сколь напрасно!.. Раскройте одну такую грудь, и вы отобьете у рода человѣческаго охоту къ тому, чтобы блистать или господствовать» («Ч. Г.», IV, 43). Довершимъ характеристику, добавивъ, что, созидая новый родъ философіи исторіи—теорію высшихъ натуръ, роковыхъ великихъ людей, для которыхъ законъ не писанъ, потому что они сами себѣ законъ,—Байронъ не выдѣляетъ поэта, не отводитъ ему особаго привилегированнаго положенія и весьма далеку отъ мысли, что поэтъ можетъ быть и слабъ, и малъ, и что онъ становится великимъ, когда на него внезапно нисходитъ вдохновеніе. Байронъ не анализировалъ—какъ это дѣлаетъ новѣйшая наука психологіи — корней творчества въ безсознательномъ; притомъ, онъ прежде всего былъ человѣкъ дѣла, а не писаній; онъ былъ просто человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенный и между прочимъ занимав-

шійся писательствомъ. Таковъ въ главныхъ чертахъ образецъ и учитель. Какія черты заимствовали отъ него ученикъ, который, по собственному его выраженію, нѣкоторое время «сходилъ отъ Байрона съ ума»?

#### IV.

Послѣ дней тоски и бѣшенства, наболѣвшее сердце Пушкина жадно усваивало себѣ и, такъ сказать, всасывало одну особенность характера Байрона: презрѣніе въ роду человѣческому. Мертвящимъ холодомъ обдають насъ уроки злѣйшей мизантропической морали, преподаваемые 23-лѣтнимъ юношей изъ Кишинева (1822) младшему его брату Льву, распущенному юношѣ: «commencez par penser des hommes tout le mal imaginable.... Méprisez-les le plus poliment qu'il vous sera possible. Soyez froid avec tout le monde. N'acceptez jamais des bienfaits, ils sont pour la plupart une perfidie. Point de protection, car elle asservit et dégrade... N'oubliez jamais les offenses. Moins on aime une femme et plus on est sûr de l'avoir, mais cette jouissance est digne d'un vieux sarajou du XVIII<sup>e</sup> siècle» (VII, 43). Когда Пушкинъ писалъ эти наставленія, онъ былъ безъ сомнѣнія искрененъ; ихъ ѣдкая кислота и несходство вообще съ темпераментомъ Пушкина заставляютъ заключить, что чувства, ими выражаемыя, были преходящія, что сама идейная подкладка написаннаго была не болѣе какъ намекъ. Извѣстно, что отъ частаго повторенія одной и той же эмоціи мимическое ея выраженіе можетъ неподвижно застыть на лицѣ человѣка, превратиться въ несходящую морщину, въ искривленіе, напримѣръ, уголь рта отъ часто повторяющейся презрительной улыбки. У каждаго изъ насъ лицо есть родъ маски, образуемой изъ глубокихъ слѣдовъ всего пережитаго, которое исколесило это лицо по всѣмъ направленіямъ; за этими слѣдами скрывается недоступное наблюденію и только угадываемое психологи-

ческое я наблюдаемого лица. Такимъ застывшимъ слѣдомъ на лицевой маскѣ Пушкина считаю я его, какъ я думаю, напускное презрѣніе къ роду чѣловѣческому, которое, вслѣдствіе душевныхъ страданій, появилось у Пушкина и затѣмъ уже его не покидало, потому что сдѣлалось обыкновенною складкою его ума. «Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей»,—сказано въ написанной, вѣроятно, еще въ 1822 году 46-й строфѣ первой главы «Онѣгина». Въ 22-й строфѣ главы VII изображенъ современный челоѣкъ— «Съ его безнравственной душой, — Себялюбивой и сухой, — Мечтанью преданной безмѣрно, — Съ его озлобленнымъ умомъ, — Кипящимъ въ дѣйстви пустомъ». Рядомъ съ этими стихами сопоставимъ два стиха явно байроновскаго пошиба изъ стихотворенія: «Полководецъ» (т. е. Барклай де-Толли), помѣченнаго 7-мъ апрѣля 1835 г., въ Свѣтлое Воскресеніе: «О, люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха! — Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!»

Коротко знавшій Пушкина, Мицкевичъ находилъ, что Пушкинъ самъ себя изобразилъ съ поразительнымъ сходствомъ въ стихахъ: «Мечтамъ невольная преданность, — Неподражательная странность, — И рѣзкій, охлажденный умъ» («Онѣгинъ», гл. I, строфа 45). Сама характеристика: «озлобленный», или «охлажденный» умъ, логически едва ли правильна: умъ всегда исправляетъ въ психической дѣятельности функцію холодильника. Очевидно, Пушкинъ старался этими словами выразить волевою привычку обуздывать всякій сочувствующій кому-либо порывъ, обязательно подсказываемымъ предположеніемъ, что вообще люди гадки, что всѣ они—бездушные эгоисты. Охлажденіе Пушкина произошло тогда, — и это можно опредѣлить по его произведеніямъ,—когда онъ утвердился въ своемъ анти-гуманномъ взглядѣ на людей. Можно съ достовѣрностью сказать, что его озлобленіе противъ людей не было вызвано, какъ у Байрона, созерцаніемъ тогдашней политической

неурядицы въ Европѣ, потому что политическія убѣжденія Пушкина были весьма неустойчивы въ бурные годы молодости, и онъ продолжалъ еще питать самыя розовыя надежды. Въ своей «Деревнѣ» (1819) Пушкинъ до глубины души прогрессивный либераль, но онъ и монархистъ («И рабство падшее по манію царя...»). Въ «Посланіи къ Чаадаеву («Люби, надежды, гордой славы...») и въ «Вольности» (1820), повлекшей за собою ссылку на югъ, преобладаютъ общія конституціонныя идеи декабристовъ (...«гдѣ крѣпко съ вольностью святою—Законовъ мощныхъ сочетанье»), идеи о волности, какъ о чемъ-то небываломъ, вселяющемся не иначе, какъ внезапно и при революціонной обстановкѣ (1822—*Таврида*: «Гдѣ ты гроза? символъ свободы, протиснись поверхъ невольныхъ водъ!....»). Къ первой половинѣ 1821 г. относится весьма извѣстный «Кинжалъ» («Лемносскій богъ тебя сковалъ для рукъ безсмертной Немезиды»), котораго признанная революціонная нецензурность и ядовитость сильно выкупаются тѣмъ, что это стихотвореніе вовсе не оригинальное произведеніе а близкое подражаніе другому, сверхъ Байрона, властителю думъ Пушкина въ то время, а именно Андрею Шенье (*Ode à Charlotte Corday*:... Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse, — Chanteraient Némésis la tardive déesse—Qui frappe le méchant son trône endormi... O vertu! le poignard, seul espoir de la terre,—Est ton arme sacrée alors que le tonnerre—Laisse venger le crime et le rend à ses lois). Въ 1823 г. объявившій себя въ письмѣ къ брату эгоистомъ и мизантропомъ, Пушкинъ восклицаетъ (правда, слѣдуя по стопамъ перваго своего образца, Байрона), «Возстань, о, Греція! возстань!.. Страна героев и боговъ,—Расторгни рабскія вериги—При пѣньѣ пламенныхъ стиховъ—Тиртея, Байрона и Риги» (I, 298). Не успѣли, можно сказать, еще обсохнуть чернила на стихахъ, которыми Пушкинъ клеймилъ радость такъ-называемаго имъ милорда «Уоронцова» (М. В. Воронцовъ), при полученіи извѣстія о казни испанскаго революціо-

нера Ріэго (ноябрь, 1823), какъ уже, по собственному признанію его же, Пушкина (Письмо къ Тургеневу 1 дек. 1823), у него уже прошелъ либеральный задоръ, и подъ вліяніемъ отрезвленія онъ писалъ: «Изыде сѣятель... Къ чему стадамъ дары свободы, — Ихъ должно рѣзать или стричь...» До конца своей жизни Пушкинъ оставался однимъ и тѣмъ же безграничнымъ оппортунистомъ, надѣющимся, что правительство послушается его совѣтовъ. И такъ, тоска и разочарованіе Пушкина произошли не отъ неудачъ и проваловъ въ русской и европейской общественности, которые Пушкинъ переносилъ вообще довольно спокойно и къ которымъ онъ относился не какъ къ своему главному дѣлу (февраль, 1825, VII, 110: *Tout qui est politique n'est fait que pour la canaille*). Это разочарованіе можно бы объяснить частными обстоятельствами жизни Пушкина, измѣнами въ службѣ, любви, подобными той, съ которой Альфредъ Мюссе начинаетъ свои *Confessions d'un enfant du siècle*, — если бы не было вполне удостовѣрено, что онъ влюблялся часто и не безъ взаимности, и что имѣлъ друзей добрыхъ, преданныхъ, которымъ вѣрилъ, и которые составляли лучшее, что только было въ тогдашнемъ обществѣ русскомъ. Остается возможность предположить, что Пушкинъ разился разочарованіемъ отъ другого лица, отъ того Демона (1823, I, 292), который сталъ тайно навѣщать его и вливать въ душу тайный ядъ своими язвительными рѣчами. Это стихотвореніе до того заинтересовало въ свое время публику, что она стала доискиваться, какое подъ образомъ этого «Демона» кроется живое лицо; стала догадываться, что этимъ «Демономъ» былъ извѣстный скептикъ А. Н. Раевскій. Самъ Пушкинъ, когда ему передали эту догадку (строфа 12, глава III «Онѣгина») готовился опровергать въ печати это предположеніе (черновые наброски, см. Анненкова: «Пушкинъ», стр. 153), указывая на то, что онъ хотѣлъ только олицетворить сомнѣніе... «духа, отрицающаго (подобно Мефистофелю Гёте), съ его печальнымъ вліяніемъ



на нравственность вѣка», уничтожающимъ лучшіе поэтическіе предрасудки души». Объясненіе Пушкина весьма похоже на правду; его «Демонъ» едва ли былъ живой человѣкъ, во всякомъ случаѣ имъ не былъ Байронъ, *во-первыхъ*, потому, что къ огненной поэзіи Байрона никакъ не идутъ слова: «хладный ядъ», «насмѣшникъ», «клеветать на Провидѣніе», «не вѣрить свободѣ...»; *во-вторыхъ*, потому, что посѣщенія этого бѣса отнесены ко днямъ отрочества, до начала знакомства Пушкина съ Байрономъ: «когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнія бытія, и взоры дѣвъ, и шумъ дубровы». Если перенесемъ мысленно къ отрочеству Пушкина, то откроемъ, что этотъ бѣсъ-насмѣшникъ, вѣроятно, помѣщался въ отцовской библіотекѣ, откуда дитя-Пушкинъ таскалъ всякія французскія книги, обостряя свой умъ, но загрязняя воображеніе; что этотъ бѣсъ былъ неотлучно съ Пушкинымъ въ лицѣ, что этотъ бѣсъ очень походилъ на того, о комъ Пушкинъ писалъ: «Фернейскій злой крикунъ, поэтъ въ поэтахъ первый... Онъ все вездѣ великъ, — Единственный старикъ» (I, 40: Городокъ)... Послѣ знакомства съ цѣлою французскою литературою XVIII в., съ самыми пикантными ея произведеніями, едвали пришлось Пушкину брать новые уроки «чистаго аѳеизма въ Одессѣ у глухого философа-англичанина, который» уничтожалъ будто бы у него мимоходомъ слабыя доказательства безсмертія души (Стоюнинъ: «Пушкинъ», стр. 209: Письмо, повліявшее на заточеніе Пушкина въ Михайловскомъ). Усвоенный въ юности саркастическій нигилизмъ французскихъ философовъ-матеріалистовъ не проникалъ, однако, въ глубь натуры Пушкина. Его предохраняло эстетическое чувство, о которомъ онъ выражался такимъ образомъ: «Иная, высшая награда была мнѣ рокомъ суждена, — Самолюбивыхъ душъ отрада, — Мечтанья не земного сна (1821 — Набросокъ: I, 265). Насмѣшникъ съ насмѣшниками, мечтатель самъ съ собою и въ стихахъ, Пушкинъ меньше всего способенъ былъ справляться съ вопросомъ: кото-

рому изъ этихъ двухъ воззрѣній соотвѣтствуетъ дѣйствительность. Испытанныя имъ страданія поставили вдругъ ребромъ непріятный вопросъ, и Пушкинъ долженъ былъ признать, что и выражено въ заключеніи роковаго для него письма объ аеѣ: «система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но къ несчастію больше всего правдоподобная»; иными словами, что жизнь вообще гадость, и что подходитъ къ ней слѣдуетъ съ ея задняго двора (одинъ изъ вариантовъ къ 45 строфѣ I-й главы «Онѣгина»: «Открылъ я жизни бѣдный кладъ, — Въ замѣну прежнихъ заблужденій, — Въ замѣну вѣры и надеждъ, — Для легкомысленныхъ невѣждъ». Изд. Морозова, III, 252). Самъ Пушкинъ, въ замѣткѣ на толки публики о «Демонѣ» поясняетъ: «сомнѣнія вызваны вѣчными противорѣчіями — чувство мучительное, хотя непродолжительное». Оставимъ открытымъ вопросъ: уничтожилось ли у Пушкина сомнѣніе прежде, нежели исчезли «лучшіе поэтическіе предразсудки души». Во всякомъ случаѣ, оно не служило достаточнымъ основаніемъ для того презрѣнія къ людямъ, которое непрерывно заявляетъ Пушкинъ. Байронизмъ не состоялъ вовсе въ томъ, чтобы копошиться вмѣстѣ съ другими въ грязи, хотя бы и признавая ничтожество бытія, но въ томъ, чтобы идти на бой со всѣмъ свѣтомъ, неся въ рукахъ свѣточъ своего личнаго идеала и утверждая его превосходство предъ пошлою дѣйствительностью. Только такая борьба оправдываетъ слова: «Гордая лира Альбіона» (I-я глава «Онѣгина»), и даетъ бойцу право свысока смотрѣть на болѣе слабыя существа.

#### V.

Пушкинъ не могъ вполне себѣ усвоить пессимизмъ Байрона: темпераменты обоихъ поэтовъ — учителя и ученика — оказались несхожіе, неодинаково страдающіе, неравномѣрно отзывчивые на впечатлѣнія извнѣ и на

уколы судьбы. Оба поэта страдали сильно, но организм у Пушкина былъ нѣжнѣе. Съ юныхъ лѣтъ раздается это страданіе унылымъ, протяжнымъ напѣвомъ, жалобною пѣсней, не сопровождаемою скрежетомъ зубовъ. Семнадцатилѣтній юноша (1816) уже пѣлъ въ лицѣ: «Моя стезя печальна и пуста... Вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья» (I, 130). Посл. къ Горчакову)... Прервется ли души холодный сонъ,—Поэзіи зажжется-ль упоенье?—Бесплодное проходитъ вдохновенье» (I, 150). То было только предугадываніе суровой дѣйствительности, гдѣ-нибудь вычитанное («Насъ пылъ сердечный рано мучить,—Любви насъ не природа учитъ,—А Сталь или Шатобріанъ. — Мы хотимъ жизнь узнать заранѣ—И узнаемъ ее въ романѣ»... «Онѣгинъ», гл. I, стр. 9). Пришли, наконецъ, испытанія; поэтъ не сломился, но былъ угнетенъ. «Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой», онъ пишетъ о себѣ: «Для всѣхъ чужой—какъ сирота бездомный,—Подъ бурю главою поникъ я томной» (19 окт. 1825, I, 355). Поэтъ пришибленъ, сомнѣвается самъ въ себѣ: «Сохраню-ль къ судьбѣ презрѣнье?—Понесу-ль на встрѣчу ей—Непреклонность и тепрѣнье—Гордой юности моей?» (1828 — Предчувствіе, I, 39), то-есть тѣ качества, которыя онъ за собою признавалъ, пока еще «не сталъ извѣстенъ межъ людей... пламеннымъ волненьемъ, — И бурями души моей,—И жаждой воли и гоненьемъ» (I, 265). Въ сознаніи его поселилась горькая печаль, но она стелется тонкою дымкою, точно туманъ, и не совсѣмъ уничтожаетъ яркость красокъ, присущую инымъ жизнерадостнымъ, здоровымъ впечатлѣніямъ. Само недовольство жизнью или собою — не похоже у Пушкина на пессимизмъ, оно—скоропреходящая тѣнь отъ набѣгающихъ на солнце облаковъ, оно—вспышка минутной досады. Въ октябрѣ 1825 г., въ день лицейской годовщины, Пушкинъ ищетъ «отраднago похмелья, минутнago забвенья горькихъ мукъ» — «пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ—Не стоитъ міръ»... Чувство недовольства существуетъ, но зато какъ оно

граціозно и лѣтуче даже въ самыхъ конфиденціальныхъ изліяніяхъ поэта: Croyez m'en, chère M-me Ossipow, la vie, toute süssse Gewohnheit qu'elle est, a une amertume, qui finit par la rendre dégoûtante, et c'est un vilain tas de boue que le monde» (VII, 385 г. 1835). «Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи и съ талантомъ! Весело, нечего сказать» (послѣднее письмо къ женѣ, 18 мая 1836, VII, 404). — Большая часть страданій Байрона происходила отъ него самого, отъ нравственнаго *самоистязанія*, при размышленіяхъ надъ своимъ прошедшимъ, при вскрытіи остающихся свѣжими послѣ десятиковъ лѣтъ своихъ воспоминаній. Ихъ сравнивалъ Байронъ («Ч. Г.», IV, 23) съ жестокою болью отъ жала скорпіона; она постоянно возвращалась по всякому намеку, по малѣйшему, хотя бы пустому слову. Жизнь Пушкина доставляла много случаевъ для точно такихъ же тяжелыхъ моментовъ: «Потомокъ негровъ безобразный», признающій за собою «безстыдство бѣшенныхъ желаній» (1818 г. I, 188), онъ писалъ: «И я въ законъ себѣ вмѣняя—Страстей единый произволъ» («Онѣгинъ», VIII гл., 3 стр.)... Онъ не могъ не ощущать порою, какъ горять «змѣи сердечной угрызенія»... когда воспоминаніе развивало свой длинный свитокъ и представляло ему его утраченные годы—въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствѣ гибельной свободы (Воспоминанія, 1828 г., I, 37). Но и эти угрызенія совѣсти лишены у Пушкина трагическаго элемента и сбиваются на элегію. Иногда поэтъ ставитъ колоссальные вопросы бытія и ставитъ ихъ по-байроновски, съ протестомъ противъ Творца: «Кто меня *враждебной* властью—Изъ ничтожества воззвалъ,—Душу мнѣ наполнилъ страстью,—Умъ сомнѣнемъ взволновалъ»... (26 мая, 1826); но вслѣдъ за тѣмъ мысль мельчаетъ: «Цѣли нѣтъ передо мною,—Сердце пусто, празденъ умъ»;—однимъ словомъ, является то чувство, котораго выраженіе вложено въ уста Фаусту въ неудачной сценѣ (1826): «Мнѣ скучно, бѣсъ!» (III, 103), или: «Остались мнѣ одни страданья,—Плоды

сердечной пустоты» (1821 г., I, 238). Я уже приводил стихъ, въ которомъ несомнѣнно выражена байроновская мысль: «Мой путь уныль, сулитъ мнѣ трудъ и горе—Грядущаго волнующее море.—Но не хочу, о, други! умирать,—Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать». Однако, вся сила впечатлѣнія ослабляется игривымъ анакреонтическимъ концомъ этой пьесы: «И можетъ быть на мой закатъ печальный—Блеснетъ любовь улыбкою прощальной» (1830. Элегія, II, 101). Привожу еще одну выдержку. Нѣтъ мысли, которая бы сильнѣе отравляла счастье человѣка, какъ мысль о неизбежности смерти и о безучастіи къ судьбѣ живаго лица самой безсердечной природы. Мысль эта мучила царя Сиддарту за шесть вѣковъ до Христа, когда, почувствовавъ тщету жизни при видѣ трупа, онъ бросилъ тронъ, жену, ушелъ въ пустыню и сдѣлался Буддою. Мысль эта навѣщала и больного Тургенева, когда онъ писалъ свои, вызывающія въ тѣлѣ дрожь, «стихотворенія въ прозѣ». Она составляетъ главный узелъ въ наиболѣе пессимистическомъ и весьма глубокомъ произведеніи Байрона: «Каинъ». Мысль эта тревожитъ также и Пушкина (1829 г., II, 77): «Кружусь ли я въ толпѣ мятежной — Вкушаю-ль сладостный покой,—Но мысль о смерти неизбежной — Всегда близка, всегда со мной». Что можетъ быть мрачнѣе, повидимому, этой тѣни Банко, садящейся за столъ на царственномъ пиру? Между тѣмъ и этотъ мракъ разсѣкается у Пушкина золотистымъ лучомъ солнца, и плачъ о неизбежной смерти переходитъ въ милѣйшую, но приторную идиллію: «И пусть у гробоваго входа—Младая будетъ жизнь играть,—И равнодушная природа—Красою вѣчною сіять». На палитрѣ Пушкина совсѣмъ почти нѣтъ тѣхъ темныхъ красокъ, которыми злоупотребляетъ иногда муза Байрона, но, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что воображеніе Пушкина было несравненно живѣе и богаче; что оно дѣлало его настоящимъ «Протеемъ» (такъ и называли его современники); что онъ былъ въ высокой степени способенъ выходить изъ

себя, объективироваться и доходить до яснаго, величаваго спокойствія, присущаго античному искусству—напримѣръ, въ дивныхъ стихахъ его отрывка 1829 года, подъ которыми подписался бы и самъ олимпіецъ Гёте: «Примите гимнъ, таинственныя силы!—Хоть долго былъ изгнаньемъ удаленъ—Отъ вашихъ жертвъ и тихихъ изліяній,—Но васъ любить не преставалъ, о, боги!—... съ какимъ святымъ волненьемъ—Оставилъ я людское стадо наше,—Дабы стеречь вашъ огонь уединенный,—Бесѣдуя одинъ съ самимъ собою.—Часы неизъяснимыхъ наслажденій!—Они даютъ намъ знать сердечну глубь.—Въ могуществѣ и въ немощахъ сердечныхъ—Они любить, делѣять научаютъ—Несмертныя, таинственныя чувства,—И насъ они наукѣ первой учать — *Чтитъ самого себя!*» (II, 85). Впослѣдствіи, когда увлеченіе Байрономъ прошло, самъ Пушкинъ весьма трезво и мѣтко указывалъ на односторонность его поэзіи, на ея слабыя стороны. «Се Байронъ—Феба образецъ!»—писалъ онъ въ шуточной одѣ къ Хвостову, въ 1824 г.—...«Великъ онъ, но единообразенъ». Въ первой главѣ «Онѣгина» (с. 56) Пушкинъ не желаетъ, чтобы подумали, что въ Онѣгинѣ... «намаралъ я свой портретъ — Какъ Байронъ, гордости поэтъ; — Какъ будто намъ ужъ невозможно — Писать поэмы о другомъ,—Какъ только о себѣ самомъ».

## VI.

Несмотря на коренное несходство двухъ натуръ—Байрона и Пушкина, случилось, однако, что на нѣкоторое время послѣдній былъ заполоненъ первымъ. По словамъ весьма компетентнаго судьи—Мицкевича, Пушкинъ «*tomba dans la sphère d'attraction de Byron et tournait autour de cet astre comme une planète éclairée par sa lumière. Dans les ouvrages de sa première manière tout est byronien, les sujets, les caractères, l'idée et la forme*» (Некрологъ Пушкина, въ «Globe», 25 мая 1837 г.). Но

поэтъ, о которомъ самъ Мицкевичъ выражался такъ: «si les compositions du poëte anglais n'existaient pas, on aurait proclamé Pouschkine le premier poëte de l'époque», — не могъ, конечно, быть простымъ подражателемъ. По словамъ Мицкевича, Пушкинъ былъ собственно не байронистъ, а «байронствующій» (bygoniaque), то-есть одержимый (possédé) духомъ своего любимаго автора. По натурѣ, Пушкину легче было подражать своему образцу въ житейскихъ мелочахъ, въ причудахъ, въ высокомъ мнѣніи о превосходствѣ аристократической породы («...Нашъ лордъ—Не только былъ отмѣнно гордъ—Великимъ даромъ пѣснопѣя,—Но и случайностью рожденья», — вариантъ къ «Родословной моего героя», III, 554), въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, въ напускной жадности къ деньгамъ, зарабатываемымъ перомъ, въ громкихъ заявленіяхъ, что онъ свою поэзію продаетъ и ради денегъ только пишетъ,—нежели подчинить Байрону свое творчество. Съ одной стороны, такъ какъ воображеніе его было богаче и дарованіе разнообразнѣе, то въ поэзію его входили многіе чуждые Байрону элементы; съ другой стороны, темпераментъ его былъ подвижнѣе, нѣжнѣе и мягче, и когда онъ пробовалъ чертить по-своему лицо въ родѣ «Корсара», которому даетъ первое мѣсто въ ряду произведеній Байрона (V, 49; статья 1827 года), то, по его неспособности проникнуть во всѣ изгибы мрачной и суровой души, у него оказываются въ работѣ либо пятна, либо пробѣлы. По этимъ двумъ причинамъ, въ заимствованіяхъ изъ Байрона замѣтны у Пушкина—и въ содержаніи, и въ формѣ—недостатки, съ которыми приходится познакомиться при изученіи байроновскаго періода въ литературной дѣятельности Пушкина. Обзоръ нашъ дѣятельности поэта въ этотъ періодъ остановится на самыхъ главныхъ ея чертахъ.

## VII.

Первыми въ ряду являются «Черная шаль» и перенаряженный «Корсаръ» со своею Гюльнарою во образѣ

«Кавказскаго Плѣнника» и его черкешенки. Хотя «Черная шаль» заимствована, по преданію, Пушкинымъ отъ трактирной пѣвицы молдаванки Мариулы въ Кишиневѣ, пѣвшей въ 1820 году эту балладу, но въ ней множество отголосковъ Байрона, подражаній его кровавымъ восточнымъ повѣстямъ; она напоминаетъ манеру Байрона во всѣхъ своихъ подробностяхъ убійства невѣрной любовницы и ея сообщника, утопленія убитыхъ въ волнахъ Дуная и душевныхъ терзаній убійцы-мстителя: «Съ тѣхъ поръ не цѣлую прелестныхъ очей,—Съ тѣхъ поръ я не знаю веселыхъ ночей,—Гляжу какъ безумный на черную шаль, — *И хладную* душу терзаетъ печаль».—Что касается «Плѣнника», то самъ Пушкинъ относился въ послѣдствіи безпощадно къ этому произведенію, которое, однако, онъ любилъ, самъ не зная почему: «въ немъ были,—пишетъ онъ,—стихи моего сердца» (1821; VII, 30). «Плѣнникъ зеленъ (VII, 166; 1825), все это слабо, молодо, неполно» (Путешествіе въ Арзерумъ, IV, 420). «Богатая обстановка изъ горъ и горцевъ есть собственно «*hors d'oeuvre*», географическая статья, отрывокъ изъ путешествія» (VII, 30; 1822).—Но самъ «Плѣнникъ»? да и онъ только бѣлое, недомалеванное пятно. Надъ нимъ потѣшались потомъ самъ авторъ съ Раевскимъ. Характеръ его—предметъ, съ которымъ Пушкинъ «насилу сладилъ» (V, 120) или, лучше сказать, совсѣмъ не сладилъ. Мы на слово должны вѣрить, что это прожженный человѣкъ, который... «бурной жизнью погубилъ — Надежду, радость и желанье»..., заключивъ въ увядшемъ сердцѣ лучшихъ дней воспоминанье, отступникъ свѣта и т. д.; что онъ «невольникъ чести безпощадной»,—«На поединкахъ твердый, хладный—Встрѣчая гибельный свинець», и т. д. Мы даже не знаемъ, были ли у него сильныя движенія сердца, коль скоро онъ ихъ хранилъ въ молчаньѣ глубокомъ, такъ что—«И на челѣ его высокомъ—Не измѣнялось ничего». Непонятно, почему же и какъ могли дивиться черкесы «безпечной смѣлости» плѣнника, когда онъ не проявилъ



ни разу во всей поэмѣ ни смѣлости, ни великодушія. Г. Стоюнинъ замѣтилъ, что плѣнникъ становится неинтереснымъ и даже противнымъ, что есть въ немъ черты, оскорбляющія нравственное чувство, напримѣръ: «Я вижу образъ вѣчно милый,—Его зову, къ нему стремлюсь,—Тебѣ въ забвеньѣ предаюсь—И тайный призракъ обнимаю». Хотя образъ черкешенки испорченъ вложенною въ него романтическою сентиментальностью, но въ авторѣ уже видѣнъ мастеръ, будущій живописецъ Татьяны. Черкешенка—настоящій герой поэмы (VII, 25; 1821: «Конечно, поэму приличнѣе было бы назвать «Черкешенкой», я объ этомъ не подумалъ»), а не плѣнникъ—размазня и плакса, совсѣмъ не изображающій того, что хотѣлъ представить Пушкинъ: «преждевременную старость души, отличительную черту молодежи XIX вѣка» (VII, 25). Указывая на странность стиховъ: «Свобода, онъ одной тебя,—Одной искалъ въ подлунномъ мірѣ»,—г. Стоюнинъ не безъ основанія спрашиваетъ: зачѣмъ съ такимъ идеаломъ свободы летѣть въ далекій край, чтобы поработать свободный народъ? — Много лѣтъ спустя, послѣ вторичной поѣздки на Кавказъ и изученія его не съ однѣхъ высотъ предгорья, не съ одной вершины Бешту, Пушкинъ осуществилъ свою идею о дикой свободѣ некультурныхъ племенъ въ ея противоположности съ цивилизаціею (1829—1833) въ дивномъ эпическомъ отрывкѣ изъ неоконченной, къ несчастью, поэмы: «Галубъ», по истинѣ достойной того, чтобы быть поставленною на-ряду если не съ лучшими страницами Иліады, то, по крайней мѣрѣ, съ таковыми же испанскаго Романсеро. Сынъ чеченскаго князя Галуба—Тазитъ, получившій своеобразное воспитаніе внѣ дома, являетъ черты характера христіанскія. Онъ не ограбилъ богатаго армянина на дорогѣ, когда могъ это сдѣлать безнаказанно; онъ не притащилъ въ аулъ на арканѣ бѣглаго раба и даже не умертвилъ убійцу своего брата, сжалившись, такъ какъ убійца былъ раненъ и безоруженъ. Отъ Тазита отрекаются его родъ, его племя, но,

отверженный, онъ является, однако, на родинѣ преобразователемъ-миссіонеромъ. Конечно, онъ дѣйствуетъ только моральными средствами, а не при содѣйствіи вражескихъ; по отношенію къ его родинѣ, барабановъ и штыковъ; онъ даже гибнетъ въ сраженіи съ русскими, какъ можно судить по уцѣлѣвшей программѣ поэмы. Замыселъ поэмы былъ колоссальный; въ сравненіи съ нимъ, «Кавказскій Плѣнникъ» оказывается только юношескимъ упражненіемъ, обнаруживающимъ лишь задатки таланта. Чтобы опредѣлить, съ какою неимовѣрною быстротою совершался ростъ таланта у Пушкина, слѣдуетъ сопоставить «Плѣнника» не съ «Бахчисарайскимъ Фонтаномъ» — граціозною бездѣлкою, съ ея гаремными сценками и мелкими силуэтами Маріи Потоцкой и Заремы, имѣющими только общее и далекое сходство съ происшествіями въ султанскомъ гаремѣ въ V-й пѣснѣ байроновскаго «Донъ-Жуана» (султанша Гюльбейазъ), и не съ «Братьями-Разбойниками», первообразомъ картинъ съ натуры изъ острожного и каторжнаго быта, — а съ «Цыганами». Известно, что «Цыгане» писались въ декабрѣ 1823 г. на югѣ, и только послѣднюю отдѣлку получили въ Михайловскомъ. При своемъ появленіи поэма была принята съ столь единодушнымъ одобреніемъ, что поставила славу поэта у современной ей публики на высоту наибольшую изъ всего достигнутаго имъ при жизни. Были позднѣе произведенія Пушкина глубже по замыслу и сложнѣе, но мнѣнія о нихъ дѣлились, такъ что Пушкинъ, по отношенію къ нимъ, находился въ положеніи сходномъ съ положеніемъ Гёте, возвратившагося изъ римскаго путешествія и обнаружившаго «Ифигенію въ Тавридѣ» и «Тасса» — произведенія совершеннѣйшія въ художественномъ отношеніи, но мало симпатичныя для современниковъ. Поэту приходилось задумываться надъ охлажденіемъ къ нему публики, и только теперь, чрезъ полвѣка послѣ его смерти, настало время надлежащей оцѣнки того, что написалъ онъ наиболѣе цѣннаго. Но и въ настоящее время «Цыгане» не утратили нисколько

своей свѣжести, и оказываются они небольшимъ, но необычайно красивымъ алмазомъ съ сильнѣйшею игрою свѣта. Теперь мы можемъ восхищаться только однѣми художественными красотами поэмы, но современниковъ она интересовала вдвойнѣ. Она была, *во-первыхъ*, вполнѣ романтическое и весьма оригинальное произведение, — единственная насквозь-романтическая поэма Пушкина, взятая изъ живой дѣйствительности; *во-вторыхъ*, она ставила вопросъ объ отношеніи отдѣльнаго лица къ обществу и чертила какъ бы идеаль общества въ ходячей тогда формѣ возврата къ простотѣ первобытнаго состоянія людей. Мысль о блаженствѣ до-историческаго, докультурнаго состоянія людей не переставала вскружать умы и порождала издавна безчисленное множество пасторалей. Одна изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира: «As you like it», написана на эту тѣму. Въ XVIII вѣкѣ главнымъ апостоломъ возврата людей на лоно природы былъ Жанъ-Жакъ Руссо, въ духѣ котораго воспитывались послѣдовательно многія поколѣнія вплоть до начала тридцатыхъ годовъ. Его идеями и чувствами питались въ молодости и Байронъ, и Пушкинъ. Многіе изъ мечтавшихъ о естественномъ состояніи ѣздили искать его за морями у гуроновъ или ирокезовъ; Пушкину удалось его открыть между Одессою и Измаиломъ, подъ шатрами цыганской кочевки. Людей того вѣка такъ и манилъ къ себѣ огонь костра въ степи, такъ и влекло ихъ туда желаніе «презрѣть оковы просвѣщенія», подобно «птичкамъ беззаботнымъ, проснувшись, свой день весь отдавать на волю Бога», бѣжать подальше отъ мѣстъ, гдѣ люди «любви стыдятся, мысли гонять, — Торгуютъ волею своей, — Главы предъ идолами клонять — И просятъ денегъ и цѣпей»... Сама по себѣ тѣма мала богатая. Еслибы въ Пушкинѣ было нѣсколько меньше поэтического чутья, то онъ бы ее и разработалъ въ дидактическомъ направленіи, — онъ бы непременно вставилъ въ произведение уже заготовленную пѣсню Алеко, убаюкивающего своего ребенка сына: «Не мѣняй простыхъ

пороковъ—На образованный развратъ...—Пускай цыгана бѣдный внукъ—Не знаетъ суеты наукъ... Отъ общества, быть можетъ, я — Отъемлю нынѣ гражданина: — Что нужды? я спасаю сына»... Въ эту нетребовательную среду, въ этотъ мірокъ людей вольныхъ, какъ птицы, не знающихъ труда, какихъ бы то ни было стѣсненій, какихъ бы то ни было каръ, какой бы то ни было власти лица надъ лицомъ, вступилъ, по доброй волѣ, Алеко, то-есть самъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, въ печальный критическій моментъ его бурной молодости. Авторомъ употребленъ настоящій байроновскій приѣмъ: онъ изобразилъ самого себя и притомъ безъ самоукрашиванія начерно, безъ рисовки, безъ предпосылки какихъ бы то ни было мрачныхъ уголовщинъ, позирующихъ героя злодѣемъ. Онъ выведенъ только съ предвареніемъ, что онъ человѣкъ сознательно покинувшій «измѣнъ волненіе, предразсужденій приговоръ, толпы безумное гоненіе», и что, по натурѣ, онъ человѣкъ волнующійся и страстный, притомъ искренно рѣшившійся переродиться, измѣниться въ этомъ именно отношеніи, сдѣлаться беззаботнымъ и къ дѣяніямъ другихъ равнодушнымъ. Главный узловый вопросъ ставился такъ: выдержать ли онъ? «Давно-ль, надолго-ль усмирѣли» (страсти въ его измученной груди)? «Онъ проснется: погоди».

Онъ дѣйствительно проснулись роковымъ образомъ, и тѣмъ съ большею силою, чѣмъ продолжительнѣе было ихъ усыпленіе. Алеко къ одному не могъ привыкнуть въ новомъ быту—къ тому, чтобы его подруга, по вольному цыганскому браку, могла загулять съ другимъ мужчиною. Онъ не въ силахъ усвоить себѣ цыганскую философію: «Вольнѣе птицы младость,—Кто въ силахъ удержать любовь?—Чредою всѣмъ дается радость;—Что было, то не будетъ вновь». Какъ ни искренно онъ припѣвалъ, убаюкивая сына: «не будешь жертвой злыхъ измѣнъ,—Трепещи тайно жаждой мести»...; но въ данномъ случаѣ этотъ человѣкъ, который и любилъ иначе, чѣмъ цыгане, не «шутя», а «горестно и трудно, не въ

силахъ преодолѣть себя: «Я не таковъ. — Нѣтъ, я не споря — Отъ правъ моихъ не откажусь». Трагическая коллизія разсѣкается просто, дѣйствіемъ быстрымъ, двумя ударами кинжала, поражающими и соперника, и Земфиру, безстрашную даже и подъ ножомъ и пренебрегающую убійцею («Не боюсь тебя, — Твои угрозы проклинаю, Твое убійство презираю! — Умру любя!»). За мѣтимъ мимоходомъ, что переведшій «Цыганъ» съ русскаго на французскій языкъ Просперъ Меримэ, въ своей собственной, очень извѣстной, повѣсти «Carmen», изданной совмѣстно съ переводомъ «Цыганъ» въ 1847 году, почти списалъ съ Пушкина ту же самую сцену, придавъ ей только то, что называется *couleur locale*: «Comme mon vom, tu as le droit de tuer la vom; mais Carmen sera toujours libre. Calli (цыганкою) elle est née, calli elle mourra. T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi — je ne le veux pas». Надъ убійцею изрекаетъ у Пушкина приговоръ — исправляющій должность хора древней трагедіи старикъ-цыганъ: «Не нужно крови намъ, ни стонъ. — Мы жить съ убійцей не хотимъ. — Ты не рожденъ для дикой доли; — Ты для себя лишь хочешь воли. — Прости! да будетъ миръ съ тобой!» Комментаторы Пушкина усматриваютъ въ этомъ приговорѣ моральное осужденіе байронизма, какъ направленія, безпощадное развѣнчаніе Алеко и вступленіе Пушкина на новый путь къ народности, или, лучше сказать, къ простонародію (Анненковъ, 241; Незеленовъ, 169). Я отрицаю подобный выводъ, превращающій созданіе Пушкина въ нравоученіе. Именно, по своему нежеланію явиться моралистомъ, Пушкинъ исключилъ изъ поэмы пѣсню Алеко надъ ребенкомъ. Въ 1825 г. Пушкинъ писалъ Жуковскому (VII, 131): «Ты спрашиваешь, какая цѣль у «Цыгановъ?» вотъ-на! цѣль поэзіи — поэзія, какъ говоритъ Дельвигъ (если не укралъ этого)». Анненковъ приводитъ, со словъ, слышанныхъ имъ отъ Плетнева: «Только съ «Цыганъ» почувствовалъ я въ себѣ призваніе къ драмѣ». Несомнѣнно, что, начиная съ «Цыганъ», Пушкинъ про-

явилъ способность, приводившую въ восторгъ Меримэ и свойственную только великимъ драматургамъ: сосредоточивать бездну страсти въ наименьшемъ числѣ словъ: «je ne connais pas d'ouvrage plus tendre... pas un vers, pas un mot à retrancher, et cependant tout est simple, naturel (Сравн. *Faguet*, Etudes littéraires dans le XIX siècle, 1887; p. 337). Драма и есть тотъ особенный родъ творчества, въ которомъ, при происходящихъ роковыхъ столкновеніяхъ между дѣйствующими лицами, сердце зрителя дѣлится между сталкивающимися противниками; не знаешь, на чью сторону склониться, сочувствуешь герою, видишь его ошибки и мирись съ его паденіемъ,—въ виду непреложности мірового порядка, съ его неизмѣнными, понятными разуму законами. Ошибка комментаторовъ Пушкина заключается въ томъ, что, по ихъ понятіямъ, міровой порядокъ отождествляется въ сознаніи Пушкина съ цыганскою моралью, между тѣмъ какъ нравовъ ученія старика-цыгана изображаютъ только бытовые условія среды, въ которую вступилъ Алеко; они—только историческая подкладка и обстановка трагического дѣйствія. Вина Алеко—вовсе не въ томъ, что онъ окончательно не оцѣганился до смѣшенія половъ; она заключается въ томъ, что, будучи культурнымъ человѣкомъ, онъ вступилъ въ невозможную для него среду, отрицающую и ярмо тяжелаго, ежедневнаго труда, и собственность, и оцѣдность, и любовь, какъ нѣчто отличное отъ моментальнаго полового влеченія, и чистоту семейныхъ нравовъ. Никогда въ дѣйствительной жизни Пушкинъ не ставилъ себѣ идеаломъ цыганскій образъ жизни. Въ пѣснѣ Алеко онъ могъ помѣстить слова, относящіяся къ сыну: «Нѣтъ, не преклонить онъ колѣнъ предъ идоломъ безумной чести».... но самъ онъ былъ крайнимъ послѣдователемъ до конца этого культа чести, онъ жилъ и умеръ неисправимымъ Алеко. Я готовъ согласиться съ Аполлономъ Григорьевымъ, что Пушкина стубила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко (243), то-есть прирожденная страстность его натуры,—но коренная идея

«Цыганъ» вовсе не та. Если въ человѣкѣ замерли всѣ страсти, если онъ, такъ сказать, выхолонетъ, то будь онъ похожъ на цыганъ: «мы робки и добры душою»,— но онъ уже не человѣкъ. Такое полное омертвѣніе страстей невозможно даже въ цыганскомъ быту, и я удивляюсь, какъ не было обращено должное вниманіе на самое заключеніе поэмы, устраняющее всякую надежду полного блаженства человѣка даже и въ состояніи природы, даже и въ до-культурномъ быту: «Но счастья нѣтъ и между вами,—Природы бѣдные сыны!—И подъ издранными шатрами—Живутъ мучительные сны! — И ваши сѣни кочевья — Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ.— И всюду страсти роковыя, — И отъ судьбы защиты нѣтъ!» Пушкинъ началъ писать поэму изъ однихъ личныхъ воспоминаній, а неожиданно, негаданно, подъ рукою его выросла драма, о которой онъ отзывался въ 1825 г., въ письмѣ къ П. А. Вяземскому: «Я, кажется, писалъ, что мои «Цыгане» никуда не годятся: не вѣрь, я совралъ; ты будешь ими очень доволенъ». Эта драма знаменуетъ также и выходъ Пушкина изъ области байроновскаго вліянія, ибо у Байрона, какъ извѣстно, по субъективности его поэзіи, не доставало драматическаго дарованія, а въ драмѣ онъ воспроизводилъ только одно, и то—свое лицо. Обыкновенно, предѣльною чертою байроновскаго вліянія на Пушкина считаютъ отслуженную за упокой *болярина Георгія* панихиду въ Михайловскомъ, 7-го (19) апрѣля 1825 г., въ первую годовщину кончины поэта. Этотъ моментъ ознаменованъ былъ въ жизни Пушкина еще и увлеченіемъ, съ которымъ онъ погрузился въ изученіе Шекспира. Очень правдоподобно, что вліяніе Байрона продолжалось и послѣ того, хотя было слабѣе. Когда писался, въ 1825 году, осенью, въ деревнѣ «Графъ Нулинъ», послѣ прочтенія шекспировской «Луcreціи», «Нулинъ», составляющій пародію на этотъ историческій эпосъ, то передъ Пушкинымъ носились несомнѣнно и «Беппо», и «Донъ-Жуанъ», и онъ усвоивалъ себѣ шуточную манеру Байрона въ этихъ поэмахъ.

Есть еще, кроме того, одно произведение Пушкина — и самое крупное, которое не только исполнено воспоминаній о Байронѣ, но и зачато въ его духѣ: я говорю объ «Онѣгинѣ». Къ этой поэмѣ я теперь и перейду.

### VIII.

4-го ноября 1823 г., Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому (VII, 56): «Пишу романъ въ стихахъ, *въ родѣ Донъ-Жуана*». Въ предисловіи къ изданному въ 1825 г. началу поэмы, сказано, что первая глава напоминаетъ «Беппо—шуточное произведеніе мрачнаго Байрона». По своей первоначальной идеѣ, романъ долженъ былъ походить и на «Донъ-Жуана» не только по своей формѣ, но и по сатирическому содержанію: «я захлебываюсь желчью—двѣ пѣсни уже готовы» (VII, 62; Тургеневу, 1 декабря 1823 г.). «Раевскій искалъ романтизма, а нашелъ сатиру и цинизмъ, и порядочно не разчухалъ: это — лучшее мое произведеніе» (VII, 70; брату Льву, январь 1824 г.). Годъ спустя, 21-го марта 1825 г. (письмо къ Бестужеву), Пушкина уже сердило усматриваемое всѣми подражаніе Байрону, и объ «Онѣгинѣ» онъ уже твердилъ совершенно противное тому, что писалъ прежде: «Въ Донъ-Жуанѣ нѣтъ *ничего* общаго съ Онѣгинымъ. Гдѣ у меня сатира?—о ней нѣтъ и помина. У меня затрещала бы набережная отъ сатиры, еслибы я ея коснулся. Если сравнить Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи: кто милѣе и граціознѣе, Татьяна и Юлія?» Оба заявленія одинако искренни и правдивы. «Беппо» и «Донъ-Жуанъ» породили въ Пушкинѣ мысль и охоту написать нѣчто подобное изъ русской жизни. Рамка «Донъ-Жуана» широкая, раздвижная и вмѣстительная; она была весьма удобна именно потому, что ни въ чемъ не стѣсняла фантазію автора и даже не требовала никакого цѣльнаго замысла, никакого связнаго содержанія. Поэма могла окончиться



на десятой главѣ, или на двадцатой, или дойти до сотой. Она разрасталась, какъ сосна или дубъ въ лѣсу, которые выдвигаются въ высоту, утолщаются и раскидываютъ вѣтви, по мѣрѣ того, какъ они живутъ, и измѣняютъ до неузнаваемости свой прежній видъ. Мы не можемъ даже и представить себѣ, во что бы обратился «Онѣгинъ», еслибы поэтъ послѣдовалъ совѣтамъ Плетнева и безчисленныхъ друзей, твердившихъ въ одинъ голосъ: «Онъ живъ и не женатъ. — Итакъ, романъ еще не конченъ: это кладъ! — Въ его свободную, вмѣстительную раму — Ты вставишь рядъ картинъ, откроешь діораму»... (III, 422). Во всякомъ случаѣ, плодовитость проявилась бы въ ущербъ замыслу и основному плану, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ осуществленъ послѣ подведенія самимъ Пушкинымъ итога рабочему времени, ушедшему на поэму: 7 лѣтъ 4 мѣсяца и 17 дней (III, 42). Планъ этотъ крайне простой и даже до убожества бѣдный: молодая провинціалка влюбляется въ пріѣзжаго столичнаго льва, который осадилъ ее и прочелъ ей жестокою нотацию. Потомъ, когда она сдѣлалась блестящею великосвѣтскою дамою, онъ же самъ влюбился въ нее до безумія, но получилъ отъ нея крупную сдачу съ процентами — урокъ еще болѣе чувствительный для его самолюбія. Промежъ двухъ уроковъ проходитъ кровавою полосою ненужный, глупый, безтолковый поединокъ изъ-за пустяковъ между двумя сердечными друзьями, не оправдываемый даже тѣмъ, что онъ произошелъ ради «идола безумной чести». Мицкевичъ сдѣлалъ слѣдующій выводъ объ «Онѣгинѣ», какъ мнѣ кажется, вполне основательный (Курсъ слав. литературы): «en écrivant les premiers chapitres Pouschkin n'avait pas probablement d'idée arrêtée sur le dénouement, parce qu'il n'aurait pu écrire avec tant de tendresse, tant de naïveté et de force les amours des jeunes gens pour les terminer d'une manière aussi triste et aussi prosaïque». Вмѣсто имѣвшейся сначала въ предметъ (говоря слогомъ того времени, см. гл. I, стр. 27) сатиры нравовъ, мы получили не то *fabliau*, не то новеллу Бокка-

что, не то comédie или proverbe изъ жизни російскаго fashion или high life'a, — во всякомъ случаѣ довольно пустой сюжетъ, великолѣпнѣйшимъ образомъ написанный, вещь интересную не по замыслу, а потому, что она представляетъ полную картину нравовъ извѣстной, въ даль отошедшей эпохи, родъ психологическаго склада, въ который поэтъ бросалъ безъ разбору и порядка все передуманное и пережитое въ теченіе семи съ половиною лѣтъ самаго богатаго, самаго могучаго творчества (1823—1831). «Собранье пестрыхъ главъ,—Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,—Простонародныхъ, *идеальныхъ*» (противъ этого выраженія протестуетъ Honegger въ Russische Litteratur und Cultur, Leipzig; 1880: «romantisch ist wohl die Dichtung, aber ideal in keinem Zuge»),— Небрежный плодъ моихъ забавъ,—Безсонницъ, мелкихъ вдохновеній—Незрѣлыхъ и увядшихъ лѣтъ,—Ума холодныхъ наблюденій — И сердца горестныхъ замѣтъ». Романъ сталъ, такимъ образомъ, автобіографіею, родомъ confessions для потомства, сочиненіемъ, въ которомъ Пушкинъ является не истолкователемъ чужихъ затѣй и причудъ, а «москвичемъ въ Гарольдовомъ плащѣ» («Онѣгинъ», VII, 24), который распахнулъ этотъ плащъ и стоитъ въ туфляхъ, бухарскомъ халатѣ и съ трубкою во рту. Само собою разумѣется, что въ такомъ видѣ Пушкинъ сдѣлался удобною мишенью для всѣхъ застрѣльщиковъ литературы, для всѣхъ подростокующихъ поколѣній—и того, которое онъ собственными глазами видѣлъ изъ уцѣлѣвшихъ послѣ 14-го декабря ревнителей гражданственности («Едва опомнились младыя поколѣнья,—Жестокихъ опытовъ собирая поздній плодъ;—Они торопятся съ расходомъ свестъ приходить.—Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры,—Иль спорить о стихахъ...» —Письмо къ вельможѣ Н. Б. Юсупову, 1830; II, 93),—и того, позднѣйшаго, которое въ шестидесятыхъ годахъ жестоко осуждало своихъ предшественниковъ, людей сороковыхъ годовъ, за ихъ празднословіе и эстетику, за ихъ изнѣженность и неспособность къ

простой черной работѣ, къ практическому труду, требующему мозолистыхъ рукъ и выносливости. Эти осужденія высказывались у насъ, по обыкновенію, въ самой рѣзкой и безусловной формѣ; они не встрѣчали своевременно при своемъ появленіи у насъ, какъ обыкновенно бываетъ, ни отпора, ни опроверженія; они прошли почти безслѣдно, не омрачивъ славы Пушкина, которая сіяетъ болѣе сильнымъ, нежели при жизни поэта, блескомъ. Въ этомъ хуленіи «Онѣгина» всѣхъ превзошелъ Писаревъ (3-я часть Сочиненій, изд. 1871, стр. 223), дошедшій до слѣдующихъ геркулесовыхъ столповъ прямолинейной критики въ духѣ утилитаризма: «Общій колоритъ поэзіи Пушкина — внутренняя красота чело-вѣка, проводящаго жизнь въ праздности и посвящающаго досуги пищеваренію и созерцанію мраморныхъ боговъ, и лелѣющая душу гуманность въ отношеніи къ дѣтямъ небесъ, презирающимъ и топчущимъ въ грязь червей земли... Никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ внушить такого безпредѣльнаго равнодушія къ народнымъ страданіямъ, такого презрѣнія къ честной бѣдности и такого отвращенія къ честному труду, какъ Пушкинъ». Болѣе сдержанно, но въ сущности также неодобрительно отзываясь объ «Онѣгинѣ» весьма почтенный критикъ Водовозовъ (Новая Русская Литература, ст. 157 и слѣд.): «чтеніе Байрона и другихъ современныхъ писателей указало Пушкину какія-то новыя требованія жизни...., но, оторванный отъ своей среды, онъ не въ силахъ былъ освободиться отъ ея привычекъ; увлекаясь Байрономъ онъ все-таки останавливался *на фразѣ*»... Всѣ эти отрицанія были бы умѣстны, еслибы поэма имѣла направленіе, еслибы, по замыслу автора, поэма должна была изображать «требованія жизни». Она отразила только эту жизнь, съ ея дремотою и лѣнью, съ ея пустотою, съ отсутствіемъ всякихъ серьезныхъ задачъ и интересовъ. Когда Онѣгинъ поутру... «отправлялся налегкѣ—Къ бѣгущей подъ гору рѣкѣ», и—«Пѣвцу Гюльнары подражая,—Сей Гел-

леспонтъ переплываль», — то никакой вины его не было въ томъ, что его опыты плаванія происходили на мелкой рѣчкѣ; дайте ему Геллеспонтъ — онъ, можетъ быть, переплылъ бы и настоящій Геллеспонтъ. А жизнь тогдашняя въ Россіи не представляла собою никакихъ Геллеспонтовъ, — живого дѣла не предстояло, само общество его чуждалось. Человѣкъ, предъявляющій особые требованія, расшибъ бы себѣ лобъ объ стѣну, или бѣжалъ бы, какъ Чацкій, ища, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ» — и прослылъ бы чудачкомъ и опаснымъ сумасшедшимъ. Людямъ не боевого темперамента приходилось по-неволѣ улаживать свое скучное существованіе «созерцаніемъ мраморныхъ боговъ» и сохранять — въ этой, единственно-возможной по тому времени, формѣ служенія отвлеченной наукѣ и чистому искусству — связь съ общимъ движеніемъ европейской мысли и отзывчивость на міровыя событія и явленія. Невѣрно было то, въ чемъ обвинялъ Писаревъ Пушкина и его современниковъ (III, 239), будто, «погрузившись въ созерцаніе мелкихъ, личныхъ ощущеній, они сдѣлались неспособными анализировать и понимать общественные и философскіе вопросы вѣка». Когда пришла пора реформъ, то явились и люди, способные рѣшать запутанные и сложные общественные вопросы. Долгое уединеніе отъ міра сего и пребываніе въ сферѣ отвлеченностей принесло, конечно, и вредныя послѣдствія. Реформаторы заскакивали на сто лѣтъ впередъ; учрежденія выкраивались шире, чѣмъ слѣдовало, не по росту субъекта. Мы чурались эстетики и чистаго искусства ради практическаго дѣла, ради реформъ, и стоимъ нынѣ въ раздумьѣ на перекресткѣ, не зная — куда направиться. Талантами мы сильно оскудѣли, нашъ умственный уровень пониманія простѣйшихъ общечеловѣческихъ вопросовъ жизни понизился; нѣтъ у насъ идеаловъ ни эстетическихъ, ни этическихъ. Царить одинъ голый и до цинизма откровенный эгоизмъ, все равно — личный ли онъ, или національный. По мѣрѣ того, какъ выяснялось

въ сознаніи наше огрубѣніе, возстановляется и репутація бывшихъ долгое время въ загонѣ людей сороковыхъ годовъ; надъ головами нашими вырастаютъ они съ Пушкинымъ во главѣ. Въ пользу Пушкина, очищающимъ его отъ злословія доказательствомъ служить то, что всѣ великіе писатели слѣдующаго за нимъ періода, уже не ограничивавшагося «созерцаніемъ мраморныхъ боговъ», но посвященнаго настоящему дѣлу, начиная съ олимпійца Тургенева и до живописца нервныхъ страданій и истерики Достоевскаго, — происходятъ отъ Пушкина и провозглашаютъ его своимъ первоучителемъ. Что же касается до нареканій за эпикуреизмъ и квіетизмъ, то Пушкинъ подвергнулся этимъ нареканіямъ не одинъ, — та же самая судьба постигла и Гёте за его политическій индифферентизмъ. Курьезно то, что люди, поносящіе Пушкина за его сибаритство и неумѣніе стать на высотѣ Байрона въ уразумѣніи практическихъ требованій вѣка, попрекаютъ его и за тѣ его стихотворенія, въ которыхъ онъ изображаетъ высокое назначеніе поэзіи и священный почти характеръ поэта, между тѣмъ какъ это обоготвореніе поэта Пушкинымъ есть не что иное, какъ воспроизведеніе въ нѣсколько измѣненной, согласно его личному темпераменту, формѣ основной байроновской идеи, составляющей дурную и въ значительной степени вредную сторону его поэзіи, а именно, байроновскаго культа великихъ, геніальныхъ людей, для которыхъ никакой законъ не писанъ, ни положительный, ни чисто нравственный. Намъ приходится теперь остановиться на понятіяхъ Пушкина о значеніи и назначеніи поэта.

## IX.

Пушкинъ сталъ поэтомъ съ малолѣтства, — и по настоящему призванію, по воспріимчивости къ поэтическимъ впечатлѣніямъ, и по наслажденію, испытываемому при

совиданіи поэтическихъ образовъ. Съ самаго лица, его и не интересовало ничто, кромѣ одной поэзіи. На тысячу ладовъ провозглашалъ онъ: — Я поэтъ!.. «Въ пещерахъ Геликона—Я нѣкогда рождень...—Подъ кровомъ вѣшнихъ розъ—Поэтомъ я возросъ» (1815; Батюшкову, I, 77). «Я мирныхъ звуковъ наслажденья—Младенцемъ чувствовать умѣлъ... И лира стала мой удѣлъ» (1817; Дельвигу, I, 167); всего сильнѣе въ стихѣ Жуковскому (1817, I, 163): «Благослови, поэтъ!... Мнѣ жребій вынулъ Фебъ—и лира мой удѣлъ». Пушкинъ все въ мірѣ отдалъ бы за поэтическую славу: «Ахъ, вѣдаетъ мой добрый геній,—Что предпочелъ бы я скорѣй—Безсмертію души моей — Безсмертіе моихъ твореній»... (1817; Илличевскому, I, 177). Собственно не сама слава влечетъ его неодолимо въ область поэзіи, а стремился онъ туда просто потому, что это была его естественная стихія: «Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,—Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ какъ во снѣ — Излиться, наконецъ, свободнымъ проявленіемъ — И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей... И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ» (Осень, 1830; II, 105). Читая произведенія Пушкина, писанныя еще до катастрофы 1820 г., изумляешься, сколько въ нихъ страдальческихъ звуковъ, унылыхъ и печальныхъ, при преобладающемъ, однако, общемъ настроеніи рѣзвой веселости, — и какъ великъ навыкъ поэта уединяться, переполняться звуками и смятеніемъ и бѣжать «на берега пустынныхъ волнъ, въ широкошумныя дубровы» (III, 21). Онъ прилѣплялся къ поэзіи, какъ къ единственному своему занятію, всѣми корнями души, какъ къ якорю, какъ къ средству, очищающему его отъ страстей и искупающему всякую сквернь: «Такъ сердце — жертва заблужденій — Среди порочныхъ упоеній — Хранитъ одинъ святой залогъ, — Одно божественное чувство»... Онъ только и живетъ въ этомъ элизіумѣ, съ его условными символами, съ его языческою мифологіею, съ его излюбленными мечтами и героями, и настолько имъ преданъ сердцемъ, что знать

не хочет уничтожающей ихъ правды; онъ отворачивается отъ дѣйствительности, насколько она не схожа съ поэтической легендою. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаружилась уже эта анти-историческая черта въ поэтѣ. Еще въ лицѣ онъ такъ опредѣлялъ назначеніе поэзіи: «Гоните мрачную печаль, — Плѣняйте умъ *обманомъ*, — И милой жизни свѣтлу даль — Кажите за туманомъ». Этому отношенію къ сухой, некрасивой дѣйствительности Пушкинъ былъ вѣренъ всю жизнь. Еще въ концѣ 1830 г. онъ писалъ въ «Героѣ» (Наполеонъ) — съ эпиграфомъ: «Что есть истина?»: — «Дабудетъ прокляты правды свѣтъ, — Когда посредственности хладной, — Завистливой, къ соблазну жадной, — Онъ угождаетъ праздно. Нѣтъ! — Тѣмы низкихъ истинъ мнѣ дороже — Насъ возвышающій обманъ».

Съ молодыхъ лѣтъ и гораздо раньше катастрофы 1820 г., въ поэзію Пушкина — игривую, граціозную, по преимуществу эротическую, то-есть посвященную «наукѣ страсти нѣжной», входятъ гражданскіе мотивы съ сильно-политическимъ, свойственнымъ тому времени оттѣнкомъ. На политическое воспитаніе поэта оказалъ, повидимому, громадное вліяніе Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ («единственный другъ», «цѣлитель душевныхъ силъ», «ты поддержалъ меня недремлющей рукой» (Посланіе 1824 г., I, 241). «Подъ гнетомъ власти роковой — Отчизны немлемъ призыванья! — Мы ждемъ, съ томленьемъ, ожиданья — Минуты вольности святой» (1818 г.; I, 190), — конечно, въ видѣ громадно набѣгающаго откуда-то извнѣ шквала. На сихъ «младыхъ вечерахъ», въ «пророческихъ спорахъ», делѣялись вольнолюбивыя мечтанія и надежды, которыя помогъ Пушкину облекать въ поэтическую форму Андрей Шенье (Вольность: «Открой мнѣ благородный слѣдъ — Того возвышеннаго галла, — Кому сама средь славныхъ бѣдъ — Ты гимны смѣлые внушала»). Всѣ эти произведенія отзываются манерою Шенье, — они слегка ходульны и важно напыщенны. Замѣчательно, что эту политическую поэзію Пушкинъ до

конца жизни ставилъ себѣ въ главную заслугу, и что въ первоначальномъ наброскѣ «Памятника» (1835 г.; II, 19) онъ выразилъ, что тѣмъ-то именно и будетъ любезенъ онъ народу, что — «вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу (проповѣдывалъ освобожденіе крестьянъ) И милосердіе воспѣлъ» (то-есть ходатайствовалъ за декабристовъ). Затѣмъ послѣдовало изгнаніе, знакомство съ поэзією Байрона и увлеченіе имъ. Есть въ черновыхъ Пушкина одинъ набросокъ, относимый къ 1830 г. (I, 115) и писанный дантовскими терцинами (вспомнимъ, что Данта онъ изучалъ во время эрзерумскаго путешествія: «зрю бьютъ, изъ рукъ моихъ великій Данте выпадаетъ»), въ отрывкѣ изображены прельщавшіе когда-то поэта два бѣса: «Одинъ (дельфійскій идолъ) — былъ гнѣвнъ, полонъ гордости ужасной, и весь дышалъ онъ силой неземной. Другой — женоподобный, сладострастный, сомнительный и лживый идеалъ, волшебный демонъ — лживый, но прекрасный». Со вторымъ идоломъ Пушкинъ знакомъ былъ съ малолѣтства; первымъ идоломъ сдѣлался, вѣроятно, въ бурный періодъ изгнанія, Байронъ, которымъ Пушкинъ увлекся ради волевой силы, обрѣтавшейся въ Байронѣ въ великомъ изобиліи. Отъ Байрона перешелъ къ Пушкину и культъ героевъ, которые непремѣнно презираютъ людей и человѣчество въ своемъ сверхъестественномъ величіи, будь они Петръ Великій или Наполеонъ. Начальные стихи «Героя» (1830) изображаютъ еще въ полномъ цвѣтѣ это поклоненіе; ихъ можно назвать родственными по духу лучшимъ строфамъ (36—45) третьей пѣсни «Ч. Гарольда»: «Какъ огненный языкъ она (т.-е. слава) — По избраннымъ главамъ летаетъ, — Съ одной сегодня исчезаетъ — И на другой уже видна. — За новизной бѣжать смиренно — Народъ безсмысленный привыкъ, — Но намъ ужъ то чело священо, — Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ. — На тронѣ, на кровавомъ полѣ, — Межъ гражданъ на чредѣ иной, — Изъ сихъ избранныхъ кто всѣхъ болѣ — Твоею властвуетъ душой?» Когда писался этотъ стихъ, «Герою»



по преимуществу былъ не кто иной какъ Наполеонъ: «Все онъ, все онъ, приплещъ сей бранный, — Предъ кѣмъ смирялися цари;—Сей ратникъ, вольностью вѣнчанный, — Исчезнувшій какъ тѣнь зари!» Этотъ герой изображается чертами, не измѣнившимися съ 1823 г. и прямо заимствованными изъ написаннаго въ этомъ году отрывка (I, 297): «Сей всадникъ, передъ кѣмъ склонялися цари — Мязежной вольности наслѣдникъ и убійца, — Сей хладный кровопійца, — Сей царь, исчезнувшій, какъ сонъ, какъ тѣнь зари!» Я не могу отнести поэтическое поклоненіе Пушкина Наполеону къ Байрону, какъ источнику сего поклоненія. Всѣ четыре славянскихъ поэта, которыхъ я изучаю—поклонники Наполеона, и въ этомъ отношеніи похожи на Байрона, но могли придти къ своему поклоненію совершенно различными путями, вслѣдствіе того, что жили въ эпохѣ, на которую падала тѣнь великаго историческаго лица, что великіе міровые политическіе дѣятели бывають закройщиками душъ и характеровъ чловѣческихъ на многія послѣдующія поколѣнія. «Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны,—писалъ Пушкинъ («Онѣгинъ», II гл., стр. 14),—Двуногихъ тварей миллионы—Для насъ орудіе одно». Не утверждаю, чтобы этотъ наполеонизмъ происходилъ отъ Байрона, хотя знакомство съ Байрономъ могло содѣйствовать его развитію (Ода «Наполеонъ» писана въ іюлѣ 1821 г., во время сильнѣйшаго увлеченія Байрономъ). Я полагаю, однако, что онъ не доходилъ въ Пушкинѣ до сознательнаго или безсознательнаго подражанія Наполеону. Между мною и лицомъ, которому я волею или неволею подражаю, должно быть извѣстное сходство въ натурахъ, совпаденіе моего метафизическаго «я», того, какимъ бы мнѣ хотѣлось быть, съ идеальнымъ «я» того моего образца, т. е. съ образцомъ, какимъ онъ представляется въ сознаніи другихъ людей и моемъ. Въ Байронѣ современники усматривали, можетъ быть, безъ всякаго основанія, нѣкоторое сходство съ Наполеономъ, даже со стороны силы воли, энергичности характера, между тѣмъ какъ, при всей своей

вспыльчивости и страстности, и при всѣми признаваемой геніальности, — Пушкинъ не импонировалъ никому; онъ былъ весьма горячо любимъ, но онъ считался человекомъ мягкимъ, добрымъ, легкимъ и подвижнымъ. Подобно Байрону, Пушкинъ не могъ не идеализировать самого себя, не могъ не претендовать на то, что онъ исключительно даровитая, избранная натура, что онъ не только поэтъ, но и общественный дѣятель, человекъ не только доставляющій эстетическія наслажденія, но и вліяющій на народъ, движущій его, принимающій дѣятельное участіе въ его судьбахъ. Скорѣе всего Пушкинъ могъ себя идеализировать въ своемъ званіи поэта — и только поэта. Во всякомъ творествѣ есть элементъ произвольнаго вдохновенія, того «тайнаго холода», который «власы подъемлетъ на челѣ» (I, 193; Жуковскому), — той невѣдомой силы, которая наполняетъ душу образами и звуками и заставляетъ ее потомъ изливаться въ стихахъ. Сотни разъ преклонялся Пушкинъ передъ чѣмъ-то, навѣщающимъ его, таинственнымъ и божественнымъ, передъ которымъ самъ онъ, какъ человекъ — ничто, и которому онъ покорный слуга и вѣрный жрецъ: «Какой-то демонъ обладалъ моими играми, досугомъ... мнѣ звуки дивные шепталъ» (Разг. книгопродавца съ поэтомъ, 1826); или: «Пока не требуетъ поэта — Къ священной жертвѣ Аполлонъ» (1827 г.; II, 21)... Въ вариантѣ къ «Родословной моего героя» (1833 г.; III, 556) записано: «Зачѣмъ крутится вихрь въ оврагѣ»... «Зачѣмъ отъ горъ и мимо башенъ — Летитъ орелъ угрюмъ и страшнѣе? — Зачѣмъ арапа своего — Младая любитъ Дездемона?.. Затѣмъ, что вѣтру орлу, — И сердцу дѣвы нѣтъ закона. — Гордись! таковъ и ты поэтъ, — И для тебя закона нѣтъ». — Отыскивая основаніе для своего прирожденнаго избранничества, которое онъ въ себѣ признавалъ, подобно Байрону, Пушкинъ находилъ его, по особенностямъ своего темперамента, въ произвольномъ, внезапно иногда навѣщающемъ его вдохновеніи, которое онъ и боготворилъ, а самого себя, свое личное «я» онъ счи-

таль только вмѣстилищемъ этого божества. Идя по этой стезѣ, онъ естественнымъ образомъ наталкивался и на античное представленіе о «*sacer vates*», и на примѣры ветхозавѣтныхъ пророковъ. Извѣстно, что въ 1824 г. въ Михайловскомъ онъ былъ религіозно настроенъ и писалъ подражаніе Корану (I, 322); онъ домогался настойчиво присылки ему Библии, которую съ тѣхъ поръ не переставалъ изучать вплоть до 1834 г. (VII, 371), разумѣется, преимущественно съ ея поэтической стороны. Плодомъ этого усидчиваго чтенія Библии и явилась передѣлка 6-й главы книги пророка Исаи: «и посланъ бысть ко мнѣ одинъ изъ серафимовъ, и въ руцѣ своей имяше угль горящъ, его же клещами взять отъ алтаря», — передѣлка, озаглавленная «Пророкъ», о которой сложилась даже цѣлая легенда, и съ которою комментаторы Пушкина возятся, какъ—не только съ красивѣйшимъ, но и съ глубокомысленнѣйшимъ созданіемъ поэта, опредѣляющимъ задачи и высокое назначеніе поэзіи. Позволю себѣ оспорить и легенду, и самую критику.

## Х.

Легенда гласить, что когда Пушкинъ привезенъ былъ 8-го сентября 1826 г. съ фельдъегеремъ прямо въ Чудовъ дворецъ къ государю, въ дорожномъ костюмѣ, то при немъ были опаснаго свойства стихи, которые онъ обронилъ случайно на лѣстницѣ, но нашелъ, возвращаясь по ней. Ходили слухи, что то было «Посланіе въ Сибирь къ декабристамъ»—но декабристы были въ то время еще только на пути въ Сибирь.—С. А. Соболевскій кому-то рассказывалъ (Ефремовъ, Жизнеописаніе Пушкина, въ «Р. Старинѣ», 1880 г., № 1), и г. Пятковскій передаетъ со словъ умершаго сенатора Венитина, что оброненные стихи содержали «Пророка» въ томъ видѣ, въ какомъ онъ появился въ 1828 г. въ «Московскомъ Вѣстникѣ», № 3, но съ прибавкою заклю-

чительной строфы, сохранившейся только въ изустномъ преданіи: «Возстанъ пророкъ, пророкъ Россіи!—Позорной ризой одѣкись—И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи—Къ (царю руссійскому) явись!» Подать эти стихи поэту не пришлось, потому что они были бы поданы только въ случаѣ неблагопріятнаго результата его представленія государю («Русская Старина», 1880, № 3). Черновой «Пророка» нѣтъ въ рукописяхъ Пушкина въ Румянцовскомъ Музеѣ (Описаніе рукописей Пушкина Якушкинымъ, «Р. Старина», 1884 г.). Не имѣя права выѣзда изъ имѣнія, Пушкинъ не могъ и помышлять о томъ, что онъ вскорѣ предстанетъ передъ лицо государя. Увезенный фельдъегеремъ, онъ не могъ догадываться, что его повезутъ въ Чудовъ дворецъ. Строфа, сохранившаяся въ устномъ преданіи, не могла быть заключительною, такъ какъ она оставляетъ читателя въ полномъ недоумѣніи, зачѣмъ имѣлъ явиться и что имѣлъ сказать этотъ съ вервьемъ на шеѣ человекъ въ своемъ, совсѣмъ не обычномъ по нашему времени, костюмѣ и съ своими, весьма мало понятными, библейскими рѣчами? Въ данныхъ условіяхъ его поступокъ сильно походилъ бы на выходку помѣшаннаго. Вспомнимъ еще, что либеральный бредъ прошелъ у Пушкина еще въ то время, когда онъ писалъ «Святителя», что въ январѣ 1826 г. онъ уже непремѣнно желалъ помириться съ правительствомъ (VII, 174). Онъ не былъ заодно съ декабристами,—онъ только скорбѣлъ о нихъ. У него не могло быть въ запасѣ никакихъ «жгучихъ глаголовъ», коль скоро отъ милостивыхъ словъ государя онъ мгновенно раскаялся и сдѣлался на остальную жизнь человекомъ не противнымъ правительству.

Что касается до внутренняго смысла «Пророка», то въ цѣломъ стихотвореніи нѣтъ никакого намека на то, чтобы подъ этимъ словомъ Пушкинъ подозрѣвалъ не пророка, а поэта. Мы имѣемъ передъ собою настоящаго пророка, но только немного преобразованнаго въ томъ смыслѣ, что ветхозавѣтный пророкъ, имѣющій видѣнія

и отъ самого Бога получающій непосредственно приказанія, не нуждался въ угадываніи, посредствомъ нѣкотораго рода ясновидѣнія, процессовъ жизни и законовъ природы, что онъ могъ и не ощущать и «неба содрганье—И горній ангеловъ полеть,—И гадъ морскихъ подводный ходъ—И дольной лозы прозябанье». Я не нахожу, чтобы очень удачна была замѣна очищенія устъ стихіею огня—горящимъ углемъ, превращеніемъ языка въ жало змѣи, потому что жаломъ можно только жалить, а не жечь, притомъ жало считаемой особенно хитрою, а потому и мудрой змѣи—во всякомъ случаѣ, съ точки зрѣнія міаа, лукавѣе языка человѣческаго.— Не очень удачна и другая замѣна трепетнаго, то есть чувствующаго сердца — пылающимъ огнемъ. — Нельзя, однако, не признать, что модулизированный Пушкинымъ пророкъ, не пользующійся лицеизрѣніемъ Господа, но одаренный широкимъ пониманіемъ природы и пламеннымъ сердцемъ, довольно близко подходитъ къ представленію о поэтѣ, съ тою разницею, что пророка проникаетъ насквозь воля божества, что, ею полный, онъ обходитъ моря и земли, прожигая сердца людей, а на поэта нисходитъ иногда, невѣдомо какъ и откуда, въ видѣ вдохновенія тотъ же «божественный глаголъ» (II, 21). Это сближеніе пророка и поэта—и этотъ въ поэтѣ священный характеръ жреца и помазанника вдохновенія—усиливаются постепенно въ Пушкинѣ, по мѣрѣ того, какъ публика охладѣваетъ къ нему, и какъ она отказывается признавать его своимъ руководителемъ и моральнымъ вождемъ, то есть по мѣрѣ того, какъ онъ уединяется, уходя въ область чистаго и отвлеченнаго отъ жизни искусства, созидая произведенія весьма красивыя и замѣчательныя по technikѣ и формѣ, но неимѣющія никакого отношенія къ «злобѣ дня», и потому мало интересующія публику. Пушкинъ дорожилъ популярностью, скорбѣлъ о томъ, что она отъ него ускользала. Съ гнѣвнымъ чувствомъ царя, негодующаго противъ своихъ отложившихся подданныхъ, онъ выстрѣлилъ въ нихъ сво-

имъ негодующимъ «Ямбомъ» или «Чернью» (1828 г., II, 49), въ которомъ ставится въ невозможной формѣ неразрѣшимая дилемма по вѣчно открытому и нескончаемому вопросу о тенденціозности въ искусствѣ: либо—мое безусловное право властвовать надъ умами въ силу того, что я великій поэтъ; либо—мое безусловное вамъ подчиненіе, мое рабство, мое угодничество всѣмъ вашимъ похотямъ и инстинктамъ.—Съ одной стороны толпа ропщетъ: «Какъ вѣтеръ, пѣснь его свободна, — Зато какъ вѣтеръ и бесплодна... Свой даръ, божественный посланникъ,—Во благо намъ употребляй...—Ты можешь, ближняго любя,—Давать намъ смѣлые уроки,—А мы слушаемъ тебя». — Съ другой стороны, избранная натура, поэтъ, выходитъ изъ себя и не учитъ, а бранитъ: «Молчи, бессмысленный народъ,—Поденьщикъ, рабъ нужды, заботъ!.. Подите прочь, какое дѣло—Поэту мирному до васъ?—Для вашей глупости и злобы—Имѣли вы до сей поры—Бичи, темницы, топоры;—Довольно съ васъ—рабовъ бездушныхъ!..» Поэтъ, очевидно, дѣлаетъ натяжку. Вопросъ имъ плохо поставленъ, потому что никто не понуждаетъ жрецовъ бросать алтари и жертвоприношеніе и идти мести соръ съ улицъ; но никто также не властенъ приневоливать толпу, чтобы она насильно участвовала въ таинствахъ и жертвоприношеніяхъ, нѣжила грубый слухъ нѣжными звуками или справляла нервы, можетъ быть, тому же самому лживому богу—финикійскому Адонису, о которомъ самъ Пушкинъ когда-то писалъ: «волшебный демонъ, лживый, но прекрасный». — Если въ «Черни» Пушкинъ изобразилъ изъ себя нѣкоторымъ образомъ короля Лира, сошедшаго съ престола и скитающагося по полю во время бури,—то съ другой стороны, критики шестидесятыхъ годовъ, съ Писаревымъ во главѣ, представляютъ собою, въ своемъ пуританскомъ озлобленіи и утилитаризмѣ, родъ республиканскаго конвента, принявшагося судить новаго Людовика XVI, подводя Пушкина подъ свой общій для всѣхъ этическихъ топорь... Отъ своихъ высокомерныхъ требованій и гор-

дыхъ словъ самъ Пушкинъ отступился въ 1830 г. (1 іюля; II, 95), въ сонетѣ «Поэтъ», въ которомъ онъ является уже не гнѣвнымъ королемъ Лиромъ, а смирнымъ княземъ-изгнанникомъ, ушедшимъ, съ немногими оставшимися ему вѣрными придворными, въ Арденскій лѣсъ, въ шекспировской комедіи: «As you like it», или какъ успокоившійся Просперо на своемъ острову въ «Бурѣ». — Поэтъ и толпа окончательно разведены; каждый остается самъ у себя и по себѣ. — Поэтъ! не дорожи любовію народной! — Ты царь... живи одинъ, усовершенствуя — Плоды любимыхъ думъ. — Ты самъ твой высшій судъ... пускай твой трудъ толпа бранить — И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ, — И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ!»

Но и сонетъ 1830 г. не представляетъ собою окончательно опредѣлившагося идеала поэта, то есть собственно личнаго идеала, его собственнаго «я». Бывали счастливыя минуты въ самыхъ послѣднихъ годахъ его существованія, въ которыхъ онъ слагалъ съ себя все извнѣ пришедшее, напускное, ходульное, разоблачался, позабывалъ совсѣмъ свой санъ, свое интеллектуальное избранничество, становился дѣтски простъ и естественъ, и бѣжалъ рѣзвиться или, какъ выражаются французы — *faisait l'école buissonnière*. Въ немъ не замѣчалось тогда никакихъ уже признаковъ важнаго жреца или помазанника поэзіи, но зато имъ достигаемо было высочайшее благо чело-вѣка: полная душевная свобода и независимость. Таковъ онъ былъ еще въ 1822 г. въ «Тавридѣ» (I, 288): «Покойны чувства, ясенъ умъ, — Въ душѣ утихло мрачныхъ думъ волненье... Вездѣ мнѣ слышенъ тайный голосъ — Давно затеряннаго счастья». Таковъ онъ былъ и послѣ женитьбы, когда писалъ женѣ: «На свѣтѣ счастья нѣтъ, — а есть покой и воля» (II, 193). Таковъ онъ въ дивномъ своемъ, оригинальномъ стихотвореніи, подложно имъ приписанномъ итальянскому поэту Пиндемонте: «Изъ VI Пиндемонте» (II, 187), — однимъ изъ лучшихъ его про-

изведеній <sup>1)</sup>).—Въ этомъ послѣднемъ, по времени начертанія, идеалъ поэта—не скажу: наивысшемъ, но во всякомъ случаѣ наиболѣе подходящемъ къ темпераменту Пушкина — не видно уже ни малѣйшихъ признаковъ байронизма.

---

Сводя итоги сказанному по избранному мною предмету, я заключаю мое изслѣдованіе слѣдующими выводами. Несмотря на несходство натуръ Байрона и Пушкина, вліяніе Байрона было сильное, но преходящее,—подобное слѣду камня, брошеннаго въ воду, и представляющемуся въ видѣ расходящихся круговъ, теряющихъ явственность по мѣрѣ удаленія ихъ отъ центра. Всей глубины байроновскаго отрицанія Пушкинъ не постигъ, а нѣкоторые внѣшніе приемы Байрона усвоилъ. Съ теченіемъ времени вліяніе Байрона на Пушкина перекрещивалось съ подобными же расходящимися кругообразно струйками на поверхности отъ Шекспира, отъ Данта, отъ другихъ поэтовъ и отъ событій. Въ концѣ концовъ это вліяніе, въ совокупности съ этими, иного происхожденія, слѣдами, перешло въ легкую, трудно уловимую зыбь. Бывали времена, когда поэтъ отъ этого вліянія совсѣмъ освобождался, — и тогда онъ былъ вполне независимъ, своеобразенъ, какъ тѣ причудливыя созданія народной или шекспировской фантазіи — воздушный силфъ, игривый Пукъ или—безподобный Аріель.

---

<sup>1)</sup> «...Никому — Отчета не давать; себѣ лишь одному — Служить и угождать; для власти, для ливрей — Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи; — По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ, — Дивясь божественнымъ природы красотамъ, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья — Безмолвно утонать въ восторгахъ умиленья — Вотъ счастье! вотъ права!»



БАЙРОНИЗМЪ

у

Л е р м о н т о в а.



## Байронизмъ у Лермонтова.

(Изъ эпохи романтизма).

Михаиль Юрьевичъ Лермонтовъ (род. 20 октября 1814 г.) былъ всего 14-ю годами съ небольшимъ моложе Пушкина, а пережилъ только на четыре съ половиною года своего великаго предшественника (29-го янв. 1837 и 15 іюля 1841); но онъ и выросъ, и сложился при иныхъ условіяхъ, въ иную эпоху политической и общественной жизни, въ атмосферѣ болѣе суровой, менѣе располагающей къ гуманности и прогрессу. Великая національная побѣда 1812 г., воодушевившая и сблизившая всѣ сословія, главнымъ образомъ пошла въ прокъ однимъ высшимъ общественнымъ слоямъ; сельское населеніе, проявившее себя живою силою, оставалось придавленнымъ всеильнымъ еще крѣпостнымъ правомъ. Тяготѣніе высшихъ слоевъ общества къ французской литературѣ и культурѣ продолжалось по старымъ преданіямъ XVIII вѣка, такъ что въ этомъ отношеніи декабристы шли по стопамъ образованныхъ людей Екатерининскаго вѣка и бойцовъ 1812 г., носившихъ французскія книжки въ походныхъ ранцахъ. Послѣ побѣ

надъ Наполеономъ незачѣмъ было отрѣшаться и отъ европеизма, который пересталъ быть грозою, но съ русской точки зрѣнія этотъ европеизмъ послѣ 14-го декабря 1825 года былъ уже двойнымъ: съ одной стороны, поднимали головы и сплочивались всѣ раздавленные французскою революціею элементы,—они тянули назадъ, въ средніе вѣка; съ другой же стороны, стояло все новое, вольнолюбивое, держащееся крѣпко принциповъ 1789 г., но представляющее себѣ свободу въ видѣ внезапно налетающей бури. — Событіе 14-го декабря, заставшее Лермонтова еще мальчикомъ, имѣло то послѣдствіе, что у русскаго европеизма отсѣченъ былъ одинъ корешокъ, и общество осталось только при другомъ — при европеизмѣ консервативномъ, легитимистическомъ, главнымъ оплотомъ котораго въ царствованіе императора Николая сдѣлалась Россія. Внѣшняя обстановка жизни будничной была какъ будто европейская, до мелочей, до обязательной стрижки волосъ и бритья бороды для дворянъ и служащихъ, до подозрительнаго отношенія ко всѣмъ ищущимъ сближенія съ простымъ народомъ славянофиламъ; но всякіе помыслы объ измѣненіи тяжелыхъ патріархальныхъ формъ роднаго быта преслѣдовались строго, и связь съ европейскою жизнью поддерживалась главнымъ образомъ только посредствомъ одной легкой литературы, или такъ-называемой беллетристики. Укажемъ еще на одну особенность того времени: сильное господство военнаго духа, преобладаніе военнаго элемента надъ гражданскимъ въ общественномъ строѣ, представленіе объ обществѣ какъ о колоссальномъ механизмѣ, въ которомъ всѣ отправленія могутъ быть совершаемы по командѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что на воспитаніи Лермонтова отразились слѣды этой военной эпохи. Онъ не могъ кончить образованія въ благородномъ пансіонѣ при московскомъ университетѣ потому, что пансіонъ былъ закрытъ 29-го марта 1830 г., послѣ посѣщенія его государемъ, который былъ направленіемъ его недоволенъ. Не вполне выяснено,

какія обстоятельства заставили Лермонтова выйти и изъ московскаго университета и поступить, 10-го ноября 1832 г., въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и юнкеровъ. Впрочемъ поступилъ онъ въ эту школу по доброй своей волѣ: *après avoir tout sacrifié à mon ingrate idole (литературѣ), voilà que je me fais guerrier* (письмо 1832 г. Изданіе Ефремова 1887 г. Сочиненія Лермонтова I, 447). Онъ сознательно покинулъ литературныя занятія для военщины, обрекая себя на «*deux pénibles années*». Оказалось, что эти годы были не только тяжелые, но и ужасные (*j'ai sauté deux années terribles...* I, 456; письмо въ декабрѣ 1834). Изъ школы вынесъ Лермонтовъ «Петергофскій Праздникъ», «Уланшу» и другія стихотворныя шалости скабрёзнаго свойства, которыми онъ прославился, прежде нежели огласилось его серьезное поэтическое дарованіе. При выходѣ изъ школы онъ явилъ себя лихимъ удалцомъ, отчаяннымъ кутилою, блестящимъ, хотя неаккуратнымъ офицеромъ (*Si vous saviez la vie que je me propose de mener. D'abord des bizarreries, des folies de toute espèce et de la poésie noyée dans du champagne. Il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achète avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur qui ne fait que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive* (I, 453, письмо 3-го авг. 1833). Прежде чѣмъ заглянуть въ самое нутро этой безпокойной души, этого сложнаго и загадочнаго характера, слѣдуетъ выдѣлить изъ его поэзіи все второстепенное и случайное и отодвинуть на задній планъ стихіи политическую и общественную, которыя вообще занимали у него мало мѣста.

## II.

Лермонтовъ былъ еще юношей, не напечатавшимъ ни одной строки, когда въ Европѣ случились два собы-

тія, вызвавшія політичеській антагонизмъ между Россією и западною Европою: 1) іюльская революція и 2) возможность вмѣшательства Европы во внутреннія дѣла Россіи по случаю вспыхнувшего 17-го (29-го) ноября 1830 г. польскаго мятежа. Лермонтовъ вполнѣ сочувствовалъ Жуковскому и Пушкину, издавшимъ сборникъ патріотическихъ стиховъ. Находясь еще въ школѣ (1834), онъ парафразировалъ стихъ «Клеветникамъ Россіи» въ отрывкѣ (П, 333), который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ воспроизводитъ подлинныя слова Пушкина, прямо указывая на источникъ (Опять, народные вѣтіи,—Опять, шума, возстали вы)... Отрывокъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ опредѣляетъ тогдашній взглядъ на Пушкина какъ Лермонтова, такъ и нѣсколько охладѣвшей къ поэту русской публики (Поэтъ, возставшій въ блескѣ новомъ—Отъ продолжительнаго сна...). По времени написанія нѣсколько запоздалое, стихотвореніе Лермонтова выражаетъ, однако, по тону своему неизмѣнившееся до смерти его отношеніе къ своему правительству, какъ русскаго и какъ дворянина (...вамъ обидна—Величья нашего зря,—Вамъ солнца Божьяго не видно—За солнцемъ русскаго царя...—Мы чужды ложнаго стыда, —Такъ нераздѣльны въ дѣлѣ славы—Народъ и царь его всегда...—И будемъ всѣ стоять упорно—За честь его, какъ за свою!). Чувства національнаго коллективизма имѣли у Лермонтова еще болѣе яркую окраску, чѣмъ у Жуковскаго и у Пушкина, и не лишены мечтаній и надеждъ — такихъ же, какія питаемы были славянофилами. Въ «Измаилъ-Бей» (1832) поэтъ обращается такимъ образомъ къ черкесу: «Смирись, черкесь! и Западъ, и Востокъ—Быть можетъ скоро твой раздѣлять рокъ.—Настанетъ часъ, и скажешь намъ надменно:—Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!—Настанетъ часъ, и новый грозный Римъ—Украситъ Сѣверъ Августомъ другимъ». — Политическія надежды состояли въ ближайшей связи съ убѣжденіемъ Лермонтова объ упадкѣ и гнилomъ состояніи Запада. Скорѣе передѣлывая, нежели переводя (въ 1836 г.) «Умирающаго гла-

діатора» Байрона (4-я пѣснь «Чайльдъ-Гарольда»), Лермонтовъ заканчиваетъ стихотвореніе такимъ образомъ: «Не такъ ли ты, о, европейскій міръ,—Когда-то пламенныхъ мечтателей кумиръ...—Къ могилѣ клонишься безславной головой—Безъ вѣры, безъ надеждъ...—И предъ кончиною ты взоры обратилъ—На юность свѣтлую, исполненную силъ,—Которую давно для язвы просвѣщенія, — Для гордой роскоши безопасно ты забылъ»... (2-го февр. 1836, I, 485)... Вспомнимъ, что и въ «Измаиль-Беѣ» (1832) герой поэмы — «Развратомъ, ядомъ просвѣщенія—Въ Европѣ душой зараженъ!» — Спрашивается: для человѣка, тяготящагося этимъ будто бы подбострастнымъ отношеніемъ къ Западу, какой же представляется возможный выходъ? Говорятъ нынѣ: вернуться домой, назадъ, можетъ быть даже въ до-Петровскую Москву. И эта мысль мелькала у Лермонтова еще въ 1831 году, когда онъ, въ драмѣ: «Станный человѣкъ», влагалъ въ уста студентамъ слѣдующія рѣчи: «Господа! когда-то русскіе будутъ русскими? — Когда они на сто лѣтъ подвинутся назадъ и будутъ просвѣщаться и образовываться снова-здорово» (4-я сцена). Наконецъ, въ неизданной при жизни Лермонтова поэмѣ его: «Сашка», писанной вѣроятно въ 1838 году (статья профессора Висковатаго въ 1-й книжкѣ «Русской Мысли» за 1882 годъ), есть одно мѣсто (строфы 147-я и 148-я), которое въ то время и напечатаннымъ быть не могло, и какъ будто бы теперь только сочинено, когда близится повидимому пора не очень сердечнаго разставанія съ ближайшими учителями... «Искать чиновъ, мирясь съ людскимъ презрѣньемъ,—И поклоняться нѣмцамъ до конца... — И чѣмъ же нѣмецъ лучше славянина? — Не тѣмъ ли, что, куда его судьбина—Ни кинетъ, онъ вездѣ себѣ найдетъ—Отчизну и картофель?—...вотъ народъ! — За сильныхъ всюду, всѣмъ за деньги служить, — Слабѣйшихъ давить, бьютъ его — не тужить...» и т. д. — Я долженъ прибавить, что Лермонтовъ не долболиваетъ однихъ только нѣмцевъ, что къ французамъ онъ распо-

ложенъ еще по старому дворянскому преданію Екатерининскихъ и Александровскихъ временъ, хотя считаетъ онъ ихъ народомъ довольно легкомысленнымъ; наконецъ, что Лермонтовъ во всю свою жизнь былъ обожателемъ Наполеона. Нѣтъ надобности искать источниковъ этого поклоненія въ томъ, что еще на родинѣ, въ Тарканахъ, Лермонтова обучалъ въ качествѣ гувернера полковникъ Наполеоновской гвардіи Жандрѣ (Gendroz), ни въ томъ, что Лермонтовъ заразился этимъ сочувствіемъ отъ Байрона или отъ Пушкина. Оно было въ духѣ той эпохи, среди которой и слагалась Наполеоновская легенда, кончившаяся мелкимъ образомъ и грязно-печальнымъ эпизодомъ второй имперіи. Замѣчательны логическія основанія этого поклоненія Наполеону у Лермонтова, — они существенно отличны отъ Байроновскихъ. Байронъ относился къ Наполеону гораздо болѣе критически; онъ восхищался гениемъ Наполеона, но укорялъ его за отступничество отъ началъ французской революціи (*Ode to Napoleon*: «But thou forsooth must be a king—And done the purple vest»), за неслѣдованіе по той стезѣ, которую проложилъ за-атлантическій Цинциннатъ (one—the first—the last—the best). Байронъ помирился съ Наполеономъ только послѣ его паденія, изъ ненависти къ шакаламъ, терзавшимъ издыхающаго льва.—Иного рода энтузіазмъ Лермонтова. Въ стихѣ «Св. Елена», 1831 г. (II, 197), Наполеонъ названъ: «жертва вѣроломства и рока прихоти слѣпой».—Почти то же повторено, въ 1841 г., въ «Послѣднемъ Новосельѣ» (I, 135), въ которомъ поэтъ попрекаетъ «жалкій и пустой народъ» тѣмъ, что: «Какъ женщина ему вы измѣнили — И какъ рабы вы предали его»... «отмѣченнаго божественнымъ перстомъ», того, который «васъ одѣвалъ въ ризу чудную могущества и славы»... Этотъ своеобразный взглядъ — не европейскій, а чисто-русскій. Онъ выражаетъ отношеніе къ предмету человѣка, воспитаннаго въ обществѣ, которое по исторической формулѣ своего развитія требуетъ сильной власти, беззавѣтно предано не идеямъ,



а лицамъ, и способно совершать величайшіе подвиги подъ мощнымъ руководствомъ великаго вождя (Петръ Великій). Всѣ другія вины французовъ поставлены имъ на видъ только для счету, — напримѣръ, что они «потрясали власть избранную (къмъ?) какъ бремя»; что Наполеонъ ихъ спасъ, когда они погибали отъ того, что рубили сплеча «всѣ старинныя отцовскія повѣрья». Какъ маловажны были въ сущности для Лермонтова эти повѣрья или преданія, это ясно обнаруживается изъ трехъ послѣднихъ стиховъ «Гладиатора», обращенныхъ къ отживающему европейскому міру: «Ты жадно слушаешь и іѣсни старины, — И рыцарскихъ временъ волшебныя преданья, — Насмѣшливыхъ лестцовъ несбыточные сны»... Конечно, въ качествѣ поэта-романтика, Лермонтовъ мысленно переносился иногда въ средніе вѣка и искалъ въ нихъ подходящей обстановки для своихъ произведеній, но внѣ того онъ скорѣе смотрѣлъ на средніе вѣка какъ современный и притомъ какъ русскій человѣкъ, съ точки зрѣнія московскихъ западниковъ сороковыхъ годовъ, очень довольныхъ тѣмъ, что среднихъ вѣковъ въ Россіи не было, что ея исторія—бѣлый листъ бумаги, на которомъ будущность запишетъ нѣчто немечтаемое даже и нечаемое, но безконечно великое. Вотъ что записано карандашомъ и обведено чернилами въ записной книжкѣ, переданной Лермонтову, при отправленіи его на Кавказъ 13-го апрѣля 1841 г., княземъ В. Одоевскимъ: «У Россіи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и будущемъ. Ерусланъ Лазаревичъ сидѣлъ сиднемъ двадцать лѣтъ и спалъ крѣпко»... а потомъ проснулся и пошелъ побивать королей и богатырей — такова Россія! — Въ ближайшей связи съ такою нигилистическою философіею русской исторіи состоитъ и любовь Лермонтова къ родинѣ, которую онъ и самъ называетъ «странною»: «Люблю отчизну я, но странною любовью...—Ни слава, купленная кровью (внѣшнія побѣды Россіи со временъ Петра Великаго), — Ни полный гордаго довѣрія покой (импони-

рующая Европѣ внѣшняя политика императора Николая).—Ни темной старины завѣтные преданья (идеалы славянофиловъ) — Не шевелятъ во мнѣ отраднaго мечтанья.—Но я люблю—за чтò, не знаю самъ,—Ея степей холодное молчанье, — Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,—Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ...» и т. д.— «И въ праздникъ вечеромъ росистымъ — Смотрѣть до полночи готовъ—На пляску съ топотомъ и свистомъ—Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ» (1841 г., I, 135).

Что касается до двухъ удѣляемыхъ Лермонтовымъ Россіи въ его записной книжкѣ категорій времени: *настоящее* и *будущее*, то только послѣднимъ могутъ довольствоваться и безгранично наслаждаться всякіе люди, а слѣдовательно и русскіе XIX вѣка. Относительно перваго, то-есть *настоящаго*, не могло не радовать русскихъ уваженіе, которымъ Россія пользовалась за границею, благодаря твердой международной политикѣ правительства, но это настоящее сильно сжимало отдѣльную личность, держало ее въ тискахъ, не давало пищи никакимъ идеальнымъ потребностямъ и стремленіямъ. Мучительную тяжесть этого историческаго момента испыталъ на себѣ Лермонтовъ—одна изъ самыхъ непокладистыхъ и беспокойныхъ натуръ, какія когда-либо существовали. Недавно въ «Русской Старинѣ» за 1887 г., № 12, помѣщены стихи Лермонтова передъ отъѣздомъ въ 1837 году на Кавказъ «Прощай, немытая Россія,—Страна рабовъ, страна господъ,—И вы, мундиры голубые,—И ты имъ преданный народъ! — Быть можетъ, за хребтомъ Кавказа—Укроюсь отъ твоихъ вождей,—Отъ ихъ всевидящаго глаза,—Отъ ихъ всеслышащихъ ушей». — Уродливыхъ условій общежитія Лермонтовъ не изслѣдовалъ, причинъ зла даже и не искалъ, борьбы съ существующимъ и преобразованій не замышлялъ. Многое изъ нечистотъ, которыми было заражено тогдашнее общество, прилипло къ нему и срослось съ его личностью, но онъ успѣлъ выразить скорбь одинокой души, влекомой полусознательнымъ порывомъ къ иному, лучшему бытію,

съ такою правдою и захватывающею силою, что, умирая въ 28 лѣтъ, онъ уже былъ первокласснымъ поэтомъ, единственнымъ великимъ поэтомъ Николаевской эпохи (Пушкинъ есть преимущественно поэтъ Александровскаго періода). Недавно профессоръ В. Ключевскій (№ 2 «Русской Мысли» за 1887 годъ), въ своей блистательной статьѣ: «Онѣгинъ и его предки», старался провести остроумную мысль, что въ «Онѣгинѣ» Пушкинъ изобразилъ не себя и не свой идеаль, что «Онѣгинъ» скорѣе—романъ сатирическій, что въ немъ изображенъ былъ типъ—уже въ то время вымиравшій—человѣка, оторваннаго отъ почвы, старающагося стать своимъ между европейцами и становящагося только чужимъ между своими, человѣка ненужнаго, культурнаго межеумка, преданнаго только развлеченію, не имѣющаго понятія о трудѣ и долгѣ. По системѣ Ключевскаго выходило бы, что Лермонтовъ—если не потомокъ Онѣгина, то по крайней мѣрѣ младшій братъ его. Лермонтовъ былъ несомнѣнно человѣкъ безпочвенный, разобщенный со средою, что и служило причиною его тоски и пессимизма. Судьбы Лермонтова обнаруживаютъ, однако, парадоксальность главнаго положенія въ выводѣ Ключевскаго, что Онѣгины были будто бы люди вымирающіе и лишніе. Они до извѣстной степени не переставали представлять собою соль земли.—Мнѣ приходится теперь прослѣдить главныя событія въ жизни Лермонтова, чтобы рѣшить, легко ли было человѣку того времени, имѣющему идеальныя порывы, найти для себя подходящую работу въ практической жизни.

### III.

Представимъ себѣ богатый барскій домъ въ одномъ изъ дальнихъ провинціальныхъ захолустій. Вся жизнь въ этомъ домѣ устроена на крѣпостной подкладкѣ; она держитъ барича внѣ всякихъ заботъ о трудѣ и о хлѣбѣ

насущномъ. Баричъ почти сирота, но его балуетъ шестидесятилѣтняя бабка—Марѳа Посадница, какъ ее называли позднѣйшіе товарищи-юнкера. Она ни въ чемъ не отказывала внуку, который уже въ 7 лѣтъ умѣлъ «прикрикнуть на лакея и улыбнуться съ презрѣніемъ на низкую лѣсть ключницы» (Отрывокъ изъ начатой повѣсти, I, 369). Бонна у мальчика—нѣмка, гувернеры—иностранцы. Отъ общенія въ дѣтствѣ съ мужицкими ребятами изъ двора осталось въ мальчикѣ, когда онъ выросъ, состраданіе къ «своимъ рабамъ», горячо почувствованное сознаніе несправедливости ихъ положенія, поминутно вспыхивающее въ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова до поступленія его въ юнкерскую школу (*Menschen und Leidenschaften*; восклицаніе Владимира Арбенина въ «Странномъ человѣкѣ» (сцена 5-ая): «О, мое отечество, мое отечество! — Отецъ Арбенина (сцена 7-я) говоритъ: «пускай графскіе сынки проматываютъ имѣніе... Мы, простые дворяне, отъ этого выигрываемъ... Весело видѣть передъ собою бумажку, которая содержитъ въ себѣ цѣну многихъ людей и думать: своими трудами ты достигнулъ способа мѣнять людей на бумажки».—Драма «Два брата», I, 1;—Юрій:—Князь и 3000 душъ, а есть ли у него своя въ придачу?»...)). Съ переѣздомъ въ Москву, потомъ въ Петербургъ, съ поступленіемъ на службу, деревенскія впечатлѣнія ранней юности отошли на задній планъ; молодой человѣкъ пересталъ размышлять о роковомъ вопросѣ, тѣмъ болѣе, что до смерти онъ не былъ самостоятеленъ въ денежномъ отношеніи и жилъ, что называется, на хлѣбахъ у бабушки, крѣпко державшей въ рукахъ бразды правленія состояніемъ. Въ балованномъ ребенкѣ разыгрывалась страсть къ разрушенію, склонность къ жестокости. Тяжелая болѣзнь ослабила его на нѣсколько лѣтъ. Прикованный къ кровати, онъ выучился мыслить, сочетать образы и понятія усиліями воли, сочинять. Онъ сдѣлался мечтателемъ. Воображеніе стало для него интересною игрушкою. Онъ любилъ воображать себя разбой-

никомъ, среди студеныхъ волнъ или въ тѣни лѣсовъ, наѣздникомъ въ шумѣ битвы при свистѣ бури. Необычайно рано проснулись въ немъ и любовныя чувства (Въ моемъ ребячествѣ тоску любви знойной—Ужъ сталъ я понимать душою безпокойной. — II, 89), чувства 10-лѣтняго мальчика къ 9-лѣтней дѣвочкѣ, приходившей къ его кузинамъ въ Пятигорскъ въ 1825 году. Имени и званія дѣвочки онъ не помнилъ, но еще въ 1830 г. писалъ: «этотъ потерянный рай до могилы будетъ терзать мой умъ» (II, 515). Такъ какъ онъ воспитывался среди множества подрастающихъ кузинъ, которыя были, однако, старше его, то предметами любви его дѣлаются эти кузины, одна послѣ другой по очереди (Столыпины, Верецагины, Екатерина Сушкова-Хвостова, Варвара Лопухина). Самъ мальчикъ былъ весьма некрасивъ, смуглый, приземистый, неуклюжій, сутуловатый (графъ Ростопчина и Костенецкій въ «Русск. Старинѣ», № 9-й 1882 г., и № 9-й 1875 г.). Съ дѣтства его мучило авторское самолюбіе; онъ старался брать верхъ остроуміемъ, искалъ между кузинами слушательницъ и цѣнительницъ своихъ стиховъ. Его страшно бѣсило, когда къ нему относились какъ къ мальчику. Съ тѣхъ поръ Лермонтовъ не можетъ обойтись безъ женскаго общества; когда же онъ доросъ до первыхъ побѣдъ, то въ немъ развилось до уродливыхъ размѣровъ довольно противное донъ-жуанство, ухаживанье за женщиною съ тѣмъ, чтобы заставить ее полюбить его и затѣмъ бросить ее насмѣшливо, сказавъ ей, что онъ ее никогда не любилъ. Такимъ является Лермонтовъ въ своемъ романѣ съ Е. А. Сушковой (Хвостовой), весьма некрасивомъ даже и въ томъ предположеніи, что онъ хотѣлъ отомстить ей за то, что она промучила его, когда онъ былъ подросткомъ. Такимъ точно является онъ въ относящихся къ 1840 г. кавказскихъ воспоминаніяхъ г-жи *Notmaire de Hell* («Русскій Архивъ» 1887 г., № 9). Для зажиточнаго русскаго дворянина того времени, не желающаго зарыться въ деревнѣ, только и была одна воз-

можная житейская карьера: служба царская, въ двухъ ея видахъ: военная или гражданская. Последняя находилась въ большомъ пренебреженіи. Свое презрительное отношеніе къ такъ-называемымъ подъячимъ выразилъ много разъ Лермонтовъ, напримѣръ, въ 47-й строфѣ «Сашки» («Русская Мысль» 1883 г., № 1): «Или, трудясь какъ глупая овца,—Въ рядахъ дворянства, съ робкимъ униженьемъ,—Прикрывъ мундиромъ сердце подлеца, — Искать чиновъ, мирясь съ людскимъ презрѣньемъ». — Сознательно и по собственному выбору Лермонтовъ пошелъ по болѣе почетной дорогѣ, на которой подвизались его отецъ и предки, и поступилъ въ юнкерскую школу, скрѣпя сердце, одинокій, необщительный, сосредоточенный въ себѣ и мрачный. Никогда не могъ онъ привыкнуть къ Петербургу съ его казенщиной и формализмомъ (Я врагъ Невѣ и невскому туману, — Тамъ новый вѣкъ развилъ свою чуму... — Тамъ жизнь тяжка, пуста и молчалива, — Какъ плоскій берегъ финскаго залива... («Сашка», I, 439). — Увы! какъ скверенъ этотъ городъ — Съ своимъ туманомъ и водой! — Куда не глянешь, красный воротъ — Какъ шишъ стоитъ передъ тобой... — Законъ сидитъ на лбу людей — И что у насъ зовутъ душой, — То безъ названія у нихъ). Подъ напускною самоувѣренностью скрывалась удивительная застѣнчивость молодого человѣка, который былъ самъ не свой между чужими и не имѣлъ ключа къ дѣловому механизму общества, — механизму весьма понятному для людей даже весьма ординарныхъ. Въ письмахъ Лермонтова содержатся любопытнѣйшія на этотъ счетъ признанія. (Августъ, 1832, I, 436. «Не гоюсь для общества. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, просидѣлъ четыре часа и не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ». Августъ, 1832, I, 440. *J'ai vu des échantillons de la société d'ici; tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français bien étroit et simple, mais où on peut se perdre, car entre un arbre et un autre le ciseau du maître a oté toute différence.* — Сентябрь 1832,

I, 444. Лермонтовъ сознаетъ, что онъ чувствуетъ реальность жизни, «son vide engageant»... но онъ себя не довѣряетъ. — Декабрь, 1834 I, 456. Je ne serai jamais bon à rien avec tous mes beaux rêves et mes mauvais essais dans le chemin de la vie, car ou l'occasion me manque, ou l'audace). Необходимымъ послѣдствіемъ неловкости, неспособности отыскать въ обществѣ свой шестокъ, чтобы на немъ устоять, было тоскливое, меланхолическое настроеніе, сдѣлавшееся привычнымъ (Тоска вездѣ какъ безпокойный геній—Какъ вѣрная жена близка!...—невольно видишь—Подъ гордой важностью лица—Въ мужчинѣ глупаго льстеца — И въ каждой женщинѣ Іуду. 1832, I, 547.—Къ добру и злу постыдно равнодушны,—Передъ опасностью позорны малодушны—И передъ властію презрѣнные рабы...—«Дума», 1838 г., I, 35). Отъ такой тоски и отрицательнаго отношенія къ людямъ одинъ шагъ до пессимизма. Лермонтовъ сдѣлался пессимистомъ, пессимизмъ сталъ его второю натурою (Зачѣмъ семьи родной безвѣстный кругъ — Я покидалъ? все сердце рвало тамъ... — Какъ я рвался невольно къ облакамъ, — Готовъ лобзать уста друзей былъ я, — Не посмотрѣвъ, не скрыталъ въ нихъ змѣя.—Но въ общество иное я вступилъ, — Узналъ друзей и дружескій обманъ,—Сталъ подозрителенъ и погубилъ—Безпечности душевный талисманъ...—1830 г., I, 77).

Прежде нежели займусь анализомъ этого пессимизма и прослѣжу его до самыхъ корней, — укажу на одинъ еще богатый источникъ, показывающій, насколько тяготился Лермонтовъ своимъ положеніемъ, и какъ общественный дѣятель, и какъ писатель. По странному стеченію обстоятельствъ нѣкоторые стихи столь нелюбимаго нѣмцевъ поэта дошли до насъ не въ затеряншемся подлинникѣ, а въ нѣмецкомъ переводѣ Боденштедта (M. Lermontoff's poetischer Nachlass, Berlin, 1852.—Перепечатаны въ «Русской Старинѣ» 1873, № 3, стр. 398). Приведу нѣсколько самыхъ характерныхъ отрывковъ изъ этого перевода:

1) Ich bin an meinem Lande kein Verräther... Weil ich nicht auf fremden Krücker schleiche. 2) Weil ich bei Ihrem Thun vor Scham oft roth bin, — Mir nicht Musik erscheint Geklirr von Ketten — Und mich nicht lockt der Glanz von Bayonetten, Behaupten sie dass ich kein Patriot bin. 5) Gott segnete mit Augen mich und Füßen, Doch als ich auf den Füßen gehen wollte, Und als ich mit den Augen sehen wollte, Muss't ich's im Kerker als Verbrechen büssen (вѣроятно намекъ на послѣдствія стиховъ на смерть Пушкина). 6) Es ist ein eigen Ding in meinem Land... Der Kluge braucht zur Dummheit den Verstand, Zum Schweigen seine Zunge hier <sup>1)</sup>).

Глубокая скорбь — чувство, преобладавшее въ этой душѣ — прорывалась только въ стихахъ; она была известна и то только самымъ близкимъ къ Лермонтову лицамъ. Для всѣхъ прочихъ Лермонтовъ былъ свѣтскій человѣкъ, гуляка, злой, назойливый насмѣшникъ, безпощадный для всѣхъ тѣхъ, надъ которыми онъ могъ, по ненаходчивости ихъ, потѣшаться; человѣкъ, напрашивающійся на всякаго рода исторіи и постоянно занятой донъ-Жуановскими похождениями. «Мнѣ жаль Лермонтова, онъ дурно кончитъ», — писала о немъ г-жа Гоммеръ-де-Гэль (1840). Графиня Ростопчина пишетъ («Русская Старина», 1882, № 9) что когда она ужинала въ послѣдній разъ съ Лермонтовымъ передъ его отъѣздомъ на Кавказъ (1841), то за ужиномъ и при прощаньѣ Лермонтовъ только и говорилъ объ ожидающей его скорой смерти. Съ мыслью о своей насильственной смерти Лермонтовъ возился всю жизнь: «Кровавая меня могила

---

<sup>1)</sup> Я не измѣнникъ моей странѣ... хотя не ползаю на чужихъ костыляхъ. 2) Такъ какъ я не краснѣю отъ стыда за ваши дѣйствія, не нахожу музыки въ звяканіи цѣпей и меня не привлекаетъ блескъ штыковъ, вы утверждаете что я не патріотъ. 5) Богъ даровалъ мнѣ глаза и ноги, но когда я захотѣлъ пойти на моихъ ногахъ и глядѣть моими очами, то я поплатился за то тюрьмою, какъ за преступленіе... 6) Странныя вещи творятся въ моей странѣ: умный пользуется умомъ для глупостей, а языкомъ — для молчанія.



ждеть,—Могила безъ молитвъ и безъ креста, — На ди-  
комъ берегу ревущихъ водъ — И подъ туманнымъ не-  
бомъ» (11-го іюня 1831). Эта совмѣстимость въ одномъ  
и томъ же лицѣ двухъ на первый взглядъ противопо-  
ложныхъ характеровъ была превосходно подмѣчена Бо-  
денштедтомъ, на котораго первое его знакомство съ Лер-  
монтовымъ въ Москвѣ зимою 1840—1841 г. произвело  
невыгодное впечатлѣніе («весь разговоръ, — пишетъ  
онъ, — звѣнелъ у меня въ ушахъ, какъ будто кто-ни-  
будь скребъ по стеклу»). Эта двойственность высказы-  
лась и въ чертахъ лица, въ странномъ сочетаніи рѣз-  
кихъ, суровыхъ, полныхъ думы и печали черныхъ глазъ,  
съ немного вздернутымъ носомъ, почти дѣтскою улыб-  
кою и насмѣшливымъ искривленіемъ тонко очерченнаго  
рта. Таковъ былъ человѣкъ въ его общественной обста-  
новкѣ; теперь можно заглянуть и въ поэтическую ма-  
стерскую художника.

#### IV.

Знакомая и родственница Лермонтова, графиня Е. П.  
Ростопчина, въ запискѣ, сочиненной въ 1858 г. для  
Дюма-отца, сравниваетъ такимъ образомъ приемы твор-  
чества Лермонтова и Пушкина, причемъ послѣдній ста-  
вится гораздо выше перваго: «Пушкинъ весь—порывъ,  
у него все прямо выливается. Мысль извергается изъ  
его души во всеоружіи, затѣмъ онъ передѣлываетъ, под-  
чищаетъ, но мысль остается та же, цѣльная и точно  
опредѣленная. Лермонтовъ, напротивъ того, ищетъ, ула-  
живаетъ, округляетъ фразу, совершенствуетъ стихъ, но  
первоначальная мысль не имѣетъ полноты, неопредѣленна  
и колеблется. Тотъ же стихъ, таже строфа или идея  
вставлены въ совершенно разныя пьесы». («Русская  
Старина» 1882 г., № 9, стр. 610). Характеристика пи-  
сателей вѣрна, но выводъ сомнительный. Ростопчина  
показала только то, что Лермонтову работа стоила бѣль-  
шаго труда; обыкновенно большій трудъ талантливаго

писателя вознаграждается бѣльшимъ богатствомъ или глубиною содержанія. Развитіе творчества Лермонтова можно прослѣдить по юношескимъ его тетрадямъ съ 13-ти лѣтъ. Сначала только переписываются цѣликомъ «Бахчисарайскій Фонтанъ» и «Шильонскій узникъ» въ переводѣ Жуковскаго. Потомъ начинается парафразированіе чужихъ сочиненій, съ пропусками, вставками, видоизмѣненіями фабулы, уже въ высокой степени запечатлѣнными индивидуальностью упражняющагося въ писаніи стиховъ. Потомъ появляются самостоятельно задуманныя поэмы, пестряющія только заимствованіями, которыя недостаточно еще критиками разобраны и отмѣчены. Такъ на примѣръ, Лермонтовъ заимствуетъ изъ «Кавказскаго Плѣнника» Пушкина извѣстные два стиха (въ концѣ 1-ой части): «И на челѣ его высокомъ—Не измѣнялось ничего»—и характеризуетъ имъ своего «Демона»: — И на челѣ его высокомъ— Не отразилось ничего.— Въ то время, когда развился Лермонтовъ, было больше, чѣмъ теперь, знакомства съ польской литературой, въ особенности съ гостившимъ въ Россіи Мицкевичемъ. Въ поэмѣ Лермонтова «Бояринъ Орша» встрѣчаются слѣдующіе стихи, которые почти дословно взяты у Мицкевича: «И тотъ, кто крикъ сей услышалъ—Подумалъ, вѣрно, иль сказалъ,—Что дважды изъ груди одной—Не вылетаетъ звукъ такой» (II, 435, 1835 г.). Сравнить съ финаломъ «Валленрода»: *A ktoby słyszał, odgadnałby snadnie — Że piersi z których taki jęk wypadnie—Nigdy już w życiu nie wydadzą głosu*) <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Укажу мимоходомъ еще на нѣкоторыя заимствованія изъ Мицкевича. Лермонтовъ перевелъ извѣстный крымскій сонетъ: «Видъ горъ изъ степей Козлова», въ которомъ стихъ Мицкевича: *aby gwiazd karawanę nie ruścić ze wschodu*, передалъ съ пропускомъ слова «караванъ» (Чтобъ путь на сѣверъ заградить—Звѣздамъ кочующимъ съ востока), но граціозный образъ каравана перенесенъ въ «Мцыри» для изображенія облаковъ: «Какъ будто бѣлый караванъ—Залетныхъ птицъ изъ разныхъ странъ»,—а потомъ въ «Демонѣ» для изображенія звѣздъ: «Кочующіе караваны— Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ» (I, 33). Въ числѣ

При большой способности усваивать чужое, въ Лер-  
товѣ замѣтно съ ранней поры замѣчательное постоян-  
ство, съ которымъ всякіе вырастающіе въ этомъ вообра-  
женіи мотивы, образы, сравненія преслѣдуютъ потомъ  
автора неотвязчиво, проходятъ тягучими непрерывными  
частями чрезъ всѣ послѣдующія произведенія и превра-  
щаются даже нѣкоторымъ образомъ въ рисунки, клишэ,

раннихъ произведеній М. (1822) имѣется одно прелестное: *Przez z moich  
oczu!* Поэтъ предсказываетъ, что еслибы возлюбленная удалила его съ  
глазъ своихъ, то воспоминаніе о немъ будетъ, однако, вѣчно ее пре-  
слѣдовать за игрой, за шахматами, на балу... «и ты подумаешь, что то  
моя душа!» — «Письмо», стихотвореніе 15-лѣтняго Лермонтова (II, 24),  
есть парафраза идеи М., съ курьезнымъ выраженіемъ того, что юношу  
сильно прельщала военный мундиръ и въ парикѣ классическаго слога,  
отъ котораго не могли въ юности освободиться ни Пушкинъ, ни Лермон-  
товъ. «Настанетъ ночь, пріѣдешь изъ собранья... Узнай въ тотъ мигъ,  
что это я изъ гроба — На мрачное свиданіе прилетѣть... Когда жъ въ  
санахъ въ блистательномъ катаньи — Пріѣдешь ты на парѣ воронихъ —  
И за тобой въ любви живомъ страданьи — Стоитъ гусаръ безмолвенъ,  
мраченъ, тихъ... И по груди обоихъ васъ промчится — Невольный холодъ...  
вслѣдствіе чего гусаръ закрутитъ усь... «Услышишь звукъ военного  
металла, — Увидишь блѣдный цвѣтъ его чела, — То тѣнь моя безумная  
предстала — И мертвый ввѣръ на путь вашъ навела.

Бывшій на моихъ чтеніяхъ большой знатокъ англійской литературы  
Л. Е. Оболенскій замѣтилъ, что и смертный стонъ Альдоны въ «Валлен-  
родѣ», и смертный крикъ дочери боярина Орши могли быть заимствованы  
и Мицкевичемъ, и Лермонтовымъ, отъ Байрона изъ общаго источника  
«Паризины», которая разражается въ своей темницѣ при отрубленіи  
головы любовнику ея Уго такимъ крикомъ: *It was a woman's shriek and  
ne'er — In madlier accents rose despair; — And those who heard it, as it  
past — In mercy wish'd it were the last* (То женскій крикъ былъ; никогда  
не сказалося отчаяніе въ болѣе бѣшеныхъ звукахъ, слышавшіе его —  
когда оно раздалось — изъ жалости желали чтобы онъ былъ и послѣдній).  
Не отрицаю, что Мицкевичъ могъ вдохновиться стихами «Паризины»,  
но разница между обоими воплями большая. Паризина не умираетъ,  
Байронъ оставляетъ читателя въ невѣденіи о ея судьбѣ (*Whether in  
convent she abode... — Or if she fell by bowl or steel*), между тѣмъ у Ми-  
кевича это крикъ, на которомъ вся жизнь оборвалась (*W tym głosie całe  
rogięło się życie*). Эту-то именно характерную черту послѣдняго смертнаго  
крика усвоилъ себѣ Лермонтовъ и заимствовалъ онъ ее не изъ «Паризины»,  
а изъ «Валленрода».

которыми онъ иллюстрируетъ послѣдующія произведенія. Берусь подтвердить мое положеніе нѣсколькими примѣрами и начну съ мотива, который по странному стеченію обстоятельствъ играетъ видную роль въ обѣихъ литературахъ—русской и польской, хотя могъ возникнуть повидимому и самостоятельно—и въ той, и въ другой—и безъ прямого взаимодѣйствія. Въ концѣ 1826 года изданы были Мицкевичемъ въ Москвѣ сонеты; въ числѣ этихъ сонетовъ (не крымскихъ, а просто эротическихъ) есть XII-й—*Reguđnasya*, посвященный изображенію страданій человѣка, который *nie kocha, że kochał, zapomnié nie zdoła* («Кто совсѣмъ не любитъ—Иль любви минувшей позабыть не можетъ»,—переводъ Бенедиктова). Послѣдніе три стиха переведены такъ: «И какъ разоренный храмъ оно (сердце) въ пустынь— Рушится и гибнетъ: жить въ его святынѣ — Божество не хочетъ, человѣкъ не смѣетъ, (Я приведу подлинникъ, такъ какъ переводъ слабъ: *I serce me podobne dodawnej świątyni— Spustoszałej niepógod i czasów kolejaj, — Gdzie bóstwo nie chce mieszkać, a ludzie nie śmieją*). Лермонтовъ и Пушкинъ, знавшіе польскій языкъ, вѣроятно знакомы были и съ сонетами, но вотъ чего никто изъ нихъ знать не могъ— что свое сравненіе души человѣка съ опустошеннымъ храмомъ Мицкевичъ употребилъ послѣ окончательнаго поселенія во Франціи при личномъ, печатью тогда неоглашенномъ, столкновеніи съ поэтомъ моложе его—Юліемъ Словацкимъ.—Осенью 1832 г. среди польскихъ эмигрантовъ въ Парижѣ произошла размолвка между Мицкевичемъ и Словацкимъ вслѣдствіе того, что Мицкевичъ отозвался о поэзіи Словацкаго такимъ образомъ: «прекрасный храмъ, дивной архитектуры, жаль только, что въ этомъ храмѣ Бога нѣтъ» (Małeckі «Juliusz Słowacki», 2 wyd., I, 95). Тотъ же мотивъ, но совсѣмъ навыворотъ, появляется у Пушкина, незнакомаго съ отношеніями польскихъ выходцевъ въ Парижѣ, который въ стихѣ «Чернь» (1828) выразился такъ о статуѣ Аполлона Бельведерскаго: «но мраморъ сей вѣдь Богъ».—

Объ формы мотива употребляются Лермонтовымъ весьма часто, и, можно сказать, излюблены имъ объ. — «Моя душа твой вѣчный храмъ;—Какъ божество, твой образъ тамъ» (П, 48, 1830).—«Тамъ храмъ оставленный—все храмъ,—Кумиръ поверженный — все Богъ» (1830. къ А. Верещагиной, П, 49).—«Любовь насильства не боится — Она хоть презрѣна — все Богъ (Ангель Смерти, 1831). — Недавно напечатана (Русск. Старина, 1887, № 10, стр. 117) «Исповѣдь» Лермонтова (начала 1830 г.) со стихами: «Пустыя звонкія слова—Блестящій храмъ безъ божества». Стихи эти повторены почти дословно въ «Бояринъ Оршѣ», 1835 (Одни лишь звучныя слова—Блестящій храмъ безъ божества), а потомъ въ «Демонѣ» (объ редакціи 1831 и 1838 гг.): Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность? — Моихъ владѣній безконечность? — Пустыя звонкія слова,—Обширный храмъ безъ божества».

Перехожу къ другому примѣру. Всѣмъ любителямъ Лермонтова памятно прелестное посвященіе неназванной женщины «Измаилъ-Бея» (П, 242): «Опять явилось вдохновенъ—Безжизненной душѣ моей,—И превращаетъ въ пѣснопѣнье—*Тоску—развалину страстей*». — Имѣется еще иной мотивъ въ посвященіи драмы «Испанцы»: «Такъ надъ гробницею стоитъ—Береза юная, склоняя—Съ участьемъ вѣтки на гранить, — Когда реветъ гроза ночная!»—Береза пересажена потомъ въ поэму «Бояринъ Орша», гдѣ она уже красуется среди развалинъ (П, 448): «Такъ средь развалинъ иногда—Ростетъ береза: молода,—Мила надъ плитами гробовъ — Игрою шепчущихъ листовъ». —Но еще прежде того, въ стихотвореніи 11 іюня 1831 г., состоялось прелестнѣйшее совокупленіе обоихъ образовъ съ одухотвореніемъ ихъ, съ возведеніемъ ихъ въ символъ страсти, продолжающей жить въ страдающемъ и измученномъ сердцѣ: «Но въ глубинѣ моихъ сердечныхъ ранъ—Жила любовь—богиня юныхъ дней;—Такъ въ трещинѣ развалинъ иногда—Береза вырастаетъ—молода—И зелена, и взоры веселить,—И украшаетъ сумрачный гранить... Увянетъ преждевременно она, — Но

съ корнемъ не исторгнетъ никогда—Мою березу вихрь: она тверда; — Такъ лишь въ разбитомъ сердцѣ можетъ страсть—Имѣть неограниченную власть».

Такихъ примѣровъ можно бы подобрать десятки. Замѣчу мимоходомъ «свинцовую слезу» страданья и въ «Menschen und Leidenschaften», и въ «Демонѣ»; полусимволическій, заимствованный изъ кавказской природы образъ ползущей змѣи съ расписанною какъ дамасскій булатъ спиною («Ауль Бастунджи» и «Мцыри» — сравнить еще II, 57 и 78); полную луну во образѣ Армиды въ ея волшебномъ замкѣ, окруженной облаками-рыцарями въ пернатыхъ шлемахъ (трагедія «Испанцы», стр. 26, и «Измаилъ-Бей», II, 24)... «облака — надъ вами (горами) вьются, шепчутся какъ тѣни — Какъ надъ главой огромныхъ привидѣній — Колеблемыя перья — и луна — По синимъ сводамъ странствуетъ одна». — Отмѣчаю еще сильную фразу поэта о томъ, что его душа — «Младая вѣтвь на пнѣ сухомъ. — Въ ней соку нѣтъ, хоть зелена» (Стансы 1831 г., т. II, 229), повторяющуюся въ стихѣ 1835 г.: «гляжу на будущность съ боязнью... Душа усталая моя, — Какъ ранній плодъ, лишенный сока; — Она увяла въ буряхъ рока — Подъ знойнымъ солнцемъ бытія». Въ заключеніе, въ числѣ излюбленнѣйшихъ мотивовъ поэта укажу на неутомимо и съ неувядающею свѣжестью проводимую имъ параллель между жизнью природы и жизнью души, между мѣрнымъ, величавымъ, невозмутимымъ теченіемъ первой — и суетою и бѣдственностью второй, послѣ чего поэтъ обыкновенно сожалеетъ, зачѣмъ онъ не волна студеноя, не тучка небесная: «Тѣмъ я несчастливъ, что звѣзды и небо — Звѣзды и небо, а я человекъ»!.. (1831 г., II, 22) — «Тучки небесныя — вѣчные странники — Степью лазурною, цѣпью жемчужною — Мчитесь вы будто какъ я же изгнанники — Съ милаго сѣвера въ сторону южную — ...Нѣтъ вамъ наскучили нивы бесплодныя, — Чужды вамъ страсти и чужды страданія; Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя, — Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія» (I, 121). — «Волнамъ ихъ

воля и холодъ дороже — Знойныхъ полудня лучей» (II, 231). — «Какъ я въ душѣ любилъ всегда — Ихъ (волнъ) безконечные походы — Богъ вѣсть откуда и куда... — И эту жизнь безъ дѣлъ и думъ, — Безъ родины и безъ могилы, — Безъ наслажденія и мукъ; — Однообразный этотъ звукъ, — Причудливыя эти силы, — Ихъ буйный ревъ и тишину — И эту вѣчную войну — Съ другой стихіей — съ облаками, — Съ дождемъ и вихремъ! Сколько разъ — На кораблѣ въ опасный часъ, — Когда летала смерть надъ нами, — Я въ ужасѣ Творца молилъ, — Чтобъ океанъ мой побѣдилъ («Морякъ», 1831 г., II, 234)». — Въ приведенныхъ мною отрывкахъ мы очевидно наталкиваемся на задушевнѣйшія идеи чувства поэта, на коренныя черты его міросозерцанія печальнаго и пессимистическаго, которое хотя развилось и созрѣло въ Лермонтовѣ одновременно съ изученіемъ Байрона и подъ вліяніемъ Байрона, но имѣетъ, однако свой особенный характеръ, который необходимо изучить.

V.

Въ своемъ этюдѣ о русскомъ романѣ (Le roman russe, 1886) виконтъ Вогюэ старается представить постепенное движеніе русской мысли, начиная съ того момента, когда, достигнувъ совершеннѣйшаго она освободилась отъ простаго подражанія христіански-гуманистическому европеизму. Переходною ступеню отъ этой подражательности къ полной самостоятельности служилъ реализмъ или натурализмъ, но не такой сухой и безсердечный, какъ у новѣйшихъ французскихъ натуралистовъ и декадентовъ, потому что въ Россіи онъ былъ, по словамъ Вогюэ, облагороженъ нравственной эмоціей, богобоязнью и сострадающимъ милосердіемъ. Въ своемъ походѣ русская мысль пошла по направленію древнеарійскаго духа, къ нирванѣ, къ безпредѣльной, самоотверженной любви уже не къ одному человѣчеству, а и ко всему живому въ природѣ на самыхъ низшихъ ступеняхъ раз-

вивающагося бытія. Разбирая писателей, Вогюэ долженъ былъ подойти къ самому крупному послѣ Пушкина въ русской литературѣ лицу — къ Лермонтову. Лицо это не укладывалось никакъ въ рамки теоріи Вогюэ; оно было совсѣмъ негуманное въ европейскомъ смыслѣ этого слова, — дивный художникъ, но откровенный эгоистъ, писавшій въ 1830 г. (Романсъ, II, 116): «Не смѣйте искать въ сей груди сожалѣнья! — Когда я свои презираю мученія, — Что мнѣ до страданій другихъ!» — Вогюэ благоразумно отдѣлался отъ Лермонтова нѣсколькими строками: «*vindicatif, hargnieux, mauvais compagnon...*», романтикъ, одержимый Байроновскою лихорадкою, издававшій самые рѣзкіе и рѣзжущіе звуки (54, 57). Лермонтовъ, въ самомъ дѣлѣ, озадачиваетъ изслѣдователя. О немъ можно сказать то же, что сказалъ Пушкинъ про Байрона (VII, 80): «Онъ весь созданъ былъ навыворотъ, онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ». Въ 16 лѣтъ Лермонтовъ уже тотъ великій и вполне разившійся художникъ, какимъ онъ и умеръ, имѣя не полныхъ 28 лѣтъ, притомъ тотъ же жестокій, своенравный характеръ, человѣкъ сознающій всю ненасытность своихъ желаній, свою неспособность ихъ умѣрить, терпящій жажду явно несбыточнаго счастья, превращающую его жизнь въ пытку, такъ что все перерабатывалось въ этомъ горнилѣ души и поэтическаго творчества въ нѣчто ѣдкое и ядовитое. Существовало полное отсутствіе равновѣсія между ощущеніями, заставляющими человѣка радоваться или страдать, составляющими единственный матеріалъ психической жизни, — и ненасытными желаніями натуры безпокойной и далеко не заурядной, такъ какъ она была одарена весьма сильнымъ умомъ, никогда не отдыхающимъ, не останавливающимся на поверхности вещей и притомъ метафизическимъ, занятымъ прежде всего одними вѣчными вопросами бытія, вопросами о его причинахъ и цѣляхъ, неразрѣшимыми, а между тѣмъ неотвязчивыми. Умъ Лермонтова былъ весьма пытливый и острый, мысль его сверлила какъ буравъ все въ одномъ



и томъ же мѣстѣ, по одному и тому же направленію.— Постараюсь пояснить нѣсколькими выдержками это курьезное вращеніе вокругъ однѣхъ и тѣхъ же идей. Вотъ чтó писалъ онъ еще до поступленія въ школу юнкеровъ: «Moi, c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir... j'ai vu que mon meilleur parent, c'était moi» (I, 440)... «Ищу впечатлѣній, какихъ-либо впечатлѣній! Преглупое состояніе человѣка, когда онъ долженъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали нѣкогда придворные своихъ королей, быть своимъ шутомъ» (I, 436)... «Je sens bien fortement la réalité de la vie. Je ne pourrai jamais rien détacher pour la mépriser de bon coeur, car ma vie c'est moi, moi qui vous parle—et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est-à-dire *encore un rien*. Dieu sait si après la vie le *moi* existera. C'est terrible quand on pense qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi! A cet idée l'univers n'est qu'un morceau de boue» (I, 444). Лермонтова толкаетъ, конечно, впередъ благородное желаніе славы: «меня мучить сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человѣкомъ» (I, 437)... «Cette drole de passion de laisser toujours des traces de mon passage» (I, 444). Въ знаменитой «Думѣ» 1838 г. больше всего печалить Лермонтова то, что—«Толпой угрюмою и скоро позабытой — Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,—Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной, — Ни гениемъ начатаго труда» (I, 35). Лермонтовъ проникъ и уразумѣлъ тщету и обманчивость счастья: «Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень, — Ненуженъ міру я... — Молю о счастья, бывало, — Дождался наконецъ!—И тягостно мнѣ счастье стало,—Какъ для царя вѣнецъ». Если нѣтъ счастья, то не слѣдуетъ къ нему и стремиться, незачѣмъ печалиться о неизбѣжности смерти; надо брать отъ жизни съ признательностью все то, что она можетъ дать хорошаго, а именно возможно большее удовольствіе отъ самаго процесса этой жизни. Эта рѣшимость не чужда Лермонтову, онъ ее высказываетъ въ свои хорошія минуты: «Чтò безъ страданій жизнь

поэта, — И что безъ бури океанъ?» — Онъ хочетъ жить цѣною «мукъ, покупая ими неба звуки» (I, 437). Онъ восклицаетъ: «Дайте разъ на жизнь и волю, — Какъ на чуждую мнѣ долю, — Посмотрѣть поближе мнѣ» (I, 6). «Дайте волю, волю, волю — И не нужно счастья мнѣ!» (I, 486). Эта жажда дѣла выражена всего типичнѣе въ поэтической автобіографіи поэта, озаглавленной: «11 іюня 1831 г.» (II, 117) — «Такъ жизнь скучна, когда боренья нѣтъ... — Мнѣ нужно дѣйствовать... понять — Я не могу, что значить отдыхать. — Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь — Въ моемъ умѣ... — Мнѣ жизнь все какъ-то коротка — И все боюсь, что не успѣю я — Свершить чего-то. Жажда бытія — Во мнѣ сильнѣй страданій роковыхъ». — Эта жажда бытія, борьбы и бури выражена прелестно въ «Парусѣ». Въ «Чашѣ» поэтъ мирится меланхолически, но съ философскимъ спокойствіемъ, съ тщетою надеждъ личнаго счастья. Примирительное настроеніе было, однако, непостоянное, скоропреходящее, проявляющееся въ исключительныя минуты, къ числу которыхъ принадлежитъ та, когда онъ написалъ одну изъ своихъ задушевнѣйшихъ предсмертныхъ строфъ (1841 г., I, 181): «Ужъ не жду отъ жизни ничего я, — И не жаль мнѣ прошлаго ничуть; — Я ищу свободы и покоя, — Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть». — Въ большей части рѣшающихъ моментовъ примиреніе внутри души поэта не можетъ состояться по той простой и роковой причинѣ, въ которой и содержится весь трагизмъ его судьбы, что для примиренія съ жизнью, необходимо умѣрить свои желанія, подавить и обуздать свои страсти, иными словами — посягнуть на самый источникъ вдохновенія, закрыть главный родникъ поэзіи Лермонтова. — Тяжесть борьбы и невозможность мировой на удовлетворительныхъ основаніяхъ выражены съ дивной простотой и красотою въ «Молитвѣ» 1829 г. (когда поэту было 15 лѣтъ): «Не обвиняй меня, Всесильный, — И не карай меня, молю, — За то, что мракъ земли могильный — Съ ея страстями я люблю; — За то, что лава вдохновенья — Клокочетъ на груди моей; —

За то, что дикія волненія — Мрачатъ стекло моихъ очей...—Но угаси сей чудный пламень,—Всесожигающій костеръ,—Преобрати мнѣ сердце въ камень...—Отъ страшной жажды пѣснопѣнья—Пускай, Творецъ, освобожусь,—Тогда на тѣсный путь спасенія — Къ Тебѣ я снова обращаюсь».

## VI.

Существовала ли для Лермонтова возможность, при нѣсколько иныхъ условіяхъ воспитанія и внѣшней обстановки, избѣжать душевнаго разлада, достигнуть внутренняго успокоенія и равновѣсія? Отвѣчая на этотъ вопросъ замѣчу, что я имѣю въ виду только натуры избранныя, съ пытливымъ умомъ—людей, ни объ одномъ изъ коихъ нельзя сказать, что «въ заботы суетнаго свѣта онъ малодушно погруженъ». Если въ одной изъ такихъ даровитыхъ психическихъ организацій преобладаетъ сообразительность, аналитическая способность, рефлексія, то равновѣсіе устанавливается устойчивое и прочное весьма естественно и просто. Допустимъ, что у такого человека ощущенія сильныя и живыя, но они тотчасъ же претворяются въ отвлеченныя понятія, въ значки, изображающіе прошлыя наблюденія, въ символы пережитаго. Воспоминанія пережитаго ничѣмъ не отличаются отъ воспоминаній вычитаннаго или отъ умозаключеній. Все испытанное, прочитанное и выведенное укладывается въ головѣ толково, порядочно, въ систему голыхъ, безличныхъ фактовъ. Одно постоянное созерцаніе міровой громады въ ея стройной красѣ и дивномъ порядкѣ доставляетъ такое высокое наслажденіе мыслителю, что онъ позабываетъ о себѣ, что онъ отълучается отъ исканія смысла жизни съ точки зрѣнія личной, и прежде всего и больше всего его интересуется вселенная. Громадныя услуги оказала людямъ въ этомъ направленіи нѣмецкая философія, въ особенности гениальнѣйшая изъ

системъ этой философіи: Гегелевскій идеализмъ. Лермонтовъ обрѣтался нѣкоторое время въ самомъ разсадникѣ этого идеализма, въ московскомъ университетѣ, одновременно съ Герценомъ и его сверстниками («Святое мѣсто! помню я какъ сонъ — Твои каѳедры, залы, коридоры, — Твоихъ сыновъ заносчивые споры — О Богѣ, о вселенной и о томъ, — Какъ пить: съ водой или просто голый ромъ; — Ихъ гордый видъ предъ грозными властями, — Ихъ сюртуки, висящіе клочками». — «Сашка», II, 527). Еслибы обстоятельства и не прервали ученой карьеры Лермонтова, сомнительно, вышелъ ли бы изъ него философъ. Скорѣе можно предполагать противное. Онъ писалъ въ 1830 г. (II, 65): ...«мой умъ не по пустякамъ — Къ чему то тайному стремился. — Къ тому, чему даны въ залогъ — Съ толпою звѣздъ ночные своды — И что бъ уразумѣть я могъ — Черезъ мышленіе и годы. — Но пылкій, но суровый нравъ — Меня грызетъ отъ колыбели... — Умру я, сердцемъ не познавъ — Печальныхъ думъ печальной цѣли».

Какъ всякій художникъ, Лермонтовъ имѣлъ натуру чувственную; въ немъ отъ природы преобладала эмоциональная дѣятельность надъ рефлексією. Онъ обладалъ такою же страшною «*памятью сердца*», какъ и Байронъ, то-есть способностью воспроизводить въ сознаніи послѣ многихъ лѣтъ испытанныя когда-то ощущенія, не только съ первоначальною ихъ свѣжестью, но еще обособленныя, усиленныя и дополненныя воображеніемъ. «Какъ все прошедшее — пишетъ Лермонтовъ въ «Героѣ нашего времени» — ясно и рѣзко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттѣнка не стерло время!» (II, 314). «Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ; ничего не забываю, *ничего!* — Натуры чувственныя, волнующіяся безъ удержу и страстныя, нуждаются въ уздѣ, которая

бы укрощала ихъ порывы, въ силѣ, дѣйствующей извнѣ, въ авторитетѣ, предъ которымъ онѣ бы преклонялись. Для большинства людей, для несмѣтнаго ихъ числа, такую моральною уздою является религія, ничѣмъ по благотворному своему вліянію незамѣнимая для душъ, еще способныхъ вѣрить. Живой примѣръ буйнаго артистическаго темперамента, укрощеннаго религіею, представляетъ собою Шатобріанъ, пѣвецъ анти-революціонной въ римско-католическомъ духѣ реакціи.—По условіямъ своего происхожденія и воспитанія подъ крылышкомъ богомольной бабки, по врожденной сильной наклонности къ націонализму, по сильной любви къ родинѣ своей—самой тѣсной, по нерасположенію своему къ европеизму и глубокому религіозному чувству, вдохновляющему «Вѣтку Палестины» и множество прекрасѣйшихъ молитвъ, Лермонтовъ былъ снабженъ всѣми данными для того, чтобы сдѣлаться великимъ художникомъ того литературнаго направленія, теоретиками коего были Хомяковъ и Аксаковы, художникомъ народническимъ, какого именно и не доставало этой школѣ. Въ 15 лѣтъ отъ роду, сознавая уже свое мастерство, Лермонтовъ писалъ: «если захочу вдаться въ поэзію народную, то вѣрно нигдѣ больше не буду ее искать, какъ въ русскихъ пѣсняхъ» (П, 515). Такъ какъ онъ былъ мастеръ на всѣ лады и поэтъ геніальный, то случилось, что ему разъ захотѣлось написать поэму въ народномъ русскомъ вкусѣ, и онъ ее написалъ легко и свободно. Замѣчательно, что въ превосходномъ эпосѣ, озаглавленномъ: «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника, и удалого купца Калашникова», Лермонтовъ не модернизировалъ въ современномъ либеральномъ духѣ своихъ людей изъ прошлыхъ временъ, какъ это дѣлалъ Алексѣй Толстой со своими героями изъ былинъ Владимірова цикла. Лермонтовъ не взялъ на себя сравнительно болѣе легкой задачи воспѣвать богатырей, которыхъ слава и безъ того свѣжа и у всѣхъ на виду, напримѣръ Петра Великаго. Онъ избралъ златоглавую, бѣлокаменную, частью ви-

зантію, частью татарскую Москву, въ самый мрачный періодъ слагающагося самодержавія. Онъ вывелъ и поставилъ во весь ростъ гигантскую фигуру Грознаго. Въ произведеніи этомъ сквозитъ такое пониманіе исторіи, такая простота фабулы и такая правда выраженія, наконецъ такое мастерство превращать въ золото поэзіи все то, что кроетъ въ себѣ жизнь самого дурнаго, несправедливаго и ужаснаго, что невольно призадумашься о томъ, какой изъ Лермонтова могъ бы выйти замѣчательный историческій живописецъ и поэтъ славянофильскаго лагеря. Но самъ Лермонтовъ сказалъ о себѣ, что до 15-ти лѣтъ онъ почти ничего не читалъ, а съ 15-ти лѣтъ онъ уже не думалъ о томъ, какъ бы вдаваться въ народную поэзію (II, 515). Странно, что въ 1830 г. онъ написалъ: «наша литература такъ бѣдна, что я ничего не могу изъ нея заимствовать», между тѣмъ какъ онъ заимствовалъ многое отъ Пушкина, передѣлывалъ «Кавказскаго Плѣнника» и старался всячески имѣть, подобно Пушкину, «холодный умъ средь мрачныхъ думъ» («Портретъ», 1829 г., II, 22), тотъ умъ «сомнѣнемъ охлажденный и спорить съ рокомъ приученный» (Измаиль-Бей, 1832, II, 305). Кажется, что этотъ обходъ Пушкина въ русской литературѣ можетъ быть объясненъ очень просто тѣмъ, что русскую поэзію представлялъ Лермонтову одинъ только Пушкинъ, горячо имъ любимый, но Лермонтовъ считалъ Пушкина не національно-русскимъ, а обще-европейскимъ поэтомъ, какимъ Пушкинъ и былъ въ дѣйствительности. Притомъ господство Пушкина надъ воображеніемъ Лермонтова было значительно поколеблено вліяніемъ на Лермонтова еще болѣе яркаго поэтическаго свѣтила, которому Лермонтовъ сознательно и беззавѣтно подчинился, а именно — Байрона. Еще раньше того момента, когда Лермонтовъ, по его же словамъ, началъ марать стихи въ пансіонѣ въ 1828 г., онъ переписывалъ «Шильонскаго Узника». Восторженное отношеніе его къ Байрону началось съ прочтенія, въ 1830 г., жизнеописанія Байрона написан-

наго Муромъ (The life, letters and journals of L. Byron), а точнѣе выражаясь, — по прочтеніи перваго тома этого труда, изданнаго въ Лондонѣ въ январѣ 1830 г., второй томъ не могъ быть извѣстенъ Лермонтову въ 1830 г., такъ какъ онъ изданъ въ Лондонѣ въ самомъ концѣ 1830 г., и само предисловіе къ нему помѣчено декабремъ. Тогда-то Лермонтовъ написалъ: «Я молодъ; но кипятъ на сердцѣ звуки, — И Байрона достигнуть я-бъ хотѣлъ: — У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки. — О, еслибъ одинаковъ былъ удѣлъ!» — Съ того же момента начинается прилежное подбирание и записываніе малѣйшихъ чертъ сходства между ученикомъ и учителемъ. Лермонтова поражаетъ, что и Байронъ прибиралъ и переписывалъ свои дѣтскіе стишечки, какъ бы по инстинкту, въ чаяніи будущаго. Затѣмъ замѣчено еще одно сходство: «матери Байрона предсказала цыганка, что онъ будетъ великій человѣкъ; про меня предсказала то же самое старуха моей бабушкѣ. Дай Богъ, чтобы и надо мною сбылось, хотя бы я былъ такъ же несчастливъ, какъ Байронъ» (II, 513). Въ 1831 г. Лермонтовъ пишетъ на картину Рембрандта: «Ты понималъ, о мрачный гений, — Тотъ грустный, безотчетный тонъ, — Порывъ страстей и вдохновеній, — Все то, чѣмъ удивлялъ Байронъ» (II, 231). Но въ томъ же 1831 году написанъ и отрывокъ, который жизнеописатели Лермонтова подчеркиваютъ какъ доказательство его эманципаціи: «Нѣтъ, я не Байронъ, я другой, — Еще невѣдомый избранникъ, — Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ, — Но только съ русскою душой. — Я раньше началъ, кончу ранѣ, — Мой умъ немного совершить; — Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ, — Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ». — Цѣна и вѣсъ этого доказательства крайне спорны и сомнительны. Писалъ отрывокъ Лермонтовъ какъ студентъ университета (съ авг. 1830 по іюнь 1832 г.), баловень бабушки, юшопа, малѣйшія прихоти котораго исполнялись, и который изъ кожи лѣзъ, чтобы изобразить собою другой экземпляръ Байрона. Въ этихъ видахъ онъ даже и за-

гримировался гонимымъ странникомъ, плачущимъ о разбитомъ' грузѣ надеждъ, хотя онъ еще и не вкусилъ порядкомъ отъ плодовъ жизни, а слѣдовательно и разочароваться не могъ. Если его мучила неизвѣстность, жажда славы, то эта слава неслась передъ нимъ окрыленная и улыбалась; талантъ свой онъ сознавалъ вполнѣ, и еще въ 1829 г. писалъ: «лишь лиры звукъ мнѣ неизмѣненъ былъ» (II, 25), такъ что его авторскіе успѣхи въ будущемъ представлялись только какъ вопросъ времени. Не менѣе загадочны и неясны слова: «съ русскою душой». Свою родину Лермонтовъ любилъ не только «странною», но и весьма неровною любовью. Любя ее, онъ все-таки упорно отыскивалъ для себя знатное иностранное происхожденіе, и выводилъ свой родъ то отъ испанскихъ Лерма, то, потомъ (что согласнѣе съ семейными документами) отъ шотландскихъ Лирмонтовъ, съ ихъ Learmonth's Tower на Твидѣ, неподалеку отъ Вальтеръ-Скоттова Абботсфорда (Висковатый, «Русская Мысль» 1882 г.). Лермонтовъ горѣлъ поэтическимъ «желаніемъ» летѣть въ Шотландію, гдѣ стоитъ могила Оссіана — въ горахъ Шотландіи моей» (1830, II, 74), помчаться степнымъ ворономъ, чтобъ задѣть струны шотландской арфы: «Послѣдній потомокъ отважныхъ бойцовъ—Увядаетъ средь чуждыхъ снѣговъ;—Я здѣсь былъ рожденъ, но не здѣшній душой. — О, зачѣмъ я не воронъ степной!» Эти послѣдніе стихи, съ фразою: «нездѣшній душой», помѣчены 29-го іюля 1831 г. на бельведерѣ въ Средниковѣ (II, 197), тѣмъ же годомъ, въ концѣ котораго написанъ (II, 232) стихъ: «но только съ русскою душой». И такъ, въ виду противорѣчій въ показаніяхъ субъекта, вопросъ о національности его души остается открытымъ, тѣмъ болѣе, что въ этомъ вопросѣ онъ не можетъ быть самъ себѣ и экспертомъ. Русскіе литературные критики согласны въ томъ, что Пушкинъ былъ байронистъ только на поверхности, но что Лермонтовъ сталъ байронистомъ до мозга костей. Вогуэ замѣчаетъ: «Lermontoff a reçu l'instrument façonné par



Pouschkine, mais il se rattache sur tout á leur maître commun. Le créateur d' «Onéguine» n'avait pris á celui de «Childe Harold» que la poétique, Lermontoff lui a pris son âme» (54). Полагають вообще, что вліяніе Байроновской поэзіи на Лермонтова было благотворное, возвышающее способствующее тому, чтобы Лермонтовъ могъ стряхнуть съ себя всю пошлость современной общественности, обратиться изъ этой тины, прервать мертвый застой того времени отчаяннымъ, хотя и малополезнымъ протестомъ. Всѣ эти предположенія какъ о пользѣ вліянія Байрона на Лермонтова, такъ и о пользѣ Лермонтовскаго протеста á la Вугон, должны быть изъяты изъ нашего разсмотрѣнія, какъ безусловно противныя задачамъ литературной критики и сильно препятствующія анализу фактовъ, долженствующихъ быть прежде всего установленными, притомъ фактовъ не соціального, но психологическаго свойства. Не будь Байрона и его вліянія—изъ Лермонтова вышелъ бы, можетъ быть, крупный поэтъ, не очень высокаго полета, съ узкимъ національнымъ направленіемъ, сильно державшійся за родную почву множествомъ корней, а потому и популярный и любимый. Подъ вліяніемъ Байрона изъ Лермонтова выработался поэтъ весьма высокаго полета, но космополитическій, можетъ быть и беспочвенный, но столь могучій по силѣ генія, что въ теченіе всѣхъ истекающихъ по его смерти 50 лѣтъ ни одинъ изъ появившихся потомъ пѣвцовъ не унаслѣдовалъ его волшебной лиры, никто не приблизился къ нему—всѣ они точно маленькіе холмы въ виду этого поэтическаго Казбека. И такъ, вопросъ долженъ быть поставленъ въ совершенно иной формѣ: насколько видоизмѣнилось творчество Лермонтова отъ знакомства съ Байроновскою поэзіей? Что заимствовалъ Лермонтовъ изъ этой поэзіи и чѣмъ онъ вовсе не воспользовался?

VII.

Я весьма далека отъ намѣренія утверждать, будто бы всѣ чувства: гордой независимости, презрѣнія къ людямъ, страданія отъ тягости бытія — общія и Байрону, и Лермонтову — были прямо взяты послѣднимъ у перваго и только пересажены искусственнымъ образомъ. Какъ у Пушкина, послѣ его страданій въ 1820 г., такъ и у Лермонтова, 16-лѣтняго юноши, менѣе страдавшаго, сѣмья падало на подготовленную и прошедшимъ, и внѣшними событіями почву. До поступленія въ московскій университетъ Лермонтовъ сдѣлался предметомъ мучительнѣйшаго для него пререканія между отцомъ его, далеко не безгрѣшнымъ въ семейномъ быту человекомъ, — который пытался переманить, или, лучше сказать, перетащить, въ свою убогую усадьбу многообщавшаго сына, — и богатою бабушкою Арсеньевой, трепещущею при мысли, что у нея могутъ похитить этотъ кладъ, къ которому она безпредѣльно привязалась, либо просто силою, либо на основаніи закона («Русск. Мысль» 1882 г., № 12, ст. г. Висковатаго). Въ обострившейся до крайности борьбѣ изъ-за «Мишеля» онъ былъ безвинною жертвою этого конфликта, узналъ изнанку жизни, несправедливость и пристрастіе другъ къ другу дорогихъ ему лицъ. Конфликта этого онъ не могъ осилить, и вышелъ изъ этой пытки надломленнымъ существомъ. Сердце влекло его къ отцу, но предъ нимъ расплакалась и предстала въ своемъ ужасающемъ одиночествѣ бабка. Онъ сжалился надъ нею, — тогда отецъ заподозрилъ его въ томъ, что его прельстило богатство бабки. Отецъ бросилъ Тарханы, уѣхалъ и вскорѣ умеръ, обременивъ совѣсть сына предположеніемъ, что, можетъ быть, поведение Мишеля ускорило эту смерть. Такимъ образомъ, Лермонтовъ впервые въ жизни испыталъ *судьбу*, тотъ *рокъ*, съ которымъ онъ всю жизнь потомъ велъ ожесточенную, отчаянную борьбу. Какъ настоящій художникъ, онъ занялся тотчасъ литературнымъ эксплуатированіемъ пережитыхъ мукъ.

Онъ сталъ изображать драматическую игру страстей, подмѣченную имъ въ своей душѣ и у другихъ. Послѣ дѣтской подражательной трагедіи: «Испанцы», наполненной мотивами изъ «Разбойниковъ», «Kabale und Liebe», «Натана Мудраго», и послѣ драмы: «Два брата», воспроизводящей антагонизмъ Карла и Франца Мооровъ изъ «Разбойниковъ» Шиллера (онъ любовался этою драмою въ 1829 г. на московской сценѣ въ исполненіи Мочалова, — II, 435), — написаны Лермонтовымъ «Menschen und Leidenschaften» (1830), и вслѣдъ затѣмъ — «Странный человѣкъ» (1831). Въ обѣихъ драмахъ героемъ является сынъ. Лицо это собственно не трагическое, потому что не дѣйствуетъ, мучается безвинно и погибаетъ подъ тяжестью отцовскаго проклятiя и отвергнутой любви къ женщинѣ. Въ драму: «Menschen und Leidenschaften» вставлена вся семейная тархановская исторiя, причемъ самыми темными красками расписана бабушка, старая помѣщица, суровая хозяйка по Домострою, окруженная пресмыкающеюся предъ нею дворнею, которая возстановляетъ ее противъ зятя. Материалъ для любовной интриги, занимающей второстепенное мѣсто въ этой пьесѣ, доставила любовь Мишеля къ одной изъ своихъ кузинъ, вѣроятно къ Варварѣ Лопухиной. Сынъ оклеветанъ передъ отцомъ, который его проклиняетъ; пораженный этимъ проклятіемъ, сынъ отравляетъ себя. Материалъ для драмы дала сама жизнь; авторъ изобразилъ себя не по-байроновски, т.-е. не дѣйствующимъ лицомъ, а скорѣе похожимъ на Шиллеровскаго Фердинанда въ «Kabale und Liebe». Передъ смертью сынъ извѣрился до атеизма («Природа подобна печи, откуда вылетаютъ искры; искры неравны между собою, но всѣ погаснутъ безъ слѣда; когда огонь истощится, собираютъ пепель и выбрасываютъ вонъ... Нѣтъ другаго свѣта, нѣтъ рая, нѣтъ ада. Люди — брошенные, безпріютныя созданiя». Дѣйств. V, явл. 9 и 10). Но этотъ же извѣрившійся человѣкъ вступаетъ въ споръ съ Богомъ и обвиняетъ его со всею тонкостью рѣжущей діалектики, какою Бай-

ронъ вооружилъ своего Каина: «если онъ всевѣдущъ, то зачѣмъ не удержалъ удары людей отъ моего сердца? зачѣмъ хотѣлъ моего рожденія, зная мою гибель? гдѣ его воля, когда по моему хотѣнію я могу умереть или жить?... «Драма была вѣроятно написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти отца, внушившимъ поэту столько скорбныхъ звуковъ (1831, II, 227.—«Дай Богъ, чтобы какъ твой спокоенъ былъ конецъ—Того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ причиной, — Но ты простишь меня!)). — Вскорѣ потомъ (1831) Лермонтовъ раздумался, убѣдился въ своей несправедливости къ бабушкѣ,—вѣроятно ему рассказали всѣ вины отца по отношенію къ матери,—вслѣдствіе чего въ «Странномъ человѣкѣ» уже совсѣмъ нѣтъ на сценѣ бабушки, но зато въ весьма непривлекательномъ видѣ представленъ отецъ, семейный деспотъ, безжалостный къ женѣ, безъ толку проклинаящій сына за то, что этотъ послѣдній вступился за покинутую мать. Сынъ сходитъ съ ума отъ этого проклятія и отъ того еще, что ему измѣнила любимая женщина, сдѣлавъ иной выборъ по благоразумному расчету. Такія отношенія отца къ сыну нисколько не похожи на извѣстныя намъ отношенія Юрія Лермонтова-отца къ Мишелю, въ предисловіи же къ «Странному человѣку» заявлено, что драма изображаетъ происшествіе истинное, которое долго беспокоило автора и всю жизнь занимать его не перестанетъ; что всѣ лица взяты съ природы, и что авторъ желаетъ «чтобы они были узнаны», а потому слѣдуетъ заключить, что авторомъ заимствована изъ дѣйствительности и изображена автобіографически только одна любовная исторія. Эпиграфъ къ драмѣ взятъ изъ Байронова «Сна» (The Dream); въ 4-ю сцену у студентовъ вставленъ яко-бы сочиненный сыномъ отрывокъ, составляющій прямое подражаніе «Сну» Байрона. Извѣстно, что «Сонъ» Байрона есть одно изъ задушевнѣйшихъ его произведеній, исповѣдь его отроческихъ сердечныхъ мукъ, когда миссъ Чауртъ предпочла хрому мальчику болѣе зрѣлаго человѣка. Мальчикъ покидаетъ нав-

сегда любимую женщину, несказанно страдая, но съ ледянымъ на видъ равнодушіемъ Подобныя страданія испыталь Лермонтовъ нѣсколько разъ въ жизни, — они и породили, вѣроятно, мизантропическое его настроеніе и вражеское отношеніе вообще къ женскому полу, страсть къ тому, чтобы ухаживать за женщиною, а потомъ съ хохотомъ и насмѣшкою ее бросить. Въ «Странномъ человѣкѣ» Лермонтовъ еще очень мягокъ: «Богъ, Богъ! — восклицаетъ онъ: — во мнѣ отнынѣ нѣтъ къ тебѣ ни любви ни вѣры. Зачѣмъ ты далъ мнѣ огненное сердце, которое любить до крайности и не умѣетъ такъ же ненавидѣть!» (сц. 12). Однако какъ въ этомъ произведеніи, такъ и въ другихъ, написанныхъ въ этотъ до-байроновскій періодъ, разбѣяны во множествѣ уже готовыя черты будущаго мизантропа, анатомирующаго каждую крошку горя, посылаемаго ему судьбою (сц. 1), напрасно старающагося потопить въ потокѣ удовольствій тяжелую ношу самосознанія, и признающаго за собою не-сносный характеръ, злой умъ и всегда печальное воображеніе, желанія, не знающія преграды и перемѣнчивость склонностей» (сц. 11). Его сердце созрѣло раньше ума, онъ «узналъ дурную сторону свѣта, когда не могъ еще остерегаться его нападеній и равнодушно переносить ихъ (сц. 1). Онъ уже отзывается объ обществѣ съ большимъ пренебреженіемъ: «собраніе людей безчувственныхъ, самолюбивыхъ, полныхъ зависти къ тѣмъ, въ чьей душѣ есть малѣйшая искра небеснаго огня» (Предисловіе). «Станнымъ человѣкомъ» заключается отроческій періодъ въ жизни Лермонтова, исчезаетъ юноша, страдающій безвинно, появляется закаленный человѣкъ, сознательно самолюбивый, злой и предприимчивый. — («Какъ демонъ мой, я зла избранникъ», — говоритъ онъ въ предисловіи къ третьему очерку «Демона»). Въ посвященіи 1831 (I, 513) онъ пишетъ: «Какъ Демонъ хладный и суровый, я въ мірѣ веселился зломъ». — Есть одно мѣсто въ письмѣ къ М. А. Лопухиной (28 авг., 1832. I, 440), которое проливаетъ свѣтъ на внутрен-

нюю работу Лермонтова надъ самимъ собою, совершаемую съ цѣлью, чтобы зачерствѣть и по возможности озлиться: *J'écris peu, je ne lis pas plus, mon roman devient une oeuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je l'ai versé pêle-mêle sur le papier. Vous me plaindriez en le lisant...* Онъ сознаетъ свою силу и мастерство въ злословіи; онъ будетъ изощряться въ этомъ мастерствѣ, оправдывая себя тѣмъ много разъ повторяемымъ резонансомъ, что «не вѣрить больше ничему», потому что прежде вѣровалъ всему. Переменная, происшедшая въ творчествѣ, не поясняется никакими намъ извѣстными въ жизни его событіями. Ее можно постигнуть только съ помощью предположенія, что въ промежуткѣ между пансіономъ и юнкерскою школою онъ начитался Байрона и усвоилъ себѣ вполне и его рѣзкость суждений, и его гордыню, и его сатанинскій сардоническій хохотъ. Я отрицалъ основательность сдѣланнаго Аполлономъ Григорьевымъ опредѣленія поэзіи Байрона, что она есть поэзія цинически откровеннаго эгоизма, клеветническая на душу человѣческую и раздражающаяся проніею и тоскою, такъ какъ голый эгоизмъ противенъ натурѣ человѣческой. Я утверждалъ, что это опредѣленіе потому и нейдетъ къ Байрону, что эта поэзія имѣетъ широкую гуманистическую подкладку, вѣру въ идеалы, которымъ Байронъ преданъ, хотя весь міръ кругомъ поклоняется съ колѣнопреклоненіемъ идоламъ грубой силы и золотому тельцу. Но я не могу не признать, что опредѣленіе Григорьева очень подходитъ къ поэзіи Лермонтова, и что Григорьевъ могъ бы быть введенъ въ заблужденіе, еслибы, опредѣляя Байрона, смотрѣлъ на него сквозь призму поэзіи Лермонтова. Есть стекла спектральныя, разлагающія лучъ солнечный на цвѣта, пропускающія одни цвѣта спектра и задерживающія другіе. Лермонтовъ и представляетъ собою такое стекло. Перелистывая его, вы едва ли найдете какія-либо изъ тѣхъ возвышенныхъ чувствъ, которыя

вдохновляли Байрона при написаніи четвертой пѣсни «Чайльдъ-Гарольда», Байрона—излечившагося отъ ироніи, Байрона лучшихъ дней, провозглашающаго: «I love the man not less, but Nature more... To fly from need—not to hate mankind»; Байрона, пишущаго къ Мюру (6 апр., 1819): «You have so many *divine* poems, is it nothing, to have written a *humane* one?»—Все, что было у Байрона свѣтло-голубого, исчезло у Лермонтова; за то выступило наружу все багровое, злобное, демоническое, съ такою силою, что для людей, которые приноровились распознавать челоѣка по его манерѣ писать, по его пошибу, Лермонтовское настроеніе можетъ иногда показаться болѣе Байроновскимъ, чѣмъ у самого Байрона. Укажу на одинъ небольшой примѣръ такого подчеркиванія, подкрашиванія, возведенія демоническаго—какое есть и у Байрона—въ квадратъ.

У Байрона имѣется прелестная по простотѣ и трезвости колорита еврейская мелодія: *My soul is dark*, переведенная Лермонтовымъ, въ 1836 году: «Душа моя мрачна». Неизвѣстно кто—вѣроятно царь Саулъ (Книга I Царствъ, 18, 10) требуетъ отъ арфиста: «играй, играй, смягчи меня, вызови слезу, дабы пересталъ горѣть мой мозгъ (*cease to burn my brain*). Да будетъ эта пѣснь дика и скорбна; я говорю тебѣ — я плакать долженъ, или сердце разорвется отъ муки. Теперь рѣшительный часъ, оно либо разорвется, либо растаетъ въ пѣснѣ» (*break at once or yield to song*). Разумѣется, что Лермонтовъ перевелъ это стихотвореніе блистательно и столь же сжато (16 стиховъ); но такъ какъ фантазія у него съ юныхъ лѣтъ, съ перваго посѣщенія Кавказа, была восточная, страстно любящая яркое и пестрое, то Лермонтовъ и оснастилъ простую основу мелодіи бездною золотыхъ блесковъ и стекляруса, употребивъ имѣвшіяся у него въ запасѣ готовыя клишэ. Арфа выходитъ *золотая*. Рука музыканта должна извлечь изъ нея не *melting murmurs*, а звуки *рая*. Привлеченъ сюда и *рокъ*, уносящій надежды. У Байрона нѣтъ «застывшихъ

глазъ» и такихъ слезъ въ нихъ, которыя должны «растать»; скорѣе надо предположить, что глаза эти воспалены, какъ и мозгъ: — И если есть въ очахъ остывшихъ капли слезъ, — онѣ растають и прольются. Должно быть, Лермонтовъ постоянно носился съ плотною «свинцовою слезою», одною изъ тѣхъ, которыми прожженъ камень у монастыря Тамары. Въ стихахъ: — «Какъ мой вѣнецъ, мнѣ тягостны веселья звуки», — первыя три слова составляютъ вставку собственного издѣлія, одну изъ излюбленныхъ фразъ, уже давнымъ-давно сочиненныхъ и часто повторяемыхъ. Наконецъ, заключеніе, подставляющее вмѣсто сердца, которое должно разорваться или разрѣшиться пѣснью — *грудь* (то-есть, тоже сердце), «какъ кубокъ смерти яда полный», есть явное измѣненіе смысла подлинника, внушенное поэту постоянно присущимъ ему представленіемъ о ядовитости продуктовъ его собственного творчества. Та перекройка Лермонтовымъ Байрона по своему собственному темпераменту, которую мы наблюдали въ маленькомъ хрусталикѣ мелодіи: *My soul is dark*, повторяется въ большихъ размѣрахъ въ крупныхъ эпическихъ и позднѣйшихъ драматическихъ произведеніяхъ Лермонтова, въ числѣ которыхъ первое мѣсто занимаетъ поэма: «Демонъ», которую онъ всю жизнь гранилъ, точилъ и полировалъ, еще съ 1829 г., когда начерталъ первый очеркъ, до окончательнаго пятаго, въ 1838 г. (9 лѣтъ — работа болѣе продолжительная, чѣмъ Пушкина надъ «Онѣгиннымъ»). Исторія этого произведенія настолько интересна, что на ней слѣдуетъ остановиться.

### VIII.

Есть у Лермонтова одна ранняя поэма — *Ангелъ Смерти*, восточная повѣсть, — ростокъ, происходящій отъ одного общаго корня съ «Демономъ». По первоначальному замыслу, сохранившемуся въ черновой тетради (II, 524), ангелъ смерти, котораго назначеніе услаждать



поцѣлуемъ послѣдній мигъ умирающаго, тронутый отчаяніемъ любовника умирающей дѣвы, начальника возстающихъ грековъ, оживилъ ея трупъ своею собственною душою, но потомъ раскаялся, потому что этотъ любовникъ оказался человѣкомъ мрачнымъ и кровожаднымъ. Греки убиваютъ въ сраженіи; ангелъ не можетъ уже облегчить его смерти, какъ воплотившійся въ смертное существо, но покидаетъ и тѣло дѣвы, и съ тѣхъ поръ уже не любитъ людей, для которыхъ — «Хладнѣе льда его объятья—И поцѣлуй его—проклятыя!»—Въ самой поэмѣ дѣйствіе перенесено въ Индію, грекъ превратился въ отшельника Зораима. У Зораима есть любовница Ада, въ моментъ смерти которой, изъ состраданія къ Зораиму, въ тѣло ея переселился ангелъ смерти. Замыселъ теряетъ свою первичную простоту и прозрачность. Зораимъ, увлекаемый внезапно честолюбіемъ и жаждою славы, кидается въ войну и смертельно раненъ на полѣ битвы. Страдалцу не можетъ помочь духъ, изъ ангела превратившійся въ смертную женщину. Со смертью Зораима ангелъ освобождается также отъ земныхъ узъ и возвращается въ небеса, но—«За гибель друга въ немъ осталось—Желанье міру мстить всему».—Ангелъ «протислся съ прежней добротой, — Людей узналъ онъ: состраданья — Они не могутъ заслужить». — Поэма эта, очевидно, мизантропическая, но еще не демоническая. Она указываетъ на то, что по сознанію поэта есть — «пятно тоски въ умѣ моемъ, — И съ каждымъ годомъ шире то пятно, — И скоро все поглотитъ» (II. 224). Есть черновая замѣтка, изъ которой видно, что Лермонтовъ предполагалъ написать длинную сатирическую поэму: *Демонъ*.

«Демонъ» и былъ написанъ, но вышелъ онъ не сатирической. Прежде всего у Лермонтова онъ представляетъ аллегорію отвлеченной идеи зла. Есть у Пушкина одинъ недоразвившійся бутончикъ того же наименованія, относительно котораго спорили, изображаетъ ли онъ человѣка-скептика, или олицетвореніе сомнѣнія, какъ

нравственного зла. Будучи 14 лѣтъ, Лермонтовъ сталъ парафразировать этотъ Пушкинскій сюжетъ («Мой демонъ», 1829, II, 32: Онъ недовѣрчивость вселяетъ. — Онъ презрѣлъ чистую любовь...), съ тою существенною разницею, что его демонъ — не хладный насмѣшникъ, а существо, дѣйствующее голосомъ страсти и жестокое (Онъ равнодушно видитъ кровь — И звукъ высокихъ ощущеній — Онъ давитъ голосомъ страстей); наконецъ, въ этой абстракціи слиты и зло физическое, и зло нравственное (Средь листьевъ желтыхъ, облетѣвшихъ — Стоитъ его недвижный тронъ; — На немъ, средь вѣтровъ онѣмѣвшихъ, — Сидитъ уныль и мраченъ онъ), что и служить зародышемъ изображеній въ послѣдующихъ очеркахъ «ледяного царства Демона» и его трона на вершинѣ льдовъ, гдѣ «бѣлогривыя мятели — Какъ львы у ногъ его ревѣли» (I, 516). Затѣмъ идутъ видоизмѣняющіяся повѣствованія о дѣяніяхъ Демона въ длинномъ ряду очерковъ. Первоначальный замыселъ 1829 г. простъ (I, 496) и вѣренъ представленію о демонѣ, какъ олицетвореніи одного только зла. Демонъ узналъ, что одинъ изъ противниковъ его, ангелъ, любитъ смертную. На зло ангелу онъ обольщаетъ эту женщину, которая скоро умираетъ и дѣлается духомъ ада. Выписки «Каина» Байрона (изданнаго въ 1821 году) предпосланы, въ видѣ эпиграфа, ко второму очерку «Демона», писанному въ пансіонѣ въ 1830 году. Со второго очерка обстановка будетъ постоянно мѣняться: соблазняемая женщина будетъ представлять собою сначала еврейку временъ вавилонскаго плѣненія, потомъ испанскую монахиню, пока она не превратится окончательно въ грузинскую княжну Тамару; но уже со второго очерка коренная идея поэмы фиксирована; сюжетомъ ея становится то, что одинъ изъ главныхъ подручников архистратига адскихъ силъ, сатаны — Демонъ — влюбился настоящею пологою любовью въ одну изъ правнучекъ прародительницы Евы, и что любовь увѣнчана была взаимностью. Мысль эта сама по себѣ не нова, съ нею

возился Байронъ, сочиняя въ 1821 г. мистерію: «Heaven and Earth», изображающую женщину изъ племени Каинова и ангеловъ, изъ-за этихъ женщинъ дѣлающихся непослушными Богу. И женская любовь къ князю тьмы не есть также предметъ небывалый въ литературѣ. На ней основана лучшая изъ поэмъ Альфреда де-Виньи, появившаяся въ 1828 г. въ собраніи его поэзій: «Eloa la soeur des anges». Слеза, пролитая Христомъ у гроба Лазаря, даетъ начало ангелу-женщинѣ, Элоа. Во время своихъ странствованій по вселенной, Элоа встрѣчается съ павшимъ сатаной, поражающимъ даже и въ паденіи своею дивною красотою. Хотя, сочувствуя ему, Элоа пытается бѣжать, догадываясь, кто ея собесѣдникъ; но онъ разрыдался и явилъ себя столь безконечно несчастнымъ въ случаѣ, если она его покинетъ, что изъ сожалѣнія Элоа осталась при сатанѣ, который и увлекъ ее въ бездну.—Лермонтовъ задался замысломъ, весьма похожимъ на Элоа, въ «Ангелѣ смерти», произведеніи, имѣющемъ центральною фигуру женщину-Аду и основанномъ на чувствѣ состраданія. Но въ «Демонѣ» Лермонтова главнымъ лицомъ становится уже не женщина, а самъ духъ тьмы, дивно красивый, безконечно могучій и злой, сѣятель зла и обольститель. Какъ Люциферъ у Байрона, Демонъ зоветъ себя «царемъ познанья и свободы»; кромѣ того, онъ — аллегорическое олицетвореніе всякаго зла (Я врагъ небесъ, я зло природы). По своей не-человѣческой природѣ и безсмертію, онъ обреченъ на то, чтобы «жить для себя, скучать собой,—Всегда жалѣть и не желать,—Все противъ воли ненавидѣть—И все на свѣтѣ презирать!»—Въ первоначальныхъ наброскахъ еще сильнѣе была подчеркнута эта обязательная ненависть ко всему: «...ему любить—Не должно сердце допустить,—Онъ связанъ клятвой роковою» (данною имъ самимъ при изгнаніи ихъ на землю). Сюжетъ простъ, но живописно обставленъ. Предъ вами: сѣдой Гудаль и дочь его Тамара; ея помолвка съ владѣтелемъ Синодала; ѣзда этого жениха на свадьбу съ

караваномъ навьюченныхъ дарами верблюдовъ; пропущенная имъ, по навожденію лукаваго, молитва у часовни и послѣдовавшій затѣмъ выстрѣлъ; несостоявшійся свадебный пиръ, вслѣдствіе смерти жениха; похороны его и плачь Тамары. Всѣ эти красивыя детали внесены въ поэму потомъ, при постепенной обработкѣ сюжета. Въ нихъ обнаруживается удивительный талантъ ставить на сцену артистическую идею, — талантъ, которымъ никто изъ послѣдующихъ русскихъ поэтовъ не можетъ съ Лермонтовымъ сравняться (всего ближе подходитъ къ Лермонтову по яркости красокъ гр. Алексѣй Толстой). Разъ коснувшись техники, нужнымъ считаю замѣтить, что Лермонтовъ безподобенъ при изображеніи картинъ природы, да притомъ природы кавказской, и что онъ никогда почти не выходилъ изъ заколдованнаго круга впечатлѣній, доставленныхъ ему въ самомъ раннемъ возрастѣ, десяти лѣтъ, — его вторымъ и можно даже сказать — его настоящимъ отечествомъ. Будучи отрокомъ, онъ писалъ: «Синія горы Кавказа, вы къ небу меня приучили, и я съ той поры все мечтаю о васъ и о небѣ. — Кто разъ лишь на вашихъ вершинахъ Творцу помолился, тотъ жизнь презираетъ, хотя въ то мгновенье гордится онъ ею» (1830, II, 512). Подъ конецъ жизни (1840), въ посвященіи «Демона», онъ восклицаетъ: «Тебѣ, Кавказъ, суровый царь земли, — Я посвящаю снова стихъ небрежный... — На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой, — Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой». Обыкновенно различаютъ чувствоваіе красотъ природы первобытное, мифологическое, свойственное народамъ, воображающимъ, что природа населена множествомъ невидимыхъ, духовныхъ силъ, подобныхъ человѣку, — и чувствоваіе тѣхъ же красотъ эстетическое, отыскивающее въ событіяхъ внѣшней природы источники ощущеній волнующихъ, возбуждающихъ, подходящихъ къ темпераменту поэта, сродныхъ извѣстнымъ состояніямъ его души. Лермонтовъ одаренъ чувствомъ красотъ природы второго рода. У него темпераментъ настоящаго южанина, который мерк-

нетъ и вянетъ на тускломъ сѣверѣ (Мы, дѣти сѣвера, какъ здѣшнія растенія—Цвѣтемъ недолго, быстро увядаемъ. — Какъ солнце зимнее на сѣромъ небосклонѣ, — Такъ пасмурна жизнь наша, такъ недолго—Ея однообразное теченье). Онъ чувствуетъ себя въ своей стихіи только при палящемъ зноѣ, среди самой роскошной и почти тропической природы. Воображеніе его восточное; оно старается подбирать краски еще свѣжѣе природныхъ, изобрѣтаетъ самыя изысканныя метафоры, чтобы передать, насилуя тонъ, силу страсти или порывъ чувства. Простоты, конечно, и не ищите, но есть увлекательная, опьяняющая и брызжущая цѣлымъ фонтаномъ реторика звучныхъ словъ и яркихъ образовъ въ этихъ всѣмъ извѣстныхъ лирическихъ отрывкахъ: «Клянусь я первымъ днемъ творенья, — Клянусь его - послѣднимъ днемъ» и т. д... цѣлыхъ двадцать стиховъ. Или: «И для тебя, звѣзды восточной, — Сорву вѣнецъ я золотой, — Возьму съ цвѣтовъ росы полночной, — Его усыплю той росой; — Лучомъ румянаго заката — Твой станъ, какъ лентой, обовью...» То же можно сказать и про описанія. Пушкинъ, въ сравненіи съ Лермонтовымъ, только акварелистъ. Гдѣ онъ довольствовался бы нѣсколькими тонкими штрихами и далъ бы простое, трезвое, но весьма правдивое выраженіе своей мысли, тамъ Лермонтовъ дѣйствуетъ не кистью, а какъ бы щеткою, покрываетъ полотно цвѣтными пятнами и брызгами красокъ. Онъ пишетъ не эскизъ или картину, а панораму, такъ что не знаешь, гдѣ кончается реальная обстановка зрителя, и гдѣ начинается писаніе по холсту. Трудно приискать что-нибудь по иллюзіи и пластичности подходящее къ описанію каравана въ «Трехъ пальмахъ» (1839): «Пестрѣли коврами покрытые выюки, — Звонковъ раздавались нестройные звуки, — И шелъ, колыхаясь, какъ въ морѣ челнокъ, — Верблюдъ за верблюдомъ, взрывая песокъ»... и т. д., цѣлыхъ три строфы до фариса, который, съ крикомъ и свистомъ несясь по песку, бросалъ и ловилъ копые на скаку.

Возвращаюсь къ «Демону». Поэтъ оставилъ насъ въ недоумѣннѣи,—не злымъ ли умысломъ Демона, уже влюбленнаго въ Тамару, причинена смерть владѣтелю Синодала. Время, когда узналъ Демонъ Тамару, имѣетъ также весьма второстепенное значеніе; въ первоначальныхъ очеркахъ онъ съ нею знакомится какъ съ монашенкой. Какъ только онъ ее увидѣлъ, тотчасъ почувствовалъ себя добрѣе: «И вновь постигнулъ онъ святыню—Любви, добра и красоты». Подобно Сатанѣ у de-Vigny, радующемуся, что можетъ еще любить, и способному исправиться, еслибы Элоа протянула ему руку и повела его (*Si la céleste main qu'elle eut osé lui tendre — L'eût saisi repentant, docile à remonter, — Qui sait? le mal peut-être eut cessé d'exister*), Демонъ Лермонтова къ Тамарѣ — «входилъ любить готовый,—Съ душой открытой для добра,—И мыслилъ онъ, что жизни новой — Пришла желанная пора». Но поворотъ къ лучшему длится только мгновенье, послѣ котораго верхъ беретъ сила зла, ставшая привычкою испорченной натуры. По ничтожному поводу, по очнувшейся въ Элоа богобоязни—у Виньи, или при видѣ херувима, пріосѣнившаго Тамару крыломъ—у Лермонтова, Демонъ восклицаетъ, что на это сердце «онъ наложилъ печать свою;—Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни, — Здѣсь я владѣю и люблю». Затѣмъ Сатана у Виньи: «*sans amour, sans remords au fond d'un coeur de glace—Des coups qu'il va porter il médite la place*»; а у Лермонтова слѣдуетъ обольщеніе, котораго приемы у обоихъ поэтовъ почти одни и тѣ же; такъ напр. у Лермонтова: «Въ душѣ моей съ начала міра—Твой образъ былъ запечатлѣнъ,—Передо мной носился онъ—Въ пустыняхъ вѣчнаго ээира»; а у Vigny: «*Dans tout être créé j'ai cru te reconnaître; — Je te cherchais partout, dans un souffle des airs, — Dans un rayon tombé du disque de la lune, — Dans l'étoile qui fuit le ciel qui l'importune*»... Но въ выборѣ средствъ обольщенія пути поэтовъ окончательно расходятся. Элоа задумана идеальнѣе; она гибнетъ отъ самопожертвованія, отъ избытка милосердія, при пѣснѣ

хора ангеловъ: «Gloire dans l'univers, dans le temps à celui—Qui s'immole à jamais pour le salut d'autrui». Въ сравненіи съ Элоа, Тамара—слабое существо, беззащитная голубка, которой не по силамъ сопротивленіе. Она безъ боя побѣждена, когда, зная, что имѣетъ дѣло съ духомъ зла, въ послѣднихъ судорогахъ сопротивленія говоритъ соблазнительно: «Нѣтъ! дай мнѣ клятву роковую... отъ злыхъ стяжаній—Отречься нынѣ дай обѣтъ! —Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній — Ненарушимыхъ больше нѣтъ?..» Ничего, конечно, не стоитъ духу злomu и лживому устранить и это послѣднее колебаніе сознательно лживыми и почти ироническими увѣреніями: «Отрекся я отъ старой мести...—Хочу я съ небомъ помириться,—Хочу любить, хочу молиться,—Хочу я вѣровать добру». Демонъ безъ нужды расточаетъ передъ Тамарою совсѣмъ излишнія, по отношенію къ ней, обѣщанія: «Пучину гордаго познанья — Взамѣнъ открою я тебѣ...—Чертоги пышные построю—Изъ бирюзы и янтара...—...Возьму (тебя) въ надзвѣздные края! — И будешь ты царицей міра,—Подруга первая моя!—Тамара принадлежитъ ему и безъ этихъ обѣщаній; онъ ее подчинилъ себѣ, когда по ночамъ стоялъ у ея изголовья, «сіяя тихо, какъ звѣзда... похожъ на вечеръ ясный, ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!..» Она вѣдь и просилась у отца въ монастырь потому только, что—«трепещетъ грудь, пылаютъ плечи, — Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ, — Объятыя жадно ищутъ встрѣчи»... Она такъ создана, что роковымъ образомъ должна была сдѣлаться жертвою зажегшаго въ ней пламень похоти своего крылатого Донъ-Жуана. «Онъ жегъ ее; во мракѣ ночи — предъ нею прямо онъ сверкалъ — Неотразимый, какъ кинжалъ»... Все послѣдующее затѣмъ, какъ-то: смерть при первомъ поцѣлуѣ отъ яда, заключающагося въ его лобзаньѣ, довольно банальный бой между ангеломъ и демономъ въ пространствѣ ээира за эту несомнѣнно согрѣшившую душу, спасенную только по тому—довольно также банальному — мотиву, что она страдала

и любила; наконецъ похороны ея въ заоблачной обители у подножія Казбека, которою любитъ всякій проѣзжающій по военно-грузинской дорогѣ — всѣ эти аксесуары и декораціи великолѣпны, но весьма мало прибавляютъ къ содержанію произведенія.

Таковъ капитальнѣйшій поэтический трудъ Лермонтова. Если его сопоставить съ «Каиномъ» Байрона, то окажется, что между обоими произведеніями нѣтъ почти никакого сходства. И Байроновскій «Люциферъ», и «Сатана» Мильтона — не лица, а только олицетворенія идеи, того «Demon Thought», того сомнѣнія пытливаго ума, которое и мучитъ человѣка, и возвышаетъ его, такъ что лучше, пользуясь имъ, мыслить и страдать, нежели блаженствовать съ неразумными существами. Демонъ Лермонтова едва ли не напрасно провозглашаетъ себя царемъ познанья и свободы: онъ ничѣмъ не доказалъ своей мощи въ области мышленія, онъ гораздо сроднѣе Сатанѣ у de-Vigny: «Sur l'homme j'ai fondé mon empire de flamme — Dans les désirs du coeur, dans les rêves de l'âme, — Dans les désirs du corps, attrait mystérieux, — Dans les trésors du sang, dans les regards des yeux». Лермонтовъ безконечно превзошелъ своего французскаго предшественника, превосходнаго мыслителя, но посредственнаго художника и суховатаго живописца силою выраженія страсти, блескомъ формы, стихомъ, волнующимъ и жгучимъ, въ которомъ на каждомъ шагу сказывается субъективное «я» поэта, свое собственное, но уже испытавшее на себѣ вліяніе Байрона и этимъ вліяніемъ отмѣченное, страдающее отъ неудовлетворимаго желанія и этою мукою гордящееся. Въ иномъ мѣстѣ, въ «Измаилъ-Беѣ», Лермонтовъ изобразилъ эту несокрушимость своего сопротивленія въ выраженіяхъ, которыя шли бы и къ самому «Демону». «Когда, столпясь, всѣ адскія мученія — Слетаются на сердце и грызутъ... — Лишь дунетъ вихрь, и сломится лилея. — Таковъ съ душой кто слабою рожденъ, — Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ. — Но мощный умъ, крѣпясь и каменья, — Ихъ



обращаетъ въ пытку Прометея». Въ Демонѣ Лермонтовымъ не только начерченъ собственный портретъ автора, но выраженъ чрезвычайно типически и его эротизмъ, стремительность и сила его любви. Подъ 11-мъ іюня 1832 г., Лермонтовъ писалъ о любви (П, 120): «Разстройство мозга иль видѣнье сна, — Я не могу любовь опредѣлить, — Но это страсть сильнѣйшая! любить — Необходимо мнѣ, и я любилъ — Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ!» По его понятіямъ, любовь владычествуетъ всего сильнѣе въ сердцахъ разбитомъ. Поселите эту любовь въ сердце человѣка, презирающаго всѣхъ другихъ, въ сердце эгоиста изстрадавшагося и озлобленнаго, доведите ее до максимума, до того, что она истощаетъ того, къмъ владѣетъ, и дѣлается смертоносною для другихъ — вы получите «Демона», произведеніе единственное, выходящее за предѣлы Байроновской поэзіи, въ высшей степени романтическое и поражающее своею смѣлостью, даже если его разсматривать какъ одну изъ самыхъ крупныхъ волнъ этого порывистаго и слѣпото литературнаго движенія. Поль-вѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ была задумана поэма, романтизмъ прошелъ и забытъ, но этотъ цвѣтокъ романтизма, одинъ изъ самыхъ пышныхъ, сохранилъ донинѣ свой сильный и неподобный аромать.

## IX.

Пройдемся по другимъ кавказскимъ эпическимъ поэмамъ Лермонтова, образующимъ цѣлую галлерею созданныхъ имъ образовъ и типовъ. Въ нихъ онъ больше, чѣмъ въ «Демонѣ», ученикъ Байрона; пороку превосходить учителя большею способностью изображать не только свои личныя эмоціи, но и весьма отличные отъ своего я, хорошо задуманные и жизнеспособные человѣческіе типы; представлять не только европейца, тяготящагося цивилизаціею и убѣгающаго на лоно природы къ дикарямъ, но и настоящихъ полудикихъ людей, съ

ихъ несложными понятіями, съ ихъ страстными порывами, неудержимыми потому, что, по недостатку умственного образованія, эмоція превращается у нихъ въ желаніе, а желаніе, безъ удержу и рефлексіи, мгновенно разряжается дѣломъ. И Байронъ былъ реалистъ въ томъ смыслѣ, что онъ поэтизировалъ не вымышленное, но дѣйствительно испытанное своею собственною душою. Лермонтовъ способенъ былъ заглядывать и въ чужія души, по крайней мѣрѣ въ души любимыхъ имъ кавказскихъ горцевъ, и разгадать ихъ организацію. Такіе типы, взятые съ натуры, какъ татарченокъ Азаматъ, продающій сестру за коня, или какъ Казбичъ, или какъ Бѣла въ «Героѣ нашего времени» — родная сестра княжны Тамары въ «Демонѣ», и не могли бы зародиться въ фантазій Байрона, слишкомъ субъективной. Привычка писать при помощи заготовляемыхъ клише, съ переносомъ изъ одной тѣмы въ другую цѣлыхъ готовыхъ кусковъ, даетъ возможность установить хронологическій порядокъ въ произведеніяхъ Лермонтова, начиная съ юношескихъ. Первою въ ряду является поэма «Каллы» или «Убійца» («Русская Старина» 1882, № 12). Мулла открываетъ въ ней молодому кабардинцу Аджи, что вся семья его изведена Акъ-Булатомъ, послѣ чего беретъ съ Аджи клятву кровной мести. Аджи прокрался ночью въ саклю Акъ-Булата, перерѣзалъ горло ему и его сыну, но испыталъ страшную муку, когда ему пришлось убить и прекрасную дочь Акъ-Булата. Клятву свою Аджи исполнилъ, принесъ муллѣ отрѣзанную у убитой женщины косу, но тотъ же самый кинжалъ, совершившій тройное убійство, онъ вонзаетъ и въ грудь самого муллы. Въ этой повѣсти уже содержится въ зародышѣ другая, а именно Хаджи-Абрекъ». У дряхлаго старика-лезгина, потерявшаго семью, оставалась одна дочь — Леила, которую похитилъ у него Бей-Булатъ. Старый лезгинъ молить жителей своего родного аула: «кто знаетъ князя Бей-Булата? кто привезетъ мнѣ дочь мою?» — Я, — сказалъ Хаджи-Абрекъ, и вызвался онъ на этотъ подвигъ, не видавъ никогда

Леилы, а только потому, что у него есть свои личные счета съ похитителемъ — убійцею его родного брата. Мстителъ Хаджи проникаетъ подъ видомъ странника въ саклю Бей-Булата во время отсутствія сего послѣдняго и принять гостепріимно Леилою, но она не соглашается бѣжать къ отцу, потому что счастлива, потому что нашла у Бей-Булата свой рай: «повѣрь мнѣ, счастье только тамъ, — Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ»... Хаджи въ полномъ смыслѣ слова, Байроновскій герой и «сынъ рока». Онъ спрашиваетъ у Леилы, знаетъ-ли она, какое блаженство на землѣ второе «тому, кто все похоронилъ, — Чему онъ вѣрилъ, что любилъ... — Нѣтъ, за единый мищенья часъ, — Клянусь, я не взялъ бы вселенной». Хаджи отсѣкаетъ безжалостно голову у Леилы и, привезя въ свой родной аулъ, бросаетъ ее къ ногамъ отца. Годъ спустя найдены трупы двухъ вцѣпившихся другъ въ друга, въ предсмертныхъ судорогахъ, враговъ — Бей-Булата и Хаджи.

Рядомъ съ мотивомъ мести идетъ и мотивъ любви столь сильной, что она превращаетъ родныхъ братьевъ въ смертельныхъ враговъ: таковъ сюжетъ *Аула Бастунджи* («Русская Мысль», № 2, 1883 г.). Были два брата; старшій, Акъ-Булатъ, вскормилъ и воспиталъ младшаго, Селима. Однажды онъ вернулся домой съ добычею, введя которую въ домъ, онъ сказалъ Селиму: люби ее — она моя жена. Селимъ не только полюбилъ, но и влюбился до безумія въ жену брата, Зару. Онъ молилъ брата: отдай мнѣ Зару, уступи! я буду твоимъ рабомъ... а если ты не хочешь, что медлить? я готовъ! — «Не размышляй — одинъ ударъ и мы спокойны оба». Братъ отвѣчаетъ, что заблужденіе пройдетъ, какъ сонъ: «Есть много звѣздъ — одна другой свѣтлѣй, — Красавицъ много безъ жены моей». Селимъ бѣжалъ, похитилъ Зару, убилъ ее за отчаянное сопротивленіе, послѣ чего сжегъ и самый родной аулъ Бастунджи.

Такая же смертоносная борьба между братьями, но только изъ-за честолюбія и политическихъ расчетовъ,

на подвладѣ войны черкесовъ съ русскими за свободу или за порабощеніе Кавказа, составляетъ содержаніе наиболѣе запутанной по замыслу повѣсти: «Измаиль-Бей», которую цѣнители Лермонтова ставятъ весьма высоко, но за которую я не могу признать приписываемыхъ ей качествъ и достоинствъ, потому что въ ней замѣтно полное отсутствіе единства идеи, и она переполнена заимствованіями. Покорившійся русскимъ князь Бей-Булатъ отдалъ младшаго сына на воспитаніе въ одинъ изъ русскихъ кадетскихъ корпусовъ. Измаиль даже и христіанство принялъ, такъ что потомъ, когда его убили, земляки его съ ужасомъ узнали, что онъ гяуръ проклятый—по крестикъ, носимому имъ на груди. Измаиль получилъ образованіе, жилъ долго между русскими, соблазнилъ не одну русскую дѣву, но тоска по родинѣ одолѣла его и превозмогла всѣ другія чувства (За кровлю сакли бѣлой,—За близкій топотъ табуна—Тогда онъ міръ отдалъ бы цѣлый). Измаиль задуманъ вполне по шаблону Байроновскихъ героев (На родину онъ сердце хладное принесть... — Хладенъ блескъ его очей.—Чувства страсти.—Въ очахъ навѣки догорѣвъ,—Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,—Глубоко въ сердцѣ; но ихъ власти — Оно никакъ не избѣжить). Съ собою на родину онъ принесть не любовь къ родинѣ, а одну лишь ненависть къ врагамъ; онъ даже не патриотъ (Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,—И не родной аулъ—родныя скалы—Рѣшилъ онъ отъ русскихъ защищать). Онъ сознаетъ, что на немъ тяготѣетъ нѣчто роковое: «Мое дыханье радость губить,—Падить мнѣ власти не дано». Родного аула Измаиль не нашелъ, потому что, уступая передъ русскими, черкесы сожгли его, далеко уходя въ горы. На первомъ шагу въ родныхъ горахъ Измаиль-Бей, въ которомъ очнулся духъ его природный, зарубивъ безъ нужды охотившагося за фазанами казака, нашелъ гостепріимство въ саклѣ разбойничьей лезгинской семьи. Дочь домохозяина, Зара, въ уста которой вложены слова Леилы изъ «Хаджи-Абрека»: «По мнѣ

отчизна — тамъ, — Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ», — привязалась къ нему, бросила домъ, переодѣлась джигитомъ, и, какъ Гюльнара за Корсаромъ, послѣдовала за Измаиломъ къ родному его племени, которымъ управляетъ старшій братъ Рослаббекъ. Между братьями возникаетъ соперничество. Рослаббекъ завидуетъ удалству Измаила; онъ бы изводилъ русскихъ, но тайкомъ и измѣннически, храня видъ покорности, между тѣмъ какъ Измаиль гнушался коварствомъ и хотѣлъ бы открытой войны. Въ повѣсть вставленъ ненужный эпизодъ, заимствованный изъ «The lady of the Lake» Вальтеръ-Скотта (Яковъ V, шотландскій король, въ гостяхъ у Родрига Чернаго, главы Альпинова клана), заключающійся въ томъ, что заблудившійся въ горахъ кавказскій офицеръ, смертельный врагъ Измаила, соблазнившій его невѣсту, находитъ пристанище у Измаила, потому что сказалъ ему: «твоей я чести предаюсь», и отпускается Измаиломъ цѣль и невредимъ. Война кончается для черкесовъ несчастно; братья раздѣлились, и оба разбиты. Измаила поражаетъ измѣннически выстрѣломъ Рослаббекъ. Зара погибла раньше Измаила, котораго никто не оплакиваетъ, которому не вырыли даже могилы, какъ отступнику.

Есть еще одна серія выработывавшихся одна изъ другой повѣстей Лермонтова: «Исповѣдь», «Бояринъ Орша», «Мцыри». Мотивъ ихъ первоначальный, чисто-романтичeskій, состоялъ въ изображеніи судьбы безроднаго человѣка, стоящаго на низшей ступени общественной и бунтующаго противъ своей участи. У Шекспира были излюбленныя лица — энергическіе бастарды; Гюго искалъ также своихъ героевъ между людьми отверженными и обиженными. Та же идея руководила и Лермонтовымъ, когда онъ искалъ еще своихъ предковъ въ Испаніи и изобразилъ (1830) въ «Исповѣди» какого-то насильно постриженнаго испанскаго монаха, судимаго монастырскимъ судомъ, который защищается тѣмъ, что «подъ одеждой власной я человѣкъ, какъ и другой» («Русская Старина» 1887 г., № 10). Все

существенное въ «Исповѣди» вошло, въ 1835 г., въ «Боярина Оршу», повѣсть якобы русскую, но въ которой нѣтъ ничего русскаго. Орша является феодальнымъ барономъ; монастырскій судъ надъ безроднымъ найденнымъ Арсеніемъ, бывшимъ послушникомъ въ монастырѣ, являющимъ подобіе Гришки Отрепьева въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, удивительно походить на трибуналъ испанской инквизиціи. Арсеній неизвѣстно какъ попалъ на дворъ Орши; въ то же время онъ состоитъ атаманомъ разбойничьей шайки. Бояринъ Орша засталъ разъ ночью свою любимую дочь въ объятяхъ этого своего раба; онъ заперъ дочь въ ея свѣтлицѣ, ключъ отъ которой бросилъ въ волны Днѣпра, омывающаго стѣны его замка, а раба предалъ духовному суду. Недодѣланная поэма была потомъ въ этомъ состояніи брошена. Во время своей ссылки, въ 1837 г., на Кавказъ за стихи на смерть Пушкина, видоизмѣнился въ головѣ поэта первоначальный замыселъ произведенія и получилъ слѣдующую форму. При посѣщеніи живописнаго монастыря въ Мцхети, гдѣ «шумятъ — Обнявшись, точно двѣ сестры — Струи Арагвы и Куры», Лермонтовъ узналъ отъ водившаго его по монастырю служки, что родомъ онъ черкесъ, что генералъ Ермоловъ взялъ его ребенкомъ въ развалинахъ добытаго штурмомъ аула, привезъ въ монастырь и оставилъ на воспитаніи у братіи. Юный горецъ пытался нѣсколько разъ бѣжать въ родныя скалы, заплатилъ за эти продѣлки страшною болѣзнію и только послѣ многихъ лѣтъ привыкъ къ монастырю. Разсказъ чернеца поразилъ поэта: онъ выкинулъ изъ поэмы мотивы дикихъ страстей, любви, мести, общественныхъ узъ и цѣпей, даже монахи на этотъ разъ превратились въ сердобольныхъ добряковъ. Поэма упрощена до-нельзя, до незатѣйливаго положенія, а именно, что волчонка, хотя и прирученнаго, тянетъ сама природа въ лѣсъ, а льва — въ его пустыню: тамъ только можно дикарю на волѣ погулять, поспорить съ барсомъ въ ловкости, визжать неистово, какъ онъ, и задушить

его въ своихъ объятіяхъ. Но волчонокъ уже былъ на цѣпи, уже прирученъ и свыкъся съ людьми (...мнѣ на родину слѣда—Не проложить никогда), вслѣдствіе чего онъ и умираетъ, потому что пламень, бывшій у него въ груди, не находя себѣ пищи, прожогъ свою тюрьму. Чувства поэта, истаго сына дикой природы, находятся въ полномъ созвучіи съ этою природою: въ этомъ отношеніи нѣзема «Мцыри» есть одинъ изъ прелестнѣйшихъ алмазовъ поэзіи не только русской, но и всемірной.

## Х.

Остаются еще неразобранныя только два крупныя произведенія Лермонтова: романъ въ прозѣ: Герой нашего времени», и драма: «Маскарадъ». Про романъ такъ много и такъ обстоятельно писано, что я позволю себѣ ограничиться теперь немногими словами. Первоначально предлагаемо было дать ему заглавіе: «Одинъ изъ героевъ нашего времени». Въ предисловіи ко второму (1841) изданію авторъ признаетъ, что онъ преподноситъ публикѣ ѣдкую истину, горькое лекарство, но отрекается отъ всякаго намѣренія исправлять людскіе пороки. Его произведеніе, такимъ образомъ, не сатира, не нравоученіе; тѣмъ менѣе можетъ быть оно разсматриваемо какъ идеаль, указывающій современному человѣку, какимъ онъ долженъ быть, или какъ мечта автора о самомъ себѣ, какимъ онъ желалъ бы быть. Лермонтовъ утверждаетъ, что Печоринъ есть портретъ пороковъ всего его поколѣнія въ полномъ ихъ развитіи, указаніе болѣзни — и только: какъ ее лечить — знаетъ только Богъ. Оцѣнку своему произведенію авторъ далъ явно преувеличенную въ томъ отношеніи, что его книга не есть портретъ пороковъ всего извѣстнаго поколѣнія людей, не есть изображеніе болѣзни вѣка; иными словами она не есть изображеніе типа одержимаго этою болѣзнью современнаго автору человѣка. Для выполненія съ полной объективностью этой весьма возможной, хотя труд-

ной задачи, мало одной острой наблюдательности, которою былъ несомнѣнно одаренъ Лермонтовъ — необходимы еще продолжительныя упражненія надъ большимъ числомъ разнообразныхъ субъектовъ, а этого-то условія именно и недоставало. Лермонтовъ былъ такой «чужакъ» въ современномъ ему обществѣ, настолько увѣренъ, что весь этотъ свѣтъ, отъ мала до велика, сплошь состоитъ изъ однихъ либо глупцовъ, либо обманщиковъ и лицемеровъ, что «самъ геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ былъ бы умереть или сойти съ ума», — что онъ и не изучалъ этого общества; что его умственнымъ глазамъ, по непривычкѣ, едва ли былъ доступенъ весьма сложный продуктъ исторіи — современный человѣкъ, съ ровною гладью его поверхности, съ затаенными страстями, съ преобладаніемъ и господствомъ въ немъ вниманія и рефлексіи, съ отсутствіемъ въ немъ той простоты и непосредственности, за которыми, гоняясь, Лермонтовъ бѣжалъ на Кавказъ и которыя любилъ онъ изображать въ дѣтяхъ природы — горцахъ. Аналитическая способность у Лермонтова была отъ природы велика, но она главнымъ образомъ упражнялась только посредствомъ наблюденій надъ самимъ собою. По темпераменту Лермонтовъ весьма близокъ къ Байрону; онъ и вытѣпилъ себя по образцу героевъ Байрона, которые, какъ извѣстно, были портретами, снятыми Байрономъ съ самого себя. — Въ своихъ публичныхъ петербургскихъ лекціяхъ («Вѣстникъ Европы» 1887 г., № 11) Брандесъ называетъ Печорина совершеннѣйшимъ изъ типовъ, созданныхъ внѣ предѣловъ Англіи умственнымъ главенствомъ Байрона. Брандесъ удостовѣряетъ, что, прочитавъ 17-ти лѣтъ отъ роду эту книгу, онъ былъ до глубины души взволнованъ образомъ героя — печальнымъ, но привлекательнымъ по его простотѣ, мужеству, холодности и скептицизму. Не подлежитъ сомнѣнію, что Печоринъ безконечно сильнѣе дѣйствуетъ на воображеніе, нежели кипучій, но мягкій Онегинъ. Печоринъ есть первый



экземпляръ непереводающагося до сихъ поръ рода людей изъ закаленной стали, большею частью пропадающихъ безцѣльно и безславно, по полному ихъ неумѣнію или нежеланію справляться съ мелкими будничными задачами обыкновенной, покойной жизни и порывающихся на нѣчто болѣе великое. Въ одномъ я несогласенъ съ Брандесомъ, а именно, что въ Печоринѣ начерченъ будто бы «меланхолическій и обольстительный идеаль». Я также несогласенъ и съ Рейнгольдтомъ (*Geschichte der russischen Literatur*, 1885, стр. 628), будто Печоринъ есть только воплощеніе *der ungestüm hohlen Elemente des russischen Byronismus*. Несмотря на озлобленную иронию и нѣсколько подкрашенную черноту героевъ Байрона, насъ поражаетъ могучая человѣчность этихъ якобы адскихъ типовъ, способность ихъ къ необычайно доблестнымъ дѣламъ. Эта-то человѣчность и дѣлаетъ произведенія Байрона привлекательными, несмотря на однообразіе сюжетовъ и задачъ. Устраните изъ произведеній Байрона эту человѣчность — останется только голый эгоизмъ, не поддающійся идеализаціи, но сильно располагающій къ анализу. «Герой нашего времени» и составляетъ опытъ такого безнадежнаго анализа психологическаго, доведеннаго до послѣднихъ предѣловъ, анатомическій препаратъ одного только сердца, одинъ изъ тѣхъ *documents humains*, о которыхъ хлопочетъ новѣйшій французскій натурализмъ. Авторъ вполне сознаетъ, что его герой Печоринъ весьма дурной человѣкъ, но авторъ сознательно и ставитъ задачу, нисколько не художественную, а скорѣе научную: «исторія души, хотя бы и самой мелкой, — говоритъ онъ, — любопытнѣе и полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно, когда она плодъ наблюдений ума зрѣлаго надъ самимъ собою и когда писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе» (иными словами, безъ желанія порисоваться). «Я взвѣшиваю, — записалъ въ дневникѣ Печоринъ, — записываю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія.

Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ слова, другой мыслить и судить его... Я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ — всегда пріобрѣталъ непобѣдимую власть, вовсе о томъ не стараясь. Надо признаться, что я и не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!.. Изъ горнила страстей я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучший цвѣтъ жизни. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для того, кого любилъ; я любилъ для себя, для собственного удовольствія, я только удовлетворялъ странную потребность сердца, поглощая съ жадностью чувства людей, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія — и никогда не могъ насытиться». Другой, столь же печальный, психологическій этюдъ эгоиста изъ породы свѣтскихъ львовъ представляетъ драма: «Маскарадъ». Многочисленные враги, которыхъ нажилъ себѣ герой драмы, Арбенинъ, своимъ высокомеріемъ и безсердечіемъ, заставляютъ его разыграть противъ воли роль Отелло по отношенію къ его безвинной женѣ, столь же недогадливой, какъ Дездемона. Онъ ее отравилъ, послѣ чего сошелъ съ ума. По методу безошибочнаго психологическаго анализа, авторъ «Героя нашего времени» и «Маскарада» выходитъ далеко за предѣлы круга Байроновскаго вліянія и главенства. Его бы слѣдовало изучать совмѣстно съ Бейлемъ (Стендалемъ). Заимствую изъ книги Faguet (*Etudes littéraires sur le XIX siècle*, 1887, p. 43) слѣдующій отрывокъ, относительно котораго позволю себѣ спросить, не представляетъ ли онъ и Лермонтова: Chateaubriand a plus d'imagination que de sensibilité. Sa sensibilité est égoïste et son imagination expansive. Cette sensibilité n'a jamais pour objet que lui-même. Il est peu d'hommes qui aient plus séduit et moins aimé. L'enchanteur a charmé le monde, et il n'a tenu au monde que par le gout qu'il avait de l'ensorceler. Разница, конечно, есть между двумя поэтическими темпераментами, но она всего болѣе въ

томъ, что Шатобрианъ былъ наивный эгоистъ, не сознающій того, что онъ эгоистъ, и принимающій всѣ жертвы сердечныя какъ законно слѣдующую ему дань, не говоря даже спасибо; а Лермонтовъ страдалъ, сознавая, что онъ эгоистъ, но не могъ отъ этого органическаго недостатка никакимъ образомъ излечиться. Есть въ концѣ повѣсти Шатобриана: «Атала», одна вычурная по изысканности своей картина: «Сердце самое безмятежное на видъ похоже на естественный колодезь въ саваннѣ Алачуа: поверхность чиста и гладка, но загляните на дно бассейна—увидите тамъ большого крокодила, котораго питаетъ колодезь въ своихъ водахъ». Этотъ отрывокъ извѣстенъ и въ русской литературѣ, потому что его заимствовалъ, не указавъ источника, Батюшковъ и помѣстилъ въ стихотвореніи 1810 г.: «Счастливецъ» (Соч. Батюшкова, изд. 1887 г., I, 124): «Сердце наше кладезъ мрачный,—Тихъ, покоенъ сверху видъ,—Но спустись ко дну—Ужасно! Крокодилъ на немъ лежитъ». (За этого крокодила и осмѣивалъ Батюшкова Воейковъ въ «Домѣ Сумасшедшихъ»). Сентъ-Бёвъ говоритъ (*Chateaubriand et son groupe littéraire*, 9 leçon), что этотъ крокодилъ помѣщался въ сердцѣ Шатобриана. О Лермонтовѣ можно сказать, что этотъ вполне имъ сознаваемый крокодилъ всю жизнь и ужасалъ его, и мучилъ. Въ стихахъ: «Толпѣ» (1831 г., II, 114), Лермонтовъ писалъ: «Пускай возвышусь я надъ вами,—Но удалюсь ли отъ себя?»—Еще раньше, будучи 16-ти лѣтъ (1830 г., II, 57) онъ писалъ: «Меня спасало вдохновеніе—Отъ мелочныхъ суетъ,—Но отъ своей души спасенія — И въ самомъ счастьѣ нѣтъ». Быть одинокимъ, не имѣть способности любить кого бы то ни было настоящею любовью, до забвенія, до самопожертвованія, гнушаться этимъ самолюбіемъ, бѣжать отъ самого себя и спастись отъ этой тоски только посредствомъ творчества, въ процессѣ пѣснопѣнья, когда по словамъ его же: «Я о землѣ забывалъ»,—такова была судьба Лермонтова, изъ чего слѣдуетъ, что онъ купилъ не дешево

свой поэтический вѣнецъ терновый, на который онъ горько жалуется (1841 г., I, 145: «вѣнецъ пѣвца— вѣнецъ терновый»), который не люди на него возложили, и которымъ онъ былъ обязанъ только особенностямъ своей психической организаціи. Известно, какимъ образомъ Шатобріанъ избавился отъ мучившей его тоски. Однажды, послѣ постигшаго его (1798) семейнаго несчастія, онъ сообщаетъ: *ma conviction est sortie du coeur: j'ai pleuré et j'ai gué*,— вслѣдствіе чего крокодилъ былъ обузданъ и явилъ изъ себя подобіе того послушнаго животнаго, которое несетъ на своей чешуѣ св. Теодора на известной колоннѣ среди Пиацетты въ Венеціи. Душевные страданія Лермонтова не могли получить такого исхода либо потому, что религіозныя впечатлѣнія его въ дѣтствѣ были слабѣе и не могли съ такою же силою воскреснуть, либо потому, что, проникнувшись насквозь и навсегда духомъ Байроновской поэзіи, Лермонтовъ усвоилъ себѣ міросозерцаніе Байрона, то-есть сдѣлался не то что атеистомъ (самъ Байронъ никогда атеистомъ не былъ и всю жизнь колебался между отвлеченнѣйшимъ деизмомъ и безвѣріемъ), но врагомъ всякаго положительнаго вѣроисповѣданія. Несмотря на это отсутствіе положительной вѣры, а вмѣстѣ съ нею и твердой точки опоры для убѣжденій, несмотря на свой мрачный и радикальнѣйшій пессимизмъ, поэзія Лермонтова не производила, однако, на современниковъ и не производитъ на потомство удручающаго впечатлѣнія и чувствъ отчаянія и безнадежности, которыхъ повидимому можно было бы отъ нея ожидать по ея отрицательному направленію. Напротивъ того, дѣйствіе ея было какъ будто бы противоположное: она воспламеняла энтузіастовъ, вселяла скорѣе бодрость, а не малодушіе; она заставила признать Лермонтова прямымъ наслѣдникомъ лиры Пушкина, первымъ въ Россіи поэтомъ, ранняя смерть котораго оплакиваема была какъ народное бѣдствіе. Какъ согласовать эти кажущіяся противорѣчія? Для разрѣшенія этого вопроса необходимо разобрать еще одну—и

уже послѣднюю—изъ взятыхъ въ совокупности стихій его поэзіи, а именно содержащійся въ ней элементъ метафизическій, обезпечивающій за нею прочное и могучее вліяніе, сообщающій ей чарующую прелесть.

Я употребилъ слово: метафизическій, а не мистическій, потому что склонности къ мистицизму у Лермонтова не было, но всѣми своими помышленіями онъ стремился къ сверхчувственному, къ недоступному для нашего ума, и больше жилъ въ этой угадываемой области, нежели въ мірѣ дѣйствительномъ.—Таинственное, непознаваемое есть вѣчный антагонистъ систематическаго, научнаго знанія, но и къ нему наука ежеминутно подходитъ, строя помосты изъ гипотезъ; искусство же и обойтись не можетъ безъ мысленнаго продолженія никогда невысказываемой вполнѣ въ произведеніи идеи его въ безконечномъ. — Постараюсь доказать нѣсколькими выдержками изъ произведеній Лермонтова, что складъ его ума былъ по преимуществу метафизическій; пользуюсь при этомъ мыслью, уже высказанною въ одномъ изъ литературныхъ кружковъ, моимъ пріятелемъ и товарищемъ С. А. Андреевскимъ.

## ХІ.

Беру поэтическую автобіографію поэта, его «11 іюня 1831 г.»: «Моя душа, я помню, съ дѣтства — *Чудеснаго* искала; я любилъ Всѣ обольщенія свѣта, но не свѣтъ,— Въ которомъ я минутами лишь жилъ, — И тѣ минуты были мукъ полны. — И населялъ таинственные сны — Я этими мгновеньями...—... всѣ образы мои— Не походили на существъ земныхъ. — О, нѣтъ! все было адъ иль небо въ нихъ». — Въ этихъ стихахъ очерчены и организація, и процессъ дѣятельности ума, имѣющаго складъ метафизическій. Желанія этой души необъятны; они направлены къ *чудесному*, къ тому, чего никогда дать не можетъ земная жизнь, реальное бытіе. Ей кажется, что она достигаетъ подобія желае-

мага состоянія въ рѣдкіе моменты наисильнѣйшей страсти (скажемъ точнѣе, принявъ въ соображеніе температуръ поэта—страсти эротической: онъ жить не могъ безъ любви, то-есть безъ женскаго сердца, подчиняющагося ему). Страсть эта по самой интенсивности своей мучительна; моменты ея бываютъ коротки, оставляютъ послѣ себя ощущеніе горечи, но тѣмъ не менѣе воспоминаніями объ этихъ мгновеніяхъ населяется и скрашивается вся будничная дѣйствительность. Иными словами, мы имѣемъ передъ собою систематическаго мечтателя, похожаго на лунатика, ходящаго по улицамъ съ открытыми, но не зрящими глазами. Этотъ мечтатель относится съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ окружающимъ его людямъ и предметамъ и устраиваетъ для себя мысленно иной міръ, убранный во все то, что только авторъ отмѣтилъ въ природѣ, какъ наиболѣе подходящее къ состояніямъ его души, и населенный не настоящими людьми, въ которыхъ добро и зло смѣшаны, а существами воображаемыми, либо вполне ангельскими, либо вполне демоническими. Онъ до того замечтался, и умъ его до того расположенъ мыслить метафизически, становясь на внѣ-человѣческой метафизической точкѣ зрѣнія, что, въ концѣ концовъ, самъ не знаетъ, онъ ли это самъ мечтаетъ, или иное, сидящее въ немъ «высшее существо». Вспомнимъ «Чашу жизни» (II, 202), чашу бытія съ золотыми краями... Умирая, мы убѣждаемся, «Что пуста была золотая чаша, — Что въ ней напитокъ былъ мечта—И что она не наша!» Отъ этого обычнаго у Лермонтова поэтическаго его лунатизма происходило и пренебреженіе къ людямъ, похожее на Байроновское, но въ сущности запечатлѣнное нѣсколько инымъ характеромъ. Люди ему противны не потому, что далеки отъ идеала челоуѣчества, какимъ онъ долженъ былъ быть по понятіямъ Байрона: гордый, свободный, любящій. Люди досаждаютъ Лермонтову просто потому, что они — призраки (Мелькаютъ образы бездушные людей—Приличьемъ стянутыя маски... «1-ое января», 1840, I, 109). Эти

призраки—говорить поэтъ—«спутиваютъ мечту мою— на праздникъ незванную гостью». За эту-то несознаваемую ими провинность поэту хотѣлось бы «дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью». — Тою же мечтательностью объясняется и шальное пренебрегаіе жизнью, весьма характерное свойство Лермонтова, какъ человѣка, внушавшее ему избытый потомъ отъ повторенія стихъ: «Что страсти? вѣдъ рано иль поздно ихъ сладкій недугъ — Исчезнетъ при словѣ разсудка,—И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманіемъ вокругъ — Какая пустая и глупая шутка!» (1840 г., I, 120). Это пренебреженіе жизнью, которую не ставятъ ни въ грошъ, замѣчательно еще и тѣмъ, что оно не дополняется вовсе видѣніями будущей жизни, расчетами на мзду за земное за гробомъ. Лермонтовъ потому-то именно и цѣнится тѣми, которые не имѣютъ счастья вѣрить, что онъ вовсе не мистикъ, а только мечтатель, что онъ не испытываетъ видѣній, а только какъ будто бы вспоминаетъ, что имѣлъ ихъ когда-то, въ какомъ-то волшебномъ снѣ. Какъ величайшій изъ мечтателей-философовъ—Платонъ, онъ убѣжденъ, что эти сны снились его неимѣющей ни начала, ни конца душѣ еще до его рожденія на землѣ. Всякому памятенъ стихъ: «По небу полуночи ангелъ летѣлъ — И тихую пѣсню онъ пѣлъ.—Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ — Подъ кущами райскихъ садовъ.— Онъ душу младую (имѣющую воплотиться) въ объятіяхъ несъ—Для міра печали и слѣзъ... — И долго на свѣтѣ томилась она,—Желаніемъ чуднымъ полна,—И звуковъ небесъ замѣнить не могли—Ей скучныя пѣсни земли». — Его сердце тоскуетъ, потому что хранить въ себѣ «глубокій слѣдъ—Умершихъ, но святыхъ видѣній,—И тѣни чувствъ, которыхъ нѣтъ» (II, 202). Есть слова и звуки, сами по себѣ неважные, которые напоминаютъ душѣ поэта о неземномъ, снящемся ему блаженствѣ: «Есть слова—объяснить не могу я, — Отчего у нихъ власть надо мной;—Ихъ услышавъ, опять оживу я, — Но отъ

нихъ не воскреснетъ другой» (1830 г., II, 43). Каждый такой звукъ, напоминающій далекую, неземную родину, походить на залетную птичку изъ рая съ ея дивною пѣснью подъ небомъ суровымъ и на сухой вѣтѣѣ. Въ этой заколдованной области мечтаній пышнымъ солнцемъ сіяетъ идея Бога самаго отвлеченнаго, какого только можетъ воображеніе себѣ представить, безъ опредѣленныхъ атрибутовъ, за исключеніемъ того, что какъ демонъ Лермонтова являетъ собою олицетвореніе зла, и физическаго, и нравственнаго, такъ и Богъ его есть добро природы, и души человѣческой. Можно бы подумать, что пантеистомъ былъ тотъ, кто писалъ слѣдующіе стихи въ восторгѣ отъ цвѣтущей природы: «Когда волнуется желтѣющая нива...—Тогда смиряется души моей тревога—И счастье я могу постигнуть на землѣ, — И въ небесахъ я вижу Бога» (I, 34, 1837 г.)—Но когда, обѣщаясь обратиться на тѣсный путь спасенія, поэтъ сознаетъ, что то *тайное*, что обѣщалъ намъ Богъ, могло бы быть постигнуто чрезъ мышленіе и годы, (II, 65), когда онъ извиняется, что міръ ему тѣсенъ: «Къ Тебѣ-жъ проникнуть я боюсь,—И часто звукомъ грѣшныхъ пѣсенъ,—Я, Боже, не Тебѣ молюсь» (II, 39),—то это обращеніе есть обращеніе къ Богу личному, въ котораго Лермонтовъ никогда вѣровать не переставалъ.

Въ связи съ метафизичностью Лермонтова слѣдуетъ изучать и его опредѣленіе поэта и пророка. Подобно Байрону, а можетъ быть и по его примѣру и внушенію, Лермонтовъ считалъ себя выскою натурою, переростающею другихъ людей головою (Любимцы есть у ней (т. е. у природы), какъ у царей другихъ,—И тотъ, на комъ лежитъ ея печать,—Пускай не ропщетъ на свою судьбу.— II, 199)... «Причуда злой судьбы ихъ бытіе; — Чтوبъ самовластье показать свое,—Она порой кидаетъ ихъ межъ нами, — Такъ древле въ море кинулъ царь алмазъ». (Измаилъ-Бей). Свое величіе Лермонтовъ основываетъ не на поэтическомъ дарованіи, а на своихъ страданіяхъ и на печати рока, то-есть на независимости его судьбы



отъ воли. Онъ какъ казнь падалъ на головы не имъ обреченныхъ на гибель жертвъ, и совершалъ всегда эту казнь безъ злобы и безъ сожалѣнія («Герой наш. вр.», I, 312). По своей необщительной натурѣ Лермонтовъ не постигалъ общественнаго значенія поэзіи; онъ догадывался, что поэзія должна имѣть власть надъ людьми, но какъ истый романтикъ онъ перенесъ ея владычество изъ прозаическаго изнѣженнаго XIX вѣка въ прошедшее, когда звукъ лиры «воспламенялъ бойца для битвы» и былъ толпѣ нуженъ, «какъ чаша для пировъ, какъ оиміамъ въ часы молитвы» (I, 84). Увлекать людей къ предпріятіямъ практическимъ можетъ только человѣкъ, любящій другихъ и имѣющій практическую смѣтку, а у Лермонтова недоставало этихъ качествъ. Въ приведенномъ нами «Поэтѣ» Лермонтовъ изображаетъ не себя, но поэта, какимъ онъ нѣкогда былъ и быть нынѣ не можетъ—предположеніе ошибочное, потому что функція поэзіи не измѣняется никогда, и она не теряетъ и нынѣ своего высокаго значенія. Въ послѣднемъ изъ своихъ стихотвореній—«Пророкъ», идеализируя не себя, но поэта, какимъ онъ долженъ быть, снабжая его всевѣденіемъ и способностью читать въ очахъ людей «страсти злобы и порока», между тѣмъ какъ самъ онъ ихъ не читалъ и, не читая, заранѣе ихъ во всѣхъ людяхъ предполагалъ, сдѣлавъ поэта превозглашателемъ «любви и правды чистыхъ ученій», которыя онъ самъ и провозглашать никогда не могъ, по своей нелюдимости и отчужденности отъ свѣта, Лермонтовъ изобразилъ пророка съ самой непривлекательной стороны, со стороны его суровой неуживчивости: «Смотрите, дѣти, на него,—Какъ онъ угрюмъ, и худъ и блѣденъ,—Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,—Какъ презираютъ всѣ его!»—Лермонтовъ не испыталъ на себѣ этихъ бросаемыхъ въ пророка каменьевъ. Онъ принадлежалъ къ числу рѣдкихъ удачниковъ, которыхъ вѣнчаютъ еще при жизни, и предъ которымъ аристократическій міръ открылъ обязательно двери, ведущія въ богатые чертоги. Замѣча-

тельно, что, рисуя не съ себя писанный идеаль осмѣянаго пророка-поэта, Лермонтовъ употребилъ для изображенія его черты, которыхъ ему самому не доставало, а не указалъ, напротивъ того, на тѣ, которыми онъ дорогъ намъ, — именно на гордое одиночество энергической души, выдѣляющей себя изъ толпы, и на увѣренность въ бытіи чего-то лучшаго, вѣстникомъ котораго онъ былъ въ тяжелыя времена. — Могильный сумракъ господствуетъ подъ сводами готическаго собора и въ немъ было бы страшно, еслибы не прорѣзывался лучъ солнца сквозь цвѣтныя стекла оконъ, являющихъ въ этотъ сумракъ подобіе отверзтыхъ дверей рая. Среди глубокой тишины несется чуть слышное *pianissimo* органа, точно хоръ далекихъ ангельскихъ голосовъ. Позаимствую еще одно сравненіе у самого Лермонтова изъ раннихъ очерковъ «Демона» (I, 493): «Ужъ скрылась колесница дня. — Снѣга Кавказа на мгновенье, — Отливъ пурпурный сохраня, — Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ. — Но этотъ лучъ полуживой — Въ пустынь отблесковъ не встрѣтитъ — И путь ничей онъ не освѣтитъ — Съ своей вершины ледяной». — Онъ, конечно, ничего не освѣщалъ, но среди глубочайшаго мрака все-таки свидѣтельствовалъ о невидимомъ солнцѣ. Иногда этого пурпурнаго воспоминанія о невидимомъ достаточно для пріободренія живущихъ къ тому, чтобы они перенесли всю тягость ночи и дожили до слѣдующаго дня.

Этимъ я и заключаю характеристику одного изъ великановъ не только русской, но и европейской литературы, человѣка, похожаго на Байрона болѣе по темпераменту, нежели по чертамъ лица, и развивавшагося подъ вліяніемъ Байрона, оставившимъ на немъ глубокіе, неизгладимые слѣды. — Оба они были люди высокой породы, оба принадлежали къ племени Прометея.

Октябрь, 1887.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

